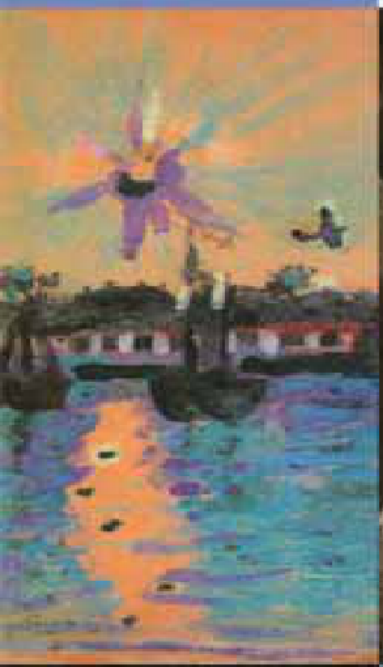
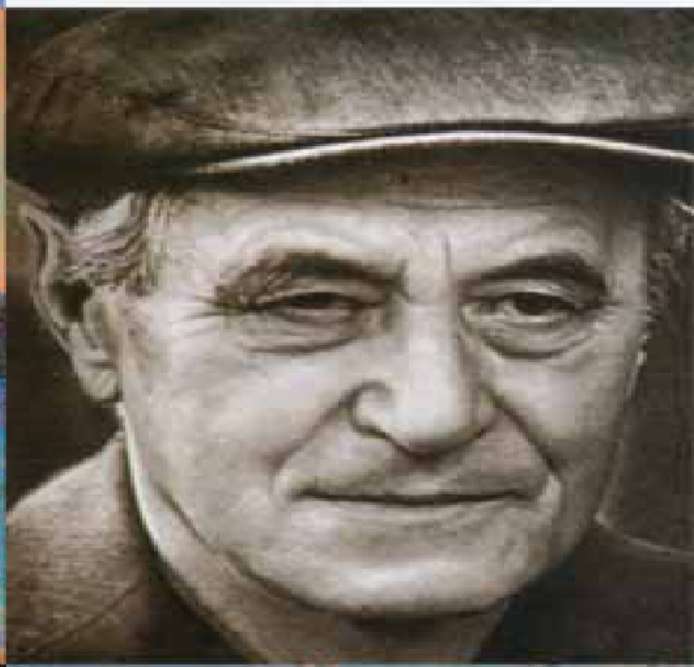
КАТАЕВ





Сергей Шаргунов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге представлена первая подробная биография выдающегося прозаика и поэта, тонкого мастера слова Валентина Петровича Катаева (1897–1986), лишенная идеологической предвзятости. Немногие знают, что писатель происходил из старинного священнического рода, среди его близких родственников были архиепископы-новомученики. Герой Соцтруда Катаев был в свое время белым офицером, учеником Бунина, сидел в расстрельном подвале Одесской губчека…

Писателю Сергею Шаргунову, опиравшемуся на воспоминания, архивные документы, мемуарную и биографическую литературу, блестяще удалось воссоздать непростую, отчасти таинственную, тесно сплетенную с литературным творчеством жизнь Валентина Катаева — сложного и противоречивого человека, глубоко вовлеченного в исторические события XX века.

- Сергей Шаргунов
  - ПОЧЕМУ КАТАЕВ?
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - ЕГО РОД
    - ВАЛЯ И РОДИТЕЛИ
    - ДЕТСТВО
    - ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
    - ДЕВОЧКИ КАТАЕВА
    - «КРУЖОК МОЛОДЫХ ПОЭТОВ»
    - ЗНАКОМСТВО С БУНИНЫМ
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - ПЕРВАЯ ВОЙНА
    - «ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»
    - И СНОВА — БУНИН
    - «РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТ СКУКИ»
    - ЭВАКУАЦИЯ ФРАНЦУЗОВ
    - БУНИН СЕРДИТСЯ
    - У КРАСНЫХ
    - И СНОВА — БЕЛЫЙ
    - ТИФ
    - ОДНАЖДЫ РАССТРЕЛЯННЫЙ
    - ДЕЛО ФЕДОРОВА
    - ЮГРОСТА
    - «КОЛЛЕКТИВ ПОЭТОВ»
    - ОПЯТЬ РАССТРЕЛ

- ОТЦЫ
- ХАРЬКОВ
- СОВЕТЫ ИНГУЛОВА

○ ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- МОСКВА
- КАТАЕВ И ХЛЕБНИКОВ
- КАТАЕВ И БУЛГАКОВ
- ЛЕЛЯ
- «ГУДОК»
- ИЛЬФ И ПЕТРОВ
- МАДАМ МУХА
- ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОЛСТОГО
- «ДАЕШЬ СТУЛЬЯ»
- «ОСТРОВ ЭРЕНДОРФ» И «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗА»
- «ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ ИСПРАВЛЯЕТ»
- КАТАЕВ И ЕСЕНИН
- «ПИСАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ»
- ЗНАКОМСТВО С ЗОЩЕНКО
- «ПРОНЕСЛИСЬ ЧАЙКИ, КАК РАЗОРВАННОЕ В КЛОЧЬЯ ПИСЬМО»
- «РАСТРАТЧИКИ»
- КАТАЕВ И ГОРЬКИЙ
- «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
- «ОТЕЦ» И «КВАДРАТУРА КРУГА»
- КАТАЕВ И МАЯКОВСКИЙ
- «НА ГРАНИ»

○ ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
- «ПОДШЕФНЫЙ ПИСАТЕЛЬ», ИЛИ ПЕВЕЦ ТОРМОЗНОГО ЗАВОДА
- «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
- «А МЕЗДРА ВСЯ В ДЫРКАХ!»
- «ОСТРЫЕ РЕБЯТА!»
- «А О ПРОСТОТЕ ОН ГОВОРИЛ МЕТАФОРАМИ»
- НА БЕЛОМОРКАНАЛЕ
- ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ
- «ВОТ ВЫСТАВЛЮ СЧЕТ ЗА ОБЕДЫ, БЫСТРЕНЬКО НАПИШЕШЬ РОМАН!»
- БУКА, БУЗЯ И БУМА
- ЭСТЕР И ЭСТЕТ
- «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»

○ ЧАСТЬ ПЯТАЯ
- КАТАЕВ И МАНДЕЛЬШТАМ
- «Я, СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА»

- БОЛЬШОЙ ТЕРРОР
- НЕХОРОШИЕ ПРИЗНАНИЯ
- «ОКРОВАВЛЕННАЯ КОШКА»
- «В ЛОНДОНЕ РВУТ СЕБЕ ВОЛОСЫ ОТ ДОСАДЫ»
- ДОМ
- «ДОМИК»
- СЛУЧАЙ СО СТАЛИНЫМ
- СМЕРТЬ БУЛГАКОВА

○ ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
- 1941-й
- 1942-й
- «А У ВАС КОГДА-НИБУДЬ ПОГИБАЛ МЛАДШИЙ БРАТ?»
- 1943-й
- 1944-й
- «СЫН ПОЛКА»
- «ОДЕССКИЕ КАТАКОМБЫ»
- РАЗГРОМ ЗОЩЕНКО
- «ТАК ОН НАД СЕРЬЕЗНОЙ ТЕМОЙ РАБОТАЕТ?»
- «ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»
- «ПОЕЗДКА НА ЮГ»

○ ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
- ПЕРЕМЕНЫ
- «РАЗОБЛАЧЕНИЕ КОРНЕПЛОДОВЩИНЫ»
- «ЮНОСТЬ»
- «КОТОРОГО ЧИТАЮТ И ВЗРОСЛЫЕ…»
- «БОЛЬШЕ Я НЕ ПЬЮ»
- «УЩИПНИТЕ МЕНЯ, Я НЕ ЗНАЮ, НА КАКОМ Я СВЕТЕ НАХОЖУСЬ…»
- КАТАЕВ И ХРУЩЕВ
- СМЕРТЬ ОЛЕШИ
- «ГАЗЕТУ НАДО ДЕЛАТЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СТИЛЕ»
- «НЕОСМОТРИТЕЛЕН БЫЛ В СВОИХ ЗАЯВЛЕНИЯХ»
- «КАТАЕВ БЫЛ В АПОФЕОЗЕ ШВЫРЯНИЯ ДЕНЕГ…»
- «БЕССМЕРТИЮ ВОЖДЯ НЕ ВЕРЬ…»

○ ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
- «СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ»
- «ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ»
- «КУБИК»
- «ХАНЖА, КЛИМАКТЕРИК, ПОДАГРИК»
- «РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ»

        - КАТАЕВ И СОЛЖЕНИЦЫН
        - ГАЛИЧ И ЧУКОВСКАЯ: ДВА ИСКЛЮЧЕНИЯ
        - «КЛАДБИЩЕ В СКУЛЯНАХ»
        - «АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ»
        - КАТАЕВ И «ПОБЕГИ»
        - ГОСУДАРСТВО И ЛЕВИТАЦИЯ
        - «УЖЕ НАПИСАН ВЕРТЕР»
        - «МЫ ТОЛЬКО КОМУ-ТО СНИМСЯ»
        - «ИКОНА ЛИКОМ ВНИЗ»
        - «ЧЕРНЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»
        - ВРЕМЯ ГОРБАЧЕВА
        - «КОГДА Я БУДУ УМИРАТЬ…»
    - ВЕЧНАЯ ВЕСНА
    - ПРИЛОЖЕНИЯ
        - Приложение 1
        - Приложение 2
    - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. П. КАТАЕВА
    - ЛИТЕРАТУРА
    - Иллюстрации
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23

- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67

- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111

- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155

- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170

Сергей Шаргунов
КАТАЕВ: «ПОГОНЯ ЗА ВЕЧНОЙ ВЕСНОЙ»

Автор выражает благодарность Евгении Катаевой, Тине Катаевой, Лизе Катаевой, Павлу Катаеву, Алексею Катаеву, Марии Климановой, Молли Глотт-Родькиной, Людмиле Коваленко, Марине Вишняковой, Ирине Лукьяновой, Оксане Киянской, Алене Яворской, Виктории Шохиной, Алексею Варламову, Олегу Лекманову, сотрудникам РГАЛИ, РГАНИ, РГАСПИ, ИМЛИ — всем, кто помогал…

В оформлении переплета использованы акварели В. Катаева 1920-х годов.

ПОЧЕМУ КАТАЕВ?

Почему первоклассный писатель забыт? Вопрос.

Или подзабыт?.. Все равно — вопрос.

Литература-то бесспорная.

Во всей советской прозе, на мой взгляд, катаевская была самой яркой и зрелищной. А пребывание его имени в траве забвенья для меня очевидность и несправедливость.

Первоклассный, быть может, лучший из лучших, вытеснен на обочину, в тень травы, которая все гуще и выше.

Череп Катаева утонул в траве…

Нет, конечно, не забыли окончательно. Для «широкого читателя» есть еще «Сын полка» и «Белеет парус одинокий». В «просвещенных кругах» то и дело помянут «Алмазный мой венец» и «Уже написан Вертер» и покривятся по поводу «репутации».

И все это неправильно, не так, все это нечестно по отношению к большому дару.

Катаев — прирожденный художник. Родился рисовать — словами.

Эта книга прежде всего — картина его жизни (но проза будет переплетаться с жизнью, уж никуда не денешься).

В советское время о Катаеве не вышло ни одной полнокровной и тем более откровенной книги, а после смерти, случившейся в самом начале перестройки, за вычетом статей, блогов и любительских пасквилей, не появилось вообще ни одной подробной биографии.

Поэтому здесь не только личное отношение, но и попытка тщательного исследования.

И все же мотив писать о нем — любовь к написанному им.

Я решил воссоздать течение его жизни, чтобы вы погрузились в нее, но и чтобы вы перечитали Катаева. Или прочитали.

О чтении Катаева нельзя пожалеть: изображал он всегда не просто зримо, а в насыщенном цвете, и самое волнующее, головокружительное — будь то бешеная погоня или нежное свидание.

Катаев вампирически был жаден до красок (его литература всегда — приключения красок). Физически ощущаешь наслаждение, которое он получал от писательства… Он жадно впитывал и щедро выплескивал краски мира. У него были столь меткое владение словом (одновременно реалистическое и поэтичное) и столь точное мастерство передать внешность, пейзаж, характер, сцену, эмоцию, что он щеголял возможностью рассыпать фразы и слова и под конец предпочитал

«ассоциативное письмо».

Между тем жизнь его была полна тайн и невероятных событий. Разговор о Катаеве неизбежно воскрешает огромный литературный и исторический контекст.

Бунин и Троцкий, Есенин и Маяковский (оба зарифмовали его фамилию: один — «раев», другой — «глотая»), Булгаков и Сталин, Солженицын и Хрущев, Евтушенко и Горбачев, войны, ранения, любови, благородство, расчет, отвага, страх, темная камера смертников в Одесской губчека и золотая звезда Героя Социалистического Труда…

Но отличие Катаева от многих в том, что он стал бы писателем при любом режиме. Тут ключ к пониманию его личности и повод для зависти и недоброжелательства.

То, что одним прощали легко, ему не прощают.

Он дожил почти до девяноста и прожил 100 жизней, неотделимых от времени. Однако — при всем богатстве биографии — словно бы прожил не свою, а чужую жизнь.

Собой он опять и опять становился на своих страницах.

…Случилось ли мне сделать открытия? Счастлив — да.

Ну, например… Я узнал о его первой женитьбе в Одессе на Людмиле Гершуни и обстоятельствах второго брака тоже с одесситкой Анной Коваленко. О его расстрелянных двоюродных брате и сестре. О его близком родстве с новомучениками-архиереями. О предсказаниях парижской гадалки-турчанки. А главное, обнаружил неизвестные, нигде не публиковавшиеся письма не только Катаева, но и Олеши, Ильфа, Петрова, Зощенко, Мандельштама…

Надеюсь, удалось распутать множество узлов и узелков этой так мало изученной биографии, и книга пригодится тем, кому важна история нашей литературы и просто история.

Исследуя судьбу Катаева, я старался почувствовать и вернуть воздух и вихрь времени, главные события русского XX века.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«Я ВНЕ СЕБЯ НЕ МЫСЛЮ МИР НИКАК…»

ЕГО РОД

Он всю жизнь писал о себе, располагая подробности биографии, персонажей детства и юности и своего родословия по многим текстам, в том числе сюжетно-приключенческим.

У него слишком много отсылок к пережитому — тем труднее отделить достоверность от сочиненного.

…Кто его родители, его предки? Какого он роду-племени, одессит, до конца сохранивший характерное произношение?

«Во мне странным образом соединилось южное и северное, вятское и скулянское, военное и духовное»…

О Катаевых удалось выяснить немало. Они были выходцами из Новгорода, по преданию, происходили от ушкуйников — «вольных людей», на быстрых лодках-ушкуях добравшихся в далекую Вятскую землю, «под Камень», как в старину называли Урал.

По всей видимости, предки Катаева знали русских святых — преподобного Трифона Вятского, основавшего Успенский монастырь в Хлынове (Вятке), и блаженного Прокопия. Они, как и дедушка писателя, отец Василий, погребены в этом монастыре.

Первое упоминание в архивах — 1615 год: Ондрюшка Мамонтов, сын Катаев. Так что первый установленный предок нашего героя — Мамонт из XVII века. Существование фамилии в столь раннюю эпоху — редкость на Руси, но в Новгороде и Вятке это было делом нередким. Имя Мамонт не имеет отношения к доисторическому зверю, а принадлежит святому мученику Маманту (Маме), погибшему во время гонений на христиан в III веке.

Прямая мужская линия Валентина Петровича напоминает библейское праведное родословие.

Андрей Мамонтович — «посадский человек» в городе Шестакове (превратившемся при Екатерине в село). Его сын Матфей стал иереем в тамошней Благовещенской церкви, родоначальником священнической династии Катаевых. Далее — священник Алексий. Затем — священник Иоанн, у которого в браке с Февронией родился Карп. Он тоже стал священником, а после смерти своей матушки Марфы принял постриг, сделавшись иеромонахом Мелхиседеком, игуменом Спасского монастыря в городе Орлове. У его сына священника Иосифа в браке с Евфимией родился Иоанн, тоже ставший священником. От его брака с Еленой родился священник Алексий.

Этот иерей Алексий в конце XVIII века спустился вниз по реке Вятке в город Слободской, где стал служить в центре города в

Преображенском соборе. Там и умер «от апоплексического удара» в алтаре «за благовестом к литургии». Его сын, тоже Алексий, служил, как и он, в Преображенском соборе. За свое пастырское окормление ополченцев, отправлявшихся на войну с Наполеоном, получил бронзовый наперсный крест. Интересно, что в 1831-м с его бани на город перекинулся большой пожар, уничтоживший множество домов.

Достойна внимания и линия его матушки Екатерины: ее дед — слободской протоиерей Тимофей, отец — иерей Иоанн Лесников, также обладатель бронзового креста за 1812-й (разбитый параличом в алтаре, он умер на следующий день в Рождество Христово).

У отца Алексия Катаева было семеро детей. Старший и младший, учась в Вятской духовной семинарии, взяли, как тогда случалось, другую фамилию — Кедровы. Старший протоиерей Александр при этой фамилии остался, и отсюда пошел духовный род Кедровых с архиереями и новомучениками, младший протоиерей Василий вернул себе фамилию Катаев.

А поскольку был он дедушкой писателя, то эта книга могла бы стать жизнеописанием Валентина Петровича Кедрова.

Отец Василий родился 6 января 1820 года[1] на праздник Крещения Господня. Был ближайшим помощником вятского владыки Аполлоса (Беляева). Женился на жительнице Слободского Павле Павловне Мышкиной, также происходившей из священнического рода (и между прочим, родственнице братьев-художников Виктора и Аполлинария Васнецовых).

Отец Василий обучался в Вятской духовной семинарии, потом в Московской духовной академии, стал инспектором Вятского духовного училища, затем смотрителем Глазовского духовного училища, служил протоиереем Ижевского оружейного завода. Он был награжден наперсным крестом на орденской ленте за вдохновление глазовских дружин на Севастопольскую кампанию.

Мальчишками Валя Катаев со своим двоюродным братом Сашей, вспоминал писатель в 88 лет, «надевали на шею кресты предков, воображая себя героями-священниками, идущими в бой вместе со славным русским воинством». Потому что «уже с детства были готовы сражаться за родину».

В начале 1860-х отец Василий с Павлой Павловной и детьми переехал в Вятку, где служил в Свято-Троицком кафедральном соборе. Он умер 6 марта 1871 года.

Писатель рассказывал житийную историю: дед его шел через замерзшую реку Вятку с последним причастием, провалился под лед, спас дарохранительницу, но вымок в ледяной воде по грудь.

И все же добрался до умирающего, исповедал и причастил, чтобы вернуться к себе тоже умирающим, почти без сознания — «гнилая горячка». Возможно, он умер от костного туберкулеза — вятские лекари врачевали ему коленную чашечку каленым железом.

Известный миссионер и проповедник протоиерей Стефан Кашменский над его гробом произнес проповедь, опубликованную тогда же «по желанию чтителей покойного» в «Вятских епархиальных ведомостях»: «Всюду прилагал он труды к трудам… Он облечен был особым доверием в среде священнослужителей… Усопший брат наш очищал себя долговременными предсмертными страданиями… Было время, когда почивший являлся к болящим и умирающим… Словом и делом помогал нуждающимся…»

У отца Василия было семеро детей (четверо умерли маленькими). Все три его сына учились в Вятской духовной семинарии, но священниками не стали.

Старший Николай отправился в Московскую духовную академию, окончив которую, переехал в Одессу — преподавателем семинарии.

Следом за ним, прихватив с собой мать, в Одессу перебрались братья. Тепло, дешево, море…

Николай Васильевич стал статским советником. Получил пять орденов: два Станислава, два Анны — 3-й и 2-й степени и Владимира 4-й. Женился на швейцарке Иде Обрист из города Вёве франкоязычного кантона Во, гувернантке, с которой познакомился в Крыму. Она сохраняла евангелически-реформатское вероисповедание 14 лет после брака и, родив уже четверых, через миропомазание была присоединена к православной церкви. По-русски ее стали звать Зинаидой Иммануиловной. Всего детей у них было шестеро.

Младший сын протоиерея Василия Михаил Катаев окончил физико-математический факультет Императорского Новороссийского университета. Валентин Петрович утверждал, что он был выдающимся математиком. Он поступил на военную службу в 15-ю артиллерийскую бригаду в Санкт-Петербурге. И душевно заболел…

Средний сын Петр Катаев родился 28 мая 1856 года в Глазове. После Вятской семинарии поступил в Новороссийский университет на историческое отделение историко-филологического факультета, который окончил с серебряной медалью за работу «О византийском влиянии на народное искусство Новороссии», стал преподавателем одесских учебных заведений (Епархиального женского и Юнкерского училищ). Он достиг чина надворного советника и трижды награждался

орденами за беспорочную службу.

В 1886 году тридцатилетний Петр женился на девятнадцатилетней Евгении Бачей.

Итак, о предках Валентина Петровича со стороны матери…

Прапрадед писателя Алексей Бачей — полтавский дворянин, казак, полковник Запорожской Сечи. Этот сечевик, по предположению Катаева, возможно, был даже гетманом.

В 1783 году родился Елисей Бачей — прадед.

Помещик, владелец имения в местечке Скуляны, на берегу реки Прут в Бессарабской губернии на границе с Румынией, Елисей участвовал в турецкой кампании и войне 1812 года, дослужился до капитана. «По взятии Гамбурга от французов» он слег с ранениями и, помещенный для лечения в бюргерскую квартиру занятого города, женился на юной сиделке, дочери пастора Крегера по имени Марихен, которая и стала прабабушкой писателя. На лошадях она отправилась с мужем в далекую Бессарабию, где, приняв православие, превратилась в Марию Ивановну.

У них были две дочки и три сына: младший Иван, дед Валентина Петровича, родился 25 мая 1835 года. Умер Елисей Бачей в 1848-м в 65 лет от холеры.

Иван Бачей поступил в гимназию в Одессе, где уже жили два его брата. Шестнадцатилетним юношей он отправился на военную службу, в восемнадцать во время Крымской войны сражался на Кавказе, быстро стал офицером, а в отставку вышел в чине генерал-майора. (Интересно, что прадед и дед Катаева юношами устремлялись на войну, так же как потом и он сам.) Годами перемещаясь по всему Кавказу, Иван воевал с горцами. Бился и с турками. Он был кавалером нескольких почетных орденов.

В его послужном списке красноречиво сообщается о «стычках и перестрелках», например, «при рубке леса и устройстве моста через лиман», «при истреблении горских запасов сена», «при нападении пластунов на горский пикет близ лагеря», «при истреблении пластунами одного небольшого горского аула», «при отбитии горцами нашего табуна у станицы Сторожевой», «при нападении партии горцев в 600 человек на сотню казаков Волосинской бригады, высланную в разъезд из станицы Зеленчукской».

24 апреля 1860 года в Мелитопольском уезде Таврической губернии он обвенчался с Марией Егоровной Шевелевой, дочерью коллежского асессора. У них родились девять дочерей, две умерли маленькими. И ни одного наследника!

Пятая — Евгения, будущая мать писателя, появилась на свет в

Одессе 26 ноября 1867 года. Она была талантливой пианисткой (после окончания Епархиального женского училища поступила в училище музыкальное, впоследствии — Одесскую консерваторию).

С Петром Катаевым ее обвенчали в полковой лагерной церкви в Новомосковске Екатеринославской губернии, где Иван Бачей тогда командовал полком.

Детей долго не было…

ВАЛЯ И РОДИТЕЛИ

Валя родился в Одессе 16 января 1897 года.

У него было две макушки — знак везения — словно бы две жизни, холмики долголетия. А еще, как считается в народе, отличительный признак пройдохи. У его лирического героя — сквозь всю прозу — тоже две макушки. Сколько раз Катаев бывал на краю гибели! Каждый раз, вспоминая об очередной миновавшей беде, он благодарил эти «волосяные водоворотики». В своих книгах он, кажется, только и делал, что ощупывал их, так часто ему чудесно везло.

Одесса была четвертым по численности населения городом в Российской империи после Санкт-Петербурга, Москвы и Варшавы. Она торговала со всем черноморским побережьем и Средиземноморьем. Пестрая, шумная, многоязычная: библиотеки, читальни, театры, рестораны, обилие журналов и газет, постоянные гастролеры, знаменитый университет. Это был один из первых городов страны, где появились электричество, телефон, трамвай, автомобили, аэропланы.

«Папа часто играл с мамой на рояле в четыре руки… Я постоянно жил в атмосфере искусства. Мама читала мне стихи, придумывала для меня сказки, рисовала в тетрадке разные предметы и зверей, сочиняла к ним веселые пояснения. Ей хотелось расширить мой детский кругозор… Папа хорошо знал и любил русскую классическую литературу». В доме пели романсы, народные песни…

«С малых лет отец привил мне вкус к русским классикам… Я помню, как мой отец, блестя выступившими у него на глазах слезами восхищения, читал нам, мне и маме, пушкинскую “Полтаву” с ее нечеловечески прекрасной украинской ночью и как они вместе под керосиновой лампой хохотали и нежно улыбались над раскрытым Гоголем»…

Отец был суховато-строг, но порой вспыльчив. Разгневавшись, с силой тряс сына за плечи, что тот потом не раз припоминал.

Законспектированные фразы[2] с катаевского вечера 1972 года дают почувствовать больше любых обстоятельных разъяснений: «О родителях. Мама — полтавская девушка. Пушкин, Гоголь. Мама юмористична (отец — меньше)».

Мама в воспоминаниях Вали была всегда легкая, праздничная, смягчающая отца («Недаром его имя было Петр, что значит камень»). Он запомнил ее женственной, грациозной, светской — дамой в высокой шляпе с орлиным пером, в вуали с черными мушками… «Мама называла папу на французский лад

Пьером; я думаю, этот “Пьер” пошел у них от “Войны и мира”, книги, которая в нашей семье считалась священной».

Отец и мать, камень и вода, в сознании Вали дополняли друг друга. Он успел застать и прочувствовать полноту семьи и навсегда воспринял время раннего детства как сказочное. В этом начальном времени смерти не было и быть не могло. «Мама раздевает меня и укладывает в постельку, и, сладко засыпая, всем своим существом я чувствую всемогущество моей дорогой, любимой мамочки-волшебницы».

30 ноября 1902-го она родила второго сына Женю. Вале было шесть, когда мама умерла от плеврита. На Втором христианском кладбище Одессы сохранилось ее надгробие с финальной датой 28 марта 1903 года. Ей было тридцать пять.

Перед ее кончиной Валя видел сон, который сам называл вещим. Ему приснился большой ящик — внутри сидели мама и его двоюродная сестра Леля. Они возились в ящике, пытаясь выбраться, и мешали друг другу.

(Ольга — Леля, дочь Николая Васильевича Катаева, родилась 10 июня 1886 года и, прожив 18 лет, умерла 11 февраля 1905-го, как сказано в ее свидетельстве о смерти, от туберкулеза легких.)

Смерть матери нанесла Вале страшную пожизненную травму.

Он снова и снова вспоминал, как она простудилась во время прогулки с ним ранней коварной весной (и ощущал свою вину!), как заболела, как задыхалась и пылала, как таскали ей ночью кислородные подушки. «Маме сделали одиннадцать глубоких хирургических проколов, но гнойника так и не нашли, с тех пор слово “одиннадцать” до сих пор имеет для меня зловещий смысл…» Она лежала с закрытыми глазами, а он с надеждой спрашивал отца: «Нельзя ли ее оживить?» Всю свою жизнь и уже на ее закате Катаев грубо, ярко, метафорично описывал мать в гробу, сравнивая гроб то с коробкой конфет, то с тортом, то покойницу с фарфоровой куклой, словно пытаясь заговорить, вытеснить случившееся, засахарить ту горечь красотой литературы.

По рассказам его жены Эстер, уже немолодой он иногда запирался в комнате и плакал. «Я вспомнил маму».

«Когда мы вернулись домой, я первый с облегчением взбежал по лестнице на наш второй этаж и стал дергать за проволоку колокольчика. Я был переполнен впечатлениями последних дней и торопился поделиться ими с мамой.

— Мамочка! — возбужденно крикнул я, стучась в запертую дверь ногами. — Мамочка!

Дверь отворилась, и я увидел кормилицу, державшую на руках братика Женечку. Я почувствовал приторный запах

пасхальных гиацинтов и вдруг вспомнил, что мама умерла, что ее только что похоронили и уже никогда в жизни не будет у меня мамы.

И я, сразу как-то повзрослевший на несколько лет, не торопясь вошел в нашу опустевшую квартиру».

Когда смотришь на фотографию 1910 года с тремя Катаевыми, сердце невольно сжимается. Все трое задумчивые и грустные. В пенсне, с бородой и усами, полный достоинства и некоторой книжной наставительности отец (его принимали за Чехова), к нему прижались два мальчика. Валя, серьезный, прямой, немного похожий на японского солдата, словно пытается показать свою взрослость; Женя, мелкий, в матроске, жалобно-трогательный. И приходит одно простое слово: «сиротки».

Сразу после смерти Евгении на выручку пришла ее сестра Елизавета Ивановна, которой было тридцать три.

Отказавшись отличной жизни, верная обещанию, данному умиравшей, тетя Лиля занялась воспитанием мальчиков и хозяйством и поселилась у них. Аскетичный потомок духовного рода, Петр Васильевич хранил верность покойной. Он поступал как священник, которому по канонам нельзя жениться вторично.

В доме Катаевых не держали ни капли спиртного. «Отец не пил, не курил, не играл в карты. Он вел скромную жизнь и, отходя ко сну, долго молился перед иконой с красной лампадкой и пальмовой веткой, заложенной за икону. Смиренно крестясь, и кланяясь, и роняя со лба семинарские волосы, он скорее походил не на педагога, а на священника».

В 1951 году Корней Чуковский записал в дневнике: «Сегодня Валентин Петрович Катаев рассказывал о своем отце: ему тетка в день именин подарила 5 томиков Полонского. И он (В. П.) очень полюбил их. Декламировал для себя “Бэду-проповедника”, “Орла и змея”». «Тетка», очевидно, и была Елизавета Ивановна.

Когда мальчики подросли, она уехала в Полтаву, считая «долг исполненным», к двоюродному брату и стала вести его хозяйство, заменив свою умершую двоюродную сестру. Тетя Лиля умерла в Полтаве в 1942-м при немцах.

Семья была небогата, постоянно меняли квартиру, при этом часто сдавали комнату или две.

Валя родился на улице Базарной, 4, совсем близко к Александровскому парку, в трехэтажном доме. Здесь родился его брат, здесь не стало их мамы.

В 1904-м Катаевы переехали на Маразлиевскую, в дом 54, тогда доходный дом Крыжановского — Аудерского. На этой улице, по преданию, останавливался во время «одесской ссылки» Пушкин. В доме 40 на Маразлиевской, в 1920-м переименованной

в Энгельса, располагалось здание ЧК, где нашему герою доведется ожидать смерти.

Потом переехали на Канатную, с нее на Уютную, дальше на Отрадную… В 1912-м Катаевы проживали на улице Успенской. Там располагались Епархиальное женское училище и Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь с сиротским приютом. В училище, кроме отца Катаева (он был географом), преподавал и его старший брат Николай Васильевич, а приготовительный класс вела тетя Лиля, Петр Катаев уступил ей и должность делопроизводителя.

Все семейство Катаевых проживало в сиротском приюте у его заведующего протоиерея Григория Никифоровича Молдавского, ожидая, когда будет готов дом Общества квартировладельцев на Пироговской улице. Петр Катаев был в попечительском совете приюта.

В соседнем здании на Успенской улице находилась Стурдзовская община милосердных сестер. Богадельня. Сестры милосердия ухаживали за смертельно заболевшей мамой Вали.

Было время, когда на лето семья обосновалась на пригородном хуторе. Этот сюжет совсем не случайно возник у Катаева в романе «Хуторок в степи» (летом 1915 года в «Одесском вестнике» у него вышел цикл «Стихов с хуторка»).

С 1913 года Катаевы проживали в новеньком многокорпусном доме в стиле модерн на Пироговской, 3, в квартире 56 на четвертом этаже.

…Июльское пекло, стеклянный воздух, задыхаясь, читаю табличку на доме:

«У цьому будинку з 1996 по 1998 р. мешкав громадський діяч, заступник міського головы Ігор Миколайович Свобода який був викрадений і загинув від рук найманих убивць».

Свобода украденная и умерщвленная, летопись девяностых. Перейдя улицу, сворачиваю во двор старого трехэтажного обшарпанного дома — привет из другой эпохи. Ветхие пояса ажурных балконов. Раздавленные ягоды алычи, развешанное белье, разлегшиеся рыжая и черная кошки.

Меня оглядывает крупная старуха в мятом выцветшем платье, сидящая на колоде под широким платаном.

— Скажите, а здесь Катаев родился?

— Да вон тута. — Она показывает на льдистые тусклые окна. — В моей квартире. А мне шо? Да я в ней полвека живу. Ой, да шо в ней такого? Помню, приходил старичок. Походил, побродил, понюхал. Я внутрь не пустила. Здесь стоял, где вы стоите. Почем знаю, кто такой. Говорит: «Я тут жил». Потом сказали: писатель тут жил. Да он уж помер, когда сказали.

ДЕТСТВО

Отец все время учительствовал, тетя тоже, вдобавок занималась маленьким Женей, Валя был днями напролет предоставлен себе, слонялся по городу, водился с хулиганской компанией.

В сущности, он с самого детства попадал в истории.

Когда ему было не больше двух лет, дотянувшись до плиты, опрокинул на себя казанок с кипящим свиным салом. Каким-то образом все вылилось мимо головы, на одежду, и одна лишь капля попала на горло, оставив на всю жизнь отметину.

Эксперименты, физические и химические опыты — удовольствие, в котором он не мог себе отказать. Раз, достав из отцовского комода брикет пороха, вбежал на кухню, отодвинул кастрюлю с борщом и бросил порох на конфорку. «Сноп разноцветного дымного огня полыхнул из плиты почти до потолка».

А может быть, это был не борщ, а лапша, если судить по стихотворению «Бенгальский огонь», где шалости мальчика переплетаются с акциями террористов 1905 года:

> К плите. С порошком. Торопясь. Не дыша.
> — Глядите, глядите, как ухнет! —
> И вверх из кастрюль полетела лапша
> В дыму погибающей кухни.
>
> Но веку шел пятый, и он перерос
> Террор, угрожающий плитам:
> Не в кухню щепотку — он в город понес
> Компактный пакет с динамитом.

Еще случай: взяв у одноклассника бутылочку с нефтью, он стал нагревать ее дома на своей лабораторной спиртовой горелке, раздался «громкий выстрел», и жирная вонючая жидкость покрыла все вокруг, включая обои и одеяла.

В этих эпизодах будничный психоаналитик мог бы усмотреть подсознательное желание разрушить окружающий мир и даже самоуничтожиться, но, похоже, здесь было нечто обратное — самоутверждение, упоение своей невредимостью на фоне пожаров, перераставшее в любование ими. Пожары воспринимались как праздничные салюты. Он пробовал реальность на прочность, пытался разъять, но через это хотел

постичь ее на пике, в экстремуме, спровоцировать на яростные всплески, чтобы восхититься во всей красочной полноте. Ребенком он возился с огнеопасными элементами, а позднее в своей литературе возился с резким цветом и острыми темами, так утверждая именно жизнелюбие. С каждым благополучно завершившимся «опытом» жизнь все более казалась ему ярким сновидением.

Он был бесцеремонен. На Рождество высыпал на елку два фунта нафталина, изображая снег. Резал для «домашних спектаклей» тетины простыни, так что все заканчивалось скандалом…

Он на всю жизнь сохранил дружбу с верным соратником по проделкам Женькой по прозвищу Дубастый, жившим с ним по соседству. Евгений Ермилович Запорожченко, моряк, после революции обитал то в Загребе, то в Ницце, вернулся на родину только после Второй мировой (участник французского Сопротивления), бывал у Катаева в Переделкине, с душой встречал его в Одессе…

Несложно предположить автобиографизм рассказа «Весенний звон» (начало 1914 года): «Главнейшее наше занятие — это азартные игры: бумажки, спички, “ушки” и… разбой, потому что по временам нам кажется, что мы разбойники: бьем из рогаток стекла, дразним местного постового городового Индюком и крадем яблоки в мелочной лавке Каратинского. Разбоем в основном мы занимаемся поздней осенью, почти каждый день, и заключается это занятие в том, что после обеда мы всей ватагой, или, как у нас называется, “голотой”, идем к морю, лазим по пустым дачам, до тошноты курим дрянные папиросы “Медуза” — три копейки двадцать штук — и усиленно ищем подходящую жертву. От подходящей жертвы требуется, чтобы она была слабее нас и молчала, когда ее будут брать в плен и пытать».

Возможно, дичь и дурь происходили не от уличного нахальства, а от повышенной нервности (изнанка нежности, а он был от природы неженка и тосковал по невосполнимой материнской ласке). Дело было не просто в прелести разбойных ватаг, а в чем-то совсем обратном, одиноком, «несоциальном» — лиричности, мечтательности… Это затаенное, то есть собственно художественное пробудилось в нем очень рано.

Катаев таким и прожил — с ранимым нежным нутром, запрятанным в грубый панцирь. Он был закрытым и при этом любил быть в центре внимания (между прочим, если ты застенчив, но оказываешься в центре, многие психологические сложности снимаются).

Мы не раз столкнемся с самым разным Катаевым — цинизм

напоказ, увлеченное вспоможение людям вплоть до изменения их судеб, авантюризм и трудоспособность, бешеная энергия и любовь к спокойствию.

…Валя помнил себя с самых малых лет.

Года в три мать возила его в Екатеринослав (ныне Днепропетровск) к ее родителям. Он видел бабушку Марию Егоровну, «толстую, красивую, как пожилая королева», и деда Ивана Елисеевича, отставного генерал-майора, «с бакенбардами и костистым покатым лбом царя-освободителя», подарившего ему игрушечного коня — Лимончика. И навсегда запомнил, как его тормошили, целовали и подбрасывали к потолку бабушка и «все незамужние екатеринославские тетки» с восторженным южным фамильным восклицанием: «Ах какая прелесть!»

За коричневой ширмой у них в Одессе, переезжая с ними с квартиру на квартиру, жила бабушка Павла Павловна, мать отца. Читая ее описание, я сразу узнал свою вятскую бабушку! «У нее было маленькое скуластое лицо с бесшумно жевавшими губами… носик пуговкой. Чем-то она напоминала старую-престарую китаянку». С годами она становилась придирчивой, скупой, пыталась следить, кто сколько съел за столом. Мальчиков смешила ее «чуждая скороговорка».

Павла Павловна умерла 2 февраля 1908 года «от старческой немощи».

Какое-то время в их доме жил дядя Миша, младший брат отца. Как я уже упоминал, он тронулся умом в Петербурге. В рапорте начальнику артиллерии 8-го армейского корпуса в апреле 1890-го сообщалось: «…признаки расстройства психической деятельности» поручика начались еще годом ранее, «что заставило его поместить в отделение душевнобольных С-Петербургского Николаевского госпиталя». А теперь поручик Катаев «выстрелил в часового из окна своей квартиры, когда же 19 апреля подполковник Ветчинкин с несколькими нижними чинами прибыл для арестования и отправления на гауптвахту, оказал вооруженное сопротивление. Против Катаева возбуждено обвинение в неповиновении, вооруженном сопротивлении распоряжению начальника и покушении на убийство человека. Содержась под арестом на гауптвахте, вел себя как совершенно умалишенный». Михаил Васильевич был уволен из армейских рядов «по болезни» и еще несколько лет жил в Петербурге. По утверждению Валентина Петровича, он женился на «простой, неграмотной крестьянке» из Николаева, бросил ее, попал в сумасшедший дом в Одессе, оттуда к брату. Маленький Валя очень боялся дяди, который с добрым мычанием пытался схватить его худыми руками. «Иногда у дяди Миши начинался припадок

буйного помешательства, и папа с трудом привязывал его полотенцем к кровати». Умер он в 1901-м у них в доме.

11 ноября 1904 года в 56 лет от «прогрессивного паралича» умер дядя Коля, Николай Васильевич. «Когда его увозили в больницу, он вскакивал с носилок, страшный, бородатый, в длинной рубахе, и, хохоча на всю улицу, пел сам себе “со святыми упокой” и дирижировал воображаемым хором».

Похоронив мужа, Ида Обрист (она же Зинаида Катаева) переехала к сыну Василию в Петербург, где в скором времени скончалась.

Василий родился 7 января 1882 года. Катаев вспоминал, как он в «военно-медицинской офицерской шинели» кормил с ложки невыносимым рыбьим жиром его, Женю и своего родного брата Сашу («правильный» Женя был единственным, кто согласился и аж облизнулся)… Из Новороссийского университета Василий Катаев перевелся в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербург. Был военным врачом на фронте в Галиции. Во время Гражданской войны вернулся в Одессу и работал в госпитале. Он погиб в августе 1920 года в Одессе. Жена Василия, потомственная дворянка из Петербурга, дипломированная акушерка Надежда Нивинская осталась в Петрограде и там дожила до 1948 года.

Александр, у которого, по наблюдению писателя, «даже уши побелели от омерзения» к рыбьему жиру, родился 17 октября 1895 года. По стопам брата пошел в Военно-медицинскую академию, не окончил, но связал всю свою жизнь с медициной. Военврач 1-го ранга, полковник медицинской службы, участник Великой Отечественной войны (Черноморский флот), с 1946 года жил в Симферополе, потом переехал в Одессу. Умер он 22 апреля 1963 года и похоронен в Одессе в могиле отца. О нем и о судьбах его братьев и сестер — последняя катаевская повесть «Сухой лиман».

Скажем и о двух двоюродных сестрах Валентина Петровича…

Надежда родилась 8 июня 1880 года. В 1900-м она вышла замуж за уроженца Одессы, потомственного дворянина, военного медика Павла Николаевича Виноградова, выпускника Военно-медицинской академии, переведенного во Владивосток на Русско-японскую войну, а затем в Петербург. Его не стало в 1924-м (как вспоминал Катаев — врач-рентгенолог умер от онкологии). Их сын Анатолий в 1920-е годы перебрался в Финляндию («по ту сторону щели», — сформулировал Катаев). Жизнь Надежды оборвал 1937 год.

Зинаида родилась 24 марта 1884 года. В 1920-м в голодной Одессе она приютила у себя Петра Васильевича Катаева. Занималась шитьем на дому. Тихо прожила 64 года до самой

смерти в 1949-м.

Валя и Женя Катаевы были похожи, но только внешне.

«Вообще в нашей семье он всегда считался положительным, а я отрицательным». Кажется, отношение старшего брата к младшему с его рождения до его смерти оставалось заботливо-жалостливым. «Я хорошо помню, как мама купала его в корыте, пахнущем распаренным липовым деревом, мылом и отрубями. У него были закисшие китайские глазки, и он издавал ротиком жалобные звуки — кувакал, — вследствие чего и получил название *наш кувака».* Хотя в старости в разговоре с писателем Василием Субботиным Валентин Петрович признался: «Мы с Женей очень не ладили, ссорились и часто дрались».

«Смерть ходила за ним по пятам». Интересно наблюдение литератора Сергея Белякова о том, что если гибельные ситуации лишь убеждали Катаева в чувстве своей защищенности и добавляли ему жизнелюбия, то несчастья, происходившие с Евгением, каждый раз почему-то указывали на какую-то роковую обреченность, и это ощущали оба.

Отец вывозил сыновей на побережье Черного моря, далеко за пределы города. Будаки, Днестровский лиман… Наслаждение этим отдыхом Катаев потом красочно передал в книге «Белеет парус одинокий».

Вале было восемь, когда первая волна смуты захлестнула страну, густо пенясь и в Одессе. Из окон он видел казачьи разъезды, огромную толпу с хоругвями… А на горизонте дымил мятежный броненосец «Потемкин».

В девять лет он поступил в Одесскую 5-ю гимназию (туда же поступил и брат). Валя учился слабо и без вдохновения, на уроки, по его признанию, «плелся». В подростковом возрасте он остался на второй год и постоянно переживал «постыдные переэкзаменовки».

Но и с тех же девяти лет начал писать стихи. У Катаевых была библиотека с двадцатитомной «Историей государства Российского» Карамзина, полными собраниями сочинений классиков, энциклопедиями, словарями. Одним из первых впечатливших Валю писателей стал Гоголь, чьи персонажи сходились к детской постельке сквозь жар болезни:

(Зовет меня по имени…
А может быть, в бреду?)
— Отец, отец, спаси меня!
Ты не отец — колдун!
— Христос, храни!
— До Бога ли,

Когда рука в крови?
…
— Зачем давали Гоголя,
Зачем читали Вий?

Но даже описание изнурительной скарлатины в повести «Отец» дает представление об уюте домашней обстановки: «Вечером у его постели на стуле горел стакан крепкой малины. Лампада наполняла угол сусальным жаром образов. Громадная тень пальмовой ветки легко и сладко лежала на полутемном потолке. Позади (он не видел, но знал) за письменным столом сидел, исправляя тетрадки, отец».

Петр Васильевич подарил сыновьям маленькую паровую машину — наглядное пособие по физике и микроскоп.

Валя, как и все одесские мальчишки, балдел от циркового представления — французской борьбы (когда соперника кладут на лопатки) и «дяди Вани», Ивана Лебедева, предводителя турниров. Любил и театр (самый любимый — Одесский городской), где отец ерзал рядом, поскольку очень беспокоился за нравственность сына.

Знакомо ли вам умственное взросление уже годам к девяти? Случай, на самом деле, не редкий. Так бывает, и особенно часто в «книжных» семьях, где постоянно ведутся разговоры о литературе и политике. Катаев оказался сызмальства литературно и гражданско развит, с амбициями публичного автора, и точно так же очень рано начал влюбляться.

То, что он — писатель, понял рано. «Когда, например, мне было девять, я разграфил школьную тетрадку на две колонки, подобно однотипному собранию сочинений Пушкина, и с места в карьер стал писать полное собрание своих сочинений, придумывая их тут же все подряд: элегии, стансы, эпиграммы, повести, рассказы и романы. У меня никогда не было ни малейшего сомнения в том, что я родился писателем». Но еще раньше, совсем крохой, накалякав нечто густое на бумаге, он с ошибками, кривыми печатными буквами приписал первую в жизни поэтическую строку: «Какой хороший этот лес и как прекрасно в этой дали».

Хорошо и прекрасно. Два холмика макушки. Темный лес, который не тяготит, а манит нескончаемой далью.

В 1910 году Петр Васильевич отправился на лето с сыновьями в долгое путешествие — на пароходе через Турцию и Грецию в Италию (осмотр знаменитых развалин, зданий и музеев, до Неаполя плыли с остановками в Катании и Мессине), а оттуда на

поезде в Швейцарию. Маршрут путешествия был разработан давно («в то время, когда еще была жива мама»).

В другой раз побывали в Киеве в «паломнической поездке»: «Папа был очень рад, что ему удалось показать нам величие русской природы, древнейший русский город — источник православной веры».

ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

В 1910 году в 13 лет он впервые напечатался со стихотворением «Осень» в газете «Одесский вестник», и я приведу его целиком. Надо сказать, когда я прочитал своему семилетнему сыну несколько стихотворений Катаева разных лет, впечатление на ребенка произвела именно «Осень» — слушал завороженно и с сопричастной усмешкой. Может быть, дело в ребячливом наиве. Такое ощущение, что стихотворение для детей, а значит, поучительная банальность как бы и оправданна (несмотря на тоскливые картины природы, все легко и бодро).

Холодом дышит природа немая,
С воем врывается ветер в трубу,
Желтые листья он крутит, играя,
Пусто и скучно в саду.

Море шумит на широком просторе,
Бешено волны седые кипят,
И над холодной кипящей пучиной
Белые чайки тоскливо кричат.

Крик их мешается с ревом стихии,
Скалы, как бронза, от ветра звенят,
Серым туманом окутаны горы,
Дачи пустые уныло молчат.

В день, когда стихотворение было напечатано, Катаев в гимназию не плелся, а бежал. Газетную страницу он прилепил к стеклянной двери класса, «и вся гимназия бегала смотрела на стихи, которые написал Валька». Он «получил страшный нагоняй от директора» — подписываться своим именем гимназисту было не положено.

Во множестве советских изданий и библиографий Катаева указывалось место его дебюта и ранних публикаций — «Одесский вестник». Удивительно, ведь это орган губернского отдела Союза русского народа: достаточно открыть любой выпуск газеты, в том числе прочитать любой текст, соседствующий с любым стихотворением Вали, чтобы натолкнуться на грубую риторику, которую еще называют «жидоедской» — к примеру, следом за стихами «Из великопостных мотивов» («Я к Тебе прибегаю, Христос») следовало листовочное «Самооборона от евреев».

В другой раз он именно бежал в гимназию в конце того же 1910-го. Бежал из-за дождя и потрясения, а мимо бежали газетчики, крича: «Смерть Льва Толстого!» Валя только что прочитал «Войну и мир» и был очарован этим романом. И вдруг — газетчики… «Ужас охватил мою душу. Мне показалось, что в мире произошла какая-то непоправимая катастрофа».

За два года в «Одесском вестнике» было опубликовано более двадцати пяти стихотворений Катаева. Одни из первых напечатанных: «Стамбул» — впечатление от морского путешествия и «Рим», в сущности, тоже впечатление от города, но с сюжетом из жизни Нерона. После «Осени» он стал публиковаться в «Южной мысли», «Одесском листке», «Пробуждении», «Лукоморье». За стихами последовала проза.

Первые его вещи в основном были благостны, сводились к морали, но при этом всегда не без озорства, а порой и с недетской дерзостью.

В 1912-м отдельными брошюрами он выпустил два рассказа «Пробуждение» и «Темная личность».

В «Пробуждении» изображен молодой человек, бывший революционер по фамилии Расколин, после злоключений отправившийся к тетке в Одессу. «Припомнилась ему смутная пора 1905 года. Только что окончив университет, он, еще не разочарованный горьким опытом, еще полный нравственных и физических сил, вступил на житейский путь. И вот, увлеченный какими-то фантастическими идеями, под влиянием дурной среды, он с револьвером в руке стоит на баррикаде. Затем, как какой-то кошмар, вспомнил он арест, суд и наконец ссылку». (Впоследствии Катаев авантюрно изобразит себя — ребенка, родных и знакомых соучастниками революционного дела 1905 года, что, конечно, было далеко от реальности.) Расколин, встретив на станции старинного приятеля, не доехал до Одессы, а отправился к нему на южный хутор, где познакомился с его восемнадцатилетней сестрой, «белокурой хорошенькой Танюшей». Расколин провел на хуторе последнюю неделю поста, помогал красить яйца, пошел со всеми на церковную службу: «… когда в его ушах звенел напев Пасхальный, он понял, что он любит Татьяну, что любит сильно, страстно, как может любить человек, полный сил, полный веры в Бога и людей». А еще через неделю из Одессы он прислал девушке письмо, объясняясь в чувстве и окончательно отрекаясь от революции: «Ты, конечно, помнишь миг, когда мы возвращались из церкви и когда ударили колокола? Так знай же, что я с той поры переродился, с той поры я проклял, нет, я не проклял, а забыл и забыл навеки бурную, полную волнений и тревог жизнь. Я полюбил домашний очаг и

тихую трудовую жизнь, я полюбил тебя, Таня!»

В сатирическом рассказе «Темная личность» главный герой — наглый и артистичный Сашка, которому автор явно симпатизирует (не ранний ли прообраз Остапа Бендера?). «Это был “тип”, один из таких типов, которые, попадая в водоворот столичной жизни, не пропадают, не теряются в нем и каким-то чудом находят себе средства к существованию среди тысяч подобных себе безработных. Уж это был его талант». Плут обманом, лестью и шантажом сумел оставить с носом Куприна и Аверченко, навестив их в питерских квартирах и в итоге отхватив жирный кусок жизни. Да и не мечтал ли перебраться в столицу юный рассказчик?

Оба писателя изображены крайне насмешливо. Куприн у него — «человечек с пьяненьким баском» (уже тут у Катаева включается мастерство изображать, хотя бы шаржированно, но яркими безжалостными мазками): «Он ясно увидал лицо Александра Ивановича, оно было круглое, узенькие серые глаза были окружены опухолью и мешочками; во рту торчала потухшая папироса, а круглый толстый подбородок обрамлен реденькой, неопределенного цвета бородкой, которая казалась выщипанной и не столько похожей на бородку, сколько на щеку неделю не брившегося актера. Маленький фиолетово-красный нос дополнял портрет известного писателя. Он сидел перед столиком, представлявшим оригинальное зрелище: он сплошь был уставлен целой батареей бутылок самой разнообразной величины и формы. На полу валялось несколько пустых пивных бутылок. Перед писателем стоял колоссальный жбан, из которого он изредка потягивал, тщетно стараясь раскурить полчаса тому назад потухшую папиросу».

Если верить поздней катаевской беллетристике, тринадцатилетний Валя видел Куприна в 1910-м («толстячок с несколько татарским круглым лицом и узкими зеленоватыми глазами»), когда тот сел в аэроплан с «волжским богатырем» Иваном Заикиным — полетав на глазах у публики, они чуть не разбились и совершили аварийную посадку.

В том же подростковом рассказе «Темная личность» Аркадий Аверченко торгуется с издателем «Сатирикона» Корнфельдом по поводу аванса за эпиграмму на лидера Союза русского народа (союзников):

«— Ах, Моисей Генохович, но ведь аванс не под какого-нибудь Меньшикова — ведь аванс под самого Пуришкевича, а? Под самого Владимира Мгаро…

— А! Ай ему в рот палкой, не говорите мне про этого проклятого с… с… союзника!»[3]

(На самом деле Корнфельда звали Михаил Германович.)

Как правило, ранние рассказы Катаева — живые, построенные на сцепке деталей, с тонким юмором, еще и всегда слегка дидактичны. Набожен герой «Весеннего звона». «Каждый день утром и вечером я хожу в церковь», — рассказывает он о своей Страстной седмице. Ошибочно приревновав к девочке, в которую влюбился, знакомого мальчика Витьку, он заложил мнимого соперника его матери и из-за мук совести начал гореть, как от температуры, чтобы в пасхальный день исповедаться при встрече:

«— Прости меня.

— За что?

— За то, что я на тебя наюдил.

— А ты разве юдил?

— Юдил, что ты курил».

Детски-назидательный дух первых вещей подтверждает и «Стихотворение в прозе» 1913 года, перекликающееся с поздними катаевскими знаменитыми сказками и историями для детей («Жемчужина», «Пень»). Это история победы весны над зимой и отдельного бессмысленного упорствования: «Лишь один на дне оврага, лишь один сугроб угрюмый — от метелей злых остаток — не растаял под лучами благодатного светила». Заканчивается все, конечно же, триумфом солнца: «И сугроб холодный таял. Он не мог томиться дольше под горячими лучами… И сугроба в жаркий полдень под ракитами не стало, а на этом месте вырос кустик маленьких фиалок».

Несомненно, катаевская проза росла из его поэзии, и хотя он потом ее забросил и возвращался к ней редко, неистребимой сутью его прозы сделалась сильнейшая поэтичность.

В газеты и журналы он тянул с собой брата, возможно, пытаясь пристрастить к писательству, что спустя годы удалось. «Женька, идем в редакцию!» — кричал Валя. «Я ревел, — вспоминал Петров, предполагая: — Он водил меня потому, что ему одному идти было страшно».

Катаев исписывал стихами и прозой тетради и даже свободные страницы учебников.

Он много писал о природе — море, луна и месяц, хрустальный хор светлячков, весна и ветер, но и о любви, влюбленности, страсти, а часто обо всем сразу, смешивая пейзаж и образ спутницы, порой доходя до игривого экстаза:

Как пьявки губы, и взгляд как жало,
Горячий шепот как шелест роз.
Тоска и радость мне сердце сжала.
Люблю улыбки твоей наркоз.

Вале казалось не только естественным, но и интересным быть патриотом. Горячим. Как славное Черное море. Хоть бы и с перехлестом. Этот ранний патриотизм был сродни раннему эротизму. Причины были везде и во всем — от пушечного ядра на Николаевском бульваре до военных наперсных крестов в шкафу: сплетение родовых корней, домашняя атмосфера, сердечные порывы.

В балагане на Куликовом поле он смотрел представление, посвященное Порт-Артуру, и «страдал за унижение России», проигравшей японцам. Сделанный из папье-маше длинный броненосец «Петропавловск», полотнище Андреевского флага на матче… «В моей душе шевельнулось горячее чувство восторга, хотя я еще тогда не знал, что это необъяснимое чувство называется патриотизмом».

…Город, возникший вокруг крепости, возведенной под руководством освободителя южных земель от турок полководца Суворова[4], устроителя Новороссии светлейшего князя Потемкина-Таврического… Одесса адмирала-испанца де Рибаса, француза-градоначальника герцога Ришелье и его преемника графа Лонжерона. Город, где столько раз была война и менялись власти. Город горящего майским вечером вместе с людьми Дома профсоюзов на том самом Куликовом поле, которое Катаев попросту называл Кулички и напротив которого жила его семья, переехавшая на Канатную…

«Сухой, сильный степной ветер нес через Куликово поле тучи черной пыли…» — наблюдал он, и ему приходили в голову зловещие образы бойни.

В 1912 году, в столетие Отечественной войны, Катаев выступил в гимназии, где проходило торжественное литературно-художественное утро, со стихотворением:

Война недолго продолжалась.
В России скоро не осталось
Ни одного врага, и вот —
Вздохнул свободнее народ.

Настали святки. Все ликуют.
Несется колокольный звон.
Победу русский торжествует.
Погиб, погиб Наполеон…

Пока в России дух народный
Огнем пылающим горит,

Ее никто не победит!

На последних строчках он «выбросил вперед руку со сжатым кулаком».

Он помнил пересказанную ему бабушкой со слов прабабушки историю про артиллерийского прапорщика Щеголева, героя Севастопольской кампании, отбившего английский десант и спасшего Одессу. «Бабушка вытирала платочком слезы восторга, и я тоже начинал плакать от гордости за русскую армию и мечтал стать когда-нибудь таким же прапорщиком артиллерии, как Щеголев».

А бывало и так… В 1911-м Катаев, которому еще не исполнилось пятнадцати, все в том же «Одесском вестнике» выступил со стихотворным обращением «Пора (Посвящается всем монархическим организациям)»:

Волнуется русское море,
Клокочет и стонет оно.
В том стоне мне слышится горе:
«Давно, пора уж давно!»
Да, братья, пора уж настала,
От сна ты, Россия, проснись.
Довольно веков ты дремала,
Пора же теперь, оглянись!
Ты видишь: на западе финны
Свой точат коварно кинжал,
А там на востоке раввины, —
Китайский мятеж обуял.
И племя Иуды не дремлет,
Шатает основы твои,
Народному стону не внемлет
И чтит лишь законы свои.
Так что ж! неужели же силы,
Чтоб снять этот тягостный гнет,
Чтоб сгинули все юдофилы,
Россия в себе не найдет?
Чтоб это тяжелое время
Нам гордо ногами попрать
И снова, как в прежнее время,
Трехцветное знамя поднять!

(«Одесский вестник» явно опечатался: вместо «равнины» набрано «раввины» — вероятно, от полноты чувств.)

Эти стихи занятно диссонируют с биографией Катаева, не раз впоследствии в прозе и в жизни показывавшего себя вполне «юдофилом».

В 1912-м «Одесский вестник» помещает торжественные стихи Катаева «Привет Союзу русского народа в день шестилетия его»:

Привет тебе, привет,
Привет, Союз родимый:
Ты твердою рукой
Поток неудержимый,
Поток народных смут, —
Сдержал. И тяжкий путь
Готовила судьба
Сынам твоим бесстрашным,
Но твердо ты стоял
Пред натиском ужасным,
Храня в душе священный идеал.

* * *

Шесть лет прошло.
Рассеял ветер тучи,
И засиял Российский небосклон,
Зарею новою и чудной озарен.
Взошла для нас заря,
Настало пробужденье.
И пусть же русский дух —
Могучее стремленье
Гнет вражеский в мгновение сломит
И знамя русское высоко водрузит.

* * *

Взошла для нас заря…
Колени преклоните
И в любящей душе
Молитву сотворите:
«Храни Господь Россию и Царя».

(В 1913-м это стихотворение вышло почти в том же виде, стихотворец убрал эпитет «чудный» про зарю и переменил сроки: «Семь лет прошло».

Стих гуляет по Интернету в варианте, где написано «преклони» и «сотворяя», и таким образом в последней строфе

пропущено сказуемое, но это не рано пробудившийся катаевский мовизм — «пишу, как хочу», а опечатка небрежно переписавшего из архива.)

Когда в романе «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» он пишет: «Генеральша варила варенье, а генерал сидел в бархатном кресле и читал черносотенную газету “Русская речь”», хочется поинтересоваться — уж не со стихами ли юного Вали?

Например, теми, что вышли 14 апреля 1913 года на мелованной бумаге в пасхальном вкладыше в газету:

> На устах — слова привета.
> Перезвон колоколов…
> Сколько жизни! Сколько света!
> Сколько солнца и цветов!..

До этого 30 января 1913 года в «Русской речи» появилась статья «Школьные учебники», подписанная «В. К-въ» (с большой вероятностью, за авторством шестнадцатилетнего Катаева — он признавал, что подписывался так!), где со знанием дела бойко критиковалось гимназическое образование и, в частности, хрестоматии для чтения по русскому языку и учебники по русской литературе. «В некоторые хрестоматии для учеников младших и средних классов ныне уже включены, как образцы для изучения, отрывки из Максима Горького, Тана, Якубовича и других представителей современной оппозиционной литературы, — беспокоился автор. — В истории литературы еще ярче выступает это оппозиционное начало; в популярной для учеников форме проводится идея о “прогрессивных задачах” в нашей литературе и в обществе, а то, что явно противоречит этой идее, либо совершенно исключается, либо освещается как “материал реакционный”, не заслуживающий внимания». Автора огорчали осмеяние знаменитой «Переписки с друзьями» Гоголя, замалчивание славянофилов и то, что «памятный роман» Достоевского «Бесы» противопоставляется «русскому свободомыслию».

Между тем влечение и почтение к Союзу русского народа могли быть следствием семейного воспитания. Как рассказывал поэт и одессит по происхождению Семен Липкин, отец писателя был известен на весь город своими взглядами, близкими к «черносотенным».

Это неудивительно — подобные взгляды имели силу в Одессе, где (единственный случай в истории монархического движения) в 1913-м черносотенцы одержали убедительную

победу на выборах в Думу, а их лидер Борис Пеликан был городским головой до февраля 1917-го.

Интересно, что в повести «Белеет парус одинокий» Катаев в точности передает внешность, манеры и психологический типаж отца, вдовца, воспитывающего двух мальчиков при помощи их тети, но рисует его «прогрессивным педагогом», укрывающим то матроса с «Потемкина», то евреев-соседей, и даже бросает грудью навстречу проклятым громилам, которые принимаются его лупить. Ну а впрочем, многие русские националисты защищали «громимых» (например, Василий Шульгин).

Катаев, уже старик, однажды в Переделкине разоткровенничался с писательницей Инной Гофф и вспомнил одесский погром: выставили икону на окно и прятали у себя семью соседа, ремесленника. Его дочки были в соломенных шляпках. «Как флаконы», — улыбнулся Валентин Петрович.

ДЕВОЧКИ КАТАЕВА

Первое свидание он, пятнадцатилетний, назначил знакомой, четырнадцатилетней девочке. И когда оно состоялось, не знал, что делать. Сводило с ума само сладкое слово «свидание»…

«Валька бегал за всеми девочками в Отраде», — вспоминала одна из его одесских подружек. Имена тех, кому он посвящал стихи, известны: Тася Запорожченко, Мара и Мила Булатович, Люля Шамраевская и, конечно, Ирен Алексинская (о ней отдельный сказ).

«Вечной влюбленности я был подвержен с детства, когда не было дня, чтобы я не был в кого-нибудь влюблен», — признавался Катаев. И он же: «Мой донжуанский список состоял почти из всех знакомых девочек, перечислять которых нет никакого смысла».

Самые ранние известные рукописи Катаева — стихотворные записи в альбом Тасе (Наталье) Запорожченко 1912 года (она была сестрой его товарища Женьки по кличке Дубастый, жили они по соседству):

Я грущу в эти вешние дни…
Милый друг, успокой же меня…

Или:

Был я мал и глуп, когда впервые
Написал сюда шестнадцать строк…
Мне смеялись глазки голубые
И звенел веселый голосок…

В будущем Наталья, как и ее брат, будет гостить у него в Переделкине.

Но вот — сопровождаемые автопортретами и рисунками стихи в альбомах сестер Мары и Милы (Тамары и Милицы). Обеим он признавался в любви. Одно стихотворение так и называлось «Маре Булатович от влюбленного поэта!!!», а в другом, посвященном Миле, сообщалось:

Я не смогу Вас позабыть:
Довольно Вас хоть раз увидеть —
Чтобы безумно полюбить
Или безумно ненавидеть!

Про Вас пишу не много, Мила:
«Клянусь я разумом осла,
Клянусь слезами крокодила,
Что Мила чертовски мила».

Все это похоже на чепуху, подростково-кавалерскую забаву, да и в старости Катаев отмахивался: «Это были пустяки: ленточки из косы на память, письмецо на голубой бумаге, стишки в альбом: “Бом-бом-бом, пишу тебе в альбом. Хи-хи-хи, вот тебе стихи”», но и замечал: «Некоторые мои романчики проходили в очень тяжелой форме, даже с мучениями ревности».

Вероятно, достаточно серьезным было его отношение к девушке с «сиреневым именем» Ирен.

В 1913 году, когда Катаевы переехали на Пироговскую, 3, Валя познакомился с четырьмя сестрами Алексинскими. Одна, Инна, отпала — старше его, другие, близняшки Шура и Мура — слишком малы, осталась — Ирина, она же — Ирен.

Ирина Константиновна Алексинская родилась 5 мая 1900 года. Отец — генерал-майор артиллерии, мать — любительница музыки и поэзии. Болезненная девочка в отличие от сестер получила домашнее образование, рисовала, писала стихи, играла на рояле — в доме образовалось что-то вроде салона или «кружка поклонников». Шура вспоминала, что Катаев «влюбился в сестру с первого взгляда». Так это или не так, однако о ней им написано больше, чем о какой-либо другой…

Она — прототип подлой Ирен Заря-Заряницкой в «Зимнем ветре» и милейшей Миньоны в «Юношеском романе». И главное — ей посвящены совсем не шаловливые юношеские стихи.

А была ли любовь?

Вот, например, сохранившийся отрывок из письма: «Дорогая Ирен!

Страшная и жестокая вещь любовь! Она неслышно и легко подходит, ласково целует глаза, обманывает, волнует, мучит и никогда не уходит, не отомстив за себя. Я не знаю, что со мной делается…»

Или он обманывался и обманывал ее, как осознал под конец жизни, а по-настоящему любил другую?

На фотографиях Ирен часто прижимает к себе кошек, в ее круглом личике с большими глазами тоже есть что-то задумчиво-кошачье, и Катаев писал о ее «кошачьем язычке» (в голодные годы она стала лепить из глины и раскрашивать кошек и диковинных монстриков, которых сестрицы продавали «на толчке». На последней карточке 1927 года, где Ирен, уже лежачая, с лицом,

как череп, белая кошка поверх одеяла внимательно щурится в объектив). Рожденная в мае, она считала сирень своим цветком. «За то, что май тебя крестил / И дал сиреневое имя…» — писал Катаев, а в Другом стихотворении (журнал «Жизнь», 1918, № 1, июнь) объяснялся так:

Твое сиреневое имя
В душе как тайну берегу.
Иду тропинками глухими,
Твое сиреневое имя
Пишу под ветками сквозными
Дрожащим стэком на снегу…

В ее записной книжке было немало его стихотворных посвящений (некоторые печатались в одесских газетах и даже столичных журналах), но она писала и сама. Вот, к примеру, стихотворение «Поэту — от девочки с сиреневым именем»: адресат назван «возлюбленным», но как будто бы для размера, такое впечатление, что мог бы называться и «влюбленным»:

Из сиреневой душистой неги
Я сплету причудливый букет
И тебе его в окошко брошу —
Получай, возлюбленный поэт!
Отряхнись скорей от сонной лени
И, вдыхая запах, — вспоминай:
Это та — чье имя из сирени
Сплел тебе, для счастья, звонкий май.

Читая эти стихи, вспоминаешь катаевское наблюдение — в ней было много снисходительного и повелительного, от отца. Губы для выговора, а не для поцелуя…

Уйдя на фронт Первой мировой, Катаев попал под протекцию ее отца (служил в его артиллерийской бригаде) и неустанно слал ей письма, несколько раз наведываясь в Одессу с разрешения генерала. В это же время в журнале «Театр и кино» (1916) появляется его стихотворение «К ногам Июли Шамраевской» (и ей тоже он слал письма из «действующей армии»).

В 1916–1917 годах он учился в Одесском пехотном училище и снова мог постоянно видеться с Ирен. Потом были очередное отбытие на фронт, ранение, возвращение — они порвали в конце 1918-го — начале 1919 года, и большой вопрос, что их связывало, кроме строчек и рифм («Когда впивая влажными губами мой

поцелуй, / Ты вздрогнешь, как лоза…» — сулил он).

Что их развело?

Прежняя социальная иерархия обвалилась. В 1919-м Одессу взяли красные… Потом откатили. В 1920-м вернулись окончательно. Приходилось приноравливаться.

А не был ли этот роман с самого начала выдуманным? Для Ирен — «лишний поклонник», для Валентина — романтика странствующего рыцаря.

Все-таки, видимо, чувство было, ведь была же тоска несовпадения, вспоминает же он ночное объяснение, после чего, отвергнутый, до рассвета просидел на берегу моря на шаланде, перевернутой дном кверху:

> И ныло от тоски все существо мое,
> Тоска была подобна черной глыбе,
> И если бы вы поняли ее,
> То разлюбить меня, я знаю, не смогли бы.

Или она предпочла ему другого? Он вспоминал про ее «серьезный роман» с его гимназическим товарищем, затем бежавшим за границу…

Ирина умерла от туберкулеза, прикованная к постели, 13 октября 1927 года. При последней встрече в начале 1920-х она отдала Валентину пачку его фронтовых писем.

В 1960-м Александра и Мария Алексинские вернули Катаеву основную часть писем.

У этого была предыстория — Катаев свел с Ирен счеты в романе 1960 года «Зимний ветер», где всех назвал по именам и внешность бывшей пассии выписал с абсолютной точностью. Петя Бачей влюблен в Ирен, дочь генерала, барышню с «крупно вьющимися волосами бронзового оттенка» и «серовато-лиловыми глазами», которая «возрастом старше сестер-двойняшек, но младше красавицы Инны». Ее отец расстрелян (в действительности же эвакуировался), и она исполнена злобы: «Теперь кончено. Россия должна быть только монархией и ничем другим. А всех большевиков во главе с Лениным надо вздернуть на первой осине». Она стреляет в Петю из дамского револьвера, но мимо, а он — и, кажется мне, совсем не по идеологическим причинам — «несколько раз с наслаждением и злорадством хлопнул ее по щекам, приговаривая:

— Ах ты дрянь, ах ты генеральская тварь…

Она тонко завыла от боли и унижения и побежала по аллее, закрывая лицо руками. Черная вуаль зацепилась за сучок и повисла на кусте, с которого посыпался иней…».

Страстный вымысел уязвленного мужчины.

Коротко о генерале Алексинском. Во время Первой мировой Константин Гаврилович — командующий 64-й артиллерийской бригадой. Участник Белого движения на Юге России. На май 1920 года — в Югославии.

В июне 1961 года Катаев, прославленный прозаик, отвечал в Одессу оскорбленным Алексинским, принося извинения и заверяя в прежней любви, но как бы даже насмешливо:

«Дорогие “сестры А”!

Вы неправы, обвиняя меня в том, что я вывел в своем романе “Зимний ветер” вашу семью. Это недоразумение, основанное на деталях… Ваши имена не столь самобытны, чтобы служить прямым указанием на семью… Вы должны понять, что у писательства есть свои великие законы, которые очень трудно перешагнуть».

Катаев не раз указывал на несбывшуюся несчастную любовь, которую не мог забыть и которая переплавлялась в литературу.

Но об Ирен ли речь?

Или это другая потаенная любовь?

Или это собирательная «горечь прежних любовных неудач»?

В «Юношеском романе» он писал, что в Миньону (Ирен) был влюблен «поверхностно, как бы буднично», а «безнадежно и горько» любил некую Ганзю.

Кто же такая Ганзя?

В жизни ее звали Зоя Корбул[5].

Родная сестра Зоиного мужа подтвердила, что Катаев нарисовал ее точно: глаза «карие, какие часто встречаются у молдаванок», волосы «темно-каштановые с еле заметным золотистым отливом», невысокая — «неизвестно, как было заложено в меня тяготение к девушкам небольшого роста, как говорилось тогда, Дюймовочкам». Но любил он ее не за внешность. Он никак не мог описать ее прекрасную неуловимость. Неосуществленное, связанное с ней, какое-то обещание счастья томило его всю жизнь.

(Не о ней ли упоминавшийся рассказ семнадцатилетнего «Весенний звон»? «— Ах да! — развязно восклицаю я. — Христос воскресе! Я и забыл… Все хорошо, но в любви самое паршивое это то, что надо целоваться». Спустя полстолетия тот же автор напишет: «— Христос воскрес, — сказал я более решительно, чем этого требовали обстоятельства, и неуверенно шагнул к ней… — Воистину, — ответила она и спросила, улыбаясь: — Надо целоваться? — Приходится, — сказал я, с трудом владея своим грубо ломающимся голосом».)

Зоя Ивановна Корбул родилась 6 августа 1898 года в имении

своих родителей недалеко от Днестра. По семейному преданию, их род брал начало от римского полководца Кобулона. Катаев придумал фамилию Траян не случайно: Марк Ульпий Траян — блестящий римский полководец. «Судьба привела меня, наконец, к Траянову валу, где я решил умереть, как скиф, отвергнутый римлянкой». Зоя училась в одесской частной гимназии О. С. Белен-де-Баллю. Он тянулся к девушке и молчал. Молчал годами. В 1915-м Зоя поступила на историко-филологический факультет Одесских высших женских курсов. «Хотя она уже была в полном расцвете своей молодости и красоты, курсистка, невеста, а я, хотя и пехотный офицер-прапорщик Керенского, как тогда говорилось, между нами стояла, как в юности, странная, прозрачная стена моей молчаливой робости и ее милого равнодушия». Катаев описал и ее жениха, а потом мужа Сергея Стефанского, дворянина, офицера, спортсмена «с красивым римским носом и сдержанной улыбкой победителя». Зоя обвенчалась с ним в 1919-м. Через месяц был крещен их новорожденный сын, а в начале 1920 года с приходом красных они уплыли в Константинополь («маленькая гордая римлянка-изгнанница»). В Одессе умер их первый и последний ребенок, оставленный на руках у Зоиной матери, и был убит Зоин брат-белогвардеец, которого Катаев запомнил «застенчивым гимназистом».

В 1963 году, уже после смерти Сергея Стефанского, они встретились в Лос-Анджелесе.

«Америка была для меня последней надеждой еще хоть один-единственный раз увидеть женщину, которую любил с детства, а точнее говоря — с ранней юности».

Через несколько лет он снова прилетел в Лос-Анджелес и пришел к ней. А вот запись из 1960-х на обороте визитки, присланной им Зое:

«С Новым годом. Неужели у Вас нет потребностей написать мне?»

Зоя и Валентин умерли в один год — он в апреле, она в августе…

А как быть с «маленькой голодной царицей», поджавшей «сизые от купания губы»?

В повести «Трава забвенья» она, выросшая, превращается в Клавдию Зарембу, жестокую большевичку. Только вот она ли?

Как трудно разгадать этот повторяющийся на фоне Гражданской войны тревожный образ «девушки из совпартшколы», которая в его прозе то с болезненной тоской, то с ледяной решимостью сдает чекистам возлюбленного офицера — почти как Ирен из «Зимнего ветра», выдохнувшая: «Убейте его, он изменник».

Но — неизбывное правило — если у Катаева повторяется некий образ, значит, во-первых, кто-то был, а во-вторых, кто-то зацепил.

По его признанию, втайне он был влюблен в сестру друга Юрия Олеши — Ванду, хотя и видел ее мимолетно.

И продолжал со слов Олеши: «В предсмертном бреду она часто произносила мое имя, даже звала меня к себе» (Ванда умерла в 1919-м от тифа).

А в будущем ждала любовь к сестре другого приятеля — Михаила Булгакова…

…Однажды в 1919 году одесская гимназистка заметила высокого молодого человека, бредущего по бульвару в красной феске и с букетом фиалок в петлице… Их познакомили.

И там вдалеке у фонтана,
Где дышится всем так легко,
Впервые увидел вас, Анна
Сергеевна Коваленко.

С Анной они поженятся в Москве в 1923-м…

«Может быть, эта любовь — как и всё в мире — не имела не только конца, но не имела начала. Она существовала всегда».

Их очень много. Их — избыток.
Их больше, чем душевных сил, —
Прелестных и полузабытых,
Кого он думал, что любил.

Они его почти не помнят,
И он почти не помнит их,
Но, Боже! — сколько темных комнат
И поцелуев неживых.

Какая мука дни и годы
Носить постыдный жар в крови
И быть невольником свободы,
Не став невольником любви[6].

«КРУЖОК МОЛОДЫХ ПОЭТОВ»

В январе 1914 года Катаев увидел знаменитых футуристов. Маяковский, Бурлюк и Каменский выступали в южных городах (Северянин откололся в начале турне). В Одессе их первый вечер прошел в Русском театре и встретил уничижительную газетную критику — кассирша была разрисованная: золотые губы и нос, ярко-голубой треугольник над переносицей, синий и красный квадраты на щеках; над ней все потешались и ее главным образом запомнили; поэты были с черными вопросительными знаками и синими треугольниками на лицах. Катаев вспоминал, что хотя и понимал нужность языкового обновления, смотрел на футуристов «как на выкрутасы, видел в их вывертах только оригинальничанье, позу», а стихи Маяковского «были мне противопоказаны по всему моему складу».

В 1914-м стихи Катаева опубликовали в Петербурге в журнале «Весь мир», и в том же году журналист, фельетонист и литературный критик Петр Пильский (между прочим, посетивший Толстого в Ясной Поляне и общавшийся с Чеховым) организовал для одесских дачников выступления юных поэтов. Пильский вообще был мастером публичных мероприятий — он открывал вечер Маяковского и кубофутуристов, читал популярные лекции, одна из которых называлась «Измена женщины и месть мужчины». «Пильский был темпераментный и бойкий писатель, умело владевший пером, — вспоминал Корней Чуковский, — но бретер, самохвал, забияка, драчун».

Весной 1914 года в одесских газетах Пильский напечатал следующее объявление: «Поэтам Одессы. Этой зимой возникла мысль об устройстве вечера молодых поэтов юга… Я прошу молодых поэтов собраться в литературном клубе сегодня в 9 час. вечера». 15 июня состоялся вечер «Кружка молодых поэтов» в курзале Хаджибейского лимана (дачное место под Одессой).

В литературный клуб шестнадцатилетний Катаев принес тетрадь с вклеенными газетными стихотворениями и поэмой «Зимняя сказка» (в значительной части об охоте на зайцев, о которой он понятия не имел).

Там на отборочном собрании в полутемном зале он познакомился с Эдуардом Багрицким, сыном приказчика, учеником реального училища.

Гимназистам было запрещено участие в публичных выступлениях, и они укрылись псевдонимами: один стал «Валентином К», другой, Натан Шор — «Фиолетовым», ученик реального училища Дзюбин — «Багрицким».

Одесский поэт Александр Биск писал в мемуарах: «Самым талантливым мы считали Багрицкого, мы все увлекались его первыми стихами, в них было много силы и красок, бесшабашной удали», а вот слова поэтессы Аделины Адалис: «В юности, в Одессе, Эдя считался нашим главарем».

Катаев приводил отрывок несохранившегося стихотворения приятеля:

Нам с башен рыдали церковные звоны,
Для нас подымали узорчатый флаг,
А мы заряжали, смеясь, мушкетоны
И воздух чертили ударами шпаг…

«Его руки с напряженными бицепсами были полусогнуты… Он выглядел силачом, атлетом… Впоследствии я узнал, что с детства он страдает бронхиальной астмой и вся его как бы гладиаторская внешность — не что иное, как не без труда давшаяся поза». Певец моря не умел плавать… Поэтесса Зинаида Шишова в мемуарах замечала: «У Багрицкого было всего три изъяна: не хватало переднего зуба, не сгибался палец на правой руке и щеку пересекал шрам (“фистула” — знали мы, “сабельный шрам” — думали девушки)».

На отборочном собрании Катаев увидел и Семена Кесельмана (Кессельмана), иногда подписывавшегося псевдонимом Эскесс — С.[«эс»] Кесс[ельман], «поэта старшего поколения» (родился в 1889-м)… «Эскесс уже тогда был признанным поэтом и, сидя на эстраде рядом с полупьяным Пильским, выслушивал наши стихи и выбирал достойных». А вот из Олеши: «Также был еще в Одессе поэт Семен Кессельман, о котором среди нас, поэтов более молодых, чем он, ходила легенда, что его похвалил Блок… Тихий еврей с пробором лаковых черных волос…»

«Он жил вдвоем со своей мамой, вдовой. Никто из нас никогда не был у него в квартире и не видел его матери», — писал Катаев. Шишова, напротив, утверждала, будто бы Кесельман «появлялся в обществе исключительно об руку с мамашей». А Багрицкий написал на него такую эпиграмму:

Мне мама не дает ни водки, ни вина.
Она твердит: вино бросает в жар любовный;
Мой Сема должен быть как камень хладнокровный,
Мамашу слушаться и не кричать со сна.

Александр Биск свидетельствовал: «Одним из самых слабых

считался у нас Валентин Катаев: первые его вещи были довольно неуклюжи; я рад сознаться, что мы в нем ошиблись. Не все молодые писатели вышли на большую дорогу. Очевидно, кроме таланта нужно и счастье, и уменье подать себя. Что стало, например, с Семеном Кессельманом, очень талантливым поэтом, которого я лично ставил выше всех остальных? Он прекрасно умел передать чувство одиночества в большом городе».

После революции Семен Иосифович работал юрисконсультом в Одесском гостиничном тресте и умер от сердечной болезни в 1940-м. В начале оккупации вдова поэта, Милица Степановна Зарокова, опасаясь надругательства над могилой мужа, убрала с кладбища и спрятала надгробную табличку с именем Кесельмана.

Наше счастье юное так зыбко
В этот зимний, в этот тихий час,
Словно Диккенс с грустною улыбкой
У камина рассказал о нас. —

писал он в стихотворении 1914 года «Зимняя гравюра».

Выступления перед одесскими дачниками на театральных площадках и в летних ресторанах сдружили молодых поэтов.

Катаев вспоминал: «Петр Пильский, конечно, ничего нам не платил, но сам весьма недурно зарабатывал на так называемых вечерах молодых поэтов, на которых председательствовал и произносил вступительное слово, безбожно перевирая наши фамилии и названия наших стихотворений. Перед ним на столике всегда стояла бутылка красного бессарабского вина, и на его несколько лошадином лице с циническими глазами криво сидело пенсне со шнурком и треснувшим стеклом».

(В 1940-м эмигранта Пильского парализовало, когда в его рижском доме проводили обыск сотрудники НКВД, появившиеся вместе с занявшими Латвию советскими войсками. Он скончался в декабре 1941 года в своей квартире во время немецкой оккупации.)

В том же 1914-м Катаев познакомился с Юрием Олешей.

Часто ярким писателям загадочно случается пройти и остаться в литературе парами. Они были связаны «какими-то тайными нитями», как писал Катаев.

Любопытно, оба настолько обожествляли жизнь, что в разное время написали о надежде, что никогда не умрут. Они всегда словно бы отражались друг в друге, и не только в юности — поздний Катаев признавал, что его новый стиль возник под сильнейшим влиянием Олеши.

Катаев впервые в свои семнадцать наблюдал

пятнадцатилетнего Олешу на футболе — коренастого, в серой куртке Ришельевской гимназии, засадившего мячом в ворота.

«Я писал под Игоря Северянина, манерно, глупо-изысканно, — вспоминал Олеша, — Катаев, к которому однажды гимназистом я принес свои стихи в весенний, ясный, с полумесяцем сбоку вечер. Ему очень понравились мои стихи, он просил читать еще и еще, одобрительно ржал. Потом читал свои, казавшиеся мне верхом совершенства. И верно, в них было много щемящей лирики… Кажется, мы оба были еще гимназисты, а принимал он меня в просторной пустоватой квартире, где жил вдовый его отец с ним и с его братом… Он провожал меня по длинной, почти загородной Пироговской улице, потом вдоль Куликова поля, и нам открывались какие-то горизонты, и нам обоим было радостно и приятно».

ЗНАКОМСТВО С БУНИНЫМ

В том же 1914 году, судьбоносном для России, вступившей в войну, он познакомился с Буниным, ежегодно бывавшим в Одессе.

В этом месте сразу хотелось бы сказать о двух главных бунинских наследниках.

Это Владимир Набоков и Валентин Катаев.

Идея, казалось бы, лежит на поверхности, но как мало и слабо она осмыслена в литературоведении…

Оба не просто были знакомы с Буниным и смиренно представляли ему на суд первые тексты (хотя встретился Набоков с уже нобелевским лауреатом только в 1933-м), но и совпадали с ним в главном — верховенство красок над остальным, внимание к детали, переживание бренности. Особый прищур: жадное всматривание в яркую жизнь на контрасте с тревожным ожиданием неизбежной черноты.

«Бунин учил меня видеть, слышать, нюхать, осязать», — писал Катаев. Ученик наследовал учителю вплоть до мелочей: если у Ивана Алексеевича кончик сигареты краснел во тьме земляничиной, у Валентина Петровича — ягодой малиной.

В марте 1921 года юный Набоков отправил Бунину письмо с признанием в любви, и его жена Вера Муромцева сообщила в дневнике: «Книга Яну от Сирина. Мне понравилась надпись: “Великому мастеру от прилежного ученика”, он не боится быть учеником Яна и, видимо, даже считает это достоинством». «Дорогой учитель Иван Алексеевич!» — обращался Катаев в письмах.

Набоков полагал, что нашел родственного художника: Бунин острее других чувствует разрушительную силу времени и способен управиться с ним через искусство. Поздний Катаев твердил о своем открытии: времени не существует. Бунин: «Я не признаю деления литературы на стихи и прозу». Набоков: «Поэзия включает все творческое сочинительство; я никогда не мог уловить никакой родовой разницы между поэзией и художественной прозой». Катаев, по выражению Николая Асеева, «свои стихи превратил в прозу», но и пошел дальше, ломая жанры, не только свободно перемешивая прозу и поэзию, но и раскавычивая чужие строфы: «Я считаю хорошую литературу такой же составной частью окружающего меня мира, как леса, горы, моря, облака, звезды…»

«Я думаю, что не будь меня, не было бы и Сирина», — сказал Бунин о Набокове. «Бунин читал “Парус” вслух, восклицая — ну кто еще так может? — сказала Муромцева в 1960-м катаевской

жене Эстер. — Но вот в одно он никогда не мог поверить: что у Вали Катаева — дети» (то же учительское отношение: прекрасный текст, но автор — все равно мальчик).

Набоков, отрицавший советскую литературу, сделал исключение для сюжета «Двенадцати стульев», придуманного Катаевым (и Олешу похвалил в интервью рядом с Петровым, Ильфом и Зощенко).

Набоков не называл именно Катаева, но хвалил тех, кто рядом («тепло!» — как в жмурках), что можно объяснить отталкивавшей его близостью стиля. То же самое писатель Анатолий Гладилин находил и у Катаева: «По густоте сравнений и метафор, по красочности и точности деталей он не уступал Набокову. Набокова, кстати сказать, Катаев не любил, но, думаю, это была “нелюбовь-ревность”, как не терпит сильный волк-вожак сильного волка-соперника в своей стае, на своей территории… Других соперников он себе не видел».

А вот противоположное, но подтверждающее всю ту же мысль свидетельство сотрудника «Нового мира» Алексея Кондратовича из дневника 1969 года: «Вкусы Катаева очень точно выразились во фразе: “Набоков, конечно, великий, величайший писатель”».

А по воспоминанию критика Сергея Чупринина в 1973-м, на совещании молодых литераторов, после чьей-то реплики: «Валентин Петрович, согласитесь, вы же лучше всех пишете?» — скучающий мэтр оживился: «Нет, я второй. Писатель номер один — запомните! — и по складам: Набо-ков».

18 апреля 1974 года в «Правде» в статье, посвященной постановлению ЦК КПСС «О литературно-художественной критике», литературовед Александр Дымшиц призывал к порядку: «Сближение советского писателя В. Катаева с декадентским зарубежным литератором эмигрантом Набоковым, безусловно, не ответственно».

И Катаев, и Набоков повели эстетизм своего учителя дальше, оригинальными траекториями, на разных половинах земного шара.

Раньше, по юношеской дури, мне казалось, что Катаев — это Набоков для бедных: упрощенный, с отсечением неблагонадежных мыслей, необходимостью потрафлять цензуре и пропаганде, некоторой журналистской поверхностностью, рассчитанной на «широкие массы», с задиристой китчевостью, когда посреди собственной прозы можно сверкать строчками, вырванными из чужого стихотворения, труднодоступного советскому человеку.

Теперь я думаю по-другому.

Набоков — неподвижное бездонное озеро, Катаев — море,

всегда наморщенное ветром.

Катаева от Набокова отличало присутствие в прозе ветра, который можно назвать «демократизмом».

Биографии разные. Разный пульс. Катаев — это причастность к истории, вовлеченность в события, и действительно удел сообщаться с тьмой читателей, завоевывая их. Набоковское присутствие в истории — прежде всего судьба его отца-кадета. Катаева же закрутило: войны, раны, стройки, необычайная близость власти и постоянная вероятность гибели. Отсюда — косой ветер, который прорывался сквозь снобизм великолепной отделки, отсюда фирменные пробелы между кусками прозы и просто фразами: на этих пустых пространствах ветрено. Ветер морщит строчки.

Катаев вспоминал: уже сочиняя стихи и даже печатаясь, он о Бунине еще не знал.

Но однажды в редакции «Одесских новостей» журналист Герцо-Виноградский, писавший фельетоны под псевдонимом Лоэнгрин, посоветовал показать стихи Александру Федорову, после чего мальчик сообразил, что это отец его товарища Витьки, хваставшего, что «батька писатель». Это тот самый Витька из «Весеннего звона», на которого «наюдил» рассказчик («— А кто твой папа? — Писатель»). Именно этот Витька потом чудом избежит расстрела в ЧК и станет героем повести «Уже написан Вертер». По другой версии, с Федоровым Валю познакомил собственный отец, знавший писателя и у него бывавший.

Так или иначе, Катаев посещал Федорова, благоговейно выслушивая советы и стихи.

Александр Митрофанович Федоров — художник, прозаик, поэт, драматург, любимый ученик Майкова, к тому времени автор многотомного собрания сочинений, теперь забытый, но для Вали — важный человек на жизненном пути, первый настоящий писатель. Автор нашумевшего романа «Камни», где еще в 1910 году предсказывались революция, гибель царской семьи (семья помещика Лигина) и крах всей прежней России.

Владелец роскошной дачи в Люстдорфе, он привечал именитых гостей и закатывал литературные обеды (один такой пир с золотистыми пирожками изображен Катаевым в рассказе 1917 года «Воскресенье»). Его книги издавались в Петербурге и Москве, там же шли пьесы, он переписывался с Чеховым, ухаживал за молодой Ахматовой, ему посвятил стихотворение Брюсов.

Федоров ошеломил Валю стихами Бунина…

В «Грасском дневнике» любовница Бунина Галина Кузнецова приводила его слова: «Да, помню, как он первый раз пришел.

Вошел ко мне на балкон, представился: “Я — Валя Катаев. Пишу. Вы мне очень нравитесь, подражаю вам”. И так это смело, с почтительностью, но на границе дерзости. Ну, тетрадка, конечно».

Бунин не отверг. Тетрадка заинтересовала…

Листая стихи юноши, учитель даже переделал одно из них, высокопарное:

А в кувшине осенние цветы,
Их спас поэт от раннего ненастья,
И вот они — остатки красоты —
Живут в мечтах утраченного счастья.

Он перечеркнул строфу карандашом и набросал на полях другое четверостишие со скупыми деталями:

А на столе осенние цветы.
Их спас поэт в саду от ранней смерти.
Этюдники. Помятые холсты.
И чья-то шляпа на мольберте.

«И до сих пор меня мучают эти помятые холсты, — усмехался Катаев в 1960-е, — показывающие, что даже у самых лучших поэтов иногда попадаются проходные эпитеты». После этой встречи он следовал полученным советам («Бежит собака, пишите о собаке») — старался описать все вокруг, во всем, самом будничном находя поэзию, и всюду горделиво показывал тетрадку с бунинской правкой.

У Федорова, где Бунин царил над кружком «реалистического толка», Валя наблюдал шутливые состязания по меткости художественных образов («что на что похоже»). Но одновременно почитывал столь отвратительные Бунину футуристические сборники («Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», «Засахаре кры…», «Садок судей»), с запозданием дошедшие до Одессы. Тем более знакомые молодые поэты начали выпускать свое («Шелковые фонари», «Серебряные трубы», «Авто в облаках»).

Катаев любил Блока, но никак не мог принять модернистскую вычурность и «заумь». «Мои сверстники вообще были страшными снобами. А я любил Никитина, Кольцова, ценил их. У нас дома этих поэтов знали наизусть и цитировали. Среди сверстников-леваков я был, по сути, одинок».

В начале августа 1914 года Катаев обращался в письме с покаянной искренностью, как духовный сын к наставнику:

«Многоуважаемый Иван Алексеевич!

Ввиду того, что на этих днях я выезжаю из Одессы с санитарным поездом на театр военных действий, очень прошу назначить мне обещанный “осенний” день и час, дабы я мог с Вами проститься и узнать Ваше мнение о моих последних 5–6 вещицах, в которых нет ни одного слова лжи. Из рекомендованных Вами книг ни одной не прочел по причине лени. Хотя надеюсь наверстать потерянное после окончания кампании…

Уважающий Вас *Валентин Катаев.*

Простите за беспокойство!»

Им еще предстояли послевоенные встречи среди другой войны — Гражданской.

Отныне и навек Бунин отпечатался на всей катаевской литературе…

Бунинской эстетикой был проникнут пейзажный цикл, публиковавшийся с марта по август 1915 года в журнале «Весь мир» и «Одесском листке».

А дни текут унылой чередой,
И каждый день вокруг одно и то же:
Баштаны, степь, к полудню — пыль и зной.
Пошли нам дожць, пошли нам тучи, Боже!

Это из стихотворения с подзаголовком «Посвящается Ив. Бунину».

А в «Южной мысли» от 10 апреля 1916-го уже проступила тонкая ирония — имя учителя шло через запятую с нелюбезным ему символистом:

А дома — чай и добровольный плен.
Сонет, набросанный в тетрадке накануне,
Так, начерно… Задумчивый Верлен,
Певучий Блок да одинокий Бунин…

Впрочем, ирония ли это или нежелание принимать разделения настоящей литературы на направления? Ведь и Олеша, похожий своими вкусами на Катаева, вспоминал: «Восхищение наше Буниным или Александром Блоком было чистым…»

Кстати, с Буниным Олешу познакомил Катаев:

«Так как это произошло по пути на бульвар, расположенный над морем, то всех нас, участвовавших во встрече, охватывало пустое, чистое, голубое пространство. Сперва шли по

направлению к морю только мы двое — я и Катаев; поскольку мы куда-то направлялись, то не очень уж смотрели на пространство вокруг… И вдруг подошел третий. Тут и обнаружилось, сколько вокруг нас троих голубизны и пустоты.

— Познакомься, Юра, — сказал Катаев и затем добавил, характеризуя меня тому, с кем знакомил: — Это тот поэт, о котором я вам говорил.

Имени того, кому он представил, он назвать не осмелился; я и так должен был постигнуть, кто это».

В 1915-м Олеша посвятил другу стихотворение «В степи», по собственному и Катаева определению написанное «под Бунина»:

Иду в степи под золотым закатом…
Как хорошо здесь! Весь простор — румян,
И все в огне, а по далеким хатам
Ползет, дымясь, сиреневый туман…

Но другу предстоял другой огонь — артиллерии, и другой туман — газовой атаки…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«ВО ВШАХ, В ОСКОЛКАХ, В НИЩЕТЕ, С ПРОСТРЕЛЕННЫМ БЕДРОМ…»

ПЕРВАЯ ВОЙНА

Итак, уже в августе 1914 года Катаев собирался ехать на войну с санитарным поездом.

Осенью с другими гимназистами он убирал хлеб в солдатских семьях, оставшихся без хозяев. Составлял поэтический альманах в пользу раненых (и под присланным стихотворением впервые увидел имя Олеши).

Зимой, в конце 1915-го, провалив экзамены, добровольцем (или как тогда говорили — охотником) ушел воевать.

«Выгнанный из седьмого класса за неуспеваемость гимназист-переросток, окончательно запутавшийся, понял, что для него есть только один выход», — признавался Катаев. И все же: «Хотел я себя представить молодым патриотом… И, если будет угодно Богу, умереть за веру, царя и отечество».

Война жадно забирала молодых. В письме Бунину от 14 марта 1916 года Александр Федоров, сообщая о сыне Вите, подлежавшем призыву, добавлял: «Лучшие его товарищи также пошли на это крестное страдание. Помнишь ты поэта Катаева? Он пошел из седьмого класса гимназии охотником в артиллерию. Теперь сражается».

В повести «Отец» лирический герой Петя Синайский отправляется в канцелярию воинского начальства с бьющимся сердцем и выстраданной заготовленной фразой: «Полковник, в то время когда тысячи людей умирают на войне за родину, я не могу оставаться в тылу. Прошу немедленно отправить меня добровольцем на фронт!»

В конце 1970-х Катаев вспоминал, как вылезал из землянки и прогуливался вдоль старых, «кутузовских» берез, обвешанных солдатскими котелками: «И мне казалось, что в это время в меня вселяется душа моих предков Бачеев — деда, прадеда — русских офицеров, в течение нескольких столетий и в разных местах сражавшихся за Россию, за ее целостность, за ее славу, за Черное море, за Кавказ… Все вокруг меня дышало русской историей».

Из «Послужного списка» следует, что вольноопределяющийся 1-го разряда вступил в службу в 1-ю батарею 64-й артиллерийской бригады 1 января 1916 года.

Валентин начал службу в лесу под небольшим, разбитым снарядами белорусским городом Сморгонь младшим чином на артиллерийской батарее — кануниром, затем получил нашивки бомбардира, затем младшего фейерверкера, через год был произведен в прапорщики. В письме Александру Федорову (с припиской «Если Бунин в Одессе — Привет»), который вскоре сам

отправился на войну корреспондентом, он писал: «С самого моего приезда на фронт попал в такие переплеты, что не дай Боже!»

У солдат сложилась поговорка: «Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал». Впервые за время долгого отступления русской армии немцы были остановлены именно здесь и сдерживались более двух лет. В боях под Сморгонью принимал участие штабс-капитан 16-го Менгрельского гренадерского полка Михаил Зощенко.

Катаев не воспользовался привилегией жить вместе с офицерами, поселился с солдатами, испытав все тяготы их быта.

Он не забывал и литературу — стихи, рассказы, очерки, пылкие письма с лирическими отступлениями. Позиционное ведение боевых действий этому способствовало. Хотя опасность подстерегала повсюду. Однажды он прохаживался с обнаженным бебутом (чем-то вроде длинного кинжала). Взобрался на вершину бугра, чтобы лучше видеть волшебный снежный пейзаж, и тут засвистели над головой немецкие пули. Канонир кубарем скатился вниз. «Это было мое боевое крещение».

Ирен и ее сестры отдали ему не все письма. Кое-что обнаружено в архиве Одессы. Например, вот это — карандашом, быстрым почерком:

«22 января 1916 года.

Действующая армия. Когда я получил Ваше маленькое славное письмо, ей-богу, был рад, как ребенок. Получил я его вечером. В окопе очень темно, и поэтому прочитал я его кое-как. Насилу дождался утра. Утром пошел бродить подальше от землянок, чтобы остаться с Вашим письмом наедине. Подождите, лучше стихами…

Мне было странно, что война,
Что каждый день — возможность смерти,
Когда на свете ты одна
Да ломкий почерк на конверте…

Сейчас мы на передовых позициях, а я со своим взводом за версту от немцев. Летают пули, над головой рвутся гранаты. Пустяки, привык. Буду хлопотать об отпуске на Пасху в Одессу…»

При содействии генеральской дочки он провел Пасхальную неделю дома.

И снова был фронт, где он не мог ни на минуту отлучиться от орудия без разрешения и был рад, когда получал приказ от начальства отправиться куда-нибудь по делу — тогда он шел, весело размахивая руками, то и дело вглядываясь и внюхиваясь в душистое письмо барышни…

Корреспонденции с фронта, иногда в виде «писем к И. А.», Катаев публиковал в газете «Южная мысль». Он старался передать фронтовой быт в мельчайших подробностях, не забывая делать акцент на положительных сведениях. «Наша техническая подготовка — безукоризненна». За пять верст от позиции — лавочка, солдаты шествуют оттуда «счастливые, нагруженные сахаром, булками, салом». «Против лавочки — баня. Возле нее постоянно — группы землячков со свертками белья под мышками». Отдельно отмечал он «деятельность экономических лавок, питательных пунктов и санитарных поездов В. М. Пуришкевича» — «их значение очень велико».

Катаев наперекор аду в каждом тексте упражнялся в изобразительности — много описаний природы, а звуки войны художественно поданы: пальба, как будто «кто-то хлопает дверью или выбивает ковры», «вдалеке постукивает пулемет, словно кто рубит котлеты», «ружейная стрельба издали похожая на шум осеннего моря».

«По вечерам у нас — музыка и танцы. Играют на гармонике, скрипке и… лавровом листике». Это солдат «засунул в рот лавровый лист и извлекает из себя тонкие, жалобные звуки». «Землячки» научились красить белые рубахи в «великолепный защитный цвет»: их бросают в котел с кипящей водой «с сочной болотной травой, березовыми листьями и т. д.». Служба и причастие — «как-то странно: орудие и возле него алтарь, икона и священник с крестом». Огромный сибиряк Горбунов стирает белье за обучение грамоте. Херсонский моряк Колыхаев учится писать письма «благоверной и благочестивой жене». А сам Катаев читает вслух классику: «Что касается Анны Карениной, то она была единогласно названа шлюхой».

Общаться по душам было не с кем: симпатизируя солдатам, он тем не менее чувствовал себя чужим. «Наша землянка похожа на погреб… Теснота ужасная, кусают блохи. Иногда я сам себе кажусь кротом, который зимует в норе… Я все боюсь, чтобы нас не открыли с аэростата и не стерли с лица земли… Хочется женской ласки…»

«И представляешь себе так живо провинциальную гимназистку с толстыми русыми косами и голубыми глазами…»

А вот — о ранении орудийного наводчика: «Оттого, что серый день глядит скупо в маленькое окошечко — на веках у раненого лежит зеленоватый свет. У фельдшера в руках таз с окровавленной водой. Живот у Стародубца забинтован. Возле двери — молоденький офицер, начальник Стародубца. Он смотрит на него большими, умоляющими глазами и говорит взволнованно и тревожно:

— Стародубец… Стародубец… Стародубец…

Словно хочет разбудить его…»

В старости Катаев вспомнит то, что не могла пропустить цензура: наводчика погубил разрыв своего же бракованного снаряда, и вокруг шушукались об измене.

Он хвалился тем, что его батарее доверили охранять авиационный отряд. «Аппарат “Илья Муромец”! Ведь это наша национальная гордость». Ему довелось увидеть «аппарат» в действии:

«Прямо у меня над головой, в зените: черная, распластанная птица, похожая на крест.

— Муромец!

Какой огромный! Как спокойно и быстро идет».

Из другого сообщения про «будни»: «Осколки гранат срезают стройные, кружевные сучья берез, которые валятся с макушек к моим ногам… Сперва жутко. Потом… тоже жутко… Попадаю сапогом в лужу крови».

Та война нашла место в его прозе разных лет. Вот, например, рассказ «Под Сморгонью» (1939): «Несколько сот десятипудовых снарядов превратили нашу батарею, наш прелестный уголок с шашечными столиками, скамеечками, клумбами и дорожками, в совершенно черное, волнистое, вспаханное поле».

В корреспонденциях Катаева из циклов «Наши будни» и «Письма оттуда» — отвага и душевность батарейцев с их подлинными биографиями и фамилиями. Фронтовые стихи выходили в петроградском журнале «Весь мир».

Ночной пожар зловещий отблеск льет.
И в шуме боя, четкий и печальный,
Стучит, как швейная машинка, пулемет
И строчит саван погребальный.

Несмотря на все горе, Катаева не оставлял патриотический настрой, так что Федоров воодушевленно писал ему весной 1916-го: «С волнением читали мы последнее Ваше письмо. Да, чувствуется, слава Богу, что теперь мы будем давить немцев и, Бог даст, раздавим их».

Война обострила в Катаеве ощущение единственности: постоянно испытывая страх смерти и даже ужас, он тем не менее был уверен в своей неуязвимости, заговоренности, подозревал себя в бессмертии, ему казалось, что это он накликал войну, как-то таинственно ответствен за бойню. Впоследствии он повторял, что на войне потерял веру.

Именно в военных рассказах и зарисовках возник мотив,

который не отпустит его никогда: трагикомичность реальности, словно людскими судьбами жонглирует адский клоун. В коротком фронтовом рассказе «Земляки» (1916) в избе с больными и ранеными солдатами один из них «с ежовой головой» хвастается, как его любят бабы, и сочно описывает доставшуюся ему в отпуске солдатку, истосковавшуюся по мужчине, и тут оказывается, что один из раненых, тифозный и обмотанный бинтами, ее муж. «“Испить бы”, — прошептал обмотанный», которому не до ревности, ведь он едва жив.

Вспоминая кровавую картину, Катаев повторял: «Осадок остался на всю жизнь» — и спустя десятилетия мог застонать. «Кажется, что я весь с ног до головы в крови, которую никогда и ничем уже не смыть».

22 мая 1916 года русские ринулись в наступление на Юго-Западном фронте — знаменитый Брусиловский прорыв, после которого стратегическая инициатива перешла к союзникам. Вражеские удары под Сморгонью, на Западном фронте стали злее.

В ночь на 20 июня немцы выпустили отравляющие газы в сторону русских позиций.

В «Южной мысли» в очерке «Удушливые газы» Катаев писал:

«Все имеют нелепый, смешной вид и похожи на водолазов. Крутят головами и таращат друг на друга большие от очков глаза. Тишина, в виски стучит. В дверь начинает входить редкий-редкий зеленовато-желтый туман.

Мысль-молния:

— Газ… Это — газ».

А вот уже приходится спасать солдата по прозвищу Старик, намочив в чайнике изношенную портянку и набросив ему на лицо. Батарея палит, все задыхаются, теряя сознание и рассудок.

Ровно через месяц противник повторил газовую атаку. Отравился Михаил Зощенко, получив порок сердца.

Тогда же, будучи дневальным, Катаев бросился в блиндаж и пока будил батарейцев, наглотался фосгена: «Мне худо. Головокружение. При каждом вздохе в легких кинжальная боль. В висках оглушительный шум… Я уже еле сознаю, что со мной делается. Где? Почему вокруг меня какие-то люди? Кто они? Ах да, тень фельдшера и рядом с ним тень моего взводного… Я делаю усилие, стараясь улыбнуться, дать понять, что я жив еще, и в тот же миг лечу в пропасть небытия».

Его доставили в лазарет. К счастью, легкие не пострадали, были задеты бронхи.

«Впоследствии доктор как-то заметил мне:

— Скажите спасибо, что я не пожалел для вас казенной камфары и вкатил вам по знакомству не один, а два укола. А то

бы вы были уже давно на том свете».

От фосгена голос Катаева навсегда приобрел надтреснутую хрипотцу.

С августа по ноябрь 1916 года Катаев с артиллерийской бригадой пробыл на Румынском фронте. Сначала были запутанные странствия: их погрузили в эшелон на станции Столбцы. Прибыли в Буковину, убежденные, что их направят в Брусиловский прорыв. Форсированный марш до Галиции. Недавно занятые русскими города Черновцы, Коломыя. Неожиданно бригаду развернули и эшелоном привезли в родную ему Новороссию, запахло близостью дома и моря: Жмеринка, Раздельная… Потом Тирасполь. Город Рени на берегу Дуная. Оттуда (так устроила Ирен) Катаева на пять суток командировали в Одессу. 14 августа Румыния, вдохновленная успехами генерала Брусилова, объявила войну Австро-Венгрии, и Катаев устремился обратно — догонять свою бригаду. После двухдневного путешествия на барже по Дунаю прибыл в город Чернаводэ. И наконец, поездом — в город Меджидие. И далее — к самой границе с Болгарией, в Южную Добруджу, где развернулись военные действия. «Здесь некогда воевал с турками мой прадед и освобождал братьев славян мой дедушка. И вот теперь я бреду в пыльных сапогах…»

Отравив чудовищными сценами, война пробудила в нем поэтику беспощадности: «Сербы дерутся как львы!.. Пленных не берут, раненых добивают на месте. Прелестные ребята!»

Вскоре бригада, где находился Катаев, попала в окружение к немецкой армии Августа фон Макензена (германского генерал-фельдмаршала, дожившего до девяноста пяти лет и обласканного Гитлером). У немцев было значительное превосходство в силах. В очерке «Из Румынии» Катаев писал: «Этот ад продолжается двое суток, и мы в течение их не отдали ни одной пяди земли, хотя неприятеля было вчетверо больше нас… Сейчас, стоит лишь мне зажмурить глаза, я отчетливо представляю себе поле, широко видное сквозь стекла “цейса”, и отовсюду, из-за каждого бугра, из-за каждой неровности местности идущие густой черной массой неприятельские колонны». И все же пришлось поспешно отходить…

Наши войска закрепились на Траяновом валу между городами Меджидие и Констанцей. Катаев был телефонистом при офицере-наблюдателе. Под непрерывным обстрелом он десятки раз полз из окопчика вдоль телефонного шнура, чтобы соединить концы провода.

Новое отступление. Катаев не смог догнать свою батарею с телефонистом-напарником. Они скитались 11 дней. Тогда, в

октябре 1916 года, Добруджа была потеряна…

В портовом городе Брайле на реке Дунай в кабинете генерала Алексинского (главного начальника снабжения Румынского фронта) он доложил военному начальству обо всех подробностях бегства.

По его воспоминаниям, за «мужество при обороне» Траянова вала он был представлен к солдатскому Георгию 4-й степени.

Догнав свою батарею, он попал в новый кошмар — разрывались новейшие тяжелые снаряды-«крякалки», накатывала пехота неприятеля. Катаев самовольно заменил раненого наводчика и принялся из трехдюймовки бить по немецким цепям. Тогда же он был контужен. И вновь — отступление.

Писатель Марк Ефетов вспоминал о гимназии, где какое-то время его учителем был отец Вали Катаева, уже известного благодаря местной прессе «героя сражений», которыми «мальчишки бредили». Когда «герой сражений» вернулся с фронта, Марик был счастлив пожать ему руку и с ним поговорить.

В декабре 1916 года Катаев был откомандирован в Одесское пехотное училище (просил Ирен «походатайствовать» об этом перед отцом). Он понимал, что лишается возможности стать артиллерийским офицером и сделается пехотным прапорщиком, но война замучила, требовалась передышка.

7 декабря его приняли на сокращенный четырехмесячный курс.

В день Февральской революции 1917 года в Одессе произошли оползни — Катаев вспоминал, что единственным поврежденным зданием оказалось их училище: трещина расколола бюст государя императора.

О тех событиях — «Барабан» с подзаголовком «Записки юнкера, революционный рассказ»[7]. Это же училище в 1917-м столь же ускоренным выпуском окончил писатель Лев Славин, всю жизнь друживший с Катаевым.

Про нахлынувшую революцию Катаев говорил: «Было сумбурно и весело». Начальник училища собрал их и прочел два манифеста — об отречении Николая и Михаила. «Мы были так взволнованны, что никто не спал. Офицеры не знали, как им быть». Мгновенная перемена произошла со вчерашними верными слугами престола, которые стали всех называть «товарищами». И вот — Валя с барабаном шагает впереди батальона: «…мы влились в бесконечный поток красных флагов, лиц, автомобилей, солнца, тающего снега, мальчишек». Он был опьянен до головокружения уличным шествием, словно языческим хороводом, и тогда же написал «Сонет свободе» в одесском журнале «Бомба»:

Идти — и чувствовать, что за тобой народ,
Что каждый — друг и преданный товарищ,
Что мы идем сквозь чад и дым пожарищ
К чему-то тихому и светлому вперед.
Идем вперед, вперед. И «марсельеза»
Гремит в ушах, как вольный лязг железа.

Но и он же вскоре в той же «Бомбе» пародировал изготовление «революционного рассказа» (напророчив себе то, чему придется отдавать дань почти всю жизнь):

В 140 строчек «баррикад»
Влить строчек 10 «марсельезы».
Взболтать. Прибавить «грустный взгляд»,
По вкусу «грохот миральезы»[8],

15 строчек про «нее»:
Курсистку, 8 — про студента,
13 строчек — про «него»,
«Свободного интеллигента».

Затем «толпу», «плакаты», «мглу»,
В «победу над врагом» вмешайте,
На керосинку!.. — И к столу
В горячем виде подавайте!

1 апреля 1917 года «отправился по назначению», то есть вновь на войну. Опять на «румфронт».

Постоянные перемещения: 9 апреля прибыл из штаба Одесского военного округа и зачислен в списки 46-го пехотного запасного полка младшим офицером 3-й роты, 6 июня назначен командиром очередной, 196-й роты пополнения и убыл с ней в распоряжение командира 5-го запасного полка…

Дальнейшее не напечатано на машинке, а уже вписано от руки…

28 июня 1917 года прибыл и зачислен в списки 57-го Модлинского пехотного полка младшим офицером в 7-ю роту. 11 июля 1917 года ранен.

Его ранило в предгорье Карпат в «керенском» наступлении — последнем для России в Первой мировой.

«Через три-четыре часа после начала сражения это был совершенный ад. Мне повезло, ранило одним из первых. Я был офицером связи по координации пехотной и артиллерийской

деятельности. Дивизия понесла страшные потери».

Сначала он потерял сознание от взрыва и, очнувшись, решил, что пронесло, но потом увидел почерневший от крови карман бриджей. Расстегнувшись, ужаснулся виду своей пробитой осколком ляжки и обилию крови…

А вот стихи того же 1917-го под названием «Ранение»:

От взрыва пахнет жженым гребнем.
Лежу в крови. К земле приник.
Протяжно за далеким гребнем
Несется стоголосый крик.

Несут. И вдалеке от боя
Уж я предчувствую вдали
Тебя, и небо голубое,
И в тихом море корабли.

«Я неоднократно видел след этого ранения, — вспоминает его сын Павел. — Две давно уже заживших, но навсегда оставшихся глубокими “вмятины” от влетевшего и вылетевшего осколка в верхней части правого бедра в опасной близости от детородного органа. Рассказывая о своем ранении и показывая его, отец вовсе не драматизировал ситуацию, то есть относился к происшедшему с полным спокойствием, словно бы верил в свою неуязвимость».

Внучка Катаева Тина рассказала мне, что в 1960 году в Париже по настоянию жены Эстер он дал руку погадать турчанке. Та, к их удивлению, сразу упомянула ранение, в точности указав ту треть бедра, которое прошил осколок, и добавила, что видит на его груди золотую звезду. До Героя Социалистического Труда оставались еще долгие годы… По словам Тины, когда дед это пересказывал, у него было лукаво-задумчивое и даже шкодливое лицо.

Здесь же приведем еще одно более раннее предсказание. В 1955-м в Шанхае на рынке он вытянул у старой китаянки гадательную палочку, к которой прилагалась свернутая бумажка, где было написано: «Феникс поет перед солнцем. Императрица не обращает внимания. Трудно изменить волю императрицы, но имя ваше останется в веках».

«Керенское» наступление, поначалу успешное, захлебнулось из-за массового нежелания воевать. Возвращаясь с фронта, Катаев наблюдал разложение и бунт солдат.

Он отмечал работу «солдатского телеграфа», передававшего недовольство войной и властью. В «Юношеском романе» другой

вольноопределяющийся чеканит по поводу настроений серошинельных «мужиков»: «Е…ли они Государственную думу!» (интересно, что слово с точками стоит и в советском издании, этому писателю было позволено больше других. К примеру — писать о «нимфетках», отсылая к «Лолите» в «Алмазном венце»).

В повести «Зимний ветер» Петю Бачея, в котором хорошо узнаваем автор, после ранения (совпадающего с катаевским) на станции Яссы чуть не расстреляли корниловцы. Он бросился из лазарета к коменданту, требуя поскорее отправить в тыл, чем вызвал у того бешенство, да еще и сипло прокричал в толпе солдат: «Нас почему-то держат здесь и мы, того и гляди, попадем немцам в плен!» Ночью Бачея арестовали, заперли, но на рассвете толпа солдат освободила своих товарищей, а заодно и его.

На мой вопрос, действительно ли у Катаева случился конфликт с военным начальством и он попал в переделку, его сын ответил: «В данном случае почти уверен, что что-то было — запомнил ощущение большой опасности, может быть, смертельной».

К тому времени Катаеву осточертело воевать, а за шумную «антивоенную» речь и в самом деле могли «коцнуть».

Но вполне вероятно, что он едва избежал не корниловской расправы, а солдатского самосуда, ведь как сказано в другом месте: «Всякий раз, когда Пете приходилось пробираться сквозь толпу среди настороженных, пронзительных солдатских глаз, которые с грубым недоверием провожали не по времени нарядного офицерика, он чувствовал себя хуже, чем если бы ему пришлось идти через весь город голым», а возлюбленная героя сообщает ему о своем отце-генерале: «Полное разложение. Солдатня совсем взбесилась… Вытащили из вагона и чуть не растерзали. Он насилу вырвался».

В 1942 году по дороге в Ташкент Катаев со свойственной откровенностью и показной самоиронией рассказал попутчику литературоведу Валерию Кирпотину о том, как пытался спастись во время Первой мировой (нашел время для рассказа!).

«“Хоть бы заболеть”, — постоянно тенькало у него в голове. И вот холодной, предосенней ночью он решил искупаться в ручье. Долго купался и лежал в студеной воде. И хоть бы что — на следующий день чувствовал себя необыкновенно окрепшим и бодрым».

Пересказ Кирпотина перекликается с эпизодом из «Юношеского романа», когда двойник автора, Саша Пчелкин леденит себя в ночной воде лимана, надеясь на воспаление легких: «Это был не столько страх физического уничтожения, страх телесной смерти, а и страх смерти души».

Раненный в бедро вновь оказался в Одессе, где пролежал в госпитале до ноября. Там он не забывал писать — например, любовные «Три сонета» Ирен Алексинской и рассказ о фронте «Ночью», отправленный в журнал «Весь мир», но запрещенный цензурой Временного правительства: «Красота, красота!.. Неужели же и эту дрянь, вот все это — эти трупы, и вши, и грязь, и мерзость — через сто лет какой-нибудь Чайковский превратит в чудесную симфонию и назовет ее как-нибудь там… “Четырнадцатый год”… что ли! Какая ложь!»

Ему был присвоен чин подпоручика, но получить погоны он не успел и был демобилизован прапорщиком.

После ранения приказом по 4-й армии от 5 сентября 1917 года № 5247 он был награжден орденом Святой Анны 4-й степени («Анна за храбрость» — шашка с красной лентой темляка, которую называли «клюквой») и обрел личное дворянство, не передающееся по наследству.

Двух солдатских Георгиевских крестов, которые он упоминал, в «Послужном списке» нет, но не факт, что Катаев присочинил (Анна всяко намного круче): нарастала смута, что-то вписывали от руки, что-то из бумаг могло утеряться, наконец, представить к Георгию — не всегда означало его дать…

Спустя 60 лет Катаев вспоминал ощущение «измены, трусости и обмана» поздней осенью 1917-го: «Надо было бы радоваться, что война для меня кончилась так благополучно: всего одна контузия, пустяковое отравление газами и ранение в бедро. Тем не менее мне было грустно. Я нанял извозчика и поехал в город, где долго сидел в кафе за чашкой кофе, а потом на углу Дерибасовской и Екатерининской, возле дома Вагнера купил громадный букет гвоздик, сырых от тумана, и отправил его с посыльным в красной шапке к Ирэн. Потом я стал как безумный тратить свои последние военные деньги…» В те дни, когда большевики брали Зимний, а вместе с ним и всю власть, и вели переговоры с Германией «о мире», Катаев чувствовал «унижение от демобилизации и горечь военного поражения». «Даже любовь меня не радовала», — добавлял он.

Осенью 1917 года он стрелялся на дуэли.

По утверждению одесского исследователя Феликса Каменецкого, это была последняя в городе дуэль, а вызвал на нее Катаева поэт (будущий эмигрант) Александр Соколовский за «оскорбление женщины».

Стрелялись на пистолетах ранним утром на Ланжероне. До первой крови. Якобы третьим выстрелом Катаев был легко ранен. И дуэлянты отправились обмывать событие. Следов ранения, если оно и было, не осталось, по крайней мере, сын Катаева ничего

такого не видел. Но вот следы самой дуэли есть в разных текстах. У поэта Леонида Ласка из объединения «Бронзовый гонг» (враждебного катаевской «Зеленой лампе») в их журнале «Бомба» вышла серия эпиграмм «Бескровная дуэль», где к Катаеву он обращался так: «…Плети венки стихов твоей Прекрасной Даме, / Выдумывай бескровные дуэли для рекламы…» А в беллетризованных мемуарах «Черный погон» одессита Георгия Шенгели читаем: «Сашок Красовский в прошлом году с Отлетаевым нарочно дуэль сочинили, чтобы прославиться. И хотя и стрелялись, — все равно никто не поверил».

Павел Катаев рассказывает: «Все было устроено как перформанс (выражаясь по-теперешнему), так я понял со слов отца».

А может быть, Катаев просто не мог потерять лицо и отвергнуть вызов, брошенный Соколовским?

Игра игрой, но, как знать, уклонись пуля на миллиметр, вся история жизни Валентина Петровича обрушилась бы тогда осенью 1917-го на Ланжероне, где он лежал бы неживой у самого Черного моря.

«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»

В истории русской литературы было несколько «зеленых ламп» — и дружеское общество петербургской дворянской молодежи, в числе участников которого был Пушкин, и парижский эмигрантский кружок Мережковского и Гиппиус.

Одесская «Зеленая лампа» появилась еще осенью 1917 года, но по-настоящему стала действовать в 1918-м и, по свидетельствам современников, была самым представительным молодежным литературным объединением города того времени. Успех кружка связан в первую очередь с Катаевым. Одесский поэт Георгий Долинов утверждал, что именно Катаев смог устроить все «на коммерческих началах», и при этом: «Беспристрастно говоря, Катаев в свою “Зеленую лампу” отобрал действительно лучшие силы».

Долинов изображал первое появление Катаева на вечере: «Это был молодой офицер в чине подпоручика. Он все время молчал, подергивая в тике головой и напуская на себя вид ветерана войны. Когда до него дошла очередь читать, он, постукивая ладонью о ручку кресла, начал так: “Я прошу снисхождения, так как громко читать не могу, ибо отравлен газами и контужен”… Катаев уже в то время был известен по множеству появившихся в печати чудесных стихотворений, и в этот раз он прочел действительно обаятельные по своей лирической насыщенности “Три сонета о любви”, напечатанные впоследствии в изданном нашим кружком альманахе: “Душа полна, как звучный водоем…”».

Поэтесса Зинаида Шишова объясняла: «В 8-ой аудитории Юридического факультета зародился первый Одесский Союз Поэтов. Там я впервые выступила с чтением стихов. Там я познакомилась, а впоследствии сдружилась с Багрицким, Олешей, Катаевым и Адалис… Освободившиеся от влияния “ахматовщины”, “гумилевщины”, “северяниновщины”, мы назвали свой кружок “Зеленая лампа”… Враги наши сгруппировались вокруг общества “Бронзовый гонг”».

В альбоме Юрия Олеши, составленном поэтом Алексеем Кручёных, есть стихотворение, подписанное именем «Экзакустодиан Пшенка» и, по видимости, сочиненное Львом Славиным, которое так и озаглавлено «(Поэтическое содружество) Зеленая Лампа»:

Небритый, хмурый, шепелявый
Скрипит Олеша лилипут.

Там в будущем — сиянье славы
И злая проза жизни — тут.

За ним, кривя зловеще губы,
Рыча, как пьяный леопард,
Встает надменный и беззубый
Поэт Багрицкий Эдуард.

Его поэма — совершенство.
Он не марает даром лист,
И телеграфное агентство
Ведет, как истинный артист.

Но вот, ввергая в жуткий трепет,
Влетает бешеный поэт —
Катаев — и с разбега лепит
Рассказ, поэму и сонет.

Что до соперников из «Бронзового гонга», Катаев ответил им на страницах журнала «Бомба»:

Весь этот ворох гнили
К себе не пустит Парнас.
«Колокол золотой» громили —
Будут громить и вас.

(Торговому обществу «Золотой колокол» принадлежали винные склады в Одессе, разгромленные толпой.)

Долинов вспоминал о студенческом кружке, постепенно превратившемся в «Зеленую лампу» и собиравшемся летом недалеко от моря «в квартире Софьи Соколовой»: «В этом гостеприимном доме по вечерам поэты усаживались на полу стеклянной террасы, в углу которой в зелени оранжерейных растений стоял мрачный и загадочный водолазный костюм-скафандр. Он прельщал Багрицкого своей чудовищной неуклюжестью и порождал в нем “морские галлюцинации”». Поэт Борис Бобович давал другую явку, видимо, возникшую позднее: «Собирались мы обычно в квартире “бразильского консула” Мунца, сын которого был членом “Зеленой лампы” и писал застенчивые новеллы».

Что касается названия кружка, которое соотносят с пушкинским, то накануне своего 85-летия в 1982 году Катаев сообщил в интервью одесскому журналисту и краеведу

Александру Розенбойму: «Перед первым собранием в консерватории поставили на стол лампу с распространенным тогда абажуром зеленого стекла. Потом мы ее разбили и даже платили кому-то. Отсюда и пошла “Зеленая лампа”. А про Пушкина уже потом придумали литературоведы».

По словам Георгия Долинова, который вместе со своим братом Вадимом входил в кружок, «вечера “Зеленой лампы” устраивались по самой разной программе, т. е. литературно-музыкально-вокально-танцевальной. Причем литературной части уделялось большое самостоятельное отделение, в котором авторы читали свои произведения, интимно сидя у стола и по углам стены. Справа стояла кафедра для лектора, конферансье, которым был Петр Ершов, дававший краткие характеристики творчества каждого из выступавших. Вечера “Зеленой лампы” пользовались успехом у публики и у критики, и посещаемость их была весьма внушительной».

«Зеленая лампа» выпускала программки со стилизованным изображением лампы.

А вот как аттестует те вечера «конферансье» Ершов: «В зале Консерватории на протяжении всего смутного одесского 1918 года (фантастическая смена “властей”, неразбериха) “Зеленая лампа” стала устраивать открытые платные вечера под несуразным названием — “поэзо-концерты”. Удивительно, но — в небезопасные на улицах вечерние часы — концерты собирали изрядное количество публики, и не только молодой. На сцене устраивалась уютная комната. В центре на столе — горящая лампа под зеленым абажуром. За столом в непринужденных позах — поэты: Георгий Долинов, он же прекрасный пианист, Зинаида Шишова, Аделина Адалис (внешне — экзотика, египетский профиль, длинные острые ногти цвета черной крови), Бор. Бобович, Юрий Олеша, Л. Файнберг, Эмилия Немировская, Валентин Катаев, изредка Эдуард Багрицкий и, само собой разумеется, “др.”».

Добавим: Анатолий Фиолетов, Анатолий Гамма, Александр Биск, Иван Мунц, Леонид Нежданов, Владимир Дитрихштейн — тот юный немец, с которым вдвоем Катаев в 1914-м впервые пришел к Бунину.

Петр Ершов в мемуарах таким вспоминает своего сотоварища: «Катаев все еще ходил в военных рейтузах и френче, весело щурил монгольские глаза, походя острил и сыпал экспромтами. Всегда шумливый, категоричный, приподнятый, он любил читать свои стихи, тоже приподнятые, патетические. И когда начинал читать, глаза его расширялись, голос звучал сочно и глубоко».

Обычно вечер состоял из нескольких отделений: в первом и во втором — лекция о литературе, музыка, мелодекламация, пластический танец, третье носило название «При свете Зеленой лампы» — стихи. Четвертое — «Ералаш Зеленой лампы» — состояло из инсценировок юмористических рассказов и загадочных «оживленных гравюр». Пятое отделение: «Бал Зеленой лампы — танцы под рояль до утра, дирижер И. Мунц». Билеты желающие могли приобрести как в магазине «Одесских новостей» на Дерибасовской, так и в консерватории у швейцара.

Вот отзыв о первом вечере 4 февраля 1918 года в «Одесских новостях»: «Сосредоточенный пасьянс молодых надежд и упований — в зеленом кругу интимной лампы. Кто из них избран, кто обречен? Как сложатся карты их поэтической судьбы?» А вот одесский журнал «Огонек»: «Из семи поэтов, читавших свои произведения, ни об одном по совести нельзя сказать, что на произведениях его не лежит печать одаренности».

В программке второго вечера 17 марта публику извещали: «Готовится Третий интимный вечер с лекцией о Чайковском и Четвертый интимный вечер — постановка пьесы Юр. Олеши “Маленькое сердце” в сукнах» (костюмированная. — *С. Ш.*).

Эта трехактная пьеса в стихах (не сохранившаяся) была написана Олешей под впечатлением от стихотворения Шишовой «Смерть» о самоубийстве юноши из-за любви, которое завершалось так:

> Бедненький мертвый мальчик, я, как черная злая кошка,
> Была на Вашем пути…
> Хрупкий такой и нежный, подождите меня немножко
> — Я тоже должна уйти…

(Кстати, Зинаиду Шишову, в дальнейшем не только поэтессу, но и детскую писательницу, перед смертью в 1977-м причащал в Москве мой отец-священник: она произвела на него впечатление человека, много испытавшего.)

Премьере «Маленького сердца» Олеши в зале консерватории предшествовал катаевский доклад о символизме.

Он же и был помощником режиссера. В сцене, когда некто «златоволосый Антек» пускает в себя пулю, Валентин должен был выстрелить за кулисами из револьвера, который дал осечку. Пришлось долбануть табуреткой по доскам. Публика была в восторге. Олеша выходил кланяться, а Катаев раздвигал и задвигал занавес.

У зеленоламповцев было свое «Яблочко» — юмористический бюллетень, издаваемый корпорацией студентов, руководимых

лозунгом: «Живи пока живется! Смотри на все юмористично и презирай бездарь!», где поэт Борис Бобович писал: «Почему Одесса входить в состав Украины может? Почему же наш журнал называться “Яблочком” не может?»

В июле 1918 года состоялось «поэзо-концертное турне» по Украине.

Зеленоламповцы рекламировали друг друга с горделивым пафосом, и по литературной Одессе даже ходила эпиграмма:

Тебе мой голос не судья.
Я воздержусь от личных мнений.
Ты говоришь — Катаев бог,
Он говорит — Олеша гений.

Впрочем, с большей охотой обменивались нещадной критикой и просто издевками, и эта взаимная придирчивость, пожалуй, была закваской, делавшей их союз прочнее.

Шишова: «Мы вели себя как передравшиеся щенки. Ругали друг друга за каждую слабую (по нашим тогдашним понятиям) строку, подмечали слащавость, подражательность. Писали друг на друга пародии». Ершов: «Катаев обычно рубил с плеча, безжалостно критикуя слабые места. Олеша же, маленький, коренастый, ширококостный, задирал дрыгающие ножки в несоразмерно больших ботинках, морщился не то от смеха, не то от боли и жалобно стонал: ой, плохо! ох, как плохо…»

А это анонимная эпиграмма из того же «Яблочка»:

Меж нами спор, но право очень мелкий.
Пусть Истина рассудит нас сама:
Я не простил тебе под Бунина подделки,
Аты… простить не можешь мне ума.

И СНОВА — БУНИН

Октябрьскую революцию Катаев встретил в госпитале.

Власти в Одессе сменялись стремительно. Так с декабря 1917-го до января 1918-го в городе было троевластие: Одесская городская дума, Военный совет и Румчерод[9]. Затем на три месяца установились Советы, но уже в марте началась австро-немецкая оккупация, под которой власть переходила от Центральной рады к гетманщине Скоропадского.

В самом начале июля в Одессу приехали Бунин с женой. (Муромцева писала в дневнике: «Ян со слезами сказал: “Никогда не переезжал с таким чувством границы! Весь дрожу! Неужели наконец я избавился от власти этого скотского народа!” Болезненно счастлив был, когда немец дал в морду какому-то большевику, вздумавшему что сделать еще по-большевицки».) Постепенно сюда съезжалось множество ярких людей. Надежда Тэффи, Алексей Толстой, Максимилиан Волошин, Аркадий Аверченко, Николай Евреинов, Татьяна Щепкина-Куперник, Иван Соколов-Микитов, Марк Алданов, поэты Дон Аминадо (Аминад Шполянский) и Михаил Цетлин… Для них Одесса стала местом недолгой передышки в стране, охваченной смутой («глаз тайфуна» — по катаевскому выражению), и одновременно отправной точкой для отбытия к другим берегам. Концертировало кабаре «Летучая мышь» Никиты Балиева, исполняла романсы Надежда Плевицкая. Приехали популярные артисты Леонид Собинов, Александр Вертинский (Олеша запомнил его выступление в черном балахоне Пьеро), Вера Холодная, Вера Каралли, Екатерина Рощина-Инса-рова, Елена Полевицкая. Вернулась поэтесса Вера Инбер. Все перемешались — социалисты, либералы, монархисты… Появились редактор «Русского слова» Федор Благов, лидер октябристов Михаил Родзянко, один из организаторов Белого движения Василий Шульгин, начавший издавать газету «Россия». Катаев отметил у Бунина среди «именитых адвокатов, врачей, литераторов» и академика Овсянико-Куликовского, редактора «Вестника Европы»[10].

Однажды Бунин зашел к Катаеву и завел разговор с его отцом, интересовавшимся, хороши ли «Валины произведения».

В 1960-е годы Валентин Петрович рассказал Василию Аксенову, что плескался в ванной в холодной воде, было жарко, да и горячая отсутствовала, когда отец, заглянув, сообщил дрожащим голосом: «Валя, к тебе, кажется, академик Бунин».

И это плескание, и приход Бунина есть в «Траве забвенья»: «Уходя, он скользнул взглядом по моей офицерской шашке “за

храбрость” с аннинским красным темляком, одиноко висевшей на пустой летней вешалке, и, как мне показалось, болезненно усмехнулся. Еще бы: город занят неприятелем, а в квартире на виду у всех вызывающе висит русское офицерское оружие!»

В октябре 1918 года в журнале «Огоньки» с эпиграфом «Посвящаю Ив. Бунину» появился рассказ Катаева от первого лица «Человек с узлом». Рассказчик, одесский часовой, вооруженный винтовкой системы «Гра», стрелял в убегающего вора (но забыл зарядить): «Я бы, наверное, его убил… Я дрожал и не знал, отчего я дрожу: от холода или от чего другого». Марка винтовки и биографичность катаевской прозы подсказывают, что он в это время мог служить в войсках гетмана Скоропадского либо в державной варте — германской военной полиции. Тем более в одной из анкет он записал себя рядовым 5-й дивизии в период 1918–1919 годов (а в составе армии гетманской Украины в 3-м Одесском корпусе была 5-я дивизия).

В полиции в числе многих одесситов служили катаевский товарищ поэт Анатолий Фиолетов, вплоть до рокового финала, и его брат, виртуозный мошенник, а затем инспектор уголовного розыска Осип Беньяминович Шор. Этот артистичный аферист, по утверждению Катаева, стал прототипом Остапа Бендера в «Двенадцати стульях».

В 1984-м в повести «Спящий» Катаев изобразил австрийских солдат, пришедших на одесский пляж купаться: «Они держали себя скромно и довольно вежливо для победителей…»

Вскоре после прибытия Бунин выступил в Литературно-артистическом обществе. По свидетельству участника собрания Бориса Бобовича, он делился «впечатлениями об одесских поэтах. Ему прислали материалы, и он все прочел, и затем говорил о писателях, и очень многое из его пророчеств оказалось верным. Собралось немало публики… В своем обзоре особенно выделил Багрицкого и Катаева. Говорил как о способных и одаренных поэтах».

Катаев приносил Бунину новые стихи и рассказы.

Он вспоминал, как тот ссорился при нем с женой, называвшей его Иоанном или Яном, как они, мастер и подмастерье, заговорщицки наворачивали густой компот из одной кастрюли, в саду разбивали кирпичом абрикосовые косточки и ели зерна, как прогуливались под яркими звездами, как наставник оставлял на полях его рукописей пометки, тайно жаловался на свою недостаточную заметность в литературе, ругал всех остальных, в особенности «декадентщину». А однажды один на один твердо похвалил. «День этот понял я как день моего посвящения в ученики».

Непрестанные известия о кровавых событиях — расстрелах, расправах, погромах, убийстве царской семьи — скрашивались частыми застольями с вином и попытками отвлечься на разговоры об искусстве.

Муромцева писала: «Катаев привез 6 б. вина, 5 было выпито, шестую Ян отстоял. Много по этому случаю было шуток». Запись следующего дня: «Возвращалась с Валей, всю дорогу мы с ним говорили о Яновых стихах. Он очень неглупый и хорошо чувствует поэзию. Пока он очень искренен. Вчера Толстому так и ляпнул, что его пьеса “Горький цвет” слабая».

В 1918 году в «Огоньках» появился рассказ Катаева «Иринка», позднее названный «Музыка»: точно и трогательно описана маленькая капризная и доверчивая девочка, рассказчик рисует для нее, внушительно успокаивает. Напуганная нянькой, она боится деда, который забирает детишек в мешок. А вот и дед. «Это Иван Алексеевич… Гордый горбатый нос и внимательно прищуренные глаза…» И если девочка смотрит снизу вверх на рассказчика, то он так же на гуляющего классика, но одновременно возникает ощущение, что ребенок всех умнее и главнее — эта Иринка и есть музыка природы, недаром она, внезапно разочаровываясь в общении, звенит: «Ты умеешь только рисовать садовника, и девочку, и куколку, а музыку не умеешь! Ага!» (Рассказ перекликается с воспоминаниями Катаева из книги «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» о том, как он дергал маму за юбку, упрямо твердя, что слышит музыку. Мать не понимала, о чем он, а слышал он множество звуков города и природы — музыку, «недоступную взрослым, но понятную маленьким детям».)

Катаев вспоминал уроки сравнений, которые преподавал ему тот, кто даже про ранение на фронте спрашивал с безжалостной требовательностью художника, экзаменуя:

«Как это было? Только не сочиняйте».

И ученик, отвечая, словно бы жертвовал пережитым ради метафоры:

«Меня подбросило, а когда я очнулся, то одним глазом увидел лежащую под щекой землю, а сверху на меня падали комья и летела пыль и от очень близкого взрыва едко пахло как бы жженым целлулоидным гребешком».

О, это сладкое маниакальное еретическое желание сопоставлять всё со всем, заново творя мир, перемешивая его части и одновременно выбирая исключительный, необычайно точный образ…

В «Музыке» рассказчик при едва уловимой мягчайшей иронии все же относится с почтением к «Ивану Алексеевичу». Еще

большее почтение в рассказе 1917 года «В воскресенье», где Бунин — академик, «сухой, с орлиным носом, как бы заплаканными зоркими глазами и маленькой бородкой», с «длинной породистой рукой». В 1920-м, когда большевики победят, учитель изображен карикатурно, пригодилось то же прилагательное «заплаканные»: «Он был желт, зол и морщинист. Худая его шея, вылезавшая из цветной манишки, туго пружинилась. Опухшие, словно заплаканные, глаза смотрели пронзительно и свирепо». А в 1967-м автор живописует Бунина пусть не без фамильярности, но опять подчеркивая ученическое родство и даже находя нечто общее в их внешности:

«Однажды и я попал в поле его дьявольского зрения. Он вдруг посмотрел на меня, нарисовал указательным пальцем в воздухе на уровне моей головы какие-то замысловатые знаки, затем сказал:

— Вера, обрати внимание: у него совершенно волчьи уши. И вообще, милсдарь, — обратился он ко мне строго, — в вас есть нечто весьма волчье.

…А у самого Бунина тоже были волчьи уши, что я заметил еще раньше!»

«Бунин так действовал на меня, что я и внешне стал похож на него: как он горбился» — слова, сказанные в конце жизни.

А вот запись Муромцевой вскоре после приезда в Одессу:

«Пришел Катаев. Я лежала на балконе в кресле. Ян вышел, поздоровался, пригласил Катаева сесть со словами: “Секретов нет, можем здесь говорить”. Катаев согласился. Они сели. Я лежала затылком к ним и слушала. После нескольких незначащих фраз Катаев спросил:

— Вы прочли мои рассказы?

— Да, я прочел только два, “А квадрат плюс Б квадрат” и “Земляк”, — сказал с улыбкой Ян, — так как подумал: зачем мне глаза ломать? Шрифт сбитый, да и то, что на машинке переписано, тоже трудно читать, и я понял из этих вещей, что у вас несомненный талант, — это я говорю очень редко и тем приятнее мне было увидеть настоящее. Боюсь только, как бы вы не разболтались… Много вы читаете?

— Нет, я читаю только избранный круг, только то, что нравится.

— Ну, это тоже нехорошо. Нужно читать больше, не только беллетристику, но и путешествия, исторические книги и по естественной истории. Возьмите Брэма, как он может обогатить словарь. Какое описание окрасок птиц! Вы и представить не можете.

— Да, это верно, — соглашается Катаев, — но, по правде

сказать, мне скучно читать не беллетристические книги.

— Я понимаю, что скучно. Но это необходимо, нужно заставлять себя. А то ведь как бывает: прочтут классиков, а затем начинают читать современных писателей, друг друга, и этим заканчивается образование. Читайте заграничных писателей. Одолейте Гёте.

Я искоса посматриваю на Катаева, на его темное, немного угрюмое лицо, на его черные, густые волосы над крепким невысоким лбом, слушаю его отрывистую речь с небольшим южным акцентом. Он любит больше всего Толстого, о нем он говорит с восторгом, затем Чехова, Мопассана, Флобера, Додэ, но Толстой и Пушкин — выше всех, недосягаемы. Уже три года он пишет роман, но написал только девяносто пять страниц. Хочет дать прочесть Яну первую часть его» (13 июля 1918 года).

Следов этого романа не обнаружено, но судя по всему, он был о войне…

Изложенное Муромцевой совпадает с воспоминаниями Катаева: «Он говорил, что каждый настоящий поэт должен хорошо знать историю мировой цивилизации. Быт, нравы, природу разных стран, их религии, верования, народные песни, сказания, саги. В то время это меня — увы! — ни в малейшей степени не волновало, хотя я и сделал вид, что восхищен мудрым советом, и с ложным жаром стал записывать названия книг, которые он мне диктовал».

Кстати, в рассказе «А квадрат плюс Б квадрат», где герой романтически выгуливал некую Верочку, которая «похожа на девушку с английской открытки», пожалуй, впервые звучало то, что будет потом повторяться у Катаева — четкий фаталистический мотив, подозрение о собственной уже состоявшейся смерти, к которому он так легко переходил от пьянящего ощущения бессмертия: «А может быть, я и есть мертвец. Может быть, меня уже давно убили где-нибудь под Сморгонью или на Стоходе. Может быть, под Дорна-Второй».

В ноябре 1918 года в Одессе образовалась своя «Среда» — отчасти наследница московской «Среды», которая стала собираться в помещении Литературно-артистического общества, ныне Литературного музея. Это был узкий кружок, где кроме одесситов постоянно присутствовали Бунин, Толстой, его жена Наталья Крандиевская, Максимилиан Волошин, поэт Михаил Цетлин и немногие другие. Здесь читали рассказы, стихи, литературные доклады и их обсуждали. На «Средах» выступали отдельные «зеленоламповцы» — Катаев, Багрицкий, Леонид Гроссман.

Чем дальше продвигаешься сквозь дневники Бунина и

Муромцевой (хотя они о многом и сообщали полунамеком, опасаясь изъятия тетрадей при обыске), тем понятнее: будь эти тексты обнародованы в иные годы, могли стоить Катаеву не только благополучия, но и жизни. Кстати, ясно, что некоторые дневниковые фразы по поводу Катаева Бунин сознательно не включил в «Окаянные дни», чтобы не подставлять «литературного крестника», оставшегося в советской России.

Пребывание австро-германских войск в Одессе не было безоблачным. Большевики организовали крушение поезда с австрийскими войсками; взорвали на станции Раздельная артиллерийские склады; на заводе Анатра сожгли 62 аэроплана. Наблюдения взрывов есть у Муромцевой: «Ян сказал, чтобы я записала. Сначала появляется огонь, иногда небольшой, иногда в виде огненного шара, иной раз разбрасывались золотые блестки, после этого дым поднимается клубом, иногда в виде цветной капусты, иногда в виде дерева с кроной пихты…»

В ноябре 1918 года в Германии грянула революция, австро-германские войска покинули Одессу. В середине декабря войска Директории Украинской Народной Республики «социалистов» Петлюры и Винниченко свергли Скоропадского. Петлюровцы приближались к Одессе со стороны Раздельной. Те, кого можно окрестить «буржуазной интеллигенцией», боялись их и ждали хаоса.

В том ноябре Муромцева записала: «Все надеются на англичан. Есть слух, что состоялось соглашение между ними и немцами не оставлять Одессы в анархическом состоянии». Другая запись: «Был Катаев. Собирает приветствия англичанам. Ему очень нравятся “Скифы” Блока. Ян с ним разговаривал очень любовно». А ведь «Скифы» были ненавистны Бунину, и все же был расположен…

Но любить стихотворение не всегда значит принимать его смысл.

Тогда же в «Южном огоньке» Катаев так рецензировал нового Блока:

«У меня сердце обливалось кровью, когда я первый раз читал “Двенадцать”. Я не мог, я не хотел верить, что тот Блок, который пел о “прекрасной даме в сияньи красных лампад” и “О всех погибших в чужом краю”, стал в угоду оголтелому московскому демосу петь похабные частушки:

Ванька с Катькой — в кабаке…
У ней керенки есть в чулке…

Мне стыдно и гадко цитировать еще эту поразительно

безграмотную похабщину. Безграмотную даже с точки зрения тех, кто утверждает, что это, мол, все нужно для стиля, для формы, долженствующей строго отвечать содержанию. Для человека, мало-мальски знакомого с народом, с его песнями, конечно, видно, что народный стиль и не ночевал в этой убогой и грубо *поддельно*-народной поэме. Мне стыдно и гадко писать о том, что к сотне позорных, дубовых и пустых по смыслу стихов приплетен для чего-то Христос! Это я считаю полным паденьем, полной гражданской и литературной смертью и величайшим издевательством»[11].

К «Скифам» Катаев и правда отнесся лучше, ценя силу поэзии, но опять же с позиций воинственного антибольшевизма: «То, о чем пишет Блок, отвратительно и ужасно, но это правда. И мы должны быть бесконечно благодарны Блоку, в своем лице открывшему и выявившему нам отвратительное и некультурное лицо русского скифа, втоптавшего в грязь и изнасиловавшего свою собственную, родную мать Россию. Блок сбросил маску с негодяев, прикрывающихся лозунгами интернационализма, назвал их “скифами”, и за это ему честь и слава. По крайней мере Европа будет знать, с кем она имеет дело».

(В «Траве забвенья» Катаев с понятным лицемерием затуманивает свое тогдашнее отношение к этой поэзии, вложив всю брань в уста Бунина.)

В Одессе началось очередное троевластие: польская стрелковая бригада; Директория Петлюры; Добровольческая армия.

Это нашло отражение в дневниках Муромцевой начала декабря 1918 года: «Петлюровские войска вошли беспрепятственно в город. По последним сведениям, Гетман арестован. Киев взят. Поведение союзников непонятно. Сегодня, вместе с политическими, выпущено из тюрьмы и много уголовных. Вероятно, большевицкое движение начнется, если десанта не будет… Сидим дома, так как на улицах стреляют, раздевают. Кажется, вводится осадное положение, выходить из дому можно до девяти часов вечера. Вчера выпустили восемьсот уголовных. Ждем гостей. Ожидание паршивое». Наконец стало понятно: десанту Антанты быть: «Пошли все гулять. День туманный. На Дерибасовской много народу. Около кафэ Робина стоят добровольцы. Мы вступили во французскую зону. Дошли до Ришельевской лестницы. На Николаевском бульваре грязно, толпится народ. По дороге встретили Катаева. На бульваре баррикады, добровольцы, легионеры. Ян чувствует к ним нежность, как будто они — часть России».

В декабре 1918 года в Одессу пришли союзники по Антанте

— прежде всего французы. Но были и британцы, и греки, и чернокожие сенегальцы.

«РАДИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТ СКУКИ»

Первый покинувший «Зеленую лампу»… Про него говорили, что он искал острых ощущений. «Как все поэты, он был пророк и напророчил себе золотое Аллилуйя над высокой могилой», — писал Катаев.

27 ноября 1918-го, в 21 год, оборвалась жизнь поэта Анатолия Фиолетова.

Кстати, в 1917-м вместе с Фиолетовым, которого давно знал, пошел в уголовный розыск Временного правительства Багрицкий (два цветных псевдонима — фиолетовый и багровый): однажды во время обыска в одесском притоне он встретил ту, в которую был влюблен — гимназистку, ставшую проституткой. Это описано Багрицким в поэме «Февраль», где лирический герой, арестовав клиента-бандюгана, насилует знакомую:

Я беру тебя за то, что робок
Был мой век, за то, что я застенчив,
За позор моих бездомных предков,
За случайной птицы щебетанье!

Катаев трактовал то происшествие с горьким романтизмом: «Рассыпанные кудри и медовые глаза были у той единственной, которую однажды в юности так страстно полюбил птицелов и которая так грубо и открыто изменила ему с полупьяным офицером». Сам Багрицкий рассказывал так: «Когда я увидел эту гимназистку, в которую я был влюблен, которая стала офицерской проституткой, то в поэме я выгоняю всех и лезу к ней на кровать. Это, так сказать, разрыв с прошлым, расплата с ним. А на самом-то деле я очень растерялся и сконфузился и не знал, как бы скорее уйти».

Багрицкий и Фиолетов хвастались перед Зинаидой Шишовой подвигами и оружием. Потом Багрицкий уехал в Персию, на «турецкий фронт», потом вернулся, но в уголовном розыске больше не служил, а Фиолетов остался в Одессе, перешел с братом в державную варту[12] Скоропадского и женился на Зинаиде.

Прозаик Сергей Бондарин писал: «Я не раз слышал признания от старших товарищей Багрицкого или Катаева, — что они многим обязаны Анатолию Фиолетову-Шору, его таланту, смелому вкусу».

«Он был первым футуристом, с которым я познакомился и

подружился», — сообщал Катаев и замечал, что, переболев «поэтической корью», Фиолетов стал писать «прелестные», а потом и «совсем самостоятельные стихи».

Есть мнение, что на известное стихотворение Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» (1919) повлияло четверостишие Фиолетова:

> Как много самообладания
> У лошадей простого звания,
> Не обращающих внимания
> На трудности существования.

Бунин в «Окаянных днях» откликнулся на его гибель: «Милый мальчик, царство небесное ему! (Это шутливые стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские, — идейно, — и убитого большевиками.) — Да, мы теперь лошади очень простого звания».

Бунину большевики с их злодеяниями мерещились везде и всюду, но любопытно, что благодаря Фиолетову с Буниным невольно перекликается Маяковский: «Деточка, все мы немного лошади, каждый из нас по-своему лошадь».

Был ли убийца «идейным» или просто бандитом? Вероятнее — второе.

Хотя отделить одно от другого не всегда было возможно. Например, легендарный одесский налетчик Мишка Япончик в ноябре — декабре 1918-го сошелся с анархистским движением, создав группу «анархистов-обдералистов» («обдирающих буржуазию»), и активно сотрудничал с большевистским подпольем. Преступным сообществом было устроено несколько покушений на Алексея Гришина-Алмазова, военного губернатора Одессы, получившего от Япончика письмо-ультиматум.

Что же случилось с Фиолетовым-Шором?

Заметка в газете «Одесская почта» 28 ноября 1918 года: «Около 4 часов дня инспектор уголовно-розыскного отделения, студент 4 курса Шор в сопровождении агента Войцеховского находились по делам службы на “Толкучке”, куда они были направлены для выслеживания опасного преступника…» Бóльшие подробности предлагали «Одесские новости» 29 ноября: «Вошли в отдельную мастерскую Миркина в д. № 100 по Б.-Арнаутской, как передают, поговорить по телефону. Вслед за ними вошли три неизвестных субъекта. Один из них быстро приблизился к Шору и стал с ним о чем-то говорить. Шор опустил руку в карман, очевидно, желая достать револьвер. В это мгновение субъекты стали стрелять в Шора и убили его».

«Смерть его была ужасна, нелепа и вполне в духе того времени — короткого отрезка гетманского владычества на Украине, — писал Катаев. — Полная чепуха. Какие-то синие жупаны, державная варта, безобразный национализм под покровительством немецких оккупационных войск, захвативших по Брестскому миру почти весь юг России».

(Что до отношения к украинскому национализму, в 1975 году Катаев говорил прозаику Аркадию Львову: «Хохлы не любят не только евреев, они не любят нас, кацапов, тоже. Они всегда хотели иметь самостийну Украину и всегда будут хотеть… Не думайте, что я к ним что-то имею. У меня даже есть среди них друзья, Збанацкий[13], например, очень порядочный, интеллигентный человек, но, в общем, я хорошо помню их, особенно по Харькову, где я жил в двадцать первом году. Надо было находиться тогда там, чтобы понять, что такое украинский национализм… И вообще, я плохо понимаю их: что, им плохо живется, они не полные хозяева у себя, на Украине? Даже здесь, в Кремле, они составляют, наверное, половину правительства».)

Катаев выстраивал красивую версию, будто бы поэта спутали с братом, «оперативным работником», при этом умалчивая, что Анатолий тоже находился при исполнении.

На похоронах Фиолетова Катаев не был, но со слов Олеши рассказывал: молодая вдова лежала на могильном холме и, рыдая, запихивала землю в рот (не упускал уточнить: «накрашенный»), и давал несколько строк из стихотворения Шишовой «Spleen». Приведу его целиком, еще счастливое, игриво-праздничное, посвященное любимому:

Радикальное средство от скуки
Ваш мотор — небольшой landaulet…
Я люблю Ваши смуглые руки
На эмалевом белом руле.
Ваших губ утомленные складки
И узоры спокойных ресниц…
— Ах, скажите, ну разве не сладко
Быть, как мы, быть похожим на птиц.
Я от шляпы из старого фетра
Отколю мой застенчивый газ…
Как-то душно от солнца, от ветра
И от Ваших настойчивых глаз.
Ваши узкие смуглые руки,
Профиль Ваш, отраженный в стекле…
— Радикальное средство от скуки
Ваш мотор — небольшой landaulet.

25 декабря 1918 года в газете «Южная мысль» читаем: «… состоится вечер поэтов памяти Анатолия Фиолетова. В вечере примут участие Л. П. Гроссман, Ал. Соколовский, Ю. Олеша, Э. Багрицкий, В. Инбер, А. Адалис, И. Бобович, С. Кесельман, В. Катаев».

Здесь нет Зинаиды — вероятно, ей было слишком тяжело.

Она долго болела, перестала писать, полагая: навсегда. Олеша, Катаев и поэт, художник Вениамин Бабаджан (кстати, расстрелянный в 1920-м как белый офицер) втайне от нее выпустили сборник ее стихов под названием «Пенаты», посвятив издание Фиолетову.

В 1919 году Шишова пошла в большевистский продотряд и была ранена.

ЭВАКУАЦИЯ ФРАНЦУЗОВ

В советское время в официальной биографии Катаева указывалось, что он воевал за красных. В наше время всюду пишут, что за белых.

Скорее всего, служил там и там.

Вероятно, он был мобилизован ранней весной 1919 года, но поскольку союзники отозвали войска, уже 3 апреля вернулся в Одессу. После этого в мае его мобилизовали красные. Потом в конце августа или начале сентября — он у белых.

Эти жизненные повороты совпадают с переменами власти в Одессе: декабрь 1918-го — апрель 1919 года — военная интервенция стран Антанты; апрель — август 1919-го — большевики; август 1919-го — февраль 1920-го — власть Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) под командованием генерала Деникина.

Но обо всем — подробнее.

Французы заняли город, опираясь на русскую Добровольческую и украинскую Национальную армии. Но политическая и военная среда была полна противоречий. Сменялись представители французского командования, ответственные за город, а следом и власти города. Свирепствовал криминал. Активно действовало большевистское подполье. Не только одесских рабочих, но и французских солдат и матросов успешно агитировали за Советы — из-за чего, например, была расстреляна засланная большевиками француженка Жанна Лябурб.

На Одессу наступал поддерживавший большевиков атаман Григорьев, взявший Херсон и Николаев, в городе объявили осадное положение. Появился «Приказ командующего войсками в союзной зоне и генерал-губернатора Одессы» о широкой мобилизации «для ограждения населения союзной зоны от большевистских грабежей и насилий».

Под эту мобилизацию, по всей видимости, и попал Катаев.

В «Записках о гражданской войне» 1920 года, особо не таясь, он писал: «Оркестр играл Преображенский марш. Колонна за колонной добровольческие части покидали город, уходя туда, откуда все настойчивее и тверже доносились пушечные удары. Мне удалось побывать на подступах к городу. В деревнях и на хуторах были размещены многочисленные штабы… Французская миноноска сигнализировала, что в случае дела она может открыть огонь из шести скорострельных пушек, что должно увеличить силу отряда на полторы батареи. Затем из города

прилетел военный самолет».

Зачем он так подставлялся, офицер Катаев, уже после установления советской власти дававший отчет, как был на передовой среди «трехцветных шевронов», которые сдерживали натиск красных? Рискну предположить: из врожденного стремления фиксировать достоверное, из тревожного, болезненно-зоркого, почти мистического внимания к себе и вообще к человеку, что заставляло его стараться запечатлеть, воспроизвести, не упустить все испытанное. Но ведь не в дневник прятал, а публиковал. Может быть, и из желания остаться, сохраниться, сберечься в словах, в глазах читателей? Так было до последнего дня, когда он, на девяностом году жизни, рвался записать, каково умирать.

А может, писал все это и для того, чтобы обезоружить доносчиков — мол, я сам все рассказал.

24 марта Муромцева тревожилась: «За 3–4 дня положение Одессы должно выясниться: или она укрепится, или французы уйдут, и Одесса будет сдана без боя».

Во Франции кабинет Клемансо (по совместительству занимавшего пост военного министра) был отправлен в отставку. Многие на Западе боялись лозунгов «неделимой России», а Деникин не одобрил создания смешанных русско-французских отрядов. Французская палата депутатов отказала в продолжении кредитования военных операций в России. Антанта решила заканчивать с присутствием в одесском регионе. Тем не менее лихорадочные действия полковника Фрейденберга в России и во Франции сочли предательскими, и есть мнение, что он успел получить крупную взятку от большевиков. В ночь со 2 на 3 апреля французское командование провело встречу с представителями одесского Совета рабочих депутатов, на которой были оговорены условия перехода власти в городе от французов к красным. Эвакуация французов, только что сражавшихся в кровопролитных боях, была поспешной и нелепой.

«Город был переломлен, как спичка, — читаем у Катаева. — Измена. Предательство. Глупость командования. Слабость тыла. Вот причины падения города. Так представляли себе положение дел почти все находившиеся в состоянии эвакуационной горячки и паники».

Муромцева писала 3 апреля: «Позвонил Катаев. Он вернулся совсем с фронта. Радио: Клемансо пал. В 24 часа отзываются войска. Через 3 дня большевики в Одессе!»

Об этом же Бунин в «Окаянных днях»: «Анюта (наша горничная) зовет меня к телефону. “А откуда звонят?” — “Кажется, из редакции” — то есть из редакции “Нашего Слова”,

которое мы, прежние сотрудники “Русского Слова”, собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование “до возврата в Москву”. Беру трубку: “Кто говорит?” — “Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость: французы уходят”. — “Как, что такое, когда?” — “Сию минуту”. — “Вы с ума сошли?” — “Клянусь вам, что нет. Паническое бегство!” — Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю: бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом… А в редакции — телеграмма: “Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция…”».

Сравним со сценой из катаевской киноповести «Поэт» 1957 года — диалог белогвардейцев:

«*Юнкер.* Сергей Константинович, союзники сдают город.

Орловский. Как? Уже? Сегодня?

Юнкер. Так точно. Сейчас. Посмотрите.

Орловский кидается к окну, распахивает его. Он видит: море, рейд. Уходят французские корабли. В порту слышны тревожные гудки. Густо дымят пароходы. Бульвар. Вдоль бульвара по направлению к гавани на извозчиках, в экипажах, на автомобилях, нагруженных чемоданами, сундуками, мчатся обезумевшие…

Орловский. Нас предали. Драться до последнего патрона!»

5 апреля в город, покинутый французами, без боя ворвались отряды атамана Григорьева. Начался грабеж. Пойманных офицеров истязали и расстреливали. Командующему Украинским фронтом Антонову-Овсеенко удалось убедить Григорьева вывести части из города «на отдых». Тот согласился, лишь получив выкуп от одесского исполкома в виде нескольких вагонов мануфактуры. Отправившись в Александрию, он провозгласил себя там «атаманом Украины» и призвал к борьбе с советской властью. Несмотря на крупные силы атамана и масштабные успехи, он был разгромлен, причем в подавлении его мятежа участвовал Мишка Япончик, а самого атамана застрелил Махно во время личной встречи. Но дело было сделано — Одесса оказалась под большевиками.

«Зеленая лампа» погасла. Катаев, Олеша, Багрицкий пристроились в информационное агентство — Бюро украинской печати (БУП): начали подготавливать культурную программу к празднованию Первомая. Одни сочиняли броские четверостишия, другие рисовали плакаты «в духе кубизма». По воспоминаниям Шишовой, «…их частушки ходили по всей Украине. Их “петрушки” собирали толпы на улицах и заставляли забывать о

тифе и голоде». Но для Катаева этот период большевистского творчества длился совсем недолго.

Толстой эвакуировался из Одессы в Константинополь, а Катаев и Багрицкий начали выпускать газету «Гильотина», извещавшую: «Граф Ал. Толстой (кстати, покинутый Одессой) пусть лучше не переступает порога нашей редакции».

12 апреля Муромцева записала: «Отличительная черта в болыпевицком перевороте — грубость. Люди стали очень грубыми.

Вчера на заседании профессионального союза беллетристической группы. Народу было много. Просили председательствовать Яна. Он отказался. Обратились к Овсянико-Куликовскому, отказался и он. Согласился Кугель[14]. Группа молодых поэтов и писателей, Катаев, Иркутов[15], с острым лицом и преступным видом, Олеша, Багрицкий и прочие держали себя последними подлецами, кричали, что они готовы умереть за советскую платформу, что нужно профильтровать собрание, заткнуть рты буржуазным, обветшалым писателям. Держали себя они нагло, цинично и, сделав скандал, ушли. Волошин побежал за ними и долго объяснялся с ними. Говорят, подоплека этого такова: во-первых, боязнь за собственную шкуру, так как почти все они были добровольцами, а во-вторых, им кто-то дал денег на альманах, и они боятся, что им мало перепадет…»

Бунины разочаровались в Катаеве, и грубость большевизма теперь переносилась и на него.

21 апреля Муромцева записала: «Хорошо сказала одна поэтесса про Катаева: “Он сделан из конины”… Его не любят за грубый характер… Когда был у нас Федоров, мы рассказали ему о поведении Катаева на заседании. Александр Митрофанович смеется и вспоминает, как Катаев прятался у него в первые дни большевизма.

— Жаль, что не было меня на заседании, — смеется он, — я бы ему при всех сказал: скидывай штаны, ведь это я тебе дал, когда нужно было скрывать, что ты был офицером…

— Да, удивительные сукины дети, — говорит Ян и передает все, что мы слышали от Волошина о молодых поэтах и писателях».

Это, конечно, милый смех, и я не собираюсь оправдывать Катаева (равно как и осуждать), но поневоле вспоминаешь о «бытие, определяющем сознание». Катаев воевал, рисковал жизнью тогда и теперь, он ожидал ареста и расправы, поскольку с белыми золотопогонниками не церемонились. А было ли нечто, ради чего получать пулю? Он оказался заложником обстоятельств. И решил, отчаянно зажмурившись, выплыть из

пучины. То же самое можно сказать и об остальных «молодых поэтах», полуголодных, уже видевших смерть в бою. Остается надеяться, что готовность публично «заложить» белого офицера в городе, охваченном красным террором, была лишь шуткой.

Да и поведение Катаева с его приятелями не оказалось чем-то удивительным для эпохи. «Идет сильное “перекрашивание”, — сетовала Муромцева. — Уже острят: “Что ты делаешь?” — “Сохну, только что перекрасился”». Знаково, что к «покраснению» Волошина или художника Петра Нилуса, которые с ними как бы наравне, Бунины отнеслись снисходительно.

«К обеду пришел Волошин. Как всегда, много рассказывал, весело и живо: поэт Багрицкий уехал в Харьков, поступив в какой-то отряд. Я попросил у него стихотворение для 1 мая, он заявил, смеясь: “У меня свободных только два, но оба монархические”».

(Замечу: огромное влияние на раннего Багрицкого оказал Николай Гумилев.)

И опять же — кажется, мораль этой записи не в том, что Волошин готовил маевку, а в том, что молодой Багрицкий двуличен.

25 апреля Муромцева фиксировала: «В “Известиях” написано, что Волошин отстранен из первомайской комиссии: зачем втирается в комиссию по устройству первомайских торжеств он, который еще так недавно называл в своих стихах народ “сволочью”… Ян в подавленном состоянии: “Все отнято — печать, средства к жизни. Ну, несколько месяцев протянем полуголодное состояние, а затем что? Идти служить к этим скотам я не в состоянии. Я зреть не могу их рожи, быть с ними в одной комнате. И как только можно с ними общаться? Какая небрезгливосгь… А молодые поэты, это такие с[укины] д[ети]. Вот придет Катаев, я его отругаю так, что будет помнить. Ведь давно ли он разгуливал в добровольческих погонах!”».

Тогдашние первомайские торжества в Одессе изображены в катаевской киноповести «Поэт»: «По улице едет “агитконка”, украшенная флагами, лозунгами, плакатами… За конкой бежит народ, мальчишки. Кричат “ура”. С конки им отвечают поэты, выкрикивая первомайские лозунги… “Агитконка” останавливается возле площади, посредине которой воздвигнута первомайская арка».

Катаев относился к смене власти как к данности, а к попыткам публично и пылко спорить по поводу установившегося режима — как к самоуничижению наивной интеллигенции; и так вспоминал Бунина на бурном собрании в бывшем Литературно-артистическом обществе, сокращенно называвшемся Литературкой: «Он был наиболее непримирим… Вскакивал с

места и сердито стучал палкой об пол».

(О том же вспоминал Олеша: «На собрании артистов, писателей, поэтов он стучал на нас, молодых, палкой и уж, безусловно, казался злым стариком».)

Вот в катаевской подаче — бунинская сторона, резко отрицавшая большевизм: «Наиболее консервативная часть ставила вопрос о самом факте признания Советской власти. Для них вопрос “признавать или не признавать” был вопросом первостепенной важности. Они даже не подозревали, что власть совершенно не нуждается в их признании».

А вот как писал о том же уже сам Бунин в очерке «Волошин»: «Поднимается дикий крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: “Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за Советскую власть!” Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава “в знак протеста” покидает зал. Волошин бежит за ними — “они нас не понимают, надо объясниться!”».

Катаев признавал, что Бунина «могли без всяких разговоров расстрелять и наверное бы расстреляли, если бы не его старинный друг, одесский художник Нилус», который через Луначарского выбил писателю «охранную грамоту».

Катаев был у Буниных в особняке на Княжеской улице, когда к ним заявился отряд вооруженных матросов и солдат особого отдела, вынужденных уйти ни с чем. Судя по всему, это произошло 8 мая — в этот день Вера Николаевна переживала из-за красноармейцев, которые нагрянули с проверкой: нет ли лишних матрасов. И в этот же день Бунин сообщал о посетившем его Катаеве.

Если Катаев, не имевший никакой «охранной грамоты», и впрямь, как он пишет, то и дело наведывался в красной Одессе к Буниным, несомненно, он рисковал. «Я продолжал его страстно любить».

В том же мае 1919 года он сделал учителю подарок:

Ивану Бунину при посылке ему увеличительного стекла

Примите от меня, учитель,
Сие волшебное стекло,
Дабы, сведя в свою обитель
Животворящее тепло,
Наперекор судьбе упрямой

Минуя «спичечный вопрос»,
От солнца б зажигали прямо
Табак душистых папирос.
В дни революций, и тревоги,
И уравнения в правах
Одни языческие боги
Еще царили в небесах.
Но вот, благодаренье небу,
Настала очередь богам.
Довольно мы служили Фебу,
Пускай же Феб послужит нам.

(Здесь очевидная игра смыслов: Феб, прозвище Аполлона, — это бог поэзии и света.)

БУНИН СЕРДИТСЯ

Бунин был сердит на Катаева. И может быть, в тот майский день устроил ученику заготовленную взбучку.

В дневнике Галины Кузнецовой Иван Алексеевич вспоминал ученика: «Потом, когда он стал большевиком, я ему такие вещи говорил, что он раз сказал: “Я только от вас могу выслушивать подобные вещи”».

Недовольство катаевским «перекрашиванием» приводило Буниных к сомнениям в моральных качествах «Вали», переносилось и на отношение к его творчеству.

В наше время к месту и не к месту приводят следующую цитату из «Окаянных дней» от 8 мая: «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: “За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки”» — цитата эта, по мысли недоброжелателей, подтверждает чуть ли не врожденный катаевский цинизм. Фраза и правда красноречива и помогает понять тип Катаева, жизнелюба, не стесненного моралью (наблюдения Бунина перекликаются с замечаниями Муромцевой о «жизнеспособности» Алексея Толстого, подчас невероятной в условиях Гражданской войны — «нужно пять тысяч в месяц, и будет пять»). Однако мне видится, что все гораздо сложнее…

По-моему, здесь и желчь Бунина (разлитая по его дневниковой книге), и отчасти любование жадной до жизни молодостью, своего рода животной силой весны, тем более продолжение таково: «Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году (в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, — и телесного, и духовного, — необыкновенную силу и ясность его». И наконец — в наглых словах Вали можно расслышать и гедонистический вызов, и бесхитростную прямоту, и растерянность от нахлынувших потрясений.

Катаев, безусловно, читавший «Окаянные дни», в «Траве забвенья» пытался оспорить бунинское воспоминание, ответить, изображая, как дорого и качественно был одет наставник. Его ботинки, английские, желтые, на толстой подошве, Катаев припоминал несколько раз. Надо сказать, в то тяжелое время обувь была большой проблемой для нуждающегося молодого человека. Если ботинки рвались — это было подобно катастрофе, на рынке они, называемые тогда «колесами», стоили

запредельных денег.

Катаев пытался доказать, что, в сущности, ничего такого не говорил, все было наоборот — Бунин, придирчиво всматриваясь в его юность, придумывал для него циническую роль.

Вообще же, по сути в «Окаянных днях» Бунин цитировал рассказ Катаева «Опыт Кранца», где молодой артист кокаинист Зосин в отчаянии от бедности и отсутствия любви рассуждал сам с собой: «На земле есть только одно настоящее, неоспоримое и истинное счастье — счастье вкусно и много есть, одеваться в лучший и дорогой костюм, обуваться в лучшую и самую дорогую обувь, иметь золотой портсигар, шелковые носки и платки, бумажник красной кожи и столько денег, чтобы можно было исполнить все свои желания и иметь любовницей развратную, доступную и прекрасную женщину Клементьеву».

Бунин совершенно точно хорошо знал этот рассказ, потому что за два месяца до соответствующей записи в «Окаянных днях» Муромцева писала: «На “Среде” Валя Катаев читал свой рассказ о Кранце, Яну второй раз пришлось его прослушать. Ян говорит, что рассказ немного переделан, но в некоторых местах он берет не нужно торжественный тон. Ян боится, что у него способности механические. Народу было немного».

Может быть, торжественный тон, излишняя патетика как раз в этих циничесих признаниях? Тут ведь не расчетливость, а безутешный чувственный гимн, жажда благополучия при его отсутствии.

Откуда же у Бунина взялось: «За сто тысяч убью кого угодно»? А вот, пожалуйста, тот же «Опыт Кранца» и тот же артист Зосин: «Деньги всегда нужно брать силой. Я его убью… У меня нет хорошего костюма, я не могу жить так, как хочу жить, я не могу иметь любовницей балерину Клементьеву потому, что у меня нет денег. Это правда. Это — настоящее. И я его убью… Пятьдесят тысяч… Я должен убить, иначе я ни на что не годен».

Больше того, в «Траве забвенья» Катаев приводил такой диалог, случившийся после того, как он прочитал свой рассказ:

«— Скажите: неужели вы бы смогли — как ваш герой — убить человека для того, чтобы завладеть его бумажником?

— Я — нет. Но мой персонаж…

— Неправда! — резко сказал Бунин, почти крикнул: — Не сваливайте на свой персонаж! Каждый персонаж — это и есть сам писатель».

В сущности, в тот майский день в гостях у Бунина молодой писатель оказался меж двух огней — клянущий его за «шкурничество», озлобленный на большевиков учитель и нагрянувшие красноармейцы.

Возможно, задерганному нападками пришлось вместо оправданий — взять и запальчиво согласиться: да, ищу выгоду, да, спасаю шкуру, хочу не только выжить, но и жить хорошо.

Время такое: не до жиру — быть бы живу, а он вдруг заявляет: и жиру, и жиру тоже хочу. Впрочем, а чего удивительного: смута не только легко казнит, но и возносит, революция открыла множество социальных возможностей, сметая барьеры. Жадность до процветания и славы была свойственна не одному Катаеву, но и всему поколению выскочек — особенно с темпераментного юга России.

Недаром Бунин говорил о «нынешних молодых людях». «Только цинизмом среди них и не пахло, — вспоминая тогдашнюю «творческую молодежь», как бы возражала Бунину в своих воспоминаниях Надежда Мандельштам. — Во всяком случае, никто из тех, кто стал художником, циником не был, хотя и повторял любимое изречение Никулина[16]: “Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги…” Действовала своеобразная авангардистская, как я бы сказала по-современному, жеребятина». «Здоровые голодные ребята, мы были злы, веселы, раздражительны… — рассказывала Аделина Адалис. — Что скрывать! Нас томили голод, зависть к богатым, хитрые планы пожрать и пошуметь за счет презираемых жертв… Нас томила неимоверная жадность к жизни, порождающая искусство».

Сколь немногие могут жить по совести, вопреки выгоде и соблазнам, не уклоняясь ни влево, ни вправо и веруя в Промысел. И сколь внезапно обманчив может оказаться этот выбор. Катаев, чья вера в смысл жизни треснула в Первую мировую, переживал из-за человеческой бренности, и в этом, равно как и в наслаждении «земным, слишком земным» он мог лишь укрепиться, общаясь с Буниным.

И еще. Не надо думать, что Катаев не пытался ободриться тем или иным «проектом России». Наверняка вся эта каша из властей и армий вызывала у него юное литературное любопытство.

Всю свою жизнь он находился в идейном развитии, которое (так получалось) совпадало со сменой исторических декораций. Искал во всем прочность, положительное зерно, что-то плюсовое.

Людям свойственно грубо и поспешно судить о времени, когда они не жили, и о людях, тогда живших. В чем-то все времена и мотивации похожи, но еще более сходны нетерпимость и неспособность различать полутона. В фейсбуке и «живом журнале» несколько раз вспыхивал костерок полемики по поводу Валентина Петровича, и каждый раз, читая резво-недобрые реплики, хотелось спросить: кто вы такие, чтобы его бранить? Что вы о нем знаете? Посмотрите на себя.

Людям нужны банальные и стройные концепции, а мир полон несоответствий, конфликтов, абсурда. При этом смена представлений часто происходит в одних и тех же головах.

Почему случилась революция? Чем была Гражданская война? Кого интересуют глубокие ответы…

Кто-то видит в красных лишь «мировой интернационал разрушения», кто-то в белых — «пособников интервентов»…

Возьмем простейший вопрос, из-за которого Максим Горький метался от испуганного отрицания большевиков до их полной поддержки: что есть большинство? Дикари, громилы, темная вода, до поры сдерживаемая ледком? Но это те самые простые люди, к которым обратились христианство и ислам. Ведь устранение сегрегации — путь человеческой истории, и Америка признала своих чернокожих равными белым, а значит, что? А значит, в битве солдат с офицерами, городских окраин Одессы с ее зажиточным центром не могли не победить солдаты и окраины.

Советская власть, что бы ни говорили, — это захват низами власти и столиц. Именно поэтому «сменовеховцы», вглядываясь из эмиграции в красную Россию, называли ее «новой Америкой».

Мне важно не нагружать героя книги и читателя готовыми концепциями. У меня нет заранее известного ответа: кто такой Катаев? — пока я пишу эту книгу.

Не знаю, появится ли окончательный ответ.

У КРАСНЫХ

Тем временем в «Одесских известиях» появился приказ о мобилизации всех бывших офицеров, и тогда же, в мае 1919 года, Катаева забрали в Красную армию. «Служить пошли все», — отрезал он в «Записках о гражданской войне».

Дальнейшее описано в этом его очерке и не только.

Если смотреть даты, о которых говорил Катаев — прибытие в Александровск, в Екатеринослав после еврейского погрома, выступление свеженазначенного Ворошилова («луганский слесарь»), Синельниково и мятеж махновцев, Лозовая и бой на Лозовой, — все четко рассчитывается по календарю, включая Троицу 1919 года, о которой говорится в очерке 1930 года «Пороги» и рассказе 1951 года «Поездка на юг» (кстати, несмотря на большевистский атеизм, «ветви украшали по случаю Троицы вагоны»).

В «Порогах», вспоминая пребывание в Александровске, он признавал отсутствие у себя и намека на удаль: «Настроение у меня было подавленное… Будущее казалось мрачным, настоящее — безвыходным».

Если почитать архивы воюющих армий, везде одно и то же: дезертирство, нехватка патронов и ружей, проблемы с артиллерией, отсутствие грамотных солдат, а у Красной армии еще и командиров. По дороге половина личного состава дезертировала, пропивала башмаки и гимнастерки, а в бою другая половина перебегала к противнику. Каково это было: русскому стрелять в русского, с легкостью меняя сторону, по сути, стреляя в себя самого?

В бой гнали под угрозой расстрела. Тебя ловят, ставят под ружье, ты сбегаешь, тебя опять ловят и опять под ружье…

Из-за острейшей кадровой нехватки прапорщиков и подпоручиков назначали командовать батареями. В архивах 58-й дивизии есть отчет начальника артиллерии, очень подробный и точно совпадающий с написанным Катаевым. А Катаев оказался именно в 58-й дивизии — он сам сказал об этом критику Людмиле Скорино, что записано в ее книге «Писатель и его время»: «Я остался с четырьмя пушками. Стал командиром батареи. Нас примерно в районе будущего Днепрогэса переформировали. Дали лошадей, снаряды… Подчинили командиру пехотной части 58-й дивизии. Срочно бросили куда-то в сторону деникинского наступления. Мы доехали до Лозовой, дальше двигаться было нельзя».

Маршрут Катаева подтверждает и стихотворение 1919 года,

так и названное «Александровск». А в повести «Кладбище в Скулянах» показан визит к бабушке Марии Егоровне в Екатеринославе, ужаснувшейся его споротым погонам и пятиконечной звездочке на фуражке:

«— Боже мой, ты служишь у красных! — воскликнула она.

— Да, я командир батареи».

На Лозовой-то и началось…

В книге командующего Дроздовской дивизией Антона Туркула «Дроздовцы в огне» есть описание белого наступления: «Мы, действительно, мчались: за два дня батальон прошел маршем по тылам противника до ста верст. Стремительно ударили по Лозовой. Помню, я подымал в атаку цепь, когда ко мне подскакал командир 1-й Офицерской батареи нашей бригады, полковник Туцевич, с рослым ординарцем, подпрапорщиком Климчуком.

— Господин полковник, — сказал Туцевич, — прошу обождать минуту с атакой. Я выкачу вперед пушки.

Два его орудия, под огнем, вынеслись вперед наших цепей, мгновенно снялись с передков и открыли беглый огонь. Красные поражены. Смятение».

А так писал Катаев: «Граната проломила крышу вокзала, и из крыши повалил дым и полетели щепки.

Кто-то скороговоркой сказал:

— Добровольческие броневики прорвались в тыл.

Ружейная трескотня приближалась. Шальная пуля щелкнула в рельс и пропела рикошетом. Началась паника».

«Жители рассказывали, что неожиданный сильный обстрел станции вызвал невообразимую панику, — сообщал штабс-капитан Дроздовской артиллерийской бригады Владимир Кравченко в своем обширном труде «Дроздовцы от Ясс до Галлиполи». — Красные стали спешно эвакуировать Лозовую, но когда увидели атакующих их дроздовцев, бросая все, в паническом бегстве стали удирать из Лозовой на Полтаву и Харьков».

Катаев навсегда запомнил этот драп.

«Обезумевшие люди бросились бежать. По густой желтой полосе зари как в агонии скакали всадники, падали стрелки, мелькали руки и ноги. Вся эта бегущая в одном направлении неорганизованная, страшная черная масса, сливающаяся с наступающей ночью, была незабываема».

Вероятно, этот же бег он описал в рассказе 1921 года «Прапорщик», правда, поменяв белых и красных ролями:

«Храброго офицера, видевшего смерть не один раз в глаза, охватил непонятный и неодолимый ужас. Бежать, бежать как

можно скорей куда-нибудь подальше от боя. И он побежал. Позади гремели разрывы и кричали поезда…»

В том же июне Катаев уже в Полтаве, о чем написано в его очерке «Короленко» (1922): «Наше положение было ужасным».

Любопытна финальная часть очерка. Короленко спросил:

«— Вы кого любите из современных писателей?

— Белого, Бунина».

Здесь напрашивается убрать запятую — и оставить просто:

— Белого Бунина.

«— Учитесь у Бунина, он хороший писатель.

Это была моя последняя встреча с Короленко».

Полтава возникла и в катаевском стихотворении того же времени. В Полтаву он наведывался несколько раз, здесь жила воспитавшая его тетя Лиля. Вскоре город взяли белые.

В книге «Отец» 1928 года издания финальная, позднее вымаранная главка «Записок о гражданской войне» отдана Троцкому. Из-за малодоступности этого текста приведем его почти целиком.

«В половине шестого утра стало известно, что в шесть через станцию пройдет поезд Троцкого». Занятно, что той же строкой начиналось гораздо более позднее его стихотворение «Соловьи» (1945):

В половине шестого утра
Разбудили меня соловьи:
— Полно спать! Подымайся! Пора!
Ты забыл, что рожден для любви.

Ты забыл, что над зыбкой твоей
Мир казался прекрасным, как рай,
А тебе говорили: «Убей!
Не люби! Ненавидь! Презирай!»

А заканчивал он так:

Я проснулся и тихо лежал,
На ладони щеку положив.
И как долго, как страшно я спал,
И как странно, что я еще жив.

Итак, в половине шестого утра Катаев узнал о прибытии Троцкого в поезде. «Ровно в шесть он пришел и остановился. Те, которые об этом знали, собрались на платформе у бронзового

вагона. Троцкий ехал останавливать отступление. Человек двадцать железнодорожников и военкомов смотрели в занавешенные окна салона. В дверях вагона стояли часовые. Через минуту собравшихся провели в вагон.

Троцкий сидел перед столиком. Его взъерошенные вперед волосы с боков были с сильной проседью. Он встал и обернулся лицом. Стекла пенсне блеснули, и острые винтики зрачков остановились на вошедших. Стенографистка вышла из купе.

Троцкий был одет в летнюю, топорщащуюся защитную солдатскую форму и подпоясан ременным кушаком. Его лицо было нехорошего цвета. Вероятно, он не спал несколько ночей.

Он отрывисто поздоровался с пришедшими и заговорил. Он сказал немного, но того, что он сказал, было достаточно. Он требовал дисциплины, организованности, твердости, революционности и храбрости. Его рука наискось рубила воздух.

У него на столе лежала недописанная статья для газеты “В пути”. Эта газета набиралась и печаталась здесь же в поезде.

Говорили, что в поезде Троцкого был и Демьян Бедный. Вместе с Троцким он объезжал фронты, останавливал отступления, организовывал. Так же, как и Троцкий, Демьян Бедный был для этого незаменим… Его стихи так же, как и приказы Троцкого, читались во всех ротах, эскадронах, батареях и командах…

Через минуту поезд Троцкого ушел дальше. Мимо станции промелькнули площадки с автомобилями, пулеметы, часовые, вагон-типография. Обильный дым скрыл от глаз зеленовато-бронзовый поезд, увозивший к линии огня ту бессонную удивительную энергию, которая все-таки преодолела партизанщину и создала победоносную Красную армию».

(Спустя год Катаев снова встретился с «острыми винтиками», по крайней мере, арестант из «Вертера», приведенный в кабинет следователя-чекиста, увидел на стене портрет главы Реввоенсовета: «Пенсне без оправы, винтики ненавидящих глаз, обещающих смерть, и только смерть».)

По-видимому, сбежав из рядов Красной армии, Катаев куда-то пропал с середины июля 1919 года и объявился уже в конце августа в Белой армии.

Историк Александр Немировский вообще считает, что Катаев в Красной армии не был, работал в Бюро украинской печати, для прикрытия, а сам участвовал в подпольных белых организациях (одна из таких гнездилась в Полтаве в монастыре).

Но все-таки отчет Катаева о поездке с красным эшелоном уж слишком убедителен и не раз повторяется. Вопреки новым отважным интерпретаторам, я не вижу причин ему не верить:

если бы он придумывал, то запутался бы в показаниях.

Летом 1919 года Катаев мог попасть в белую контрразведку… Был ли он арестован в Полтаве или позднее в Одессе, взятой десантом? Неизвестно. Но в 1926-м в автобиографии написал: «Гражданская война 1918–1920 гг. на Украине замотала меня в доску, швыряя от белых к красным, из контрразведки в чрезвычайку. В общей сложности за это время в тюрьме я просидел не менее 8 месяцев».

Учитывая, что под арестом в 1920 году ему предстояло просидеть полгода, оставшееся выпадает на лето 1919-го.

И СНОВА — БЕЛЫЙ

22 августа 1919 года белые высадили десант в Одессе.

Эскадра действовала стремительно.

Вот что вспоминал улан 1-го Петроградского эскадрона Сергей Афанасьев (успевший в середине 1940-х послужить во власовской РОА[17]): «Мы — “грозная” сила в 400–500 человек — наступали, и враг… позорно бежал. Смелость города берет! Тут была даже не смелость, а просто нахальство — занять город в 800 тысяч населения. Мы превратились в кусты хризантем, которыми утыкали нас благодарные жители. На тревожные вопросы: “Сколько вас?” — мы важно отвечали: “Сорок тысяч”. При виде нашей тонкой цепочки возникал второй вопрос: “Да где же они?” — “Идут вокруг города!” Так свершилось — и почти без выстрела “Одесса-мама” из красной стала белой…»

К полудню, узнав о десанте, город покинули все высшие красные командиры — Ян Гамарник, Борис Краевский и Иона Якир (кстати, все трое расстреляны в 1937-м). Как вспоминал Иван Клименко, председатель одесского губисполкома (тоже расстрелянный в 1937-м): «В городе не было абсолютно никаких сил, так как все местные силы были оттянуты для ликвидации поражения в Николаеве, восстановления фронта по Бугу и значительные части были направлены против Махно… Был в городе караул, штыков в 4000, но он был ненадежен…»

Существенную поддержку десанту оказали подпольные офицерские организации. Их восстание началось по условному сигналу — три выстрела из орудия в сторону города. По сигналу было захвачено здание Одесской губчека и освобождены находившиеся там. К утру 24 августа весь город перешел под контроль белых. Тем же утром после четырехмесячного перерыва появился специальный выпуск — бюллетень № 1 газеты «Одесский листок» с шапкой «Измученным гражданам исстрадавшейся Одессы от освобожденного узника — “Одесского листка” — братский привет!». В этот же день возобновила работу распущенная большевиками в апреле городская дума.

«Красный балаган окончен», — решила осчастливленная Муромцева и вскоре записала: «Вчера был Валя Катаев. Читал стихи. Он сделал успехи. Но все же самомнение его во много раз больше его таланта. Ян долго говорил с ним и говорил хорошо, браня и наставляя, советовал переменить жизнь, стать выше в нравственном отношении, но мне все казалось, что до сердца Вали его слова не доходили. Я вспомнила, что какая-то поэтесса сказала, что Катаев из конины. Впрочем, может быть, подрастет,

поймет. Ему теперь не стыдно того, что он делает. Ян говорил ему: “Вы — злы, завистливы, честолюбивы”. Советовал ему переменить город, общество, заняться самообразованием. Валя не обижался, но не чувствовалось, что он всем этим проникается. Меня удивляет, что Валя так спокойно относится к Яну. Нет в нем юношеского волнения. Он говорит, что ему дорого лишь мнение Яна, а раз это так, то как-то странно такое спокойствие. Ян ему говорил: “Ведь если я с вами говорю после всего того, что вы натворили, то, значит, у меня пересиливает *к вам чувство хорошее,* ведь с Карменом я теперь не кланяюсь и не буду кланяться. Раз вы поэт, вы еще более должны быть строги к себе”. Упрекал Ян его и за словесность в стихах: “Вы все такие словесники, что просто ужас”».

По-моему, есть в этих строчках самодовольная интонация поучающих… А упомянутому Лазарю Кармену Бунин действительно не подавал руки. Одесский писатель и журналист бурно поддержал красных и выступал как пропагандист. Белые посадили его в тюрьму, где у него обострился туберкулез, от которого он умер в 1920-м.

И далее — у Муромцевой: «Валя ругал Волошина. Он почему-то не переносит его. Ян защищал, говорил, что у Волошина через всю словесность вдруг проникает свое, настоящее».

Неодобрительное отношение Катаева к Волошину, по его мнению, пытавшемуся усидеть на двух стульях, — во многом злость младшего, которому за эти стулья поневоле приходилось вставать под ружье.

А следом Муромцева пускалась в описания зверств, которые как бы оттеняли то, что Валя «натворил»: «Был присяжный поверенный, офицер, потерявший ногу. Он просидел 4 дня в харьковск[ой] чрезвычайке. Очень накален против евреев. Рассказывал, как при нем снимали допросы, после чего расстреливали в комнате рядом “сухими выстрелами”. Раз с ним сидел молоденький студент, только что кончивший гимназию, и горько плакал. Его вызвали на допрос в соседнюю камеру, обратно принесли с отрезанным ухом, языком, с вырезанными погонами на плечах — и все только за то, что его брат доброволец. Как осуждать, если брат его до конца дней своих не будет выносить слова “еврей”. Конечно, это дурно, но понятно».

Но тут же Вера Николаевна пыталась увидеть все с другого ракурса: «Какую обильную жатву пожнут теперь юдофобы. Враги евреев — полуграмотные мальчишки, которые за последние годы приобрели наглость и деньги, вместо самых элементарных знаний и правил общежития».

А Катаеву снова пришлось послужить. На этот раз — вновь у

белых.

Чертами своей судьбы он наделил прапорщика Чабана, героя рассказа 1922 года «Самострел», позднее переименованного в «Прапорщик» (катаевское правило — ничему не пропадать, все в «топку» литературы). Чабан прошел Первую мировую, был ранен и «имел два Георгиевских креста, шашку с аннинским темляком и надписью “За храбрость”». «В девятнадцатом году он был мобилизован… Прапорщика только спросили на пункте, где он желает служить, и, узнавши, что ему все равно, записали на бронепоезд и назначили телефонистом».

Бронепоезд «Новороссия» белые формировали полтора месяца после взятия Одессы. Катаеву доверили командирский пост в головной башне. Возможно, в белой контрразведке он объяснил, что красным служил по принуждению, и был прощен — типичный случай. В киноповести «Поэт» от арестованного друга Тарасова офицер Орловский требует «небольшой формальности»: подписать короткое заявление о том, что «работа у красных была вынужденной», и добавляет: «Честное слово, я от тебя этого не ожидал. Сочинять — ты меня прости — какие-то плоские агитки, чуть не частушки, водиться со всякой швалью — с матросней и солдатней, бегать по разным этим губкомам, агитпромам… Зачем? Кому нужно? Разве это дело настоящего поэта? Впрочем, не будем об этом больше говорить. Что было, то было. И кончено. Все забыто». Такую подпись дал в октябре 1919-го, спасая себя, поэт Владимир Нарбут (это выяснилось в 1928-м и сломало ему жизнь — исключен из партии, уволен с редакторских постов, а в 1938-м погиб в колымском лагере). В «Поэте» Тарасов подписи не дал. А сам Катаев?..

21 октября 1919 года в своем приказе № 52 белый военачальник генерал-лейтенант Николай Шиллинг сетовал на то, что белые берут на командующие позиции вчерашних красных.

Если так, что мешало назначить офицера-артиллериста Катаева, прошедшего мировую войну и уже успевшего побывать белым при французах, командиром башни бронепоезда?

До начала отступления Вооруженных сил Юга России в январе 1920-го бронепоезд «Новороссия» воевал на два фронта — против петлюровцев, объявивших войну белым и находившихся в Виннице, и против красных в Бердичеве.

В советское время Катаев нигде не афишировал службы у белых и только в 1942-м при заполнении личной карточки члена Союза писателей СССР на вопрос: «Служил ли в армиях и отрядах, боровшихся против Советской власти?» — коротко ответил: «Был мобилизован в 1920 году Деникиным, прослужил 4 дня в

западной артиллерийской бригаде, дезертировал». Эти «4 дня» и «дезертировал» были, конечно, неправдой.

В архивах Буниных есть письмо от 15 октября 1919 года со станции Вапнярка, которое сопровождала пометка Веры Николаевны: «Разбирала письма. Попалось письмо Катаева с белого фронта».

«Дорогой учитель Иван Алексеевич,

вот уже месяц, как я на фронте, на бронепоезде “Новороссия”. Каждый день мы в боях и под довольно сильным артиллерийским обстрелом. Но Бог пока нас хранит. Я на командной должности — орудийный начальник и командую башней. Я исполняю свой долг честно и довольно хладнокровно и счастлив, что Ваши слова о том, что я не гожусь для войны, — не оправдались. Работаю от всего сердца. Верьте мне. Пока мы захватили 5 станций. Это значительный успех.

Часто думаю о Вас. Несколько раз читал Ваши стихи в “Южном слове”. Они прекрасны. С каждым новым Вашим стихотворением я утверждаюсь во мнении, что Вы настоящий и очень большой поэт. Завтра напишу Вам большое письмо с приложением своих стихов, которые прошу пристроить в Одессе куда-нибудь, напр., в “Россию”. Привет Вере Николаевне.

Ваш *Валентин Катаев».*

Из Вапнярки в том октябре были выбиты петлюровцы.

Откуда это — «от всего сердца», «верьте мне»? Так мог написать искупавший вину… А не Бунин ли похлопотал за Катаева перед белыми?

Интересно, что Бунин катаевские стихи пристроил, ну а упоминаемое в письме академичное «Южное слово» считалось деникинским рупором, и Бунин был там главным редактором. А молодые литераторы в это время нерегулярно на плохой бумаге издавали юмористические газеты, например довольно циничное «Перо в спину».

Кстати, в «Прапорщике» Катаев показал и себя: «Командир первого орудия, с походной сумкой и биноклем через плечо, деловито бегал, наблюдая за проводкой телефонного провода».

Этот рассказ почти целиком он включил в 1923-м в повесть «Приключения паровоза», запомнившуюся картину сохранив в прежнем виде: «После молебна командиру вручили новенькую, блестящую икону святого Николая, и генерал говорил речь. Говорил он о том, что красные враги сильны, что требуется напряжение всех военных сил для того, чтобы их сломить».

Подлинное состояние Катаева — далекое от бравых слов из письма — как мне кажется, передавали его стихи 1920 года, одновременно хмельные и болезненно-предтифозные:

Не Христово небесное воинство,
Возносящее трубы в бою,
Я набеги пою бронепоезда,
Стеньки Разина удаль пою.

Что мне Англия, Польша и Франция!
Пули, войте и, ветер, вей,
Надоело мотаться по станциям
В бронированной башне своей.

Что мне белое, синее, алое, —
Если ночью в несметных звездах
Пламена полноты небывалый
Голубеют в спиртовых снегах.

Ни крестом, ни рубахой фланелевой
Вам свободы моей не купить.
Надоело деревни расстреливать
И в упор водокачки громить.

Что ему страны, враждебные большевикам, что ему триколор — знамя Добровольческой армии, надоело воевать, трясясь туда-сюда по железной дороге, остается отдаваться до беспамятства стихии набегов да глядеться до бесконечности в сверкающие снега.

В 1922 году в стихотворении «Современник» (которое привожу частично) он вернулся к себе, тогдашнему, рвавшемуся с деникинцами на Московский Кремль, а до этого навстречу деникинцам, и снова передал ту же атмосферу — братоубийственного кошмара, тоски безумия:

Во вшах, в осколках, в нищете,
С простреленным бедром,
Не со щитом, не на щите,
Я трижды возвращался в дом.

И, трижды бредом лазарет
Пугая, с койки рвался в бой:
— Полжизни за вишневый цвет!
— Полцарства за покой!..

И в гром погромов, в перья, в темь,
В дуэли бронепоездов:
— Полжизни за Московский Кремль!

— Полцарства за Ростов!

И — ничего. И — никому.
Пустыня. Холод. Вьюга. Тьма.
Я знаю, сердца не уйму,
Как с рельс, сойду с ума…

В рассказе 1927 года «Раб», где нарочито перемешаны две разные эвакуации Одессы (Антанты и добровольческая), белый офицер Кутайсов (оцените созвучие Кутай-сов — Катаев) писал матери в Орел: «Два месяца наш бронепоезд метался между Жмеринкой и Киевом. Трижды мы пытались прорваться на Бердичев. Дорогая мамочка, если б ты знала, как я устал… Снег засыпает папаху, сапоги худые, и ноги — совершенно деревянные от стужи… Потом сыпной тиф».

ТИФ

Тиф косил ряды обеих армий похлеще свинца.

Катаев заболел сыпным тифом в Жмеринке, очищенной от красных, в самом начале 1920 года, еще до начала отступления.

Вероятно, какое-то время перед погрузкой в автомобиль он провел на большом жмеринском вокзале, в эвакопункте.

Про «сыпнотифозную Жмеринку моих военных кошмаров» читаем в «Траве забвенья». Он был без сознания, но, вплетаясь в бред, долетали «военные звуки, каким-то образом дававшие мне понятие о положении в городе, о последних часах его осады и об эвакуации…».

В рассказе 1920 года «Сэр Генри и черт» с подзаголовком «Сыпной тиф» всё — и тяжелая болезнь, заставшая в бронепоезде, и отправка в Одессу в госпиталь — показано выпукло, с тем сочетанием достоверности и галлюцинации, которое так удавалось Катаеву: «Тот изумительный осажденный город, о кабачках и огнях которого я так страстно думал три месяца, мотаясь в стальной башне бронепоезда, был где-то вокруг за стенами совсем близко».

(В 1984 году он вспоминал: «Я был так увлечен этим рассказом, что разрезал на части огромную таблицу Менделеева (бумаги в ту пору не было) и писал на ней».)

Еще недавно «собиравший приветствия англичанам» теперь делился видениями — боль в ухе, запевшая «красной струной» (видимо, тиф был осложнен отитом), превратилась в англичанина по имени сэр Генри.

Больной, утопая в бреду, словно бы обращался к Антанте, не способной защитить:

«— Прошу заметить, что англичане должны уважать русских».

Потом сэр Генри, оказавшийся суровым британским моряком, спасал больному ухо, вырезав из него крысиное гнездо, и они отплывали к золотым берегам. Потом бред опять переносил героя в Одессу, и ему мнилось: «Уже вокруг стреляли пушки… Скорей, скорей в гавань, на борт “Короля морей”. Капитан спасет меня от солдат, ворвавшихся в город. Стекла сотрясались и звенели от проезжавших на улице грузовиков… В палату ворвалась сиделка… Вокруг меня и в меня хлынул звон, грохот и смятенье. И чей-то знакомый и незнакомый, страшно далекий и маленький (как за стеной) голос сказал то ужасное, короткое и единственное слово, смысл которого для меня был темен, но совершенно и навсегда непоправим».

— Красные!

Не это ли слово?

Пока три недели длилась тяжелая стадия тифа — в Гражданской войне случился перелом.

За голубыми стеклами балкона
Проносятся пурпурные знамена —
Там рев толпы и баррикады там…
А я лежу забытый и безногий
На каменных ступенях Нотр-Дам —
Смотрю в толпу с бессильною тревогой, —

написано в 1920-м в стихотворении «Сыпной тиф».

Красные — 41-я стрелковая дивизия и кавалерия Котовского — быстро наступали. 3 февраля была взята морская крепость Очаков. В Одессе начались большевистские восстания. 4 февраля генерал Шиллинг объявил эвакуацию, которая проходила суматошно, под обстрелом, во время боев в городе. Существенное участие в эвакуации принял британский флот. Уплыть смогла лишь меньшая часть из желавших. Были захвачены в плен три белых генерала, около двухсот офицеров и три тысячи солдат (в том числе в госпиталях полторы тысячи больных и раненых).

Тем же 1920 годом датировано стихотворение «Эвакуация»:

В порту дымят военные суда.
На пристани и бестолочь, и стоны.
Скрипят, дрожа, товарные вагоны,
И мечутся бесцельно катера.

Как в страшный день последнего суда,
Смешалось все: товар непогруженный,
Французский плащ, полковничьи погоны,
Британский френч — все бросилось сюда.

А между тем уж пулемет устало
Из чердаков рабочего квартала
Стучит, стучит, неотвратим и груб.

Трехцветный флаг толпою сбит с вокзала
И брошен в снег, где остывает труп
Расстрелянного ночью генерала.

«Почему мы поверили в добровольцев? — мучилась в дневниках Муромцева, вместе с Буниным отчалившая на

французском корабле. — Пережили самое тяжелое утро в жизни… Это ужасная минута — бегут обреченные люди, молят о месте и им отказывают… Что же это такое? Неужели власти не знали, что развязка так близко? Или это измена? Разговоров, мнений, утверждений не оберешься. Одно ясно, что многие попали в ловушку».

Точно так же, как и Катаев, в начале 1920-го заболев тифом, не смог уйти с Добровольческой армией из Владикавказа военврач Михаил Булгаков.

В 1960 году Катаев с женой Эстер побывал у Муромцевой в Париже.

«— Боже мой, боже мой! — воскликнула Вера Николаевна, сплетая и расплетая свои старческие пальцы. — Ведь мы, Валя, виделись с вами последний раз сорок лет назад. Сорок лет! Мы даже не успели проститься.

— Я лежал в сыпняке.

— Мы это знали. Иван Алексеевич даже порывался поехать к вам в госпиталь… Но ведь вы знаете Ивана Алексеевича… его боязнь заразиться… Он был уверен, что вы не выживете, а я верила… И молилась за вас, и верила… А потом еще сколько раз…»

Бунин действительно очень боялся тифа — на корабле он, тревожась, что жена в общем помещении может подхватить вшей, настоял, чтобы она теснилась с ним на одной полке.

Возможно, с приходом красных отец и брат забрали Валентина из госпиталя домой.

ОДНАЖДЫ РАССТРЕЛЯННЫЙ

Переболев тифом, человек еще полгода приходит в себя.

Катаев поправился к середине февраля.

Его взяли в конце марта.

За что? Если почитать в одесских «Известиях» списки расстрелянных, то сама принадлежность к офицерству (не только белому, но и дореволюционному) могла стоить жизни. Так что у ЧК были все основания его убить.

Вместе с ним арестовали едва выпустившегося гимназиста Женю — вероятно, просто как брата. Жене было почти восемнадцать. По предположению историков литературы Оксаны Киянской и Давида Фельдмана, он, надеясь на снисхождение, на первом допросе уменьшил свой возраст, и именно поэтому фальшивый год рождения — 1903-й — преследовал его всю жизнь в документах и биографиях и до сих пор встречается в некоторых текстах.

Пока Катаев сидел, в августе 1920 года погиб его двоюродный брат 38-летний Василий Николаевич, военврач в госпитале — по семейному преданию, он поплатился жизнью за то, что лечил оставшихся раненых и больных белогвардейцев…

Прошел ли наш герой регистрацию в губвоенкомате, которой подлежали все офицеры? Неизвестно. Не пройти — беда, признать службу на «Новороссии» — тоже беда. Но герой его повести «Уже написан Вертер» зарегистрировался. Наград за мировую войну у него не сохранилось — спустя десятилетия оставалось описывать своему сыну, как они выглядели, поскольку власти «требовали у населения сдачи не только оружия, но и царских орденов».

Очевидно, шашку изъяли… Она всплывает там и тут. Например, в последней повести «Сухой лиман» (1986) во дворе дома на Пироговской возник красноармеец «в разношенных солдатских башмаках»: «Офицерская реквизированная шашка с аннинским темляком, висевшая у него на боку, совсем не подходила к его деревенской внешности».

Арестовали ли Катаева за какое-то «новое дело»?

Вряд ли шаткий после болезни юноша, только что одолевший смерть, сразу же примкнул к подполью, притом что разоблачение означало верную гибель.

Тем не менее донесения чекистов свидетельствуют о нескольких организациях, выявленных в 1920 году. Если верить «Отчету Центрального Управления Чрезвычайных Комиссий при Совнаркоме Украины за 1920 год», подпольщиков было немало.

Естественно сомневаться в достоверности обвинений, но заговоры тоже имели место. Гражданская война продолжалась, с новой силой разгорелась война с Польшей, в Одессе тайно присутствовали Василий Шульгин и его соратники по «Азбуке». У многих сохранялась надежда на повторение прошлогоднего успеха — летний десант 1919-го, поддержанный мятежом.

Обратимся к разоблаченным.

Созданная неким Серафадисом, секретарем греческого консула в Одессе, организация почти в 300 человек «успела связаться с милицией, выделить группы преданных ей милиционеров, на обязанности которых возлагалось занять соответствующие пункты во время переворота». Другую группу (разведывательную) возглавлял бывший командир Волчанского отряда Балаев: она, как утверждалось, была организована врангелевскими агентами, прибывавшими в Одессу из Крыма. В мае была разгромлена небольшая группа бывшего командира Дроздовского конного полка полковника Гусаченко, будто бы готовившая волнения в уездах и одновременный удар по ЧК в Одессе. В начале июля была раскрыта организация в несколько десятков «врангельцев и петлюровцев».

Но было еще два крупных дела. «Польский заговор» и «заговор на маяке».

В «Вертере» Катаев называл первый заговор польско-английским, поскольку участвовало в нем несколько англичан. Считается, что во главе заговорщиков стоял некто Новосельский, присланный в Одессу польским Генеральным штабом. Организация якобы планировала мятеж в поддержку войск Пилсудского, которые в это время находились за сотни километров от города (в мае поляки взяли Киев, но уже в августе обороняли Варшаву).

В «заговоре на маяке» (задача — вывести из строя прожектор, когда в гавань войдет врангелевский десант) был обвинен герой «Вертера». За этот «заговор» среди прочих арестовали катаевского друга Виктора Федорова. Но аресты прошли в июне, а Катаева взяли ранней весной.

В повести «Отец», писавшейся тщательно в 1920-е, Петя Синайский — это он сам, Валя, «молодой человек в офицерской тужурке с артиллерийскими петлицами», которого ведут по пустым широким улицам, где еще недавно «расхаживали офицерские патрули и дефилировали отряды британской морской пехоты».

Прототипом «Димки» в «Вертере» был Виктор Федоров, но и там — о себе самом, это же Вале «чернокурчавый, как овца», конвоир говорит: «Господин юнкер, иди аккуратней. Не торопись.

Успеешь».

Подвалы, лестницы, гараж, шум мотора, заглушавшего выстрелы и крики.

В «Грасском дневнике» Галины Кузнецовой есть реакция Бунина на повесть «Отец» в разговоре с женой:

«— Нет, все-таки какая-то в нем дикая смесь меня и Рощина[18]. Потом, такая масса утомительных подробностей! Прешь через них и ничего не понимаешь! Многого я так и не понял. Что он, например, делает с обрывком газеты у следователя? Конечно, это из его жизни.

— А разве он сидел в тюрьме?

— Думаю, да.

— Он красивый, — сказала В [ера] Н[иколаевна]. — Помнишь его в Одессе у нас на даче?»

Кажется, Бунин не случайно обратил внимание на сцену в кабинете у следователя — одно из сильнейших мест в рассказе, шизофренический приступ загнанного существа, когда арестованный, дожидаясь чекиста, хватает с пола какие-то бумажки, воображая в бреду, что от этого зависит его судьба.

Подобное же и в «Вертере»: герой, обезумев, загадывает, что, если он не шелохнется, его не вызовут на расстрел…

«Он знал, что уже ничего не поможет, — это из рассказа 1922 года «Восемьдесят пять». — Он уже видел себя введенным в пустой гараж, где одна стена истыкана черной оспой, и совершенно точно осязал на затылке то место, куда ударит первая пуля».

Черновой вариант названия повести «Уже написан Вертер» — «Гараж».

Это из «Вертера»: «Теперь их всех, конечно, уничтожат… Говорят, что при этом не отделяют мужчин от женщин. По списку. Но перед этим они все должны раздеться донага. Как родился, так и уйдет».

В книге К. Алинина, в 1919 году арестованного и случайно избежавшего расстрела, «“Чека”. Личные воспоминания об Одесской чрезвычайке» показан именно такой конвейер: «На расстрел выводили по одному, иногда по два. Осужденного заставляли в подвале раздеваться… Нередко расстрелы сопровождались истязаниями». (То есть этого избежал Катаев в 1919-м, когда клялся в любви к большевикам, за что его осуждал «неприкосновенный» Бунин.)

О том же историк Игорь Шкляев, автор книги «Одесса в смутное время» (2004), со ссылкой на одного из комендантов здания ЧК: «Приговоренные раздевались донага, причем одежду сортировали на мужскую и женскую, верхнюю и нижнюю».

Героя «Вертера» допрашивают, из его камеры уводят людей: кто-то отрешенно держится, кто-то безумеет. Фамилии, приведенные Катаевым, подтверждают архивы. То есть это, скорее всего, были его сокамерники: «полковник в английской шинели» Вигланд и штабс-капитан Венгржановский («как две капли воды похожий на свою младшую сестру, — вышел из камеры с дрожащей улыбкой, отбросив в сторону недокуренную папироску»). Расстреляли и юную гордую красавицу Анну Венгржановскую («Неужели Венгржановская тоже разденется на глазах у всех?»). Катаев помнил их всю жизнь.

Его стихи, обычно живописные, в это время стали другими, высушились, упростились до наива: он заговаривал ими себя как человек, пробующий договориться с неволей и небытием.

Раз я во всем и всё во мне,
Что для меня кресты решеток
В моем единственном окне —
Раз я во всем и всё во мне.
И нет предела глубине,
А голос сердца прост и кроток:
Что для меня кресты решеток,
Раз я во всем и всё во мне.

Хотя вот в другом тюремном стихотворении — романтическая краска, метафора, отсылавшая к церковному детству:

Подоконник высокий и грубый,
Мой последний земной аналой.
За решеткой фабричные трубы,
И за городом блеск голубой.

Даже в тюремных, как бы предсмертных стихах — явный положительный заряд. У него так всегда: не было отрицания жизни. Пускай писал о самом тяжелом, о потере близких, о грозящей гибели, все равно все окрашено каким-то порой диковатым и даже кощунственным природным оптимизмом. Он не мог и не хотел скрывать праздничного начала, пробивавшегося вопреки тьме и жути.

Даже в преддверии расстрела Катаев, похоже, продолжал подбирать метафоры, жадно, глазами художника впитывая лица и повадки и арестантов, и тюремщиков.

В «Отце» у следователя «рогатые глаза».

«Вдруг лицо его стало железным, скулы натужились желваками, и он стукнул по столу кулаком так, что подпрыгнул чайник.

— В камэу! — крикнул он косноязычно, обнаружив прилипшую к языку стеклянную конфетку, и потянулся к кружке».

А это следователь из «Вертера»: «Юноша, носатый. Лошадиные глаза».

Одесский краевед Сергей Лущик методом долгих изысканий и сопоставлений выяснил имя следователя (и имена остальных чекистов) — по крайней мере, именно он вел дело Федорова, а возможно, и Катаева (или Катаева допрашивал). Это Марк Штаркман. Он умер в 1996-м глубоким стариком — по иронии судьбы в том же поселке Переделкино, где жил Катаев. По сообщению его внучки Марины Штаркман, уже отставной чекист и Катаев часто общались в 1970-е годы. Чем не сюжет, а?..

Еще один легендарный для Одессы чекист по кличке «Ангел Смерти» — первое название черновой рукописи «Вертера». У катаевского Ангела Смерти — «фосфорические глаза», и он распорядитель расстрела. О нем читаем в архиве приказ председателя ОГЧК от 18 апреля 1920 года: «Товарищ Вихман назначается заведующим общим отделом». Вот что писал об Ангеле Смерти некто В. О. в опубликованных в Париже воспоминаниях «56 дней в Одесской чрезвычайке» (1920): «Приезд “самого” Вихмана навел столь сильную панику на всех заключенных, что последние быстро пошли по камерам. Вихман — страшилище Чека. Он собственноручно расстреливает приговоренных. Об этом всем известно отлично. Но Вихман, если ему физиономия чья-то не понравится или ему не угодишь ответом, может расстрелять и тут же в камере по единоличному своему желанию». В «Траве забвенья» (о смертельный озноб катаевской иронии!) чекист-пенсионер мило воркует: «Ангел Смерти, — ты его помнишь, нашего Колю Березовского по кличке Ангел Смерти? — красивый был парень и хорошо рисовал, царство ему небесное, — так он взял здоровую кисть и золотой краской написал: “Смерть контрреволюции”. Краска прошла сквозь материю, и буквы отпечатались золотом на обоях».

А вот предгубчека Макс Маркин, чья голова «густо заросла жесткими пыльными волосами с рыжеватым оттенком». Это Макс Дейч. По некоторым признакам Катаев мог побывать именно в его кабинете. С марта 1920-го — зампред губчека, с 10 августа — председатель. Катаев вспоминал, что встречался с Дейчем уже в Москве. Если судьба Ангела Смерти туманна, то Дейча известна: расстрелян в 1937-м.

Одесский краевед Олег Губарь нашел фольклорные стихи

1920-х годов «Бунт в Одесской тюрьме».

Раз в ЧК пришел малютка,
Стал он плакать и рыдать:
«У меня дела не шутка,
Я ищу отца и мать»…

Приступая прямо к делу,
Наш малютка-молодец:
«Дядя Дейч! Отдайте маму!
Дядя! Где же мой отец?»

Дейч хохочет, Дейч смеется,
Фишман взялся за бока:
И чего малютка хочет
Получить от Губчека?

«Твой отец давно в могиле —
Он расстрелян, как бандит,
И сейчас не знаю, право,
Где же даже он зарыт».

Ну и так далее…

В центре «Вертера» — надменный посланец Троцкого шепелявый Яков Блюмкин (Наум Бесстрашный), наведавшийся в Одессу в 1920 году (Катаев хорошо знал Блюмкина и даже написал о нем повесть, сгинувшую в недрах НКВД. Он вспоминал, что после окончательной победы красных «Яшка» появился в городе «с какой-то особой миссией»: «Всегда он был чекистом. Ходил в форме, с шевронами»).

Но вообще-то, возьмем выше: летом 1920-го в Одессу прибыл сам главный чекист — да, Феликс Дзержинский, который, как сказано в книге 1987 года «…А главное — верность» (сборник воспоминаний «чекистов Одесщины»), «помог одесской губЧК решительными действиями разгромить контрреволюционное белогвардейское и петлюровское подполье, ликвидировать гнезда врангелевского и антантовского шпионажа».

«Слово “Дзержинский” приводило врагов в ужас, — со знанием дела писал Катаев в «Правде» 1936 года к десятилетней годовщине смерти «железного». — Для недобитой русской буржуазии, для бандитов и белогвардейцев, для иностранных контрразведок Дзержинский казался существом вездесущим, всезнающим, неумолимым, как рок, почти мистическим».

И еще одно отступление. Зимой 1934-го Катаев оказался в

Ленинграде (как следовало из рассказа 1935 года «Тени»): «Меня повели к одному человеку с двойной фамилией, назначенному к высылке». У этого гонимого «бывшего», когда-то инженера, «за несуразно большие деньги, не торгуясь» он купил графин екатерининской эпохи, «похожий на хрустальную церковь барокко». Покупке (которая выглядела как поощрение) предшествовало чувство опасности — визитер ощутил присутствие «пугающего предмета», хотя и был «не в состоянии его обнаружить»: *«Я* стал осматриваться по сторонам, ища встревожившую меня вещь». И вдруг увидел портрет Дзержинского. «Трудно было ошибиться в значении этой демонстрации… Портрет висел явно для издевательства, к которому трудно было придраться».

«— Будьте уверены, если ситуация изменится, я у вас куплю этот графин за тройную цену.

И я увидел перед собой красиво причесанную, свободно опущенную голову с легкой проседью…

Он так и сказал, просто, с медленной полуулыбкой: “Если изменится ситуация”».

Под конец жизни Катаев в разговоре с журналистом Борисом Панкиным осуждающе назвал Дзержинского «наверняка троцкистом, и уж наверняка — левым эсером». «Это была одна компания», — обронил он о Феликсе Эдмундовиче и Льве Давидовиче.

Незадолго до смерти он сказал юному редактору издательства «Художественная литература» Ольге Новиковой по поводу повести «Уже написан Вертер»: «Я же не виноват, что *там* так было».

В сообщении «от коллегии О.Г.Ч.К.» в одесских «Известиях» 26 ноября 1920 года (газета клеилась на улицах, текст набран на оборотной стороне желтого листа неразрезанной табачной бандероли с изображением трезубца и надписью «20 цигарок») читаем про «огромное дело, прошедшее на заседании коллегии губчека 28 октября. По соображениям оперативного характера опубликование этого дела задержалось. Число участников этого дела достигает 194 чел. и представляет собой огромную контрреволюционную организацию, в которой сплелись белополяки, белогвардейцы и петлюровцы».

Для ста человек утвердили приговоры к расстрелу (вина одного из них — «офицер царской армии, уклонившийся от регистрации»), для кого-то — к концлагерю, 79 человек выпущены на свободу «как непричастные к делу».

В списке освобожденных среди прочих значатся вразбивку Валентин Катаев и Евгений Катаев. Повторимся: вероятнее всего,

их вина — белое прошлое Валентина. Да и каким боком наш герой мог быть причастен к польскому заговору? Вряд ли через своих любимых англичан… С другой стороны — еще раз спросим: неужели брата взяли только за то, что брат? Впрочем, в списке расстрелянных по этому делу можно увидеть целые семьи — те же Венгржановские…

Непонятно, если Катаев был арестован в марте 1920 года, как его могли обвинять в «заговоре», о котором стало известно в июне? И почему он устроился на работу и публично выступал еще в сентябре, хотя решение коллегии о его освобождении датировано октябрем? По всей видимости, это признаки беспредела и хаоса, сопутствовавших террору.

В мемуаре Михаила Калиновского, именовавшего себя тогдашним «начальником разведки и контрразведки губЧК», изображена авантюрная жизнь подпольщиков: курьеры, явки, переодевания, пароли. Катаев в «Вертере» не отрицал, что некое подобие заговора существовало (а может, это была юношеская игра?): «В собраниях на маяке он не участвовал. Только присутствовал, но не участвовал. И то один лишь раз. Случайно».

Кто этот «он»? Витя Федоров? Но притронуться к «заговору» по касательной могли и автор, и даже Женя Катаев…

А кто же спас? Кто освободил?

По словам сына Катаева, на допросе его узнал Яков Вельский, не только чекист, но художник и литератор, заявивший: «Это не враг, его можно не расстреливать». Отец продолжил общаться с Вельским в столице, где тот работал в «Вечерней Москве». «Мама вспоминает, что Вельский намеревался написать ее портрет. Может быть, это и произошло бы, но чекист Вельский был в конце 1930-х годов арестован своей организацией и уничтожен».

Театральный критик Александр Мацкин рассказал в мемуарах, что в Харькове, где они в середине 1920-х работали с Вельским журналистами, заметил у него в комнате фотографию Катаева со «странной размашистой надписью», смысл которой запомнил: «такой-то вернул мне жизнь». «Вельский, заметив мое удивление, объяснил, что в годы гражданской войны, еще юношей, он стал большим начальником в Одесской ЧК. Катаев же по призыву попал в белую армию, в какой-то роковой момент его посадили, но Вельский пришел к нему на выручку и действительно его спас».

Яков Вельский (Биленкин), как и Катаев, родившийся в 1897-м, в 1919 году был художником-плакатистом в одесском губисполкоме, вероятно, тогда же познакомился с сотрудниками Бюро украинской печати Катаевым и Багрицким (о нем в 1936-м он оставил воспоминания) и скорее всего, посещал вечера «юных

поэтов революции». Уже в то время Вельский был секретным сотрудником губернского Особого отдела. За день до деникинского десанта благодаря его провокации были арестованы белогвардейцы-заговорщики полковник Саблин и поручик Марков. После взятия белыми Одессы Вельский пять месяцев скрывался в городе, рискуя жизнью.

В 1920 году после взятия Одессы красными Вельский на службе в ЧК. Он не имел полномочий освобождать арестантов, да и ходатайства за них со стороны сотрудников строго воспрещались.

Под конец жизни в беседе с журналистом Александром Розенбоймом Катаев вспоминал, что однажды в тюрьме появилась какая-то комиссия, и один из ее членов, Туманов, частый посетитель литературных вечеров, узнал его.

Петр Туманов был следователем Одесской ЧК и, вероятно, приятелем Вельского. В июне 1920-го он стал начальником следственно-судебной части губвоенкомата, вынесшей в том же году десятки оправдательных приговоров «военспецам».

Киянская и Фельдман предполагают, что Вельский повлиял на Туманова, добиваясь освобождения Катаева (и его брата).

А в дальнейшем действительно Катаев и Вельский общались сквозь города и годы…

Катаев подарил Одесскому литературному музею фотографию, написав на обороте: «Слева направо Багрицкий, Катаев, Яша Вельский. Какой год — не помню. Это может быть и 25, и 26, а может, даже 31 (хотя вряд ли)». С 1923 года Вельский — замглавреда в «Красном Николаеве» (для литературного приложения «Бурав» писал Катаев). С 1925-го работал в прессе Харькова. С 1930-го — Москва, зам главного в «Крокодиле», где даже печатался с Катаевым в соавторстве. С 1934-го сочинял фельетоны и рисовал карикатуры для «Вечерней Москвы». В 1937-м был взят через месяц после ареста Макса Дейча и расстрелян как «активный участник троцкистско-зиновьевской террористической организации».

Диму в «Вертере» от расстрела спасают, как и автора, через знакомство.

Кто бы ни был избавителем, похоже, Катаева спасло поведение на литературном собрании 1919 года: не зря драл глотку докрасна!

(А вообще, избавителями могли быть оба. И еще кто-то мог быть. В анкете, заполнявшейся бывшими офицерами, графа 17-я гласила: «Кто из ответственных партийных или советских работников знает и может вас рекомендовать».)

Он отсидел в ЧК полгода. В повести «Отец» трижды

повторяется срок заключения: «шесть месяцев».

В беседе с журналистом Розенбоймом Катаев подтверждал: был в тюрьме около полугода, сначала — в старом здании ЧК на Екатерининской площади, затем — на улице Маразли. Краевед Лущик, основываясь на тюремных стихах Катаева и анкете, заполненной им на воле, сделал вывод: освобожден он был где-то между 5 и 14 сентября 1920 года. Кстати, пребывание Катаева в тюрьме можно отследить по информации о литературных вечерах в одесских газетах: выступали Багрицкий, Олеша и другие, а потом вдруг снова возник Катаев.

«Все головы повернулись к нему, словно в дверь вошло привидение. Он не придал этому никакого значения и, как всегда, помахал рукой товарищам… Надо было бы не молчать, а радоваться, что его оправдали и выпустили. Но они молчали, и трудно было постигнуть смысл их молчания. Что это? Испуг или недоумение? Может быть, ужас?» («Уже написан Вертер»).

Ему, прошедшему войны, раненому, травленному газом, переболевшему тифом, просидевшему в подвале в ожидании смерти, было всего двадцать три.

Он нес свою тайну сквозь всю жизнь.

В книге «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» он вспоминал детскую игру в войну, и запись эта читается как шифровка. «Мы, “буры”, не успели взорвать мост. “Англичане” напали на нас врасплох. “Буры” бежали. Один лишь я попал в плен, и меня привели на горку к английскому коменданту.

— Проклятый бур, теперь ты будешь расстрелян!»

В «Зимнем ветре» Петя Бачей, арестованный корниловцами, переживал то же, что и герой «Отца», арестованный большевиками: «Он сам и отец в эти минуты в его сознании были как бы одним существом, странно разделенным в этом тягостном мире тюремной свечи».

Даже в фантастической повести «Повелитель железа» приговоренный индус расхаживал по своей «смертной камере» в ожидании конца. «Несколько крупных тропических звезд горело среди грубых переплетов единственного окна камеры Рамашандры в темной синеве неба. Ночь тянулась бесконечно».

В «Святом колодце» (1977) немолодой Катаев встречается в Лос-Анджелесе с Зоей Корбул.

«— Когда же мне сказали, что вы расстреляны, я пришла домой, села на диван и окаменела…

— А может быть, это все-таки правда и я давно мертв?!»

Прямо так, два знака: вопросительный и восклицательный.

ДЕЛО ФЕДОРОВА

Надо бы сказать отдельно о прототипе героя «Вертера» и о судьбах семьи Федоровых[19].

Витя Федоров — ровесник Катаева, друг детства. С восьми лет рисовал для газет и журналов. Талантливость карикатур девятилетнего Вити отмечала в записях Муромцева. Ему было двенадцать, когда в Одессе открылась и поехала по стране огромная выставка «Салон» с участием многих мастеров, в отдельном зале «Детские рисунки» были выставлены Витя и та самая Аня Венгржановская.

В июле 1912 года писателя Александра Федорова посетил на его новой даче корреспондент газеты «Южная мысль»: «Очень много времени А. М. в настоящее время отдает живописи… целая стена занята его произведениями. Другую стену занимают картины его четырнадцатилетнего сына, обнаруживающего недюжинные способности в живописи. “Соперники” очень мирно уживаются в одной комнате. Отец откровенно заявляет, что произведения сына гораздо лучше его собственных». В той же газете спустя год: «От работ пятнадцатилетнего сына писателя художники в восторге. Юный рисовальщик работает вместе с отцом на мансарде, откуда открывается такой прелестный вид на море». Витя неплохо пел и даже сомневался: быть художником или певцом.

Он поступил в Одесское художественное училище, а в январе 1916 года был мобилизован в армию. На фронте попал в тяжелую артиллерию. Летом 1916-го женился на Надежде Ковалевской, младшей дочери владельца земли, где Федоровы купили себе участок под дачу. Родились сыновья — Леонид в 1917-м и Вадим в 1918-м, которых Катаев в «Вертере» назвал Кириллом и Мефодием.

У Катаева не было такой поддержки и опеки, не было роскошной дачи, он пробивался сам, не рос среди знаменитых и успешных, а постепенно знакомился с ними и, быть может, некоторую свою зависть вложил в уста следователя с лошадиными глазами: «Богатый папаша. Ему ничего не стоит купить своему гениальному вундеркинду ящик пастельных карандашей. Десять рублей — пустяки. Мамочкин сынок будет создавать репинские полотна! Я знаю, перед самой войной папочка возил вас в Санкт-Петербург, пытался по протекции впихнуть вас в Академию художеств. Но вы с треском провалились, только напрасно опозорились». (Приведем в опровержение телеграмму из Петрограда, из Академии художеств

в канцелярию Одесского училища: «Виктор Федоров экзамен рисования на архитектуру выдержал».)

Судя по воспоминаниям его близких, в период частой смены властей в Одессе Федоров уклонялся от мобилизации и не участвовал в Гражданской войне ни на одной из сторон.

Вскоре после взятия Одессы в 1920-м большевики установили на Большом Фонтане прожекторную станцию. Красный командир Григорий Котовский, благоволивший семье Федоровых, устроил туда Виктора, его жену Надежду и их друга по фамилии Хрусталев. По воспоминаниям самой Надежды, с ее мужем вступили в контакт «сомнительные личности», предложившие ему заплатить «большую сумму денег за то, что он выведет из строя прожектор, когда в гавань войдет белый десант». Виктор согласился содействовать бесплатно. Он стал связным, как об этом в закрытых архивах ЧК вычитал Никита Брыгин, создававший музей КГБ в Одессе.

Одновременно чекисты вскрыли на прожекторной станции криминальный сговор. Им стало известно, что Хрусталев с помощником за мзду «крышуют» контрабандистов из Болгарии. Тогда на прожекторную станцию под видом моториста устроился тот самый молодой следователь Марк Штаркман, вскоре разоблачивший «шкурников».

Но главное обвинение, конечно, — заговор во главе с неким штабс-капитаном Ярошенко. Возможно, с самого начала все было провокацией, поскольку, как следует из записей Брыгина, чекисты внедрили в ряды «заговорщиков» (а на пике их насчитывалось 200 человек) агента по кличке Николай. Строевой офицер царской и деникинской армий, кавалер двух Георгиевских крестов, весной 1920 года преддоживший Одесской ЧК свои услуги по обнаружению офицерских подпольных групп.

Брыгин видел в тех же закрытых архивах его имя, отчество и фамилию, но не назвал их, заметив лишь, что фамилия была «звучной на всю старую Россию».

Эта фраза даже позволила некоторым азартным блоге-рам предположить: а не о Катаеве ли речь? Сразу вспомнили «За сто тысяч убью кого угодно» и начали сопоставлять: офицер — царский и деникинский, два Георгия, весной 1920-го встал на ноги, уже печатался на всю Россию. Если развивать идею, можно приплести и дальнейшие контакты Катаева с несколькими одесскими чекистами — странно как-то для жертвы.

Мне это кажется вздором. Дело не в гнусности самих подозрений (задача книги — честный и хладнокровный разбор всех сведений), а в том, например, что поскольку речь о звучности именно в «старой России», а не в советской, то наверняка

подразумевалась известная аристократическая фамилия. Да и зачем было держать в тюрьме «своего» целых полгода (как и его брата), таскать на допросы, изводить его отца? И не родились бы тогда пронзительные стихи в ожидании казни, перешедшие потом в прозу…

Агент Николай был ключевой фигурой в разоблачении и разгроме организации штабс-капитана Ярошенко (а быть может, и в ее создании). Ярошенко — прототип чудесно спасшегося штабс-капитана Соловьева в «Траве забвенья», где прозаической строкой приводились такие одесские куплеты того времени на мотив песни Вертинского «Три юных пажа покидали навеки свой берег родной»: «Три типа тюрьму покидали: эсер, офицер, биржевик. В глазах у них слезы сверкали, и где-то стучал грузовик. Один выходил на свободу, удачно минуя гараж; он продал казенную соду и чей-то чужой экипаж. Другой про себя улыбался, когда его в лагерь вели; он сбытом купюр занимался от шумного света вдали. А третий был штабс-капитаном, он молча поехал в гараж и там был наказан наганом за Врангеля и шпионаж. Кто хочет быть штабс-капитаном, тот может поехать в гараж!»

Но была и другая, более романтическая версия разоблачения — роковая женщина. Эту версию Катаев взял у Сергея Ингулова (Рейзера), неистового большевика, пропагандиста, члена коллегии Одесской ЧК, впоследствии начальника Главлита, расстрелянного в 1938-м. (Между прочим, Ингулов — еще один возможный участник вызволения Катаева.)

Ингулов утверждал, что «очень осторожного» врангелевского штабс-капитана погубила женщина, с которой он познакомился в столовой ЕПО (Единого потребительского общества). Она получила задание ЧК влюбить его в себя, успешно справилась, но влюбилась и сама, и всё же, наперекор чувствам, доносила на него, помогла с арестом, а в тюрьме перестукивалась через стенку, пока он не был расстрелян, а она освобождена.

В харьковском «Коммунисте» Ингулов взывал: «Писатели и писательницы, трагики и поэты, акмеисты и неоклассики, о ком рассказываете вы нам? Вы художники, вы не можете не воспринимать революционного быта, жизни — не классов, не слоев, не групп, отдельных людей в революции… Поэты и поэтессы, вы сумели воспеть любовь Данте и Беатриче, разве вам не постичь трагической любви штабс-капитана и девушки из партшколы?.. Почему же вы молчите?»

Этот образ — имевший прототип или вымышленный — так впечатлил Катаева, что предательница есть и в «Траве забвенья», где мечется от любви к страшному долгу, теряя сознание, Клавдия Заремба, «машинистка в административно-

хозяйственном отделе губчека», и в «Вертере», где действует ледяная и жестокая Инга, которая прямо названа и изображена Иудой (выполнил-таки Катаев литературное задание Ингулова!), и, быть может, мелькает на миг в «Отце» — машинистка, выглянувшая из решетчатого окна, когда Синайского ведут со двора тюрьмы на допрос.

Не исключено, что Катаеву помогли рассказы Якова Вельского об одесской чекистке Розе Вакс. Она внедрялась в сообщества, враждебные советской власти, и даже была тюремным соглядатаем[20]. В 1935 году ее давние коллеги Дейч и Вельский выдали приехавшей в Москву Вакс справки о том, что она «работала в 1920 г. в органах ЧК», однако в 1936-м Комиссия партийного контроля объявила ее авантюристкой — возможно, это было интригой Ежова накануне снятия Ягоды и зачистки прежних кадров.

Итак, мы в 1920-м и в Одессе: организация штабс-капитана Ярошенко готовилась поднять восстание при подходе врангелевского десанта. В ночь на 12 июня и в течение суток стали брать участников «заговора», среди них — Виктор Федоров, 13-го в Одессе было введено военное положение, но десанта так и не случилось.

Надежда на десант — уже тюремная — в «Вертере», во снах обреченных, которые «сами были сновидениями».

Штабс-капитан Ярошенко ушел от ареста (что отражено в «Траве забвенья»), но через три месяца был вычислен и взят, хотя пытался скрыться под другой фамилией.

А сейчас надо вернуться к Григорию Котовскому.

Осенью 1916 года он находился в одесской тюрьме, приговоренный к смертной казни. За него активно просила интеллигенция (этот налетчик никого не убил, а грабил только богатых), и казнь была заменена бессрочной каторгой. После Февральской революции начались хлопоты об освобождении Котовского и разрешении ему отправиться на фронт. Писатель Федоров обращался к министру юстиции Временного правительства с такими словами: «Если бы Вы, г. министр, видели Котовского лично, Вы бы убедились, что это человек с переболевшей и перегоревшей в раскаянии душой. Приговоренный к смертной казни, он сорок пять дней и ночей с минуты на минуту ждал, что к нему придут палачи… Если Вы, г. министр, склонны верить некоторой зоркости писателя, двадцать пять лет наблюдавшего и изучавшего человеческое сердце, Вы не ошибетесь, если в это благословенное время даруете Котовскому просимую милость».

Котовский и Федоров близко дружили. В своих

воспоминаниях «Президент тюремной республики» одесский журналист Алексей Борисов, начинавший еще до революции, рассказывал, что Котовский «во время интервенции в течение нескольких недель скрывался на даче у Федорова. Отсюда Григорий Иванович, загримированный под купца, делал вылазки в город». «Всем известно, что Котовский прятался на даче Федорова», — сказал Катаев в интервью Розенбойму.

А в берлинской книге писателя-эмигранта Романа Гуля «Красные маршалы» вообще утверждалось, что исключительно Федоров спас «идейного налетчика» от казни: «Прямо из тюрьмы освобожденный Котовский приехал к Федорову. Взволнованно сжав его руку, глядя в глаза, Котовский сказал: — Клянусь, вы никогда не раскаетесь в том, что сделали для меня… если вам понадобится когда-нибудь моя жизнь — скажите мне».

Теперь понятно, почему после взятия Одессы Котовский пристроил Витю Федорова с женой и другом на прожекторную станцию.

Он же, Котовский, добился их освобождения летом 1920-го. И не столь важно, кто попросил за арестованного (возможно, мать, как в «Вертере» или в зеркальной киноповести «Поэт», где у поручика в белой контрразведке за арестанта-коммуниста, заболевшего тифом и попавшего в захваченный город, тоже просит мать, падая на колени).

О том, что Котовский спас Виктора Федорова от расстрела, пишут и Борисов, и Гуль, это подтверждали и его жена Надежда, и сын Вадим.

В «Вертере» за арестанта упрашивал своего старого приятеля по каторге Маркина (Макса Дейча) «горбоносо-лосиный» эсер Серафим Лось, чей прототип — ныне позабытый литератор Андрей Соболь. В 1919–1921 годах Соболь подолгу жил в Одессе и был возлюбленным художницы Анны Коваленко, впоследствии второй жены Валентина Петровича…

Катаев и тут передал реальные события. Лось действительно упросил Дейча освободить художника, но не Диму (Витю), а Николая Данилова, участника одесской литературной жизни тех лет, который в своих воспоминаниях писал так: «Виновником моего скорого освобождения был Андрей Соболь. Узнав о моем аресте, он решил воспользоваться старым знакомством с председателем Одесской губчека Дейчем, вместе с которым был на царской каторге. После этого они не встречались и их пути в революции разошлись. Но тем не менее Соболь решил обратиться к Дейчу. Он послал ему записку с просьбой уделить ему несколько минут для беседы. Дейч принял его и искренне обрадовался, увидев старого товарища. Он, конечно, знал

политическое прошлое Соболя, но это не помешало ему выполнить его просьбу, лично разобраться в причинах моего ареста, в результате чего я был освобожден, даже без допроса». Соболь застрелился в 1926 году на Тверском бульваре у памятника Пушкину (жертва тяжелых депрессий, не дождался репрессий) — теплый некролог поместил в «Гудке» «Вал. К», то есть Валентин Катаев.

И наконец, о судьбах Федоровых.

В декабре 1919 года Александр Митрофанович, оставив жену, переехал в Болгарию (как рассказывают, с новой возлюбленной). В Софии он прожил 30 лет: литературные вечера, выставки… Состоял в переписке с Тухачевским, предлагавшим вернуться на родину. После войны написал мемуары и передал в Москву с неким Заславским, но следов их не обнаружено. Репатриант Николай Гринкевич вспоминал: «В последние годы жизни Федоров нигде не печатался. Один за другим заканчивали свое существование публиковавшие его журналы и газеты… Все чаще и чаще можно было встретить в софийских кабачках старого русского писателя, одиноко сидящего в глубоком раздумье за стаканом вина». Умер он в 1949-м.

Лидия Карловна (в «Вертере» Лариса Германовна, хотя в первой черновой рукописи и она, и ее сын названы подлинными именами), в прошлом актриса, писала пьесы, но в основном занималась хозяйством. Оставшись собственницей дачи, она сдавала ее комнаты. В «пансион» приезжали Мейерхольд, Олеша, Багрицкий, Нарбут и многие другие. В середине 1930-х годов Лидия Карловна передала дачу Литфонду Украинского союза писателей, оставив себе комнату. Она переписывалась с Федоровым, который собирался вернуться — их ободряло возвращение весной 1937-го Куприна, но вдруг, к удивлению Федорова, переписка оборвалась. Лидия Карловна была арестована в октябре 1937-го и расстреляна менее чем через месяц после ареста в возрасте семидесяти одного года. Три свидетеля, включая администратора Дома творчества, дали показания, что она «вела себя как хозяйка», хранила «как святыню» книги мужа-эмигранта, возглавляла антисоветскую группу офицеров и дачевладельцев, очень религиозна, «ее посещал митрополит», муж и сын в эмиграции, а в 1919-м на даче укрывался контрреволюционер писатель Лунин (вместо «Бунин»). Вдобавок расстрельная тройка придумала ей второго сына-эмигранта.

Несомненно, Катаев знал дальнейшую судьбу Виктора Федорова — она показана через «вещий материнский сон» в «Вертере». Во сне матери он «уплывал на лодке вместе с какими-

то будто хорошо ей знакомыми людьми через Днестр на противоположный берег». Да, Виктор, освобожденный из Одесской ЧК, не теряя времени, бежал в Румынию через днестровские плавни. Жена Надежда с детьми смогла перебраться к нему только со второй попытки. Однако за это время Виктор сошелся в Бухаресте с другой женщиной по имени Вера, генеральской дочерью. Надежда поселилась с детьми в Праге, потом они уехали в Америку.

Виктор снова увидел Одессу в 1941-м во время оккупации города румынами. Но могилу «бедной мамы», проявляет осведомленность Катаев, «он так и не нашел, когда вернулся в родной город вместе с чужеземными войсками». Он поселился на той самой даче, гулял по городу в румынской военной форме. Будучи главным художником Королевского оперного театра в Бухаресте, оформил несколько постановок в Одесском театре и жаловался в письме отцу, что начальство приказало ему перевезти декорации в Бухарест. И даже это было известно Катаеву: «“Ночь” из “Аиды”, свернутая в рулон, тряслась по исковерканным дорогам войны в неуклюжем тягостно-сером немецком грузовике с брезентовым верхом». В окончательный текст «Вертера» не вошла и такая фраза: «Его преступление не считалось особенно тяжким: он только забрал в городском театре несколько наиболее ценных декораций и увез их за Днестр, за Дунай, на запад…»

В 1944 году в Румынию вошли советские войска. У Виктора была возможность перебраться в Америку, но Александр Митрофанович в письме советовал ему «оставаться и ждать наших». Есть версия, что Виктора сдала жена Вера, от которой он собрался уйти. Его отправили в сибирский лагерь, куда попал и Сергей Бондарин, писатель родом из Одессы, фронтовой корреспондент, арестованный в конце войны за «антисоветскую агитацию»[21], который и рассказал все Катаеву. Федоров был художником-декоратором в лагерном театре имени Берии и, по воспоминаниям Бондат рина, несмотря на истощение и болезнь, «работал упоен-но, молитвенно, как будто он не в холодном сарае нашего лагерного красного уголка, а в своей солнечной студии художника. И он еще накануне своей смерти говорил мне: — Только одно может спасти нас, Сережа! Это — собрать все силы души и жить эти годы, как в молитве… Но — Боже мой! Где же они?». Виктор умер в 1948-м.

Об этом зримо и достоверно тоже у Катаева, словно бы побывавшего там, в бараке, у друзей юности: «Он часто вспоминал о Боге, в которого опять верил, горячо, как в детстве. У него на груди, под бязевой рубахой на тесемочке, висел образок

его ангела-хранителя. Он молился на этот овальный эмалевый образок и со слезами на потухших глазах целовал его. Он был уверен, что это Бог карает его за грехи, и он со смирением принимал Божий гнев… Его уносило туда, где мама склоняла над ним печальное лицо, где на миг появился и пропал папа — белый жилет, обручальное кольцо, золотые запонки, — где два маленьких мальчика в панамках — двойняшки Кирилл и Мефодий — с крашеными ведерками в руках бежали босиком возле Констанцы по песку золотого пляжа, на который языками наползала кружевная пена Черного моря…»

А сейчас еще кое-что.

12 мая 1921 года в одесском отделе ЗАГС сделана запись о женитьбе Валентина Катаева на Людмиле Гершуни. Сравнительно немного времени после освобождения… Для обоих — первый брак. Место проживания — ул. Карла Маркса (бывшая Екатерининская), 2. Ему было — двадцать четыре, ей — девятнадцать.

Как явствует из архивов, Людмила родилась в Одессе 27 ноября 1901 года. Родители: одесский 2-й гильдии купеческий сын Рафаил Хаимов Гершуни, мать — Эйдля. В браке Людмила Гершуни стала Катаевой.

12 января 1922 года (ровно через восемь месяцев) на основании обоюдного согласия разведены: Катаев Валентин, литератор, и Катаева Людмила, домохозяйка. «После расторжения брака желает именоваться Гершуни».

Весной 1921-го он отправился в Харьков, где делил тесный номер с друзьями… А Гершуни? Встречались во время его редких наездов в Одессу? В начале 1922-го уехал покорять Москву…

Лущик и Розенбойм утверждали: «После разрыва с Катаевым она покончила с собой…»

Катаев никому не говорил о Людмиле.

Об этом браке дети Катаева впервые услышали от меня…

Розенбойм вспоминал: когда в 1982 году он задал Катаеву вопрос о Гершуни, тот вскинулся: «Откуда вы знаете?!»

И, быть может, о ней строчки 1921 года:

Но одной я ночи не забуду,
Той, когда зеркальным отраженьем
Плыл по звездам полуночный звон,
И когда, счастливый и влюбленный,
Я от гонких строчек отрывался,
Выходил на темный двор под звезды
И, дрожа, произносил: Эсфирь!

ЮГРОСТА

15 сентября 1920 года, едва освободившись из тюрьмы, Катаев поступил на работу в ЮгРОСТА.

ЮгРОСТА (Южное отделение Российского телеграфного агентства), преемник БУПа, появилось в Одессе в 1920-м в скором времени после прихода красных. «Это был агитационный отдел Ревкома, а затем Губкома, — вспоминал Катаев. — Изо и Лито — тут же. На учете состояли поэты и фельетонисты». Своего рода оперативная альтернатива прежнему обилию газет при нехватке бумаги и отсутствии должного числа типографий.

Командовали поочередно Михаил Кольцов, Сергей Ингулов и Владимир Нарбут.

Поэт-акмеист Нарбут, приехавший в город 15 мая 1920 года, когда Катаев уже сидел, взялся за дело всерьез. Он принадлежал к старинному украинскому дворянскому роду с литовскими корнями. В октябре 1912-го, чтобы избежать суда за сборник «Аллилуиа», набранный церковнославянским шрифтом и конфискованный из продажи Департаментом полиции по причине «порнографии и богохульства» (кстати, безобидные стихи), при содействии Николая Гумилева отправился в полугодовую этнографическую экспедицию в Сомали и Абиссинию. Катаев вспоминал о позднейшей поэме Нарбута «Александра Павловна»: «В стихах, которые я прочел, точек было больше, чем слов. И клянусь, я эти точки яростно заполнил» (признание, очевидно, романтизирующее Нарбута: в этой поэме нет ни одного матерного слова, зато сплошняком стоят муторные цветасто-терпкие эпитеты, по выражению Надежды Мандельштам, «пропитанные украинским духом»).

Катаев вывел Нарбута в романе «Алмазный мой венец» под кличкой «колченогий» (в 17 лет из-за болезни лишился пятки на правой ноге и хромал) плюс у него не было левой руки (последствие нападения «красных партизан» на его усадьбу под Новый год в 1918-м; тогда убили брата-офицера, а сам он получил четыре пули). В революцию Нарбут — сначала левый эсер, потом — большевик. Редактировал коммунистические издания.

В октябре 1919 года в Ростове-на-Дону попал в деникинскую контрразведку, где записал исповедальные «показания»: «Я с лихорадочным вниманием прислушивался ко всему тому, что говорилось о походе против большевиков. Я уже знал, уже точил нож мести против тех убийц (я поклялся перед трупом брата убить их, я их знаю!), которые напали тогда ночью… Я

приветствую вас, освободители от большевистского ига!! Идите, идите к Москве, идите, пусть и мое мерзкое, прогнившее сердце будет с вами… Только не отталкивайте меня зря!.. О, как я буду рад, если мне будет дано право участвовать в деле обновления России. А может, возможно и мое возрождение?»

Нарбут был отбит красной конницей и снова стал коммунистом. В Одессе начал издавать литературно-художественный журнал «Лава», а затем сатирический «Облава».

ЮгРОСТА соединяло телеграфное агентство, агитационно-пропагандистский отдел, клуб, театр, устные и стенные, радио и телефонные газеты, насчитывало полторы сотни работников. Организация была могущественная — распоряжалась агитпоездами и агитпароходами.

Нарбут собрал туда творческую молодежь города — Бабель, Багрицкий, Олеша, Славин, Бондарин, Ильф, Инбер, Шишова, Адалис, Борис Ефимов.

По всему городу открылись агитационно-информационные центры. В этих «залах депеш», в столовых югростовцы устраивали поэтические спектакли, зачитывали рабочим и красноармейцам статьи, заметки и новости, которые и назывались «устными газетами». Там же, согласно отчету Литагита, проходили «летучие концерты из революционных отрывков, вокального, декламаторского и музыкального искусств». Поэты выступали в воинских частях, на заводах, в клубах, в кинотеатрах после сеансов.

По Одессе вывешивались «Окна сатиры» — младшие братья московских «Окон РОСТА» Маяковского — и ими как раз стал заведовать Катаев, сочинявший стихи и фельетоны. Его только что чуть не расстреляли, но, чтобы выжить и прокормиться, приходилось изо всех сил хохмить и клясть недруга. «Окна» вместе с агитпоездами уезжали на «врангелевский фронт».

Еще по городу расклеивались большая стенная газета в виде афиши и разнообразные плакаты, которые, по выражению Нарбута, «пользовались рамой из шумных перекрестков и площадей». «Короста — болезнь накожная, а югроста — настенная», — усмехался Катаев. Но она, эта болезнь, в случае Багрицкого, по мнению Катаева, «оказалась единственным учреждением республики, где его чудовищная фантазия могла найти применение». Отчасти так было и для самого Катаева.

Одно из немногих сохранившихся произведений ЮгРОСТА — рисунок с изображением памятника Пушкину и городской думы, подписанный «Л. Рив’ен», рядом — угрожающий текст того же автора:

В тюрьму не хотите ли,
Слухов распространители?
Одесские радиоприемники,
константинопольские паломники…
Зайцы трусливые,
Торгаши похотливые,
Валюту считаете,
Черные гнойники?
Вы же покойники —
Понимаете?

Художник и график Борис Косарев рассказывал: «В Одессе в РОСТА художники часто насмехались над ними. Принесут Катаев и Олеша какие-нибудь стихотворные подписи к плакату, который надо нарисовать — что-то про Петлюру и халтуру и натуру… а те и говорят: “Ну, покажите, как это должно выглядеть”, а потом смеются над их беспомощными, “гимназическими” рисунками».

Хватало художников-профессионалов. В ЮгРОСТА их работало более тридцати, в том числе брат Ильи Ильфа — кубист Сандро Фазини (Файнзильберг), рисовавший броские плакаты. Катаев не раз вспоминал «громадный щит-плакат под Матисса работы художника Фазини — два революционных матроса в брюках клеш с маузерами на боку на фоне темно-синего моря с утюгами броненосцев». В 1922-м Сандро эмигрировал — сначала в Константинополь, затем в Париж. В 1942-м вместе с женой отправлен в концлагерь Аушвиц, где они погибли.

Глупо полагать, что Катаев писал исключительно наперекор себе. Были и кураж острословия, и упоение публичностью. Позднее он вспоминал: «Холодно. Голодно. Коченеют руки. И вместе с тем как работалось!.. Еле в отмороженных руках держишь карандаш… Бумага рвется… и тем не менее… у редактора на столе — фельетон. Да не какой-нибудь, а огненный, страстный».

«КОЛЛЕКТИВ ПОЭТОВ»

Вокруг ЮгРОСТА сложился «Коллектив поэтов», по составу почти целиком наследовавший «Зеленой лампе». Участник «Коллектива» поэт Семен Кирсанов отмечал господствовавшие там, на его взгляд, «неоклассические вкусы» Багрицкого и Катаева. «Это был своего рода клуб, где, собираясь ежедневно, мы говорили на литературные темы, читали стихи и прозу, спорили, мечтали о Москве, — вспоминал Олеша. — Однажды появился у нас Ильф. Он пришел с презрительным выражением на лице, но глаза его смеялись, и ясно было, что презрительность эта наигранна».

В 1935 году поэт Марк Тарловский, входивший в эту компанию, написал стихотворные мемуары «Веселый странник», где так изобразил Катаева:

Сидевший третьим с каждой стороны,
И, следовательно, посередине,
Носил артиллерийские штаны,
Но без сапог — их не было в помине,

Как и носков. А словом бил он вкось,
Монгольские глаза прицельно щуря,
И с трехдюймовых губ оно неслось
По траектории, гудя, как буря.

«Артиллериста и фронтовика
Во мне, — сказал он, — ценит баба-муза:
Подозреваю в глубине тюка
Наличие порохового груза.

Голубчика я взял бы за плечо
И намекнул на близость “чрезвычайки”, —
Его бы там огрели горячо,
Он показал бы все им без утайки».

Наружностью он был японский кот,
А духом беспокойней Фудзиямы.
Его слова звучали, как фагот,
Слепя богатством деревянной гаммы.

Обычно собирались в квартире-кафе на улице Петра

Великого, обставленной с шиком и едва ли в духе революционного аскетизма: в главном зале был паркет с меандром по периметру, на окнах — мраморные подоконники, атласные желтые портьеры, кресла с шелковой обивкой, в углу — рояль фирмы «Стейнвей». За вход принимали книги, которые потом передавали «пролетариям» или оставляли в библиотеке «Коллектива». «Собиралось обычно много людей, — рассказывал Кирсанов, — человек сто, пятьдесят. Иногда удавалось добывать бутерброды. Когда не было совершенно свечей, я заготавливал жгут из газеты и освещал зал. Это была моя обязанность. Откуда газеты? Старых газет всюду было много. Со жгутом я стоял и освещал того, кто читал стихи». Сергей Бондарин вспоминал: «Улица Петра Великого была прямая, тихая, с акациями и каштанами вдоль тротуаров. Из-за отсутствия керосина на “пятницы” и “среды” собирались как можно раньше. Но все равно засиживались, и чтение шло в темноте: сыпались огоньки грубых, плохих самокруток. Над вершинами акаций появлялась луна…»

В «Коллективе поэтов» читали и прозу, и туда захаживал Бабель, как это следует из воспоминаний поэта Эзры Александрова: «Я помню, как темной ночью мы возвращались после следующего какого-то чтения по городу без фонарей, который выглядел какой-то каменной пустыней. Он выругал автора неудачного рассказа, помолчал, а потом процитировал фразу на еврейском, языке Библии. Я тогда не был силен в Библии. Был с нами, кажется, Андрей Соболь (который забыт незаслуженно), и он не понял, и Бабель перевел нам грустную мудрость про Соломона».

Александров, называвший «Коллектив» — «Союзом», вспоминал и других участников: «В Союзе было что-то вроде ЧК по борьбе с бездарностью, и Олеша вместе с Багрицким стояли во главе. Я помню его (Олеши) заповедь, которой мы все были подчинены. “Слово должно светиться”. И все боялись его рентгеновского приговора: “светится” — “не светится”».

Про «ЧК по борьбе с бездарностью» подтверждал другой сотрудник ЮгРОСТА художник Михаил Файнзильберг, еще один брат Ильи Ильфа, в 1942-м умерший в ташкентской эвакуации. Молодые югростовцы не чурались жестоких игр: «Развлекались одним душевнобольным инженером Бабичевым, который страдал манией величия и считал себя “Председателем Коммуны Земного Шара”».

Между тем Олеша и Багрицкий начали жить с сестрами Суок.

Три сестры-одесситки, дочери преподавателя музыки, австрийского эмигранта Густава Суока, уверенно прописались в истории отечественной литературы.

На старшей Лидии женился Багрицкий. Их в 1920-м познакомил Катаев, так изображавший избранницу «бездельника Эдуарда»: «скромно зачесанная, толстенькая, с розовыми ушками, похожая на большую маленькую девочку в пенсне». На средней Ольге еще женится Олеша, а пока он счастлив с младшей, Симой. Они познакомились в летнем кафе, где он читал стихи.

По словам Катаева, Олеша и Сима, которую тот называл «дружочек», были идиллически нежны друг с другом: «они способны были вдруг поцеловаться среди бела дня прямо на улице, среди революционных плакатов и списков расстрелянных». Серафима была самая красивая из Суок, прелестная, по описанию Катаева, шатенка, «со смуглыми обнаженными руками и завитками распущенных волос».

Жили бесшабашно, бедно, весело, лихо, дико.

В 1935 году из рассказов близких Багрицкого сотрудником Института мозга человека Григорием Поляковым был составлен уникальный «характерологический очерк». Текст полон сведений, которые редко найдешь в самых злых мемуарах, включая рассказы про богемный разврат исследуемого поэта (по сути, за Багрицкого, рассчитывая на научную секретность, исповедовались его друзья). Но самое ценное, очерк дает действительно «характерологические» представления о стиле жизни всей компании:

«Одно время в Одессе Багрицкий с женой и сестра жены Багрицкого Сима, жена Олеши, вместе с Олешей жили все вчетвером в одной комнате. Сперва жена Багрицкого еще ходила на службу, потом, видя, что, кроме нее, никто не желает служить, также бросила работу. Жизнь была как у настоящей богемы: “дальше ехать некуда”. Начиналось с того, что обсуждалось, какая вещь должна быть отнесена на толкучку. Жили, совершенно не заботясь о будущем, исключительно сегодняшним днем. Проводили время в безделье. Багрицкий носил одно время оба правых ботинка, различного фасона и номера, которые ему дала какая-то кухарка, вообще ходил оборванцем (так же и Олеша). В комнате была кушетка и кровать, причем обе пары (Багрицкие и Олеши) поочередно честно менялись местами, так как на кровати было удобнее спать, чем на кушетке. Часто приходил В. Катаев, и когда оставался ночевать, то ложился на пол посередине комнаты».

Показательна и одновременно фантастична история, приключившаяся в то время с Серафимой. Молодые поэты очаровали ею сорокалетнего служащего и стали питаться за его счет.

С бухгалтером, подписывавшим стихи псевдонимом Мак,

познакомились на одном из литературных вечеров. Попав в гости к поэтам, он сразу влюбился в Симу. Сначала к нему на ужин приходили сестры, потом привели мужей, выдавая просто за знакомых. Багрицкий притворялся глухонемым, объяснялся с Олешей жестами и бесцеремонно налегал на еду — съел целиком банку варенья, черпая прямо рукой. Вскоре бухгалтер захотел жениться на Симе. Все, включая Олешу, не протестовали. Жених достал много продуктов, приготовления происходили у сестер, и половину слопали еще до торжества. Загс зарегистрировал брак, на свадьбу пришли сослуживцы бухгалтера. Сима плакала и просила Лидию не оставлять ее на ночь и легла на отдельной кровати, жалуясь на высокую температуру. На следующий день, несмотря на слезы Симы, ее сестра ушла к себе, подгоняемая бухгалтером. На выручку явился Олеша, но хозяин не пустил его на порог.

Дальнейшее процитируем из «характерологического очерка»:

«В это время пришел В. Катаев. Узнав, в чем дело, он принялся за него более решительно. Придя к бухгалтеру, с которым не был знаком, он вызвал его якобы по делу. Вошел в комнату и сказал: “Ну, Сима, собирайтесь”. Бухгалтер даже не протестовал, настолько он был ошеломлен такой решительностью. Возможно, что к этому моменту он догадался, что его “разыграли”. Сима быстро собрала свои вещи, прихватив попутно также и кое-что из вещей бухгалтера… Этим и кончилась вся история с женитьбой. Но так как Сима продолжала болеть и дома ничего не было, даже одеяла, чтобы накрыться (все продали!), то пришлось опять обратиться за помощью к бухгалтеру. Катаев вновь, как наиболее решительный, отправился к нему и принес одеяло. Бухгалтер не прекратил после этого знакомства с Багрицкими и Олешами. Он временами приходил к друзьям, садился в уголок комнаты и восторженно смотрел на Симу, прося в качестве особой милости позволить ему посидеть и полюбоваться ею еще несколько минут. В таких случаях Катаев, если он был при этом, брал на себя роль распорядителя и говорил: “Вам разрешается пробыть еще 10 минут, Мак”, или: “Ваш срок истек”. В последнем случае бухгалтер беспрекословно вставал и уходил… Так как он уже оповестил всех своих знакомых и сослуживцев о своей женитьбе, то чтобы как-нибудь выйти из положения, он женился на первой попавшейся девушке, с которой спустя очень короткое время развелся».

Все это воспроизведено Катаевым в «Алмазном венце» в ярких красках и с высвечиванием лукавства Симы.

Из мемуаров литератора Владимира Огнева следует, что, прочитав подобные воспоминания, 76-летняя Серафима Суок

заплакала, а ее 85-летний муж Виктор Шкловский закричал, что «пойдет бить ему морду». «Вытерев нос и сразу перестав плакать, Серафима Густавовна сказала: “Этого еще не хватало! Пойдем спать, Витя”».

Рассказывая, как вызволял Симу из мужниного плена, Катаев словно красовался перед зеркалом: «Вид у меня был устрашающий: офицерский френч времен Керенского, холщовые штаны, деревянные сандалии на босу ногу, в зубах трубка, дымящая махоркой, а на бритой голове красная турецкая феска с черной кистью, полученная мною по ордеру вместо шапки в городском вещевом складе». (Константин Паустовский вспоминал Одессу того времени: «На эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева».)

Ольга Суок отзывалась о связке Катаев — Багрицкий — Олеша: «От всех троих оставалось впечатление, как будто сводили они счеты с кем-то: “а вот мы такие-то”, как бы протестовали против чего-либо. Эта установка откладывала резкий отпечаток на манере вести себя».

Но сестер это, по всей видимости, и привлекало.

ОПЯТЬ РАССТРЕЛ

У ЮгРОСТА была своя сеть уездных и городских корреспондентов, среди которых оказался и юный Евгений Петров.

В основном корреспонденты были сельские, их требовалось набрать в штат, а потом поддерживать с ними связь. В отчете организационно-инструкторского отдела сообщалось: «При почти абсолютной оторванности от Одессы всех уездных пунктов, частых набегах на уездные города и села всяких банд, периодически разрушавших с большим трудом налаженную работу, нельзя было предъявлять корреспондентам “Югросты” очень строгих требований, и порой целыми неделями отдел оставался без информации уезда. Несмотря на все эти неблагоприятные условия, отдел продолжал кропотливую работу налаживания сети корреспондентов в уездах и начинал снова строить организационный аппарат, как только тот был разрушен».

В «Траве забвенья» Катаев повествовал о своей (Рюрика Пчелкина) поездке в глухой уезд для вербовки волостных и сельских корреспондентов: волкоров и селькоров. Он пользовался подводами, которые неохотно снаряжали для него местные власти, и ночевал в хатах, и хотя бы отъедался простой и сытной пищей после города, где довольствовался скудным пайком. Жизнь в Одессе была крайне тяжелой: голодной, холодной, без одежды, паек частями приходилось менять либо на какую-то другую еду, либо на предметы первой необходимости. Ольга Суок, жена Олеши, вспоминала, что в Одессе «все трое (Катаев, Олеша, Багрицкий) ходили очень “экстравагантно” одетыми, под “босяков”», в этом была не только намеренность, но и нужда — катаевский герой, отправившись в уезд, сменял на базаре в городе Балте английскую шинель, полученную по записке от секретаря Губкома Ингулова, на «латаный-перелатаный бараний кожух».

В уездах были недовольны советской властью с ее повинностями и изъятием зерна, здесь постоянно убивали продармейцев и коммунистов, вдоль границы с Румынией действовали отряды непокорных атаманов. По словам Катаева, «корреспонденты вербовались главным образом из деревенской интеллигенции: волостных писарей и сельских учителей», совсем молодых людей, при этом многие отказывались от работы на ЮгРОСТА под разными предлогами. Это неудивительно: тогда волкоров и селькоров хоронили чуть ли не еженедельно.

Между тем катаевского лирического героя подсадили на рессорную бричку к некоему товарищу, который по заданию

Ингулова отправлялся в глубинные волости агитировать «против кулаков» и за расширение посевных площадей. «Товарищ» оказался «красным попом», священником с «дерзкими, петушиными глазами под высокомерно вздернутыми, изломанными бровями пророка».

В дороге спутник досаждал придирками, назиданиями, обличениями и злорадством по отношению к старой, порочной, теперь уничтожаемой церкви, где его, воинствующего и пламенного, не оценили по достоинству и не рукоположили в архиереи.

В деревенском храме поутру «красный поп» произносил на амвоне проповедь о посевных площадях, но неожиданно набросился на настоятеля: «Чревоугодник, пьяница, прелюбодей!» («местный батюшка, добрый старичок, стоял рядом, не зная, куда девать детские коротенькие ручки, и сконфуженно потупясь»). Заметалась попадья в окружении женщин, затрепетали старухи, мужики, хохлы и молдаване, сурово мрачнели, и в воздухе пронеслось дуновение расправы.

На рассвете катаевского Пчелкина разбудил местный учитель, завербованный в волкоры: «Тикайте и тикайте». Юноша, сразу поняв, что дело худо, покатил на подводе. На дороге наперерез вырос конный отряд в красноармейской форме. Это была переодетая «банда». Пчелкина повели расстреливать в прошлогоднюю кукурузу. «И он вдруг стал постыдно и неудержимо испражняться»[22]. Тем временем атаман по складам прочитал инструкцию корреспондента, предписывавшую «борьбу со всеми злоупотреблениями местных советских властей и нарушениями законности», и вдруг сменил гнев на милость. Удостоверившись «чи он не жид», хлопцы дали юноше пинка и шмальнули у него над головой. Тот двое суток пробирался к городу Балте. Дойдя, он обнаружил похоронную процессию. Баба, несшая «мраморную плиту сала», объяснила, что хоронят «красного попа» и «с ним еще чи трех, чи двух продармейцев, а также — кажут — ще якогось канцеляриста с города Одессы, что днями банда батьки Заболотного вбыла на селе Ожила».

Все это читается как остросюжетная беллетристика, но в самом деле югростовца Катаева чуть не расстреляли во время поездки в далекую волость. В автобиографии 1946 года он подтверждал, что его «неоднократно посылали в деревню для организации селькоровской сети» и один раз его захватила «банда Заболотного» — «Я чудом спасся от смерти».

«Красный поп» тоже не был капризом авторского воображения. И судьба его была именно такой, как написал Катаев.

И время событий совпадает. Катаевские стихи с картинами ранней, то вдруг метельной, то солнечно-талой весны подтверждают, что путешествие в опасную глухомань случилось именно тогда.

Похоже, жизнь действительно свела Катаева со священником Василием Островидовым.

ОТЦЫ

Именно так звали «красного попа», и был он, Василий Андреевич Островидов, личностью незаурядной.

До распада СССР в Одессе, а еще в Балте и даже в Харькове имелись названные в честь него улицы.

Родился он 10 июля 1864 года в селе Копёны Аткарского уезда Саратовской губернии в семье сельского дьячка. Окончил Камышинское духовное училище и стал послушником в монастыре, откуда вскоре сбежал. Потом был конторщиком на пристани, певчим в хоре, учителем в сельской школе, дьяконом в саратовском кафедральном соборе, куда его взяли за мощный бас. Но в 23 года уехал в Москву, где поступил в музыкально-драматическое училище. Одновременно с учебой пел в хоре Архангельского собора. На выпускном экзамене в 1892 году солировал уже в Большом театре в партии Руслана и в том же году дебютировал в партии Сусанина в опере Глинки «Жизнь за царя». В дальнейшем Островидов успешно выступал во многих городах России под сценическим псевдонимом Тассин. Николай Римский-Корсаков на подаренном портрете написал: «Единственному Деду Морозу от автора “Снегурочки”». Федор Шаляпин прислал ему восторженное письмо.

В 1897-м Василий Островидов уехал в Италию оттачивать мастерство у знаменитого Эрнесто Росси. Он успешно выступал в Риме, Турине и других итальянских городах в оперных партиях, которых в его репертуаре было свыше шестидесяти.

Внезапно порвав с искусством, вернулся в Церковь. Стал священником и служил в кафедральном соборе во Владивостоке. Он произносил проповеди о справедливости, в защиту бедных. Но был не социалистом, а из другого стана. За активную общественную деятельность отца Василия избрали председателем Владивостокского отдела Русского народного союза им. Михаила Архангела. Ах, Валя Катаев — «Привет Союзу русского народа» — свои своих не познаша…

В 1914 году вместе с семьей отец Василий переехал в Одессу. Как истинный патриот просился на фронт. В 1917-м был направлен в действующую армию полковым священником 245-го Бердянского полка и за проявленную храбрость получил Георгиевский солдатский крест.

Отец Василий пользовался любовью солдат, его избрали в полковой комитет. После революции он стал ездить по городам и весям, особенно в сельскую местность. Выступал на митингах, организовал народный театр. Произнеся проповедь, к

удовольствию собравшихся, исполнял песни.

В апреле 1921 года, прибыв в Балту, он выступал в населенных пунктах уезда. На его проповедь в селе Обжила (у Катаева — Ожила) собрались жители двух крупных сел — свыше трех тысяч человек. В ночь после проповеди с 4 на 5 апреля отца Василия убили при налете отряда атамана Заболотного.

(В отряд Заболотного, уроженца того самого села, входило от четырехсот до тысячи человек. Они возвращали крестьянам хлеб, отнятый при продразверстке.)

Хоронили иерея в Балте при большом стечении народа, и тогда-то Катаев «увидел глазетовые хоругви странной церковной процессии, в которой участвовали красные знамена уездных учреждений, услышал церковное пенье, непонятным образом смешанное со звуками духового оркестра».

24 июля 1921 года харьковская газета «Коммунист», еженедельно публиковавшая некрологи коммунистам, убитым в деревне, дала статью о священнике Островидове, который ездил по селам в качестве уполномоченного гублескома и чьи похороны стали «грандиозной манифестацией крестьян против убийц-бандитов и духовных подстрекателей».

Катаев писал об отце Василии с откровенной неприязнью, толкуя пророческую страстность как продолжение уязвленного самолюбия. «Красный поп» был из «белого духовенства», человеком семейным, то есть его архиерейские амбиции, обнаруженные в дороге, весьма сомнительны. Возможно, Катаев попросту посчитал отца Василия предателем былой России и православной церкви и увидел в его гибели кару за служение богоборцам. Накануне роковой проповеди священник якобы читал журнал «Безбожник», на самом деле появившийся под редакторством одессита Емельяна Ярославского только в 1922 году (так по телевизору показывают труп ваххабита рядом с бутылкой водки): лицо с узкой бородкой скрылось за развернутыми страницами — он увлеченно уткнулся в «кощунство, к которому тогда еще не все привыкли, казавшееся настолько чудовищным, что не было бы ничего удивительного, если бы вдруг разверзлись небеса и оттуда из черной тучи упала зигзагообразная, ослепительно-белая молния».

Здесь возникала еще одна кинематографичная рифма: гибель «красного попа», обласканного большевиками, была близка по времени к смерти катаевского отца Петра Васильевича, как мы помним, истово набожного, из духовного сословия.

Отец Катаева умер в Одессе в отсутствие сына. Поездки селькора случались часто и могли быть затяжными.

Обедневший старик, которому помогали оставшиеся

епархиалки и семинаристы, не мог рассчитывать на сыновей — оба были заняты выживанием. Очень вероятно, что в последние годы он подрабатывал банщиком в санитарном поезде. Под конец он поселился в районе рукотворной горы Чумки у племянницы Зинаиды, которая, осиротев, относилась к нему как к родному отцу. Ее муж Павел Федорович Рябушин, начальник водопроводной станции Чумка, и стал заявителем в одесском загсе смерти Петра Васильевича.

Он умер от «мозгового кровоизлияния» 21 февраля 1921 года (на шестьдесят пятом году жизни). Его похоронили на Втором христианском кладбище Одессы между матерью и женой.

Валя и Женя вернулись в город уже после похорон отца.

И приход на кладбище, где отец похоронен, и дальнейшее распоряжение вещами умершего — все детально повторяется и в «Отце», и в «Траве забвенья», между которыми более сорока лет. Ощущение вины присутствует везде… В хате на краю глухого села он приснился «красивым, темнобородым и молодым, похожим на Чехова, каким он и был некогда», и сын проснулся в слезах, а в уезде получил телеграмму, «но ему не нужно было ее читать» — все и так было ясно.

Катаев избыл вещи, наследником которых стал. Он позвал старьевщиков и отдал всё, дочиста, плача и чувствуя опустошающую свободу сиротства.

ХАРЬКОВ

Валентин Петрович уехал в Харьков, ставший столицей Украины, откуда дорога лежала в Москву.

14 апреля 1921 года в Харьков поехал Нарбут — теперь уже заведовать УкРОСТА (туда влилось ЮгРОСТА), а с ним отправился и целый вагон подопечных.

Перед отъездом Катаев простился с Лидией Карловной Федоровой и заночевал на ее даче.

Катаев рассказывал: «Поехали Олеша, я, машинистки, художники». Остался в Одессе Багрицкий. На вокзал попрощаться пришел Бабель.

В Харькове уже возник первый в стране Союз писателей. Тогда же перебрался и Ингулов, ставший заведующим отделом агитации и пропаганды ЦК КП(б) Украины. (Кстати, одесский сборник стихов 1920 года «Плоть» Нарбут посвятил Ингулову.)

Прежняя агитационно-литературная деятельность продолжилась и тут. «Возили нас на машине по воинским частям, по заводам, в провинцию, — вспоминал Катаев. — Я даже читал лекции по поэзии времен французской революции, об Эжене Потье. Платили нам пайками».

Одесситы приехали из нищего города, но в Харькове оказалось не легче.

Александр Лейтес, руководивший харьковским литотделом наробраза, вспоминал, что прибывшие были «истощены и обтрепаны, летом ходили босиком — не было обуви. Но несмотря ни на что были они полны творческих планов, хотели завоевать литературу. Настроены были весело, юмористически, несмотря на все трудности. Пригласили меня к себе и сразу стали угощать собственными стихами. И они меня потрясли — эти стихи… Катаев читал великолепные сонеты. Да, может быть, они тогда казались великолепными в этом городе — странном, но реальном от голода и нищеты. Но впечатление их стихи оставили сильное».

Сборник катаевских сонетов назывался «Железо» («Ленин», «Энгельс», «Демулен», «1905 год» и др.), но не вышел, как объяснял Катаев, из-за отсутствия бумаги. Зато отдельной книжечкой «В хвост и в гриву» в библиотечке «Красной осы» были изданы его сатирические агитационные вирши. Катаев стал секретарем журнала «Коммунарка Украины». Он переводил Павло Тычину и Лесю Украинку для большой антологии украинской поэзии и написал героическую драму «Осада», которую оценивал иронично (хотя один раз ее в Харькове все-таки поставили).

А главное, продолжал писать рассказы.

Летом 1921 года начался настоящий голод. Жестокая засуха, разрушения Гражданской войны, продразверстка, а следом сокращение посевных площадей — все привело к масштабной беде, когда голодали по стране десятки миллионов.

В харьковском «Коммунисте» Катаев (под инициалами «В. К.») встречал этот ужас стихотворением «К молодежи», сочетавшим человеческое отчаяние и лозунговую бодрячесть:

И вот теперь, когда на нас
Идет неумолимый голод,
Все на работу в добрый час,
Кто сердцем тверд и духом молод.

Через годы, в 1936-м, в рассказе «Черный хлеб» он вернулся к тому времени и другу Олеше, с которым делил номер в общежитии (бывшая гостиница «Россия») без наволочек, простынь и одеял, обмененных на сало: «Не имея денег, чтобы купить, и вещей, чтобы продать, ослабевшие и почти легкие от голода, мы слонялись по выжженному городу, старательно обходя базар».

Впрочем, полное отсутствие еды было коротким эксцессом, вызванным перебоем в работе столовой. «В те времена за выступления платили продуктами», а молодые поэты выступали непрерывно — по заводам, клубам, красноармейским частям, агитпунктам, школам и санаториям. Общественное положение не давало протянуть ноги: «Наши четверостишия были написаны на всех плакатах города». Пускай и жалкие, а все-таки продукты поступали не только за выступления как гонорары, но и почти бесперебойно как зарплата. Позднее в рассказе «Красивые штаны», где ясно проступало харьковское общежитие, двое, прозаик и поэт, в которых можно узнать автора и Олешу, наставительно советовали незадачливому коллеге, изнывавшему от голода: «Пьесы агитационные надо писать», и на вопрос: «Агитационные?» — повторяли: «Агитационные».

И все же такая жизнь больше напоминала выживание. Катаев вспоминал, что они с Олешей ходили босиком, продав ботинки. Правда, есть свидетельства, что на босых ногах были сандалии. Вот как о харьковском знакомстве со «странными молодыми людьми» рассказывал писатель Эмилий Миндлин. Дело было в харьковском ТЕО — театральном отделе: «Один — повыше и почернее, был в мятой шляпе, другой — пониже, с твердым крутым подбородком, вовсе без головного убора. Оба в поношенных костюмах бродяг, и оба в деревянных сандалиях на босу ногу… Тот, что повыше, оказался Валентином Катаевым, другой — Юрием Олешей». Миндлин уверенно твердил: «В

Харькове они походили на бездомных бродяг!»

Катаев о том же: «На нас были только штаны из мешковины и бязевые нижние рубахи больничного типа, почему-то с черным клеймом автобазы». Такая одежда была типична — по воспоминаниям Лидии Суок-Багрицкой, ее муж «ходил в казенной рубашке с большим штампом на груди».

Миндлин продолжал: «Мы условились на другой день встретиться в ЛИТО (литературном отделе. — *С. Ш.*).

— Завтра я им доставлю железо, — сказал Катаев.

Я не удивился бы, если бы оказалось, что этот веселый молодой человек в деревянных сандалиях на босу ногу, помимо того, что пописывает стихи, работает грузчиком. Только зачем бы ЛИТО — железо? Впрочем, может быть, там собирают лом?»

Разумеется, назавтра Катаев пришел с сонетами.

В том августе за стеклом пыльной витрины телеграфного агентства двое друзей увидели портрет Александра Блока в черно-красной раме.

Катаев писал: они до того ужаснулись этой смерти, что и сами почувствовали приближение своих смертей — это была и навсегда ушедшая часть молодости, и внезапно по-особенному удивившая среди привычного насилия «мирная» кончина. Хотя разве не происходили тогда «мирные» голодные смерти повсеместно?

В том же августе 1921 года под Петроградом был расстрелян Николай Гумилев.

Кстати, в номере с Катаевым и Олешей быт третий — поэт Эзра Александров (Зусман), который спустя год уехал в Палестину, где стал писать стихи на иврите. Он вспоминал: «В комнате была одна кровать и много мышей», а для того, чтобы прокормиться, годились все средства: «Я помню, например, какую-то историю с одеялом, которое Олеша обязался передать в Харькове какой-то женщине, а он его спустил на Харьковском рынке. Женщина приходила и требовала одеяло, Юрий сочинял ей разные версии, одна другой занимательнее».

Катаев рассказывал сыну: им пришлось продать на рынке гостиничные простыни, наволочки и полотенца.

Александров упоминал, что был в курсе всегда утаиваемых деталей катаевской жизни: «Белые его мобилизовали и произвели в офицеры. Красные арестовали». По александровской версии, Катаев был освобожден милостью Луначарского (приезжавшего в Одессу летом 1920 года), перед которым ходатайствовала делегация поэтов.

«Катаев, как и Багрицкий, был страстный любитель моря и степи, — писал Александров. — У него было обостренное чувство

запаха, и он мне иногда казался красивой охотничьей собакой. В его теплых, слегка прищуренных глазах было что-то от цыганщины».

В Харьков приехал с выступлениями Маяковский.

«И когда он дошел до стиха: “Мы тебя доконаем, мир-романтик!”, — вспоминал Катаев, — то нам с Олешей показалось, что он смотрит прямо на нас».

Олеша был скорее разочарован: «Вышел, в общем, обычного советского вида, несколько усталый человек».

Художник Косарев рассказывал об этом вечере, где он в шестом ряду сидел как раз с Катаевым и Олешей: «Когда Маяковский кончил читать и наклонился, чтобы поднять лежащие на просцениуме записки, Катаев громко сказал: “Маяковский, вы знаете Алексея Чичерина?” — “Знаю”. — “А он читает ваши стихи лучше, чем вы”. И тут я не поверил своим глазам — Маяковский густо побагровел и как-то беспомощно ответил: “Ну, что ж, я ведь не профессиональный чтец…”».

Сказанное не было хамством. Московский поэт-футурист Алексей Чичерин, приехавший в Одессу в 1920-м на вечер «Коллектива поэтов», славился своим мастерством декламации. Кирсанов называл его «лучшим из литературных чтецов»: «В коротких штанишках, с голыми ногами, бритым черепом, великан, голосистый, он великолепно читал Маяковского».

Вероятно, реплика Катаева была попыткой привлечь внимание и «законтачить» (вспомним: Бунин называл поведение Вали при первом знакомстве «смелым, на границе дерзости»). Вдобавок Катаев мог попытаться подыграть Маяковскому, слегка грубияня ему в пандан. Но лишь слегка, он не стал бы рисковать — в президиуме сидело все партийное руководство, включая Ингулова.

Версию о желании познакомиться подтверждают мемуары литератора Арона Эрлиха, который оперировал катаевскими откровениями, как всегда насмешливыми, по поводу собственных неудач и устремлений: «Однажды в Харькове Маяковский давал свой открытый вечер, читал “Левый марш”, “150 ООО ООО”. Катаев и еще несколько молодых, совсем еще безвестных в ту пору литераторов послали поэту записку. Полная самых пламенных восторгов, она заканчивалась робкими надеждами на встречу. Возможно, поэт второпях ничего не понял, не разобрался в просьбе своих молодых товарищей. Во всяком случае, ответа на записку не последовало».

СОВЕТЫ ИНГУЛОВА

Осенью 1921 года в харьковской прессе развернулась полемика «о роли художника в революции».

В газете «Коммунист» Сергей Ингулов с 27 сентября по 2 октября опубликовал цикл статей «Люди революции» с призывом к литераторам рассказать про современные им потрясения и перемены. Он обвинял молодых, что те отмалчиваются, ссылаясь на отсутствие сюжетов и героев.

Первая статья «Где ты теперь?..» была направлена против сторонников «исторической дистанции», полагавших, что требуется время для изображения и осмысления больших событий. Он приводил пример недавнего прошлого, Первой мировой: «Художники — даже эстеты и декаденты — не пугались обращения к сегодняшнему дню». Три следующие статьи («Люди в бандитизме», «Пасечник», «Девушка из совпартшколы») были отданы фактологии — будто бы реальным людям и эпизодам Гражданской войны. Я уже цитировал Ингулова, поведавшего о подвиге гражданки, сдавшей своего возлюбленного штабс-капитана в объятия ЧК.

Катаев откликнулся на «партийный призыв». В «Коммунисте» рядом с заключительной статьей Ингулова о любви к большевизму, пересилившей любовь к белогвардейцу, появился его рассказ «Золотое перо», как бы в подтверждение тезиса, что писать о Гражданской войне можно и нужно.

Но что это был за рассказ… «Золотое перо» с натяжкой назовешь пропагандистским, да и вопрос еще: в чью пользу? Это драматичное и достоверное описание жизни Бунина (писателя-академика, лихорадочно увлеченного новой прозой) весной 1919 года — накануне и во время эвакуации сил Антанты, когда в Одессу ворвался атаман Григорьев. И как обычно у Катаева того времени, совсем не очевидно, на чьей стороне его симпатия: «Красные неуклонно смыкали кольцо вокруг города, и с каждым днем это кольцо все больше и больше походило на петлю». Вот с писателем разговаривает белый генерал «лаконически и откровенно, с прелестной грубоватой простотой солдата, не раз глядевшего в глаза смерти». Вот город захвачен, писатель отказывается уезжать, он ждет смерти, но отряд, вломившийся к нему в дом, останавливает вымоленная его другом-художником «охранная грамота». Большевики, чертыхаясь, уходят («Пойдем, братва»). Академик избежал расстрела. «Вместе со страшной усталостью сердце его наполняла непонятная горечь, как будто он только что возвратился с похорон очень близкого человека».

(Бунин в 1946 году передал Катаеву свою книгу «Лика» с надписью: «Валентину Катаеву от академика с золотым пером», и ода́ренный не без гордости ее демонстрировал на камеру при съемках позднесоветского фильма о себе.)

Между тем на тезисы Ингулова стали отвечать. В газете харьковского УкРОСТА «Новый мир» 5 октября вышла статья поэта Георгия Шенгели, просто озаглавленная «Почему?». «Писатель безмолвствующий — лишь честный писатель», — полагал Шенгели, которому казался нелепым и неуместным пролеткультовец, «заявляющий, что он понимает революцию и воплотит ее в своих писаниях. Ни черта не понимает и ни черта не воплотит». Шенгели сомневался, что на пепелище может легко и быстро вырасти хорошая «идейная» литература: «Задавили события. Сдвиг слишком велик. Перевернуты не только устои быта, — смещены все познавательные навыки, искривлены все привычные циркули и ватерпасы, с которыми ранее познающий подходил к своему опыту».

Но разве Катаев не показал, что психологизм и краски могут жить в новых условиях? Очевидно, Шенгели отнес его рассказ не к «революционному искусству», а к «эмпирическим зарисовкам», которым отказывал в «обобщающей силе».

Тогда же, в октябре 1921 года Катаев и Олеша ненадолго вернулись в Одессу, где обменялись «идейно выдержанными» экспромтами.

Катаев:

Покинув надоевший Харьков,
Чтоб поскорей друзей обнять,
Я мчался тыщу верст отхаркав,
И вот — нахаркал здесь в тетрадь.

Олеша:

Прочтя стихи твои с любовью,
Скажу я, истину любя,
От них я скоро харкну кровью
Иль просто харкну на тебя!

Их финансовые дела стали налаживаться. Тогда же, осенью, Олеша забрал с собой в Харьков свою возлюбленную Серафиму. Поселились вместе с Катаевым, снимая две комнаты на углу Девичьей и Черноглазовской улиц.

По признанию Катаева, они сильно сблизились с Нарбутом:

«…часто проводили с ним ночи напролет, пили вино, читая другу другу стихи».

В 1922 году в Польшу уехали родители Олеши.

«Помнишь, ты несколько раз говорил, что я не буду себя здесь чувствовать хорошо и буду тосковать — это ты был совершенно прав — я страшно скучаю по югу, — писала ему мать Олимпия Владиславовна. — Если б Ванда была жива, все было бы хорошо и мы наверно не уезжали бы из России»[23].

В том же году в Харькове Катаев познакомился с Мандельштамом, оставившим голодный Петроград и путешествовавшим по стране. Об этом есть в воспоминаниях Надежды Мандельштам: «В Харькове был перевалочный пункт, откуда южные толпы рвались в Москву… Все жили конкретным случаем, живописной, вернее, забавной подробностью, явлением, пеной с ее причудливым узором… Забавный и живописный оборванец, Валя Катаев, предложил мне пари: кто скорее — я или он — завоюет Москву».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
«СЛАВА ВАЛЯЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ. ПРИЕЗЖАЙТЕ В МОСКВУ И ПОДЫМИТЕ ЕЕ»

МОСКВА

Переезду в Москву способствовало новое возвышение Нарбута, которого перевели в столицу в отдел печати ЦК РКП(б). Следом потянулись его подопечные, первым из которых был Катаев. Но в Москву поехал и Ингулов — поступил в Главполитпросвет на должность заместителя завагитотдела.

В Москву отовсюду, из родных мест и тех, куда были заброшены Гражданской войной, съезжались молодые литераторы — например, в 1921 году Михаил Булгаков из Батума через Киев, в 1922-м — Николай Асеев с Дальнего Востока (он чуть не уехал в Харбин вместо своего приятеля поэта Арсения Несмелова), Катаев и почти одновременно с ним Шенгели из Харькова. «Едущих в Москву можно было распознать по блеску глаз и по безграничному упорству надбровных дуг», — наблюдала Вера Инбер. Они ехали оттуда, где только кончилась война и все время менялась власть, туда, где давно шла мирная жизнь.

«Я мечтал раскусить Москву, как орех, — признавался Катаев. — Я мечтал изучить ее сущность, исследовать, осмотреть, понять, проанализировать. Я мечтал увидеть наркомов и Кремль, пройтись по Тверской, снять шапку перед мелкими куполами арбатских часовен (о, Бунин, Бунин!)». Приехал он в марте, в потертом пальтишке, перешитом из солдатской шинели, с плетеной корзинкой, «запертой вместо замочка карандашом, а в корзинке этой лежали рукописи и пара солдатского белья». «Как сейчас помню только что появившегося в Москве молоденького В. Катаева в какой-то пелерине вместо пальто», — писал артист Театра оперетты Григорий Ярон.

Это была Москва храмов, бульваров, переулков, голых садов, деревянных домиков, извозчиков и громыхающих среди талого снега трамваев. Столица нэпа. Время разгульного «мещанина» — обилие торговых лавок, частных магазинов, закусочных, пивных, кабаре и ресторанов, где выступали артисты-куплетисты и цыгане. Начался журнальный бум: множество изданий с юморесками, пародиями, карикатурами, фельетонами, веселыми зарисовками из обыденной жизни.

«Помню, я в первую ночь после приезда ночевал на десятом этаже дома Нирнзее», — делился Катаев. Увиденное с этой высоты он обрисовал через год в еженедельнике «Красная нива»: «Внизу шумела ночная Москва. Там ползли светящиеся жуки автомобилей и последних вагонов трамвая. Из ярких окон пивных и ресторанов неслась музыка, смешиваясь с гулом толпы и треском пролеток. Светящиеся рекламы были выбиты на крышах

электрическими гвоздями».

Он встретился с поэтом и драматургом Андреем Глобой, который, извинившись, сказал, что должен идти к портному. Катаев, отвыкший от комфортных условий, был шокирован. К портному!

В Москве он сначала жил у Андрея Соболя. Но совсем недолго, сильно стеснял, да и многие атаковали жилище москвича. Переехал в Мыльников переулок (ныне улица Жуковского) в районе Чистых прудов, снял квартиру у Ляли Фоминой, которую посоветовал ему знакомый литератор. По всей видимости, «великая блудница», приторговывавшая самогоном, из рассказа «Фантомы» (1924) — и была та самая Ляля: «Универсальные брошюры по всем вопросам литературы, техники, философии, этики, социологии и животноводства сыпались из этой мрачной дамы, как из взломанного шкафа полковой библиотеки. Она уничтожала меня цитатами, зловеще хохотала, высовывала из-под одеяла толстую голую купеческую ногу, вращала облупленными яйцами глаз, чесалась под мышками, забивала в рот куски хлеба и жрала столовой ложкой сахарный песок».

Точный адрес в Мыльниковом переулке: дом 4, квартира 2.

Арон Эрлих, приехавший в Москву из Тбилиси, расценивал катаевский быт как вполне сносный по сравнению с тем, что выпало другим гостям столицы: «…квартира из двух маленьких, но настоящих и вполне благоустроенных комнат с гардинами и занавесками, с мебелью, с чайным и обеденным сервизами, даже с домашней работницей». Конечно, домработница появилась со временем, да и обстановка стала меняться постепенно, когда жилец начал неплохо зарабатывать.

На следующий же день после приезда Катаев отправился в Главполитпросвет. «Здесь был Ингулов, работал одним из заместителей Крупской… Он меня встретил словами:

— Да вы как будто с неба свалились. Мы хотели телеграмму вам посылать, ищем для журнала “Новый мир” ответственного секретаря».

Там Катаев познакомился и с самой Надеждой Константиновной.

Тот «Новый мир» просуществовал совсем недолго, вышло два номера, и все же, говорил Катаев, «отсюда и пошли мои литературные связи», завязалось знакомство с лефовцами. Журналом в основном занимался Александр Серафимович, живший в «Национале», где прямо в его номере велась вся работа. Другим редактором был Нарбут.

Но главное — талант, бравший разбег еще из детства; по

замечанию Зинаиды Шишовой: «Юношеские катаевские рассказы, перевезенные в Москву, не стали от этого хуже. А многие ли провинциалы могут этим похвалиться?»

«Новый мир» опубликовал рассказы Катаева «В осажденном городе» и «В обреченном городе». Последний — переименованный «Опыт Кранца», который еще в 1919 году дважды выслушивал Бунин, был отредактирован Серафимовичем. Тот упрекнул Катаева в «одностороннем, условно-романтическом изображении жизни Одессы в годы острой классовой борьбы» и сам дописал последний абзац. Изначально у Катаева все завершалось эффектным изломом: «В ушах стоял оглушительный колокольный звон, и красными буквами гремела фраза, сказанная чьим-то знакомым и незнакомым голосом: “Вы держите папиросу не тем концом”». Правоверный Серафимович решил добавить суровых слов, создающих революционно-пролетарский контекст: «А в это время на темных и глухих окраинах рабочие уже смазывали салом пулеметы, набивали ленты, выкапывали ящики с винтовками, назначали начальников участков, и новый день, обозначавшийся светлой полосой за черными фабричными трубами, был последним днем Вавилона».

В другом рассказе «В осажденном городе» студент лирично откровенничал перед пьяным матросом: «И представляешь себе Россию, как шкуру огромного белого медведя, по которой во все стороны ползут поезда», тянулся почитать свои стихи, но тотчас, распознанный как контра, получал пулю. В этом рассказе (на месте не убийцы, но убитого легко увидеть Катаева) был тот странный привкус авторской философии, который возникал уже в текстах Первой мировой: кажется, Катаев совсем не сожалел о злом повороте житейского сюжета, ощущался особый трагичный цинизм…

«Выпускали его в противовес нэповским журналам», — вспоминал позднее Катаев о «Новом мире», подразумевая, что руководили журналом назначенные ЦК партии писатели-коммунисты. «Так начиналась борьба с нэпом в печати», — объяснял он, но это не мешало и ему печататься в изданиях «нэповских», то есть кооперативных, не государственных. В журнале «Рупор» (всего вышло пять выпусков) он опубликовал несколько стихотворных фельетонов на «бытовую тему», а в журнале «Москва» (вышло семь выпусков) — упоминавшийся автобиографический рассказ «Сэр Генри и черт».

Уже через год стихийное искусство и прежде всего сатира начали стремительно сужаться до «общественной пользы». Надежда Мандельштам, не жаловавшая оглушительный юмор одесситов и футуристов, полагала, что в начале 1920-х всплеск

«шуточек» означал и их оскудение, и в дальнейшем шутка «использовалась как хорошо оплачиваемый агитационный прием». Однако — «шутка Мыльникова переулка была безобиднее, пока она существовала в устном фольклоре Катаева».

В Москве, как до того и в Одессе, и в Харькове, Катаев с первых дней был не прочь заработать на «общественной пользе». По заказу Главполитпросвета он начал сочинять стихотворные агитки, которые визировала Крупская, требовавшая «ультразлободневности». Иногда она вызывала его в кабинет, делала замечания, а заодно рассказывала о своем муже, жизни в эмиграции и почему-то Инессе Арманд. Однажды Крупская передала Катаеву пожелание Ленина литераторам «поменьше заниматься трескотней», а «рассказать народу в популярной форме о новой жилищной политике». Ободренный ее замечанием, что у него «бойкий язык», Катаев за несколько дней накатал брошюру под названием «Новая жилищная политика», которая тут же вышла в издательстве Главполитпросвета.

В одну из встреч с Крупской он не преминул попросить ее о знакомстве с Лениным. Она будто бы согласилась как-нибудь «повезти вечерком выпить чаю», чтобы Владимир Ильич послушал о «молодой художественной интеллигенции», но сослалась на то, что тот хворает за городом.

Вскоре после приезда Катаева в Москву Серафима Суок заявилась со своим новым возлюбленным Нарбутом (Олеша был оставлен в Харькове).

Приехавший в том же 1922-м Олеша стал жить у Катаева. Страдальческая ревность, испытанная им в то время, передана в его романе «Зависть». Этого не скрывал и сам Олеша, указывавший, что главный прототип его Андрея Бабичева — Владимир Нарбут: «Если бы он был не “колбасником”, а, скажем, заведующим издательством, — это было бы пресно». В новой версии жизнь повторяла сюжет с одесским состоятельным бухгалтером.

Осенью 1923 года Олеша ненадолго вернулся в Харьков, откуда писал в Москву:

«Будь проклят тот день и час, когда я решил ехать в Харьков. Это было так же безрассудно, как если бы дали брюшнотифозному, который поправляется, свиную отбивную. Боже мой, как ужасно! Я живу в собственной могиле. Все те ужасные чувства, которые мучили меня в Харькове в прошлом году, — повторились с удвоенной силой. Это страшный рецидив… Я был в своей комнате у Фаины, у себя, у мертвого в гостях. Ничто не переменилось, все осталось, как будто я вчера заснул… Только там, где жил Нарбут, в этих трех заветных окнах

теперь учреждение, и над главным окном горит огромный фонарь. Здесь я снял шапку и стоял очень долго… Теперь я вижу, что ничто во мне не прошло, что только Москва заглушила, как наркоз. Я только второй день в Харькове, завтракаю сейчас (Валя!) там на Екатеринославской, где каждое пирожное стонет от тоски о прошлом… Оказывается, что проездом из Крыма Нарбуты жили в Харькове. Фаина видала Симу. Она страшно загорела и страшно худа. Фаина спросила ее: “Жив ли Олеша?” И Сима весело и доброжелательно с улыбкой ответила: “Живет, живет, и очень хорошо живет”… Не знаю, вероятно, сбегу — здесь так мучительно, так трудно, здесь переживаешь дважды собственную смерть. Это не слова — вы видите, я не мог обойтись без участия, я сразу написал к друзьям. Я не могу, я сдохну в этом городе на гнилых реках…»[24]

А вот письмо Олеши — бывшей жене:

«Милая Симочка!

Мне очень хочется тебя увидеть. Семь месяцев я тебя не видел. До меня доходили только слухи о тебе. Ты понимаешь, как мне интересно увидеть тебя теперь — как ты выглядишь, как одета. Много воды утекло, многое переменилось, — а я даже голоса твоего не слышал целых семь месяцев! Если ты ничего не имеешь против, сделай так, чтобы можно было тебя увидеть. Мой телефон 42–20 (от 11—5 ч.). Стараюсь узнать, и не могу номер твоего телефона. Помню, что твое рождение 1 июня по ст. стилю, помню еще одну чудесную дату, о которой ты, вероятно, уже забыла. Все это не важно, — важно твое самочувствие, здоровье, о котором я очень беспокоюсь, — твои наряды, твои симпатии. Обо всем этом мне очень хочется знать, — без всяких надрывов, а просто, по-товарищески. Ты все-таки и теперь — для меня самый дорогой, самый близкий человек. Разлука с тобой — большое горе. Ты это знаешь. Поэтому очень прошу тебя — не оставь без внимания этой моей записки. Крепко жму и нежно целую руку»[25].

По Катаеву, на время Олеше удалось переманить Симу к ним в квартиру в Мыльников, но вскоре во двор явился бледный Нарбут и, называя всех по имени-отчеству, обещал застрелиться из нагана, если Сима к нему не вернется. И она вернулась.

Тогда же, в 1922-м, Катаева стала печатать в своих «Литературных приложениях» единственная несоветская газета в советской России — «Накануне».

Ее издавали в Берлине «сменовеховцы», предлагавшие эмигрантам примириться с новой властью и вернуться домой. Катаева впечатлял десятиэтажный дом в Большом Гнездниковском переулке, казавшийся «чудом высотной

архитектуры, чуть ли не настоящим американским небоскребом». В этом «доме Нирнзее» на первом этаже и располагался московский филиал «Накануне».

Эмилий Миндлин, работавший в «Накануне» секретарем, так вспоминал о визите Катаева и Олеши: «Как ни убого выглядели наши, молодых “накануневцев”, наряды, однажды появившиеся у нас Катаев и Олеша вызывающей скромностью своих одеяний смутили даже нашего брата. Не знаю, приехали ли они из Харькова поездом или пришли пешком, но верхнее платье на них выглядело еще печальнее, чем в Харькове! А ведь и в Харькове они походили на бездомных бродяг! Наш заведующий конторой редакции Калменс возмутился появлением в респектабельной редакции двух подозрительных неизвестных.

— Вам что? Вы куда? — Полами распахнутой шубы он было преградил им дорогу. Но маленький небритый бродяга в каком-то истертом до дыр пальтеце царственным жестом отстранил его и горделиво ступил на синее сукно, покрывавшее пол огромного помещения.

Катаев насмешливо посмотрел на Калменса и очень вежливо сказал ему “здравствуйте”… Ну и попало же мне, когда мои харьковские знакомцы ушли! По словам взбешенного Калменса (особенно взбешенного тем, что они выудили у него аванс!), я черт знает кого приглашаю в редакцию!»

«Сменовеховцы», группировавшиеся вокруг «Накануне», надеялись, что идеи коммунизма потерпели крах, нэп — это признак естественной эволюции, смягчения режима после Гражданской войны, неизбежного перехода от воинственной утопии к рынку, а там и к политической демократизации. Одновременно с этим звучали тезисы оправдания большевизма — например, главред «Накануне» Юрий Ключников полагал, что пролетарский интернационализм — псевдоним имперского собирания народов, а Россия снова становится великой державой. Алексей Толстой редактировал воскресное «Литературное приложение» к «Накануне», в котором печатались и писатели-эмигранты, и в основном — писатели, оставшиеся в России. Вскоре Ключникова сменил Григорий Кирдецов, и газета стала более просоветской. По этому вопросу мнения Сталина и Троцкого разделились. Если Троцкий приветствовал «покраснение», Сталин продавил постановление политбюро, написанное им лично: «Цека считает, что полевение “Накануне” является минусом для нас, ибо оно замедлит процесс расслоения эмиграции, отталкивает нейтральных, а самое газету превращает в подделку под коморган».

В «Накануне» среди прочего в 1922 году появился катаевский

рассказ «Рыжие крестики» — красивый, лиричный — о некоей Наталье Ивановне и ее давнем поцелуе в грозовом саду на юге возле дачи: теперь «сердце, опустошенное войной и революцией», просило самоубийства, но в живых удерживали тот давний сад с поцелуем и неотправленное когда-то любовное письмо; со слезами она «вспомнила свою любовь к мужу, смерть ребенка, расстрел брата». (Не привет ли это так занимавшей его эмигрантке Зое Корбул? Гибель брата-белогвардейца, смерть ребенка…) Рассказ как будто нарочито был далек от всякой «идейности» (привет Ингулову!), просто женщина поняла, «что в жизни равны и счастье, и горе, и любовь, и смерть, что нет в жизни ни взлетов, ни падений».

В 1923 году в «Накануне» вышел «рассказ мрачного романтика» (так гласил подзаголовок) «Железное кольцо» (по словам Катаева, при знакомстве Есенин назвал его замечательным), написанный еще в 1920-м. Бессмертный доктор в берете, с пледом и со зловещим пуделем скитался по всему миру, ко всему безразличный. Лишь однажды он оживился, встретив на диком побережье неподалеку от Одессы кудрявого голубоглазого поэта с влагой вдохновения в голубых глазах. Доктор-демон решил одарить Пушкина-счастливца «грубым железным кольцом с бирюзой», приносящим счастье окружающим. Волшебное кольцо спустя долгое время «пропало в дыму десантов и в пылу реквизиции 1920 года». Но вот уже рассказчик встретил на базаре «старую ведьму» гречанку с тем самым кольцом на костлявом пальце мумии, пушкинскими вещами («клетчатые панталоны, складной цилиндр, подзорная труба и кружевной платочек») и даже соединенными тесемкой каштановыми бакенбардами. Он хотел все это приобрести, но началась базарная облава, засвистели милиционеры, налетели «всадники эскадрона внутренней охраны республики».

Эпизод с ускользнувшим кольцом (и прочим наследством Пушкина) можно прочитать как метафору катаевской судьбы, когда он, так рано и прекрасно сложившийся художник, был вынужден выживать, приспосабливая свой дар к «требованиям времени».

Ведь писатель — это еще и судьба. Советских писателей можно увидеть через игру «угадайка»: кем бы они стали, если бы не Октябрьская революция? Катаев выделялся среди лавочников и аптекарей, а порой рабочих и крестьян: был бы писателем, и наверняка не менее знаменитым (кстати, как и почти все герои его «Алмазного венца»). Рассказчик в «Железном кольце» поспешил скрыться: «Однако я думаю, что не много проиграл в конце концов. Верно?.. Над нами всегда будет влажная, высокая

голубизна, и сливы на рынках будут всегда покрыты бирюзовой пылью. Впрочем, к черту бирюзовую пыль! Были бы только сливы, а украсть их при известной ловкости всегда можно. Сладкие сливы важнее литературного первородства, буду ловчить в агитпропе, красота мира никуда не денется…»

В 1924 году в «Накануне» был напечатан рассказ «Переворот в Индии»: поэт Жак Пусьен «не может жить без славы, денег и любви» и ловко обманывает капиталиста, социал-демократа и женщину, получив все желаемое: деньги, славу, любовь.

В «Накануне» появилось и стихотворение «Самогон» о реалиях, обступавших Катаева в квартире Фоминой:

> Неповоротливая, как медведь,
> Зима обсасывает лапу тут,
> Где примусов пожарных блещет медь
> И розы синие, гудя, цветут…
> …
> Царевна Софья, самогон готов,
> Тащи бидоны, ведра волоки!

В Мыльниковом не только гнали самогон, но и нюхали кокаин.

Катаев в «Алмазном венце» упоминал о двух подружках, уступчивых и нежных, в белых платьицах, которые иногда по вечерам навещали квартиру в Мыльниковом. Олеша называл их «флаконами». «Я помню, Катаев получал наслаждение оттого, что заказывал мне подыскать метафору на тот или иной случай, — писал Олеша. — Он ржал, когда это у меня получалось».

Вероятно, в редакции «Накануне» в 1922 году Катаев познакомился с Михаилом Булгаковым. Неудивительно, что они пошли в это издание. Занятно другое: не успевшие сбежать белогвардейцы теперь участвовали в агитации к сбежавшим — возвращайтесь.

В марте 1922 года в Петрограде недолго выходил «первый беспартийный литературно-общественный журнал» «Новая Россия», который был закрыт Григорием Зиновьевым, но заново открыт Лениным, возродившись в Москве под названием «Россия». Главным редактором был Исайя Лежнёв, проповедовавший «консервативную революцию». Журнал охотно печатал Булгакова (в «Театральном романе» он назвал его прообраз дорогим для сердца словом «родина»), печатался со стихами и Катаев[26].

Вскоре после знакомства с Булгаковым Катаев посетил его квартиру: «На стене перед столом были наклеены разные курьезы

из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты “Накануне” с переставленными буквами, так что получалось не “Накануне”, а “Нуненака”». Булгаков относился к изданию, пожалуй, не столько с идейной, сколько с экзистенциальной брезгливостью (в нем мешалось упрямство «контры» и жажда привиться к новому строю) и в дневнике записал: «Компания исключительной сволочи группируется вокруг “Накануне”. Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собою. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь “Накануне”, никогда бы не увидали света ни “Записки на манжетах”, ни многое другое».

Благодаря «Накануне» на Западе впервые узнали о Катаеве.

Автор газеты эмигрант Роман Гуль вспоминал о писателях, которым разрешили погостить в Берлине и которые по преимуществу составляли ее советский костяк: «Я познакомился с Конст. Фединым, Юрием Тыняновым, Борисом Пильняком, Евг. Замятиным, Ник. Никитиным, Ильей Груздевым и другими. Все это были писатели не только беспартийные, но и настроенные враждебно к режиму. С некоторыми я близко сошелся, и они были со мной откровенны. От них я узнал многое о советском режиме и тамошней жизни. В разговоре со мной ни один из них не посоветовал мне вернуться в Россию».

А вот как на страницах «Накануне» Гуль писал о Катаеве: «В творчестве Валентина Катаева есть две стороны: — от “Валентина” и от “Катаева”. В православных святцах “Валентин” — самое неславянское имя. Валентин — благородный брат Маргариты. Валентин — романтик. Валентин — звучит западно. Но — “Катаев”! Где на “аев” найти еще столь русскую фамилию? Даже не русская — какая-то специально московская фамилия. Так и вспоминается: “катаю на резвой!”».

Гуль, участник Ледяного похода генерала Корнилова, не вернулся, но другие «сменовеховцы» возвращались один за другим. В 1930-е годы они, не исключая главредов Ключникова и Кирдецова, были уничтожены. Показательна судьба одаренного писателя, автора газеты Георгия Венуса. Он, как и Катаев, воевал в Первую мировую (Георгиевский крест) и Гражданскую (был дроздовцем). Вернулся в 1926 году, вступил в Союз писателей, его книги имели успех. Пережив несколько арестов, умер в 1939-м, избитый, больной гнойным плевритом, в тюремной больнице, откуда писал родным: «Я ни о чем не жалею, если бы жизнь могла повториться, я поступил бы так же».

У Катаева успели пожить все перебиравшиеся из Одессы в

Москву (поэтому Надежда Мандельштам писала об этом жилище не как о персонально катаевском, а как о «ранней богемной квартире одесситов»).

С одной стороны, их пригрел нэп, с другой — сальность и приниженность нэпманов были им чужды, а еще — темперамент жителей теплых краев удачно совпал с легкими жанрами, востребованными тогда, так что все-таки само время (авантюр, трагикомедии и фантасмагории) пропитало множество литературных произведений.

Эрлих вспоминал, что дом Катаева был местом «вечерних сборищ». «Многие из нас приходили сюда с рукописями — почитать новое произведение, обсудить с товарищами свою удачу или неудачу. В складчину покупали пиво или вино… на закуску — тарань, козий сыр, колбаса, соленые огурцы. Начиналось чтение, после чтения пили и закусывали, а затем приступали к нелицеприятному разбору рукописи. Суровой критике подвергались и сюжет, и тема, и стиль, правда замысла и правда исполнения. Однажды я принес сюда пьесу — первую пробу свою в драматургии. Конечно, блин этот вышел комом. Да и вообще весь тот вечер складывался крайне неудачно. Денег ни у кого не оказалось — мы сообща едва наскребли около трех рублей. Хозяин дома распорядился:

— Три бутылки пива и одну тарань пожирнее!

— Только? — презрительно усмехнулась домработница; она уже успела привыкнуть к нашим разговорам, наслушалась наших выражений и словечек, поэтому с заметными нотками сочувствия в голосе высказалась так: — Пиво да вобла? Это — не тема!

— Ничего-ничего, сойдет…

— Да как это сойдет? Вон вас сколько народу… Кагору надо бы бутылочек минимум пять, ну и сыру швейцарского, икорки красной, свеженькой ветчинки — вот это тема! Поворот действия получится…

Но не было у нас средств “для поворота”».

Я привел обширную цитату прежде всего из-за реплики «привыкшей» домработницы. При перечислении желанных яств, кажется, заговорил сам Катаев! Наступательная интонация, наивно-циничная связка между хорошей закуской и качеством текста… Определенно он имел влияние на эту женщину.

14 июня 1923 года Катаев послал в Коктебель Максимилиану Волошину (тому самому, с которым у него никогда не ладилось) «самый сердечный привет и братство». Он сообщал, что с Толстым, отбывшим в Берлин «за женой и ребятами», много вспоминали и самого Волошина, и «великолепные и нелепые дни, проведенные в 19 году в Одессе», и призывал приехать в Москву и

примкнуть к их кругу. «Я устроился очень хорошо, много пишу стихами и прозой… Москва ждет Волошина. Он не должен обмануть ее ожиданий. Москва — изумительный город. Десятки салонов работают на пользу отечественной поэзии… Правительство, при восторженной поддержке армии, флота и вооруженного населения, с минуты на минуту готово объявить поэтов вне закона. Москва ждет вас. Старые мастера нужны Москве. Приезжайте. В Охотном ряду в рыбных магазинах висят громадными бревнами фантастические осетры, которые сочатся и благоухают. Винторгуправление за небольшую плату отпускает желающим неплохое грузинское вино. В пивных подают очаровательное пиво, черное и белое, окруженное тарелочками с мокрым горохом, тонко нарезанной “глупой воблой воображения”[27] и сухариками. На мраморных столиках, покрытых пивной влагой и пеной, покоятся локти лучших и интереснейших людей современности».

КАТАЕВ И ХЛЕБНИКОВ

На Мясницкой неподалеку от катаевского дома в кирпичных корпусах расположилось общежитие Вхутемаса — образованных в конце 1920 года Высших художественнотехнических мастерских. Многие вернулись с фронтов и еще носили буденовки, папахи и шинели. Здесь преподавали Родченко и Татлин, Фаворский и Кандинский, под началом которого расцвел абстракционизм. Стены общежития были увешаны картинами, где сплетались причудливые фигуры и линии. Во Вхутемасе реализм тщетно пытался сопротивляться новым течениям. Ленин, посетивший мастерские с Крупской, был огорчен, когда на его вопрос: «Должно быть, боретесь с футуристами?» — студенты ответили хором: «Нет, Владимир Ильич, мы сами футуристы!»

В этом общежитии в конце 1921 года поселился вернувшийся из Персии и других странствий Велимир Хлебников. Художник Сергей Евлампиев рассказывал: «Он без всяких лишних слов тихим голосом попросил его принять в нашу коммуну, так как ему негде жить и питаться».

Голодный, лохматый, беззубый, мучимый лихорадкой, Хлебников занимался стихами и трактатом «Доски судьбы» с математическими формулами, который был издан крошечным тиражом в конце 1922-го. В Москве он почти не печатался, не считая появившегося в «Известиях» антинэпмановского стихотворения «Не шалить»:

Не затем у врага
Кровь лилась по дешевке,
Чтоб несли жемчуга
Руки каждой торговки.

В доме во дворе Вхутемаса жил футурист, «заумник» Алексей Кручёных. Он был маниакальным литературным коллекционером, благодаря чему сохранились творческие автографы многих писателей, включая Катаева. В письме «дорогому товарищу Кручёных» зимой 1922-го Катаев делился с ним «наблюдениями в области звукообраза», в качестве удачного примера переклички созвучий приводя стихи Пастернака и собственное стихотворение «Бриз».

Той зимой, вспоминал Катаев, Велимир Хлебников, «странный гибрид панславизма и Октябрьской революции», жил у него несколько дней в комнате в Мыльниковом, беспорядочно

читал стихи, которые, как известно, хранил небрежно и часто терял. «Он благостно улыбался, как немного подвыпивший священнослужитель».

После выхода «Алмазного венца» недоброжелатели пытались поставить под сомнение их знакомство. Тем не менее в альбоме Кручёных, составленном в 1920-е, есть фотография «председателя земного шара», к которой Катаев приписал с будетлянским оттенком: «Встречался с Хлебниковым в 922 году в Москве. Гениальный человек. И еще более гениальный поэт-речетвор. Валкатаев». А в записях Олеши — другое свидетельство: «Я Хлебникова не видел. У меня такое ощущение, что я вошел в дом и мог его увидеть, но он только что ушел. Это почти близко к действительности, так как он бывал в квартире Е. Фоминой в Мыльниковом переулке, где жил Катаев и где я бывал часто. Катаев его, например, видел и именно у Е. Фоминой. Из рассказа Катаева создавалось впечатление, во-первых, человеческой кротости того и все же такой сильной отрешенности от материального мира, что казалось: это идиот».

Надежда Мандельштам вспоминала, как перед самым отъездом из Москвы Хлебников «приходил есть с нами гречневую кашу в Дом Герцена и молча сидел, непрерывно шевеля губами». Она же рассказала о том, что ее муж потащил Хлебникова к Николаю Бердяеву, который в тот момент был одним из руководителей «всероссийского союза писателей», подчеркнуто небольшевистского объединения авторов «старой формации», имевшего тем не менее хозяйственные возможности. «Мандельштам набросился на него со всей силой иудейского темперамента, требуя комнаты для Хлебникова… Представляю себе, как испугался не подготовленный к буре Бердяев. Со слов Мандельштама я знаю, что такого приступа тика, как во время этого разговора, он у Бердяева никогда не видел». В комнате было отказано.

Хлебников покинул столицу и скончался в том же году в селе Санталове Новгородской губернии. Сам же Бердяев в 1922-м же был отправлен из страны на «философском пароходе».

Тогда же Катаев приютил у себя «банду поэтов-ничевоков» из Ростова-на-Дону.

В калужском журнале «Корабль», выходившем всего год и охотно печатавшем писателей «старой формации», появился его рассказ «Восемьдесят пять» с пояснительной сноской «Из эпохи гражданской войны и борьбы с контрреволюцией» — чекист разоблачил чекиста, как оказалось, когда-то агента царской охранки. Именно здесь впервые исподтишка Катаев передал свои предсмертные переживания в застенках: «Он уже видел себя

введенным в пустой гараж» и также исподтишка убил героя, словно бы с облегчением, с мучительным, но освобождающим приятием такого финала. По сути, провидчески возник мотив взаимного истребления новых властителей. Катаев как будто бы вновь (и на этот раз тоже исподтишка) пробовал ответить на свой вопрос времен Первой мировой: можно ли превратить ужас в красоту природы, труп в музыку? «Бобров мечтательно курил, устало глядя в окно на приливавший рассвет, и зевал. Стоявший у двери сделал два шага вперед и выстрелил Боброву в затылок… Пороховой дым тонкими ниточками вытягивался в окно, смешиваясь с кисельным запахом лип».

Тем временем он пытался издать книгу.

В мае 1922 года предложил Госиздату сборник рассказов «В осажденном городе». Издательство отдало рукопись критику Петру Когану (уже знакомому с Катаевым, пытавшимся пристроить у него стихи Хлебникова). Коган отозвался одобрительно: «Автор наделен наблюдательностью. Рассказы написаны человеком, пережившим то, о чем он пишет, и потому подкупают той особою искренностью, какая свойственна очевидцам. Автор несомненно талантлив, хотя сюжеты выбирает не грандиозные и неглубокие. Но тем не менее это хотя и миниатюры, но законченные. Достоинство и то, что содержание современно — наша революционная эпоха и события освещены в духе революции». И все же в Госиздате приняли решение рукопись «временно отложить».

Затем Госиздат в лице Михаила Столярова отказал Катаеву в публикации книги сонетов о Гражданской войне «Железо»: «Автор — читатель и поклонник Эредия[28], мастера декоративного сонета. О гражданской войне он пишет только потому, что эта тема любопытная и благодарная. Он зарисовывает ее эпизоды, оставаясь сам равнодушно внимательным наблюдателем».

Столяров жестко отрецензировал и пьесу «Героическая комедия»: «Пьеса Катаева производит то же впечатление, что и сонет его. Только она гораздо слабее технически… Почему она комедия — неизвестно: в ней ровно ничего комического. Это скорей мелодрама на революционную тему. Сын казненного революционерами короля — предводительствует революционными войсками против белых. Устроенный им заговор не удается, приходится спешно снимать королевский плащ… но его уже видела в плаще влюбленная в него “товарищ Анна”. Пламенная революционерка, секретарь. Она застреливается — а принц, видя свое поражение, переходит на сторону революции. Все это удивительно “психологично”. Добавим к этому, что рабочие представлены как смутный фон…

Нет, совершенно неудачная пьеса».

А вот уже сборник стихов, зарубленный в 1923-м:

«Книги, просмотренные политотделом по выходе из печати.

Распространение задержано.

В. Катаев. “Первое, огонь!” Содержание крайне убого. Материал стар, есть нездоровая эротика. Ненужная книжка».

КАТАЕВ И БУЛГАКОВ

Они называли друг друга Мишунчик и Валюн.

Катаев приходил в комнату в коммуналке в доме на Большой Садовой, том самом, где обосновался Воланд: там Булгаков жил со своей первой женой Татьяной Лаппой, не давшей погибнуть ему от морфинизма и выходившей от тифа. У них всегда можно было получить тарелку наваристого украинского борща и крепкий чай с сахаром внакладку. Сама Лаппа в конце жизни вспоминала: «Пирожков напекла, а пришли Олеша с Катаевым — все полопали». «Нас он подкармливал, — подтверждал Катаев. — У Булгаковых всегда были щи хорошие».

Детский писатель Владимир Левшин, который в начале 1920-х годов был соседом Булгакова по «нехорошей квартире», спросив себя: «Кто у него бывал?» — отвечал: «На моей памяти, чаще всех — Валентин Катаев… С приходом Катаева почти всегда появляется на столе любимое обоими шампанское» и вспоминал, что Катаев в то время продолжал боготворить далекого Бунина, «переводя на него разговор»: «Бунин для Катаева то же, что Париж для Эренбурга».

Левшин был одним из позднее облагодетельствованных Катаевым, впрочем, под шампанское он выслушивал критику своих тогдашних литературных опытов и от соседа (деликатно), и от гостя (напрямик): «Катаев более категоричен. “Вы не умеете писать для детей!.. Вот как нужно: ‘Телочка, телочка, на хвосте метелочка’. Образно и ничего лишнего”. И, очень довольный своим двустишием, улыбается по обыкновению хитро и ядовито. Ничего, впрочем, ядовитого в его отношении ко мне нет. Это ведь ему я обязан первой публикацией моих сатирических стихов в “ Красном перце”. Он ввел меня на так называемые “темные” (от слова “тема”) заседания “Крокодила”. Он же трогательно утешал меня после неудачной попытки пристроить один из моих рассказов в какой-то журнал: “Не унывайте! Бунин говорил мне: всякая рукопись непременно дождется, когда ее напечатают”».

Поначалу в Москве Булгаков бедствовал, но дела его стали выправляться (непрерывно писал для прессы). В комнате был настоящий письменный стол, заваленный бумагами, хозяин расхаживал в байковой клетчатой пижаме, а позже стал являться в редакцию в шубе без застежек под названием «русский охабень» (по уверениям Катаева, отмечавшего провинциализм друга, однажды он пришел в «Накануне» в шубе поверх пижамы).

Булгаков, как было сказано, с неудовольствием стал сотрудничать с примиренческим «Накануне», которое не любили

эмигранты и презирали коммунисты. До конца дней он сохранил в домашнем архиве вырезку, указывавшую на его радикально антибольшевистскую статью «Грядущие перспективы» 1919 года. Но главным для него было выживание при той власти, в прочности которой он не сомневался. В «Накануне» он был встречен на ура, печатался в каждом номере, очаровал сотрудников и читателей, а Алексей Толстой требовал из Берлина: «Побольше Булгакова!» Миндлин называл Булгакова и Катаева «самыми любимыми авторами читателей “Накануне”».

Булгаков был постарше и, безусловно, консервативнее Катаева, все же затронутого левым романтизмом, богемным бунтарством, пафосом ниспровержения авторитетов. Равнодушный к современной литературе, Михаил Афанасьевич с ровным жаром любил классику. «У него были устоявшиеся твердые вкусы. Он ничем не был увлечен, — вспоминал Катаев. — Тогда был нэп, понимаете? Мы были против нэпа — Олеша, я, Багрицкий. А он мог быть и за нэп. Мог… Вообще он не хотел колебать эти струны (это Олеша говорил: “Не надо колебать мировые струны”) — не признавал Вольтера».

Катаевское неприятие нэпа носило прежде всего эстетический характер, но вновь уточним: и материально, и стилистически нэп пригодился всей его компании. Существенно, что отрицание атмосферы нэпа не было увязано исключительно с «левой идеей». Так православный писатель Иван Шмелев, еще не уехавший из страны, отмечал: «Москва живет все же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрет, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища, ненужного и случайного». Да и катаевская эстетика бывала весьма противоречива — так, «рапповская» критика злорадно подмечала за ним «социально-характерное» любование тем самым «уголком жизни»: «В частнокоммерческих магазинах висели бревна осетров, которые сочились желтым жиром. Восковые поросята лежали за стеклами Охотного ряда… Да, это была Москва. Это был нэп» (рассказ «Фантомы»).

В то время Катаев воспринимал Булгакова не как писателя, а как фельетониста, но нечто сближало их помимо литературы. Они, что называется, были «социально близки». В альбом Кручёных вклеена общая фотография Катаева, Олеши и Булгакова 1920-х годов с шуточным катаевским пояснением: «Это я, молодой, красивый, элегантный. А это обезьяна Снукки Ю. К. Олеша, грязное животное, которое осмелилось гримасничать, будучи принятым в такое общество. Это Мишунчик Булгаков, средних лет, красивый, элегантный».

Катаев и Булгаков то и дело ночами ходили в казино (в

нэпманской Москве действовали два игорных дома). «Судьба почти всегда была к нам благосклонна, — вспоминал Катаев. — Мы ставили на черное или на красное, на чет или на нечет и почему-то выигрывали». Катаев, очевидно, ходил в казино и в одиночку. «Однажды я выиграл 6 золотых десяток, — делился он с литературоведом Мариэттой Чудаковой. — Две я проел, а на 4 купил в ГУМе прекрасный английский костюм. Ну, прекрасный… Цвета маренго… Но не было ни рубашки, ни галстука, ни ботинок. (Смеется.) Ну ничего, я носил свитер!»

Павел Катаев вспоминал: «Слушая папины рассказы о том, как можно было прийти в казино, поставить деньги крепкие советские червонцы, выиграть и на выигрыш купить еды и выпивки на всю компанию, я испытывал чувство восторга и зависти. Как это ни странно (а может быть, вовсе и не странно, а вполне естественно), эти истории дышали свободой».

ЛЕЛЯ

Накануне наступления 1923 года Катаев, зайдя к Булгаковым, звал их встречать вместе Новый год. Булгаков сказал, что приглашен к Коморским, в просторную квартиру адвоката, где бывали разные литераторы и всегда хорошо угощали. Тогда Катаев обратился к Татьяне Лаппе: «Если он приглашен — пойдемте в нашу компанию!» — что Булгакову, конечно, не понравилось: «Вот еще какие глупости, ты еще туда пойдешь!»

А через неделю Катаев познакомился с Лелей, двадцатилетней синеглазой студенткой, сестрой Булгакова.

Леля, Елена Афанасьевна Булгакова, родилась 2 июня 1902 года в Киеве. Она училась в Киевском институте народного образования.

Булгаков пригласил Катаева в сочельник. Характерно, что собрались «по старинке» встретить праздник Рождества Христова. Там и состоялось знакомство с девушкой, впервые приехавшей в Москву на каникулы. В углу стояла елочка. Катаев читал стихи.

Кстати, диссонансом этим посиделкам была демонстрация, прошедшая по улицам Москвы 7 января 1923 года. Впервые отмечалось «комсомольское рождество». Ряженые несли пятиконечные звезды и плакат: «До 1922 Мария рожала Иисуса, а в 1923 родила комсомольца». Между тем Булгаков и Катаев были близки и по «религиозной генеалогии»: у обоих деды — священники, а отцы — очень набожны и даже внешне похожи на «духовных лиц» (Афанасий Булгаков — богослов и историк Церкви).

Начались свидания с Лелей: «Мы смотрели в Театре оперетты “Ярмарку невест”, и ария “Я женщину встретил такую, по ком я тоскую” уже отзывалась в моем сердце предчувствием тоски».

Был лютый мороз. Там у Патриаршего пруда, где однажды возникнет Воланд, «возле катка у десятого дерева с краю», зачем-то обмотанного «колючкой», они целовались.

«Это дерево — мое, — написал он по свежим следам. — Возле него она сказала мне: “Люблю”. За последние пять лет никто не говорил мне ночью, в снегу, возле колючей проволоки, у черного ствола дерева “люблю”. Мне кричали “стой”, меня расстреливали, раздевали, били рукояткой револьвера… Но “люблю”…»

«Наши губы были припаяны друг к другу морозом», — написал спустя больше полувека.

Он простудился на этом свидании возле бешеного катка, который температурно сверкал и кружился в нескольких стихотворениях 1923 года:

Готов! Навылет! Сорок жара!
Волненье. Глупые вопросы.
Я так и знал, любовь отыщется,
Заявится на Рождестве…

Леля, пробыв в Москве около недели, должна была уезжать. «В последний раз ее синие глаза отразились в моем холостом зеркале… В последний раз она сидела у меня на коленях в сереньком мохнатом свитере, и в последний раз я целовал ее полное горло».

Катаев провожал на Брянском вокзале, ожидая ее возвращения через несколько месяцев, и твердил: «Не уезжай». «Не уезжай. Мне нужна хорошая жена и добрый друг. Я устал. Не уезжай».

В отсутствие Лели он пошел к Мишунчику и сообщил, что желает взять ее в жены.

«Катаев был влюблен в сестру Булгакова, хотел на ней жениться, — вспоминал писатель Юрий Слезкин. — Миша возмущался. “Нужно иметь средства, чтобы жениться”, — говорил он».

Вот как Михаил Афанасьевич (Иван Иванович) показан в рассказе у Катаева того времени: «Он гораздо старше меня, он писатель, у него хорошая жена и строгие взгляды на жизнь. Он не любит революции, не любит потрясений, не любит нищеты и героизма».

В сущности, этот ретроград бессердечен: «Он хватает ручку и начинает быстро писать на узенькой бумажке рецепт моего права на любовь. Он похож на доктора. Две дюжины белья. Три пары обуви (одна лаковая), одеяло, плед. Три костюма, Собрание сочинений Мольера, дюжина мыла, замшевые перчатки, бритва, носки и т. д. и т. д. и Библия.

— Два года минимум. Вот-с выполните этот списочек, и тогда мы с вами поговорим.

Да, еще одна вещь. Он совсем и забыл. Золото, золото. Золотые десятки. Это самое главное. О, я преклоняюсь перед золотом. Купите себе, ну, скажем, десять десяток. Тогда с вами можно будет поговорить даже… о сестре.

Он уверен, что это невыполнимо.

Бедняга. Он мечтает об Америке и долларе».

Но Катаев не обличал приятеля: «Посмотрим, кто из нас американец. У меня нет ничего, но у меня будет все… Я разночинец, у меня нет быта и правил, нет семьи, нет ничего, кроме молодости, закаленной дочерна в пламени великого

пятилетия…»

Он как бы подтверждал желчный бунинский диагноз, но высвечивал не наглость, а драму «разночинцев», которых эпоха перемен закрутила и «закалила дочерна».

Любопытно, что Булгаков рассуждал так же, как десятью годами ранее противники его собственной женитьбы: беспечность, легкомыслие…

По Катаеву, он писал письма и слал телеграммы Леле. Потом отправился к ней. Они гуляли по Киеву, посетили лавру, спустились в пещеры. И сожгли написанное друг другу:

Затвор-заслонка, пальцы пачкай.
Пожар и сажа вечно снись им.
Мы разрядили печку пачкой
Прочитанных любовных писем.

Другое стихотворение так и называлось «Киев»:

Перестань притворяться, не мучай, не пугай, не ври,
Подымаются шторы пудовыми веками Вия.
Я взорвать обещался тебя и твои словари,
И Печерскую лавру, и Днепр, и соборы, и Киев.

Рассказ о неудавшейся любви заканчивался ледяным обращением к Булгакову: «Иван Иванович, не беспокойтесь, опасность пока миновала. Вашему семейству не угрожает разгром. Спите спокойно, мечтайте о долларе, а в свободное от этих занятий время американизируйтесь. Кстати, у вас уже починили крышу? Только, пожалуйста, не учите меня больше жить. Отныне я буду жить сам».

Та же история в интерпретации Татьяны Лаппы: «Был у нее роман с Катаевым. Он в нее влюбился, ну и она тоже… Стала часто приходить к нам, и Катаев тут же. Хотел жениться, но Булгаков воспротивился, пошел к Наде (другая сестра. — *С. Ш.*), она на Лельку нажала, и она перестала ходить к нам. И Михаил с Катаевым так поссорились, что разговаривать перестали. Особенно после того, как Катаев фельетон про Булгакова написал — в печати его, кажется, не было, — что он считает, что для женитьбы у человека должно быть столько-то пар кальсон, столько-то червонцев, столько-то еще чего-то, что Булгаков того не любит, этого не любит, советскую власть не любит… ядовитый такой фельетон…»

Татьяна путала — рассказ напечатан был. Впервые под

названием «Печатный лист о себе» он вышел в литературном приложении к газете «Накануне» 15 апреля 1923 года, а под названием «Медь, которая торжествовала» был включен в сборник рассказов Катаева «Сэр Генри и черт» (Книгоиздательство писателей в Берлине, 1923).

Но есть все основания полагать, что на этом отношения Катаева с Лелей не прекратились.

Летом 1924-го, окончив институт, она перебралась в Москву, поселилась у сестры Нади, устроилась библиотекарем в школу, познакомилась с преподавателем Пединститута Михаилом Светлаевым, приятелем и коллегой сестриного мужа. Леля стала Светлаевой в 1925 году. Катаев женился еще в апреле 1923-го, через несколько месяцев после разрыва.

Похоже, его встречи с Лелей продолжались, и это ей он писал поэму «Вторая молодость»:

Я шпагу свою оставил в плену,
И сердце под кленом лежит в плену —
Не шпагой клянусь и не сердцем клянусь,
А жизнью своей клянусь:
Я буду любить до потери себя
Твои голубые глаза.

Лаппа, с которой Булгаков решил развестись в апреле, а окончательно расстался в ноябре 1924 года, вспоминала: «А на другой день, вечером, пришел Катаев с бутылкой шампанского — в этот день должна была прийти сестра Михаила Леля, он за ней ухаживал». Кстати, о годах катаевского романа с Лелей Татьяна тоже говорила, называя 1923-й и 1924-й.

В катаевском романе 1924 года «Остров Эрендорф» американец Джимми пытался вернуть возлюбленную по имени Елена, одурманенную опытным гипнотизером, напоминая ей пережитое в городке Нью-Линкольне: «Мне снилось замерзшее озеро и косые фаланги конькобежцев, выбегавших из грелки… Мне снилось десятое дерево, если считать от калитки в глубине сада… Возле этого дерева… если вы помните… мы однажды с вами…» Девушку расколдовывали именно эти слова. И вот уже: «Джимми нежно обнял Елену и положил ее голову себе на плечо.

— Елена, не надо ни о чем думать. Елена… Елена… Как я люблю повторять это милое имя».

А в пьесе «Квадратура круга» 1928 года женатый Вася говорил замужней Тоне: «А то дерево на Патриарших прудах помнишь? Десятое с краю, если считать от грелки?.. Я ведь потом всю ночь напролет… Ты знаешь… А на другой день как ошалелый по всей

Москве… А ты — такая самая, как была… Куда ты пропала?»

Такая вот фетишизация дерева с Патриарших…

Ясно одно: роман завершился неудачей, и это испортило отношения Катаева с Булгаковым, помешавшим его «личному счастью».

Зато в 1930-е годы Катаев не без мстительного удовольствия демонстрировал «Мишунчику» (а через него и Леле) свою большую житейскую удачливость: слава, благополучие, красавица-жена.

Американская мечта!

В 1929 году Леля родила дочку. С начала войны, с июня 1941-го по лето 1943-го жила в Новосибирске, где с утра до вечера работала педагогом в нескольких местах, в конце 1940-х получила инвалидность с диагнозом «устойчивая гипертония». Елена Афанасьевна умерла в Москве 3 мая 1954-го на пятьдесят втором году жизни от мозгового кровоизлияния.

«ГУДОК»

К началу 1923 года относилась описанная Катаевым попытка Булгакова издавать журнал «Ревизор». Журнал они решили делать совместно, нашли спонсора («мелкого капиталиста») и отправились за разрешением в Главполитпросвет к Ингулову. Но тот отказал.

Очевидно, журнал должен был отличаться от других выходивших тогда изданий бóльшим вкусом и большей литературностью. То, что он действительно планировался, подтверждает объявление, размещенное в январском номере «Корабля» за 1923 год в разделе «Жизнь искусства. Литературная хроника»:

«Группой беллетристов возбуждено ходатайство о разрешении издания сатирического журнала “Ревизор”. Журнал, согласно проэкта, не будет иметь ничего общего с желто-бульварными “юмористическими изданиями”. Редактировать журнал будет М. Булгаков».

«Проэкт» не сбылся. Время частной прессы заканчивалось.

Катаев наращивал публикации. Он печатался в государственных сатирических журналах «Крокодил», «Смехач», «Чудак», «Бузотер», «Красный перец», «Заноза с красным перцем», в «Рабочей газете», «Труде», «Красной ниве», «Огоньке». 23 ноября 1924 года его фельетон появился в первой же передаче «Радиогазеты РОСТа».

Поступил на службу в газету «Гудок» вслед за Булгаковым. Туда же пришел и Олеша.

Сотрудничество с «Гудком» хорошо оплачивалось. Как утверждает Давид Фельдман, вокруг газеты сформировался целый издательский концерн с литературными приложениями, и, по-видимому, именно Нарбут управлял этим концерном, со временем получая все бóльшие полномочия.

Свои фельетоны в прессе Катаев подписывал разнообразно: Оливер Твист, Митрофан Горчица, Старик Саббакин, Красным по белому и даже Валяй Катаев, легко переходя от внутренних тем к международным (его шутка: «Нигде кроме, как в Белом доме»).

Больше того, читая катаевские фельетоны 1920-х годов, можно сделать вывод, что порой псевдоним был привязан к стилистике и тематике текста. Твист — юморящий, бойкий «человек из народа», живчик, озабоченный международой политикой; Митрофан Горчица — суровый трудяга, рачительный хозяин, веско рассуждавший о заботах и проблемах внутри страны: и масштабных, и мелкобытовых.

Катаев завоевывал издание за изданием — доходы от фельетонов начали осыпаться в карман по принципу домино. Приходил — давал текст — получал деньги — начинал печататься чаще — становился известен в других редакциях. Например, механизм сотрудничества с «Рабочей газетой» был таков: «Забросил туда фельетон, напечатали. Затем — второй. Взяли. Когда я принес третий, мне секретарша сказала: “А о вас спрашивал главный редактор. Сказал, если придет Оливер Твист, ведите ко мне”. Главным редактором был старый большевик — Смирнов Николай Иванович. Американист, деловая хватка. Он предложил мне сразу давать шесть фельетонов в месяц. Я стал работать на зарплате. “Крокодил” находился в том же помещении. Напротив “Рабочей газеты”».

Замечу, рядом с «деловой хваткой», которой, несомненно, отличался и сам Катаев, снова помянута Америка. В 1923 году в его гротескных рассказах («Страшный перелет г-на Матапаля», «Iwan Step», «Упрямый американец») — вздорные и самоуверенные янки, их страна — богатства и техники, скоростной, нахрапистый «стиль жизни» и столь любезный тогда автору «движущийся герой», обрастающий комом типажей и ситуаций…

Характерно, что тогда же, в 1923-м, была организована всесоюзная «Лига времени», декларировавшая «коммунистический американизм» (главная идея — экономия времени, почетные председатели — Ленин и Троцкий). Сталин в статье «Об основах ленинизма» (1924) так определял правильный подход к работе: «а) русский революционный размах и б) американская деловитость». И это вошло в обиход.

Катаев писал фельетоны о всякой всячине, щедро подбрасываемой жизнью: финансовые авантюры в «трестах»; казус с «просветительской лекцией» в клубе о вреде самогона, которая превратилась в инструкцию по его правильной очистке; аферисты и «дармоеды», засевшие в учреждениях; чванливые и беспечные бюрократы, приспособленцы, «вещизм», некачественная одежда; патлатые скептики, ждущие краха экономики и озадаченные: «Куда смотрит Европа?»; любвеобильная мамаша, чей ребенок в суде по установлению отцовства признан «кооперативным»; хулиган, оборвавший с себя все пуговицы, бросая их в доверчивый автомат Моссельпрома и получая взамен коробки папирос…

«Гудок» был органом ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта. Работа там затянулась на годы. «Когда кто-нибудь приезжал с юга, его пихали в “Гудок”», — говорил Катаев.

В течение нескольких лет в газету переселилась вся

литературная Одесса — от Ильи Ильфа до вчерашнего фальцовщика и рассыльного Семена Гехта (в «Накануне» ему протежировал Катаев), а частыми гостями были Эдуард Багрицкий и Семен Кирсанов. Сюда же устроился уроженец Темрюка Георгий Шенгели, который затем предложил вместо себя уроженца Елисаветграда Арсения Тарковского, писавшего стихотворные фельетоны и басни под псевдонимом Тарас Подкова.

Вернувшись в Москву в 1923 году после долгих странствий (в которых выделялась Одесса), Константин Паустовский вспоминал, как пришел в «Гудок», где тоже начал сотрудничать, а там «сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве…».

Работа в газете железнодорожников и Гражданская война пригодились. В 1923 году Катаев опубликовал в «Гудке» повесть «Приключения паровоза».

Бывалый паровоз исповедовал свою жизнь приятельнице, старой почтенной водокачке. Паровоз бегал от станции к станции, постигая азы классовой розни, видел глазами фонарей Керенского, Ленина и матроса Дыбенко и, разумеется, попадал в белогвардейскую Одессу, где его превратили в броневик, а некто Чабан бродил рядом и не мог понять, почему надо быть с Деникиным и кто такие «красные»; дальше Катаев воспроизводил свой рассказ «Прапорщик», в конце подчеркивая советскую благонадежность: «Этот парень раскачивался очень долго, но уж когда раскачался, то надолго и прочно».

В одном из ранних катаевских фельетонов в «Гудке» «Летят!» был выведен «контрреволюционер» из «бывших» Иван Иванович (не опять ли Михаил Афанасьевич?), который вспотел и посинел от злости из-за летевших в небе аэропланов: «Дожили, значит, до того, что коммунисты над головой лазают» и чуял в этом погибель нэпа, а уличная торговка подбадривала его надеждой: «А может, не наши, а?» Этот недовольный персонаж возникал у Катаева не раз, например, в фельетоне «Всесоюзная редкость» рассказчик стыдил Ивана Ивановича, выгуливая по сельскохозяйственной выставке: «Видите? Это все сделала ненавистная вам Советская власть в итоге невероятно тяжелых пяти лет революции. А вы еще, помните, говорили: “Погубили Россию большевики! Демагоги! Предатели!” Ведь говорили?»

Доставалось и «бывшим» за границей. Врангель побирался с теми самыми манерами, которые обнаружились потом у Ипполита Матвеевича Воробьянинова: «Господа, так, кельк шоз пур буар… Пожертвуйте герою Перекопа, бывшему студенту… Превратности судьбы… А ведь поверите — бароном был…»

Несомненно, основная часть катаевских публикаций в прессе — поденщина. Чувства и краски отодвигала «идея», под которую подгонялся текст. Однако сама задача — рассказать историю и сжатость в объемах заставляли подбирать пускай и гротескно заостренные, но психологически выразительные детали, сочные эпитеты, характерные реплики, оттачивать острословие.

Жанр фельетона, работа с письмами и корреспонденциями расширяли представления о менявшейся стране и ее жителях, да и можно было съездить куда угодно. Несомненно, этот опыт оказался полезен в прозе — «Дьяволиада» Булгакова, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова и, конечно, катаевские «Растратчики»…

Между прочим, бесконечные коридоры Дворца труда, где размещался «Гудок», — точные прообразы тех, по которым в «Двенадцати стульях» госпожа Грицацуева гонялась за Остапом; упоминалась и комната сатирической «четвертой полосы»: «… шесть здоровых мужиков ничего не делают, только пишут».

У «газетчины» была еще одна секретная заслуга перед искусством: на фоне занудно-комического и очерково-бытового особенно хорошо получалось романтическое, художественное, словесно нарядное — «Три толстяка», а позднее «Зависть» Олеши, «Белая гвардия», а позднее «Мастер и Маргарита» Булгакова или, например, катаевская повесть «Отец», несколько лет хранившаяся в столе, или его изобразительность, которая спустя годы так непринужденно и нежно проявилась в повести «Белеет парус одинокий». Литература была отдушиной.

При этом сама «газетчина», ставшая невытравляемым опытом, наделяла писателей особым, в сущности, античным мастерством — искусного смешения «низкого» с «высоким», мелочного со сказочным. Читая Катаева, Булгакова, Олешу, порой сложно определить границу фельетона и лирики. Ранний Катаев «хихиканья» и бытового гротеска, поздний Катаев горечи и исповедального мовизма — это один и тот же писатель, да и сатирический язык Ильфа и Петрова, совершенно очевидно, нес в себе поэтический заряд…

«Нельзя сказать, что гудковские сатирики были недостаточно нагружены редакционной работой, — писал сотрудник газеты Михаил Штих. — Но она шла у них так весело и легко, что, казалось, емкость времени вырастала вдвое. Времени хватало на всё. Успевали к сроку сдавать материал, успевали и посмеяться так называемым здоровым смехом. Рассказывались всякие забавные истории, сочинялись юмористические импровизации…»

А вот как о полезных свойствах издания и его «четвертой полосы» писал Арон Эрлих, не только работавший в «Гудке», но и приведший туда неприкаянного Булгакова: «Полоса держала в

страхе всех работников транспорта… Фельетоны запоминались. Они больно кусали и крепко жгли… “Гудок” — пора молодости, годы накопления опыта, наблюдений, мыслей, сюжетов, эпитетов, сравнений, метафор… У нас уже выработалось некое корпоративное чувство: появлялись в журналах рассказы В. Катаева, — и нам казалось, будто его успех каким-то образом осеняет и нас всех».

Как и многие, днем Катаев стряпал фельетоны, а прозу писал по вечерам и ночам…

Олеша выступал в «Гудке» под псевдонимом Зубило со злободневными стихами и зарабатывал больше своих товарищей. По свидетельству Виктора Шкловского, также подвизавшегося в «Гудке» и часто там бывавшего, «Демьян Бедный, который в то время был не очень стар и очень знаменит, говорил мне, что его известность не может быть сравнима с известностью “Зубила”».

Литературовед Аркадий Белинков в знаменитой книге «Сдача и гибель советского интеллигента: Юрий Олеша» (Мадрид, 1976) толковал бодрость Олеши как фальшивую и полагал его публикации далекими от литературы. Однако Олеша наслаждался тем успехом. Он брал Катаева в поездки в свой отдельный вагон и выступал при нем в паровозных депо…

А вот в дневниковых записях Булгакова по поводу газеты сплошные стоны: «“Гудок” изводит, не дает писать… Я каждый день ухожу на службу в этот свой “Гудок” и убиваю в нем совершенно безнадежно свой день… ехать в проклятый “Гудок”… Сегодня в “Гудке” в первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией». Надо делать скидку на то, что Булгакову в дневниках вообще было свойственно впадать в уныние, и основные страдания ему приносила ранняя пора работы «обработчиком» — после того как его повысили до фельетониста, он повеселел, сочинял ежедневный текст, по собственному признанию, минут за двадцать, а дальше норовил улизнуть. Да и в фельетонах Булгаков преуспел, их едкость и популярность были уж точно не меньшими, чем у коллег.

Кстати, сатирический рассказ Булгакова «Главполитбогослужение» впоследствии ошибочно приписали Катаеву и даже включили в его сборник 1963 года «Горох в стенку». Об ошибке позже заявил сам Катаев, с которым состав сборника согласовывался. В рассказе высмеивалось духовенство, и, возможно, Катаеву из-за этого расхотелось считаться автором. Тут уместно упомянуть и скандал, разразившийся после того, как Булгаков подписал несколько фельетонов «Г. П. Ухов», как бы

дразня всесильное ведомство.

Иван Овчинников, заведовавший «четвертой полосой», вспоминал, как в редакции Катаев подбил Булгакова на знаменитый рассказ «Ханский огонь». В ответ на жалобы приятеля, что все вокруг «пишут плохо, скучно, никакой выдумки», Булгаков, «задетый за живое», заявил: «Клянусь и обещаюсь: напишу рассказ и завязку так и не развяжете, пока не прочитаете последней строчки». В подмосковный музей-усадьбу «Ханская ставка» приехали экскурсанты из Москвы посмотреть на оставшееся от «нормального времени», среди них — «иностранец в золотых очках колесами». Ночью, пробравшись во дворец, он открылся Ионе — это был князь Тугай-Бег. Камердинер, рыдая, сказал, что кабинет князя опечатал очкастый «Эртус Александр Абрамович из комитета» и хорошо бы повесить его на липе. Князь, сорвав печать, стал разбирать бумаги, что-то взял с собой, что-то предал огню. Пожар распространялся, а он бормотал: «Не вернется ничего. Все кончено. Лгать ни к чему». И исчез «незабытыми тайными тропами».

А все-таки знаково, что рассказ Булгакова, напоенный белогвардейской жаждой возвращения и отмщения, вдохновлен Катаевым.

ИЛЬФ И ПЕТРОВ

В 1923 году в Москву из Одессы с небольшой разницей во времени приехали Илья Ильф и Евгений Петров.

В феврале Ильф поселился у Катаева. «По приезде в пышную столицу, — писал он, — опочил я на полу у приятеля-благодетеля». Затем ему дали комнату при типографии «Гудка», где он жил вместе с Олешей. Об этом вспоминал Гехт: «Сперва он жил в Мыльниковом переулке, на Чистых прудах, у Валентина Катаева. Спал на полу, подстилая газету… Летом двадцать четвертого года редакция “Гудка” разрешила Ильфу и Олеше поселиться в углу печатного отделения типографии, за ротационной машиной. Теперь Олеша спал на полу, подстилая уже не газету, а бумажный срыв. Ильф же купил за двадцатку на Сухаревке матрац».

По воспоминаниям Эрлиха, Ильф поступил в «Гудок» на должность библиотекаря и лишь позднее, когда «редакция газеты задумала в ту далекую пору выпускать еженедельный литературно-художественный журнал», он принес фельетон, сочиненный специально для этого нового журнала.

«Несколько авторов написали по фельетону, но пришлось забраковать их все без исключения. В. Катаев объявил тогда:

— У меня есть автор! Ручаюсь!

Спустя два дня он принес рукопись.

— Отличная вещь! Я говорил!..

Фамилия автора — короткая и странная — ничего нам не говорила.

— Кто это Ильф?

— Библиотекарь. Наш. Из Одессы, — не без гордости пояснил Валентин Катаев.

Мы настояли, чтобы редактор подобрал другого работника для библиотеки и перевел Ильфа в газету, в “обработчики” четвертой полосы».

Читатель еще не раз удостоверится в этом отдельном даре Катаева — бескорыстно помогать и продвигать в литературе.

Евгений Петров, тогда еще Катаев, три года прослуживший в одесском уголовном розыске, по утверждению брата, не особо стремился в Москву, но он вызвал его «отчаянными письмами».

Совсем другой версии придерживаются Киянская и Фельдман: Петров укатил из Одессы от бдительных чекистов. Все дело в годе рождения, который он себе снизил при аресте, и самом аресте, факт которого он скрывал. Будто бы он перевелся в милицию из ЮгРОСТА, избегая проверки, и спасаясь от нее же,

был вынужден уволиться из органов.

В любом случае вскоре после того, как его повысили в должности, назначив инспектором в Тирасполь, а в документах губернского розыска охарактеризовали как лучшего сотрудника, он спешно уволился. Тревожась перед очередной «чисткой»? Огорченный приговором к высшей мере своего товарища Козачинского (который затем отменили)?

Есть и третья версия: я пришел к ней, ознакомившись с неизвестными письмами Евгения брату[29] — он сам рвался в Москву и ни от кого не скрывался.

22 июня 1923 года Евгений взывал:

«Валя!

Очень тебя прошу, ответь мне на письмо сейчас же (если ты считаешь, что это письмо может отнять у тебя часть драгоценного времени, то не беспокойся — я обязуюсь уплатить по твердой цене за строчку и кроме того, будучи твоим биографом, я впоследствии опубликую его с соответствующими комментариями). Итак, я буду ждать от тебя письма, в котором ты напишешь, смогу ли я жить в Москве, смогу ли я поступить на службу, в университет, консерваторию и т. д.». Он добавлял, что у Багрицкого, который, по его «агентурным сведениям», «находится в Москве», брат может узнать, как он «жил в Одессе, как там тосковал и как хотел приехать в Москву».

Здесь же Евгений задавался вопросом о будущем литературном псевдониме: «Вообще при первых встречах с людьми, интересующимися литературой, я привык постоянно слышать вопрос: “А, вы брат Катаева?” На это я всегда отвечаю с деланым пренебрежением, что не “я брат Катаева”, а “Катаев мой брат”. Иногда в минуты черной меланхолии, нравственной пустоты и сознания собственного ничтожества, я думаю подавать на высоч… тьфу!., на имя “Загс” заявление о перемене моей фамилии. Не сделал я этого до сих пор только потому, что никак не могу подобрать соответствующей мне по роду службы фамилии. Во всяком случае, ты не стесняйся и если в Москве устроиться нельзя, то так и напиши мне. Тогда перебьюсь как-нибудь в Одессе. Сейчас я не могу равнодушно слышать паровозного гудка — так и тянет ехать…»

6 августа Евгений написал Валентину новое послание:

«Сейчас в моей башке масса мыслей, все перепутывается и я прямо не знаю, как поступить. Жалование я получаю паршивое, а главное — неаккуратно. Кроме того, меня постоянно кидают из одного района в другой. Я страшно слаб, малокровие, нервы совершенно расшатаны, и я сам не подчиняюсь своей воле. Служба у меня больше чем каторжная. Приходится не спать

ночами и питаться насухо не тогда, когда хочешь кушать, а тогда когда есть деньги и время. Пить я совершенно перестал и очень рад. Надеюсь, что ты последуешь моему примеру… Мне страшно хочется ехать в Москву для того, чтобы служить (работник я великолепный во всех отношениях) и учиться, хотя бы музыке. Мне кажется, что при помощи твоих связей я мог бы устроиться…»

Уже в конце 1930-х годов Петров писал:

«Я всегда был честным мальчиком. Когда я работал в уголовном розыске, мне предлагали взятки, и я не брал их. Это было влияние папы-преподавателя… Я жил так: я считал, что жить мне осталось дня три, четыре, ну максимум неделя. Привык к этой мысли и никогда не строил никаких планов… Я переступал через трупы умерших от голода людей и производил дознания по поводу 17 убийств».

Евгений приехал «худой и гордый» (по его описанию), провинциальный, привыкший к смерти и бедности, шокированный «великолепием» столичного нэпа — «мне было обидно».

«Я приехал без завоевательных целей и не строил никаких планов… Мой брат Валя. Его комната с примусом и домработницей в передней. Мы выходим в город. Валя водит меня по редакциям. Я вспоминаю, что когда-то он тоже водил меня по редакциям».

По утверждению Катаева, Евгений устроился надзирателем в больничном отделении Бутырской тюрьмы.

Катаев поведал сыну, что он попросил Евгения закончить главу недописанного романа («Повелитель железа»), выходившего в газете, и ушел. Через несколько часов все было готово.

«— Отрывок был закончен настолько хорошо, что я отнес его в редакцию без правки, и он был напечатан.

Отец вспоминал об этом с воодушевлением и весельем, и в рассказе проглядывала большая любовь к брату и гордость за него».

«Как Валя убедил меня писать рассказ» — многообещающий заголовок в записках Петрова, не успевший вырасти в историю, которую, впрочем, рассказывал сам «Валя».

Он упрашивал брата стать литератором, а тот упирался, уверяя, что у него не получится. Катаев предложил воскресить историю с арестом гражданина по фамилии Гусь, воровавшего казенные доски.

В «Алмазном венце» он вспоминал сказанное брату:

«— Ты что же это? Рассчитываешь сидеть у меня на шее со своим нищенским жалованьем?»

И тот за час, «стиснув зубы», написал отличный рассказ и тихо сказал: «Подавись!»

Рассказ «Гусь и украденные доски» появился в «Накануне» 9 марта 1924 года.

Миндлин вспоминал: «Однажды Катаев привел в редакцию очень скромного юношу в серой кепочке.

— Знакомьтесь. Это мой брат Женя Петров. Он вам сейчас даст свой рассказ, и вы с удовольствием его напечатаете. Женя, знакомься!

Женя Петров вынул из кармана переписанный от руки рассказ “Гусь и украденные доски” — рассказ был тут же одобрен, перепечатан нашей машинисткой и на следующий день отправлен в Берлин».

Евгений Петров — так теперь звали нового писателя, превратившего отчество в псевдоним.

Писатель Виктор Ардов отмечал в этом проявление деликатности: «По щепетильности своей Евгений Петрович полагал нужным уступить свою настоящую фамилию старшему брату, В. П. Катаеву, который в то время “завоевывал” Москву смелой поступью многообразного и сочного дарования». Да и не хотелось, чтобы путали с другим Катаевым — Иваном, начавшим приобретать литературную известность.

А между прочим, писатель Иван Катаев приходился Валентину и Евгению не однофамильцем, а пятиюродным братом. Отец — с Вятки, дед — священник.

Евгению всю жизнь не нравилось его, как он полагал, маловыразительное «Петров». «Я пишу рассказ и придумываю неудачный псевдоним, — пометил он в записной книжке, и далее: — Первый гонорар. До сих пор я писал только протоколы и заключения. Но нужна служба. Денег нет. Я поступаю в “Красный перец”. Как я стал выпускающим».

Биография — пунктирно… Сюжет прихода Петрова в литературу упоминала и Надежда Мандельштам: «Приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но, по совету старшего брата, стал писателем».

Катаев утверждал, что сговорился с «Накануне» об особо крупном гонораре, который вдохновил Евгения и решил его судьбу.

«Катаев охотно привлекал к сотрудничеству в “Накануне” новых, никому, кроме него, не известных молодых литераторов», — отмечал Миндлин и так изобразил первое появление в редакции Семена Гехта: «Он сутулился от застенчивости и торопился объяснить свое появление, протягивая катаевскую записку… Катаев в своей записке рекомендовал

редакции “Накануне” его рассказ».

Петров стал сотрудником, а затем и ответственным секретарем «Красного перца». Ардов писал: «Валентин Петрович Катаев, который одно время фактически вел “Красный перец”, уходя из журнала, оставил за себя брата».

Впереди у Евгения была и работа в «Гудке».

Валентин внушал ему не унывать и не переживать по поводу «журналистики» и ее возможного вреда «литературе», а напротив, веселому и легкому отношению к написанию очередного проходного текста, превращавшегося в сыр, ветчину, бутылку вина (этому же через полвека учил и сына). Петров вспоминал: «Он быстро написал стихотворный фельетон о козлике, которого вез начальник пути какой-то дороги в купе второго класса, подписался “Старик Саббакин” и куда-то убежал».

Несомненно, если братья и были схожи, например, тягой к «сладкой жизни», то вели себя по-разному, один — шалил с шиком, другой (по крайней мере, в глазах окружающих) воспринимался как человек скромный и ровный. Есть ощущение, что психологически Петров, несмотря на все испытания, до конца оставался «домашним мальчиком», опекаемым тетушкой, в отличие от старшего брата-оторвы, пропадавшего на улицах (и в 1920-е он ответил ей благодарностью, сообщив в письме брату: «Я собираюсь выписать к себе тетю. Ты, как я сужу из тетиных писем, ничего ей не пишешь и совершенно ею не интересуешься. Положение же тети сейчас очень скверное и если я не возьму ее в Одессу, то совершу преступление перед своей совестью»[30]).

Надежда Рогинская, свояченица Ильфа, вспоминала о «редком музыкальном даровании» Петрова — он «обладал знанием рояля в совершенстве, играл прекрасно, страстно любил музыку и пение». «На память мог проигрывать целые оперы», — рассказывал о нем Катаев. Возможно, Евгений был не только нежнее брата, но просто более сдержан и рационален во внешних проявлениях (вспомним дихотомию: младший «отличник» и старший «двоечник» в повестях «Белеет парус одинокий» и «Хуторок в степи»), а внутренне оба сохраняли смешливую жизнерадостность («Лесков. “Лесковщина”. Отсюда — Евгений Петров», — объяснялся Катаев). Эта репутационная разница подвигла художника Бориса Ефимова, знавшего обоих еще с Одессы, посетовать: «Как несправедливо и капризно разделила между ними природа (или Бог) человеческие качества. Почему выдающийся талант писателя был почти целиком отдан Валентину Петровичу, а такие ценные черты, как подлинная порядочность, корректность, уважение к людям, целиком остались у Евгения». Катаев, как бы бахвалясь, рассказывал, что

из брата, быстро освоившегося в Москве, «вышел человек», гуляка и франт, и однажды он залюбовался им ранним утром, увидев его счастливого, в открытом экипаже, «после ночных похождений» — и в этих строках плещется признание подлинного родства. Но и лукавый укор есть в том же «Парусе», где младшенькому Павлику прощают всё за «невинные, шоколадно-зеркальные милые глазки». А вот их недоброжелатель писатель Всеволод Иванов представил в дневнике 1942 года главным циником именно Петрова: «Приехал В. Катаев. Встретились в столовой — не поздоровались. В. Катаев — не столько бесчувственная скотина, сколько испорченный дурак, развращенный другой — очень расчетливой скотиной, своим братом». Последнее заключение сомнительно, прежде всего, потому, что Катаев опекал Петрова (и влиял на него), а не наоборот.

Войдя в литературу, он робел и терзался: «Меня всегда преследовала мысль, что я делаю что-то не то, что я самозванец. В глубине души у меня всегда гнездилась боязнь, что мне вдруг скажут: послушайте, какой вы, к черту, писатель, занимались бы каким-нибудь другим делом!» Можно, конечно, предположить во всем этом артистизм или расчет, мол, так же, как Валентин играл в циника, Евгений изображал скромника, но почему-то верится в искренность признания: «Однажды он (Ильф. — *С. Ш.*) сказал: “Женя, я принадлежу к людям, которые любят оставаться сзади, входить в дверь последними”. Постепенно и я стал таким же».

Братьям случалось пикироваться.

Еще до войны драматург и сатирик Самуил Алёшин в гостях у Петрова в Лаврушинском переулке встретил Катаева: «Будучи весьма похожими, их лица вместе с тем казались наполненными разным содержанием». «Петров познакомил нас, — вспоминал Алёшин, — и сказал что-то доброе о моих юмористических рассказах, которые он незадолго до этого начал печатать в “Огоньке”. Но Катаев только недоверчиво хмыкнул и поглядел на меня оценивающим взглядом. Не помню уж к чему, Петров упомянул, что недавно был на эстрадном концерте, и похвалил выступавших там артистов. Тут Катаев среагировал словесно. В несколько ленивой манере, с одесским акцентом он со вкусом и последовательно изничтожил каждого из названных исполнителей. Причем сделал это методично, подбирая самые убийственные характеристики. И, ничего не попишешь, очень точные. А на все попытки Петрова вставить об актерах хоть что-то положительное Катаев отвечал тем, что, как говорится, бил и накладывал. Я слушал их развесив уши, признаюсь, не без удовольствия… Вряд ли Катаев был на самом деле очень уж плохого мнения об артистах, над которыми измывался. Скорее

просто захотел продемонстрировать перед молодым автором силу своего неотразимого словесного мастерства и попутно поставить на место младшего брата».

Катаев повздорил с братом и во время войны, за сутки до того, как тот отправился на смерть…

Характерно, что Евгений стал соавтором не брата, но Ильфа, с ним гулял по Москве и путешествовал по свету. Если Валентин встречал смертельную опасность с убеждением, что с ним ничего случиться не может, то, по его же словам, Евгения словно бы преследовал рок, ему как будто была предначертана трагическая судьба, и он сам чувствовал эту свою обреченность, то и дело пророча и призывая смерть, например, записав в воспоминаниях об Ильфе: «Говорили о том, что хорошо было бы погибнуть вместе во время какой-нибудь катастрофы».

Кстати, Катаев не только продвигал авторов, но с готовностью, юмором и совсем без надменности давал им советы. В 1920-е годы в Москву приехал одессит Марк Ефетов, о котором я уже упоминал, — когда-то он учился в гимназии у катаевского отца и восторженно следил за подвигами земляка на фронтах Первой мировой. Теперь они встретились в «Гудке», где Катаев наставлял юного журналиста: писать ярче и превращать каждую статью в мини-новеллу. Их общение растянулось на много десятилетий.

Ефетов вспоминал, как говорил Катаеву: «Всё! Сегодня не могу больше писать, забуксовал». Катаев переиначивал: «Забоксовал. Вертятся колеса на одном месте, поршни паровоза бьют вхолостую, можно сказать, боксируют».

По словам дочери Ефетова Тамары, ее отец и Катаев гадали на поездах, быть может, по примеру кого-то из железнодорожников. «Считалось, что, если первым покажется пассажирский поезд или электричка, это к удаче, если грузовой — к неприятностям. Оба почему-то свято верили в это гадание. Потому что почти всегда вслед за пассажирским поездом случалось что-то хорошее, а за грузовым — хоть мелкая, но неприятность», и продолжали так гадать уже немолодыми в Переделкине.

В 1923 году Катаев, по его утверждению, познакомился с «маленьким, худеньким» петроградцем Львом Лунцем, который вместе с Вениамином Кавериным входил в группу «Серапионовы братья». Каверин, как и Лунц, выступавший за возрождение сюжетной прозы, привел товарища в Мыльников переулок, и тот читал свою повесть «Через границу» так серьезно, что слушатели «буквально катались по полу от смеха». Пожалуй, это единственное из воспоминаний Катаева, встретившее яростное

публичное отрицание со стороны персонажа. После выхода «Алмазного венца» Каверин заявил, что ни в каком Мыльниковом не был. По всей видимости, уже с двадцатых годов он невзлюбил Катаева, оставшись верен своей неприязни долгую жизнь. Что касается Лунца, в июне 1923-го он уехал в Гамбург и в 1924-м умер там в госпитале от эмболии мозга.

В мае 1923 года Олеша познакомился с тринадцатилетней девочкой из Мыльникова переулка по имени Валя. По одной версии, он увидел ее в окне соседнего дома, читающей книгу, по другой, Олеша и Катаев развлекались, выставляя в окне первого этажа куклу, похожую на ребенка, подарок брата Ильфа — художника Михаила Файнзильберга, какое-то время тоже жившего в квартире в Мыльниковом. Интересуясь куклой, подошли две школьницы, и в одну из них Олеша влюбился, пообещав посвятить ей сказку. По воспоминанию Олеши, «Трех толстяков» он писал «то в маленькой комнате при типографии “Гудка”, где жил с таким же юным Ильфом, то у Катаева в узкой комнате на Мыльниковом, то в “Гудке” в промежутках между фельетонами». Впрочем, когда девочка выросла и наконец-то была издана сказка (Олеша подписал ей книгу в декабре 1928 года), Валя уже была невестой Петрова. По словам Катаева, брат завоевал ее со всей напористой серьезностью жениха: конфеты, цветы, извозчик, рестораны. Поженились они 1 апреля 1929 года.

МАДАМ МУХА

Ранней весной 1923 года Катаев датировал встречу с Маяковским, наконец-то перешедшую в общение. «Целый год до этого я прожил в Москве и еще не знал его».

Олеша вспоминал: вскоре после переезда в Москву они уже встречали Маяковского на Рождественском бульваре, но не окликнули и до конца не понимали: он это был или нет. По словам Эрлиха, Катаев «настораживался при виде каждого высокого и энергично шагающего человека: вдруг это Маяковский!». Теперь он столкнулся с Маяковским в районе Лубянки лицом к лицу. «Я решился и остановил его: “Вы Маяковский? Я ваш поклонник, я поэт”. Он дал мне свой адрес, пригласил к себе. Когда я пришел, хорошо принял. Познакомил с Асеевым, Пастернаком».

Всех их сближала одна территория, которую Катаев уже нагло называл своей «вотчиной».

Маяковский жил на два дома, но в одном районе — в Водопьяном переулке (ныне не существующем) с Лилей Брик, там, где свили гнездо лефовцы, и в Лубянском проезде.

Асеев жил на Мясницкой, на девятом этаже, во дворе Вхутемаса с золотисто-рыжей женой Оксаной, одной из пяти харьковских эксцентричных сестер Синяковых, дочерью черносотенца и «прогрессистки»[31].

Пастернаку Вхутемас был родным: с 1894-го долгие годы они обитали там — во флигеле, а затем в казенной квартире при тогда еще Училище живописи, ваяния и зодчества вместе с отцом-преподавателем (между прочим, уроженцем Одессы).

Итак, в апреле 1923-го Катаев женился. Как полагали некоторые — спешно и в отместку Леле Булгаковой.

Анна родилась 8 июля 1903 года в Одессе на Коблевской улице в семье коллежского секретаря Сергея Сергеевича Коваленко и Анны Николаевны Филипповой. Изъяснялась на четырех языках, стала художницей. В 1919 году ее родители слегли с тифом в одну больницу. Отец умер, мать выжила.

За Анной ухаживал брат Ильфа, художник Михаил Файнзильберг. Была она строга, с колючим характером, но он говорил: «Я точно знаю, кто тебе подойдет». У нее было прозвище Муха. Еще ее называли Мусей.

Она участвовала в «красном» «Коллективе художниц» и помогала украшать плакатами город. С подругами в 1920-м они замотали кумачом памятник Екатерине, превратив в своего рода коммунистическую мумию.

Брат Сергей, ставший механиком, то и дело выручал провиантом — хлебом, колбасой, сыром — ее друзей-богемцев, как он выражался, «босяков».

На вопрос: «Как вы революцию пережили?» — Анна отвечала: «Танцевали…»

Перебраться в Москву ее уговаривали настойчиво… Катаев помогал ей. Она вспоминала: передавал гонорары от одесских публикаций через Бабеля.

По многу раз призывные послания в Одессу отправляла тройка друзей — Катаев, Олеша, Ильф[32].

18 марта 1923 года Ильф писал:

«Дорогая Муся,

Ваше время настало. Не отнеситесь к тому, что Вы сейчас прочтете, легкомысленно. Ибо это важно по многим причинам для меня, а Вам будет полезно. Дорогая Муся, кидайте Коблевскую улицу, на которой Вы живете, ибо нет смысла на ней жить, если есть Чистые пруды. Нет расчету жить на юге, если Москва расположена в центральной полосе России. Прекрасное настоящее и изумительное будущее Вам обеспечено. В этом порукой линии Вашей и моей руки. Я не напишу ничего больше того, что написал. Соберитесь с мыслями и езжайте».

К письму был приложен его рисунок с объяснением: «Муся, это Страстной монастырь[33]. Самый лучший в мире».

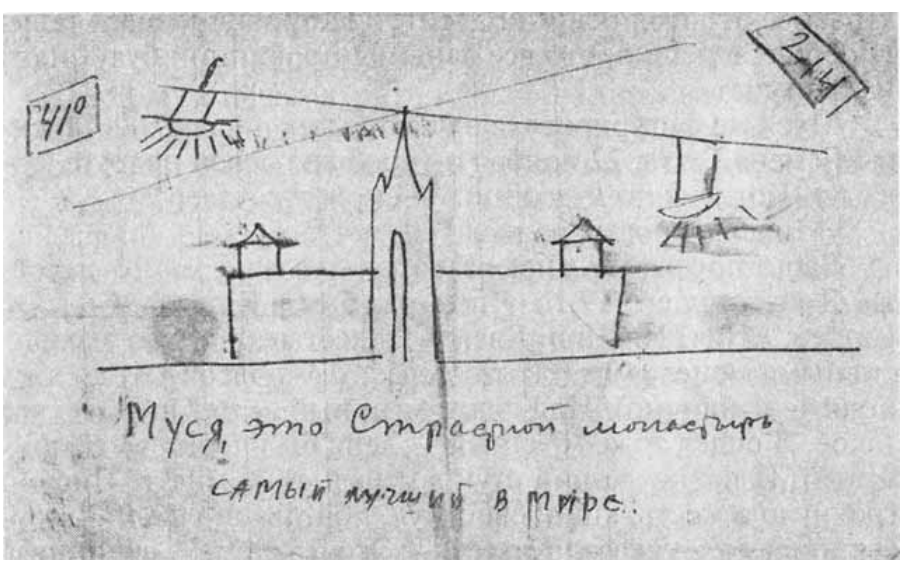


Рисунок Ильи ильфа. *1923 г.*

В том же конверте находилось письмо Олеши:

«Милая Муся!

Нет спасенья: нужна помощь, нужен друг, кусок прошлого,

кусок Одессы, сердца. Муся Коваленко, чудесная свидетельница моих лучших дней, милая современница самой счастливой поры моей жизни — приезжай к нам в Москву. Что тебе терять в Одессе? Приезжай к нам… Здесь Катаев, Ильф и я. Только ты осталась, больше никого нет в мире. Это все сериозно. Это настоящая просьба. Приезжай, утешительница. Ждем. Ждем. Просим.

Целую ручку. *Юра».*

А вот и жених:

«Дорогая Муся!

Пишу от имени троих. Твое письмо получено 5 минут тому назад. Решение твое приветствуем. 2 миллиарда, которые тебе необходимы, будут высланы не позже *пятницы 6-го апреля* по телеграфу. Покупай только *самое необходимое,* остальное устроится здесь. День приезда телеграфируй точно — встретим. Лирическую часть откладываем до встречи. Сейчас торопимся: Маяковский читает новую поэму “Про это” (об отвергнутой любви). Целую лапы.

ВалКатаев».

Когда Анна перебралась в Москву, сразу и поженились.

В начале мая Катаев сообщал ее матери в Одессу:

«Честное слово, я не знаю как в таких случаях надо писать, в общем, я женился на Мусе. Как это произошло я до сих пор не могу как следует понять. Не знаю, известно ли Вам, что года 2 тому назад я был страшно влюблен в Мусю. Муся тоже была ко мне в достаточной степени нежна. Сейчас эта старая нежность развилась с такой силой, какой ни я, ни Муся от себя не ожидали. Я уверен, что Муся будет мне хорошей женой и добрым другом, а я ее очень люблю. Сейчас мы счастливы всерьез и надолго. Мне хочется быть Вашим нежным сыном — ведь у меня нет ни отца, ни матери. Хорошо?»

«Я привязалась к Вале и люблю его, — в июне писала матери Муха. — Если бы ты знала, какой он милый, он совсем как большой ребенок».

Катаев стал посылать Анне Николаевне шутливые отчеты о налаженности их быта, сопровождая выразительными картинками: ножи, вилки, ложки, щетка, шкаф, кушетка, этажерка, «завел себе текущий счет в Госбанке»… «Теперь, если Вы, мамаша, хочите узнать за свою дочку, многоуважаемую Мусю, — юродствовал он, — то просю Вас убедиться в етом». Под изображением рта и зубов было написано: «Что это т-т-такое?», и следовала перевернутая разгадка: «Мухины грязные зубы». «Впрочем, — уточнял зять, — Муха только что побежала чистить зубы, несмотря на то, что мы ей клялись, что сегодня будний день

и вообще ничего похожего на двунадесятый праздник».

Начало письма Валентина Катаева Анне Николаевне Коваленко. *1923 г.*

«Муха лежит, — сообщал он Анне Николаевне в другом письме. — У нее болит животик и она сейчас будет пить слабительное. Она ужасно морщится и капризничает, а потому

написать не может. Мы счастливы вполне, сильнее чем вчера и позавчера, а завтра и послезавтра будем еще счастливее. Даже удивительно за что нам такое счастье».

«Живу под боком у семейного счастья», — вторил Катаеву Олеша.

В другом письме Анне Николаевне Катаев превращался в персонажа какого-нибудь своего фельетона: «Хочу пальто с большим выдровым воротником. Хочу большие и красивые боты. Хочу перчатки. Хочу синий костюм. Хочу костюм маренго. Хочу часы. Хочу портсигар. Хочу визу в Италию. Хочу телефон. Хочу пианино. Хочу самовар. Хочу выкраситься в рыжий цвет. Хочу спать».

Анне Николаевне жилось трудно. «Сейчас у меня большие неприятности с квартирой, опять обложили не по силам как нетрудовой элемент, — жаловалась она дочери. — Говорят, если вы не можете платить, идите жить в подвал и освободите нам квартиру, я буквально не в состоянии бороться…»

Гонорары от своих не только одесских, но киевских и харьковских публикаций Валентин Петрович отдавал теще: «Вообще, я решил, что все деньги с провинции будут идти на Ваш счет».

Муся же фигурировала в нескольких письмах из Москвы Семена Гехта. 22 ноября он сообщал своей подруге, тоже из «Коллектива художниц», Генриетте Адлер[34]:

«Милая, дорогая, родная Генриетта,

Ваше последнее письмо доставило мне много радости. Я получил его 19-го. Я как раз был у Катаева. Сидели: Катаев, Муся, Иля и я. Катаев захлестывал Мусю экспансивными поцелуями (он это делает с 4-х часов дня до часу ночи — публично). Иля сидел мрачный — нет писем и все такое. Я сидел тоже мрачный — день был чересчур неприятный. И вот — легкий стук в передней комнате. Письмо грохнуло о жесть, ящик свистнул, почтальон ушел. — Друзья, письмо! — сказал Катаев. — Это от мамы! — крикнула Муся. — Это мне! — процедил сквозь зубы Иля. А я молчал. Иля бросился к ящику, выловил письмо и произнес вяло. — Это для Гехта».

«Я женился на своей старой любви — Анне Сергеевне Коваленко, в которой нашел доброго товарища и нежную жену», — писал мастер «экспансивных поцелуев» в автобиографии 1924 года.

Вскоре он поселил у них Мухину сестру Тамару, приютил надолго и Анну Николаевну.

В Москве Муся нарисовала автопортрет в воображаемой пышной шубе. На эту шубу копили. Летом они жили в съемном

домике в Тарусе. У соседки, матери четверых детишек, подохла корова-кормилица. И Катаев предложил отдать бедной бабе накопленное: «А шубу еще купим!» И отдали…

Временами Анна возвращалась в Одессу.

5 июня 1924 года Катаев писал ей: «Ты себе не представляешь что делается! Везде мечутся писатели, у которых *абсолютно* нет монеты. Жалкое зрелище. Я буду по возможности чаще переводить тебе деньги, но не ручаюсь. Мне бы ужасно хотелось поцеловать твои родинки на спинке. Целую тебя всю, всю, всю… Тамара знаменитая хозяйка. В тысячу раз лучше тебя. Она делает солянку на сковородке и окрошку и расстегаи и вагон других вкусных вещей. У нас есть много клубничного варенья. Сегодня к нам наверное придет Танюша ех-Булгакова, которая будет рыдать в жилетки».

Олеша писал ей:

«Дорогая и самая красивая!

Твой муж начал курить плохие папиросы, заводит подозрительные знакомства, в котором обществе и пьет трехгорное. Увязался за моей девочкой (Нюрка, — ты ее не знаешь, это из прошлого) и тратится на нее, продавая последние стаканы. Дурак! Ты не веришь, но это горькая правда. Тамара угощает отвратительной солянкой, в которой тараканы трещат, как кости, и бегает гулять на Чистые. У меня романчик с Вашей новой прислугой. Я на ней женюсь. Целую тебе глаз. Приезжай поскорее, если хочешь застать хоть какие-нибудь крохи с таким трудом налаженного хозяйства.

Твой верный друг *Юра».*

«Боже. Мухачка, не верь ни одному слову, он все врет, — на том же листе взывала к Анне ее сестра, — Валя не курит, знакомства ни с кем не заводит, не пьет и совсем он не дурак. Я тараканов не варю (и больше ему обедать не дам), на Чистые не хожу и посторонним мужчинам ухаживать за моей прислугой не позволяю. И потом, какая ты ему дорогая? С тем, что ты самая красивая, я с ним солидарна. Ой Боже мой, еще Женя хочет писать, не верь миленькая ни одному слову».

«Тебе передают знакомые, что я пью, — вскоре писал и Катаев. — Это очень мило с их стороны. В свое время те же самые знакомые передавали в Одессе о нашей безумной роскоши и кутежах. Тебе бы, кажется, пора привыкнуть к тому, что ½ фунта голландского сыра и бутылка пива, проделав 1400 верст, превращаются по крайней мере в 5 фунтов рокфора и дюжину шампанского… Три фельетона в неделю — это приводит меня в отчаяние. В лавку мы должны к сегодняшнему числу 100 рублей. Ты отлично знаешь, что если я получаю одновременно: 1) от тебя

унылое письмо с требованием денег на костюм + 2) записку от лавочника что больше в долг не дает; 3) счет за свет; 4) счет за воду и квартиру — то писать я не могу… Да, пью. Иногда. Бутылочки три на всю компанию. Удовлетворена? Ты видишь меня “бледного и с головной болью”. Бывает. Особенно, когда получаю твои мучительные письма… То, что я редко пишу тебе — понятно. Ведь за эти писания мне ни один издатель до моей смерти или юбилея не заплатит ни копейки».

Муха, отчитываясь Валентину о жизни в Одессе, передавала разговоры с «пышной свитой»: «Я узнаю, что я москвичка, художница, богачка и что у моей приятельницы и у меня “богатый бюст”. Кроме того я узнаю массу интересных новостей о себе, о Москве, о моем муже» и сообщала, что на пляже к ней подошел Остап Шор: «Я всем ответила, как поживает знаменитый Катаев и когда он приедет».

Московские постояльцы, конечно, утомляли и разоряли. К Петрову литературный успех пришел не сразу, и Валентин даже подумывал — отправить Женю восвояси. 27 июля 1924 года в письме жене он предлагал решительно «попросить» и ее сестру, и своего брата:

«Я сделался, не заметив этого, мелкой газетно-журнальной сошкой. Я за последний год — ничего не написал настоящего. Меня это так мучит, что нельзя передать — ты должна понять меня, это так больно. Сейчас я чуть не плачу от этого. Видишь — я с тобой откровенен до конца. Максимум что я могу зарабатывать в месяц — это 150 рублей — и это при *невероятном* напряжении (и отчаянной халтурой!). Значит, вопрос стоит так: Тамару и Женю надо ликвидировать. Я их очень люблю, но тебя и себя я люблю больше. Тут ничего не поделаешь. Ах, если бы ты знала, как мне хочется, чтобы мы с тобой были *одни.* Ты понимаешь, как это чудесно. А то мы любим друг друга, как мыши. Я уверен, что оттого мы и ссоримся и бываем недовольны друг другом. Муха, дружок мой, ответь мне сейчас же — что ты думаешь на этот счет. Но имей в виду, что никаких компромиссов тут быть не может. Я измучился, измотался. Я не могу даже читать. А ведь время идет и возвратить его нельзя. Ведь ты не хочешь, чтобы я сделался злым, желчным, грубым “отцом семьи”, вытягивающим на своей шее много народу? Я предлагаю такую вещь: при первых же крупных деньгах Тамару — в Одессу, а Женю — в Полтаву. Тут нельзя сентиментальничать… Я ни Жене, ни Тамаре об этом не говорил и мне трудно заговорить об этом. Пока буду молчать. А потом когда будут деньги — само устроится. Это категорическое мое решение».

Видимо, не случайно тогда же встревоженная тетя Лиля

писала Евгению из Полтавы:

«Если бы ты почему-либо захотел уехать из Москвы, то приезжай к нам, где ты найдешь всегда любовь, уют, ласку и заботу… Я опасаюсь, что Москва окончательно обескровит тебя и возьмет все силы. Целую тебя, будь здоров, сыт, весел (и не забывай ходить в баню)».

Но изгнания так и не состоялось.

В другом письме жене Катаев давал бой ее тревогам, высмеивая некогда любимую «синеглазку»: «Вчера был хорошенький номерок: у нас была в гостях Леля Булгакова вместе с Татьяной Николаевной Булгаковой. Фурор был необыкновенный. У Лели лупится нос. Она очень толстая, красная, некрасивая и усатая. Она очень хотела посмотреть на тебя хоть одним глазком. Я ей посоветовал специально съездить в Одессу. Лелин визит показал мне достаточно наглядно, что от прошлого не осталось даже пепла. Леля флиртует напропалую с какими-то летчиками, летает и вообще режется на авиационную даму. Татьяна Николаевна мучительно разводится с Мишунчиком. Сегодня, кажется, Леля уезжает в Киев. Мне бы не хотелось, чтобы ты, Муха, хоть на волосок ревновала. Не надо. Я люблю только тебя. Это как новая экономическая политика — *всерьез и надолго*».

(«Я совершенно развинчен, — напишет он спустя пять лет жене, отдыхающей в Тарусе. — Хотя бы влюбиться в кого-нибудь! Кстати, Леля Булгакова, мне говорили, или родила или должна рожать или что-то в этом роде».)

Тетя Лиля приезжала часто и надолго; от нее у Коваленко осталась настольная лампа с тремя мраморными ангелочками. В голодную Полтаву Елизавета Ивановна возвращалась с огромными мешками.

В 1982 году во время тяжелых родов под наркозом внучка Катаева Тина увидит женщину в старинном платье и шляпке. Потом по описаниям она поймет, что это была Елизавета Бачей, и назовет дочку Лизой.

В 1926-м в Одессе у брата Анны Сергея в браке с гречанкой (из семьи зажиточного кондитера) Марией Харлампиевной Триандафилиди родилась дочь Мила. Гречанка умерла, когда девочка была совсем маленькой. «Ходить меня научила собака Фрина», — с горьким юмором говорила она.

Катаев и Анна приняли решение забрать ее к себе (Валентин увидел Милу в 1927-м, когда остановились в Одессе проездом из Сорренто, и шутливо предложил ее отцу: «Продай мне эту девочку»).

Почти десять лет Катаев воспитывал девочку и заменял ей

отца.

«Валя», — называла она его, как сверстника.

По утрам он ел любимую овсянку, мокрый от умывания, в сыром свитере, от которого пахло собакой после дождя, а она сзади обнимала его за шею. «Валя, как ты можешь есть эту гадость?» — спросила девочка. Он отправил в рот еще две ложки, отодвинул тарелку и больше при Миле к каше не притрагивался.

«Мадам Муха» хорошо готовила, как и ее мать. Та вообще со временем затеяла «кухмистерскую», где питались литераторы. Ценил ее стол Алексей Толстой, заявлявший: «Никто в Париже не умеет так готовить рябчиков!»

«Хлебосольная теща и симпатичная Аннушка, безропотная его супруга, всегда были рады гостям», — поделился очевидец[35]. В романе «Двенадцать стульев» Мусик — жена инженера Брунса, суровая, но заботливая, а муж ее, у которого «наливные губы» и «голос шаловливого карапуза», восклицает, ставшее афоризмом: «Мусик!!! Готов гусик?!»

Она есть и в «Фантомах»: «Сейчас второй час ночи. Слева от моего стола, свернувшись калачиком, спит жена. Под розовую щеку она положила ковшиком обе руки и, уткнув круглый, детский нос в подушку, обиженно сопит и сладко жует губами».

Этот рассказ был напечатан в январе 1924 года в трех январских номерах «Накануне». Катаев вспоминал, что вначале пытался напечатать его в журнале «ЛЕФ». «Я читал его у Бриков, в присутствии Маяковского. Было это вроде заседания редакции. Планировали в номер, маленькие поправки сделали». Но не пошло — возможно, отсюда взялась взаимная неприязнь Катаева и жильцов Водопьяного. Видимо, для эмигрантского «Накануне» «декадентский» рассказ годился больше, нежели для радикального «ЛЕФа», который обещал «давать образцы литературных и художественных произведений не для услаждений эстетических вкусов, а для указания приемов создания действенных агитационных произведений». Впрочем, Асеев упоминал «Валентина Катаева, печатавшего в “ЛЕФе” свои стихи, которые он потом превратил в прозу», например, в 4-м номере «ЛЕФа» за 1923 год была напечатана не самая типичная для Катаева «Война» («Ночь передергивала карты. / У судорожного костра…»), на которую близкий к акмеизму литературный критик из Берлина Вера Лурье отозвалась: «Честные акмеистические стихи Катаева напоминают Гумилева, сдобренного Пастернаком». Маяковский (вопреки теориям и декларациям) все же старался привлечь к журналу самых ярких авторов, даже Есенина.

Катаев и Коваленко расстались в середине 1930-х…

Мила-Людмила рассказывает, что однажды летом, приехав в Москву с дачи, Анна Николаевна обнаружила в каждой комнате «вертеп разврата», доложила обо всем дачнице-дочери, и будто бы та, будучи «дамой крутого нрава», вопреки всем просьбам мужа с ним немедленно порвала — указала на дверь…

Расставались тяжело, вслед в окно летела медвежья шкура… Основную часть вещей забирал для Катаева Кручёных. Правда, золотое кольцо с бриллиантом навсегда осталось с ней. Она работала ретушером — и родные запомнили ее постоянно согнувшейся над столом. Катаев отдал ей квартиру (тогда уже другую, из пяти комнаток в Малом Головином переулке, 12, куда переехали из Мыльникова). Хотел помогать материально, но она упрямо отказывалась. Стала сдавать половину квартиры молодым архитекторам.

(Дочь Катаева Евгения рассказала мне, как в 1950-е годы гуляла с отцом и возле «Елисеевского» он приветливо пообщался с какой-то женщиной, а потом сообщил: «Моя бывшая жена». Дома Женя принялась расспрашивать мать: «У папы была другая жена? Почему же они развелись?» — «Она была жуткая зануда. Что ни случалось, она только и ныла: “Все плохо”, “Ой, бедный”, вот ему это все и надоело».)

Первые два года после развода Анна была совершенно без сил, по выражению ее племянницы, *никакая*… В 1939-м вышла замуж за верного ухажера художника Владимира Роскина, оформлявшего советские выставки за рубежом, который в 1919–1922 годах вместе с Маяковским принимал участие в создании «Окон РОСТА». Роскин влюбленно кружил возле с момента ее появления в Москве.

Однажды Катаев пришел в Головин на рассвете, пьяный, постучал в окно, но мать Роскина Вера Львовна не пустила: «Уходите, у нее есть муж»… Анна, узнав об этом, не смогла простить свекрови, навсегда перестала разговаривать с «ведьмой»…

«С этого все пошло наперекосяк», — говорит Мила Коваленко — отношения Анны с Роскиным начали рассыпаться, хотя брак их продлился всю жизнь…

В сборнике «Отец» 1928 года поэтическая подборка открывалась посвящением «Анне Катаевой» стихотворения о бронепоезде Гражданской войны:

И только вьюги белый дым,
И только льды в очах любой:
— Полцарства за стакан воды!
— Полжизни за любовь!

Кстати, стихи Катаева (и в том числе посвященные Леле), написанные его рукой и напечатанные на машинке с его правкой, Анна хранила всю жизнь.

Людмила Коваленко вспоминает, что в детстве ее мучили страхи: «Хотелось сжаться в комок, быть незаметной и никому не мешать, поэтому и мое любимое слово было — “нет”. Валя даже написал глупый стишок: “Наша Милка, как кобылка, надоела она мне, что ни спросишь, отвечает она: не”. Ну и потом, когда мы остались одни без Вали, вся наша жизнь изменилась, до сих пор еще больно…»

В свои девяносто она с необычайной ясностью, затягиваясь сигаретой и поблескивая бриллиантами того самого золотого кольца, рассказала мне про Валю, который развлекал ее стихами, держал шкуры в разных комнатах (тигриную она боялась), катал ее на извозчике, водил на Страстной бульвар, где сажал на верблюда, который однажды, чем-то разгневанный, оплевал его с ног до головы. И весь в верблюжьей зловонной и тягучей слюне Валя бежал с девочкой по бульвару…

Отмывшись, он сидел в кресле, вытянув ноги к печке, а она сидела на его ногах, и они, хулиганы-заговорщики, разбирали по деталькам небольшие настенные часы… Катаев выкинул несколько колесиков в огонь, потом Анна Николаевна понесла часы к мастеру чинить…

«Милка» пришла к нему на юбилей, пятидесятилетие. Обнялись, заплакали. Повисла на нем, вдыхая знакомый запах одеколона, который помнила всегда…

Анна Сергеевна Коваленко умерла 26 августа 1980 года.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТОЛСТОГО

22 мая 1923 года в Москву из эмиграции на короткое время приехал Алексей Толстой и в тот же вечер отправился к Катаеву.

(Другой, тоже майский, торжественный прием Толстого изображен Булгаковым в «Театральном романе»: «Чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол:

— Га! Черти!»)

«На Мыльниковом было большое пьянство, — сообщал Ильф в письме своей возлюбленной Марии Тарасенко, — и когда все сильно перепились, и Алексей Толстой стоя рыкал что-то, ко мне приполз Катаев и серьезно и трогательно пил со мной, и неожиданно и мило пил твое здоровье и твою любовь…»

Олеша вспоминал о Толстом: «Он первых посетил именно нас… Я помню, он стоит в узенькой комнате Катаева в Мыльниковом переулке, грузный, чем-то смешащий нас… Вероятно, подвыпивший, получает информацию, неправильно ее истолковывает, подлизывается слегка к нам…»

Возвращение Толстого (в августе он вернулся насовсем) и все дальнейшее пребывание на родине часто толкуют как проявление сплошного конформизма. Считается, что привыкший жить в свое удовольствие, он приехал обратно за богатством и комфортом и превратился едва ли не в эталон циника. Он стремился жить хорошо, это правда, но его хождение по мукам идейных противоречий почти не обсуждается или выдается за что-то несерьезное. Литератор-эмигрант Федор Степун признавался: «Мне лично в “предательском”, как писала эмигрантская пресса, отъезде Толстого чувствовалась не только своеобразная логика, но и некая сверхсубъективная правда» и добавлял, что Толстой, несмотря на большой риск возвращения в Россию, «бежал в нее, как зверь в свою берлогу». Родная земля держит…

Именно тогда, в начале 1920-х, по мнению историка Михаила Агурского, тщательно изучавшего «сменовеховцев», сформировалась и окрепла выстраданная (пускай для кого-то идеалистичная) позиция Толстого, которой он был верен до конца. «Толстой призывает делать все, чтобы помочь революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго, справедливого, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией и, наконец, в сторону укрепления великодержавности». Да, подчас У Толстого наивность идей мешалась с барственностью манер, но отрицать

искренность его упований тоже неверно. Идеи Толстого были выражены в романе «Аэлита» (1923), где противопоставлялись дух и пресыщение, простолюдины и элитарии, Земля — «красная» Россия и Марс — Запад с пауками в подземельях, ждущими своего часа, чтобы покорить деградирующую цивилизацию.

Еще в 1922-м Толстой писал белоэмигранту Николаю Чайковскому, возражая против упреков в предательстве: «Задача газеты “Накануне” не есть, — как Вы пишете, — борьба с русской эмиграцией, но есть *борьба за русскую государственность*… восстановление в разоренной России хозяйственной жизни и утверждение великодержавности России. В существующем ныне большевистском правительстве газета “Накануне” видит ту реальную, — единственную в реальном плане, — власть, которая одна сейчас защищает русские границы от покушения на них соседей, поддерживает единство русского государства и на Генуэзской конференции одна выступает в защиту России от возможного порабощения и разграбления ее иными странами».

После возвращения Толстой осваивался, пытаясь опереться на «родственные души» — и уже не столько организационно, для каких-то дел, сколько для себя самого, психологически. «Что бы я там (в “Окаянных днях”) ни писал, однако я все же не предлагал загонять большевикам иголки под ногти, как рекомендовал в ту пору в одной из своих статеек Алеша Толстой», — бросил ему вслед Бунин. Но при исключении Толстого из белоэмигрантского Союза русских литераторов и журналистов Бунин воздержался (Куприн, который вернется в 1937-м, единственный был против!), ну а спустя почти 20 лет перед самой войной Толстой направил в Кремль такие слова:

«Дорогой Иосиф Виссарионович,

обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, — мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину?»

27 августа 1923 года Булгаков записал в дневнике: «Только что вернулся с лекции “сменовеховцев”… Сидел рядом с Катаевым. Толстой, говоря о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева».

«Должно отметить большой успех Толстого, выступившего с докладом и повестью в политехническом музее», — сообщал Оливер Твист (то есть Катаев) в «Накануне».

«Алексей Толстой был крестным первой книги Катаева, — писал Миндлин. — Из всех московских “накануневцев” Катаев более чем кто-либо другой сблизился с Алексеем Толстым». Вспоминая первый визит графа в московскую редакцию

«Накануне», Миндлин спрашивал себя: «Кто был тогда с нами?» — и первым называл Катаева — «Толстой вообще не отпускал Катаева от себя», затем Булгакова и литератора Михаила Левидова.

Берлинское «Книгоиздательство писателей» выделило Толстому деньги на сборник московских авторов. Но вместо этого он решил издать одного Катаева. У того не хватало прозы на десять листов — разве что на восемь. Но Толстой только фыркнул: наберете. Катаев взял деньги.

«Недель через шесть я встретил его на Тверской сияющего:

— Миндлин! Смотрите! — Он вытащил из-за пазухи берлинское издание книги. — Первая книга! Теперь будет и вторая, и третья. Самое главное — выпустить первую!»

Книга, выпущенная в Берлине, называлась, как и включенный в нее рассказ, «Сэр Генри и черт».

В связи с этим названием Миндлин вспоминал о писателе О. Генри, чуть было не рассорившем его с Катаевым. В то время влияние сюжетной (с неожиданными развязками) прозы этого американского писателя было велико — особенно на Катаева. Как-то вечером шагая с приятелями, Катаев, хвастая освоенными им приемами литературной техники, воскликнул:

— Режусь на О. Генри, ребята!

Вскоре Миндлин написал статью в «Накануне», где критиковал молодых литераторов за поверхностное увлечение О. Генри и привел катаевскую фразу, не уточняя, правда, кто ее выкрикнул. Тот сильно рассердился и, придя в редакцию «Литературной газеты», возбужденно скандалил с Миндлиным, обещая вообще перестать с ним разговаривать, потому что тот не имел права разглашать сказанное на улице. «Да ведь я не назвал вашу фамилию, Катаев!» — успокаивал автор и так объяснил для себя это возмущение: Катаеву не нравится, что свидетели реплики узн&от его в персонаже статьи.

Но ведь можно предположить другие причины истерики. В том для кого-то еще безоблачном начале 1920-х Катаев, уже побывавший «где надо», слишком хорошо усвоил, что такое письменно (да еще и публично) зафиксированные слова из частного разговора, потому и пригрозил — стеной молчания. Мало ли чего еще могли натрепать… Он ноздрями и шкурой зверя-подранка почуял эту тошнотворную угрозу — донос! — и прибежал, зарычал: заткнись, не смей!

2 сентября Булгаков записал в дневнике: «Сегодня я с Катаевым ездил на дачу к Алексею Толстому (Иваньково). Он сегодня был очень мил. Единственно, что плохо, это плохо исправимая манера его и жены богемно общаться с молодыми

писателями. Все, впрочем, искупает его действительно большой талант. Когда мы с Катаевым уходили, он проводил нас до плотины. Половина луны была на небе, вечер звездный, тишина. Толстой говорил о том, что надо основать неореальную школу. Он стал даже немного теплым:

— Поклянемся, глядя на луну…

Он смел, но он ищет поддержки и во мне и в Катаеве».

Происхождение этих контактов так очевидно, что при желании уже в 1930-е не составило бы труда сварганить дело о «заговоре белогвардейцев», замаскировавшихся под «неореалистов».

Толстой первое время пребывания на родине не только тесно общался с Катаевым, но и был с ним в переписке. Он поощрял его прозу, а в январе 1924-го советовал взяться за драматургию:

«Вы думаете неприглядно когда хвалят — очень приглядно. Возьмите в Госиздате “Аэлиту” отдельное] изд[ание], прочтите и напишите мне по совести. Мне нужно Ваше мнение… Театр, театр, — вот угар. Из Вас выйдет *очень* хороший драматург, если только Вы серьезно возьметесь за работу… Все что пишу — это найдено — много из своего опыта. Может быть Вам пригодится… Присылайте рассказ. Передайте Булгакову, что я очень прошу его прислать для [“]Звезды[”] рукопись…

Обнимаю Вас, целую мадам Мухе руки».

К этому письму, вклеенному в альбом, составленный Кручёных, Катаев позднее сделал приписку: «Спасибо! Научил на свою голову».

Толстой не просто подталкивал Катаева к театру, но и ясно понимал его желание туда попасть (что означало настоящий успех и большие деньги), хотя до написания пьес ему оставалось еще несколько лет.

И Толстой, и, конечно, Булгаков, да и Катаев оставались в значительной мере людьми «дореволюционного стиля жизни» («роскошь» была для них важна и эстетически; имитация дореволюционного барства как своего рода «внутренняя эмиграция»).

Многое из наступившего времени они принимали вынужденно. Сторонились партийности. Им был важен успех, пусть бы и под речитатив новых лозунгов, хотелось окружения красивых женщин и антикварных вещей, чтобы, быть может, так чувствовать связь с той, былой, как будто бы отмененной Россией.

В 1924 году Катаев написал рассказ «Товарищ Пробкин» про «красного барина», богача, директора треста «Красноватый шик», вместо «товарищи» норовившего сказать «господа». «На нем была грубая, засаленная блуза, из-под раскрытого ворота которой

выглядывало хорошее белье и полосатый галстук бабочкой». Он музицировал на пианино, читал старые книги («марксистская литература — издательство Маркса»), но все переименовал на строгий социалистический лад — персональный повар «секретарь ячейки нарпита» жарил ему котлеты а-ля Коминтерн.

…Позднее Катаев и Толстой не были так близки.

Впрочем, уже в 1932-м в Париже поэт и критик Георгий Адамович, размышляя о Катаеве, связывал его с Толстым: «Немногие из современных беллетристов — не только советских, но и вообще всех пишущих на русском языке, — владеют такой интуицией, как он, таким “нюхом” к жизни, таким острым ее ощущением. В России — Алексей Толстой, больше, пожалуй, никто. Как и Толстой, Катаев — писатель менее всего “интеллектуальный”, и там, где без помощи разума обойтись невозможно, он довольно слаб. Но в тех областях, где не столько надо понимать, сколько чувствовать, Катаев достигает правдивости почти безошибочной. Конечно, с Ал. Толстым сравнивать его еще рано: он не соперник Толстого, он его ученик… Но ученик способнейший».

Это писалось после «Растратчиков» и «Времени, вперед!», но до романа «Белеет парус одинокий»…

В 1935 году Катаев заявлял в «Литературной газете»: «Мало и плохо написано о таком замечательном писателе, как Алексей Толстой. Между тем на его примере следовало бы показать начинающим писателям, как надо работать…»

Он не взял его в звездный пантеон «Алмазного венца». Почему? Из опасений утонуть в жирной толстовской тени? Или из-за поколенческой, в 14 лет, разницы? Или из стремления щегольнуть перед «прогрессивным читателем» дружбой с роковыми художниками, но не высвечивать отношений со слишком родственным «барином», имевшим репутацию приспособленца?

Вернее, один раз он упомянут — как «некто»: «А где-то неподалеку от этого священного места (памятника Пушкину в Царском Селе. — *С. Ш.*) некто скупал по дешевке дворцовую мебель красного дерева, хрусталь, фарфор, картины в золотых рамах и устраивал рекламные приемы в особняке…»

Действительно, в летние месяцы 1924–1927 годов Толстой жил в бывшем Царском Селе (тогда Детском), куда в 1928-м переехал насовсем.

Катаев не то чтобы осуждал господина «некто» за эту основательную, мощную роскошь, сколько сопоставлял его запредельный образ жизни со своими «набегами» на Ленинград и шампанскими кутежами «по-купечески» в обществе «знакомых,

полузнакомых и совсем незнакомых красавиц»…

Между тем он общался с Толстым и во время загульных визитов «к брегам Невы». В июне 1925 года Толстой благодарил его в письме за «чтение прекрасного рассказа» и зазывал на дачу в Сиверскую — «ягоды, грибы, в речке сомы по пол-аршина… половим раков на воблиную голову».

В августе 1928 года Валентин Петрович сообщал жене: «Получил письмо от Толстого. Этот старый и толстый бандит написал оперу, пишет оперетки и комедию. Сукин сын! Усиленно зовет к себе на дачу. Может быть смотаюсь…»

Катаевское дистанцирование от Толстого ничуть не помешало в 1969 году поэту Борису Чичибабину записать два их имени подряд в небезызвестном стихотворении «Сожаление», которое правильнее было назвать «Обличение»:

Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев —
как Алексей Толстой
и Валентин Катаев.

Мне жаль их пышных дней
и суетной удачи:
их сущность тем бедней,
чем видимость богаче.

Их сок ушел в песок,
чтоб, к веку приспособясь,
за лакомый кусок
отдать талант и совесть.

Стихи — искренне-размашисты. Но что-то они напоминают — звонкие, как пощечины… По-моему, это все тот же пафос «передовых пролетариев», которые обвиняли Катаева и Толстого в «буржуазности» и «попутничестве». Все та же листовочная, рапповская прямота, по поводу которой, иронизируя над морализаторами в литературе и периодической сменой «общепринятого», еще в 1929-м в анкете журнала «На литературном посту» Катаев замечал: «Горе писателю, если он, пересмотрев вопрос о “хорошо” и “плохо”, общепринятое плохое назовет хорошим. Тогда критик-мещанин спешно подвязывает к своему угреватому подбородку внушительную марксистскую бороду и хватает дерзкого за штаны».

«ДАЕШЬ СТУЛЬЯ»

Катаев продолжал беззаботно строчить в газеты и журналы, где сквозь трескучие фразы и гротескные образы несомненно проступали его непростые мысли и наблюдения.

«Выдержал» — о повальном насаждении идеологии и муках обычных людей. Кассир Диабетов ужасно боялся провала перед «комиссией» и беспрерывно зубрил догмы, даты и имена. «Какова будет форма организации в будущем коммунистическом строе? Неизвестно. Кто ренегат? Каутский. Кто депутат? Пенлеве. Кто кандидат? Лафолетт. Кто, несмотря на кажущееся благополучие?.. Польша. Кто социал-предатели? Шейдеман и Носке. Кто Абрамович? Социал-идиот…»

Попытка постичь партийную теорию завершилась помешательством:

«— Как ваша фамилия, товарищ? — спросил председатель комиссии.

— Маркс, — твердо ответил кассир.

— Сколько вам лет?

— Сто.

— Род занятий?

— Служение буржуазии в маске социализма».

Впрочем, в другом фельетоне «Загадочный Саша» Катаев показывал паренька из народа, который, наоборот, ни минуты не готовился к экзамену по алгебре, понадеявшись пройти в вуз на волне своего «правильного происхождения».

«Глаза Саши Бузыкина блеснули невероятным торжеством.

— Член РЛКСМ с тысяча девятьсот двадцать второго года, — отчеканил он, кидая вокруг уничтожающие взгляды. — Пролетарского происхождения. Отец путиловский рабочий, а мать — крестьянка Рязанской губернии».

А вот и Ниагаров — «не человек, а вихрь».

На протяжении нескольких лет «роскошный и шумный» Ниагаров был сквозным героем катаевских фельетонов.

Подключив магию прошлого, этот аферист уверенно командовал приказчиком в магазине с видом «вашсиятельства» и в итоге получил задешево точно сидевший на нем костюм из лучшего материала, а на остаток денег поехал обедать в «Прагу».

Ниагаров — точь-в-точь Бендер — решил обогатиться за счет доверчивых граждан, устроив в громадной аудитории Политехнического музея лекцию на тему «междупла-нетного сообщения».

Кто-то обратился к нему:

«— Я вас спрашиваю по-человечески: вы знаете, что такое комета?

— А вы знаете? — цинично спросил Ниагаров, играя автоматической ручкой.

Публика с ревом ринулась на эстраду, ломая скамьи.

— Бузя! Тушите свет! — крикнул Ниагаров, пролетая мимо меня как вихрь. — Грузите кассу на извозчика!..

На следующий день он читал лекцию о “проблеме омоложения”».

Ниагаров же, переделывая из года в год, пытался напечатать в газете стишок, но не поспевал за сменой и радикализацией политической повестки. Тут скорее Катаев пародировал время и самого себя. Диалог автора и главреда:

> «В долгу ночь на ветке дремлет,
> Солнце красное взойдет…

Обрати внимание: “Солнце красное взойдет”!

> Птичка гласу Маркса внемлет,
> Встрепенется и поет…

— Не пойдет. Нет идеологии. Нет современности. И потом — что это за птичка, которая не знает ни забот, ни труда? В концлагере место такой птичке, а не на страницах советской печати».

Но ведь Ниагаровы половчее успешно множили «актуальные вирши». Да и вообще этот сериал реалистично отражал фантасмагорическую действительность…

В фельетоне «Ниагаров-журналист» тот попробовал себя и в другом жанре: запросто надиктовывал очерк о моряках, химиках, а затем железнодорожниках, щедро рассыпая «специальные термины».

И кстати, разве не ясно, что эти окологазетные сюжеты перекликались с другими, тогда еще не написанными из «Двенадцати стульев»?

Больше того — в фельетоне «Ниагаров-производствен-ник» шарлатан устраивался помощником директора мебельной фабрики «Даешь стулья» и читал рабочим лекцию о том, как мастерить мебель, ничуть не разбираясь в теме.

«Похождения Ниагарова в деревне» — герой дурил и обирал сельских жителей, выдавая себя за важную персону.

Характерно, что Катаев завершил свой ниагаровский цикл в

1927-м, когда Ильф и Петров написали «Двенадцать стульев».

В середине 1920-х годов Катаев, не переставая, писал прозу и при этом кормился от множества фельетонов о всякой всячине.

Он по-прежнему изображал любителей «хорошенькой жизни» — авантюристов и конформистов. Герой рассказа «Экземпляр», верный престолу кавалер ордена Святой Анны 3-й степени, случайно задержанный на улице во время беспорядков 1905-го, впал в летаргический сон и очнулся в Москве спустя 20 лет. Улица ужаснула его повсеместной «освободительной крамолой», обращениями «товарищ», отсутствием у мальчишки-продавца газеты «Русское знамя». Он все порывался спеть «Боже, царя храни», чуть не спятил, упал на колени, но через какое-то время придя в себя, устроился в трест и там за обедом делился с сослуживцами: «Тысяча девятьсот пятый год? Как же, как же! Помню. Даже, можно сказать, лично участвовал в борьбе с самодержавием… И вообще, вихри враждебные веют над нами…» Автор, будто бы напряженно всматривавшийся малышом-одесситом в морской горизонт с мятежным «Потемкиным», черным дымом напитавшим его белый «Парус», прибавлял: «Говорят, что один раз он не без успеха выступал даже на вечере воспоминаний о 1905 годе».

Доставалось и эмиграции. «Белогвардейский цирк» — на арене должен был выступить генерал Шкуро с труппой казаков, изображающих джигитов, но конферансье внезапно объявил: «Господа! Произошло прискорбное недоразумение. Оказывается, в цирке присутствуют несколько коммунистов. Так джигиты залезли в подвал и ни за что не хотят появляться на арену». Ах, это роковое слово «подвал»…

Или «Случай с тов. Бабушкиной» о том, как хулиган запугивал соседей по вагону, представляясь сотрудником ГПУ, и пробегавший по станции «гражданин» опоздал на поезд, завороженный «конспиративным» окликом.

«— В чем дело? — пробормотал толстяк, бледнея. — Честное слово…

Хулиган засуетился, соскочил с полки и побежал по вагону, не без огонька имитируя зловещее совещание, и возвратился к окну.

— На минуточку, на минуточку! — грозно поманил он пальцем.

— Ей-богу… Честное слово… — залепетал толстяк.

Раздался третий звонок.

Хулиган сощурил глаза и, подозрительно всматриваясь в похолодевшего толстяка, приговаривал:

— Пожалте-ка, пожалте-ка, гражданин…»

В «международных» фельетонах Катаев срамил «буржуазных политиков» всех стран, например, Черчилля, понадеявшегося дожить до «цивилизованного правительства» в России.

«— Ну что, как? — спросит твердокаменный старик в конце XX века. — Ну что, как? В России уже “цивилизованное” правительство?

— Увы, — ответят бессмертному Черчиллю внуки. — Увы, дедушка! В России, представьте себе, до сих пор правительство “нецивилизованное”».

«ОСТРОВ ЭРЕНДОРФ» И «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЖЕЛЕЗА»

Артист Григорий Ярон вспоминал, что в 1924 году Катаев вместе с сыном священника поэтом Евгением Венским (который в 1920-е годы несколько раз арестовывался за связи с белыми, а умер в 1943-м в ссылке) написали для Театра оперетты водевиль «Атлантида» — о приключениях белогвардейца с одним усом (второй ему оторвали при бегстве из Крыма) и поисках сказочной Атлантиды, которая в финале оказывалась одноименным большим рестораном. «В этом спектакле было много остроумия».

В 1924-м у Катаева вышел «Остров Эрендорф» — «роман с приключениями». Сначала он печатался в омской газете «Рабочий путь» и почти одновременно в «Уральском рабочем», отрывок взял «Огонек», а уже в 1925-м роман целиком появился в Москве в Государственном издательстве.

Именно в 1920-е годы в литературе возник «призыв» — создать советский приключенческий роман, замешенный на новейших «открытиях». Мариэтта Шагинян начала в 1923-м трилогию «Месс-Менд» (американские рабочие создали тайный союз и выяснили, что они, «творцы вещей», обладают над ними особой властью, магия переплетается с физикой, в противовес возникает тайный «союз фашистов»), Толстой (громыхнув «Аэлитой») в 1924-м подал заявку на авантюрный роман с воздушно-химической войной и мировой революцией, в итоге появился. «Гиперболоид инженера Гарина», Борис Лавренев в 1925-м написал фантасмагорический роман «Крушение республики Итль», даже Корней Чуковский в 1925-м выпустил «кино-роман» «Бородуля» про ученого, управлявшего погодой, советских сыщиков и подлых фашистов. Одним из первых стал, пожалуй, Илья Оренбург с «Необычайными похождениями Хулио Хуренито и его учеников», где загадочный пророк, ученый, мошенник в окружении последователей, включая автора, путешествует по Европе и Африке и попадает в революционную Россию.

Влияние книги Оренбурга было велико, ее похвалил Ленин.

Впрочем, сюжетно «Остров Эрендорф» стал пародией не столько на этот роман 1922 года, сколько на другой, 1923 года, того же автора — «Трест Д. Е. История гибели Европы». (Есть подозрение, что тогда же Катаев под псевдонимом М. Джемпсон написал роман «Уклоны мистера Пукса-младшего».)

Катаев вспоминал: «В отделе печати задумались — провинция

плохо читает газеты. Решили печатать остросюжетные романы с продолжениями. Искали авторов. Сергей Ингулов вызвал меня и других югростовцев. Я написал “Остров Эрендорф”, понравилось».

Американский профессор Грант сделал страшное открытие: Землю ждет катастрофа, старые материки исчезнут под водой прежде, чем возникнут новые, спасется лишь маленький остров в Атлантическом океане. Закулисный правитель мира, нью-йоркский «король королей» Матапаль решил на этом острове создать мир заново.

В идеологи проекта он позвал Эрендорфа (читай Эренбурга) — популярного писателя, стильного жовиального богача, пишущего много и легко.

Прогноз профессора оказался ошибочен из-за неисправного арифмометра. Под воду ушел именно «остров избранных». В воде уцелел лишь желтый чемодан с Эрендорфом, который, оказавшись на воздухе, немедленно затрещал: «Где здесь ближайшая редакция? У меня есть куча сенсационнейшего материала. Могу предложить и социальный романчик».

Итак, «Остров Эрендорф» — пародия не только на прозу Эренбурга, но главным образом на его персону.

Катаев язвил Эренбурга, так же как прежде Булгакова — однако всё за то же, что было так важно для него самого. И что его так восхищало. За литературную удачливость и шикарную жизнь.

Разве нет в демонстративном сибаритстве героя и в его ретивой писучести — авторской самопародии? А может быть, тут и веселая, нескрываемая зависть по отношению к пока недосягаемому успеху?

«Прибывшие заняли четыре лучших номера в миллиардерском флигеле фешенебельного отеля “Хулио Хуренито”, который принадлежал, как и все, впрочем, в окружности на сто километров, господину Эрендорфу, самому влиятельному, популярному и знаменитому романисту земного шара.

Мистер Эрендорф лежал в полотняном шезлонге, задрав ноги на мраморный парапет террасы… Он ковырял в зубах иглой дикобраза… Он диктовал в радиотиподиктофон двенадцатую главу нового романа… и одновременно шестьдесят четыре типографии в разных частях света автоматически набирали на разных языках гранки нового сенсационного романа».

Не это ли *dream* (цветной сон, но и мечта) тогдашнего Катаева?

Литературовед Борис Фрезинский констатировал: «Неприязнь Катаева к Эренбургу была устойчивой». По его предположению, то, что в 1922–1923 годах в Берлине вышло много книг

Эренбурга, вызвало у Катаева «злую зависть». Нет, едва ли злую. Впрочем, наверное, было из-за чего коситься: один писал своего «Хулио Хуренито» за чашкой кофе на бельгийском курорте Де-Панне как раз в то лето, когда другой бродил голодный и босой по пыльному Харькову.

В конце концов литературная игра обернулась бытовой реальностью — в 1940 году Катаев въехал на дачу Эренбурга в Переделкине!

Толковать всякую книгу можно без устали.

Я же напомнил бы еще несколько произведений, создавших сочный контекст авантюрно-сатирической литературы (к середине 1930-х жанр похоронили), где желтая развлекуха мешалась с пламенными красными лозунгами и куда вписался Катаев, с ходу застолбив себе место лидера.

Это и забытый Сергей Заяицкий — «Красавица с острова Люлю», «Земля без солнца», «Баклажаны», и все тот же Алексей Толстой — «Семь дней, в которые был ограблен мир» и более поздние «Необычайные приключения на волжском пароходе», и, например, некто Николай Борисов с абсурдистской повестью «Зеленые яблоки» («перевод с американского»), вышедшей в Харькове, а также ироническими боевиками «Укразия» и «Четверги мистера Дройда».

Тогда же, в 1924-м, практически одновременно с «Островом Эрендорфом» у Катаева вышел роман «Повелитель железа», сначала в харьковском журнале «Пламя», а год спустя книгой в Великом Устюге в издательстве «Советская мысль».

Вообще, возникает такое впечатление, что автор, памятуя о своей мальчишеской страсти к иллюстрированным приключениям из одесских киосков, так называемым «выпускам», решил их воспроизвести. Тем более, как заявил Николай Бухарин: «Нужен красный Пинкертон». Вкусы нэпмана (жги-гуляй по кабакам) и красного бунтаря (жги-гуляй по планете) в этом и сходились — в озорной подростковости.

«Повелителю железа», остросюжетному, очень плотному, с постоянными крутыми поворотами и подчас условной правдоподобностью, пошло бы быть выпущенным в виде комиксов с колоритными физиономиями и рублеными репликами. Нищая бунтующая Индия, советская Москва, империалистский Лондон, прямолинейность характеров, грим и переодевания, выстрелы, взрывы, сражения, лошади и аэропланы, сыщики и революционеры, нежная любовь, вероломное предательство. Чаще всего повторялось слово — «погоня».

Присутствовал в романе и отчаянный репортер Королев, азартной писучестью не отличимый от Эрендорфа, а

биографически совпадавший с Катаевым: «…он болел сыпным тифом, умирал от голоду, писал агитационные драмы… и даже, как это ни странно, в течение двух недель числился старшей сестрой милосердия при Одесском эвакоприемнике в 1920 году» — отсылка к белой эвакуации и пережитому.

Те, кто читал роман много позже, в эпоху, когда повсюду звучало: «Миру — мир!» — наверняка испытывали странные ощущения — Катаев 1924-го как будто бы выступал принципиально против мира и «малодушия» разоружения, за что боролся главный отрицательный герой книги профессор Савельев. Мысль романа следовала из его сюжета: «Лишь бы была война!»

Монологи Савельева совпадают с известной песней 1957 года: «Парни, парни, это в наших силах Землю от пожара уберечь!» или речью какого-нибудь советского дипломата 1970-х: «Я проклял войну и решил отдать все свои силы на борьбу с ней… Бороться за идею всеобщего мира… Сначала мы пытались бороться с войной путем агитации… Организовали уничтожение взрывчатых веществ, складов оружия и пушечных заводов…» Но профессор разгромлен, и еще ярче разгорается очистительный пожар войны, ведь в условиях мира «буржуев» не одолеть. «Цель оправдывает средства», — уверен предводитель индийских бедняков богоборец и коммунист Рамашандра.

Наверняка идейно «Повелитель железа» оказался близок троцкистам, а затем его могли жаловать маоисты. Но так ли были важны идеи — все пропадало в вихре погони, а кроме сюжетного галопа оставались жирные масляные мазки темпераментного пейзажиста — «желтая агония зари», «шоколадные от нечистот» волны Ганга, «чудовищный дымный город, похожий на груду ананасов»…

А может быть, для Катаева, навек уставшего от войны, втайне ближе всех «слизняк» Савельев, потерявший сыновей Бориса и Глеба на фронтах 1914-го и жена которого сошла с ума? Да и не с вожделением ли изображены владения «повелителя железа», утопающие в цветах и зелени? «На небольшом столике, покрытом белоснежной скатертью, уже был приготовлен изысканный завтрак: омлет, холодный цыпленок, банка варенья, овощи, кофе и полбутылки великолепного французского красного вина». Под старость этим же языком гурмана Катаев опишет воображаемый рай.

«Повелителя железа» Катаев не включал в собрания сочинений (может, из-за щекотливой темы «борьбы за мир»), но приведем утверждение литературоведа Абрама Вулиса: этот роман «в некотором смысле литературная энциклопедия 1920-х

годов. Если свести изящную словесность к авантюрно-развлекательным и назидательноиллюстративным жанрам — так еще и исчерпывающая. Тайны подземной Москвы и библиотека Ивана Грозного, мировые катаклизмы и “лучевая” болезнь науки — лишь некоторые типичные сенсации тогдашней беллетристики, собранные в романе для пародийного представительства». При этом «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка» Вулис выводил именно из «Повелителя железа», который будто бы «напрашивается на роль главного генеалогического предшественника знаменитых романов» по причине «свободы сатирического мышления» и «раскованности эпизода».

Так или иначе, оба катаевских романа оказались в литературном мейнстриме — научная фантастика и шаржированные приключения, помноженные на мировую революцию рабочих. У Катаева «машина обратного тока», у Толстого тепловой луч «гиперболоида», разрушавшего любые преграды — и все это предвестники ядерного оружия, применение которого именно против Японии с поразительной точностью предсказал Эренбург в своем «Хулио Хуренито».

«ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ ИСПРАВЛЯЕТ»

21 января 1924 года умер Владимир Ленин.

На похороны (нескончаемые очереди на морозе) Катаев не пошел, объяснившись стихами:

Но я не пришел посмотреть и проститься.
Минута. Навеки. И мимо…
Бывает, что стужею сердце, как птица,
Убито у двери любимой.

И падает сердце, легко умирая,
Стремительно, с лету навылет.
В сугроб у десятого дерева с краю
Морозом игольчатой пыли.

Бывает, что слово становится слепо,
И сил не хватает годами
Высокого лба, как отцовского склепа,
Прощаясь, коснуться губами.

Годами… Годами не до прощаний с Лениным. Любовь — долгая жвачка: зиму спустя переживается, как нынешняя, та зима 1923-го, когда…

Павел Катаев вспоминает, что Чистые и Патриаршие пруды навсегда остались самыми любимыми его отцом районами Москвы. Чистые — Мыльников переулок. «Мы с отцом неоднократно бывали на Патриарших прудах, и всегда я замечал, что ему здесь хорошо, и он с удовольствием вспоминал какие-то случаи из той, теперь уже далекой своей жизни в двадцатых годах — сумбурной, веселой и одновременно тревожной, которая осталась в памяти, как сказка… В зимнюю стужу здесь влюбленный отец ждал свою подругу».

Весной 1924 года из Одессы окончательно перебрался Бабель, который стал частенько захаживать в «Гудок» «на огонек». Он уже прославился «Конармией». В 1928-м Катаев вспоминал: «Помню, что написал Бабелю в Одессу письмо, в котором была такая фраза: “Слава валяется на земле. Приезжайте в Москву и подымите ее”. Что Бабель и сделал». Сохранилась и записка Катаева, помеченная «Чистые пруды», от 28 октября 1923 года (то есть того времени, когда Бабель наведывался в столицу):

«Милый Бабель,

мне необходимо с Вами поговорить по весьма важному делу, касающемуся Лефа. Я очень занят и не имею времени Вас разыскивать. Приходите ко мне (Мыльников 4 кв 2) завтра или послезавтра до 11 утра или в районе 5 часов вечера. Куда Вы пропали?

Ваш *Валентинкатаев*».

«В Мыльниковом он совсем не бывал, — писал Катаев о «конармейце». — У него была масса поклонников в разных слоях московского общества… Все это были люди посторонние, но зачастую очень влиятельные». Слово с холодком «посторонние» подразумевало прежде всего людей из ГПУ.

Здесь снова коснемся отношений Катаева с Яковом Блюмкиным, революционером, разведчиком, чекистом.

По всей вероятности, они познакомились в Одессе во время революционных событий 1918-го, если не раньше. По крайней мере, Катаев (в разговоре с журналистом Борисом Панкиным) утверждал, что еще в Одессе задумал повесть «Жизнь Яшки»: «Он все время мечтал о переворотах и говорил, что дома под кроватью у него лежат бомба и револьвер».

6 июля 1918 года в Москве Блюмкин убил посла Германии Вильгельма фон Мирбаха, что послужило сигналом к началу восстания левых эсеров.

«Когда убили Мирбаха, — говорил Катаев, — я был в Одессе. И Олеша сразу сказал — это Яшка. Меня всегда поражала его способность провидеть».

В дальнейшем прощенный большевиками с подачи Троцкого, Блюмкин активно участвовал в перевороте в Персии, был опекаем Дзержинским, в 1920-е годы тесно общался с литераторами, в том числе с Есениным. Сделавшись сотрудником Иностранного отдела ОГПУ, выполнял спецзадания в Палестине, Афганистане, Индии, Тибете, Монголии, Китае. Курировал весь Ближний Восток.

В начале 1920-х годов Катаев вновь встретился с «Яшей». И тот в деталях «под ужасным секретом» рассказал ему остросюжетную историю приготовления убийства Мирбаха. По словам Катаева, он не выдержал и сразу же написал повесть «Убийство имперского посла» — ее быстро набрали в одном петроградском издательстве и готовили в печать.

Ночью в Мыльников ворвался Блюмкин, грозя большими неприятностями. О повести ему сообщил прочитавший ее приятель. Катаев отдал герою произведения все варианты рукописи. Затем отправились на телеграф, где Блюмкин, предъявив мандат, потребовал соединить его с редактором. «Убийство» так и не вышло.

В 1929-м Блюмкин был арестован в Москве как агент Троцкого и расстрелян. Катаев встретился с главой ОГПУ Генрихом Ягодой и просил разыскать повесть в бумагах казненного. Но ее так и не вернули. У Катаева сохранилась только первая страница…

В 1923 году в «Накануне» Катаев опубликовал одесские зарисовки «Женитьба Эдуарда» и «Птицы поэта» о своем друге Эдуарде Багрицком. Задуманная большая вещь «Похождения трех бездельников» — Катаев, Олеша, Багрицкий — не получилась, может быть (сделаю шуточное предположение), потому, что для литературной симметрии автор тоже должен был «закрутить» с одной из сестер Суок. В итоге в 1925-м в Москве в Госиздате вышла состоящая из этих и других зарисовок повесть «Бездельник Эдуард» (написанная еще в 1920 году) и включенная в сборник рассказов того же названия.

Смесь фельетона и поэмы, где по принципу «ничего святого» существует ленивый, слабо приспособленный к жизни стихотворец, одновременно прохвост и простофиля. Родители его изображены насмешливо, отец умер («не мог примириться с потерей лавочки»), мамаша суетлива, а герой еще и обнадеживает любимую: «Не сегодня-завтра умрет моя мать (это я хорошо знаю). Старуха долго не протянет, для меня это ясно. Тогда у нас сразу поправятся дела». Эдуард эгоистичен, бесцеремонен, безжалостен, как дитя. Однажды «он обольстил девицу, подающую обед в коммунальной столовой, чтобы получить лишнюю порцию каши», в другой раз — «проник в контрреволюционное подполье, где в течение двух недель тянул таинственные деньги с пылкого, но слишком глупого капитана, вскоре, конечно, расстрелянного». Его мотивации при знакомстве с сестрами Суок просты: «Боже, а вещей-то, вещей!.. За сто лет не перепродашь всего этого добра», у «толстенькой» избранницы «бесхарактерное детское личико», сердитый портрет ее бывшего мужа висит над их ложем («кровать, пружинный матрас которой еще очень хорошо помнил грузный вес военного врача»). Поселившись в Лидочкиной комнате, он выжил лирика (Олешу) с Симочкой и потребовал, чтобы жена круглосуточно служила ему одному («Она бросила службу и с героической покорностью начала распродажу вещей»). Затем, полагая себя птицеловом, он обзавелся нескончаемыми клетками с разнообразными птицами, и когда из-за этой затеи начал стремительно приближаться голод, Лидочке пришлось их втихую передушить. Что при военном коммунизме, что при нэпе, Эдуард, несмотря на свой авантюризм, лежит, ест брынзу, читает Брема и Стивенсона, пишет и декламирует стихи, может быть, и хотел бы устроиться: «Но

отовсюду его выгнали, так как ни на какую работу он не годился. Он умел лишь писать великолепные стихи. Но они-то как раз никому и не были нужны».

Как бы язвительная, а на самом деле теплая повесть, дружеский шарж — по-моему, автор был восхищен талантом и свободой приятеля…

«Земляки Катаева — писатели-одесситы — предупреждали, что прототип Эдуарда Тачкина — поэт Эдуард Багрицкий — скоро прибудет в Москву, и мы все увидим тогда, что это за поэт! И ахнем… Мы зачитывались рассказами Катаева о бездельнике Эдуарде и ждали приезда Багрицкого», — вспоминал Миндлин.

В том же 1925-м Багрицкий переехал в Москву сначала один, а затем, поселившись в Кунцеве, выписал к себе Лидию с их маленьким сыном Севой.

В Одессе Багрицкий печатался в газетах (русских, подчеркивал Катаев: «Украинский язык ему не давался»), участвовал в «литературном процессе», но жил скверно. Вот что обнаружил наведавшийся к нему юный одессит Семен Липкин: «Халупа. Прихожей не было. Дверь вела сразу в комнату. Она освещалась сверху, фонарем, под которым стояло корыто (или лоханка)… Постепенно я привыкал к темноте. Увидел Лидию Густавовну, молодую, в пенсне, возившуюся у “буржуйки”… Маленький мальчик Сева пытался выстрелить из игрушечного ружья. Багрицкий, полулежа на чем-то самодельном, стал мне читать поэтов двадцатого века». Развивалась бронхиальная астма. «Казалось, что, подобно Эскессу, он навсегда останется в Одессе, ставшей украинским городом», — вздыхал Катаев. Читаешь это и думаешь: а ведь Катаев вполне мог бы перетащить в Москву и Семена Кесельмана, и как знать, вместо безвестного юрисконсульта Гостиничного треста возник бы заметный советский поэт…

Можно ли сказать, что Катаев продлил Эдуарду жизнь, заставив переехать в столицу? Очевидно одно: в результате условия жизни у Багрицкого сильно улучшились, а без катаевской настойчивости тот едва ли покинул бы Одессу.

По воспоминаниям Катаева, приехав в Одессу и посетив Багрицкого, он сразу решительно позвал его в Москву. Эдуард мялся, ссылался на привычку к местной жизни, еде и литературному кружку «Потоки» («Потоки патоки и пота», — как он шутил), зато жена поддержала переезд.

«— А что я надену в дорогу?

— Что есть, в том и поедешь, — грубо сказал я.

— А кушать? — уже совсем упавшим голосом спросил он».

Решающую роль Катаева подтверждал и Липкин: «Багрицкий

рассказывал, что как-то к нему пришел Катаев и сказал: “Я купил тебе билет до Москвы”. И он поехал. Единственное, что взял из Одессы, это клетку со щеглом».

Щегла Катаев не упоминал, зато уделял немало внимания их путешествию.

Он вспоминал об «уклончивых взглядах птицелова» на вокзале, о его тревогах по поводу мучений в вагоне и предложении: «Сделаем лучше так: ты поедешь, а я пока останусь. А потом приеду самостоятельно», и даже о внезапных смутных сомнениях Лидии. По версии Катаева, он смог усадить друга в поезд, лишь заманив комфортным и шикарным купе международного вагона.

Эпизод с «обаятельным» вагоном характеризовал самого Катаева, похоже, до конца жизни не подозревавшего о реальных причинах терзаний Багрицкого и его жены.

В Институте мозга человека сохранилась запись, основанная на секретном рассказе Лидии Густавовны: «В период жизни в Одессе был один знакомый литератор по фамилии Харджиев[36]. Багрицкий донашивал его старые вещи. Когда Багрицкий уезжал с Катаевым в Москву, Катаев взял два билета в международном вагоне. Жена постаралась одеть Багрицкого получше, сшила ему брюки. Но нижнего белья не было. И вот, в последний момент, когда Багрицкий должен был уже ехать на вокзал, он с ужасом подумал о том, что в международном вагоне нужно будет, по всей вероятности, раздеваться на ночь, а он едет без нижнего белья. Харджиев, который был с ним в это время, срочно поехал домой и привез ему на вокзал кальсоны и нижнюю рубашку, их Багрицкий должен был надеть в поезде, вечером в уборной».

В Москве, по словам Катаева, он вовсю ухаживал за другом, купил ему ботинки, костюм, повел в парикмахерскую, а потом и по редакциям. Поэта подхватила волна славы… А его «страсть к птицам перешла в страсть к рыбам. И в комнате птицелова появились аквариумы».

Семен Липкин полагал, что Багрицкого, хотя и облагодетельствованного, раздосадовал «Бездельник Эдуард» (и его жену, добавлю я): «Когда мы жили в Кунцеве, я заметил, что Катаев при мне у Багрицкого не бывал — они были в ссоре, хотя именно Катаев сыграл большую роль при переезде Багрицкого в Москву»[37].

Задет был и Михаил Булгаков.

В состав сборника входил рассказ «Медь, которая торжествовала». Катаев преподнес книгу Булгакову и сопроводил галантной надписью «Дорогому Михаилу Афанасьевичу Булгакову с неизменной дружбой плодовитый Валюн», а опечатки

выправил только в рассказе про Ивана Ивановича, как будто пытаясь ткнуть прототипа в текст (наверное, не оставляла еще боль из-за Лели).

Вероятно, вспоминая о том, как писатели перестали разговаривать, Татьяна Лаппа отсылала к ссоре, случившейся еще в 1923-м, когда рассказ первый раз вышел в «Накануне», но теперь-то Катаев обновил обиду.

30 апреля 1925 года Булгаков женился на вернувшейся со «сменовеховцами» балерине Любови Белозерской, некогда уплывшей из Одессы в Константинополь («Эта женитьба совпала с охлаждением наших отношений», — сказал Катаев Мариэтте Чудаковой. Еще бы, 2 мая он подарил Булгакову ту самую книгу).

Еще 30 июня 1924 года Катаев писал жене Анне в Одессу: «Вся Москва нашего круга потрясена сейчас номерулей, который выкинул Мишунчик. Этот резвый юноша разводится со своей красивой и тощей женой Татьяной Николаевной и женится на жене Василевского (Не-Буквы)[38]. Эт-то трюк! Вчера он был у нас со своей “невестой”. Вот когда я могу отомстить ему! Я его буквально заедаю. Он в панике. А его невеста весьма недурна, разговорчива, неглупа. Приятная дама».

7 июля Анне же писала ее сестра Тамара:

«Миша Булгаков сходит с ума; он разводится с Таней и женится на жене Василевского. У нас был недавно М. Булгаков со своей пассией и сегодня была старая жена Булгакова, она говорит, что он просто свинья, а по-моему, он больше, чем свинья»[39].

По догадке литературоведов Олега Лекманова и Марии Котовой[40], в отместку за еще «накануневский» рассказ Булгаков в повести «Роковые яйца» не без иронии упомянул некоего «Валентина Петровича», понизив его до должности «правщика», когда-то так тяготившей самого Булгакова.

Вопрос профессора Персикова газетному репортеру Вронскому:

«— И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за “пара минуточек” и “за кур”? Вы, вероятно, хотели спросить “насчет кур”?

Вронский почтительно рассмеялся:

— Валентин Петрович исправляет.

— Кто это такой Валентин Петрович?

— Заведующий литературной частью.

— Ну, ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича!»

Валентин Петрович и исправил — ошибки в том самом рассказе, который спровоцировал его упоминание в повести.

Получается, если взять на веру все эти суждения, Катаев одним махом (одним сборником) Багрицкого и Булгакова «убивахом» (кончилась дружба). Такое вот жертвоприношение литературе…

Тогда, да и в первые же годы жизни в Москве, Катаев пользовался немалым авторитетом в своей среде, и тем обидчивее могли отреагировать «Эдуард Тачкин» и «Иван Иванович». Эрлих вспоминал: «“Старик Саббакин”, — “старик”, которому было немногим больше двадцати лет, — уже слыл признанным писателем, рассказы его появлялись и в толстых и в тонких журналах того времени. Все мы еще только втайне пописывали да втайне и безуспешно носили свои рукописи по редакциям. Поэтому Катаев был нашим arbiter elegantiarum, Петронием нашей среды, чья художественная оценка никакому обжалованию не подлежала».

Характерно, что Эрлих называл Катаева «арбитром изящества», сравнивая его именно с любвеобильным автором «Сатирикона» — эротических и плутовских «похождений трех бездельников».

КАТАЕВ И ЕСЕНИН

«Все во мне вздрогнуло: это он!»

Судя по всему, они познакомились в августе или осенью 1923 года.

По утверждению Катаева, как и с Маяковским — на улице. Даже в районе том же, недалеко от Мыльникова.

Тогда Есенин, почти год пропутешествовав с Айседорой Дункан по Европе и США, вернулся в Москву.

По Катаеву, он столкнулся с Есениным по дороге в первый советский толстый журнал «Красная новь». (Как раз осенью 1923 года Есенин первый раз посещает «Красную новь», а затем продолжает туда наведываться.)

Катаев принялся «объясняться в любви», помянув пленившее его некогда в журнале «Нива» стихотворение «Лисица», Есенин ответно похвалил рассказ «Железное кольцо», появившийся в «Накануне» в конце мая (он тоже печатался в этой газете), скоро они уже говорили друг другу «ты» и пошли пить пиво в двухэтажный трактир, стоявший на месте нынешнего вестибюля метро «Чистые пруды».

Если они пили там и тогда, то Катаев прошел близко от беды (тем более он пишет про дальнейшие встречи после знакомства, «первые дни дружбы»). Есенин постоянно утверждал, что за ним следят. Именно здесь в ночь с 20 на 21 ноября того же года он был задержан вместе с крестьянскими поэтами Сергеем Клычковым, Петром Орешиным и Алексеем Ганиным, доставлен в милицию, а затем и в ГПУ. Уже 22 ноября в «Рабочей газете» гроза «попутчиков» «напостовец»[41] Лев Сосновский клеймил пропойц-погромщиков, которым предстоял суд, требуя закрыть им дорогу во все издания. По поводу происшествия в пивной Есенин так объяснялся в письме Троцкому: «Я заметил нахально подсевшего к нам типа, выставившего свое ухо, и бросил фразу: “Дай ему в ухо пивом”. Тип обиделся и назвал меня мужицким хамом, а я обозвал его жидовской мордой». Шумиха продолжалась еще долго, например, аж 30 декабря в «Правде» Михаил Кольцов выступил с заметкой «Не надо богемы»: «Надо наглухо забить гвоздями дверь из пивной в литературу. Что может дать пивная в наши дни и в прошлые времена — уже всем ясно. В мюнхенской пивной провозглашено фашистское правительство Кара и Людендорфа; в московской пивной основано национальное литературное объединение “Россияне”»[42].

Но предостережения «Правды» не удержали Катаева от того,

чтобы вновь устремляться с Есениным в пивную…

Алексей Ганин был расстрелян в 1925 году по делу «ордена русских фашистов», Сергей Клычков в 1937-м (антисоветская организация «Трудовая крестьянская партия»), Петр Орешин в 1938-м («террористическая деятельность»). Впрочем, расстреляны были и Лев Сосновский, и Михаил Кольцов.

В другой раз, по Катаеву, в 1925 году, «ранней осенью» они с Есениным и недавно приехавшим в Москву Багрицким оказались напротив еще не снесенного «нежно-сиреневого» Страстного монастыря, возле памятника Пушкину, еще стоявшего в начале Тверского бульвара, и «уселись на бронзовые цепи». Катаев похвастал умением Багрицкого за пять минут выдать классический сонет на любую тему (что было правдой). Есенин предложил тему «Пушкин». Случилось состязание. Багрицкий написал сонет, а Есенин просто стихотворение, перепутав фамилию Эдуарда:

Пил я водку, пил я виски,
Только жаль, без вас, Быстрицкий!
Нам не нужно адов, раев,
Лишь бы Валя жил Катаев.
Потому нам близок Саша,
Что судьба его как наша.

«При последних словах он встал со слезами на голубых глазах, показал рукой на склоненную голову Пушкина и поклонился ему низким русским поклоном». Катаев добавлял: «Журнал (тогдашний «Современник». — *С. Ш.*) с двумя бесценными автографами у меня не сохранился. Я вообще никогда не придавал значения документам. Но поверьте мне на слово: все было именно так, как я здесь пишу»[43].

Увы, стихотворение Багрицкого исчезло, Катаев его не запомнил. Он умалчивал о том, что тоже принял участие в состязании и сложил по всем правилам сонет под названием «Разговор с Пушкиным» с пометкой «ранняя осень 1925 года»:

Когда закат пивною жижей вспенен
И денег нету больше ни шиша,
Мой милый друг, полна моя душа
Любви к тебе, пленительный Есенин.

Сонет, как жизнь, суров и неизменен,
Нельзя прожить сонетов не пиша.
И наша жизнь тепла и хороша,

И груз души, как бремя звезд — бесценен.

Нам не поверили в пивной в кредит,
Но этот вздор нам вовсе не вредит.
Доверье… Пиво… Жалкие игрушки.

Сам Пушкин нас благословляет днесь:
Сергей и Валентин и Эдуард — вы здесь?
— Мы здесь. — Привет. Я с вами вечно.
Пушкин.

По Катаеву, под пиво Есенин звал их ехать с ним в село Константиново: денег на билеты в складчину хватит, а на обратную дорогу вышлет главный редактор «Красной нови» Воронский[44].

Лекманов и Котова в «Комментарии» с очевидным скепсисом встречают эти откровения, например, подозревая, что сведения о Есенине выписаны из других источников или просто присочинены. По поводу его стремления поехать в Константиново и любви к родне они приводят цитаты нескольких свидетелей, утверждавших, со слов Есенина, что родня ему, наоборот, была чужда. Тем не менее факты таковы: в 1925 году Есенин трижды наведывался в Константиново, причем два раза — летом. «В последние два года Есенин все собирался поехать в деревню и как следует пожить там», — вспоминал Воронский.

Еще один эпизод в художественных мемуарах Катаева — стычка Есенина с Пастернаком, случившаяся в редакции «Красной нови». «Королевич совсем по-деревенски одной рукой держал интеллигентного мулата за грудки, а другой пытался дать ему в *ухо».*

В письме Марине Цветаевой, по видимости об этом столкновении, Пастернак сообщал, что первый ударил Есенина, и велеречиво осмысливал ту пощечину:

«Когда я вдруг из его же уст услышал все то обидное, что я сам наговаривал на себя в устраненье фальшивых видимостей из жизни, т. е. когда, точнее, я услыхал свои же слова, ему сказанные когда-то, и лишившиеся, в его употребленьи, всей большой правды, их наполнявшей, я тут же на месте, за это и *только* за это, дал ему пощечину. Это было дано за плоскость и пустоту, сказавшиеся в той области, где естественно было ждать от большого человека глубины и задушевности. Он между прочим думал кольнуть меня тем, что Маяковский больше меня, это меня-то, который в постоянную радость себе вменяет это

собственное признанье».

Пастернак вспоминал, что его встречи с Есениным «всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние», а в другом письме констатировал: «Мы с Есениным далеки. Он меня не любил и этого не скрывал». «Без славы ничего не будет, хоть ты пополам разорвись — тебя не услышат. Так вот Пастернаком и проживешь!» — говорил Есенин Асееву незадолго до смерти. Катаев замечал, что Есенин «всегда брезгливо улыбался», услышав о Пастернаке, и спрашивал: «Ну подумай, какой он, к черту, поэт? Не понимаю, что ты в нем находишь?» «Его стихи неизмеримо ниже его мужества, порывистости, исключительности в буйстве и страсти. Вероятно, я не умею их читать, — в свою очередь писал о Есенине Пастернак Цветаевой. — Из нас сделали соперников в том смысле, что ему зачем-то тыкали мною».

Катаев вспоминал: после того как драку разняли и Пастернак ушел, Есенин стал просить его устроить встречу с Маяковским и их примирить: «Подлецы нас поссорили». Когда Катаев отказался, Есенин попросил отвести его к Асееву. Идти было совсем близко. Они поднялись на девятый этаж дома во дворе Вхутемаса. Асеева дома не оказалось, и Есенин, которому наскучило ожидание, попросил хозяйку Оксану высморкаться, но вместо предложенного ею платка предпочел скатерть.

(Анна Коваленко вспоминала: «У нас в Мыльниковом Есенин не умел вести себя со скатертью».)

Катаев потребовал извинений и, не получив их, бросился на Есенина.

Катаев дрался с Есениным… «Ну это, конечно, фантазия», — предположил поэт Игорь Волгин в телепередаче «Игра в бисер».

Однако, когда «Алмазный мой венец» вышел, вдова Асеева еще здравствовала, и Катаеву было не с руки врать.

Из воспоминаний самого Асеева выясняется, что во время тех посиделок на Мясницкой Есенин много раз подряд проиграл Катаеву и Оксане в карты: «Однажды в последних числах октября 1925 г. мне пришлось вернуться домой довольно поздно. Живу я на девятом этаже, ход ко мне по неосвещенной лестнице. Здоровье жены, долго перед тем лечившейся, которое за последнее время пошло на поправку, явно ухудшилось. Она рассказала мне. Днем, в мое отсутствие, забрались ко мне наверх двое посетителей: С. А. Есенин и один беллетрист. Пришел Есенин ко мне в первый раз в жизни. Стали ждать меня. Есенин забыл о знакомстве с женой в “Стойле Пегаса”. Сидел теперь тихий, даже немного застенчивый, по словам жены. Говорили о

стихах. Есенин очень долго доказывал, что он мастер первоклассный, что технику он знает не хуже меня с Маяковским, но что теперь требуются стихи попроще, посентиментальнее. Говорил, что хочет свести знакомство поближе, говорил о своей семье, о женитьбе, был очень искренен и прост. Сыграли они с женой и беллетристом пятнадцать партий в дурачки. И все оставался Есенин, так что под конец стал подозревать их в заговоре против него. И затосковал. Говорил, что ему ни в чем не везет. Ни в картах, ни в стихах. Что он несчастлив, что я (про меня) умею устроить, очевидно, свою личную жизнь, как хочу, а он живет, как того другие хотят. Сидел он, ожидая меня, часа четыре. И переговорив все, о чем можно придумать при малом знакомстве с человеком, попросил разрешения сбегать за бутылкой вина. Вино было белое, некрепкое. И только Есенин выпил — начался кавардак. Поводом послужил носовой платок. У Есенина не оказалось, он попросил одолжить ему. Жена предложила ему свой маленький шелковый платок. Есенин поглядел на него с возмущением, положил в боковой карман и начал сморкаться в скатерть. Тогда “за честь скатерти” нашел нужным вступиться пришедший с ним беллетрист. Он сказал ему:

— Сережа! Я тебя привел в этот дом, а ты так позорно ведешь себя перед хозяйкой. Я должен дать тебе пощечину.

Есенин принял это как программу-минимум. Он снял пиджак и встал в позу боксера. Но беллетрист был сильнее его и меньше захмелел. Он сшиб Есенина с ног, и они клубком покатились по комнате. Злополучная скатерть, задетая ими, слетела на пол со всей посудой. Испуганная женщина, не зная, чем это кончится, так как дрались с ожесточением, подняла крик и, полунадорвавшись, заставила их все-таки прекратить катанье по полу. Есенин даже успокаивал ее, говоря:

— Это ничего! Это мы боксом дрались честно!

Жена была испугана и возмущена; она потребовала, чтобы они сейчас же ушли. Они и ушли, сказав, что будут дожидаться на лестнице».

Через два дня, рассказывал Катаев, «тихий, ласковый и трезвый» Есенин пришел в Мыльников поутру с веревочной кошелкой, где были бутылка водки и две копченые рыбины. «Он обнял меня, поцеловал и грустно сказал: — А меня еще потом били маляры. Конечно, никаких маляров не было. Все это он выдумал. Маляры — это была какая-то реминисценция из “Преступления и наказания”. Убийство, кровь, лестничная клетка, Раскольников…» Тут Катаев, похоже, пытался оправдаться от обвинения, возведенного на него хмельным Есениным в асеевских воспоминаниях:

«— Ты не знаешь. Как мы вышли от тебя — жена твоя осердилась, ну, а нам же нужно было докончить: мы же ведь честно дрались — боксом. Вот мы и зашли туда, где был ремонт. Я бы его побил, но он подговорил маляров, они на меня навалились, все пальто в краску испортили, новое пальто, заграничное.

Говорил он о пальто ужасно грустно.

— Пальто все испортили. Вот ногу разбили — ходить не мог.

Он засучил штанину и показал действительно ужасный шрам на ноге через всю икру.

— Да кто же это тебя так, Есенин?

— Маляры! Один стамеску подставил, я об нее и разодрал ногу. И пальто пропало. Теперь не отчистишь.

Так я и не мог добиться, каким образом фантазия переплелась у него с действительным шрамом и, очевидно, действительно испорченным пальто».

Катаев вспоминал, как после примирения ездил с Есениным по разным домам — тот пил и читал поэму «Черный человек». Наконец заявились в Сретенский переулок, где в небольшой квартире жили переехавшие из «гудковского» общежития Олеша и Ильф (уже с женами: Олеша с Ольгой Суок, Ильф с Марией Тарасенко). «Это были узкие, однако веселые и светлые клетушки, — вспоминал Олеша, — может быть, больше всего было похоже на то, как если бы я и Ильф жили в спичечных коробках».

По Катаеву, Есенин совсем захмелел и еле держался на ногах, он устроил драку со своим поклонником-подражателем (очевидно, Иваном Приблудным[45]), «сломал этажерку, с которой посыпались книги, разбилась какая-то вазочка».

У Олеши: «Вдруг поздно вечером приходят Катаев и еще несколько человек, среди которых — Есенин. Он был в смокинге, лакированных туфлях, однако растерзанный — видно, после драки с кем-то. С ним был молодой человек, над которым он измывался, даже, снимая лакированную туфлю, ударял ею этого молодого человека по лицу… Потом он читал “Черного человека”. Во время чтения схватился неуверенно (так как был пьян) за этажерку, и она упала».

Затем, писал Катаев, Есенин вырвался и умчал в ночь «бить морду Зинке», то есть своей бывшей жене Зинаиде Райх, матери двоих его детей, которых усыновил Всеволод Мейерхольд.

28 декабря 1925 года в Ленинграде в гостинице «Англетер» тело Сергея Александровича Есенина было обнаружено в петле. «Он верил в загробную жизнь. Долгое время мне казалось — мне хотелось верить, — что эти стихи обращены ко мне, хотя я

хорошо знал, что это не так», — сообщал Катаев о написанном кровью «До свиданья, друг мой, до свиданья».

Катаев воображал похоронную толпу возле памятника Пушкину и открытый гроб с «маленьким личиком» поэта, «задушенного искусственными цветами и венками с лентами».

Воображал — поскольку гроб на улице был закрытым, а Катаев на похоронах отсутствовал.

Хоронили человека ему более чем знакомого, которого он спустя годы в газетной статье помянул с будничной фамильярностью, переходившей в русское тепло родства, как какого-нибудь соседа-сорванца: «Однажды ко мне прибежал взволнованный Есенин». Но сам-то не пришел, не прибежал, не заскочил. «Но я не пришел посмотреть и проститься…» Догадка: а может быть, жизнелюб избегал похорон? Поэт Фиолетов, отец, Ленин, Есенин (заглядывая вперед, и Олешу не явился хоронить, и не стал прощаться с двоюродным братом, который в последней катаевской повести произносит: «Ты, пожалуйста, не приезжай. Не люблю я эти церемонии и тебе не советую»)… Хватило матери. Не от того ли всякий увиденный и даже не увиденный гроб под его пером превращался в нечто торжественно-кошмарное, по-гоголевски захватывающее?

Миндлин вспоминал: Катаев удивлялся тому, сколько народу простилось с Есениным, и даже как будто ревновал к этой славе.

«Как всегда, подгоняя спутников своим торопливым шагом, Катаев спрашивал:

— В чем, по-вашему, причина такой популярности? Жена Олеши рассказывает, что на похоронах были представители всех слоев общества. Понимаете? И рабочие, и профессора, и какие-то девочки, и образованные люди, и самые простые, малограмотные по виду! Вся Москва, весь народ! Очень мало кого из русских писателей так хоронили. И, главное, стихийно пришли… не то чтоб людей собирали. Нет. Сами. Стихийно! Что вы на это скажете?

— Просто не знали, как он популярен в народе, — заметил я.

— Речь не о том. Я спрашиваю, в чем секрет этой популярности? В чем, по-вашему?

…Мы прошли еще несколько десятков шагов — и Олеша остановился. Он застыл на месте, втиснув руки в карманы распахнутого пальто. Катаев, успевший уйти вперед, обернулся и вопросительно посмотрел на нас.

— Щина, — твердо сказал Олеша.

— Что — “щина”?

Катаев понял Олешу лучше меня.

— Юра хочет сказать: есенинщина.

— Причина в “щине”, — кивнул головой Олеша и медленно зашагал по аллее. — Благородная сентиментальность плюс “щина”. Ничто так не создает популярность писателю, как приставка “щина” к его фамилии. Начали писать о “есенинщине”. Думали отпугнуть, а этим только привлекли к нему новых поклонников».

Катаева как будто возбудила надгробная слава Есенина. Настойчивый в своих вопросах, он словно беспокоился: а дальше, как дальше сложится посмертная судьба поэта?

Есенин однажды посетовал Асееву, что ему трудно «ерунду писать», «лирику», но надо, иначе «никто тебя знать не будет», «на фунт помолу нужен пуд навозу». Но в самопринижающем «ерунда» и «навоз» по поводу прекрасных стихов, полных боли, любви и жизни, слышалось уверенное, даже надменное: «долго буду тем любезен я народу».

Через несколько лет Катаев посмеялся над «щиной» в фельетоне «Емельян Черноземный», казалось бы, пародировавшем эпигонов Есенина, но с обобщающим приговором: «упадочник»[46]. Герой фельетона в своих интересах изображал деревенского забулдыгу, готового вот-вот повеситься с горя. Он получил зачет от напуганного профессора и чуть не уговорил впечатлительную девушку Верочку Зямкину прийти к нему в квартиру «на сеновал». Вломившись к редактору толстого журнала «Красный кирпич», Емельян, сморкнувшись в толстовку, зачитывал стихи:

Эх, сглодал меня, парня, город,
Не увижу родного месяца,
Распахну я пошире ворот,
Чтоб способнее было повеситься!

«Не подойдут? Тады буду пить, покедова не подохну. И-эх! Оно конешно, может, которые городские парни завсегда свои стихи печатают. Нешто за городскими угоняешься? А мы что?! Мы ничего! Мы люди темные, необразованные. От сохи, значит, от бороны. Был я буйный, веселый парень… Золотая моя голова… А теперь пропадаю, барин, потому — засосала Москва… Под мостами, может, ночую… На бересте, может, гвоздиком рифмы царапаю… И-эх-х!

С этими словами Емельян Черноземный быстро забил в стенку редакторским пресс-бюваром гвоздь, привязал веревку и сунул свою голову в петлю.

— Остановитесь! — закричал редактор.

— Руп за строчку, — тускло возразил Емельян

Черноземный. — И чичас чтоб!»

Как бы отнесся Есенин к такому фельетону при жизни? Не захотел бы набить Катаеву физиономию?

И не читается ли весь навязчивый сюжет с петлей как глумление над трагедией?

Но ведь правда и в том, что вроде бы беспощадный к Булгакову, к Багрицкому, к мертвому Есенину, да хоть к собственному покойному отцу, Катаев испытывал к ним нежность.

Он не жалел никого ради красного словца. «Опишите воробья, опишите девочку» — бунинский учительский совет уравнивал всё и всех перед литературой. Уметь воспеть… Уметь высмеять… Владеть всеми жанрами…

Нет, несомненно и то, что поэзия Есенина искренне восхищала Катаева, чем-то очень близкая. «Мы были с ним двумя парусами одной лодки — поэзии», — писал он и, кстати, еще в ранние годы выделялся из пестрого одесского круга ясностью и простотой, тихим сочувствием природе, любовью к стихам Никитина и Кольцова.

Есенина только что зарыли в землю, а Катаева будто бы занимала не сама утрата, но столпотворение на похоронах. И он выдыхал с каким-то детским восторгом: «Вся Москва, весь народ!» А «слух» между тем летел «по всей Руси великой»…

Да, это точно не было праздным любопытством.

Это про бессмертие — «памятник нерукотворный» и «народную тропу».

На следующий день после похорон, в первый день нового, 1926-го, и много-много позднее расспросы и размышления Катаева крутились вокруг «железного кольца». Кольца избранничества.

Он вспоминал, как Есенин носил цилиндр, шокируя прохожих и извозчиков пришельцем из другого времени (Есенин говорил, что ему нравится походить на Пушкина, а пушкинский цилиндр, напомню, не достался герою «Железного кольца»).

Катаевский литературный мемуар о Есенине начинался стихотворным состязанием у памятника Пушкину и заканчивался этим же памятником, вокруг которого обнесли гроб.

Катаев записал: через какое-то время после гибели поэта он выпивал в Мыльниковом в компании Пастернака, Николая Тихонова, Багрицкого, Павла Антокольского. Читали стихи. На рассвете в переулке остановился извозчичий экипаж, и испитой господин в шляпе громко произнес, глядя в их окно: «Всех ждет неминуемая петля!» Экипаж укатил.

Антокольский приводил то же происшествие, упоминая, что разговор в застолье шел о Есенине: «Совсем рассвело. Где-то по

булыжнику мостовой загремела пролетка, она остановилась возле дома. Внезапно в нашем окне возникла растрепанная фигура ночного пропойцы и срывающийся голос произнес:

— Современного поэта ждет неминуемая петля!

Незнакомец захохотал, и его тут же сдуло ветром, как одуванчик. Мы переглянулись».

«Мы некоторое время пребывали в молчании, — продолжал Катаев. — В конце концов расхохотались». И отправились провожать Пастернака на Волхонку. «По дороге мы изо всех сил старались шутить и острить, как будто бы ничего особенного не случилось».

«Этот ужас нас совершенно смял, — писал Пастернак о смерти Есенина Цветаевой. — Самоубийства не редкость на свете. В этом случае его подробности представились в таком приближенном и увеличенном виде, что каждый их точно за себя пережил, испытав, с предельным мученьем, как бы на своем собственном горле, людоедское изуверство петли и все, что ей предшествовало в номере, одинокую, сердце разрывающую горечь, последнюю в жизни тоску решившегося».

«ПИСАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ»

В 1925 году, освободившись по амнистии, в Москву приехал друг Евгения Петрова Александр Козачинский. Дружба эта была необычной. Козачинский, поработав сыщиком, переквалифицировался в бандиты. Как позднее пояснял он в показаниях на суде, его довел пьянством и беспределом начальник милиции 1-го района Балтского уезда, пришлось дезертировать и примкнуть к отряду бывших крестьян, промышлявших грабежами.

В сентябре 1922 года он попал в засаду и был арестован.

Петров участвовал в дознании по его делу, отметив, что бывший коллега раскаялся и помог показаниями следствию. Тем не менее Козачинского, самым тяжким преступлением которого было конокрадство, приговорили к расстрелу. На следующий день после этого приговора Петров подал рапорт о предоставлении отпуска и спустя месяц уволился. Киянская и Фельдман предполагают, что уже в Москве он узнал о том, что приговор отменен.

Позднее в 1938 году Козачинский написал поэтичноироничную повесть «Зеленый фургон» по мотивам своих степных и одесских приключений. Принято считать (и в целом я это суждение разделяю), что сам автор — прототип конокрада Красавчика, а Евгений — сыщика и затем писателя Патрикеева, который говорит в конце: «Каждый из нас считает себя очень обязанным другому: я — за то, что он не выстрелил в меня когда-то из манлихера, а он — за то, что я вовремя его посадил».

Теперь после амнистии Козачинский стал литератором и журналистом — в «Красном перце», а затем и в «Гудке», куда Петров перешел в 1926-м.

С каждым годом «Гудок» все больше напоминал писательский клуб. По воспоминаниям Михаила Штиха, посещение газеты из работы превращалось в образ жизни: «Кроме Ильфа, Петрова и Олеши здесь были завсегдатаями Катаев, Булгаков, Эрлих, Славин, Козачинский. И — боже ты мой! — как распалялись страсти и с каким “охватом” — от Марселя Пруста до Зощенко и еще дальше — дебатировались самые пестрые явления литературы!»

Тем временем с пеной и шумом начинал входить в государственные берега «советский литературный процесс», что сопровождалось конфликтами групп и персоналий.

Помимо уже упомянутого объединения ЛЕФ — Левый фронт искусств, вспомним и ЛЦК — Литературный центр

конструктивистов. В 1923–1924 годах появилось содружество писателей «Перевал» под неформальным водительством Александра Воронского, выступавшее за «свободу творчества» и, казалось бы, наиболее близкое Катаеву. «Перевальцы» группировались вокруг «Красной нови». В январе 1925-го официально оформилась самая крепкая и массовая литературная организация — Всероссийская ассоциация пролетарских писателей (ВАПП), преемница Пролеткульта, отстаивавшая «воспитательную функцию» литературы в духе коммунистического мировоззрения (позднее переименованная в РАПП). У «Перевала» и ВАППа отношения были, как у кошки с собакой. Катаев не принадлежал ни к одной из групп, в чем можно усмотреть осторожность, а можно — честный писательский выбор: литература — дело одинокое. Но тяготел он все-таки к кругу Воронского — в его журнал предложил свои первые крупные вещи.

И «Красная новь» Воронского, и гудковско-зифовский[47] концерн Нарбута были коммерчески успешны.

Мало-помалу от товарищества Воронский с Нарбутом перешли к соперничеству, а затем и конфликту со взаимными оскорблениями и обвинениями в «антисоветизме».

Первый тайм Воронский проиграл, был осужден партией, лишился журнала — проигрывал его «тренер» Троцкий. У Нарбута же вместо умершего Дзержинского появился новый покровитель — Бухарин. Но позднее осенью 1928-го, когда Бухарин оказался «правым уклонистом», как нарочно всплыли показания Нарбута деникинской контрразведке и пришел черед уже его опалы.

Катаев все время конфликта умудрился сохранить отношения с обоими и оставался одним из немногих, кто общался с Нарбутом и после его «разоблачения».

Итак, одновременно с литературной борьбой усиливалась борьба внутрипартийная. Несомненно, многие близкие Катаеву (любители Мейерхольда, Татлина и всего «яркого») не без симпатии относились к Троцкому с его анафемами аппаратчикам и серой массе и призывами «равняться на молодежь» как на «верный барометр партии». Эти настроения затрагивали и самого Катаева, оказавшегося между двух магнитов. Он пытался совместить дореволюционный, с белогвардейским оттенком «лад» и ультрареволюционную эстетику «жаркого натиска».

Расстановка во власти менялась, и вместе с тем идея «революции на экспорт», предполагавшая своеобразную, пусть и экспансивную, открытость, сменялась идеей созидания социализма внутри одной страны, что при «сменовеховском»

желании можно было толковать как продолжение формулы князя Горчакова: «Россия сосредотачивается». Власть становилась все более централистской. В 1924 году правящая тройка Зиновьев — Каменев — Сталин объединилась против Троцкого. В 1925-м Сталин разгромил Зиновьева и Каменева. В 1926-м «группа Зиновьева — Каменева» примирилась с Троцким, но они были окончательно разгромлены к 1927-му Сталиным, поддержанным Бухариным и Рыковым. Наконец Сталин в 1929-м полностью разбил и последних. В 1927-м Троцкий был исключен из партии, выслан в Алма-Ату, а в 1929-м из страны.

ЗНАКОМСТВО С ЗОЩЕНКО

Читая бесперебойную, выдаваемую взахлеб катаевскую сатиру на нравы и быт «мещан» (не народа, а очередного «манекена из толпы»), ощущаю неотвязное недоумение. И ранний Катаев, и более поздний естествен в чувственной поэтичности на грани жреческого пафоса. Он, кажется, следовал пушкинскому: «Давайте пить и веселиться, / Давайте жизнию играть, / Пусть чернь слепая суетится, / Не нам безумной подражать», но в фельетонах словно бы и сам суетился вместе со своими персонажами. Катаев немало отдал смеху, и всё же, на мой взгляд, юмор его был специфичный — яркие резкие вспышки — и от этого как бы подслеповатый.

«Внешний юмор», — недоброжелательно, но метко определил рапповский журнал «На литературном посту».

А были ли Катаеву интересны все эти бесконечные сально-бескрылые бухгалтеры и управдомы? Предположу: читательский спрос подхлестывал авторское предложение. Рядом торчал пример друга-лирика, снискавшего огромный успех в грубой личине Зубилы. Быть может, и повсеместная популярность Зощенко, несомненная среди тех, кого он изображал, была одним из мотивов — пытаться воспроизвести именно такую среду и таких типажей. Кстати, еще в самом начале 1920-х годов Олеша, побывавший в Петрограде на вечере «Серапионовых братьев», в разговоре с Катаевым отметил Зощенко.

Катаевское одухотворение вещей, тяга к «сладкой жизни», «обывательскому оазису» в партийной пустыне строгости и аскетизма не укрылись от тогдашней критики. В то же время Зощенко, выводя своих «низких потребителей», отталкивался от Ницше, которым был увлечен, и искренне (в горьковско-ницшеанской парадигме «сокол — уж») полагал, что они путаются под ногами «красного сверхчеловека»[48].

В середине 1920-х годов Катаев (по его утверждению, в Крыму) познакомился с Зощенко. Они действительно были вместе в Ялте летом 1926 года и присутствуют на групповой фотографии, сделанной в Никитском ботаническом саду, но, судя по всему, еще раньше общались в Москве. Уже в начале 1926-го Виктор Ардов увидел их в компании Льва Никулина и других литераторов за ужином в ресторане «Кружка друзей литературы и искусства» в подвале дома 7 по Воротниковскому переулку.

В сентябре 1927-го Катаев отдыхал с Зощенко в Ялте, предварительно пригласив письмом:

«Собирайте барахлишко и выезжайте… Расшевеливайтесь же,

несчастный Вы неврастеник! Даешь цикад! Везу с собой 1 акт комедии. Буду писать 2 й и 3 й[49]. А Вы мне помогите. Плачу по 25 коп. за каждую строчку, которые имеют общественно-воспитательное значение — 27. Имеете шанс подработать… Целую Вас довольно нежно — Ваш Валя Катаев, шалунишка и циник».

Красноречиво. Да, таким ему хотелось выглядеть.

«Он меня всегда называл Валюшенька, я его Мишенька».

Собирались долго. «Наверное старею, — писал Зощенко Мусе-Мухе 25 сентября 1927 года[50]. — Не понял почему Вы подписали Ваше письмо — М. Катаева. Неужели я забыл Ваше имя? Мне точно помнится — Анна Сергеевна… Вал. Петр, напрасно ругал меня за медлительные мои сборы. По-моему, я спас его жизнь. Он ведь собирался ехать в Ялту. И поехал бы, если б не я». (Подразумевалось землетрясение, случившееся в Ялте 12 сентября, с жертвами и большими разрушениями.)

Зощенко особо запомнился Катаеву в Крыму. «Туман, ползущий с вершины Ай-Петри, куда мы впоследствии вскарабкались, напоминал нам газовую атаку», — написано в 1978-м, но и в 1927-м в рассказе «Гора» спутник Катаева — вероятно, Зощенко:

«— Похоже на газовую атаку… не правда ли? — захлебываясь в ветре, закричал мне на ухо, как глухому, Степан Васильевич…

Я услышал хрипловатый, сорванный ветром голос и увидел близко от себя страстные, карие с сумасшедшинкой глаза».

В собрании Кручёных — запись Зощенко на письме 1927 года о том, что его изучают в Швейцарии: «Чтоб Катаев не задавался со своими французскими успехами. У него — Франция, у меня Швейцария. Как-нибудь разделим Европу по-братски». Рядом автограф Катаева: «Чур!

За мной Германия, Англия, Америка и Венгрия! Остальное пущай лопает Зощенко».

А вот письмо Зощенко Анне Коваленко от 8 февраля 1931 года, на самом деле адресованное ее мужу[51]. Приведу полно — по-моему, читается как рассказ.

«Дорогая Муся, пишет Вам некто М. М. Зощенко.

Здравствуйте, дорогая Мусенька!

Обращаюсь к Вам с нижайшей просьбишкой — напишите мне небольшое письмецо. Дело в следующем. Ваш полупочтенный супруг Валентин Петрович, известный гуляка и лежебок как-то такое (так в тексте. — *С. Ш.*), месяцев пять назад не ответил мне на мое письмецо. Письмо было вежливое, со многими приличными словами и даже с комплиментами. Но этот человек, совершенно так сказать отпетая личность, коему мне писать как-

то даже теперь унизительно, не соизволил мне ответить. За что в свою очередь я когда-нибудь его чрезвычайно унижу. Одним словом писать мне ему сейчас не годится. И в силу этого приходится беспокоить Вас, дорогая Мусенька. Я собираюсь в феврале побывать в Вашей милой Москве.

Хотелось бы конечно повидать всех друзей. И этого конечно Валентина Петровича, и дорогого моего престарелого Юрочку Олеша. И Вас конечно. И Вашу сестричку Тамарочку.

Так вот не будете ли Вы так любезны написать мне — полагает ли Вал. Петр, быть в Москве в феврале. А также Юрочка. Где он и что. Какой его адрес. Не думает ли он уехать куда-нибудь на февраль и тем самым отдалить нашу дружескую встречу еще на год на два. Не собирается ли Катаев поехать в марте на Кавказ? Я собираюсь. Я хочу поехать в Тифлис. И хочу в духане выпить вина. Может быть и духанов больше не будет. А я еще и не видел, что это такое. Неохота умирать, не повидав всего.

Перед Кавказом я поживу в Москве. Буду очень веселиться. И в силу этого мне желательно знать, что думают про это мои друзья. Однако может на Кавказ я и не поеду. А поживу в Москве дня 4 и поеду обратно до своего дома. Неизвестно, какие мысли у меня будут в те дни.

Вот дорогая Муся, в этом и заключается моя просьбиш-ка. Не поленитесь пожалуйста, сядьте к столу и напишите мне про все и про Ваше житьишко. И кто у Вас бывает. И зачем. И пьют ли мои друзья. И какая погода в Москве.

Впрочем про погоду не обязательно — я еще не знаю когда я буду в Москве. А может быть я и в Москве не буду, а поживу себе тихо в Ленинграде. Но во всяком случае узнать все хочется.

Что до меня и до моей славной жизни, то я живу прямо скажу тихо и даже робко живу. С виду я очень похудел. Хожу желтый, как сукин сын, от многих моих пороков — карты и женщины — а также и по причинам высшего значения.

Так вот, Мусенька, крепко целую Вашу ручку и с нетерпением поджидаю Вашего письмеца.

До свиданья. Привет А. Н.

Ваш *М. Зощенко.*

Юрочкин адрес не позабудьте. А может он у Вас живет? С него хватит».

Итак, Катаев и Зощенко сдружились. Они общались до конца, несмотря на литературно-политические события, в дальнейшем омрачившие их отношения.

«ПРОНЕСЛИСЬ ЧАЙКИ, КАК РАЗОРВАННОЕ В КЛОЧЬЯ ПИСЬМО»

Одновременно с фельетонами писалась и литература, в которой Катаев был самим собой.

В 1926 году в «Красной нови» вышел рассказ «Родион Жуков», включенный в книгу «Новые рассказы», изданную «Гудком», о матросе с броненосца «Потемкин», сюжет которого позднее энергично развернулся в романе «Белеет парус одинокий». Важнее действия было описание, изобиловавшее метафорами и деталями (георгиевские ленты сравнивались, разумеется, не с «колорадами», а с «оранжево-черными деревенскими цветами чернобривцами»). Катаев наконец-то оторвался — излюбленное приключение красок: море и степь казались важнее самого героя, что сюжетно оправдывалось жарким бредом: герой заболевал тифом и в бессознательном состоянии попадал под арест. Катаев с лиризмом сказителя изображал в конце концов победившую стихию мятежа: революционный люд «вырвал из рамы царский портрет, а самого царя увезли матросы на тройках в Сибирь, в тайгу, туда, где до сих пор лишь волки выли да звенели кандалы каторжан. Поднялась метель, лес встал стеной, завыл, заскрипел, застрелял — то ли сучьями застрелял, то ли чем другим — только царя и видели!».

В книгу вошел также рассказ «Ножи». Легкомысленность стиля и водевильность сюжета (позже Катаев создал из «Ножей» водевиль, музыку к которому написал Исаак Дунаевский) не заслоняли настоящей драмы влюбленности, переживаемой слесарем Пашкой Кукушкиным. Чтобы передать его чувство, хватило нескольких емких, но ярких деталей — масляных мазков. Пашка влюбился в красавицу-дочь хозяина балаганчика на Чистых прудах, она ответила ему взаимностью, но ее родители его отвергли. Он тренировался всю зиму в метании ножей, и наконец, заявившись по весне, выиграл все призы, разорив старика, и тому пришлось отдать главный приз — свою дочку. В этом «жестоком романсе» не было ни одной случайной или невыразительной фразы, всякая остро сверкала. «Ножи» заметили. Как было написано в книжном обозрении «Нового мира», рассказ отличался «свежестью, большим, хорошим чувством, тщательной обработкой». А Сомерсет Моэм (между прочим, во время Первой мировой бывший в России разведчиком) включил «Ножи» в британскую антологию современного рассказа: «Мы видим, как в последнее время живут в России мужчины и женщины и как

условия существования повлияли на их отношение к жизни, любви и смерти».

Поэт Михаил Светлов вспоминал: «К нам в общежитие комсомольских поэтов “Молодая гвардия” (Покровка, 3) пришел и познакомился с нами начинающий прозаик Валя Катаев. Он прочел нам рассказ “Ножи”. Самым главным качеством в таланте для меня является его очарование. Именно поэтому я и люблю Валентина Катаева. Это его органичное очарование нас и покорило».

Коснемся и более поздних рассказов, выбивавшихся из фельетонного ряда. Это и «Раб»[52], где тиф, война за белых, упоминание, словно бы с ироничной отсылкой к тогдашней антитроцкистской кампании, развешанных по Одессе белогвардейских плакатов с монструозным Троцким, взятие под стражу, правда, англичанами, и рабский трюм отплывающего корабля; и напряженная красота каждой фразы: «Над головой Кутайсова быстро пронеслись чайки, как разорванное в клочья письмо». Это и «Гора»[53], где в красках показан Крым с высот Ай-Петри «со своей знаменитой горой Медведь, которая отсюда казалась не больше маленькой ушастой мышки, лакающей из блюдца голубоватоморщинистое молоко залива». Это и изящная прозрачная новелла «Море»[54] — просто о волшебстве воды и занявшей ровно сутки яхтенной прогулке двух молодых парочек (не считая бесконечных оттенков неба и пучины, у чайки клюв «кривой, как пинцет», а в тесной каюте «пахло кожей, как в башмаке»). В прекрасном и поэтичном, без всякого лишнего «смысла» тексте, где и люди — только тени, разве что у них чешутся спины, Катаев, кажется, становился самим собой, даже вкрапляя морское стихотворение 1918 года «Прозрачность»:

Коснуться рук твоих не смею,
А ты любима и близка.
В воде, как золотые змеи,
Скользят огни Кассиопеи
И проплывают облака.

Коснуться берега не смеет,
Плеща, полночная волна.
Как море, сердце пламенеет,
И в сердце — ты отражена.

Зато нагружен «социальным смыслом» и сатиричен был рассказ «Вещи»[55] о том, как «знойная» ненасытная жена Шурка уморила своего тихого худого мужа Жоржика, все пуще

заходившегося кашлем: вместо того чтобы хоть немного позаботиться о нем, она заставляла его обильно скупать товары на Сухаревском рынке. Горький, прочитав, одобрил: «Правильно, что показано въевшееся в человека старое. Бывает в больших формах, бывает в маленьких — здесь еще трагичнее». При всей ходульности сюжета рассказ хорош выразительностью языка и оставляет нефельетонный осадок грусти.

Упомянем и «Ребенка»[56] — мастерски выписанный рассказ, без морали, зато с любовью, жалостью, человеческим теплом. Пожилой холостяк Людвиг Книгге, дирижер в консерватории, по доброте оставил у себя юную домработницу Полечку, они тянулись друг к другу, но робели, наконец, девица забеременела от местного дворового красавца, парикмахера, он и тетка-старуха (надеясь поживиться деньжатами) принудили ее на суде с младенцем на руках требовать с неповинного алименты.

Неожиданно тот согласился и мимо «окоченевших свидетелей» увел Полечку за руку — жить с ним. Из фельетонного материала получилась проза.

«РАСТРАТЧИКИ»

Он сделал себе подарок к тридцатилетию, встретив его уже признанным писателем.

В конце 1926 года в «Красной нови» вышли «Растратчики».

Повесть собиралась из элементов действительности, писем, наблюдений, криминальной хроники, рабкоровских сообщений. О проклятых жуликах он писал фельетоны и сатирические стихи. Зимой 1924/25 года, приехав в Тверь в командировку («Рабочий городок, и вдруг здесь — растратчики»), подумал, а не пришел ли черед большой прозы с «людьми, обезумевшими от жажды что-нибудь себе урвать». Несомненно, имела значение позиция государства. Начало работы над повестью совпало с XTV съездом партии, обличавшим «новую буржуазию», порожденную нэпом, а в январе 1926-го вышло постановление ЦК, приравнивавшее растратчиков к «пособникам классового врага» — на что немедленно откликнулся Демьян Бедный:

«Гражданин! Вы — злой растратчик!»
Хорошо.
«Суд растратам не потатчик!»
Хорошо.

«Оценивши показанья…»
Хорошо.
«К высшей мере наказанья!»
Хорошо!

За несколько номеров до Катаева в «Красной нови» вышла повесть Владимира Лидина «Растрата Глотова» о кассире-воре, проигравшемся на бегах и увлекшемся кокоткой.

Герои «Растратчиков» не злодеи, а самые обычные служащие. Автор поместил их себе под нос, на Мясницкую, называвшуюся тогда Первомайской («Видно, ей на роду написано быть Мясницкой, и другое, хотя бы и самое замечательно лучезарное, название к ней вряд ли пристанет»), в здание, где пять из шести контор растранжирили деньги, и теперь как будто фатум требовал от оставшегося учреждения не упрямиться. Главбух Филипп Степанович Прохоров и кассир Ванечка Клюквин, как по велению нечистой силы, бросились в пьяный пляс по стране, соря чужими зарплатами.

Прохорову захотелось покутить, подражая своему

дореволюционному хозяину, главе фирмы старику Саббакину, а на растерянного Ванечку главбух так увлекательно задышал алкоголем и раками, что тот «только в первый раз в жизни вдруг понял, что такое настоящий человек», но самой сильной и скрытой пружиной сюжета была непроговариваемая чертовщина. В сцене грехопадения краски говорили сами за себя — двое, скотски захмелев, неслись на извозчике в ночь неизвестности среди адского антуража: «Черный город расползался вокруг гадюками блеска. Фосфорные капли с треском падали с трамвайных проводов».

Характерно, что почти целиком это «пьяная повесть» — здесь не только общаются заплетающимся языком, но и видят все с пьяных глаз: диким, дивным, двоящимся и уплывающим. Но притом каждая фраза отделана. «Поработал над повестью основательно», — признавал Катаев. Он вволю поупражнялся в любимом — в изображении (метафоричном и пестром), будь то петербургская архитектура или избы среди снега. «Перебивочные кадры» не мешают восприятию сюжета, а наоборот, насыщают его, создавая впечатление цветного фильма.

Прохоров и Ванечка впутались по пути во множество грязноватых приключений с тяжелыми похмельными отбивками, но, несмотря на уничижительные эпитеты, которыми автор награждал «соблазны», замени он язвительные слова на ласковые — «Растратчики» заиграли бы заманчивыми красками. Катаев даже будто досадовал на то, как его персонажи не умеют оттянуться в свое удовольствие (ближе к финалу их случайный попутчик ухоженный «жуир» инженер Шольте заметил, что «с такой суммой, хе-хе, за границу можно катнуть, половину земного шара обследовать», ну хотя бы съездить в Крым и на Кавказ).

Катаев писал из своего опыта и с каким бы ехидством ни осуждал кутеж (рестораны, музыка, рулетка, женщины), осудить мог бы и себя, разумеется, неплохо покутившего и на заработанное от «Растратчиков». «Хотите поедемте сейчас в казино — я там бываю часто», — предложил он главе советского правительства Алексею Рыкову и другим важным людям на обсуждении пьесы «Растратчики» 16 апреля 1928 года. Позднее, в послевоенные годы, наставляя студентов Литинститута, он шокировал их: «Напишете книгу — пойдете в ресторан».

А вот уместный именно тут отрывок из письма Зощенко Олеше 1930 года: «Засим — прибыл в новом костюме — конь (прозвище Катаева. — *С. Ш.*). В любом кармане у него деньги. Он усталой ручкой выгребает оттуда червонцы и кидает куда попало… Приехал в Европейку, остановился в 8 а. Сразу

потребовал черноморских устриц. Жрет их ежедневно. Дела вокруг немыслимые. Левушка Никулин со своим членом остановился рядом в роскошных апартаментах. Господин Сметанич[57] почувствовал трубные звуки разгула победителей жизни и ринулся на все прелести существования… Конь от жирной пищи вовсе очумел. И от прежних девушек воротит морду… он увел из чьих-то конюшен прелестную девушку… Словом этот драматург и автор нашумевшей оперы “Универмаг”, этот жуткий Катаев такую отхватил девушку, что народ ахнул. Девушка по всем видимостям принадлежит коню. Левушка колбасится не меньше коня. Вообще дым стоит коромыслом. А обо мне ведайте, что жизнь эта мне недорога. Я не вхож в ихние дела».

Нравы этой компании понятны и из заграничного письма Никулина 1929 года, адресованного сразу Катаеву и Олеше:

«Дорогие классики!

В капищах и вертепах пресыщенной и развращенной буржуазии я, как видите, не забываю друзей. Распутный Валя надругался над моими чувствами к одной прелестной даме. Когда я вернусь, прольется кровь…»

При этом с циничной галантностью эпистола завершалась словами: «Привет Анне Сергеевне, разумеется». Да уж, непростой муженек достался мадам Мухе…

(Никулин обещал приятелям «два роскошных галстука из Севильи непостижимой расцветки совершенно ударного типа» и убежденно предвещал: «В том случае если я вывезу машину — Вы начнете новую и интересную жизнь»[58].)

В разговоре с литератором Борисом Галановым Катаев откровенничал: «Я, знаете ли, побывал и в шкуре бухгалтера Прохорова. А друга своего Юру Олешу представил себе в роли кассира Ванечки Клюквина. На нас моделировал. Что бы мы делали, окажись у нас в кармане казенные деньги?»[59]

«Читая иные страницы повести, не можешь отделаться от странного ощущения, словно перед тобою некое художественное “приглашение к растрате”, — уже в 1974-м писал критик Олег Михайлов. — Будто бы нечто потаенное, отданное чужим, выдуманным судьбам, получило тем самым, не стыдясь себя, возможность свободно выйти наружу».

«Растратчики» — повесть сатиричная, но совсем не веселая, безысходная. Стеклянная трезвость проскальзывающих там и тут добросовестных тружеников, увы, не похожа на альтернативу. В деревне погано и бедно, — видит Ванечка. Не лучше в провинциальных городах. Филипп Степанович непрестанно тоскует по торговому дому «Саббакин и сын» и кричит,

высунувшись из автомобиля: «Даешь государя императора!», отправляясь в особняк к «высшему свету».

Это вообще кульминационная сцена — приход героев в «салон», где собрались «настоящие бывшие»: сановники и баронессы, перед тем заработавшие на съемках фильма «Николай кровавый».

Катаев языком фельетона безжалостно выписывал офицеров и генералов, княжну-черкешенку, по ее словам, из-за болезни матери и эмиграции отца вынужденную заниматься проституцией, к массовке был присобачен «даже один митрополит». Катаев с каким-то садомазохистским удовольствием показывал нелепость раздавленных, некогда благополучных, уверенных в себе людей. Они робко и тревожно согласились показаться в прежнем виде, но постепенно приободрялись. «Думали, что как только наденут свои старорежимные формы, так их сейчас же — бац за заднюю часть и в конверт».

Как из сновидения, появлялся двойник расстрелянного царя. «Он отставил вбок ногу, мешковато осунулся, слегка обдернул гимнастерку штиглицовского материала цвета хаки-шанжан, лучисто улыбаясь, потрогал двумя пальцами, сложенными словно бы для присяги, рыжий ус и затем слабеньким голоском произнес, несколько заикаясь, по-кавалерийски: “Здравствуйте, господа. Очень рад вас видеть”». Эпитет «лучистый» Катаев применял к царю не в последний раз… Но царь мертв. Так же и десант, освобождавший Одессу от большевиков, — это сновидение приговоренных. И ведь автор сам двойник — расстрелянного себя.

Повесть содержала зачаток насмешливо-эпического полотна — «обследования» провинциальной жизни двумя авантюристами, ведущим и ведомым, в сущности, сюжет Ильфа и Петрова, но характерно, что некто, напоминавший Остапа Бендера, возникал уже тут. В ленинградскую гостиницу «Гигиена», где остановились «растратчики», явился господин Кашкадамов, элегантный, чуть манерный, при этом поскрипывая искусственными рукой и ногой. И выпотрошил их кошельки с артистизмом «великого комбинатора». Сначала уверенной безапелляционностью он поверг в страх — все кончено, человек из «органов», а затем, к их облегчению, предложил купить воздух, заплатив 400 рублей за комплекты изданий — «художественного портрета известного композитора Монюшко и популярной сельскохозяйственной брошюры в стихах с картинками о разведении свиней». В описании Катаева «плут» Кашкадамов был то обходителен и речист, то приобретал «вид жестокий и неумолимый, как будто

бы держал всех за горло своей механической клешней». Попивая винцо, он откровенничал о подвигах — посещениях худых и толстых начальников по всему Советскому Союзу и эффектном изъятии у них солидных сумм: «Подъезжаешь, например, на какой-нибудь такой дореволюционной бричке к уездному центру и определенно чувствуешь себя не то Чичиковым, не то Хлестаковым, не то, извиняюсь, представителем РКП». Чем не Бендер?

Демоническая сила крутила двоих, будто вихрь палые листья, но своих «растратчиков» Катаев не демонизировал: с начала и до конца это были не игроки, а жертвы. Жалкие — особенно в финале. И как бы в продолжение их психологических образов звучал приговор — не расстрел, а пять лет лишения свободы.

В 1925 году Катаев принес Воронскому в «Красную новь» повесть «Отец» — не взяли. В 1926-м — «Растратчиков». Воронский на полтора месяца уезжал на Кавказ.

«Я загрустил, на другой день снова зашел в редакцию: “Жалко, что так долго повесть будет лежать”. Воронский мне сказал:

— Почему долго? Я уже послал в набор. Вчера начал читать и прочел…

Повесть и вправду пошла. В том же номере, где появилось начало “Растратчиков”, опубликована и “Дума про Опанаса”[60]. Это был большой дебют южан».

Начались споры. Ругали рапповцы. В 1927-м в «Правде» литературовед Владимир Фриче выступил с фанатичной статьей «Мещанская идиллия», где клеймил «попутчика» за то, что его герой Ванечка хотел бы вырваться из кутежа и найти себя в спокойном труде и семейной радости, а это «мелкобуржуазно» и не может «оказать подлинновоспитательного воздействия на читателя», поскольку «социализм не имеет ничего общего с индивидуалистическим уходом от жизни в тихую гавань семейного счастья».

Спустя месяц после публикации Горький в письме из Сорренто спрашивал одного из своих корреспондентов Долмата Лутохина[61]: «Вы не обратили внимания на повесть Валентина Катаева “Растратчики”, помещенную в 10—12-й книгах Кр. Нови? Очень талантливая вещь», а в письме Ромену Роллану говорил о гоголевском духе произведения.

В 1927 году Олеша становится знаменитым прозаиком, в «Красной нови» появилась его «Зависть», полная цветов метафор и листьев изящества, чему предшествовало чтение этого произведения на квартире Катаева, отмеченное в разных мемуарах. Собралось несколько писателей и критиков, прибыл

новый, сменивший Воронского, главред журнала Федор Раскольников[62].

В 1927-м же Катаеву позвонили из МХАТа и предложили превратить «Растратчиков» в пьесу. Он воспринимал традиционный театр в то время не просто равнодушно, а отрицательно. В его кругу МХАТ «презирали до такой степени, что, приехав в Москву, не только в нем ни разу не побывали, но даже понятия не имели, где он находится, на какой улице». Но звонок был не от Мейерхольда, «продвинутого» любимца одесситов, а от «старомодного» Станиславского. Что делать? Не отказывать же? Пришлось сменить презрение на смирение, узнавать, где тут у вас МХАТ, написать пьесу. Смирение длилось недолго, быть может, конфликт драматурга и режиссера был заложен еще до телефонного звонка — коллективными предрассудками молодых литераторов.

Однако во МХАТе тоже знали об этих предрассудках и, дабы «освежиться», искали современную драматургию, часто на основе уже готовой прозы. Еще раньше, в 1926 году, театр поставил булгаковские «Дни Турбиных», написанные по «Белой гвардии» (Булгаков-то как раз нашел своих, в отличие от коллег он не принимал «леваческих пророков» — что Мейерхольда, что Маяковского, что Татлина). Одновременно с «Растратчиками» МХАТ взялся за пьесы «Унтиловск» Леонида Леонова и «Бронепоезд 14–69» Всеволода Иванова, из-за чего литературный ежемесячник «30 дней» констатировал: «Закончившийся сезон прошел под знаком завоевания театра беллетристами». А в 1930-м на сцену МХАТа вышли с большим успехом «Три толстяка» Олеши.

В начале постановки «Растратчиков» пьесу читал «на труппе» опытный Булгаков, который был уже своим для МХАТа (главное, своим и по настроению), а его отдаление от Катаева все же не означало разрыва отношений. «Когда я написал пьесу “Растратчики”, мне нужно было ее читать в театре. И вот я просто испугался. Это было второе чтение, причем знаменитые актеры МХАТа мне говорили — вы хорошо пишете, но читаете просто ужасно… Я убедил Булгакова прочесть мою пьесу за меня. Он страшно не хотел. Упрямился, морщился. Но все-таки я его упросил. Он с большим мастерством читал пьесу, что обеспечило ее успех у актеров». Актер МХАТа Евгений Калужский отмечал: «Читал Булгаков превосходно. Удивительно умел выделить мысль и найти для этого часто короткую, но самую нужную фразу. Дикция у него была безупречная».

Если доверять Катаеву, поскольку и он, и Булгаков с Олешей работали в «Гудке», Станиславский решил, что имеет дело с

железнодорожниками, и «при случае любил этим козырнуть». «Я сам слышал, как он кому-то говорил: “Утверждают, что Художественный театр не признает пролетарского искусства, а вот видите, мы уже ставим вторую пьесу рабочего-железнодорожника, некоего Катаева, может быть, слышали?”». Похоже на байку, как и другая зарисовка: «Тогда все сотрудники “Гудка” перестали заниматься своими делами и начали писать пьесы. Когда бы вы ни пришли в “Гудок”, у всех на столах лежат пачки бумаги и все пишут пьесы для Художественного театра».

Общение «рабочего» с режиссером стало тесным. Начинал постановку «Растратчиков» Илья Судаков, затем Станиславский взял весь творческий процесс под пристрастный контроль (он увидел в повести подобие «Мертвых душ»). Вот между ним и Катаевым и затеялся большой спор по поводу того, как надо ставить пьесу.

Катаев даже приехал к нему в Кисловодск, где продолжали спорить о постановке, и отдыхающий зачитывал по главам книгу «Моя жизнь в искусстве». Спорили и в театре. «Кричали мы со Станиславским иногда до утра, в полном смысле слова. Помню, однажды начали спор у него в директорском кабинете во время какого-то вечернего спектакля, а кончили в половине четвертого утра на лестнице, куда меня проводил Станиславский, причем оба после такой бурной ночи были свежие как огурчики, только немного охрипли».

Катаев хотел «сатирической феерии», но «попал в беду»: «У него был полный отказ от театральности. Требовал в идеале — три стены, два человека… У меня был свой замысел: гротеск, сатирическая фантастика — оживает прошлое, царь участвует… У героев должны были быть увеличенные руки, головы; они мечутся, мелькают на странных причудливых лестницах, появляются в окошечках, резных, на черном бархате, — словом, выдумка, фантасмагория.

— Нет, нет, этого не будет, — сердился Станиславский, — я не позволю делать из МХАТа так называемый второй МХАТ» (режиссер переживал из-за отколовшихся учеников).

И добавлял: «Или, еще того хуже, театр Мейерхольда».

Шифровка проста: что, к Мейерхольду хочешь? Иди, модничай! Или не звонит тебе Мейерхольд?

«Ну что вы, что вы…» — вздыхал Катаев. Но с каким удовольствием переметнулся бы, когда б позвали! «Я требовал ультралевой, сверхмейерхольдовской постановки».

Игравший Ванечку Клюквина Василий Топорков вспоминал о «беспокойстве и творческих страданиях» Станиславского, чья работа над пьесой «была чрезвычайно напряженная, нервная»:

«Даже видавшие виды мхатовцы покряхтывали… Спектакль явно не удавался».

Он и не удался.

Объясняя неудачу, Катаев упрекал режиссера в старомодности, когда приходилось втолковывать элементарные признаки новых реалий. «Я даже однажды потребовал вернуть мне рукопись. Ездил к Луначарскому, чтобы он велел снять спектакль».

Катаева раздражало, что приходится влезать в режиссерские дела, расчищая нагромождения неточностей: «Вот, например, сцена с мужиками в “Растратчиках”. Я настаивал, что носят они пальто, шапки, почти по-городскому одеты. А театр нарядил их в духе “Власти тьмы” — полушубки, бородищи, под скобку стрижены».

Станиславский, придя на одну из репетиций, не мог понять, зачем у входных дверей квартиры на сцене столько звонков. Достаточно одного! Катаев говорил: «У меня в ремарке стояло: “3 длинных и один короткий”. Постановщик удивился: “Что за странные звонки, что это означает?” — И мне пришлось объяснять, что такое коммунальная квартира». Тогда «несовременный» Станиславский предложил: «Надо напечатать на афише, что это пьеса из жизни людей, не имеющих отдельной квартиры».

Но, возможно, причина провала в том, что повесть «Растратчики» была обманчиво драматургична. Она брала ярким языком, однако неуспех постановки мог быть связан с блеклостью героев, отсутствием явного конфликта, тоскливым финалом. Топорков отмечал отсутствие единого целого — «ряд отдельных мастерски поставленных эпизодов». Не проистекало ли это из самого текста?

Впоследствии Станиславский тоже заговорил о неправильной постановке: «Я не понял почерка Катаева, его видения людей, событий…» Как бы солидаризируясь с критиками, уличавшими Катаева в том, что он «ничему не учит» («не стремится вздыбить мир!»), режиссер признавал: вместо «излишней психологии», без обличений и трагизма, надо было ставить веселую фантасмагорию, где есть лишь «накипь жизни, мыльный пузырь, переливающийся всеми цветами радуги, чтобы через секунду лопнуть», и даже раскаивался в своем поведении: «Давай и Катаева кроить вдоль и поперек. А он сам закройщик!» Катаев себя тоже не выгораживал: «Был лишь молодой неопытный автор, вытащенный из самой гущи жизни, и был великий режиссер, который совершенно не понимал этой гущи жизни и не знал, как взяться за ее изображение».

Спектакль прошел всего-то 18 раз и был навсегда снят. Любопытно, что эта неудача занозила писателя всю последующую жизнь и уже в последние годы он вернулся к работе над «Растратчиками», пытаясь переделать пьесу.

Зато в том же 1928-м, когда «Растратчики» провалились, Катаев выстрелил во МХАТе лирическим водевилем «Квадратура круга» и наконец-то получил признание как драматург. «“Растратчики” — с божьей помощью и при содействии Станиславского провалили, — констатировал он, — а “Квадратура круга” с той же божьей помощью и при том же содействии Станиславского превратилась в подлинный сценический шедевр».

Повесть оказалась несравнимо успешнее, чем пьеса. Неожиданно начали переводить на европейские языки, обсуждать в зарубежной прессе̂ «Растратчиков» издали одновременно в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Вене, Будапеште, Праге, Варшаве, Мадриде. В «Литературной газете» английский романист Хью Уолпол рецензировал книгу: «Ее можно читать для удовольствия, но к ней можно относиться как к произведению высокой литературы и как к социальному этюду». Павел Катаев вспоминает: «Судьбой своей повести отец иллюстрировал наблюдение, что в Советской России успех любого произведения искусства (литературы ли, музыки или живописи) “диктуется” признанием этого произведения на Западе.

— Признание здесь, у нас, приходит с Запада, — повторял отец».

А звонок из МХАТа писатель объяснял так: «Немирович-Данченко побывал в Америке и привез в Москву новость об успехе каких-то неведомых ему “Растратчиков”».

Из дневника Всеволода Иванова: «Катаев задумчиво ходит по комнате, рассказал, что получил из Англии за перевод “Растратчиков” десять фунтов, и затем добавил: “А как вы думаете, получу я Нобелевскую премию?”». Какая-то шпионская сцена. Действительно, с англичанами получилось странно. По словам сына, Катаев «легкомысленно отнесся к письму из одного из английских издательств с предложением перевести на английский язык и издать для англоязычных стран “Растратчиков” и в ответе дал согласие, не обратив внимания на предложенную издателем смехотворную сумму авторского вознаграждения». В Москву прислали всего несколько фунтов. По утверждению сына, за Валентина Петровича тогда вступились маститые писатели-британцы (названы Герберт Уэльс, Бернард Шоу), написавшие письмо в его поддержку (конспиролог, помешанный на особом влиянии Британии на Россию, скажет:

ага, не зря Катаев собирал в 1918-м приветствия англичанам), но алчность издателя оказалась прочнее всех попыток его усовестить. «Таковы законы капитализма, — говорил отец. — Закон джунглей!»

О том же Катаев рассказывал и Галанову, называя имя «скупердяя-издателя» — Бэн и негодуя по поводу десяти фунтов и упущенных денег: «Знаете, сколько вы получите? — спросил меня знакомый английский журналист и вывел на листке бумаги длинную колонку цифр. — За разными там вычетами четырнадцать тысяч долларов чистыми. Как за бестселлер».

Кстати, повесть экранизировали: в Германии в 1931 году появилась экспрессивная комедия Фрица Кортнера «Der brave Sünder» («Усердный грешник»), я смотрел — бурно, сочно, безумно. И герои — какие-то адские болваны. События были перенесены в Германию, но в нужный момент среди вертепа (одна из соблазнительниц — гибкая певунья-негритянка) русский эмигрант в окружении джигитов начинал распевать «русскую народную» песню: «Где в снегу Казбек навеки уснул, там мой дед-абрек имел свой аул».

Сразу вспомнилось, что Гитлер (по воспоминаниям Розенберга, Шпеера и Геббельса) жаловал рассказы Зощенко и задыхался от хохота над его «придурковатыми» персонажами, возможно, ошибочно видя в них типичных жителей России — противников, которых будет нетрудно сломить.

КАТАЕВ И ГОРЬКИЙ

В 1927 году Катаев, Леонов и Бабель подали заявление на выезд и получили разрешение. Всё, большевики за спиной, «свободный мир»! Но зачем и куда бежать, если дома ты обеспеченный «начинающий классик», а внимание к твоей прозе иностранцев — это во многом боязливый интерес ко всему «советскому»? Да и кем ты пригодишься чужбине?

Бабель моментально откололся от компании. Катаев собирался путешествовать через Берлин в Италию «по собственному маршруту». И только Леонов хотел к Горькому, и напросился. «А я и не думал к нему ехать», — признавался Катаев. Но Леонов уже сообщил в Сорренто, Горький ответил письмом, адресованным обоим: «Поселитесь же вы через дорогу от меня… И — выпьем».

Ехали оба с женами через живописные места и с остановками: сначала Германия, затем из Рапалло в Неаполь, поездом до Кастелламаре (привязался любопытствующий фашист и даже вызвал полицейского), оттуда в Сорренто.

Спустя годы Леонов рассказывал своей знакомой, литератору Лидии Быковцевой, что Катаев почувствовал себя в приморской Италии «как дома», в «родной стихии». Ему нравились крики, жара, суматоха. Он немедленно ринулся осматривать Неаполь.

«Ему не терпелось посмотреть прославленный оперный театр “San Carlo”, чтобы сравнить его с родным одесским оперным театром, и во многом в пользу последнего. Он с гордостью рассказывал, как в равной степени и на неаполитанской оперной сцене, и на одесской — блистал непревзойденный Лоэнгрин, Орфей — Леонид Витальевич Собинов… Катаев торопил всех подняться фуникулером на холм Вомеро, чтобы оттуда охватить взглядом панораму города, залив, разбросанные в нем острова…»

Анна Коваленко сообщала матери на обратной стороне фотокарточек:

«Милый мой Мусенок!

Посылаю тебе эту красоту с видом Неаполя. Это я и Валя. Узнать нас трудно. Но пальмы и Неаполь самые настоящие. Я улыбаюсь, но мое новое платье и его красота пропали»;

«Вот еще один экземпляр Муси. Видишь, как она печальна. Это оттого, что солнце, и Валя ее любит. Целует тебя крепко, крепко.

Муся. Италия. Европа».

По мотивам увиденного в Рапалло Катаев написал рассказ «Актер» для журнала «Современный театр», форсисто поставив в

конце название этого курортного городка. «Актер» — зарисовка с натуры: «веселый любитель» подвыпивший шофер разыгрывает сценки в итальянском трактирчике: «Поздние посетители с дешевыми соломенными шляпами на затылках валились праздничными галстуками в мокрые клеенки столов. Они колотили, корчась, друг друга в спины загорелыми кулаками, рыдали от смеха, опрокидывая локтями плетенки кьянти: вино текло на пол».

Действительно, как и указывал Горький, поселились там, где и все паломники, напротив его виллы, в гостинице «Минерва». «А, “воры” приехали, “растратчики” приехали!» — приветствовал он (у Леонова только что вышел роман «Вор»). А мог бы и так: «А, беляки пожаловали!» (Леонов, как и Катаев, скрывал свое прошлое — служил у белых в 1919-м в Архангельске.)

Жуткая жара, дым над Везувием, слепящее море, апельсиновый сад, сытная еда — домашняя и в тратториях, траппа и кьянти, базары с фруктами, оперный театр… Отношения между Катаевым и Леоновым не заладились еще тогда и были плохи всю жизнь. Учитывая позднейшие оценки Катаевым леоновской литературы, можно предположить, что во многом это были стилистические разногласия. Легкого и звонкого Валентина не влекли сумрачные сюжеты Леонида, илистая вязкость языка… «Он же тяжелый, как битюг», — говорил он.

Спустя шесть лет после Сорренто, в 1933-м, Катаев не преминул лягнуть Леонова (а заодно и Лидина), не поехавшего с ним в Ярославль, в «литгазетной» заметке-жалобе, озаглавленной «Открытое письмо».

«В самый последний момент, перед отходом поезда, вы, уже будучи с вещами на перроне перед вагоном, категорически отказались ехать.

— Почему?

— Потому что вагон жесткий, — ответили вы. — А нам обещали мягкий.

Никакие уговоры не подействовали.

Поезд ушел без вас.

Должен заметить, что хотя вагон был и жесткий, но хорошо оборудованный, чистый и снабженный постельными принадлежностями. Но это не важно. Ехать до Ярославля всего несколько часов. Я думаю, что если бы даже это была теплушка и ехать нужно было бы сутки, то и тогда вы обязаны были ехать. Писателей ждал ярославский пролетариат, партийная организация, общественность. А с этими вещами, дорогие товарищи, не шутят. Не следует забывать того, что мы не просто писатели, а советские писатели.

Мне стыдно за вас перед ярославскими рабочими. Объясните свое поведение».

Что побудило Катаева так выступить (его реплика звучала анекдотично, как у героя Зощенко)? Есть какая-то двусмысленность: любитель шикарных вагонов уличал других в том, в чем обычно уличали его — в желании комфорта. Не было ли это ответом тому же Леонову (кстати, уже в 1960-е Чуковский сослался в дневнике на слова Катаева о том, что Леонов будто бы накатал Сталину донос на «южан»)?

Вот и Леонов с Лидиным отозвались на катаевские обвинения именно в духе «не суди по себе»: «Глупо и недостойно предполагать, что неподходящий вагон мог послужить причиной нашего отказа ехать».

Конечно, невозможно видеть в каждом тексте травлю — шла перекрестная полемика и о литературе, и о жизни, все горячо спорили, обменивались ударами, упреками, призывали друг друга «не сглаживать углов»… Правда, чем дальше, тем сложнее было отделить личное суждение от участия в кампании, а пламенный призыв к совести товарища от поклепа на него, и это сильно мешает в работе с архивами, замутняет понимание, где прямота, а где подлость, где искренность, а где фальшь. А может, хватало и того, и того вперемешку, как всегда?

Вернемся в Сорренто… «Этот тип выжал из знакомства с Горьким все возможное», — ревниво заметил как-то Леонов. В чем выражалось «выжимание» — загадка, поскольку у Горького и Катаева душевной близости не возникло. Но, понятное дело, Катаев видел в Горьком «полезного человека» и хотел ему понравиться. Скорее героем тех двух недель стал Леонов, который пел народные песни, читал свою прозу (Горький тоже прочитал несколько глав из «Клима Самгина») и приглянулся хозяину. «Замечательно и весьма по-русски талантлив… и вообще он “страшно русский” художник», — охарактеризовал он его в письме литератору Александру Тихонову, хотя и отметив невежество гостя, и прибавил: «Был Катаев — этот еще вопрос». По всей видимости, Горький тогда воспринимал Катаева прежде всего сатириком, не только автором нашумевшей повести, но и бесчисленных фельетонов, поощрительно наставляя: «Вы ни за что не отказывайтесь от сатиры, от юмора. Трудно будет, терпите…» Катаев если и пел, то подпевал, чувствуя себя не вполне своим на празднике «простонародности». Можно предположить, что разлом проходил по «линии Бунина», чей дух незримо витал над волнистым чубом ученика… Бунин считал «босячество» Горького нарочито-нестерпимым, и, возможно, теперь раздражение Катаева подпитывало то, как, казалось бы,

подыгрывал хозяину «мужичок» Леонов (с которым, клюнув на образ добра молодца, безуспешно пыталась переспать горьковская любовница Будберг).

Отчуждение смягчал алкоголь. Оглядываясь на Сорренто, Катаев старался вспоминать примиряющее — море, напитки, смех и бурную ночь веселья: «Пели хором, гуляли, плясали. И Горький плясал больше всех». На рассветный вопрос о возрасте он лихо, сверкнув глазами, ответил: «Семнадцать», хотя было ему уже под шестьдесят.

Много позже в повести о Ленине, касаясь пребывания «вождя революции» у Горького на Капри, Катаев вновь припоминал свой отдых: «Со стола целый день не сходила еда, совершенно так, как в горьковских пьесах. Ели, пили, закусывали. Только еда была итальянская — много зелени, рыба, спагетти, рисовый суп с лимоном, розовое или белое каприйское вино, сыр гарганзола и в большой вазе серо-лиловые морщинистые фиги и зеленый миндаль, который не кололи щипцами, а разрезали ножом — так нежна была еще не затвердевшая скорлупа под мясистой суконно-зеленой кожей, — и лакомились еще не вполне созревшими миндалинами восковой спелости. Они были упоительно вкусны, особенно после глотка прохладного розового “тиберия”… И разумеется, целый день, начиная с часу дня — до этого времени Горький уединенно работал, — множество самого различного народа, шум, споры, дискуссии, чтение старых и новых стихов, прозы, шутки, смех, остроты, даже забавные переодевания и нечто вроде шарад». Эти развлечения Катаев называл «пустыми словопрениями».

Интересно, что в «Алмазном венце» в уста Бабеля вложены следующие слова: «Вы сами не понимаете, что такое Бунин. Вы знаете, что он написал в своих воспоминаниях о N. N.? Он написал, что у него вкрадчивая, бесшумная походка вора. Вот это художник!» Между тем N. N. — это Горький, а бунинские воспоминания были очень жесткими. В подтверждение своего эпитета «воровская щеголеватость» Бунин разворачивал против Горького множественные обвинения в жульничестве, изображая лицедеем и лицемером в интонациях, манерах и литературе.

В 1928 году по приглашению Сталина Горький вернулся, совершил пятинедельную поездку по стране и отправился обратно в Италию. Ему предстояло еще раз приехать летом 1929-го (посетив Соловки) и окончательно перебраться в СССР в 1932-м.

28 мая 1928 года Горький остановился в Маппсовом переулке в особняке у первой жены Екатерины Пешковой. На вокзале его встречали красноармейцы, пионеры, члены партии и

правительства, писатели, среди последних — Леонов. Катаев в «Алмазном венце» выдавал себя за стороннего наблюдателя, увидевшего, как по Харитоньевскому переулку прокатил высокий открытый автомобиль с «великим пролетарским писателем», только что торжественно принятым на вокзале. «Лицо и руки его были оранжевыми от итальянского загара».

Вскоре они встретились, что следует из мемуаров Федора Раскольникова, который, перечисляя писателей, пришедших к Горькому в Машков и собравшихся в небольшой столовой, кроме Всеволода Иванова, Юрия Олеши и Владимира Лидина, называл и Катаева.

Олеша вспоминал, что попал туда, потому что Катаев сказал по телефону позвонившей ему Екатерине Пешковой: «А можно и Олеше прийти? Да, да, Олеша. Можно?»

«Просто чтобы войти в подъезд Горького, нам нужно было всего-то лишь оказаться по ту сторону дома, где мы находились, — писал Олеша. — И вот комната в доме Горького, столовая. Первое, что мне бросается в глаза, это кружки колбасы на тарелке — той колбасы, которая теперь называется любительской».

Затем Горький в компании Енукидзе, Орджоникидзе и Ворошилова пришел на катаевскую «Квадратуру круга» — выездной спектакль МХАТа в тогдашнем Театре Красной армии.

В 1928 году Федор Гладков упрекнул Горького, что тот комплиментарно перечисляет «попутнические» имена Катаева, Толстого, Сергеева-Ценского, Пришвина, но замалчивает «нужных», на что Горький парировал: «Есть писатели плохие и есть хорошие… поэтому плохие писатели должны учиться у них, как надо работать».

Но Горький же, вспоминал Катаев, ополчился на повесть «Отец», которую в 1928-м он дал ему в верстке: «Страшно исчеркал и страшно поругал».

Катаеву и Горькому еще предстояли встречи в 1930-е годы, но пока приведу запись из дневника литературоведа Валерия Кирпотина за 1975 год, как мне кажется, передающую многое: «В декабре, кажется, на квартире Горького был вечер памяти писателя. Жалкие обломки минувшей жизни. Слово дают по чинам. Выступает первым Валентин Катаев, чуждый Горькому и по жизни, и по творчеству, и по идеалам. Катаев талантлив очень, но тут он не на своем месте. Говорит:

— Отключите микрофон».

«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

Какое бы издание «Двенадцати стульев», на каком бы языке мы ни открыли, везде на первой странице — буквенный памятник рабовладельцу: «Посвящается Валентину Петровичу Катаеву».

Рабовладельцу, потому что Катаев решил сделать брата и друга своими «неграми». Эту историю пересказывали многократно на разные голоса.

Осенью 1927 года, войдя в комнату «четвертой полосы» «Гудка», Катаев предложил Евгению Петрову и Илье Ильфу, уже, как мы помним, им облагодетельствованным, опеку в новом проекте — расцвести под солнцем его славы. Из записей Петрова: «Валя собирается создать литературную артель на манер Дюма-отца».

Он предложил им вместе писать книги. В отличие от Дюма он избавит своих работников от анонимности, но пусть на обложке красуется и его имя — знаменитый и успешный брат и собрат расчистит им дорогу.

Катаев, очевидно, решил развить тему «Растратчиков», увлеченный «движущимся героем», который, путешествуя, создает сюжет и портретную галерею современных типажей. Это может быть и не один герой, но главное — движение и азарт: желать обогащения, как Чичиков, сорить присвоенными деньгами, как «растратчики», или… И он преподнес готовую фабулу плутовского романа: «Поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев, разбросанных революцией по стране». Он взялся отредактировать то, что получится, «рукой мастера» — вылепить нужные формы из глины, которую разомнут «негритянские» руки, ну и, конечно, пристроить в печать.

Тоном демиурга он впоследствии спрашивал себя, почему выбрал именно эту пару для литературного скрещивания, и, не находя ответа, винил во всем свой «собачий нюх»: «Я предложил им соединиться. Они не без любопытства осмотрели друг друга с ног до головы». И согласились.

Таким образом, Катаев не только сделал из них (в первую очередь из брата) авторов, но и придумал знаменитое соавторство, которое не ограничилось «Двенадцатью стульями» и слепило две фамилии в произносимую слитно «Ильфипетров».

У Катаева про запас было несколько искристых фабул, и поначалу Петров, который об этом вспоминал, и Ильф собирались писать разные романы, а потом решили соединить усилия.

Катаев отправился на Зеленый Мыс под Батумом доводить до конца «Квадратуру круга», а от сотворенной им парочки

требовалось, пускай и вчерне, начать писать. Он хвастал, что уехал, «оставив моим крепостным довольно подробный план будущего романа». По версии Петрова, схему с двенадцатью стульями расписали он с Ильфом и лишь представили ее на суд мэтра:

«— Валюн, пройдитесь рукой мастера сейчас, — сказал Ильф, — вот по этому плану.

— Нечего, нечего, вы негры и должны трудиться».

По Катаеву, пока он плавал, выпивал и сочинительствовал, они принялись бомбить его телеграммами, требуя инструкций по поводу сюжетных коллизий. «Сначала я отвечал им коротко: “Думайте сами”. А потом и совсем перестал отвечать, погруженный в райскую жизнь». В Батуме ему, по всей видимости, сопутствовали грузинские поэты Тициан Табидзе и Паоло Яшвили, чьи жизни оборвутся в 1937-м. Там, в Грузии, под осенним, еще ярким солнцем Катаев завершил свой водевиль и читал его вслух, проверяя эффект на «целевой аудитории» (в альбоме Кручёных — фотография с катаевской подписью: «Осень под Батумом на Зеленом мысу, где я писал второй акт “Квадратуры”. Сидят первые слушатели. Средний — комсомолец Юрочка Иванов, служивший парткомпасом»).

А Ильф и Петров писали без остановки — после рабочего дня в редакции с вечера и до глубокой ночи. Это был их первый опыт большой прозы. Петров вспоминал: «Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью. Мы уходили из Дворца труда в два или три часа ночи, ошеломленные, почти задохшиеся от папиросного дыма. Мы возвращались домой по мокрым и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова».

Когда через месяц отсутствия Катаев вернулся, перед ним развернули папку с первой внушительной частью романа. К унылому Воробьянинову, изначально Катаевым придуманному и близкому его «растратчикам», добавился наступательно-победительный Остап Бендер.

«Мы никак не могли себе представить — хорошо мы написали или плохо, — признавался Петров. — Если бы Дюма-отец, он же Старик Собакин, он же Валентин Катаев, сказал нам, что мы принесли галиматью, мы нисколько не удивились бы. Мы готовились к самому худшему».

Но, слушая чтение, «старик», по его признанию, уже через десять минут понял, что книге предстоит «мировая слава». Он немедленно благородно отказался от соавторства и пообещал перезаключить договор на публикацию, который уже успел

подписать: «Ученики побили учителя, как русские шведов под Полтавой. Заканчивайте роман сами, и да благословит вас Бог». Теперь он попросил лишь о двух условиях: во-первых, посвятить ему роман и чтобы это посвящение было во всех изданиях, а во-вторых, с гонорара за книгу одарить золотым портсигаром. Зачем он по-вороньи взалкал золота? Захотелось яркого символа, повседневно напоминающего об успешном «дéльце»?

С января 1928 года завершенный в том же месяце роман начал публиковать журнал «30 дней», где завредом был хороший знакомый всех троих Василий Регинин, а ответственным (то есть главным) редактором еще «более лучший» знакомый Владимир Нарбут, из чьих рук, по определению Надежды Мандельштам, «одесские писатели ели хлеб» (левая рука, напомню, отсутствовала). В 1928-м в нарбутовском издательстве «Земля и фабрика» вышло первое книжное издание романа, и тогда же в том же издательстве появилось двухтомное собрание сочинений Катаева[63].

Исследователи Михаил Одесский и Давид Фельдман, комментируя «Двенадцать стульев», приходят к выводу, что Катаев договорился с журналом о романе еще до того, как он был написан, пробив публикацию весом своего имени. Они называют создание романа «отлично задуманной и тщательно спланированной операцией», разъясняя: «соавторы торопились, работая ночи напролет, не только по причине природного трудолюбия, но и потому, что вопрос о публикации был решен, сроки представления глав в январский и все последующие номера журнала — жестко определены». Одесский и Фельдман даже предполагают, что Нарбут предложил Катаеву сформировать «писательскую бригаду» для быстрого создания «антилевацкого» романа (и авторы «Двенадцати стульев» с этим справились), ведь в ту пору, весной — осенью 1927-го, обострилась полемика Сталина с Троцким, громившим нэп и предвещавшим крах строя: «Сюжет “Двенадцати стульев” идеально соответствовал тезисам официальной пропаганды… В СССР сложился “новый социалистический быт”, потому “реставрация капитализма” невозможна в принципе». В ранней версии романа и вовсе высмеивался вселенский пожар: у Грицацуевой «линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до мировой революции». Впрочем, подгонка романа под актуальные политические задачи остается лишь гипотезой исследователей.

Итак, столкнувшись с Бендером (героем, определившим бешеную популярность и неумолимую притягательность романа), Катаев понял: это оригинальное чужое произведение, на которое

он не имеет прав. «Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, — замечал Петров, — почти что эпизодическое лицо… Но Бендер стал постепенно выпирать из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним как с живым человеком и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу». На мой взгляд, Бендер — образ собирательный, герой времени. Немало его прототипов встречались Ильфу и Петрову, особенно в Одессе. Немало артистичных и энергичных аферистов сновало в текстах самого Катаева — начиная с Сашки в подростковом рассказе «Темная личность», через фельетонного Ниагарова, к Кашкадамову с «механической клешней» в «Растратчиках». (Кашкадамов: «Одно из двух — берете три комплекта изданий Цекомпома или не берете? Короче. Мне некогда, товарищ. У меня в четверг, товарищ, доклад в Москве, в Малом Совнаркоме». Бендер: «Жена? Бриллиантовая вдовушка? Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме».) Элегантный пройдоха Аметистов обводил всех вокруг пальца в булгаковской «Зойкиной квартире», не переставая мечтать о Лазурном Береге. Но совсем другое дело — сделать ловкого и обаятельного циника ключевой фигурой целого романа, так чтобы читатель, затаив дыхание, следил за его приключениями.

Катаев в «Алмазном венце» утверждал, что прототип Остапа — Осип (Остап) Беньяминович Шор, уже упоминавшийся здесь одесский авантюрист, а затем инспектор уголовного розыска, брат безвременно погибшего поэта Анатолия Фиолетова («имя Остап сохранено как весьма редкое»), чью внешность романисты передали почти полностью: «атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер». Согласно изысканиям нескольких украинских журналистов, Осип в 1918–1919 годах, возвращаясь из Петрограда в Одессу, дабы не пропасть, проворачивал разные комбинации: представился художником и устроился на агитационный волжский пароход; слабо умея играть в шахматы, назвался гроссмейстером; выдал себя за агента подпольной антисоветской организации. Кроме того, он провел всю зиму у пухленькой женщины, обнадеживая ее скорой женитьбой. Будто бы Шор увлекательно рассказывал своим одесским знакомым об этих и других авантюрных приключениях. В 1937 году Шор загремел на пять лет в лагерь, а под конец жизни работал проводником поездов дальнего следования. Умер он в 1978 году.

Однако есть мнение, что прототипом Бендера был сам Катаев.

Об этом писал грузинский литературовед А. Пчхеидзе: «Когда

Бендер появился на первой же странице “Двенадцати стульев”, он уже был похож на свой прототип — на талантливого, остроумного и склонного к авантюре Валентина Катаева» и добавлял, что пародийное изображение мэтра было местью за его отъезд. Об этом пишет Давид Фельдман: «Остап Бендер походил на многих, прежде всего — на Валентина Петровича Катаева. Это действительно портрет Катаева, как подтверждают многие современники, Катаев примерно так выглядел, примерно так шутил. Кстати, на портрете в первом книжном издании портрет Остапа Бендера — портрет Валентина Катаева». Об этом же — подробная «новомирская» статья «Одинокий парус Остапа Бендера» критика Сергея Белякова: «Почему бы не предположить, что общение с Катаевым помогло деликатным и интеллигентным Ильфу и Петрову создать образ энергичного и напористого Остапа Бендера? Мне это представляется совершенно очевидным». Обоснований немало: «Бендер был эпикурейцем, как и Катаев», оба были «великими комбинаторами», получали удовольствие от управления другими (для этого и нужен пугливый Воробьянинов), да и герой автобиографического рассказа «Медь, которая торжествовала» «вскрывает» своего издателя на 20 рублей с напористостью Остапа Ибрагимовича, вдобавок «турецко-подданный» рифмуется с «красной турецкой феской», которую нахлобучил Катаев, авантюрно освобождая Симу Суок из плена одесского бухгалтера.

Такое мнение кажется занятным, но все же натянутым. Одно — вульгарный романтизм наживы, обмана, свойственный безвкусно-пошловатому и грубо-напористому «идейному борцу за денежные знаки», другое — тонкий, лиричный Валентин, испытывавший острые чувства (чувство влюбленности, чувство трагичности), воспринимавший «роскошь», пускай и вырванную железной волей, как вариант поэзии и награду за свой писательский труд. Остап далек от художественного творчества, без которого Катаев терял свою суть, ведь и все его предприятия, даже самые дерзкие, были именно в области сочинительства. Но что-то из катаевских персонажей и его «житейского образа» несомненно досталось и Остапу. Также в роман вошли поведанные Катаевым хохмы или происшествия. Надежда Мандельштам, вспоминавшая о «фольклоре Мыльникова», уточняла: «…многие из этих шуток мы прочли потом в “Двенадцати стульях” — Валентин подарил их младшему брату». Хотя понятно, что и в Мыльниковом, и в «Гудке» происходило своего рода обобществление юмора.

Как сказала мне Людмила Коваленко, прототипом Эллочки-людоедки была ее тетя — Тамара Сергеевна, тоже работавшая

ретушером, как и катаевская жена, а прототип Фимы Собак — подруга Тамары Раиса Аркадьевна Сокол, впоследствии прошедшая всю войну медсестрой… Обе обожали вещи и разговоры о них.

Петров рассказывал, что для образа Воробьянинова пригодились черты его и, соответственно, Катаева двоюродного дяди — председателя уездной управы.

Сам Катаев так судил о присутствии прототипов в романе: «Замечу лишь, что все без исключения его персонажи написаны с натуры, со знакомых и друзей, а один даже с меня самого». Я уже упоминал инженера Брунса с «голосом шаловливого карапуза» (в нем, в отличие от Бендера, Катаев признавал себя) и его сурово-хозяйственную жену Мусика.

Ильф и Петров не ограничились прожорливым персонажем с наливными губами, как бы растворенным в природе («дольче фар ньенте», то есть с итальянского «сладкой негой» назвал свое пребывание на Зеленом Мысе Катаев): «Тропическая флора ластилась к инженеру… розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям». Намеки и пародии на мэтра разбросаны по всей книге. В ранней редакции романа «модный писатель Агафон Шахов» приезжал на извозчике в «Дом народов» (то есть Дворец труда, где располагался «Гудок» — в романе «Станок»): «Писать и печататься он начал с пятнадцати лет, но только в позапрошлом году к нему пришла большая слава». Этот Шахов направлялся за гонораром прямиком к кассиру, с которого списал «растратчика» в своем свежем произведении «Бег волны», и спрашивал у коллег: «А что, “милостивый государь” еще не растратился?» При этом дорога к сюжету о растратчике была у «модного писателя» извилистой: «Критика зашипела и стала обращать внимание писателя на узость его тем. Шахов испугался. И погрузился в газеты… Шахов быстро перешел на проблему растрат. Ответственный работник был обращен в кассира, а дамочки оставлены. Над характером кассира Шахов потрудился и наградил его страстями римского императора Нерона. Роман был написан в две недели и через полтора месяца увидел свет».

Дальше — больше. Кассир «Станка» Асокин принялся за чтение книги о растратчике, подаренной ему Шаховым. «Главы седьмая, восьмая и девятая были посвящены описанию титанических кутежей “милостивого государя” со жрицами Венеры в обольстительнейших притонах города Калуги, куда, по воле автора, скрылся кассир». Асокин досадовал на то, как неумело транжирит деньги герой, да и «кокаинистке Эсмеральде» он предпочел бы даже «простоватую Феничку». Зато от гастрономии и предметов роскоши читатель млел, и здесь,

похоже, пародировалась не только катаевская описательная и метафорическая избыточность, но и его образ жизни и упования: «Хорошо были описаны кабаки — с тонким знанием дела, с пылом молодости, не знающей катара, с любовью, с энтузиазмом и приятными литературными подробностями. Семга, например, сравнивалась с лоном молодой девушки, родом с Киоса. Зернистая икорка, эта очаровательная спутница французских бульварных и русских полусерьезных романов, не была забыта. Ее было описано по меньшей мере полпуда… Шампанские бутылки, мартеллевский коньяк (лучшие фирмы автору романа не были известны), фрукты, “шелковая выпуклость дамских ножек”, метрдотели, крахмальные скатерти, автомобили и сигары — все это смешалось в роскошную груду». На следующий день воодушевленный Асокин украл из кассы «Станка» пять тысяч рублей, истратил сотню на «девиц» и с повинной явился в МУР.

«Позвонили Шахову. Шахов обрадовался.

— А?! — кричал он в телефон. — Не в бровь, а в глаз! Ну, кланяйтесь “милостивому государю”!.. Что? Незначительная сумма? Это неважно. Важен принцип!

Но приехать лично на место происшествия Шахов не смог. Под его пером трепетала очередная проблема — проблема самоубийства».

Перед судом Асокин приходил к писателю, и тот советовал ему винить во всем книгу («Так и так, скажи, писатель Агафон Шахов, мол, моральный мой убийца… Да не забудь про порнографию рассказать, про голых девочек…») — главное указать цену и где продается. Выпроводив кассира, писатель звонил в издательство: «Печатайте четвертое издание “Бега волны”, печатайте, печатайте, не бойтесь!.. Это говорит вам Агафон Шахов!»

Не так ли: «Не бойтесь! Это говорит вам Валентин Катаев!» — покровитель «Двенадцати стульев» заранее утверждал публикацию романа у редакторов «30 дней»?

Катаев вспоминал, что «в один прекрасный день» получил обещанный золотой портсигар, правда, раза в два меньше ожидаемого. «Эти жмоты поскупились на мужской». Младший брат осадил старшего чеховским: «Лопай, что дают», и все трое «отправились обмыть дамский портсигарчик в “Метрополь”». (Остап в «Золотом теленке» «нес на себе семнадцать массивных портсигаров с монограммами, орлом и гравированными надписями».)

А книга, поначалу встреченная критикой упреками в «пустоте», «безыдейности», «уклонизме» или трусоватым молчанием, действительно обрела огромную славу.

Дальнейшая судьба романа (и его продолжения — «Золотого теленка») тоже была непростой, но что с того — теперь это несомненная классика.

Между тем благодетельная активность Катаева не иссякала. Осенью 1928 года он (опять-таки через нарбутовское издательство и по ильфо-петровскому варианту!) «сделал писателем» Эмилия Миндлина, вернувшегося из Арктики, которую тот рассекал на ледоколе:

«Одним из первых, кого я встретил на улице тотчас по возвращении, был Валентин Катаев. Поздравив меня, он сообщил, что еще в то время, когда в московских газетах печатались мои корреспонденции с борта “Красина”, он посоветовал издательству “Земля и фабрика” “на корню купить мою книгу о знаменитом походе во льдах”.

— Скорее идите в “Зиф”! Вас ждут. Скорее!

Впервые в жизни я переступил порог издательства в качестве автора ненаписанной книги. Договор был подписан с быстротой, которая сейчас показалась бы фантастической. Так Валентин Катаев стал крестным отцом моей первой книги».

Как мы видим: при всей бурной деятельности Катаев не отказывал себе в развлечениях и отдыхе, с удовольствием отправляясь на море, в том числе в родную Одессу.

«Я познакомился с Катаевым в 1928 (или в 1929 году) на одесском пляже, — вспоминал поэт Семен Липкин, — на “камушках” — излюбленное место начинающих сочинителей. Его, приехавшего из Москвы на родину, привез Сергей Бондарин, он был ближе к нему по возрасту, чем остальные. Дети на “камушках” не купались, там было глубже, чем в других местах на Ланжероне. Катаев окинул всех близорукими, но быстро вбирающими в себя глазами, разделся до трусов, и высокий, молодой, красивый встал на одной из опрокинутых дамб и с неистребимым одесским акцентом произнес:

— Сейчас молодой бог войдет в море».

«ОТЕЦ» И «КВАДРАТУРА КРУГА»

В 1928 году в «Красной нови» вышла повесть «Отец», а во МХАТе поставили «Квадратуру круга».

Кажется, что у них разный автор.

«Отец» — глубокий метафоричный текст, подлинная литература, полная жертвенной скорби, «Квадратура круга» — легкомысленный водевиль с песенками и танцами. Но автор один и тот же, мастерски проявивший себя в столь разных жанрах и стилистиках.

«Отец» писался четыре года[64], подмалевки к нему появились еще в Одессе. Ни одной сатирической ноты, никакой разухабистой «веселухи», серьезность — так вот каков настоящий Катаев.

Несомненна концентрация «сделанных» предложений, форсящих обдуманной красивостью («Ночь уже заводила свои звездные часы граненым ключиком частого сентябрьского сверчка»), но когда доходит до самого главного и самого страшного, вслед за очередной красивой фразой «Розовая чернота смерти надвигалась на глаза» прорывается сбивчивая путаница — смутившая Бунина черновая, дневниковая, темная речь, понятная только рассказчику. Вот так же в камере у Катаева *отцвела* прежняя поэзия и начались *голые* стихи, достигшие предсмертной простоты.

На I съезде советских писателей Исайя Лежнёв вспомнил, что «с интересом наблюдал» в первой половине 1920-х, как Катаев «работал над рассказом “Отец”: переделывая десятки раз и шлифуя каждую фразу». Понятно, что значила долгая работа над словами. Каждая фраза — картина. Каждая фраза — событие. Каждая выразительна и многозначительна.

«Отец» — рискованное саморазоблачение, история пребывания в Одесской ЧК[65], но и шире — повествование об отношениях сына и отца. Слишком легко обнаружить здесь торжественное приятие жестокости своей и мира (так прочитала рапповская критика), не менее ощутим и жалобный сентиментализм, однако сила в сложности. Герой попадает в тюрьму, отец носит ему передачи; после неожиданного освобождения он думает поселиться с отцом и заботиться о нем, но жизнь берет свое: работа, барышня, теплая комната в центре, отец бедствует, переселяется к племяннице, у которой и умирает «от удара», но перед смертью успевает с причитанием и бормотанием проводить сына, отбывающего в опасную командировку «в уезд», а умерев, является ему во сне. Герой

отдает старьевщикам все до единой отцовские вещи и уезжает из города.

В повести есть социальный план: контраст волшебного детства и волчьей юности, да и отец не просто постарел, а из некогда благополучного степенного учителя превратился в затравленного доходягу, живого мертвеца. Расставание с родителем и его наследием — это и прощание со всей прежней «утраченной Россией». Но важнее план экзистенциальный. Так ли уж необычно как будто бы злое поведение сына? Не мог бы всякий из нас припомнить себе череду ударов по родным и близким?

Пожалуй, беспощадную честность повести можно воспринимать через христианство, впитанное автором с детства. Это исповедь: малодушие, черствость, равнодушие, невнимательность и даже подлые мысли. За доведенными до предела сценами и эпитетами мне слышится не хохоток наглеца, а пронзительный свист бича, которым лирический герой лупцует и мир вокруг, и прежде всего себя самого, пытаясь доказать, что это он, он виноват в отцовой смерти. Настойчивое, с нажимом перечисление прегрешений — и есть покаяние. Повесть вся в слезах: едкие катятся и капают (вернувшись из тюрьмы, Петя ночью думает об отце, «как и в детстве, засыпая в слезах», да и на работу старьевщиков, точно гробовщиков, смотрит, «закусив губу»), но под конец проливаются совсем иные, очистительные и оправдательные, отсылающие к вещему сну, где покойный предстал молодым, красивым и нарядным: «И небо, как незабываемое отцовское лицо, обливалось над сыном горючими, теплыми и радостными звездами». Эти обильные звезды — ответ на мольбу о прощении от того, кто всю повесть страдал, «гладя отцовскую узкую спину, целуя отца в поредевшую макушку, полную перхоти, и невыносимая жалость сжимала его сердце, полное раскаяния, благодарности и любви».

Но главное в «Отце» образы, идущие дальше и глубже мыслей, достигающие зашкаливающей резкости и даже отталкивающей эпатажности. Физиологичность жизни проявляется в разнообразии красок, неважно, что перед нами: «… желтый понос дынных внутренностей» в летней тюрьме или зимний родной старик с «морковными опухшими руками». Автор-герой о себе сообщает мало, но, кажется, метит исключительно в себя, когда неприглядно изображает отца и мать — каждое такое словцо краснеет раной. Не грех хама, а надчеловеческая зоркость художника (одновременно тайные мысли, грешная постыдная наблюдательность), и что-то еще, быть может, боль от общего несовершенства, невыразимая нежность, которую только и можно

выразить так… Вот гроб с бесконечно дорогой мамочкой. «Она чуть улыбалась оскалом зубов… Губы, перепачканные черникой лекарств, были полуоткрыты; из улыбающегося уголка рта текла кремовая пенка гною: разложение». Ребенок влезает на колени к папе и видит близко его малиновые заплаканные «собачьи глаза». А вот спустя годы отец незадолго до собственной смерти — не только обабившийся, но жалобно отражающий их северный род, мужскую катаевскую линию: «Весь он, закутанный и маленький, с подворачивающимися ногами и суетливыми руками, был похож на дряхлую вятскую старуху»[66].

(А какими глазами все это и особливо «собачьи глаза» читал другой сын — Евгений, между прочим, в письмах и записях величавший брата «Собакиным»?)

Еще один эстетический поворот: оказывается, для Катаева дело вообще не в богатстве! Он показывает, что поэтизация материального возможна даже, если оно скудное, бедняцкое; самое простое может стать роскошью, достойной смакования, когда другие этого лишены: «Сиял пайковый досиня белый колотый сахар, похожий на куски разбитого варваром мрамора». Так же в «Кладбище в Скулянах» он сходит с ума по поводу большой чашки чая с красным ямайским ромом, о которой мечтает и из которой, уже оплаченной, ароматно-огненной, так и не сделает глотка, как античный Тантал.

Да, повесть «Отец» о неумолимости «хода вещей»: «Случилось так, как должно было случиться». Двоюродная сестра героя Дарьюшка пересказывает слова старика, посвященные свинье, но от них боль только сгущается: «“Не препятствуй природе. Главное, не препятствуй природе”. Ужасно типично для дяди! И до самого своего удара все ходил по комнатам и повторял: “Предоставьте природе делать свое дело. Предоставьте природе”. Это, собственно, и были его последние слова». Здесь вслед за самобичеванием наступает самооправдание, от которого рукой подать до фатализма, готовности быть расстрелянным. И, пожалуй, близость к природе становится бездумной и спасительной, когда беременная Даша с «материнской улыбкой» сообщает, что «начала пороситься свинья».

Все же «Отец» не о горделивом празднике «биологизма», а о повсеместной трагичности — бунинская интонация в простеньких легких словах, вместе с тем передающих сложность бытия: «Тюрьма была видна с кладбища. Кладбище было видно из тюрьмы. Так в жизни сходились концы с концами, в этой удивительной, горькой и прекрасной, обыкновенной человеческой жизни. Чудесная, ничем не заменимая жизнь!..»

В 1920-е годы Катаев называл «Отца» своим любимым

произведением. Действительно, «непортящаяся» повесть, написанная не для времени, а навсегда.

И насколько же другая «Квадратура круга»!

Хотя водевиль этот (по мнению театроведа Владимира Фролова, первый советский водевиль) тоже про чудеса обыкновенной жизни. История про обмен женами, которая попахивала бы лихим развратом, если бы не чистота чувств.

Комсомольцы Вася и Абрам ютятся в одной комнате («Так и спим… по очереди. Один день я на подушке, а он на Бухарине, а другой день — он на подушке, а я на Бухарине», — в ранней версии пьесы рассказывает Вася) и в один день женятся — Вася на мещанистой Людмилочке, Абрам на передовой Тоне, теперь придется жить еще теснее; после того как четверо поселяются вместе, оказывается, что нежному Абраму больше подходит заботливая Людмила, а у прямого Васи вспыхивает давняя страсть к эмансипированной Тоне (с которой у него было когда-то свидание «у десятого дерева с краю»).

На этот раз Станиславский как будто бы понял Катаева, заметив, что он «несет людям радость, которой не так уж много в жизни», и велев «отобрать для спектакля молодежь, обязательно с юмором». Постановкой занялся 29-летний режиссер Николай Горчаков. Выпускал спектакль Владимир Немирович-Данченко.

О чем «Квадратура круга»? О непродуманных браках и разводах, о том, что не нужно спешить в загс, толком не зная человека. О том, что пошловатое сюсюканье и пламенно-стальные реплики одинаково нелепы: Людмилочкино навязчивое: «Котик, выпей молочка, скажи своей кошечке “мяу”, давай я тебя поцелую в носик» и Тонино маниакальное штудирование «правильных» книг с неспособностью сделать ужин или зашить мужу штаны — две стороны одной нелепости. Но и ни о чем — просто шутка…

«Комедия из комсомольской жизни, никаких “проблем” не ставит и не разрешает, а просто повествует историю неких четырех симпатичных молодых людей», — сообщал Катаев в анкете журнала «На литературном посту».

Катаев не сокрушается по поводу падения нравов, а показывает веселое безумие жизни, и от того в его «комедии положений» есть что-то античное — плутовское и солнечное.

При этом своей «Квадратурой» он несомненно встрял в тогдашнюю «дискуссию о молодежи». Например, в ироничном контексте им упомянута повесть Сергея Малашкина «Луна с правой стороны». Эта повесть, чернушная, лобовая и экспрессивная, снискала большую известность и стала поводом для пародий. Честная деревенская девушка Татьяна Аристархова, переехав в Москву, попадает в среду комсомольцев-развратников,

именуемых автором «плесенью» и «травой-дерябкой». Татьяна пьет и курит, употребляет наркотики, то и дело томно вздыхая: «Эх, и накурюсь же я “анаша”!», беспорядочно занимается сексом («целовали в одну ночь шесть дылд»), меняет двадцать с лишним мужей, а некоторые ее подруги-комсомолки, борясь с «предрассудками», даже ходят в туалет по-мужски. Синеглазых ребят развращает, бойко подводя базу под отказ от морали, пугливый и наглый Исайка Чужачок, чье изображение напоминает антисемитскую карикатуру. Он аттестует себя как «маленького Троцкого», но в повести достается и персонально Троцкому с его последователями, которые, конечно, не «фабрично-заводские», и откровенно выражается надежда на победу Сталина во внутрипартийной борьбе. Повесть датирована 1926 годом, но вышла в 1928-м, в заключение Малашкин указывает, что ему мешали «некоторые политические соображения»[67].

Своей пьесой Катаев не только защищал столичную молодежь, показывая ее трогательной и искренней, но, похоже, и «за всю Одессу» отражал антисемитский выпад. Можно предположить, что ответом на малашкинского гадкого Исайку и стал расчудесный Абрам: он тоже непрерывно теоретизирует, но не о ложности морали, а, наоборот, мучается принципиальным вопросом «этичности», поверяя ею все на свете, даже свою влюбленность. А мудрым резонером у Катаева выступает персонаж по имени Флавий, отсылающий одновременно к античной комедии и к фигуре древнееврейского историка.

Были и другие произведения о «погибели молодежи». Например, рассказ Пантелеймона Романова «Без черемухи» (тогда это название стало, что называется, мемом) — студентка исповедует подруге, как отдалась студенту — ни романтики, ни ухаживаний, холодная похоть самца. Собственно, рассказ был направлен против той части «левой доктрины», которая в советской России не развилась и была игуменским окриком подавлена, а на Западе стала неотъемлемой частью «левизны» и «прогрессивности»: «Девушки легко сходятся с нашими товарищами-мужчинами на неделю, на месяц или случайно — на одну ночь». Рассказ претендует на обобщение, на создание типажа «современного комсомольца», а откровения этого бесчувственного «соблазнителя» звучат как пролог к сюжету «Квадратуры круга»: «У нас недавно была маленькая пирушка, и невеста моего приятеля целовала с одинаковым удовольствием как его, так и меня. А если бы еще кто-нибудь подвернулся, она и с тем бы точно так же. А они женятся по любви, с регистрацией и прочей ерундой». Задача Катаева была все перевернуть, вернуть с головы на ноги: любовь по-прежнему определяет отношения,

главное удовольствие — в самой любви, когда никто другой не нужен, и в какой бы переплет ни забрасывали молодых их горячие порывы, по сути, это еще невинные дети, поэтому и обмен женами в пьесе происходит не из-за пресыщенности и цинизма, а по велению сердец.

Пьеса (казалось бы, пустяк, безделица) взорвала публику, возможно, полемичностью по отношению к морализаторам и сюжетом, балансирующим на щекочущей грани. Многие учуяли у Катаева будоражащую «сексуальную свободу» — слишком легко и быстро принимались у него целоваться чужие мужья и жены.

«Что может рабочий зритель или вузовец, на которых главным образом рассчитана эта пьеса, увидеть в ней полезного и интересного?» — вопрошала редакция журнала «Современный театр». В том же журнале критик Михаил Загорский сокрушался: «Кто бы мог подумать, что славные парнишки Вася и Абрам, которых мы видели очень часто на комсомольских конференциях и съездах, живут, любят, разводятся и снова женятся по всем правилам “Одеона” или “Театра Елисейских полей”. Нет, товарищ Катаев, на этом-то вы уже нас не обманете! Наших комсомольцев мы знаем и ни с какими Жюлями не смешаем».

Комедия, стартовав осенью 1928 года, выдержала 100 постановок только к марту 1929-го (а впереди были сотни и сотни) и отправилась в народ. Олеша писал: «“Квадратуру” ставят всюду. Я видел летом в Одессе на Болыпефонтанской дороге маленькие афиши: “Квадратура круга” — пьеса Котова, “Квадратура круга” — пьеса Китаева, а у ворот артиллерийской школы висел плакат, где просто, без указания фамилии автора, стояло “Квадратура круга, или Любовь вчетвером”». Олеша же не преминул уколоть друга на страницах «30 дней»: «Пьеса Катаева несколько схематична. Уже с середины первого акта можно предсказать дальнейшее развитие. Тайна раскрывается ранее, чем зритель находит вкус к ее поискам».

Но Олеша не жаловал и остальных — написал четверостишие «Драматургу Катаеву», где, возможно, утешительно высмеял другие пьесы:

Ходил я в театры в порыве алканий,
Бинокль розоватый на нос нацепив…
Я видел «Блоху»…
Там блоха на аркане,
Я «Зойкину» видел…
Там вошь на цепи!

(В 1928 году в Театре им. Евг. Вахтангова сняли булгаковскую

«Зойкину квартиру», на год ее отстоял Сталин, поспоривший с Луначарским, но к 1929-му запретили совсем, и в том же году МХАТ избавился от «Блохи» Замятина.)

Комедии Катаева была суждена долгая жизнь. Западные «левые» уловили в ней то самое, что было для них частью «освобождения». Но и заграничному обывателю веселила кровь эта беззаботная и довольно бессмысленная шампанская шутка: с одной стороны — все казалось экзотическим, открывалось окно в диковинный советский быт, с другой — тема «отношений» занимает всех.

«Квадратуру круга» ставили европейские театры. В 1931-м — знаменитый парижский театр «Ателье» (*Theatre de l'Atelier)* под руководством Шарля Дюллена, создателя особой драматической школы, верившего, что инстинкты важнее рассудка.

Тогда-то Катаев и прибыл во Францию, заодно решая вопросы по «Растратчикам», выходившим в крупнейшем издательстве «Галлимар». «Я пропадал у Барбюса, — вспоминал он старшего сотоварища-писателя. — Я не отрываясь смотрел в узкое темное лицо Барбюса, на волосы, косо упавшие на широкий, наклонившийся ко мне лоб».

Катаев пришел и к Бунину, но тот в это время был в Грассе (пообщались только с художником Петром Нилусом, жившим в этом же доме: обличал советскую власть). Катаев проводил много времени в ресторане «La Coupole» на бульваре Монпарнас, дописывал «Время, вперед!»…

В 1934 году пьеса шла в нью-йоркском «революционном» театре «Orange Grove», затем по всей Америке в «малых» театрах, в 1935-м — официальная премьера в «Lucium Theatre» Нью-Йорка (там спектакль сыграют более ста раз). А вот что в 1935-м сообщал в письме Илья Ильф, побывавший на Бродвее: «Человек в цилиндре покупает билет в кассе. Передайте Вале, что первый человек в цилиндре, которого я видел в Нью-Йорке, покупал билет на его пьесу. Перед началом представления пять американцев в фиолетовых косоворотках исполняют русские народные песни на маленьких гитарах и громадной балалайке. Потом подняли занавес. За синим окном идет снег. Если показать Россию без снега, то директора театра могут облить керосином и сжечь. Действующие лица играют все три акта, не снимая сапог. В углу комнаты стоит красный флаг. Публике пьеса нравится, смеются. Играют не гениально, но не плохо. Сборы средние. Вставлены несколько бродвейских шуточек, от которых автор поморщился бы. Кроме того, приделан конец очень серьезный и философский, насколько Лайонс и Маламут, переделывавшие пьесу, могут быть философами. Ничего антисоветского все-таки

нет. Шутки и философию мы, однако, рекомендовали Маламуту удалить».

Пьесу ставили в Нью-Йорке и после войны. Она шла даже в Бразилии, где, если верить советской прессе, в 1963 году спасла молодежный театр в Сан-Пауло от разорения и дала приток темпераментных зрителей.

Любопытна насмешливая по отношению к традиционному театру реплика в пьесе Маяковского «Баня», скрестившего Катаева и Булгакова с Чеховым: «Вы видали “Вишневую квадратуру”? А я был на “Дяде Турбиных”. Удивительно интересно!»[68] Маяковский (сторонник Мейерхольда в пику Станиславскому) иронизировал: «Тети Мани, дяди Вани, охи-вздохи Турбиных…»[69] Замечу, что Катаев, лелея свою «современность», вовсе не хотел восприниматься «за компанию» с Булгаковым: «Он был для нас фельетонистом… Помню, как он читал нам “Белую гвардию”, — это не произвело впечатления… Мне это казалось на уровне Потапенки[70]. И что это за выдуманные фамилии — Турбины!.. Вообще это казалось вторичным, традиционным».

«Меня в театре он так и не видел», — вспоминала о Маяковском его возлюбленная актриса Вероника (Нора) Полонская. Он поджидал ее на улице, не переступая порога МХАТа, а затащенный на «Дни Турбиных» сбежал после третьего акта. Катаев пояснял: «Ему действительно было невыносимо скучно — он не мог заставить себя досмотреть».

Но вышло так, что и первый свой вечер с Полонской, и последний вечер с ней Маяковский провел у Катаева — оба раза 13-го числа.

КАТАЕВ И МАЯКОВСКИЙ

Катаев называл две повлиявшие на него личности: Бунин и Маяковский, и есть подозрение, что выделяя второго, отдавал дань советским канонам.

И все-таки он был действительно душевно и эстетически широк именно как читатель, распознавая подлинный дар, влюбчивый во все живое и красочное, и потому, думается мне, искренне, легко снимая шелуху «литературных теорий», остался навсегда увлечен этими, как считается, антиподами. Не без игривости он сообщал, что при Бунине «боялся даже произнести кощунственную фамилию: Маяковский. Так же, впрочем, как впоследствии я никогда не мог в присутствии Маяковского сказать слово: Бунин. Они оба взаимно исключали друг друга».

Стиль Катаева — и в прозе, и в стихах — колебался от ясной, светлей лазури простоты до сложных причудливых словесных конструкций и оттого стал эклектичным, совершенно отдельным, оригинальным, соединяющим классику и авангард, и так же противоречиво разнообразен пантеон драгоценных для его сердца литераторов. Но было еще и притяжение славы. «Слава Маяковского была именно легендарной», — писал Олеша, вспоминая высокого прохожего, повстречавшегося вечером на Рождественском бульваре:

«— Маяковский, — прошептал Катаев. — Смотри, смотри, Маяковский!»

Большая слава поэта делала его привлекательным в лукавых и ярких катаевских глазах, заставляла вчитываться и проникаться. (Для сравнения признание: «Два года учился читать Пастернака» — с Борисом Леонидовичем, к слову, познакомил Владимир Владимирович.)

Несомненно, он страстно интересовался Маяковским.

Выступление футуристов в Одессе 1914 года. Поэтический вечер в Харькове 1921-го и неудачная попытка познакомиться. Тщетное узнавание знаменитости среди долговязых пешеходов на окрестных улицах, и наконец, как предчувствовал, вот так же, как с Есениным, знакомство под открытым небом: лицом к лицу.

Как бы они ни познакомились, но весной 1923 года Маяковский «с толстым окурком папиросы» в углу рта пришел в редакцию «Огонька» незадолго до выхода первого номера журнала и раскатисто читал стихи о болезни Ленина «Мы не верим!». И принялся ходить в «Огонек», где публиковались многие его стихи, включая энергичное:

Беги со всех ног покупать
«Огонек»…

Маяковский же — один из авторов и основателей журнала «Смехач» при «Гудке».

Очевидно, они стали приятелями не сразу, но уже к середине двадцатых общались постоянно.

Катаев пытался взаимодействовать с ЛЕФом, читал при Маяковском, «у Бриков» рассказ «Фантомы», в котором упоминалось высматривание новичком на московской улице кого-нибудь «великого», например, так и мерещился «Маяковский в полосатой фуражке и шарфе» (и рассказ отвергли). И он же сам сделался работодателем Маяковского — начал печатать его в том самом «Красном перце», где заведовал литературной частью и куда взял секретарем брата. «Притянул к сотрудничеству Маяковского», — небрежно бросил Катаев впоследствии. Действительно, тот сочинил для журнала немало (насущнобытовых и международно-политических) стихотворений и даже прозаических записей, включая незамысловатое, но призывное:

Только
подписчики
«Красного
перца»

смеются
от
всего
сердца.

Интересно, что именно в «Красном перце» в одном из рифмованных фельетонов у Маяковского появился персонаж по фамилии Шариков (за год до булгаковского «Собачьего сердца»), который удачно устроился при советской власти, напялив пролетарскую кепку, и широко распространил свое влияние:

Дальше — о Шарикове добрые вести:
Шариков — делами ворочает в тресте.

Мое предположение о «подсмотренной» фамилии усиливается тем, что, по неоднократным рассказам Катаева,

Булгаков при знакомстве с Маяковским на вопрос: «Что вы сейчас пишете?» — посоветовался, какую бы дать фамилию профессору в сатирическом романе[71].

Катаев утверждал, что это он познакомил Маяковского и Булгакова в редакции «Красного перца»: поначалу «левак» смотрел ершисто, «консерватор» настороженно, встретились противники, стоявшие на противоположных эстетических позициях. Не задружили, но разговорились и стали то и дело встречаться, сосредоточенно сражаясь в бильярд (сблизила игромания), «стараясь блеснуть ударом»[72] и всякий раз привлекая зрителей, ждущих скандала, — однако, сыграв, прощались доброжелательно.

«Маяковского втянул в детскую литературу я, — говорит Катаев в дневнике Чуковского. — Я продал свои детские стишки Льву Клячке[73] и получил по рублю за строку. Маяк., узнав об этом, попросил меня свести его с Клячкой. Мы пошли в Петровские линии, — в “Радугу”, и Маяк, стал писать для детей».

А с Клячко Катаева свел писатель Владимир Лидин. Он вспоминал, как шел по Петровке с Катаевым, на котором «было какое-то одесское пальто в клетку и жокейского вида кепочка», и вдруг тот сказал:

— Главное для человека — здоровье, но самый страшный бич, хуже чумы и холеры, когда у человека нет денег. Я совершенно болен.

Лидин предложил ему написать детскую книжечку, тот ответил, что уже написал, и они отправились на Петровские линии к предприимчивому Клячко в «Радугу».

«Несколько критически оглядев Катаева, он спросил:

— У вас действительно есть детская книжечка?

— А как вы думаете, если я зашел к вам? Просто так?

…А месяца два спустя вышла милая книжечка детских стихов под названием “Бабочка”, которую Катаев посвятил моей маленькой дочке…

Выйдя из издательства “Радуга”, я спросил Катаева:

— Поправились, Валентин Петрович?

— Что значит — поправился? Три дня похожу в кафе “Сбитые сливки”, а дальше нужно будет начать есть…»

Кажется, сварливо-жизнелюбивыми фразами и интонациями Катаев весьма напоминал мультипликационного Карлсона…

По словам Катаева, он убедил Маяковского не бранить Багрицкого. В 1924 году Владимир Владимирович, выступая в Одессе, взбесился, услышав его стихи, посвященные Пушкину. «Он произнес несколько очень резких и несправедливых слов о Багрицком, — пишет автор книги «Эдуард Багрицкий» Михаил

Загребельный. — И этого было достаточно для мобилизации завистников и недоброжелателей», и уточняет, что одесская пресса «почти перестала его публиковать». Вот как об этом вспоминал Катаев: «Я уже был в Москве, а Багрицкий еще был в Одессе. И Маяковский, совершая какую-то свою поездку по стране, заехал в Одессу, выступал там, и там выступал и Багрицкий. Маяковский его страшно обложил. Он ему сказал, что у вас такие стихи, что чтобы их читать, так это голова должна винтом вертеться, такие длинные строки, в общем, он ужасно его выругал. И для Багрицкого это было ужасно, просто потому, что он так любил Маяковского. Маяковский приехал из этой поездки… Я пошел к Маяковскому и сказал, что же вы сделали, зачем же вы такому чудесному поэту, который кроме того, так вас любит и вас так пропагандирует, сделали такую неприятность страшную. Маяковский сказал: “Что вы говорите? Неужели? Ай-ай-ай, если бы я знал!” И он всюду вычеркнул, этого нигде нет… Маяковский был очень осторожный и нежный человек в душе, но вообще, он за словом в карман не лез и он мог ужасно покритиковать».

Катаев рассказывал, как открыл Маяковскому глаза на Олешу.

В 1928 году, когда бесцеремонный критик Давид Тальников в «Красной нови» разнес его цикл «Стихи об Америке», Маяковский отреагировал стихотворением «Галопщик по писателям»: «Но скидывайте галоши, скача на меня с Олёши». Потом он исправил: «…скача на меня, как лошадь», что Катаев объяснял своим благотворным влиянием: «Он еще не знал, что это Олеша и говорил “Олёша”. И напечатал это. Я встретился с Маяковским и сказал: “Послушайте, вы же не читали Олешу, это же замечательный писатель”. Он ответил: “Что вы говорите? Неужели? Надо будет посмотреть”. Он посмотрел Олешу, и он всюду исправил эту строчку, она уже в собрание сочинений не вошла».

Ближе к финалу жизни Маяковского его общение с «Катаичем» делалось все непринужденнее. Вместе предавались азарту: ездили на бега, до утра резались в «девятку» в компании Асеева, Светлова, Олеши, Кручёных[74].

Маяковский заходил к Катаеву в Мыльников и позднее в Малый Головин.

С сестрой Анны Коваленко Тамарой, подключив других, они любили сражаться в «три листика» — карточную игру на деньги, которую еще называют «свара». По уверению семьи Коваленко, именно Тамаре Маяковский посвятил стихотворение 1924 года «Тамара и Демон»:

К нам Лермонтов сходит,
презрев времена.
Сияет —
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Бутылка вина!
Налей гусару, Тамарочка!

В письме матери Тамара сообщала:

«Мой друг Володя (Маяковский) уехал заграницу, выяснились очень забавные подробности, оказывается, этот малютка (в сажень ростом) был в меня влюблен, писал стишки и вопче. Читал их всем, кроме меня, боялся, он думал, что я буду смеяться. А я наоборот, ведь каждому лестно, чтобы про него Маяковский стишки писал. У нас бывает поэт Асеев, приятель Маяковского и наш общий друг. Муся в шутку ему сказала, что я влюблена в Володю, он обалдел, начал говорить, что мы оба идиоты, а потом начал дразнить меня, что я буду карманной женой Маяковского»[75].

«Нередко случалось, — вспоминал Валентин Петрович, — Маяковский останавливался в летний день у раскрытых окошек, стучал палкой по подоконнику, окликал:

— Катаич!.. Вы дома?..

И десятка два новых, только что рожденных строк стихотворения или поэмы пробовались впервые “на голос”».

«Катаич» бывал и в Водопьяновом переулке, и в Лубянском проезде.

Поэт подхватил четверостишие (из вышедшей в 1925 году детской книжки «Радио жираф», Катаев в этом жанре себя быстро проявил): «— Как живете, караси? — Ничего себе, мерси», и оно загуляло по Москве — вместо обмена приветствиями. Маяковский, по катаевскому замечанию, вообще, запросто и с удовольствием присваивал чужие шутки, и каламбур «инцидент исперчен», попавший в предсмертную записку, был сочинен еще до революции сатириком Абрамом Арго.

Катаеву было свойственно панибратское отношение ко всем без исключения, особенно к классикам-современникам. Но именно при чтении лирических мемуаров о «наидерзостнейшем футуристе» сложно отделаться от ощущения раздраженной прохладцы[76]. И «Трава забвенья», и «Алмазный мой венец» итожат жизнь поэта одинаковым болезненным образом — мальчика, запрограммированного на самоуничтожение. Даже цитируется один и тот же «Романс» из поэмы «Про это».

Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
— Прощайте… Кончаю… Прошу не винить.
…
До чего ж
на меня похож!

«И так — навсегда: мальчик-самоубийца. До чего ж на него похож».

По Катаеву выходит, что маяковское:

Мы
тебя доконаем,
мир-романтик!

было обращением к себе самому, и этот высокий человек с угловатыми движениями Командора на самом деле лишь казался каменным: то был не солдат и не самоуверенный король эпатажа, а инфант, игравший в героя, под конец растерявшийся от любви и неудач и простудно поплывший. Вечный мальчик, на людях державший себя в неестественном напряжении. Торопыга в словах — шутки наскоком, метафоры нахрапом…

На этот подчеркнутый Катаевым инфантилизм обратил желчное внимание историк Александр Немировский, особенно в сцене, где Маяковский, наизусть читая Блока, «протянул слушателям воображаемый ножик и даже подул на него, как бы желая сдуть пылинку дальних стран»: «Не хватает только, чтобы он при чтении первой строфы проскакал по комнате с криком “ту-ту-ту”, чтобы зримо показать, как с гудками вошли в бухту военные суда».

Катаев приводил примеры юмора Маяковского, и, по оценке писателя Юрия Карабчиевского[77], все они красноречиво свидетельствуют как раз об отсутствии юмора. Усмехнувшись над очередным «примитивным примером», которым «вынужден иллюстрировать Катаев несравненный юмор своего героя», Карабчиевский находит единственную меткую шутку в этом мемуаре, произнесенную Мандельштамом (она есть и в воспоминаниях Ахматовой): «Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр». «Маяковский так растерялся, что не нашелся, что ответить, а с ним это бывало чрезвычайно редко», — процитировав Катаева, Карабчиевский заключает: «Никакого такого юмора не было у Владимира Маяковского. Была

энергия, злость, ирония, была способность к смешным сочетаниям слов и даже способность видеть смешное в людях — а все-таки чувства юмора не было». Допуская, что «несравненные», а в общем-то, не самые удачные фразы Катаев подобрал нарочито, надо признать и повториться: в значительной степени диагноз «специфичности юмора» мог быть отнесен и к нему самому.

Его Маяковский — «переросток», нежный и нервный южанин, уроженец Грузии, часто простужавшийся в немилосердной Москве («Гибну, как обезьяна, привезенная из тропиков»). Катаев замечал, что как южанин тоже постоянно простужался в столичном климате. Хотя, казалось бы, какой из Москвы север? Ну разве что в сравнении с горами или морем… «Несколько женские глаза — красивые и внимательные — смотрели снизу вверх, отчего мне всегда хотелось назвать их “рогатыми”». Не надо расслабляться: эти самые глядящие снизу вверх «рогатые» глаза уже возникали в «Отце» у безжалостного чекиста. Внезапно думаешь: а уж не с Маяковского ли был срисован следователь, чей погожий вид сменялся грозовым: «Лицо его стало железным, скулы натужились желваками, и он стукнул по столу кулаком»?

Катаев колко упоминал рекламные вирши, любезные «теоретикам из Водопьянова переулка» (по его мнению, Брики «эксплуатировали Маяковского» — «они заставляли его писать рекламы и в конечном счете погубили»), утверждал, что вместе с «первым поэтом Революции» сочинял плакаты для демонстрации на Красной площади, и показывал свою любовь к непартийному ранимому «трагическому» шалому одиночке, тому самому мальчику-самоубийце. Мысль не нова — к примеру, и Лев Никулин делился впечатлениями о «нечеловеческой борьбе поэта лирического с поэтом политическим, поэта, превосходно владевшего тайной прямого лирического воздействия и отказавшегося от приемов лирика-гипнотизера». Не случаен и рассказ Катаева, как по дороге из Мыльникова в Лубянский на просьбу почитать раннюю поэму его спутник впал в бешенство. «“Облако в штанах”! — заревел он. — А почему вы не просите меня прочесть “Хорошо!”? Почему?» (Деталь: Евгения Катаева рассказала мне, что получила двойку в школе, отвечая по поэме «Хорошо!». Дома отец достал книгу с полки и прочитал поэму вслух, иногда с увлажняющимися глазами, специально останавливаясь на драматически-трогательных эпизодах вроде приношения голодающей Лиле: «Не домой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик», и на следующий день Женя к потрясению всего класса исправила двойку на отлично.)

Лиля Брик, ознакомившись с воспоминаниями Катаева, в

1967 году писала младшей сестре Эльзе Триоле: «Всё наврано!! Всё абсолютно не так». Упрек едва ли справедлив — например, последний вечер Маяковского в изложении Катаева очень близок к запискам Полонской. Восклицательные знаки Брик — след давнего дурного отношения к Катаеву, рассыпанного по ее дневникам. В 1929-м в письме из Москвы в Ялту она обращалась загадочно, но с энтузиазмом: «Володик, очень тебя прошу не встречаться с Катаевым. У меня есть на это серьезные причины. Я встретила его в Модпике (Московском обществе драматических писателей и композиторов. — *С. Ш.*), он едет в Крым и спрашивал твой адрес. Еще раз прошу — *не встречайся с Катаевым»* (курсивом — подчеркнутое Брик. — *С. Ш.*).

«Ни одной другой подобной просьбы мы в их огромной переписке не найдем», — замечает литератор Аркадий Ваксберг и предполагает, что женской рукой вела интуиция: Кассандра предвидела грядущий предсмертный вечер. «С чем была связана эта просьба, — комментирует шведский славист Бенгт Янгфельдт, много общавшийся с Брик и опубликовавший ее полную переписку с Маяковским, — установить не удалось», то есть комментировать она отказалась. Но замечу, Катаев, любивший ярких и красивых женщин и изображавший из себя циника-завоевателя, порой сталкивался с неприязнью именно ярких и красивых, которых, возможно, уязвлял его стиль обращения с ними. Так будто бы его сторонилась очень привлекательная жена литератора Василия Регинина и из-за этой неприязни не шла с мужем в большую компанию к Катаеву.

Лиле даже померещился образ насильника и разбойника: «Встретила Олешу с Катаевым — едут в Одессу — небритые, вид подозрительный. Не хотела бы встретиться ночью!» (9 декабря 1929 года).

«Они были противопоказаны друг другу, — по поводу Катаева, Олеши и Лили пояснял литературовед Василий Катанян, 40 лет пробывший с ней в браке. — Они — неглупые, талантливые, тонкие, острые — тем хуже! За богемским засасывающим острословием она чуяла холодное дно цинизма», и при этом приводил слова Катаева о Брик: «Это одна из самых замечательных женщин, которых я знаю».

А вот еще одна раздраженная реплика из дневника Лили: «На ловца и зверь бежит — просматривала белогвардейский журнал и напоролась на хвалебную рецензию о Катаеве» (27 октября 1930 года). Похоже, она не только учуяла его противопоказанность «Володику», но и «белую тайну».

Вообще-то, Катаев сам признавал, что «у Бриков» его не жаловали. Но есть одно небесспорное и грубо-внятное объяснение

словам Брик. Журналист Григорий Розинский, побывавший в квартире в Малом Головином у Владимира Роскина, ставшего стариком, записал на диктофон его откровения.

Роскин утверждал, что Маяковский недолюбливал Катаева и тот платил взаимностью[78]. Катаев, получив приглашение на заграничную конференцию, по словам Роскина, бегал по редакциям, хвастаясь билетом и начавшимся признанием на Западе. В редакции «30 дней» во время очередного такого спича за его спиной вырос Маяковский, тоже показавший билет, заметив, что, в отличие от некоторых, не хвастается. На катаевское замечание: легко скромничать, путешествуя по несколько раз каждый год, поэт будто бы провозгласил: «Верю, будет кататься и Катаев!» История находит подтверждение в воспоминаниях самого Катаева: Пен-клуб позвал его в Вену, о чем он принялся рассказывать встречным и поперечным, но в одной из редакций Маяковский «достал из кармана пиджака точно такой же элегантный конверт» и отчеканил: «Вас знают, потому что вы советский писатель».

(Над страстью Катаева к загранпоездкам иронизировал Яков Вельский в юбилейном фельетоне в журнале «Крокодил» уже в 1932 году: «Валентина Катаева на корабле не видно, так как он в это время стоял во Всероскомдраме за творческой заграничной командировкой».)

Это не всё. По Роскину, якобы Лиля Брик подслушала, как Катаев злобновато отзывался об авторе «Облака в штанах» («с завистью и ехидством говорил о ежегодных зарубежных турне»), и именно поэтому написала в Ялту: «Володик, не встречайся!» Занятно, что в 1953 году, к шестидесятилетию поэта, Катаев написал две довольно сдержанные по отношению к его творчеству статьи, одна из которых под названием «Воображаемый разговор с Маяковским» начиналась словами: «Вы любили, Владимир Владимирович, путешествовать».

Завидовал ли Маяковскому Катаев? «У первого из нас у него появился автомобиль», — многозначительно замечал он по поводу «рено», привезенного из Парижа, между прочим, по настоянию Лили. Может, и завидовал, но в этой зависти, думается, была лихая высота, заявка на масштаб, а не меркантильность. Хотя, изображая Маяковского, вернувшегося из заграницы, Катаев с головой нырял в поэзию вещей, как бы ставя себя на его место или вернее — перевоплощая Маяковского в себя, «романтика комфорта»: «в парижском пуловере, с узким ремешком карманных часов на лацкане пиджака… шагая среди своего полуразобранного багажа, расшвырянного по всей комнате, то и дело наступая новыми заграничными башмаками

на коробки, свертки, на раскладную гуттаперчевую ванну-таз, отбрасывая из-под ног цветные резиновые губки, нераскупоренные флаконы с аткинсоновской лавандой и зелено-полосатые жестянки с тальком для бритья “пальмолив”».

Понятно, что Катаев был самолюбив, а Маяковский если и не третировал его, то покровительственно «подкалывал». В стихотворении «Соберитесь и поговорите-ка» (1928) мясные аллегории можно толковать по-разному, в том числе как довольно зловещие:

Богемские новости жадно глотая,
орем — «Расхвали, раскатай его!»
Мы знаем, чем фаршировал Катаев,
и какие формы у Катаева.
Явитесь, критики новой масти,
пишите, с чего желудок пучит.
Может, новатор — колбасный мастер,
а может, просто бандит-попутчик.
Учтя многолюдность колбасных жертв,
обсудим во весь критический азарт,
современен ли в сосисках фарш-сюжет,
или протух неделю назад.

Когда в «Литературной газете» был напечатан очерк Катаева о соцсоревновании на Московском тормозном заводе «То, что я видел», на него обрушилась критика, к которой присоединился и Маяковский. Выступая в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 года с речью (как считается, чуть ли не предсмертным завещанием), он заявил: «Какой-нибудь Катаев покупает за сорок копеек блокнот, идет на завод, путается там среди грохота машин, пишет всякие глупости в газете и считает, что он свой долг выполнил. А на другой день начинается, что это — не так и это — не так». (Кстати, буквально перед тем, как назвать Катаева, Маяковский раздраженно заметил по поводу своих стихов «массового порядка»: «Эстетики меня ругают: “Вы писали такие замечательные вещи, как ‘Облако в штанах’, и вдруг — такая вещь”».)

С оценкой Маяковского Катаев был совершенно не согласен, критику не принял, и «литгазетный» очерк требует отдельного разговора. По распространенному мнению, которое высказывал, в частности, Варлам Шаламов, Маяковский просматривается в готовом писать на любые темы халтурщике Никифоре Ляписе-Трубецком из «Двенадцати стульев», авторе поэмы «О хлебе, качестве продукции и о любимой», посвященной Хине Члек (то

есть Лиле Брик). Поэт роман читал, знал и о катаевском патронаже над романом. Специалисты находят скрытые пародии на «ангажированную халтуру» Маяковского и на других страницах романа, а эпизод с Никифором, который пытается сочинительствовать на морскую тему, — прямая отсылка к катаевскому «Ниагарову-журналисту». Одесский и Фельдман предполагают, что Ильф и Петров «не только напоминают читателю о рассказе своего “литературного отца”», но и пародируют поэму «Хорошо», в которой белые уплывают из Севастополя, «узлов полтораста наматывая за день», ведь Маяковский «был некомпетентен в вопросах техники, хотя и любил при случае щегольнуть специальным термином, что очень забавляло знакомых».

Напомню и то, что Маяковский ни разу не одобрил драматургию Катаева. Но, несмотря на ироничное упоминание «Вишневой квадратуры», тот публично похвалил «Баню», назвав ее автора новым Мольером. А вот насколько искренне? Например, по словам Роскина, к драматургии Маяковского он взаимно относился откровенно пренебрежительно. В одной из статей Катаев упоминал, что в пьесах Маяковского «не видели искусства», и тут же как будто в подтверждение этого тезиса приводил цитату из самого Маяковского, называвшего своего «Клопа» «публицистическим» и «тенденциозным».

Итак, бриковское «всё наврано!!» о мемуаре Катаева принять невозможно. Напротив, он был не только памятлив, но и, как правило, щепетилен в восстановлении событий, и если писал, что в коридоре поезда «Красная стрела» Москва — Ленинград Владимир Владимирович читал ему «злейшие эпиграммы» с «железной улыбкой», можно довериться: так и было, и уж по крайней мере поезд их нес. Больше того, пусть Катаев иногда наделял героев мемуаров своим зрением и своей кожей, все же суть их старался передать максимально: посредством образов, красок, ощущений, переданных через мельчайшие, но характернейшие детали — мовизм становился психоаналитическим препаратом, заставлявшим вспомнить всё. Без лишней скромности Катаев называл такой взгляд «пронзительным».

Безусловно, что-то Катаев переиначил — для красного словца. К примеру, в «Алмазном венце» он живописует, как в гастрономе (нарочито ностальгически-поэтично «приврав», что было это «в доме, которого уже давным-давно не существует») присутствовал при эпической закупке Маяковским вина, закусок и сластей, когда туда вошел Мандельштам с женой, они молча поздоровались, а им вслед Маяковский громыхнул знаменитой

мандельштамовской строкой: «Россия, Лета, Лорелея». В воспоминаниях Надежды Мандельштам, «у Елисеева» (в Елисеевском магазине) Маяковский «через тогда еще узкую стойку с колбасами» козырнул другой цитатой — «крикнул: “Как аттический солдат, в своего врага влюбленный…” Бедняге уже успели внушить, что у него есть враги — классовые и прочие… Хорошо, что он не потерял способности любить классово чуждых поэтов…». Эта фраза из «Тенниса» Мандельштама, видимо, показалась Катаеву менее эффектной и значимой для судеб героев его мемуаров, чем финал из «Декабриста», или, наоборот, захотелось выставить Маяковского нелепее, чем он был на самом деле.

В 1928 году Катаев переселился в район Сретенки, в Малый Головин, как он полагал, «бедный» переулок.

Первый этаж. «Маленькое окно почти на уровне земли, выходившее во двор извозчичьего трактира». Иногда в комнату заглядывали лошади. «А я люблю на извозчике ездить», — оправдывал это место Катаев. Хотел жить повыше, но послушался жену: выбрали «квадрат дома» — из пяти комнат.

Жилище, как и в Мыльниковом, превратилось в своего рода ночной клуб, с каждым закатом полный посетителей. После одной такой попойки хозяин запомнил и записал за Маяковским: «Ну, товарищи, Олеша уже начал говорить по-французски. Пора расходиться».

В роковой вечер, когда начался телефонный трезвон, Маяковский, стоя рядом с «Катаичем», короткими фразами или кивками показывал, с кем хотел бы видеться, с кем нет. Притом отвергались «общепринятые друзья, товарищи по “Лефу”».

Если пьеса «Клоп» попортила ему немало крови, то «Баня» была встречена «общественностью» еще жестче. «Маяковский написал “Баню” и читал ее у Мейерхольда, на каких-то официальных собраниях, он читал много, в разных местах. Я всюду с ним ходил, слушал его», — рассказывал Катаев.

Началось все за здравие — действительно чтением в фойе театра Всеволода Мейерхольда 23 сентября 1929 года. Кроме коллектива театра были драматурги Николай Эрдман и Михаил Вольпин, а также Зощенко, Бабель, Кирсанов, Олеша. Сам Мейерхольд, по наблюдению Катаева, «элегантно-затрапезный», при обсуждении пьесы назвал ее «крупнейшим событием в истории русского театра», вспомнив Пушкина и Гоголя. Катаев, которого Маяковский в пьесе насмешливо «отрекламировал», словно прижег «бычком», не преминул сравнить автора с Мольером, что подхватил и Мейерхольд: «Я вспомнил о Мольере, и товарищ Катаев — автор “Квадратуры круга”, сегодня

явившийся на читку, тоже вспоминает о Мольере». Позднее Катаев уже не без иронии отзывался о «дебатах», «которые, с чьей-то легкой руки, свелись, в общем, к тому, что, слава богу, среди нас наконец появился новый Мольер».

Но дальше возникли многочисленные трудности. Главрепертком начал препятствовать постановке. Маяковского обвиняли в «идеологической враждебности», всевозможных «уклонизмах», клеймили и унижали, мариновали на заседаниях. Одновременно тот же Главрепертком (и его председатель Константин Гандурин) мучил запретами Булгакова, но если Маяковский все-таки вырвался к зрителю, то Булгакову пришлось писать отчаянное письмо в правительство, обернувшееся знаменитым звонком Сталина (через четыре дня после самоубийства Маяковского) и частичным возвращением пространства для работы.

«Дело дошло до того, что на одном из обсуждений кто-то позволил себе обвинить Маяковского в великодержавном шовинизме и издевательстве над украинским народом и его языком, — вспоминал Катаев цензурные камлания декабря 1929-го — января 1930-го. — Маяковский брал меня с собой почти на все читки. По дороге обыкновенно советовался:

— А может быть, читать Оптимистенко без украинского акцента? Как вы думаете?

— Не поможет.

— Все-таки попробую. Чтобы не быть великодержавным шовинистом».

Однако без этого акцента, по ехидному замечанию Катаева, пьеса «нового Мольера» «теряла половину своей силы». Характерно, что с тем же протестом столкнулся Булгаков. В феврале 1929 года делегация украинских «письменников» на встрече со Сталиным и Кагановичем потребовала запретить «Дни Турбиных» за все тот же «великодержавный шовинизм» и издевательства над «ридной мовой»: разговор, по видимости, сказался на судьбе пьесы. Общение, судя по стенограмме, было оживленным, душевным, по-товарищески острым, но в 1930-е годы почти всех «делегатов», конечно, расстреляли за «контрреволюционный национализм»[79].

После всех выволочек, устроенных Маяковскому, он был растерян. Горлан-главарь оказывался чуть ли не «классовым врагом».

«— Слушайте, Катаич, что они от меня хотят? — спрашивал он почти жалобно. — Вот вы тоже пишете пьесы. Вас тоже режут? Это обычное явление?

— Ого!

Я вспомнил экземпляр одной из своих пьес, настолько изуродованной красным карандашом, что Станиславский несколько дней не решался мне его показать, опасаясь, что я умру от разрыва сердца».

«Баню» смотрели плохо, критика лютовала. На выставку «20 лет творчества», открывшуюся 1 февраля 1930 года в клубе писателей, не пришли приглашенные «тузы» — члены правительства и многие литераторы[80]. Художник Борис Ефимов записал слова Катаева, сказанные «походя и небрежно» спустя многие годы: «Помню, Маяковский меня тогда спросил, что я думаю насчет его замысла отчитаться такой выставкой о его двадцатилетней работе поэта. Я ему ответил, что не советую этого делать, потому что это справедливо сочтут нескромностью и саморекламой. Он меня не послушался, выставку устроил. И теперь я вижу, что он был прав».

В 1930 году, изнуренный обвинениями в «чужеродности», Маяковский записался в ряды своих недругов: «В осуществление консолидации всех сил пролетарской литературы прошу принять меня в РАПП». Осудили друзья и соратники, Асеев растерялся, Кирсанов не подавал руки (и сочинил стихи: «Пемзой грызть! Бензином кисть облить, чтобы все его рукопожатья со своей ладони соскоблить»). «Я думаю, он уже понимал, что, в сущности, РАПП такой же вздор, как и “Леф”», — замечал Катаев, настаивавший: «Леф» «сыграл весьма отрицательную роль» в судьбе поэта. 25 марта 1930 года в той самой речи, где он проехался по Катаеву, Маяковский, сетуя на горло, сообщил: «Может быть, мне придется надолго перестать читать. Может быть, сегодня один из последних вечеров…» Все сложнее становилась личная жизнь: как считается, запретили выезд в Париж к возлюбленной Татьяне Яковлевой, она вышла замуж, мучили отношения с юной Норой Полонской.

Здесь обратимся к воспоминаниям самой Полонской, которая, как уже было сказано, в свой первый и последний вечер с Маяковским оказывалась у Катаева.

«Я познакомилась с Владимиром Владимировичем 13 мая 1929 года в Москве на бегах… Я как-то потерялась и не знала, как себя вести с этим громадным человеком. Потом к нам подошли Катаев, Олеша, Пильняк и артист Художественного театра Яншин, который в то время был моим мужем. Все сговорились поехать вечером к Катаеву». К моменту встречи Норе был 21 год. Общение, прогулки, почти ежедневные встречи, розы, тяжелый аборт, ссоры — при этом они постоянно проводили время втроем с ее ничего не подозревавшим мужем.

«Только один раз я видела его пьяным — 13 апреля вечером у

Катаева…» Маяковский не только выпил, но и был болен. По словам Роскина (он присутствовал), первой обратила внимание на это болезненное состояние Анна Катаева и поднесла гостю стакан горячего компота. «У него было затрудненное гриппозное дыхание, — писал Катаев, — он часто сморкался, его нос с характерной бульбой на конце клубнично краснел». В тот вечер в квартире в Малом Головине были Олеша, Регинин, актер Борис Ливанов, театральный критик Павел Марков.

Полонская вспоминала: Маяковский позвонил днем, «спросил, что я буду делать вечером. Я сказала, что меня звали к Катаеву, но что я не пойду к нему и что буду делать, не знаю еще. Вечером я все же поехала к Катаеву с Яншиным. Владимир Владимирович оказался уже там. Он был очень мрачный и пьяный. При виде меня он сказал:

— Я был уверен, что вы здесь будете!».

Очевидно, он не просто был уверен, а знал, дирижируя Катаевым, принимавшим звонки, — и одобрив визит Яншина с женой.

«Я разозлилась на него за то, что он приехал меня выслеживать, — продолжала Полонская. — А Владимир Владимирович сердился, что я обманула его и приехала. Мы сидели вначале за столом рядом и все время объяснялись. Положение было очень глупое, так как объяснения наши вызывали большое любопытство среди присутствующих, а народу было довольно много… Мы стали переписываться в записной книжке Владимира Владимировича. Много было написано обидного, много оскорбляли друг друга, оскорбляли глупо, досадно, ненужно. Потом Владимир Владимирович ушел в другую комнату: сел у стола и все продолжал пить шампанское. Я пошла за ним, села рядом с ним на кресло, погладила его по голове. Он сказал:

— Уберите ваши паршивые ноги.

Сказал, что сейчас в присутствии всех скажет Яншину о наших отношениях».

По словам Катаева, он впервые видел своего гостя таким, молчаливым и лунатичным, при этом машинально выдиравшим пучки из медвежьей шкуры и бросавшим записки над миской с варениками (эту шкуру Анна бросит в окно уходящему навек Валентину).

«Впервые я видел влюбленного Маяковского. Влюбленного явно, открыто, страстно. Во всяком случае, тогда мне казалось, что он влюблен. А может быть, он был просто болен и уже не владел своим сознанием. Всюду по квартире валялись картонные кусочки, клочки разорванных записок и яростно смятых

бумажек».

Полонская вспоминала: «У Владимира Владимировича вырвалось:

— О господи!

Я сказала:

— Невероятно, мир перевернулся! Маяковский призывает господа!.. Вы разве верующий?!

Он ответил:

— Ах, я сам ничего не понимаю теперь, во что я верю!..»

Наедине, вынув пистолет, он грозил, что застрелится и убьет ее. Нора стала собираться, за ней — и другие.

По Катаеву, Маяковский, не вняв просьбам «остаться», на прощание поцеловал его и впервые обратился на «ты»:

— Не грусти. До свиданья, старик.

Поцеловал он и старшую Коваленко, Анну, мать Анны…

— Не вздумайте повеситься на подтяжках! — будто бы крикнул ему вслед Катаев (сплетню об этом приводит литератор Инна Гофф, ссылаясь на Шкловского, а по Розин-скому, отсылающему к рассказам Роскина, хозяин якобы и вовсе бормотал: «Не такой уж он пламенный любовник, чтоб застрелиться из-за женщины»).

А вот машинописные воспоминания самого Роскина, который, оказывается, в тот вечер пришел к Анне Катаевой в отсутствие ее мужа, но их общение прервало появление Маяковского. Мемуар очевидно недоброжелателен по отношению к Валентину Петровичу — получается, что это он подтолкнул поэта застрелиться (кстати, по Роскину, Маяковский в тот вечер не пил): «С 1928 года я был в дружеских отношениях с женой Валентина Катаева и часто бывал у них в доме, где собиралась целая компания писателей… Я пришел довольно рано, часов в восемь, к Катаевым на Сретенку, в Головин переулок. Вскоре пришел неожиданно Владимир Владимирович и, так как Катаева не было дома, стал недовольно и нервно ходить по квартире… К часам девяти с половиной пришли Олеша и Катаев. В столовой стали накрывать на стол. Валентин Петрович пошел за вином, за шампанским… Пока готовили ужин, Олеша и Катаев, заметив настроение Владимира Владимировича, все время подшучивали над ним, вспоминая положение из “Квадратуры круга” (переживет или не переживет?)… Начали пить шампанское. Маяковский ничего не пил, встал и вышел в другую комнату и снова начал мрачно шагать. Хозяйка дома забеспокоилась, что его нет. Катаев сказал: “Что ты беспокоишься, Маяковский не застрелится. Эти современные любовники не стреляются”. Владимир Владимирович должен был это слышать… Все почувствовали

неловкость… Маяковский вернулся в столовую, видно было, что он все слышал… Стало светать. В апреле ведь в 5 уже совсем светло. Владимир Владимирович обнял мать Катаевой, поцеловал Валентина Петровича, и мы вышли последними».

Катанян писал о том вечере со слов Регинина: «Маяковский был мрачный… Катаев сказал — не бойтесь. Вертеров больше нет, не повесится…[81] Остряков много было. Мог он это слышать? Не знаю. Шумно было».

Утром Маяковский заехал за Норой, отвез к себе на Лубянку, требовал немедленно бросить мужа и театр, она отказалась, он резко отослал ее, и только она вышла — раздался выстрел.

«Очень поздним утром меня разбудил повторный телефонный звонок, — писал Катаев. — Первого я не услышал.

— Только что у себя на Лубянском проезде застрелился Маяковский».

Людмила Коваленко, запомнившая Маяковского-гостя — его длинные ноги-столбы в брюках и как ходила вокруг них — запомнила и то утро, когда потрясенный Катаев в одном халате выбежал на улицу под хмурое весеннее небо…

Поскольку 14 апреля — 1-е по-старому, многие не поверили в случившееся (разбуженный Асеев хотел «кинуться и избить» жену и знакомую «за глупый розыгрыш»). Многие примчались удостовериться. Михаил Кольцов через три дня после рассказывал, как ворвался в Лубянский проезд: «Припадок!.. Вот мы его сейчас, верзилу, подымем, освежим, растолкаем. Эх, парень. Ну и дела. Нет, не припадок. Бледность лица невыносимо желтеет!», повторяя, что Маяковский был болен и самоубийство — не закономерность, а «происшествие». «Роковой порыв», — писал Катаев. «Зловещая опечатка», — красиво сформулировал ярый рапповец Леопольд Авербах.

Несомненно, на момент смерти Маяковский был главным советским поэтом, так же как главным советским прозаиком был Горький (пускай и опять уехавший в Италию), и неверно полагать, что таковыми их позднее назначил Сталин. Достаточно заглянуть в экстренный совместный выпуск «Литературной газеты» и «Комсомольской правды», полный слезных телеграмм, прочитать эпитеты, которыми провожали покойного, или спешное объявление о сборе средств на тракторную колонну «Маяковский», чтобы понять — разговоры о том, что этого нагло-наступательного человека «затравили до смерти», далековаты от реальности.

Катаев вспоминал себя в пивной на Никольской с Олешей и Бабелем и их общее потрясение. Бабель упрекал Катаева, что тот отпустил больного гостя, Олеша делился наблюдением,

вынесенным вечером в день самоубийства из квартиры Бриков, которое записал: «Вдруг стали слышны из его комнаты громкие стуки — очень громкие, бесцеремонно громкие: так могут рубить, казалось, только дерево. Это происходило вскрытие черепа, чтобы изъять мозг. Мы слушали в тишине, полной ужаса. Затем из комнаты вышел человек в белом халате и сапогах — не то служитель, не то какой-то медицинский помощник, словом, человек посторонний нам всем; и этот человек нес таз, покрытый белым платом, приподнявшимся посередине и чуть образующим пирамиду, как если бы этот солдат в сапогах и халате нес сырную пасху. В тазу был мозг Маяковского». Наблюдение невероятно впечатлило Катаева, и он приводил его, кажется, не без зависти к слуху и зоркости Олеши: Катаев ведь боготворил все художественно-яркое, связанное со смертью (физиология и лирика, шок и трепет).

«Теперь мы особенно нежно должны любить друг друга, — говорил Бабель, гладя меня и Олешу по плечам».

Прощались в клубе писателей. Потоком шли тысячи людей. Катаев, стоявший с повязкой на рукаве в карауле у гроба, в мемуарах не преминул горько усмехнуться над всем сразу, собой, мертвым телом, «поэзией вещей», жизнью и смертью: «В край гроба упирались ноги в больших, новых, очень дорогих башмаках заграничной работы на толстой подошве со стальными скобочками, чтобы не сбивать носки, предмет моей зависти, о которых Маяковский позавчера сказал мне в полутемной комнате: “вечные”».

Там же Катаев увидел Пастернака: «…как бы все вокруг заслонившее, все облитое сверкающими слезами скуластое темногубое лицо мулата… Его руки машинально делали такие движения, как будто он хотел разорвать себе грудь, сломать свою грудную клетку, а может быть, мне только так казалось».

На похоронах во дворе Ильф сделал две фотографии. На одной — его брат художник Михаил Файнзильберг, Петров, Катаев, Серафима Суок-Нарбут, Олеша, Иосиф Уткин. На другой — между траурно-серьезным Катаевым с папиросой и задумчиво-фаталистичным Олешей, снявшим и смявшим головной убор, несколько неожиданный Булгаков с каким-то недовольно-вызывающим выражением лица и шляпой, надвинутой на глаза.

Позднее Катаев добавил в рукописный альманах Корнея Чуковского стихи, в которых — простота потрясенности:

…А до этого за день пришел, вероятно, проститься,
А быть может, и так посидеть с человеком, как гость.
Он пришел с инфлуэнцией, забыв почему-то побриться,

Палку в угол поставил и шляпу повесил на гвоздь.

Где он был после этого? Кто его знает. Иные
Говорят — отправлял телеграмму, побрился и ногти остриг;
Но меня на прощанье облапил, целуя впервые,
Уколол бородой и сказал: «До свиданья, старик!»

«НА ГРАНИ»

Между тем, несмотря на весь пафос прощания, РАПП не унимался. Авербах заявил, что у гроба ему «хотелось не плакать, а полемизировать». Продолжив и после смерти критиковать Маяковского, так и не отмывшегося от «грязи старого общества», рапповцы с еще большим усердием взялись за «попутчиков», тех, кто не имел громкого имени и должной защиты.

Первой мишенью стал Валентин Катаев.

В майском номере журнала «На литературном посту» за 1930 год рядом со статьями на смерть поэта[82] критик Иосиф Машбиц-Веров выступил с развернутым исследованием под предупреждающим заголовком «На грани», посвященным творчеству и личности Катаева.

Этот въедливый обзор катаевской прозы 1920-х годов, на самом деле, весьма неглуп и проницателен.

С основными мыслями зоила хотелось бы даже согласиться, если бы он остановился и заметил, что, хотя писатель ему и чужд, пусть себе пишет, если ему так хочется. Ну это я, конечно, «мелкобуржуазно» замечтался… Как бы не так — следовали громогласные выводы о том, что «не место такому мировоззрению» в нашем дивном небывалом мире, от которых было совсем близко до крика о «недострелянной сволочи». Статья оказалась симптоматичной, отразившись на дальнейшей литературной стратегии Катаева.

«Валентин Катаев, несомненно, один из очень одаренных писателей, — лестно начинал «напостовец» Машбиц-Веров. — Меткая и свежая наблюдательность, веселое остроумие, бесспорная культура слова — эти характерные для творчества Катаева черты редко встречаются в таком свободном и богатом сочетании. — И немедленно добавлял кислоты: — Но вот что показательно: при всех своих бесспорных достоинствах Валентин Катаев не из тех писателей, которые стоят *в первых рядах* нашей литературы. Он не актуален для эпохи. Он никуда не зовет, не будит, его дело скорей всего в том, чтобы усыплять». (Кстати, журнал допустил, повторяя выражение Леопольда Авербаха, «зловещую опечатку»: вместо «не будит» — «не будет».) Распаляясь, критик выводил писателя из его «людей», то есть персонажей, «даже не опустошенных, а просто пустых, позорно поверхностных» и предупреждал, что такое дарование «начинает выполнять социально-вредную, регрессивную роль», ведь покой в грозовое время означает капитуляцию перед врагом.

Отталкиваясь от «Отца» и путешествуя по многим рассказам

(но полностью игнорируя катаевскую «поденщину»), Машбиц-Веров подмечал всюду черты, позволявшие нарисовать психологический портрет самого писателя. Во-первых, он уличал Катаева в «биологичности», приятии «непреоборимого закона жизни» «со всей ее грязью, которая тоже в конечном счете “прекрасна”». «Мы отвечаем совершенно отчетливо: да, мотив о высшей “правде” жизни “самой по себе” лежит в основе всего творчества В. Катаева… Он превращает это “биологическое” мировоззрение в некую абсолютную философию, годную для всех времен и классов». Во-вторых, в Катаеве обнаруживалось «своеобразное *делячество,* “использовательское” отношение к жизни, теория *приспособленчества».* И здесь Машбиц-Веров, употребив жирное словцо «рвачество», обнаруживал «американца-дельца»: «Главное: втянуться в жизнь, вцепиться, всосаться в нее». Критик замечал, что блага земные важны не из «жажды наживы»: «золото как самоцель» — это не про Катаева. Его потребительство носит характер эстетства, самолюбования, чувственного развлечения: «…это ярко выраженный эвдемонизм, т. е. стремление возможно полнее, возможно богаче насладиться жизнью». Ах, как хорошо наслаждаться — женщинами, вещами, вином, «гастрономией» (женщина оказывается «отдыхательным приспособлением», игрушкой, «“удобством” домашнего и ночного обихода»), однако критик признавал за писателем и острое желание любви. Сильны у Катаева и иные «идеалы»: наслаждение искусством и природой. Но, подбивая итог, Машбиц-Веров был неумолим: «развитое духовно» мещанство «еще более социально опасно», чем мещанство обыкновенное, а Катаев именно выразитель «богемской части» городских мещан. По сути, он замаскировавшийся враг (его «биологическое» переходит в «область социологии»), намеренный «приспособляться к фактически господствующему порядку жизни, хотя бы жизнь эта была “чужой”, враждебной». По крайней мере, на свирепый вопрос: «Кто он, враг или художник, которого можно “переделать”, изменить, “перетянуть” на сторону революции» — звучал неумолимый ответ: «Он переходит к стану врагов».

Статья в таком журнале имела большое значение. Несмотря на литературную полемику того времени, невозможно преуменьшать вес РАППа, лишь нараставший до момента внезапной «ликвидации» этого объединения в 1932 году. Тогда же в журнале «Красная новь» Машбиц-Веров получил пусть легкий, но отпор в статье критика Берты Брайниной «Творческий путь Валентина Катаева», призвавшей учитывать «сложный, трудный, крайне неровный рост писателя, постепенно превращающегося из одинокого мечтателя, ушибленного революцией, сначала в

несмелого ее попутчика, а потом и в союзника». «Все же несколько строк из записной книжки Чехова дают мне больше, чем все написанное Машбиц-Веровым», — парировал Катаев только в 1935-м.

Писательница Валерия Герасимова, хорошо знавшая рапповских лидеров Леопольда Авербаха и Владимира Киршона, вспоминала: «Эта клика путем неисчислимых ухищрений добивалась монополистического положения в литературе. В их руки перешли почти все журналы. От них зависели литературные судьбы. Они широко печатались, прославляя друг друга и затаптывая им неугодных. Особенно всевластными стали рапповцы, заявляя, что являются “ячейкой партии в литературе”. Нелегко было тогда — даже внутренне — противопоставить этому что-нибудь…» Муж Герасимовой, Александр Фадеев, рассказал ей: катаясь в автомобиле с Авербахом и Киршоном, они задавили прохожего, и за это ничего не было.

Если говорить об идейности рапповцев, то им был как будто бы свойствен своего рода религиозный фанатизм. Так некоторые верующие, особенно неофиты (в штыки воспринимающие «светское»), отвергают в искусстве всё, что противоречит «канонам» и может «соблазнить». Рапповцы требовали от писателя стремления к трудной «святости», «грешникам» предлагалось либо «перековаться», либо сгинуть. Решительное неприятие «медиумического» (то есть свободной литературы) буквально означало вопрос: «А каким духом это вдохновлено?» Рапповцы были по-своему логичны, их твердость возникала из обещаний делать литературу «по букве» марксизма, но ведь и само строительство социализма было новой религией. Революция как классовый переворот вверх тормашками подразумевала коренное изменение всех областей старого мира, не исключая прежнего искусства.

Но вопрос вот в чем: если конечный идеал верующего человека — спасение души и царствие небесное — и тогда отречение от помех объяснимо, то как понять религиозную истовость в связи с материалистической идеей? Нуда, вожделенная цель — бесклассовое общество, равенство, благополучие, и ради блага человечества на земле можно благословить жертвенность и воинственность, но действительно ли на этом пути нужно налево и направо уничтожать «неправоверную» литературу как мещанскую, сюсюкающую, «мелкотемную»? Сама окончательная победа большевизма не есть ли победа «высокого мещанства», мира достатка, комфорта и красоты, пускай и облаченного в «одежды культуры»? Или в большевизме заложено что-то иное — иррациональное,

конфликтное, острое, что гораздо важнее и занимательнее для его апологетов, нежели далекая сладость коммунизма?

И тут я уже прямо цитирую то, что «напостовец» Машбиц-Веров предъявлял Катаеву — «мещанство в культурных одеждах», любовь к женщинам, удовольствиям, природе. Критик (как и его единомышленники) как будто и не задумывался о цели борьбы, конечной точке маршрута. Рапповцев заботил «ожесточенный поход» против всех и вся[83], и, кажется, главная прелесть состояла в самой ожесточенности.

Конечно, ликвидация РАППа не означала отказа от догматизма, занималась заря «социалистического реализма», но горячка неофитства спадала.

Впрочем, по свидетельству Герасимовой, главные рапповцы были пламенными неофитами на словах, а в жизни — расчетливыми «кремлевскими барчатами» в отличие от своих предшественников эпохи военного коммунизма: «Несмотря на идейную дубовость позиции пролеткультовцев, им все же нельзя было отказать в субъективной честности, бескорыстии. Иное дело вожачки РАППа. Помимо “славы” вскоре появились (как побочный, но далеко не безразличный для них элемент) блага материальные: квартиры, дачи, деньги. Киршон, румяный, откормленный красавчик, был своеобразным “богачом”, самодовольный нувориш, сочетающий потребительские радости с утверждением себя на ролях “защитника интересов рабочего класса”. И называли они все себя беззастенчиво “пролетарскими” писателями, хотя обращались с живыми, конкретными трудящимися с хамским пренебрежением». Друг детства Авербаха по Саратову Георгий Александров вспоминал, что тот изначально был «барином», из семьи, принадлежавшей к «крупной буржуазии»: «Свой выезд, кучер, лакей и горничная», а после революции процвел пуще прежнего, будучи племянником Свердлова и став шурином Ягоды.

Вот тут занятный момент: Катаев с открытым забралом и юным запалом выказывал стремление жить хорошо, ловко устроиться, наслаждаться, он эстетизировал эти намерения в литературе в то время, как другие литераторы, обогнав его и по влиянию, и по доходам, с постными физиономиями вопили о «суровых битвах с врагами революции».

При этом хочется отметить, что рапповцы не были лишены талантов: в проповедях Авербаха есть интеллект и задор, а если драматургия Киршона и вызывает сомнения, то можно вспомнить, что песню на его стихи любят и поют по сию пору («Я спросил у ясеня»), любопытны критики Селивановский и Лелевич (все названные расстреляны), да и Машбиц-Веров (которому расстрел

заменили десятью годами лагерей, и по-катаевски доживший до восьмидесяти девяти лет), как уже сказано, неглуп и проницателен[84].

Одними «фельетонами» от советской власти не отделаться — это Катаев понял еще до «напостовской» статьи. Впрочем, похоже, к необходимости полнее и нежнее отдаться политическому отнесся без особого драматизма. В конце концов, альтернативой кнуту был медовый пряник положения.

В сентябре 1930 года в «Литературной газете» РАПП учинил анкетный опрос писателей под громоздким, но снисходительным заглавием «За активное участие попутничества в революционной практике рабочего класса». Среди «представителей попутничества» — Виктор Шкловский, Николай Тихонов, Борис Лавренев. «Попутчик» Катаев обращался к «господам-товарищам» голосом смиренным и просительным: «От пролетарского литературного движения я жду очень и очень многого. Жду, во-первых, революции в области формы. Во-вторых, дружеского руководства и помощи в поисках темы и выработке широкого политического и философского миросозерцания. В-треть-их, обстоятельной, серьезной, внимательной и принципиальной критики. В-четвертых, создания вокруг советского писателя атмосферы искреннего полного доверия и уважения к его трудной и ответственной работе. В-пятых, привлечения так называемых попутчиков (между прочим, терпеть не могу этой соглашательской клички), и меня в том числе, к постоянной работе ассоциации пролетписателей, хотя бы в дискуссионном порядке и без права решающего голоса». А заканчивал и вовсе уверенностью в великом торжестве «пролетарской литературы», которая «во что бы то ни стало должна перекрыть чрезмерно еще почитаемых у нас классиков феодальной и капиталистической России».

Все было «на грани» — и успех, и наказание. Кнутом помахивали тревожно близко. Так, в литературной энциклопедии 1931 года статья о Катаеве (написанная все тем же доброжелателем) имела обвинительный уклон:

«Основной мотив творчества К., повторяющийся в разных вариациях: жизнь прекрасна и “оправдана” “сама по себе” тем, что она — жизнь… Каков социальный смысл этой философии “непосредственной жизни”, к-рая “изумительна” и “оправдана” сама по себе? Это — философия мещанства, философия людей, к-рые не хотят переделывать жизнь, устали бороться с ее невзгодами и способны только наслаждаться ею. К. никогда не поднимается в своем творчестве до общественно-значительной сатиры… Выразительные средства К. вскрывают ту же социальную

природу среднекультурного, зажиточного, городского мещанства… В последний период К. пытается преодолеть обывательскую ограниченность своего кругозора и приблизиться к социалистической стройке».

Вот эти-то последние годы «перековки» (конец 1920-х — начало 1930-х годов) позволили Катаеву сберечь себя и закрепиться в литературе, не разделив участи Булгакова, писавшего в стол.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ «БЕЗУМНЫЙ МАТЧ НАД ВЗМЫЛЕННОЙ СТРАНОЙ»

«ПОДШЕФНЫЙ ПИСАТЕЛЬ», ИЛИ ПЕВЕЦ ТОРМОЗНОГО ЗАВОДА

В апреле 1929 года партия приняла план первой пятилетки. Началась эпоха «великого перелома», совпавшая с Великой депрессией в Англии, Франции и США.

У индустриализации, которую тогда еще называли «перестройкой», были имена: Магнитогорск, Днепрогэс, Кузнецкстрой, Харьковский тракторный, Сталинградский тракторный… Плюс число 518 — столько дополнительно строилось заводов. Электростанции, железные дороги, перевооружение… Жертвенный подвижнический труд миллионов — массовый энтузиазм и железное принуждение… К «перестройке» (по лекалам Петра I) были привлечены иностранные специалисты. В 1930 году было развернуто строительство около полутора тысяч промышленных объектов.

В феврале 1931 года Сталин потребовал выполнить пятилетку в три года по «решающим отраслям промышленности», потому что: «Отсталых бьют».

Катаев, кажется, не сразу сообразил, что требуется или что происходит. 1 июля 1929 года в «Литературной газете» вышел его очерк «То, что я видел» (тот самый, раскритикованный среди прочих Маяковским) — ехидно-раздраженные впечатления от посещения Московского тормозного завода. Позевывая и хмыкая, Катаев гулял по заводу, где создавалась одна большая вещь — тормозной насос. На «производственные частушки» из громкоговорителя «никто не обращает ни малейшего внимания» — «привыкли, да и не интересно». Формирование коммун и бригад тоже бесполезно: «Во-первых, эти попытки не всегда приводят к положительным результатам, а во-вторых, образование такого рода бригад является, собственно говоря, выгодным только для объединившихся рабочих и для общего дела пользы почти не приносит». Автор подходил к молодому заводчанину с вопросом о невыгодности социалистического соревнования. «На мой провокационный вопрос… комсомолец злобно от меня отвернулся, маленькие его глаза стали как дробинки, и он, круто нажав на рычаг, включил станок». Общий же настрой статьи был, пожалуй, троцкистским (и это в год высылки Троцкого из страны) — рабочие несознательны, захвачены инерцией, довольствуются «реакционными формами» (в подтексте упрек «большинству», наспех принимаемому в партию), в то время как «революция продолжается» и не может не

продолжаться, но благодаря немногим: старым партийцам и юным кадрам — «неудовлетворенность, движение, целеустремленность, борьба, повышенная температура, учащенный пульс, жила на лбу…».

Последовал град ответов. «Пошляки на литературных гастролях» — называлась статья в «Комсомольской правде» «рабочего Н. Яковлева»: «Кажется, что устами Катаева говорит сидящий в суфлерской будке классовый враг… Такие выводы, какие сделал Катаев после гастролерского визита на Тормозной завод, мог сделать только чуждый рабочему классу человек… Печать барского высокомерия и литературной пошлости…»

«Литературная газета», покровительственно сочувствуя заблудшему «попутчику», в редакционной статье называла его позицию «ложной» и «фальшивой» и призывала «вскрыть объективно-реакционную сущность этого “романтизма”».

«Катаев чушь городит… — сообщали пролетарии в «Молодой гвардии». — Пишет он о рабочих не по-человечески, а по-офицерски. Вороной залетел, вороной каркнул и улетел».

Черная ворона, белый офицер… Не взять ли на прицел?

Вскоре Катаев рассказал жене в письме на дачу: «Я упиваюсь летней Москвой, ночными починками трамвайных путей, рассветами, духотой и пр. Мыслей — тьма. Мировоззрение шатается и трещит. Наверное, скоро я сочиню нечто замечательное».

В 1929 году «Литгазета» ввела специальный отдел — «Писатели на фронте соцсоревнования».

Журнал «30 дней» организовал выезд писателей в образцовую сельскохозяйственную коммуну «Герольд» — о чем Катаев немедленно написал очерк «Путешествие в страну будущего» (1929). Коммуна была создана еще дореволюционными эмигрантами, в первые годы нэпа вернувшимися в Россию. Очеркист умилялся яркой энергетике и передовой технике: «Они привезли с собой из Америки множество новейших сельскохозяйственных машин, большую волю к свободному труду» и признавал: часть коммунаров разочарованно «возвратилась в Америку». По сути получился прелестный рассказ — больше о природе, чем о ее возделывании, где люди были неотделимы от лесных и полевых пейзажей, а также от бабочек, пчел и цыплят. Конечно, Катаева занимали коммунарки с «нежнейшими розовыми платками» на головах: «издали девушки похожи на поспевшую землянику», но и корова предстала привлекательной: «…глаза у “Пеструшки” такие божественно-выпуклые, такие розовые губы, такая гибкая шея, такие женственные формы, что поневоле хочется прочесть не

“Пеструшка 18,10 отрубей”, а по крайней мере “Эрнестина Витольдовна, 3,6 порций фисташкового мороженого”», да и в инкубаторе было интересно: «На ваших глазах яйцо вздрагивает. На его фарфоровой поверхности возникает звездообразная трещина, точно кропотливый рисунок тушью на боку китайской чашечки». Но, похоже, главным впечатлением стала встреча с пчелой: «Тонкая волосяная петля со свистом проносится в воздухе и молниеносно кружится вокруг головы, путаясь в шевелюре… Ай! Острый, обжигающий укол в лоб… Жгучая память о меде, которого не отведал».

Тогда же, в 1929-м, он посетил сельскохозяйственную артель в Нижневолжском крае и написал пьесу «Авангард» о создании мощной коммуны наперекор осторожным и темным «элементам», ставшим злобно-враждебными. Кто-то пошутил, что если в финале западного расхожего сюжета герой, обняв возлюбленную, попирает труп врага, то советский популярный сюжет венчает гибель героя. Это абсолютно соответствует концепции «Авангарда»: председатель коммуны Майоров отдал жизнь ради урожая пшеницы и колонны тракторов, любящая его женщина заплакала, зато в финале зазвучали нескончаемые голоса работников: «Я за него! Я за него! Я за него!»

Впрочем, похвалы пьесе были скупы, она не проняла строгих ревнителей «передового искусства» и при постановке провалилась в Театре им. Евг. Вахтангова. «О чем свидетельствует наивная пьеса Катаева о колхозе? — строго спрашивал все тот же журнал «На литературном посту». — В лучшем случае (если даже не предполагает никаких халтурных расчетов автора) — здесь недопустимое легкомыслие, взгляд на важнейшие, кардинальные общественные процессы нашего времени “из окна вагона”… “Авангард” в этом смысле — грозное предупреждение, может быть — последнее». «Литературная газета» упрекала героя в авантюризме.

Богемно-рассеянным и по-своему вызывающим получился рассказ 1930 года «На полях романа», пронизанный скепсисом к истовым колхозным организаторам, «советским Левиным», которых, «скрывая неудовольствие», вынужденно посещал гость-эстет, размышлявший все время о героях Толстого — «с улыбкой удовольствия» о Вронском с его «животным началом (ах, как Вронский выигрывает рядом с «наивным» и даже «тошнотворным» Левиным!) и о Стиве Облонском: «Бездельник, обжора, паразит, либеральничающий бюрократ, белая кость, таких расстреливать надо… И расстреливали, — а поди ж ты! — до чего симпатичен и мил!»

Но эпоха брала свое. 2 октября 1930 года Катаев держал речь

в клубе «Красная звезда» на вечере, посвященном открытию первого в СССР Государственного часового завода, и читал стихотворный фельетон.

Идея подчинения литературы пролетариату приобретала могучие формы: на фоне индустриализации РАПП выдвинул смелое предложение — теперь рабочий будет для писателя и музой, и первым читателем, и редактором, и цензором. А на самом деле (легко обнаружить) за фигурой токаря, слесаря или фрезеровщика скрывался все тот же бдительный рапповец. Завод «Красный пролетарий» в конце 1930-го взял под свою опеку «группу писателей»: Александра Жарова, Александра Безыменского, Иосифа Уткина, Джека Алтаузена, Юрия Олешу, Георгия Никифорова, Валентина Катаева. «Призыв ударников в литературу, — говорилось в сообщении «Литературной газеты», — логически вытекает из всей десятилетней борьбы РАПП за гегемонию пролетарской литературы». В торжественной обстановке подписали договор рабочих с прозаиками и поэтами. Специально созданный рабочий совет должен был обсуждать наиболее крупные их произведения еще до опубликования.

Та же «Литгазета» извещала: «Завод “Красный пролетарий”, надеясь в ближайшее время совместно с подшефными писателями выработать конкретные, наиболее целесообразные формы шефства, призывает подшефных товарищей сейчас же, немедленно включиться в жизнь завода, в культурную работу, в реальную борьбу за выполнение пятилетки в четыре года». Дальше — больше: «Приказом заводоуправления за № 157 подшефным писателям были выданы расчетные книжки и табельные номера».

Под рапповское гудение о необходимости «одемьянивания литературы» Катаев начал теснее общаться с Демьяном Бедным.

Лиля Брик ядовито воскликнула в дневнике: «У Катаева альянс с Бедным!» (24 сентября 1930 года).

В 1919 году в вагоне Троцкого Катаеву случайно не удалось познакомиться с «народным стихотворцем». «Пришедшие спросили о Демьяне, и Троцкий сказал, что Демьян Бедный только что заснул после двух суток работы и что будить его нельзя, потому что его силы нужны Республике».

Они познакомились в Москве в начале 1920-х. «Я бывал у него дома», — вспоминал Катаев, подразумевая Кремль. «Он выписывал пропуск — проверяли тогда уже строго, — и я шел по длинному белому коридору, в который выходили разные квартиры — Ворошилова, Молотова, еще кого-то…»

В 1930-м, как ниточка за иголочкой, он следовал за Бедным сначала на Днепрострой, потом на Россельмаш и, наконец, к горе

Магнитной на Урале — всё в личном вагоне Демьяна.

О первой поездке в журнале «30 дней» вышел очерк «Пороги», полный художественных красот: «заря наливалась, как вишня»; «туча стала цвета клюквенного киселя с молоком»; «солнце блистало красным леденцом». Снова, как и при визите в сельхозкоммуну «Герольд», Катаев думал о далекой лихой Америке: «Вот тебе и Миргород! Вот тебе и вечера на хуторе близ Диканьки! Америка! Детройт! Слово было найдено. “Детройт!” Индустриальный пейзаж. Так вот оно как будет выглядеть наша “избяная, кондовая, толстозадая”, когда через несколько пятилеток покроется сетью таких “детройтов”».

Застраиваемую реку, разумеется, увидели глаза поэта: «Скрученный по рукам и ногам, с серыми волосами, привязанными к кольям, обставленный лестничками, по которым бегали крошечные победители, Днепр корчился, как Гулливер, тяжело дыша и бесплодно напрягая мускулы».

Если из Днепростроя получился плавный и изящный очерк, то из Магнитостроя вышел эксцентричный пульсирующий роман.

«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»

Итак, весной 1931 года Катаев и Бедный отправились на Магнитку.

С XVIII века было известно о железной руде горы Магнитной, но только теперь ее всерьез пустили в дело.

Непрестанный поток рабочих и грузов, бригады, лихорадочный труд в голой степи… Строительство невиданное по размаху, отсылающее к мифам и легендам. «Все в дымах и смерчах, в бегущих пятнах света и тени, все в деревянных башнях и стенах, как Троя, — оно плыло, и курилось, и меркло, и снова плыло движущейся и вместе с тем стоящей на месте немой панорамой». Так писал Катаев в романе «Время, вперед!», который в 1932 году начал выходить в «Красной нови».

Пока же 30 апреля 1931 года московские гости оказались на собрании «актива строительства», где гремел скандал, потеснивший победные речи. Прежнее руководство было смещено за «срыв планов и торможение темпов» еще в январе, однако претензии к работе не только сохранились, но и обострились. Демьян Бедный вклинился в это беспокойное обсуждение, агитируя всех образом богатыря Святогора из русской былины, который пытался превозмочь тягу земную. Навыступавшись и сочинив бодрые плакатные вирши, Демьян засобирался в дорогу. По свидетельствам очевидцев, он растерялся среди стремительной суеты (отчасти шаржем на него стал в романе обалдевший писатель Георгий Васильевич). Катаев попрощался со «старшим товарищем» и выпрыгнул из вагона — решил остаться.

Он пробыл на Магнитке две недели, вернулся в Москву, получил газетно-журнальные «мандаты», снова приехал на стройку и оставался целый год, до весны 1932-го. События были сверхактуальными: за «сотворением гигантов» следила вся страна.

К середине 1931 года на Магнитострое работали 61 712 человек. Катаев жил в вагончике с журналистами. Корреспондент ТАСС Александр Смолян вспоминал: «Очень скоро перестали на него смотреть как на “гастролера”, залетную знаменитость… Вместе с нами он бывал на строительных участках, на совещаниях в управлении, вместе с нами выезжал среди ночи на аварийные или пусковые объекты, беседовал с ударниками, интервьюировал инженеров, спорил с противниками “сумасшедших темпов”, заполнял записями блокнот…»

На Магнитке Катаев наблюдал бетонщиков Коксохима — бригаду Сагадеева (которого в романе переименует в Ищенко) и

их чудовищный рывок, организованный инженером Тамаркиным (прототип главного героя Маргулиеса). 31 мая 1931 года в «Магнитогорском рабочем» вышла коллективная статья очеркистов стройки, подписанная и Катаевым, где сам заголовок «Энтузиазм — плановость — победа» уже содержал в себе, как гора — руду, тему будущего романа. Между тем люди выбивались из сил, не все могли и хотели превращать артели в штурмовые бригады и сражаться, не щадя живота своего, как на фронте. Многие проклинали «неосуществимую скорость». На Сагадеева через несколько дней после его «мирового рекорда» напали, кого-то из «ударников» убили. В местной прессе рассказывалось о расправе над комсомольцем-бригадиром: «…был найден связанным, избитым, с забитым землей ртом и положенным на соломенный мат, который был подожжен».

«Время, вперед!» — это всего один день безумной жизни Магнитостроя. Чтобы не сбиться, Катаев нарисовал на большом листе бумаги циферблат, поминутно расчерченный в соответствии с сюжетом.

Название подарил Маяковский. Катаев встретил его в начале 1930-го на улице, когда тот нес «Марш времени» Мейерхольду, и тут же продекламировал оттуда: «Вперед, время! Время, вперед!»

— Чудесное название для романа — «Время, вперед!», — сказал Катаев.

— Вот вы и напишите. Я романов не пишу.

Одна из ключевых сюжетных линий — конфликт консервативного осмотрительного инженера Налбандова, ошеломленного «темпами» («слишком нагло подвергали сомнению утверждения иностранных авторитетов и колебали традиции»), и прогрессивного инженера Маргулиеса, который в итоге оказывается прав с «варварской быстротой работы».

Маргулиес звонит по делам среди ночи в Москву, и его жена Катя, ничего не понимая, повторяет: «Я стою босиком в коридоре» (так Катаеву отвечала Анна, когда он по делам звонил ей из Берлина).

Читается и как документ эпохи, и как произведение искусства, щедрое на метафоры, и как призыв сделать Россию сильнее. Пафос: мы больше не Азия, отсталость преодолена. Смонтированный по принципу клипа роман-хроника полон отрывистых, уносимых вихрем фраз. Ветер — вообще, здесь важнее всех, что заметил Шкловский: «Лучший образ в романе — это ветер, ветер, который сквозняками выкидывает легкие портьеры в гостинице, ветер, который превращается в буран».

Цитаты из Сталина Катаев вплетает так же искусно, как потом будет вплетать в свою прозу чужие стихи. «Дети продают

на станциях ландыши. Всюду пахнет ландышами. Телеграфный столб плывет тоненькой веточкой ландыша. Маленькая луна белеет в зеленом небе горошиной ландыша. Мы пересекаем Урал». И тут же в эту благодать врывается стенограмма речи вождя. «Прежде всего требуются достаточные природные богатства в стране: железная руда, уголь, нефть, хлеб, хлопок…» И дальше: «Поэт ногтем подчеркнул железную руду». И опять вмешивается Сталин, как впоследствии в катаевскую речь в ЦК: «Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим!»

В статье «Рапорт Семнадцатому»[85] накануне партийного съезда Катаев сообщал: «Между прочим, язык Сталина, точный, ясный, ритмически необычайно богатый, дал мне основную синтаксическую установку… "…Вот почему нельзя нам больше отставать…" Эта темпераментная цитата, органически введенная мною в ткань хроники, и явилась тем ритмическим импульсом, который определил в дальнейшем всю смысловую зарядку и синтаксическую структуру моей хроники».

Но даже в идеологической эпопее главным для Катаева остается *как,* а не *что.* Роман под завязку набит метафорами, поэтому тяжкий труд людей и свирепая работа машин зачастую передаются с утонченной манерностью. Паровоз фыркает «маленькими кофейными каплями» нефти, у голых по пояс парней мускулы на спинах блестят, «как бобы», а арматурины, торчащие из «молодого зеленоватого бетона», кажутся «маленькими пучками шпилек». «Время, вперед!» стоит прочитать хотя бы для того, чтобы насладиться стилем.

На строительстве Магнитки присутствует американский инженер, мистер Томас Биксби, прозванный на русский лад Фомой Егоровичем. Автор вместе с американцем, алкоголиком и наркоманом, долго любуется глянцевым журналом с заманчивыми изображениями разных вещей и продуктов, которые так и хочется потребить. Но потом американец узнает из советской газеты, что банк с его деньгами обанкротился, рвет скользкий журнал и принимается за уничтожение всего в номере, включая стулья и зеркальный шкаф: «Вещи бежали от него, как филистимляне. Он их крушил ослиной челюстью стула». Вместе с вещами американец крушит себя и свою идеологию — «вещизма».

Концовка романа — возвращение в начало. Великая стройка потрясла мир, а ландышевая луна по-прежнему светит, и Сталин опять проникает в пейзаж: «В поезде зажглось электричество. Мы движемся, как тень, с запада на восток. Мы возвращаемся с востока на запад, как солнце… "Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет,

не хотим!.. Вот почему нельзя нам больше отставать…” Нельзя! Нельзя! Нельзя!.. На лужайках, среди гор, желтые цветы, пушистые, как утята. Маленькая луна тает в зеленом небе тугой горошиной ландыша».

Финальная глава-посвящение — письмо из парижского кафе запыленной, загнавшей и перегнавшей себя Магнитке. И рядом — образ миловидной Клавы, которая, намаявшись, поняв, что «все здесь чуждо», бросает прораба Корнеева и устремляется к «другому мужу» на юг, туда, где «море, иллюзии какого-то небывалого, нового счастья», но в дороге пишет на стройку любящие письма, переходящие в катаевскую прозу: «Они были вдоль и поперек полны прелестных описаний пейзажа… Они были полны клятв, планов, сожалений, слез и поцелуев».

«“Время, вперед!” — произведение, построенное буквально по принципу кино», — говорил Катаев, что очевидно: минимум диалогов, резкая смена кадров, все ужато в жесточайшие временные рамки, но при этом уже здесь — сквозной вопрос: а что есть время? Упоминания его в романе многозначительны: «время летело сквозь них», «вместо остановившегося времени заговорило пространство», «слишком отстающее время», и наконец, нечто новое, первозданное — «город без “шума времени”, без медного языка истории».

Как известно, в телепрограмме «Время» заставкой звучала и звучит увертюра Георгия Свиридова «Время, вперед!», написанная в 1965 году для одноименного фильма Михаила Швейцера по роману Катаева (Маргулиеса отменно сыграл Сергей Юрский, прораба Корнеева — Леонид Куравлев). Однако этот роман никак нельзя назвать гимном времени, это гимн тем, кто, сипло понукая, гонит время в яму котлована. Катаев, как и Платонов, уловил утопичную жажду чуда и бессмертия, свойственную ударникам «русского коммунизма». «Время — враг» — можно было бы назвать книгу, словно бы так, задыхаясь, провозглашает взвинченный бегом автор, чтобы позднее, погрузившись в расслабляющую ванну мовизма, выдохнуть: «Времени не существует».

Он был одним из первых, но о стройках написали многие. Вспоминаю названия, и почему-то представляется, что это певцы исполнили по шлягеру для общего альбома: «Соть» Леонова, «Энергия» Гладкова, «Гидроцентраль» Шагинян, «Кара-Бугаз» Паустовского, «День второй» Эренбурга, «Рассказ о великом плане» М. Ильина (Маршак-младший). Трек 1, трек 2, трек 7… Представилось, наверное, не случайно. Те тексты читали и знали массово, как сейчас эстрадные песни.

«Времени, вперед!» доставалось с разных сторон. Рапповцы

снисходительно отозвались сквозь губу. В журнале «30 дней» литератор Илья Бачелис, напомнив: Катаев «систематически скатывался к анекдоту, к случайному занимательному наблюдению, к фельетонной характеристике, к мелкой и часто пошлой лирике по всякому поводу», сожалел: «В новом романе очень легко обнаруживаются элементы старой творческой катаевской традиции».

Тот же Шкловский, отметивший у Катаева силу ветра, упрекнул в аляповатости образов, сравнив их с нелепыми плакатами, нарисованными наивной пролетаркой («неправдоподобный пейзаж Шуры был ближе к делу, чем образы Катаева»), укорил за отсутствие интриги («роман сю-жетно не напряжен») и за недостаточную интересность героев («герои не круглые, не способные к превращению») и в итоге снисходительно, как учитель, то ли пожурил, а то ли поощрил: «Ошибкой или поступком Катаева является, что он брал тему в лоб и имел в результате удачи не там, где их ждал». Возможно, эта «литгазетная» статья Шкловского «Сюжет и образ» и оказалась в истоке их пожизненно враждебных отношений, что сам критик словно бы предсказал в первых строках: «Если писать о современниках, то количество знакомых, друзей быстро уменьшается и мир вокруг тебя пустеет, как буфет». Правда, за Катаева в «Литературной газете» между делом карающе-трибунно вступился Александр Фадеев. Он разродился манифестом «Старое и новое», явно уступая в изяществе Шкловскому, но зафиксировав: тот «осуждает с позиций формализма революционное и талантливое произведение В. Катаева» и попеняв газете: статья приверженца «буржуазной литературной теории» «не встретила никакой ответной критики со стороны редакции». Да и Горький смилостивился: попросил у Катаева сразу два экземпляра книги. «Второй я пошлю в Нижний Новгород в библиотеку, куда я посылаю хорошие книги», — пародировал горьковское оканье уже престарелый Катаев.

Декадентскую поэтику (Катаев потом признавался, что писал свой ритмизированный текст не без влияния Андрея Белого) почувствовали соперники по «производственному роману» и обвинили автора в непонимании вопросов строительства, романтической слепоте, упоении спортивными состязаниями, бездумном обожествлении скорости. Шагинян взывала к Катаеву: «Вы не учитесь проблеме бетона», Гладков с апломбом специалиста (он еще в 1925-м написал «Цемент») высмеивал «сногсшибательные рекорды на количество замесов» и называл это «энтузиазмом впустую». Сам же Андрей Белый в письме поэту Петру Зайцеву сообщал: «В совершенном восторге от романа В.

Катаева “Время, вперед”; непременно прочтите».

А вот Георгия Адамовича в Париже впечатлила именно художественно-выразительная «проблема бетона»: «Автор “Время, вперед!” сделал все, что, кажется, возможно было сделать в пределах человеческих сил, чтобы повествование свое оживить. Стоит только сравнить эту хронику с такой благонамеренно-тягучей мертвечиной, как “Гидроцентраль” Мариэтты Шагинян, чтобы удачу Катаева оценить… Это исполнение постороннего, данного свыше, задания. Автор не свободен: он следует агитационным обязательным предписаниям. Но так заразительна и так свежа сила, живущая в нем, что в конце концов ему удается вызвать нетерпеливый интерес даже к бетону. Читаешь — и ловишь себя на беспокойной мысли, что же, побьют рекорд или не побьют?..

Одному французскому писателю на днях передавали при мне содержание этой вещи. Он послушал и сказал:

— Это фетишизм.

Интересно, что слово “фетишизм” мелькнуло уже и в советской критике в связи с катаевской хроникой, — хотя, конечно, тут же вызвало гневные возражения… Действительно, для Катаева бетон — это как бы некое божество, требующее жертв… Катаевские рабочие борются за строительство, как рыцари шли в крестовые походы: дойти в Иерусалим — и умереть; побить мировой рекорд по бетону и как бы раствориться в радостном трепете…»

Роман выпустило крупное нью-йоркское издательство «Фаррар и Рейнгарт». Откликнулись практически все американские рецензенты. Кто-то назвал роман важнее, «чем десяток книг, написанных всякого рода экспертами». «Катаев пишет смело, уверенный в своей правоте», — отмечал обозреватель «Нью-Йорк тайме бук ревью» Питер Монро Джек. «Катаев пишет историю борющихся людей в новой стране», — сообщал в «Нью рипаблик» критик Мальколм Каули.

Как бы то ни было, но прорыв Магнитки стал известен на всю страну: 26 июня 1931 года бригада Галиуллина (в романе — Ханумов) выдала за смену рекордное количество замесов бетона. Кстати, первая глава в катаевском романе была пропущена, превратившись в эпилог, не из кокетства, а по той причине, что качество бетона стало понятно лишь через неделю. Да и скорость строительства всего комбината оказалась рекордной.

Впрочем, уже в 1934 году Алексей Гарри в «Литературной газете» в статье «Жертвы хаоса» ставил под сомнение героизм, изображенный Катаевым: «Бетонная истерика в конечном итоге стоила Советскому Союзу немало денег. И “герой” этой весьма

печальной, но и очень поучительной эпопеи, корреспондент РОСТА в Магнитогорске (в романе — Винкич), в течение двух лет бомбардировавший советскую печать беспринципной и выхолощенной информацией о величайшей стройке в истории новой техники, несомненно, несет очень значительную долю ответственности за заблуждение отдельных горячих умов… В. Катаев заблудился в хаосе».

Строителей ждали разные судьбы. Якова Гугеля (управляющего Магнитостроем) расстреляли в 1937 году, главного инженера Василия Сапрыкина приговорили к ссылке (но в 1941-м полностью оправдали). О своем герое-инжене-ре Катаев говорил: «Представляю, чем он должен был кончить — осуждением за шпионаж и вредительство». Тамаркин (романный Маргулиес) действительно кончил жизнь трагически. В 1937-м, по утверждению писателя Александра Авдеенко, «не желая разделить судьбу репрессированного начальника Уралвагонстроя Марьясина, он поцеловал спящую жену, пошел на строительную площадку и приложил руки к обнаженным высоковольтным проводам».

Через тридцать с лишним лет после стройки Катаев опять оказался на Магнитке и сказал, что никогда ее не забывал. Слукавил ли?

Быть может, действительно он ощутил себя соучастником «огромного творчества» — азарт захлестнул его тогда, испещрявшего блокнот малейшими подмеченными деталями (брезентовая спецовка и красные штиблеты бригадира, платочек и тапочки комсомолки) и сумевшего передать бешенство организованной стихии.

Опрощение, побег к рабочим — лишь бы избавиться от клейма «богемского попутчика».

«За стеной Урала» сокрылся он от пашёй могущественного РАППа…

«До сих пор я писал, так сказать, вслепую, более полагаясь на чувство, чем на разум», — винился Катаев в «Литературной газете», рапортуя партии, что теперь-то теоретически подковался: «Я поглотил “Диалектику природы”, несколько томов Ленина, перечитывал речи Сталина». Он прожил четыре месяца в политотделе Раздорской МТС и, собирая материал, одновременно «вел протоколы производственных совещаний, планировал распределение тягловой силы, учитывал количество обмолоченного хлеба, дежурил на элеваторе»…

Теперь он будет новым Катаевым, певцом рабочих и колхозников. «Задача громадная, требующая большого спокойствия, выдержки и напряжения сил». Главное слово:

спокойствие. Оставьте в покое.

Но это была не защитная реакция, а сильная заявка.

Он понимал: хочешь быть в первой обойме — попади в «нерв времени».

Он не повел себя, как Демьян Бедный, хотя мог катиться дальше под его крылом. От Магнитки можно было отделаться неделей, ну даже месяцем наблюдений… А вот на год уйти с головой в серый бетон — как это не похоже на лирика и эстета! На год лишить себя столичных увеселений и повсеместных заработков! И одновременно как это на него похоже, неунывающе-волевого, вымуштрованного Гражданской войной и способного круто менять жизнь.

Так ведь было и за десять лет до того, когда он, выйдя из подвала ЧК, знал: «…что-то нужно сделать, как-то немедленно поступить, зацепиться за что-то и быть втянутым в эту чуждую и радостную жизнь» («Отец»). Чуждую и радостную. Радостную, но чуждую. Может, Катаев и впрямь пытался переделать себя вслед за страной с ее пятилеткой?

И все равно странно, как его, разноплановому, предприимчивого, неугомонного, хватило на столько времени? Как чувственное сердце переносило беспросветные технические будни? Были ли ему милы и близки окружавшие на стройке запаренные люди (например, Хабибула Галиуллин, из-за безграмотности даже не умевший объяснить механику своего достижения)? А многомесячные дежурства на машинно-тракторной станции?

Впрочем, Катаев уже был когда-то добровольцем и прошел войну рядом с простыми солдатами…

«А МЕЗДРА ВСЯ В ДЫРКАХ!»

В 1931 году появилась пьеса «Миллион терзаний», забавно построенная на путанице «социальных ролей» и высмеивающая немолодого безработного «либерала» интеллигентной наружности Экипажева, противника «победивших хамов».

Смех смехом, но в финале поневоле вспоминаешь это самое многажды повторенное в пьесе библейское имя «Хам»: от Экипажева отказывается сын Миша, ставший милиционером и взявший фамилию жены-кондукторши «Ключников» — он тащит отца за шиворот в отделение. И это при том, что герой боится ареста, а Миша еще вначале предупреждает его, чем закончатся антибольшевистские разговоры. Водевиль (с трагическим подтекстом), поставленный Московским театром оперетты, а затем Ленинградским театром музыкальной комедии, был встречен прессой одобрительно. Хотя, по мнению критика Берты Брайниной, Горький мог подразумевать именно катаевскую пьесу, когда осуждал «характер анекдотический» произведений, посвященных «остаткам разрушенного мещанства», «человеческого хлама» («из их среды выходят бракоделы, вредители, шпионы и предатели»).

В том же 1931-м Катаев приехал в Берлин, где Лессинг-театр поставил и эту пьесу, и «Авангард». Что до «Миллиона терзаний», как вспоминал Катаев, «играли в пьесе замечательный германский актер Гумолька и Элен Сандрок, одна из первых исполнительниц ибсеновского репертуара. Здесь она уже играла комическую старуху».

24 сентября 1931 года он сообщал «дорогому Мусенышу» из Берлина: «В Европе адовый кризис. Это чувствуется на каждом шагу… 26-го уеду на 1–2 дня в Прагу, где премьера Экипажева… Европа — дрянь. Единственная жизнь — у нас. Меня называют в Берлине “этот молодой русский”. Мерси. Был в рабочих кварталах. Меня чуть не побили Гитлеровцы (местные фашисты). Был в лучшем местном локале “Риа Рита”. Это — мрак. 6 банкиров, 3 бляди, штук 12 “так себе грансдам” и оркестр джаз помесь Москвы и Италии. В разгаре веселья в зал впустили штук 20 больших воздушных шаров, которые веселящиеся тузы методически давили ладонями и поджигали сигарами. Я ел бифштекс, вселяя ужас, т. к. остальные пили французское шампанское. Плюнул и ушел. Башмаки ношу принципиально старые, завел дружбу с шофером»[86].

Следом уместно упомянуть более позднюю (1934 года), но жанрово примыкавшую сюда пьесу «Дорога цветов». Зощенко

советовал дать ей название «Меня никто не понимает», которое кажется ернические, но имеет второе дно — с горечью. Комедия была поставлена в театрах сорока семи городов Советского Союза. Популярный лектор и писатель Завьялов любит успех, женщин и наслаждается «свободой чувств». Как и Катаев, герой живет с женой и тещей, вздыхающей о его изменах: «Опять вчера его видели с новой. На катке». А вот он заявляет нечто, на что Зощенко не мог не обратить внимания: «Сверхчеловек. Ницше… Освобожденный человек, юберменш, смело и гордо идет по дороге цветов». Не катаевская ли это этика и эстетика — воспринимать жизнь как пеструю «дорогу цветов» среди вечного лета?

Завершается же водевиль полным фиаско героя, запутавшегося в «амурных историях», запретом его книги и разгромной публикацией в газете «Правда» под названием «Пошляк у микрофона». Явная отсылка к антикатаевской филиппике в «Литературной газете» «Пошляки на литературных гастролях».

Все-таки автор — неисправим, такой вывод сделала газета «Советское искусство». 17 мая 1934 года в статье «Куда ведет “Дорога цветов”» театральный критик Владимир Голубов (его потом убьют вместе с Соломоном Михоэлсом) писал: «Наша многообразная действительность оказывается вне поля зрения Катаева. Для него она в этой пьесе только фон и источник отыскания в ней еще неистлевших частиц старого. В пьесе эти частицы гиперболизированы и предстают гигантскими глыбами цинизма и обывательской пошлости».

В 1960-е годы в Америке в одном из университетов пожилой американский профессор спросил у тоже немолодого Катаева:

— Валентин Петрович, не напоминает ли вам что-нибудь фраза «а мездра вся в дырках»?

— Кто вы? — Катаев вздрогнул.

Оказалось, это был Юрий Елагин, музыкант и литератор, в 1934-м участвовавший в худсовете Вахтанговского театра, где проходила читка «Дороги цветов». По сюжету, Завьялов пытается увести замужнюю женщину Веру Газгольдер, но, торгуясь с ее мужем из-за шубы, восклицает: «А мездра вся в дырках!» Худсовет корчился от хохота, а, отсмеявшись, фразу про «мездру» (изнанку выделанной кожи) предложил убрать: «звучит двусмысленно» («Я не желаю слышать эти гадости», — возмущена и Вера). Катаев, побледнев, заявил, что скорее откажется от пьесы, чем от «мездры».

И отстоял!..[87]

Несомненно, драматургическое преуспеяние сильно

поправило его материальное положение.

Надежда Мандельштам вспоминала: «Деньги оказались отличным стимулом для изобретательства, и все мечтали написать многолистный роман или пьесу. Особенный соблазн представляла собой пьеса: человек, удостоившийся “поспектакльных”, расцветал на глазах. Катаев рассказывал басни про счастливых драматургов. Про одного он выдумал, будто тот зафрахтовал машину и она следует за ним в черепашьем темпе, не отставая и не перегоняя. Драматург идет по бульвару, а машина ползет рядом с ним по мостовой на случай, если ему вздумается куда-нибудь поехать. Это было пределом величия, потому что о собственных машинах до конца 1930-х годов никто не мечтал. Счастливец, у которого пьеса пошла в Художественном, немедленно менял жену».

Сбылось и пророчество Маяковского: Катаев начал кататься за рубеж, вызывая зависть окружающих… 7 февраля 1932 года Всеволод Иванов записал в дневнике о собрании в Доме ученых «актива» Федерации объединений советских писателей: «Была дикая скука. Кончилось тем, что стали рассказывать сказки и Катаев хвастался своей высокой идеологичностью за границей. А сам больше по кабакам ходил. И все знают, и всем скучно слушать его брехню».

При этом — кнут по-прежнему посвистывал и пощелкивал — в разделе «Драма» «Литературной энциклопедии» «богемный попутчик» был удостоен особой ласки: «Надрывный психологист и анекдотист Вал. Катаев во власти наследия прошлого. Через его очки и приемы он видит и сегодняшнее, видит его извращенно, то в какой-то карамазовской похоти кошмара (“Растратчики”), то в гипертрофии обывательского анекдота, скользящего по поверхности высмеиваемых и вышучиваемых явлений (“Квадратура круга”)».

В целом пресса хотя и стала относиться к Катаеву терпимее, но сохраняла прохладцу, как к чужаку. Так, в уже упоминавшейся статье 1932 года «о творческом пути Катаева» из четвертого номера «Красной нови» Берта Брайнина отмечала у него «лирическую грусть по нетронутому разложением патриархальному интеллигентско-буржуазному мирку» и утверждала: «Мы имеем дело не столько с философией сытости и довольства, сколько с философией отчаяния и безысходности. И неизвестно, чего здесь больше — второго или первого… Заставляет обратить на себя внимание большое мастерство в подаче полуболезненных, полубредовых, а иногда и целиком бредовых состояний человеческой психики… Автор не видит четких перспектив, не видит закономерности социального

процесса, люди у него всегда подвержены гипнозу случайности… По существу, выхода нет. Герои его не находят. Они идут “на авось”, их хватает на дерзкий выпад, на риск, на донжуанскую позу». (Забавно, что Брайнина «контрабандой» протаскивала в статью запретное: усеченно и благожелательно давала цитату Катаева о «бессонной удивительной энергии», которую писатель, по ее словам, «воспевает», забыв добавить, что энергия исходила от Троцкого, а рядом и прямо цитировала слова Троцкого о «нелиричности нашей эпохи», правда, будто бы с этим не соглашаясь.)

«ОСТРЫЕ РЕБЯТА!»

23 апреля 1932 года грянуло постановление ЦК «О перестройке литературно-художественных организаций».

РАППу пришел конец.

Его вожди принялись сопротивляться изо всех сил. О тех событиях подробно пишет в мемуарах Валерий Кирпотин, составлявший Декларацию о самороспуске всех литературных организаций и подготовке учредительного съезда советских писателей. Сталин, который, по словам Кирпотина, «в эти годы был в лучшей своей форме, умел учитывать особенности среды», пригласив рапповцев, потребовал подписать декларацию и призвал отказаться от навязывания искусству шаблонов марксистской теории: «Вы создаете впечатление, что художнику, прежде чем писать, нужно предварительно изучить категории диалектики и потом уже переводить их на язык образов. “Анти-Дюринг” нельзя непосредственно трансформировать в романы или стихи. Писатель должен обратиться к действительности. И главное требование, которое предъявляет партия, можно сформулировать в двух словах: пишите правду!» Кирпотин вспоминал, что сталинская отповедь РАППу ободрила «честных писателей» и, быть может, именно тогда, «взяв метафору Сталина», Платонов задумал свой «Котлован». Был благодарен постановлению и Пастернак, вовремя получивший защиту и так говоривший через несколько лет: «У меня бывали случаи, когда на меня готовы были налететь за обмолвку или еще за что-нибудь такое, но только вмешательство, прикосновение партии, то отдаленнейшее прикосновение, которое формирует нашу жизнь, дает лицо эпохе, составляет мою жизнь, кровь и судьбу, — только это вмешательство отвращало это».

Однако в воспоминаниях Кирпотина одним из немногих сомневающихся в сталинской правоте оказался Катаев, очевидно, уже сумевший приноровиться к своим хулителям и встревоженный: не сулят ли ему перемены чего похуже.

«Мы встретились в Москве, на Каляевской улице, где я тогда жил. Поговорили о последних событиях, бродили вместе часа два. Катаев был настроен беспокойно:

— Ликвидация РАПП — несвоевременный шаг. Лозунг “Пишите правду!” — слишком голый. Сняты ориентиры. Как писать? На какие установки опираться? Нужны определенные указания: литературно-партийные. Просто “правда” сама по себе недостаточна. Нужны вехи литературные, по которым можно было бы двигаться даже в тумане».

Судя по всему, Катаев прощупывал Кирпотина, работавшего в ЦК. Но прощупывал нагловато. Ведь о его дерзости «слишком голый» в отношении тезиса Сталина мог узнать вождь.

Вот Мейерхольд, тогда же пригласивший к себе Кирпотина, рассыпался в любезностях и похвалах — постановление о разгроме РАППа даже висело у него на стене, «как драгоценная картина». «Это был спектакль, — пишет Кирпотин. — Он рассчитывал, что о его радости и одобрении через меня узнают высшие партийные начальники, а может быть, и сам Сталин».

Интересно, что Кирпотин выложил катаевские слова Анатолию Луначарскому (и вероятно, не ему одному). «Он был уже очень болен, но интереса к литературе не потерял, — вспоминал Кирпотин реакцию Луначарского. — Выслушав мой рассказ о прогулке с Катаевым, улыбнулся: “Значит, собственного разумения в голове нет? Собственного Бога в душе нет?”».

Да было, было всё, Анатолий Васильевич (к чему улыбка?), были у Катаева и разумение, и стиль, только в созданных при вашем участии реалиях ему еще и жить хотелось, и при этом желательно — жить — не тужить.

Похоже, досада Катаева проистекала и из того, что к тому времени ему удалось найти подход к одному из видных рапповцев Владимиру Ермилову. По крайней мере, летом 1932 года в письме жене Кирпотин сообщал: «Подвыпивший Валентин Катаев выбалтывал то, чем, видимо, начинил его Ермилов: дескать, началась в литературе реакция, что в “Красную новь” никто теперь писать не будет и т. п.».

В октябре 1932-го с помпой было отмечено «сорокалетие творческой деятельности» Горького, окончательно вернувшегося на родину — собирать писателей под сенью своего славного имени. В том октябре Чуковский записал в дневнике со слов Тихонова, с которым ужинал в шашлычной: «Кабак хорош… Для драки… Мы в таком кабинете Катаева били. Мы сидели за столом, провожали какую-то восточную женщину. Это было после юбилея Горького. Был Маршак. Ввалился Катаев и все порывался речь сказать. Но говорил он речь сидя. Ему сказали: “Встаньте!” — Я не встаю ни перед кем. “Встаньте!” — Не встану. Возгорелась полемика, и Катаев назвал Маршака “прихвостнем Горького”. Тогда военный с десятком ромбов вцепился в Катаева». Итак, раздраженное отношение Катаева к Горькому и его «прихвостням», замеченное нами еще в связи с поездкой в Сорренто, теперь обернулось дракой[88].

26 октября Горький пригласил на Малую Никитскую на встречу к себе и к Сталину 45 человек, среди них — Катаева. До этого, 20 октября, там же Горький и Сталин встречались с

несколькими партийными писателями. «Писатели пойдут, как плотва, — пообещал вождь богатый улов, но на комплименты доверительно признался: — Я три ночи подряд почти не спал». Следующая попойка уже с участием Катаева продолжалась с вечера до утра. Сталин поднял тост «за товарищей писателей — инженеров человеческих душ» (повторив понравившееся ему выражение Олеши).

«Горький был загипнотизирован Сталиным не меньше нас, — вспоминал Кирпотин, — Сталин успевал и забавляться. Он подпаивал расколовшихся рапповцев, даже как бы стравливал их. Те с петушиной яростью набрасывались друг на друга, сыпали словами. А Сталин с восхищением следил за ними и негромко повторял:

— Острые ребята! Острые ребята!»

На этой вечеринке катаевский собутыльник Ермилов допился до того, что вскочил на стул и трижды прокричал матерное ругательство.

Интересно, что хотя это была и первая встреча Катаева со Сталиным — он сразу же попытался притащить туда товарища, над которым чернели тучи. Как рассказывал Катаев сыну, ему захотелось свести и примирить Сталина с драматургом и сценаристом Николаем Эрдманом. До этого Сталин услышал эрдмановские басни в исполнении прославленного мхатовского артиста Василия Качалова. Как рассказывают, на ночной вечеринке у Сталина с соратниками и любимыми артистами он спросил: «Есть что-нибудь интересное в Москве?» — и захмелевший Качалов начал декламировать:

Вороне где-то бог послал кусочек сыра…
— Но бога нет! — Не будь придира:
Ведь нет и сыра.

Другая басня заканчивалась так:

В миллионах разных спален
Спят все люди на земле…
Лишь один товарищ Сталин
Никогда не спит в Кремле.

Вот что о происшествии писал режиссер и сценарист Климентий Минц: «Сначала все смеялись, а потом улыбки растаяли на лицах. Василий Иванович отрезвел, почувствовал неладное, особенно когда взглянул на пожелтевшие глаза

Сталина… и сразу умолк, так и не дочитав басню.

— Что же вы, дорогой Василий Иванович?.. — улыбаясь, произнес гостеприимный хозяин. — Читайте уж до конца. Хотелось бы знать… какая же мораль сей басни?.. А?..»

Слух о происшествии разнесся по Москве. Теперь Катаев просил Горького включить Эрдмана в состав приглашенных. Горький согласился. Но когда Катаев известил Эрдмана, тот отрезал:

— Рад бы, но у меня бега!

О том же в «Рассказах старого трепача» писал режиссер Юрий Любимов, тоже называя фамилию Катаева, просившего: «Коля, Горький тебя просит в восемь быть у него, приедет Сталин, и мы поможем как-то твоей судьбе».

Эрдман предпочел ипподром вождю, и, может быть, благодаря этому с ним на встрече у Горького не случилось скандала, который тенью лег бы и на похлопотавшего Катаева. Зато Сталин оттянулся на Бухарине, допрашивал, дергая за бородку и время от времени замечая: «Врешь!»[89] Николай Эрдман вместе с соавтором (в том числе по басням) Владимиром Массом был арестован в Гагре в 1933-м во время съемок фильма «Веселые ребята», отправлен, как и Масс, в ссылку на три года в Сибирь, годами не мог вернуться в Москву. Говорят, Качалов всю жизнь винил себя за ту необдуманную декламацию. Правда, позже Эрдман стал лауреатом Сталинской премии.

В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года застрелилась жена Сталина 31-летняя Надежда Аллилуева. Катаев подписал письмо писателей, появившееся 17 ноября в «Литературной газете»:

«Дорогой т. Сталин!

Трудно найти такие слова соболезнования, которые могли бы выразить чувство собственной нашей утраты… Мы готовы отдать свои жизни…» Среди подписантов были Олеша, Шкловский, Ильф, Петров, Багрицкий. Многим (Никифоров, Пильняк, Киршон, Кольцов, Авербах, Буданцев, Динамов, Селивановский) через несколько лет во время репрессий действительно пришлось отдать свои жизни. Рядом было напечатано отдельное заявление Пастернака: «Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые. Утром прочел известье. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел».

В 1932 году Катаева взяли в штат газеты «Правда», и это было симптомом падения РАППа, — писал фельетоны, небольшие рассказы, привозил очерки из частых командировок. Одновременно в «Правде» начали печататься Ильф и Петров, Леонов, Никулин, драматург Александр Афиногенов.

Катаев продолжал публиковаться повсеместно — например в «Крокодиле», десятилетию которого, совпавшему с катаевским стажем, Василий Лебедев-Кумач посвятил в том 1932-м такие вирши:

Пришли Катаев и Кольцов,
Пришли Демьян и Маяковский —
И «Крокодил» в конце концов
Стал Главсатирою московской.

«А О ПРОСТОТЕ ОН ГОВОРИЛ МЕТАФОРАМИ»

В первом номере «Литературной газеты» за 1933 год появилась статья Виктора Шкловского «Юго-Запад», в которой провозглашалось: «Город, когда-то бывший городом анекдотов, город русских левантинцев, юго-запад России, который для начала XX века был тем, чем были для XVII–XVIII веков Астрахань и Архангельск, город Одесса стал центром новой литературной школы»[90]. Шкловский писал о стихах и прозе одесситов, вычисляя их общий культурный код (ориентированность на Запад, на «заморскую» сюжетность) и замечая особый темперамент. Развивая эту мысль, можно вообще разделить русскую литературу — на речную и морскую: прохладно-пресную «классичную» и разогрето-соленую «модернистскую».

«Валентин Катаев хотел быть учеником Бунина, но в прозаических вещах он скорее ученик Александра Грина… — судил Шкловский. — Катаев в ранних рассказах работал на условном материале, создавая роман приключения, левантинский роман о плутах, которые похожи друг на друга во всем мире, во всяком случае в мире Средиземного моря». Критик объявлял вторичность сюжета «Двенадцати стульев» по отношению к рассказу Конан Дойла «Шесть Наполеонов» и несколько высокомерно отзывался о художественных способностях Катаева, который «хорош не там, где он старается».

Впрочем, всего через несколько месяцев после шума негодующих 29 апреля 1933 года в той же «Литературке» появилось «Письмо в редакцию» Шкловского, начинавшееся словами: «Я хочу в точной форме снять свою статью “Юго-Запад”. В основе этой статьи лежит ориентация на Запад, причем на Запад, воспринятый не критически. Не переработанный с точки зрения рабочего класса».

17 мая 1933 года в «Литературной газете» вышла статья Вл. Соболева «Изгнание метафоры», где гиперписучий Катаев неожиданно предстал растерянным и бессильным: «Придя в редакцию “Литгазеты”, Валентин Катаев битый час просидел в углу на диване, уткнув подбородок в воротник пальто. Просидел молча, не проронив ни слова, как сидят в приемной у зубного врача… И когда Катаев ушел (даже, кажется, не попрощавшись), в комнате заговорили о “муках творчества”, о том, что Катаев сегодня “зол, как чорт” и что зол он по причине производственных своих неудач».

Очень вероятно, что поводом для этого текста и правда стали литературные сомнения и соображения (поиск стиля), а не политические ухищрения (хотя катаевское намерение писать для миллионов, а не для эстетов звучало как идеологическая заявка).

Соболев упрекал Катаева в отсутствии нескольких обещанных произведений: «Прошли три года. Прошли пять лет. Ни пьеса, ни роман не написаны», а тот не перечил, подтверждал: «Мы пишем позорно мало. Рекордно мало… — и даже прибавлял: — Все, что я написал до сих пор, абсолютно, совершенно ни в какой мере меня не удовлетворяет». Увлекшись самоедством, он принимался закусывать приятелями: «Большое преступление со стороны Бабеля, такого талантливого писателя, большое преступление — и перед читателем, и перед литературой — за все время написать десяток печатных листов…» — и с особенным аппетитом набрасывался на тех, кого называл «советскими декадентами», так что сказанное можно толковать и как раздраженную горячечную критику, и как расчетливое «отмежевание»: «Некоторые следы декадентства — у Леонова. Весь в декадентстве — Олеша, весь — Вишневский… Проза Мандельштама — проза декадента. Я хочу сказать об Олеше, потому что часто думаю об этом талантливом, но — пусть будет резко! — малокультурном писателе. Смотрите: Олеша нигде не переведен. Разве только случайно кто полюбопытствовал. Это писатель, который не выйдет за пределы одного языка. Олешу не переведут, ибо в Париже — к примеру, в Париже — он выглядел бы провинциалом. Там дети говорят метафорами Олеши, и часто говорят лучше Олеши. Там рядовые журналисты приносят в газету десятифранковые заметки с метафорами Олеши».

(Много позднее Катаев, наоборот, ставил Олеше в заслугу то, что его метафоричность «доходит до примитивной, почти кухонной простоты».)

«Сейчас Валентину Катаеву трудно как никогда», — замечал Соболев.

«Простота — наивысшая сложность, — распинался Катаев, выхаживая по комнате. — У меня сейчас переходный период… Я хочу изгнать из романа метафору, этот капустный кочан, эту словесную луковицу, в которой “триста одежек и все без застежек” и в которой вместо сердцевины — пустота».

Однако Соболев нежно язвил в финале: «А о простоте, — подумал собеседник, глядя вслед, — он говорил метафорами».

29 мая там же Соболев опубликовал текст «Гуляя по саду…» — разговор с Олешей, тоже растерянным, но смеющимся. «“У меня рак воображения… Посвящаю свою имитацию глубокомыслия Валентину Катаеву”… Это “посвящается Катаеву”

Олеша произносит всякий раз, когда метафоричная напряженность речи готова оборваться под собственной тяжестью. Валентин Катаев… вызвал в этом неисправимом “изобретателе” прилив торжествующей, почти злорадной “метафороносной” энергии».

«Мы с Олешей друге другом были беспощадны, — вспоминал 81-летний Катаев. — Не стеснялись в выражениях и не сердились. То, что мы говорили, сейчас сказать кому-то — это был бы скандал».

Первые рывки в сторону были предприняты Олешей еще в 1928-м (издевка над катаевской драматургией)… Разрасталось то соперничество, о котором оба потом так выразительно написали. «Может быть, судьбой с самого начала нам было предназначено стать вечными друзьями-соперниками или даже влюбленными друг в друга врагами», — писал Катаев. «По середине Горького в ЗИМе, как в огромной лакированной комнате, прокатил Катаев, — спустя годы поверял дневнику Олеша. — Я склонен забыть свою злобу против него. Кажется, он пишет сейчас лучше всех».

По мнению критика Сергея Белякова, уже в 1920-е годы у Олеши «накапливались раздражение, вызванная завистью ненависть к автору “Растратчиков”». Критик даже (весьма спорно) предполагает, что прототипом энергичного, хохочущего «колбасника» Бабичева в «Зависти» был именно Катаев, который «буквально всюду опережал Олешу». Того же мнения придерживается и литературовед Мария Литовская: Олешу злил «высокий, красивый, деятельный “колбасник”… которому все плывет в руки…». «Взаимная зависть крепче, чем любовь, всю жизнь привязывала нас друг к другу начиная с юности», — откровенно признавал Катаев.

5 июня в «Литературной газете» появилась заметка Шкловского «Простота — закономерность»: «Путешественники часто ошибаются. Я думаю, что метафоры французского мальчугана неожиданнее для Катаева, он всякую метафору языка приписывает говорящему. И на каждого говорящего француза приходится очень много метафор. Но дело не в этом. Дело, конечно, в том, что ошибка Катаева направленная. Катаев отказывается от метафор Олеши, сам уходя от метафор», — направленность «подкалывающего» острия статьи на Катаева очевидна при всей многозначительной смутности фраз. Шкловский вспоминал писателя середины XIX века Александра Вельтмана, написавшего «Неистового Роланда», близкого по сюжету гоголевскому «Ревизору»: «Весь Вельтман, у которого форма не была законом построения произведения, весь Вельтман

распался, не уцелел. Мы должны говорить о реализме формы… Метафоры Валентина Катаева в романе “Время, вперед!” не реалистичны». Но задевал Шкловский и Олешу: «Конец “Зависти” распадается. Это сюжет Вельтмана, а не сюжет Гоголя».

Летом 1932 года на одном из писательских совещаний влиятельный литературовед Сергей Динамов[91] отнес Катаева к авторам, «которые занимаются кабинетным творчеством и пухнут на своем таланте», и добавил: «Олеша, Валентин Катаев, они стали писать лучше, но жизнь стали знать меньше».

Зато одобрение Катаев получил из Парижа, где в газете «Последние новости» Георгий Адамович оценил его стремление отделить «приторное» от «сладкого», но и подвел под оброненные Катаевым слова обширную теоретическую базу:

«Первое слово — “первая ласточка” — пришло не от него [Олеши] и не от Пастернака, а от беспечного, но, кажется, одаренного острым чутьем Вал. Катаева. Не так давно в московской “Литературной газете” была помещена интересная беседа с ним… Катаев усомнился в ценности и значении метафор. Для советского литератора это почти подвиг… Было много школ, много направлений, много “измов” в России за последние годы: на все посягали они, но метафоры коснуться не смели. Катаев первый заметил то, что рано или поздно открывается всякому художнику: образ не есть основа искусства, а метафора — и подавно. (У Пушкина метафор мало, Надсон же весь в “цепях рабства” и “чертогах мечты”.) И сразу вместо душной олешевской изысканности и чуть-чуть нелепой пастернаковской пестроты стали видны необозримые возможности слова, освобожденного в своей прямой, непосредственной силе. Есть разница между сладостью и приторностью. Катаева, очевидно, мутит от того, что К. Леонтьев называл “гипертрофией художественности”, рассчитанной на детей или на дикарей. Ему хочется прозы поскромнее, побледнее, построже, ему хочется искусства, которое уходило бы “концами в воду”, а не кокетничало бы своей принаряженностью. В России у него, вероятно, найдутся единомышленники и с каждым годом их будет все больше».

Сама идея освобождения искусства от «принаряженности» чем-то напоминает о позднем мовизме Катаева, и все же замечу: он до конца дней своих (вопреки чаяниям Адамовича) остался обильно метафоричен.

…Ровно через три месяца после «потерянных признаний» в «Литературной газете» 17 августа 1933-го он нашел себя в поездке по Беломорканалу.

НА БЕЛОМОРКАНАЛЕ

Беломорско-Балтийский канал был построен между 1931 и 1933 годами в рекордно короткий срок силами заключенных. Путь из Ленинграда в Архангельск сократился в разы. Это было первое в СССР полностью лагерное строительство.

Еще во время Северной войны у Петра I возникла идея судоходного канала, а в XIX веке были разработаны четыре подробных проекта его создания, признанные царским правительством слишком сложными и дорогостоящими.

Беломорканал официально открылся 2 августа 1933 года. 17 августа на экскурсию по каналу на пароходе из Ленинграда отправились 120 писателей, среди них — Валентин Катаев. По согласованию со Сталиным поездка была организована Горьким, 25 августа он выступил в Дмитрове в клубе перед ударниками и возглавил писательский ужин в доме одного из видных чекистов, начальника Беломорстроя Лазаря Когана. Под редакцией Горького вышла коллективная книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства», где он написал первую и заключительную главы («Правда социализма» и «Первый опыт»).

Писатель Александр Авдеенко уже в перестройку в своих воспоминаниях рассказал о чувстве подъема («удостоен высокой чести»), которое испытал, получив от Горького приглашение посетить Беломорканал, о сборах в Москве во дворе клуба писателей: «Вера Инбер, изящная и хрупкая, словно куколка… Илья Ильф и Евгений Петров, неразлучные, как и на обложках своих книг… Кудрявый, белокурый, с пухлыми губами, с дерзким и веселым взглядом поэт Павел Васильев… Тихий и скромный, с лукавой улыбкой мудреца на юном лице Михаил Светлов…» А был еще и Зощенко, написавший в лагерной книге целую главу «История одной перековки». Михаил Пришвин, побывавший на Беломоре месяцем ранее, сочинил роман-сказку «Осударева дорога», наложив Петровскую эпоху на сталинскую. Андрей Платонов просился туда, обещал написать книгу, но не взяли…

А вот Николай Клюев в то же время писал:

То беломорский смерть-канал,
Его Аки мушка копал,
С Ветлуги Пров да тетка Фекла.
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей
И слезы скрыла от людей…

Многих из писателей-экскурсантов вскоре перемололо — тот же Павел Васильев, Борис Пильняк, Бруно Ясенский, бывший князь «евразиец» Дмитрий Святополк-Мирский… В 1937-м книгу изъяли из магазинов и библиотек — «командиры подвига» оказались «врагами народа»: были расстреляны недавний глава НКВД Генрих Ягода, начальник Беломорстроя Лазарь Коган, начальник ГУЛАГа Матвей Берман. Расстреляли и оставшихся (после смерти Горького) редакторов книги — Авербаха и начальника Белбалтлага Семена Фирина.

Именно Фирин напутствовал писателей («Пожалуйста, смотрите все, что угодно. Разговаривайте с любым каналоармейцем») и сопровождал в путешествии.

«С той минуты, как мы стали гостями чекистов, для нас начался полный коммунизм, — вспоминал Авдеенко. — Едим и пьем по потребностям, ни за что не платим. Копченые колбасы. Сыры. Икра. Фрукты. Шоколад. Вина. Коньяк… Происходит грандиозный прием, подготовленный чекистами для писателей… Официанты величественны, как лорды… Даже Алексей Толстой, тамада застолья, выглядит скромнее, чем они».

Немецкий историк Иоахим Клейн в своем исследовании «Беломорканал: Литература и пропаганда в сталинское время» отзывается об использовании труда заключенных так: «Подобная практика существовала и в других странах, например, chain gangs в США» и называет обратную сторону «произвола и эксплуатации» — «лагерную педагогику»: «В Белбалтлаге существовали многочисленные культурные учреждения — музей, театр, симфонический оркестр, лагерная газета. Она носила программное название “Перековка”: ее задачей было перевоспитать заключенных Белбалтлага в лояльных советских граждан». 5 августа 1933 года газета «Правда» сообщила: 500 заключенных освобождены и восстановлены в гражданских правах, до этого досрочно освобождены 12 484 заключенных (среди них — ученый Дмитрий Лихачев), сокращены сроки заключения 59 516 заключенным.

Несомненно, важнейшей задачей экскурсантов было знакомство с «новым» перевоспитанным человеком, заключенным-каналоармейцем (отсюда слово «зэк», придуманное Коганом). Одним из встреченных писателями зэков оказался знакомый им поэт Сергей Алымов, автор песни «По долинам и по взгорьям», которому вскоре скостили срок и доверили стать соавтором книги. «Сережу прислали таскать тачку по долинам и по взгорьям», — пошутил поэт Александр Безыменский, все

засмеялись, а поэт-пе-сенник заплакал.

Авдеенко пересказывал разговор писателей с инженером, хваставшим масштабом как внешних, так и внутренних свершений: «Перековать разнузданных, оголтелых, ожесточенных разгильдяев в армию тружеников! Задача для титанов», но затем признавшим, что он и сам зэк: «Произошло недоразумение, товарищи».

«Инженер ушел на безлюдную корму. Мы проводили его взглядами».

И тут благоговейную паузу прервал циничный комментарий того, кто, пережив в Одессе неоднократную смену властей, быть может, болезненнее всех чувствовал абсурд положения «перековавшегося».

«В напряженной тишине слышится чуть хрипловатый, насмешливый голос Катаева:

— Н-да!.. Черный ветер, белый снег. — Он дернул шеей, наклонил голову к плечу, будто конь, просящий поводья. — Пахнет хлебным романом, братцы! Уж кто-кто, а я, одессит, хорошо разбираюсь в острых приправах».

Мол, мели Емеля, да и чего переживать — на таком сюжете можно неплохо заработать…

Авдеенко продолжал: «Вот писатель, покоривший мое сердце… Катаев шумливый, все время навеселе. Щурится. Разговаривает резко. Нетерпеливо слушает других, часто перебивает. Во всем прежде всего видит смешную сторону. Когда я попытался пропеть дифирамб в честь его книги, он бесцеремонно оборвал меня:

— Разоряетесь, шер ами, мне нечем оплатить ваше низкопоклонство».

Не была ли эта хмельная клоунада — защитной реакцией? Понимал ли Катаев, что от экскурсантов требуется, по выражению Солженицына, «впервые в русской литературе восславить рабский труд»? Или испытал головокружение от грандиозности стройки, поверил в гуманность надсмотрщиков и чудесный катарсис подневольных?

Критик Виктория Шохина предположила даже, что своего Наума Бесстрашного в «Вертере» Катаев писал не только с Блюмкина, но и с чекистов, руководивших Беломорканалом.

Писателей удивило меню ударников (фальшивое): заливное из осетрины, балыки, сыры, ветчина. Похоже, Катаев засомневался в том, что с зэками обращаются по-человечески, и задал начальнику простой вопрос. Об этом — все тот же Авдеенко:

«— Скажите, Семен Григорьич, каналоармейцы часто болели?

— Бывало. Не без того. Человек не железный.

— И умирали?

— Случалось. Все мы смертные.

— А почему мы не видели на берегах канала ни одного кладбища?

— Потому что им здесь не место.

Посуровел веселый и гостеприимный Фирин и отошел.

Задумчиво глядя вслед чекисту, Катаев сказал в обычной своей манере:

— Кажется, ваш покорный слуга сморозил глупость. Это со мной бывает. Я ведь беспартийный, не подкован, не освоил еще диалектического единства противоположностей. Какой с меня спрос?

Прозаики промолчали».

Вот так: даже здесь Катаев бесцеремонно дерзил высокому чекистскому начальству, да еще и подшучивал над новой практикой и идеологией, мол, мы люди пока непривычные к тому, что у вас в «дивном лагере» кладбищ не бывает… «В 37-м это прошло бы как антисоветская провокация (вопрос Катаева) и антисоветская агитация (автокомментарий Катаева)», — полагает историк Немировский. А поэт Сергей Мнацаканян высказал любопытное суждение о «диалектичности» катаевского поведения вообще: «Он откровенно нарывается на неприятности и потому спокойно избегает их. Он ведет себя так не только на Беломорканале в разговоре с Фириным, он постоянно лавирует между неразрешимыми противоречиями — как сегодня, так и через двадцать-тридцать лет, вызывая недоумение одних, непонимание и даже ярость других».

Со скепсисом говорил об окружавшем в поездке и другой бывший белогвардеец — Святополк-Мирский.

А вот и финальный аккорд — последняя дерзость. По-прежнему из мемуара Авдеенко, воспринявшего всё на Беломоре с восхищением и восторгом:

«Прощай, Беломорско-Балтийский! Прощайте, каналоармейцы! Завтра мы уже будем в Москве и разойдемся, разъедемся, кто куда, и неизвестно, суждено ли нам еще раз соединиться вот такой дружной семьей. Грустно. И не только мне. Братья-писатели притихли, запечалились. Допивают последние бокалы дарового вина и прощально, любовно, как кажется мне, вглядываются друг в друга и говорят только хорошие слова.

Фирин озабоченно спрашивает то одного, то другого:

— Ну, как самочувствие?

Каждый отвечает ему с энтузиазмом:

— Хорошо. Прекрасно. Лучше некуда. Спасибо!

Но Фирин еще и еще допытывается, истинно ли мы довольны путешествием. Не прошел он и мимо Катаева:

— Ну, как, Валентин Петрович, себя чувствуете?

Катаев судорожно вытягивает шею из воротника и, сильно щурясь, смотрит на чекиста.

— Неважно я себя чувствую.

На матово-смуглом лице Фирина сквозь вежливую улыбку темно просвечивает удивление.

— Что случилось? Надеюсь, не чекисты виноваты в вашем плохом настроении?

— Именно вы, чекисты, виноваты, что у меня так скверно на душе».

Ох, не отсылка ли к 1920-му, к незабвенному одесскому подвалу?.. Авдеенко продолжает цитировать диалог:

«— Не персонально вы, товарищ Фирин. Вы мне кажетесь милейшим человеком.

Чекист с четырьмя ромбами в петлицах не привык к подобной откровенности. Таращит свои черные глаза на Катаева.

— В чем же мы провинились перед вами, Валентин Петрович?»

Фирин таращился, «и ему представлялось, что он огнем и мечом утверждает всемирную революцию, в то время как неодолимая сила…», да, здесь мы цитируем «Вертера», он изумленно таращился на Катаева, уверенный в праве уморить на стройке многие тысячи заключенных (обычный паек зэка составляли 500 граммов хлеба и баланда из морских водорослей), «а потом он вдруг пронесся мимо черной скульптуры и чаши итальянского фонтана посередине Лубянской площади и понял, что уже никакая сила в мире его не спасет, и он бросился на колени перед незнакомыми людьми в черных, красных, известково-белых масках, которые уже поднимали оружие. Он хватал их за руки, пахнущие ружейным маслом, он целовал слюнявым разинутым ртом сапоги, до глянца начищенные обувным кремом. Но все было бесполезно».

А пока Катаев (не с едкой ли иронией?) щурился:

«— Не дали нам как следует посмотреть канал. Мало! На такое чудо надо смотреть неделю, месяц. И не таким кагалом, толпой в сто двадцать голов, а в одиночку, с толком, с чувством, с расстановкой.

— Не совсем понимаю вас, Валентин Петрович. Нельзя ли напрямик?

— Можно. Такая праздничная поездка не дает истинного представления о жизни каналоармейцев.

Фирин внимательно посмотрел на Катаева.

— Вы, кажется, хотите сказать, что сейчас на канале гасят парадные огни, убирают декорации, смывают грим?»

Критик Шохина думает, что герой главы Зощенко уголовник и авантюрист Роттенберг, выходец из еврейской бедноты, — литературный двойник Фирина, да и сам Фирин (тоже бывший уголовник, как и Коган и Френкель[92]) не скрывал, что к блатным относился много теплее («вы нам близки»), чем к «контрикам», а в 1937-м в предсмертных показаниях (конечно, выбитых) признавался именно в этом — делал ставку на уголовных авторитетов, «вожаков», которые якобы, по замыслу его и Ягоды, должны были возглавить боевые группы переворота и убивать советских вождей.

Между тем диалог Катаева с Фириным длился:

«— Что вы, что вы! — запротестовал Катаев. — И в мыслях не было подобного. Я сказал то, что хотел сказать. Не больше.

— Хорошо. Я предоставлю вам возможность посмотреть на Медвежьегорск в будни. Отправлю назад. Сейчас же! Поедете?

Присутствующие при этом разговоре ждут, что Катаев засмеется, отколет какую-нибудь одесскую шутку и этим закончит разговор. Но он дерзко смотрит на чекиста, говорит:

— А вы думаете — откажусь?! Поеду.

Фирин поднимается и, прихрамывая, стремительно удаляется в штабной вагон.

Скоро наш специальный поезд останавливается на какой-то глухой станции. Ветер. Дождь. На соседнем пути, окруженная чекистами в мокрых плащах, шумит-гудит моторная дрезина.

Валентин Катаев бодро покидает теплый, светлый вагон. В правом кармане макинтоша торчит палка копченой колбасы, в левом — белая головка бутылки. Фирин снабдил в дорогу.

Не знаю, что увидел Катаев, вернувшись на ББК… А пока Катаев мчится сквозь сырую, беззвездную ночь назад, к Медвежьей горе, а все остальные летят дальше, вперед, к Ленинграду, к Москве. Пьют чай с лимоном, разбирают постели, блаженствуют в тепле, шумно разговаривают на сон грядущий».

А ведь, покидая вагон, Катаев повторил тот же фокус, что и на Магнитке, когда он соскочил с поезда Демьяна Бедного — в результате родился роман. Если теперь и планировалось произведение, то им, пожалуй, стал небольшой рассказ. Катаев — соавтор главы «Чекисты», которую Авдеенко называл восторженной. Авторов у главы немало — С. Алымов, А. Берзинь, Вс. Иванов, Г. Корабельников, Л. Никулин, Я. Рыкачев, В. Шкловский.

Глав с красноречивыми названиями там было пятнадцать — например, «Страна и ее враги», «Заключенные», «Каналоармейцы»,

«Люди меняют профессию», «ГПУ, инженеры, проект», «Добить классового врага» и особо поэтичная «Весна проверяет канал».

И впрямь, быть может, поздняя повесть «Уже написан Вертер» — это своего рода продолжение той главы «Чекисты», между прочим, исполненной сочно (литература то ли борется, то ли совокупляется с пропагандистскими штампами) — столь же словесно красочна и вся увесистая книга, по солженицынскому замечанию, «формата как церковное Евангелие».

В одном месте в главу «Чекисты» вклинилась чистая проза. Более чем вероятно, что этот рассказ «Бой с кунгурцами» написал именно Катаев, способный превратить сукно в бархат — это его стиль и язык: ярко, экспрессивно, по-катаевски метафорично, с катаевскими эпитетами.

Никто не обращал внимания, но кое в чем рассказ, как бы странно ни звучало, предшествовал советской лагерной прозе (как и в «Одном дне Ивана Денисовича», зэков ведут спозаранку в темноте в трескучий мороз).

Герой — «кулак» из-под Херсона, приговоренный к десяти годам. «Вот я и на каторге… Он вошел в барак. Так зимней ночью на полустанке, тяжело дыша, входит с вещами человек в вагон дальнего следования».

Приведу кусок выразительной прозы (да и не найдешь рассказ ни в каком собрании сочинений) — ночной разговор с соседними нарами:

«— Давно с воли?

— Седьмой месяц.

— Что там слышно?

— Разоряют.

Сосед усмехнулся и снова лег. Усмешка его показалась непонятной, встревожила. Сосед снова вскочил, сел, задрал колени к подбородку. Некоторое время смотрел не мигая.

Потом:

— По какой статье?

— Пятьдесят восьмая. А вы?

— То же самое. За колоски. Что там слышно на воле, я спрашиваю, говорят, множество понастроили, не видал по дороге?

— Понастроили, как же…

Он зло и угрюмо сощурился.

— Такого понастроили, что крестьянству деваться некуда…

— Глянь-ка на того, который возле знамени лежит… Здоровый… Ты глянь…

— Ну?

— Заметь себе, — еще тише прошептал он, — это поп,

священник.

Священник лежал раскинувшись, без усов и без бороды, и богатырский храп подымал и опускал его высокую, обширную, как ящик, грудь.

— Священник? — не веря своим глазам, спросил новый.

— Священник… Служитель культа… Факт… Тоже по пятьдесят восьмой…

— Гос-с-споди!»

Между прочим, до священства с этим богатырем случилось почти то же, что и с Катаевым. Он был прапорщиком, предварительно выгнанным из шестого класса (правда, духовного училища). «Затем угораздило его в белую армию. Таким образом образовалось в биографии темное пятно белого происхождения». Дальнейшее — откровенно высказанный страх разоблачения: «При советской власти начал служить конторщиком. Его вышибли». А если вспомнить, что по линии отца у Катаева сплошные священники, само-пародия становится прозрачнее.

Нет, а все-таки красиво (и выстрадано): «Темное пятно белого происхождения»…

Концовка не примиряла «кулака» с советской властью: «Новичок засыпал. Засыпая, он видел своего вола. Его сводили со двора. Раскулачивали. Белый вол идет, не торопясь, поматываясь и вертя упругим хвостом с метелкой. Вдруг остановился и обернулся. Смотрит. У него розовая морда, крупные белые ресницы и синие живые глаза, движущиеся и выпуклые, громадные, словно они глядят через зажигательные стекла…»

Конечно (как иначе в такой книге), автор рисовал быт зэков довольно благостно: их неплохо кормят, работают бригады бодро и задорно, соревнуются, но сквозь эту плакатность, черт побери, ест глаза седой дым тоски («Костры жгли всю ночь» — на фоне дикого мороза жутковата простейшая деталь, за которой может скрываться любая рабская мука).

Все-таки интересно, что смог увидеть и узнать Катаев за время пребывания на Беломорстрое?

Он никому не сказал о том.

Но когда в 1962 году в «Новом мире» напечатали «Один день Ивана Денисовича», шокировал переделкинского соседа Чуковского, записавшего в дневнике: «Встретил Катаева… К моему изумлению, он сказал: повесть фальшивая: в ней не показан протест. — Какой протест? — Протест крестьянина, сидящего в лагере… Катаев говорит: как он смел не протестовать хотя бы под одеялом».

Как-то рифмуется с мыслями и снами «кулака» из рассказа «Бой с кунгурцами».

Сказанное Чуковскому было не публичным, доверительным, наперекор тогдашним общественным настроениям.

Может быть, Катаев, так говоря, нащупывал некие свои наблюдения — ведь он там побывал, пускай туристом, оторвавшимся от делегации, пускай недолго, но в ГУЛАГе…

И еще. Катаев не подозревал, что в 1931 году на Беломорканале трудился его троюродный брат 55-летний архиерей Пахомий Кедров.

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ПИСАТЕЛЕЙ

17 августа 1934 года в Москве в Колонном зале Дома союзов открылся I Всесоюзный съезд советских писателей, длившийся до 1 сентября.

Пламенные приветствия — пионеров, метростроевцев, колхозников Узбекистана, работниц «Трехгорки»… Речи Горького, Пастернака (ему аплодировали стоя, и он принимал портрет Сталина, написанный специально для съезда), Фадеева, Эренбурга, Жданова, Бухарина, Радека, Олеши, Чуковского, Луи Арагона, Андре Мальро («Вы увидели перед собой вредителей, убийц и воров, и вы оказали им доверие, вы спасли многих, и вы построили Беломорстрой»), Жана Ришара Блока…

«Если бы сюда пришел Федор Михайлович, — воображал Шкловский, — то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника…» Бабель делился секретами стиля: «Посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованны его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры… Работать, как Сталин, над словом нам надо».

Спустя полвека, 17 августа 1984 года, об открытии съезда Катаев вспоминал в «Правде»: «Время не имеет надо мной власти, поэтому мне легко оказаться и в том давнем августовском московском вечере, увидеть белые, красные, фиолетовые астры в витринах цветочных магазинов, желтые, даже на вид тяжелые мягкие груши на лотках уличных продавцов, почувствовать неповторимый запах уходящего лета, молодой и легкой походкой пройти по неширокому еще Охотному ряду…» Тогда же, в 1984-м, в «новомирской» статье «Событие небывалое» он, «делегат с решающим голосом», вспоминал: «Хорошо знакомая белая лестница, в два марша уставленная корзинами цветов, которые придают ей особенно торжественный вид… То и дело раскланиваюсь, обмениваюсь дружескими рукопожатиями, а иных даже похлопываю по плечу: вот, дескать, где бог привел встретиться, при каких необыкновенных обстоятельствах!.. Не без труда пробираюсь в гудящей толпе и каким-то чудом занимаю свободное место не слишком далеко от сцены… Почти вплотную к лицу Горького придвинулся прожектор киношного юпитера, и ослепительный свет заставил Горького сильно зажмуриться. Он замотал головой, и лицо его стало раздраженным. Он протянул руку к прожектору и сердито, совсем не по-ораторски, а по-домашнему, по-стариковски произнес:

— Уберите эту чертову свечку!

И погрозил пальцем.

“Чертова свечка”, зашипев, погасла».

Там и тут говорили о «социалистическом реализме»…

В памяти Катаева отпечаталось и повторение со сцены афоризма «инженеры человеческих душ». «Это крылатое выражение впоследствии приписывалось разным лицам, но на самом деле его автором был Юрий Олеша», — уточнял Катаев накануне перестройки, однако в 1947-м, выступая в Верховном Совете РСФСР, вспоминал несколько иначе: «В беседе с нами, советскими литераторами, в доме у Максима Горького, Иосиф Виссарионович назвал писателей инженерами человеческих душ. Эта мудрая и меткая сталинская характеристика пошлине открыла нам целый мир» (может быть, тут хитрое подмигивание другу — «спасибо, метафорист, открыл целый мир»?)[93].

К первому съезду был приурочен сатирический сборник «Парад бессмертных» под редакцией Михаила Кольцова. Катаев составил сатирическую инструкцию «Литфак на дому» вместе с литераторами Аркадием Буховым и Львом Никулиным. «Помимо внешности, — поучали соавторы, — для нужд творчества требуется также целый ряд немаловажных социально-бытовых факторов, а именно: квартира, отопление (паровое или паро-водяное), освещение, морские купанья, загородная дача, творческие командировки и сытная здоровая пища». Насмехались они и над писательским объединением, призывая впредь сочинительствовать, проживать и питаться коллективно: «Впрочем, некоторые технически отсталые представители литературы продолжают работать в одиночестве», и над новым литературным методом, пародируя его пылкого адепта: «Социалистический реализм! Легко сказать, дорогие мои, а вы попробуйте… (внимательный, настороженный взгляд собеседника), а вы попробуйте найти более четкое и исчерпывающее нашу эпоху определение литературного сегодня, страны, строящей…» и т. д.

Здесь же был шарж-фотомонтаж художника Бориса Клинча — Катаев, похожий на Гоголя с эпиграммой Александра Архангельского:

> В портрете — манера крутая,
> Не стиль, а сплошной гоголь-моголь:
> Посмотришь анфас — В. Катаев,
> А в профиль посмотришь — Н. Гоголь!

На съезде Катаев не выступал. В правление «писательского колхоза» из 101 человека его не включили, избрали в состав «ревизионной комиссии» из двадцати человек вместе с другими

«южанами» — Бабелем, Олешей, Никулиным…

Эдуард Багрицкий до съезда не дожил — с юных лет болевший астмой, он умер 16 февраля 1934 года от воспаления легких.

Катаев с братом, Ильфом, Олешей и Бабелем подписал некролог: «Он был бродягой, сидевшим дома, но ни на одно мгновение болезнь не забрала над ним духовной власти», и единственный из них вошел в комиссию по собиранию и разбору литературного наследства поэта.

Съезд бурлил. В совместной шутливой поэме «Москва в те дни была Элладой» Валентин Стенич с Олешей не скупились на краски:

О, первый съезд! Какие встречи!
Каких людей, какой союз!
Грузина пламенные речи,
И белоруса сивый ус,
Украйны в крестиках рубашки,
Узбека узкая рука,
И Безыменского подтяжки,
И бакенбарды Радека…

Драматург Евгений Шварц вспоминал: «Никулин по поводу выступления Олеши дразнил его: “И носки вы снимали, и показывали зрителям подштанники — а чего добились? Выбрали вас в ревизионную комиссию, как и меня”».

В правление вошел другой Катаев — Иван. Валентина и Ивана вообще периодически путали. Получалось, как в повести «Отец»: «В жизни не бывает ни одиночек-героев, ни одиночек-желаний, ни даже одиночек-фамилий».

Как я уже говорил, Иван Катаев приходился дальним родственником Валентину и Евгению.

Но знал ли об этом хоть один из троих?

А знал ли Катаев, встречаясь на приемах с академиком математиком Андреем Колмогоровым, что состоит в родстве с ним, потомком вятского священнического рода, носившим фамилию матери, а не отцовскую — Катаев?

Путаница с Иваном Катаевым закончится в 1937-м, когда его расстреляют как «врага народа». Потом начальник рязанского обллита (областного Управления по делам литературы и издательств) получит выговор за «неправильное изъятие литературы, поскольку он подверг аресту книги “Катаева Валентина” вместо “Катаева Ивана”».

Зато упоминали нашего Катаева на съезде то и дело…

«Годы прошли недаром», — провозгласил недавно вернувшийся из заграничной высылки литератор Исайя Лежнёв, вспомнив, как печатал катаевские стихи в 1920-х и как тот работал над «Отцом»: «А сейчас видны результаты: мастерство Валентина Катаева полным блеском отразилось в книге “Время, вперед!”. Некоторые страницы и картины (например, московское утро) достигают классической чеканности». О прообразе «настоящего положительного героя» в «Дороге цветов» вещал с трибуны украинский писатель Петр Панч. Немецкий драматург Фридрих Вольф, которого пересказывал Всеволод Вишневский, также назвал Катаева среди тех, чьи пьесы «поставлены в Германии и оказали мощное влияние на развитие революционного театра Запада». А Владимир Киршон и вовсе принялся обширно цитировать «Время, вперед!» — роман, переделанный в «талантливую комедию», радуясь будничной правдоподобности персонажа-инженера: «Он — близкий и родной всем нам, этот Маргулиес, творящий героическую работу, меньше всего думающий о себе, о своей роли и своем значении, но всем поведением своим подчеркивающий героичность дела».

2 сентября на пленуме Союза писателей председателем единогласно был избран Горький. В Переделкине началось строительство первых писательских дач.

Из 101 члена правления, избранных на съезде, были репрессированы 33, из 597 делегатов — 180.

Съезд закончился лихим банкетом. Катаев писал: «Помнится, что за нашим столом в фойе вместе с нами сидели и пировали знаменитые мхатовцы — Москвин, Тарасова, Еланская, Борис Ливанов…»

Когда подготовка съезда шла, как говорится, полным ходом, именно 14 июня 1934 года в «Правде» (затем в «Известиях», «Литературной газете» и «Литературном Ленинграде») вышла статья Горького «О литературных забавах» с обличением «духа анархо-богемского» («От хулиганства до фашизма расстояние “короче воробьиного носа”»). Горький приводил неподписанное письмо из «писательской ячейки комсомола», где определения молодым авторам раздавались легко и трескуче: «просто чуждый тип» или «нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы», «политически это враг» (о Павле Васильеве, которого после статьи начали массированно травить, арестовали, а в 1937-м расстреляли), других, в частности поэтов Смелякова и Долматовского, обвиняли в неправильной дружбе с «заразным» Васильевым («его следует как-то изолировать», — замечал Горький), третьих — в дурном влиянии на «здоровую часть молодежи».

Этих «нездоровых» трое: Олеша, Никулин, Катаев.

«Они воспитывались в другие времена, — с чувством солидарности цитировал Горький анонимку. — Пусть живут, как хотят, но не балуют дружбой наших молодых литераторов, ибо в результате этой “дружбы” многие из них, начиная подражать им, усваивают не столько мастерство, сколько манеру поведения, отличавшую их в кабачке Дома Герцена!»

Из текста можно с большой долей вероятности понять, почему названных не включили в правление союза — богема…

«В письме этом особенного внимания заслуживает указание автора на разлагающее влияние некоторых “именитых” писателей из среды тех, которые бытуют “в кабачке имени Герцена”, — резюмировал Горький. — Я тоже хорошо знаю, что многие из “именитых” пьют гораздо лучше и больше, чем пишут. Было бы еще лучше, если бы они утоляли жажду свою дома, а не публично. Еще лучше было бы, если б они в жажде славы и популярности не портили молодежь… Создается атмосфера нездоровая, постыдная, — атмосфера, о которой, вероятно, уже скоро и властно выскажут свое мнение наши рабочие…»

Рабочими оказались чекисты. Удар пришелся не только по Васильеву, но и по Смелякову — он был арестован 22 декабря 1934 года. Следователь сказал ему: «Что же ты надеялся, мы оставим тебя на свободе? Позабудем, какие слова о тебе и твоем друге Павле Васильеве сказаны в статье Горького? Не выйдет!»[94]

«Он не понимает или делает вид, что не понимает того значения, которое имеет каждое его слово, того резонанса, который раздается вслед за тем или иным его выступлением, — такое суждение Пастернака о «буревестнике» приводилось в секретном донесении НКВД в июле 1934-го. — Горьковские нюансы превращаются в грохот грузовика».

15 июня, на следующий день после выхода статьи Горького, состоялось литературное собрание, осудившее «разложенцев». Начальник Главлита Борис Волин обвинил Смелякова в «есенинщине», вынудив оправдываться и отречься от Васильева: «Да — это враг. Это страшный, зверский человек». «Могу сказать спасибо Алексею Максимовичу, — выпалил Смеляков, очевидно, ощущая близость ареста. — Надеюсь, это будет быстрым концом к тому, чтобы покончить скорее с Васильевым, Олешей, Катаевым и другими».

В этой связи особенно уместно вспомнить дерзкую выходку Катаева в середине 1930-х годов по отношению к могущественному Волину (в его Главлит, цензурировавший все печатные произведения, до поры входил и Главрепертком, контролировавший все зрелищные мероприятия).

Художник Ефимов, похоже, был шокирован этим происшествием до конца своей 108-летней жизни, о чем отозвался так: «Колючий и задиристый нрав Катаева нередко приводил к довольно скандальным ситуациям». По воспоминанию Ефимова, на встрече с иностранными журналистами, которую затеял его брат Михаил Кольцов, руководивший Журнально-газетным объединением, после слов ведущего: «Сейчас Иван Семенович Козловский нам что-нибудь споет, потом Сергей Образцов покажет нам новую кукольную пародию, а потом…» — из зала прогремел голос.

Процитируем: «И тут Катаев, ехидно глядя на присутствующего в зале начальника Главлита Бориса Волина, громко подхватывает:

— А потом товарищ Волин нам что-нибудь запретит.

Вспыхнувший Волин сказал, повысив голос:

— Что вы такое позволяете себе, товарищ Катаев?!

— Я позволяю себе, товарищ Волин, — незамедлительно ответил Катаев, — вспомнить, как вы позволили себе запретить “Двенадцать стульев”.

— И правильно сделал. И кое-что следовало бы запретить из ваших, товарищ Катаев, антисоветских пасквилей.

Явно разгорался скандал, и я бросился искать Кольцова.

— Миша, — сказал я брату, — там сцепились Волин с Катаевым. Надо их разнимать.

И Кольцов поспешил к спорщикам».

Литератор Михаил Ардов, со слов своего отца-сатирика Виктора Ардова, сообщает, что «реплика Катаева вызвала громкий смех и аплодисменты, а обидчивый цензор демонстративно покинул зал».

Кстати, неодобрение Ефимовым такого «нарушения порядка» столь явно, что рядом с описанием происшествия он досадует: «Странным образом в Валентине Петровиче Катаеве сочетались два совершенно разных человека. Один — тонкий, проницательный, глубоко и интересно мыслящий писатель, великолепный мастер художественной прозы, пишущий на редкость выразительным, доходчивым, прозрачным литературным языком, зорко и наблюдательно подмечающий характеры людей, события, ситуации. И с ним совмещалась личность совершенно другого толка — разнузданный, бесцеремонно, а то и довольно цинично пренебрегающий общепринятыми правилами приличия самодур».

Что касается Горького, в том же 1934-м он все же написал Катаеву в письме: «Поздравляю вас, золотоискатель», отметив его «Политотдельский дневник», который начал публиковаться в

журнале «30 дней».

В этой репортажной повести нежные наблюдения чередовались с шершавыми штампами, как из доклада, вновь скрепленного сталинскими цитатами. «Сейчас политотдел при Зацепской МТС является подлинным, крепким, авторитетным партийным центром» и рядом: «Сильная ореховая вонь дурмана, рогозы, рокот лягушек и крики жаб — те знаменитые ночные звуки, когда как будто кто-то дует в бутылку… Дьявольская, шекспировская ночь!»

Может быть, Горький потеплел от упоминания своего имени — по дороге на МТС Катаев встретил в поезде несчастных душевнобольных, которых вез на трудовое поселение некто доктор Виленский, сообщивший, что по «окончании опыта» отправит Алексею Максимовичу письмо о «первом на всем земном шаре» сумасшедшем колхозе.

В начале 1930-х более сорока литераторов (среди них — Платонов, Инбер, Олеша, Багрицкий) въехали в «дом писательского кооператива» в Камергерском переулке. Катаев, расставшись с Анной, тоже переехал, но поселился отдельно — некоторое время снимал жилье в разных местах и вскоре на авторские за пьесы приобрел двухкомнатную квартиру на улице Горького.

«Молодой богатый холостяк, — пишет об отце Павел Катаев, — любил принимать у себя гостей, в чем ему помогала домашняя работница, простая и обстоятельная женщина из ближайшего Подмосковья. Как правило, закуски приносились из ресторана “Метрополь” и напитками заведовал приглашаемый из этого же ресторана пожилой опытный официант. Домашняя работница и приглашенный официант пребывали в состоянии постоянного конфликта по поводу тонкостей приготовления блюд, сервировки стола и так далее и тому подобное».

Милая и трогательная история от Павла: однажды Валентин Петрович решил обойтись без водки и ограничиться белым сухим с приятелями-актерами Художественного театра.

После спектакля явились гости, стол был полон еды, а коробки с напитками стояли в прихожей. Домработница поставила первые бутылки водки.

— А где же вино? — вскричал хозяин.

— Так вот же оно — белое, — растерялась домработница.

Что ж, стали пить водочку.

«Для народа есть два вида вина, — говорил Валентин Петрович. — Белое — это водка, а красное — все остальное».

1 декабря 1934 года выстрелом в затылок был убит первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Киров. Вслед за

этим развернулись репрессии против «врагов советской власти». 6 декабря в Москве прошли похороны, урну с прахом поместили в Кремлевской стене. В тот день катаевский повар задержался по дороге из «Метрополя» из-за столпотворения и недоуменно сказал хозяину: «Какого-то Кирова убили».

Так Катаев рассказал сыну, однако в «Красной нови» писал о себе как о свидетеле тех похорон: «Я видел Сталина, идущего за телом Кирова. Это невозможно забыть. В пальто солдатского сукна он грузно ступал по матерчатым цветам и еловым веткам, падавшим в снег с красного гроба, поставленного на низкий лафет. Его лицо, темное от горя, мужественно отражало бесприютную синеву декабрьского утра».

В «Алмазном венце» он уточнял, что попал в похоронную процессию «по воле случая» — толпа валила по Мясницкой (тогда Первомайской, затем Кирова), перевозя на пушечном лафете гроб с Ленинградского вокзала.

Эту случайность и отчужденность уловил Фадеев, который в письме Ермилову делился: «Чем-то неприятен контраст между колоссальной силой события (убийство Кирова!), мощной фигурой Сталина, шагающего за гробом, и незначительностью и какой-то “литературностью” воспоминаний автора, их мелочностью».

Летом 1935 года в шумной компании на даче Горького Катаев познакомился с Роменом Ролланом. Французский писатель запомнился ему «похожим на худощавого, старого швейцарского пастора, в круглом, туго накрахмаленном воротничке».

«ВОТ ВЫСТАВЛЮ СЧЕТ ЗА ОБЕДЫ, БЫСТРЕНЬКО НАПИШЕШЬ РОМАН!»

В 1934 году Катаев вытянул в Москву вдову Анатолия Фиолетова, одесситку Зинаиду Шишову.

Напрасно в 1918-м создатель «Бронзового гонга» поэт Леонид Ласк дерзил «зеленоламповцам»: «Нежную Зинаиду Шишову, которой Вал. Катаев обязался доставить бессмертие… я берусь прославить гораздо скорее…»

А все же Катаев и прославил, и, главное, вытащил из нужды по-прежнему нежную подругу юности. Ее муж Аким Брухнов, красный кавалерист, соратник Котовского, комиссар-бессребреник, уехал на уральские стройки, а «Зика» с сыном остались в Одессе.

Лучше всего о том времени рассказывала она сама в «Автобиографии»: «В 1934 г. я умирала от белокровия… Катаеву написали об этом в Москву. Мы не виделись много лет, но в молодости товарищи находили у меня кое-какие способности. Катаев выслал мне деньги на поездку в Москву. Я оставила сына у родственников и поехала. После очень трудной и горькой жизни я впервые попала в человеческие условия. Катаев устроил меня в санаторий, на несколько месяцев снял для меня комнату. От белокровия моего не осталось и следа. Даже беспокойство о сыне не мешало мне быть счастливой».

А дальше началось принуждение к литературе.

Катаев потребовал от Зинаиды (как когда-то от брата), чтобы она начала писать. Тем более готовился альманах памяти Багрицкого, который был другом Шишовой и их соратником по «Зеленой лампе». (Кстати, в том сборнике поучаствовал и одесский спаситель Катаева Яков Вельский.) Шишова отнекивалась, уверенная, что ничего написать не сможет — уже 15 лет не пробовала.

«— Каждая “дамочка” имеет право писать воспоминания. Это необязательно должно быть высоким произведением искусства, — убеждал меня Катаев. Я робко протестовала. В глубине души я была убеждена, что опозорюсь…»

Оставалось попрекнуть гостью из Одессы куском хлеба и кровом, как когда-то брата… Проверенный жесткий, наивный и успешный способ принуждения — застыдить: давай слезай с шеи…

«История о том, как Катаев буквально вытолкнул меня в литературу, заслуживает того, чтобы об этом рассказать

подробно:

В ту пору я жила на Бронной и ежедневно завтракала, обедала и ужинала у Катаева на Тверской. Перед тем, как прийти, я обычно звонила ему по телефону. Какой же был мой ужас, когда позвонив однажды ему, я вдруг услышала:

— Приходи, но только после того, как напишешь статью о Багрицком.

— Я не могу, — протестовала я, — т. е. я могу, но я должна обдумать.

— Ну так обдумай! — был неумолимый ответ.

Я решилась на хитрость. Я знала, что после завтрака Катаев обычно уходит из дому. Я переждала и позвонила Любе, катаевской домработнице.

— Любочка, говорит Зинаида Константиновна. Я сейчас приду завтракать, там у вас осталось что-нибудь?

— Зина Константиновна, — ответила Люба смущенно, — для вас все оставлено, но Валентин Петрович сказал, чтобы не давать, пока вы не принесете какую-то рукопись.

Тогда я засела и за три часа написала статью о Багрицком.

Пробка вылетела, теперь мне самой уже захотелось писать».

«Рожденный под счастливой звездой, Катаев словно распространял удачу на тех, кто оказывался в его орбите», — говорит невестка Шишовой Надежда Колышкина.

Перечитывая тексты его сотоварищей по одесской литературе, опять думаешь: сложись у них все чуть иначе, не получила бы (при катаевском дружеском менеджерском напоре) отечественная литература еще несколько имен?

И это он, благодетель, которого Шишова называла своим Вергилием, надоумил ее заняться детской литературой.

Невестка со слов Шишовой воспроизводит ее диалог с Катаевым. Тот заговорил о ранней декадентской книге стихов «Пенаты», которую Зинаида вспоминала с пренебрежением, а он с нежностью и памятью о собственной зависти: «Ты была самая красивая и самая талантливая». Под той же девичьей фамилией, которая стояла на обложке, он посоветовал ей печататься вновь, хотя по паспорту она и была Брухнова.

«— Вот выставлю счет за обеды, быстренько напишешь роман!

— Но я никогда не писала романов, — слабо возразила Зика, увидевшая вдруг в словах Катаева резон.

— Это я знаю, иначе бы я их прочитал! — перешел на свой излюбленный ироничный тон Катаев. — Тебе придется порыться в исторических книжках, поскольку тему лучше взять неактуальную, так сказать, из глубины веков. И если сможешь писать для детей, пиши для “Детгиза”, хотя это трудно. Зато

детскую литературу меньше курочат. Для цензоров она не представляет интереса, поскольку там заведомо не бывает государственных секретов.

Зинаида Константиновна учла советы друга… Оправдался прогноз Катаева и относительно материальной стороны дела. С первых же гонораров стало ясно, что голод им (ей с сыном. — *С. Ш.*) теперь не грозит и даже можно подумать о смене места жительства».

Сначала пошли рассказы. Затем в 1940-м был опубликован первый исторический роман «Великое плавание» о путешествии Христофора Колумба. Среди других ее историко-приключенческих книг самая известная — «Джек-Соломинка» (1943) о восстании Уота Тайлера.

В 1937-м сгинул в архангельских лагерях Аким Брухнов. «Катаев знал о причине страхов, обуревавших Зику после ареста мужа, более того, находил ее нежелание быть на виду весьма разумным и “исторически оправданным”», — писала Колышкина.

С сыном Маратом Зинаида пережила блокаду в Ленинграде, откуда помог выбраться Фадеев, поселивший их у себя на даче в Переделкине. В 1943-м написала письмо Сталину, жалуясь на то, что ее блокадную поэму называют упаднической — «Пора прекратить безобразие», — последовала резолюция, и поэму издали.

Марат ушел на фронт в 18 лет, получил ранение под Сталинградом, победу встретил в госпитале под Веной. «С учителями, надо сказать, моему мужу повезло, — писала Колышкина. — Так, перед уходом на фронт Валентин Катаев, знавший Марата, как он говорил, еще до его рождения, посоветовал никогда не шутить при старших по званию: “Если ты пошутил при начальстве и тебя не поняли — пиши пропало. Возненавидят, отомстят и пошлют в такое пекло, что никакой героизм не поможет. И вообще, держи язык за зубами”. Кстати, сам Катаев виртуозно владел этим искусством».

Зинаида Шишова умерла в 1977 году.

БУКА, БУЗЯ И БУМА

В том 1934-м Ильф, Петров и Катаев наконец-то выступили совместно.

«Автором темы», то есть сочинителем фабулы, опять оказался Катаев. Они написали пьесу «Под куполом цирка». Премьера ее состоялась 23 декабря 1934 года в московском театре Мюзик-холл.

В центре пьесы — драматическая потеха на расовую тему.

Через несколько дней после премьеры журналист «Известий» Алексей Гарри сдержанно похвалил постановку, но не удержался от укоризны: «“Под куполом цирка” является до известной степени попыткой подогнать советскую тематику под рамки стандартного западного обозрения… Квалифицированный зритель, прочтя на афише три больших писательских имени, вправе был ожидать значительно более высокого качества литературного материала».

Пьесе досталось и покрепче, например, от недавнего рапповского воителя, так что пришлось обороняться — в «Правде» 14 марта 1935 года появилось «письмо в редакцию» Ильфа, Петрова и Катаева: «В своем выступлении на пленуме союза советских писателей В. Киршон сообщил, что “мы наблюдаем и явления, чуждые нашей советской природе…”. Наша пьеса “Под куполом цирка” может нравиться или не нравиться. И не дело авторов вступать по этому поводу в спор с критиками. Но объявление пьесы “чуждой” есть политическое обвинение. Оно ложно, и мы решительно его отвергаем».

Киршону до расстрела оставалось несколько лет.

В начале 1935-го Катаев вообще, похоже, был не в духе и с готовностью вызывал огонь на себя.

6 января он заявил в «Литературной газете» не без вызова: «Меня, например, не волнует то, что пишут обо мне. Страшно признаться, но это так. В такой мере все написанное не интересно, не может помочь мне как мастеру. В последние годы я просто перестал следить за рецензиями и может быть даже не читал многих… О себе я узнал много больше из иностранной прессы, преимущественно американской и немецкой…» Ничего себе заявленьице — почти явка с повинной. «Критика наша слаба до чрезвычайности, — писал Катаев. — Трудно называть имена. Вся критика ополчится против меня. И все же рискну. Возьмем одну из средних “критических” фигур, например, Корнелия Зелинского. Существование его в критике кажется мне недоразумением».

24 февраля в том же издании последовал ответ Зелинского: «Только те, которым вообще наплевать на нее (критику. — С. *Ш.*), могут позволить себе такие барские, высокомерные выходки в отношении нашей критики, какие позволил себе В. Катаев… Любопытно отметить, что В. Катаев, написавший в сущности одно лишь произведение, достойное советской литературы (“Время, вперед”, потому что “Растратчики” — это только сборник анекдотов), больше всех был избалован вниманием критики и впрямь видно вообразил себя Львом Толстым».

6 марта «Литературная газета» выступила уже с редакционной позицией: «Насколько недопустимо огульное охаивание, отрицание всей нашей критики, показывает статья В. Катаева… Зря он обращается к критическим авторитетам Пушкина и Толстого. Пусть-ка т. Катаев сравнит *свои* путаные и не весьма оригинальные мысли с критическими заметками Пушкина. Едва ли, т. Катаев, выдержите вы и попытку такого сравнения! К чему же этот менторский тон классика? И откуда это право сбрасывать современную советскую критику со счетов, а заодно с ней и литературнокритические работы Ленина, критиков-большевиков Воровского, Луначарского, Ольминского, наконец, Горького. Для В. Катаева они ведь просто не существуют… Читайте т. Катаев и тогда найдете!»

Но вернемся к пьесе, засверкавшей в Мюзик-холле. Та же история была почти без правки перенесена в сценарий фильма, написанный все той же троицей, по которому в 1936-м режиссер Григорий Александров снял свой знаменитый «Цирк».

Если сравнивать синопсис Ильфа — Петрова — Катаева и собственно «Цирк», можно сказать, что сюжетный каркас остался прежним и даже фамилия антигероя и у сценаристов, и в фильме одна и та же — Кнейшиц. Этот самый Кнейшиц, как помнят зрители прославленной картины, приехал из Америки в СССР вместе с красавицей-трюкачкой — звездой аттракциона «Полет на Луну». Он эксплуатирует ее и шантажирует чернокожим малюткой, рожденным от негра-любовника. Но внезапно оказывается, что в отличие от некоторых господ, одержимых апартеидом, советские люди обладают всемирной отзывчивостью (поскольку Кнейшиц — немец, фильм убивал двух зайцев: и немецкий нацизм, и американский расизм).

Ударные реплики из синопсиса были перенесены в ленту практически без изменений, например, слова Кнейшица: «Ей не место в цивилизованном обществе» и объяснение директора цирка американке: «В нашей стране любят всех ребятишек. Не делают никакой разницы между беленькими и черненькими. Рожайте себе на здоровье сколько хочете — белых, черных, синих,

красных, хоть голубых, хоть фиолетовых, хоть розовых в полоску, хоть серых в яблочках. Пожалуйста».

Кстати, в синопсисе была и явная самоирония — к директору приходят три похмельных автора Бука, Бузя[95] и Бума, уже успевшие взять аванс. «Почему вы вчера не принесли репертуар?» — спрашивает директор. «У нас болела голова», — отвечает самый наглый Бука.

«*Директор.* Как, у всех троих сразу болела голова?

Бука. А почему бы нет. Мы пишем втроем, и голова у нас болит втроем».

Сценаристы сняли свои имена из титров. По одной из версий, вариант Александрова с бесконечным распеванием песни «Широка страна моя родная» и маршами по Красной площади показался им слишком пафосным. Действительно, в их синопсисе было поболее скепсиса. Например, директор жалуется, что его «взяли за хобот» — начали разоблачать. На экране, по замыслу сценаристов, должна была появиться журнальная статья: «В то время как организованный зритель приходит в цирк, чтобы проработать в занимательной форме ряд актуальных вопросов, ему подсовывают балет, состоящий не из пожилых трудящихся женщин, типичных для нашей эпохи, а из молодых и даже красивых женщин (!). Надо покончить с этой нездоровой эротикой».

Дело скорее всего не столько в политике, сколько в том, что фильм оказался сюжетно скуднее, чем задумывалось, пропало немало пусть второстепенных, но занятных эпизодов. С другой стороны, возможно, в такой простоте и состояла прелесть музыкальной комедии.

Во время съемок Ильф и Петров путешествовали по Америке, так что главный конфликт разыгрался между Катаевым и Александровым.

Павел Катаев рассказывает, что отец заподозрил режиссера, не в меру кромсавшего сценарий, в желании заполучить часть «авторских».

«В те благословенные времена, объяснил мне отец, авторы киносценариев получали авторские отчисления за каждый показ кинофильма. При условии большого зрительского успеха это могли быть баснословные гонорары.

Забегая вперед скажу, что так оно и получилось.

Григорий Александров ухмыльнулся и заявил твердо, что у авторов сложилось превратное впечатление и он не претендует на авторские.

— Вы уверены? — спросил отец.

— Абсолютно!

— Ну вот и отлично! Вы дадите нам расписку, что не претендуете на авторские, и поставите на ней свою подпись. Согласны?

— Согласен.

— Тогда пишите.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас.

Александрову ничего не оставалось, как “прямо сейчас” написать расписку, которую отец спрятал в карман…»

При каждой встрече Александров спрашивал «с язвительной улыбкой»: «Получаете авторские?» — на что Катаев отвечал: «Получаем».

При воспоминании об этом, пишет сын, «спустя годы и годы, на его лице появлялась озорная улыбка».

«Цирк» вышел на экраны в мае 1936 года без упоминания сценаристов и имел грандиозный успех.

Сразу же публицист Давид Заславский писал в «Правде»: «Картина построена на том же сценическом и литературном материале, что и постановка в Мюзик-холле “Под куполом цирка”. Сюжет тот же… В простой, невзыскательной форме, доступной для самых широких кругов зрителей, комедия доносит большие идеи интернациональной солидарности, любви к детям, независимо от их цвета кожи, и подлинно человеческого, товарищеского отношения к женщине…»

Сдав «Под куполом цирка» Александрову, все трое принялись за следующую комедию «Богатая невеста». Одноименный фильм не имеет к ней отношения, потому что хода ей не дали. А между тем, читая комедию, обнаруживаешь увлекательный сюжет и уморительные диалоги.

Действие происходит на юге страны в колхозе и на береговой батарее. Путешествующий авантюрист Адольф Суслик, крайне напоминающий Остапа Бендера, предлагает другому прохвосту кооператору Гусакову выгодное партнерство: найти для него богатую жену — «ударницу полей», если тот отдаст «брачном агенту» 30 процентов с ее «приданого». Суслик и Гусаков мечутся между выдающимися колхозницами Полей и Галей. В финале на сцену влетает Зинаида, бывшая сожительница, преследующая кооператора с азартом госпожи Грицацуевой: «Ну, Гусаков, поймался! Теперь ты от меня не уйдешь. Шесть раз он от меня бежал. Три раза прыгал через окно».

Сожаление о зарубленной яркой вещи спустя пять лет высказывал знаменитый актер Игорь Ильинский: «В ней было очень много достоинств — сценичность, внутреннее изящество, сатирический смысл. И однако же пьеса, встреченная в штыки

критикой, не увидела света рампы. Для чего нужно было так огульно и несправедливо решать “на корню” судьбу интересной комедии, написанной тремя талантливыми советскими писателями? Непонятно!»

Нет, совсем неудивительно, почему не была разрешена эта пародия на советских передовичек, запросто и бездумно уступающих соблазнам кооператора, который среди прочего восклицает: «Здесь никто не может купить что-нибудь хоть на рубль… Нет, это не жизнь для белого человека!.. В любой другой стране я мог бы выпутаться из петли»[96].

Но несомненно и то, что ильф-петров-катаевская «Богатая невеста», доберись она до театра или кино, имела бы немалый успех.

ЭСТЕР И ЭСТЕТ

Михаил Ардов записал со слов отца, что как-то в 1930-е годы Катаев и Олеша, «знаменитые и богатые», на улице Горького познакомились с двумя барышнями и пригласили их в ресторан «Арагви».

«Там обоих писателей прекрасно знали, приняли с почетом и предоставили отдельный кабинет. Они заказали шампанского и ананасов. Катаев вылил две бутылки шипучего в хрустальную вазу и стал резать туда ананасы.

Одна из барышень сделала ему замечание:

— Что же это вы хулиганничаете? Что же это вы кабачки в вино крошите?..»

Кто была эта барышня, неизвестно — во всяком случае, не Эстер, ставшая вскоре новой, третьей женой Катаева. Она была моложе его на 16 лет и прожила с ним большую жизнь.

По версии, которой придерживалась она сама, с будущим мужем свела общая приятельница по имени Мира, танцовщица, хореограф из Риги. Катаев в центре Москвы столкнулся с двумя дамами — знакомой ему Мирой и прелестной незнакомкой. И сразу влюбился.

«Увидев меня впервые, он сказал: “Мира, ты посмотри, какой ребенок идет. Она же прозрачная”. Мы стали встречаться, но я долго не понимала, что могу его полюбить. Однажды я опоздала на свидание и сказала, что задержалась из-за мамы. Валя посмотрел на меня: “Какая же ты счастливая! А у меня мамы нет с шести лет”. Он принялся рассказывать и довел меня до слез. С того момента у меня появилось к нему какое-то особое отношение, и оно сохранилось вплоть до сегодняшнего дня». Так говорилось в интервью 2002 года.

В другом интервью Эстер говорила: «Он был весь не отсюда… Он был необыкновенно красив, рыцарствен, галантен, а главное — в каждую минуту интересен. Мы познакомились почти случайно: у моей подруги был роман с Кольцовым, а Катаев с ним дружил еще с двадцатых. Была назначена какая-то встреча, и когда я еще только подходила к ним, он — сам мне потом про это рассказывал — неожиданно для себя сказал:“Вот бы мне такую жену!”».

Эстер родилась в Париже 21 октября 1913 года.

Отец ее, Давид Павлович Бреннер, родился в польском Люблине. Шил шапки, нашел работу в типографии, которая оказалась революционной. Стал бундовцем, то есть членом еврейской социалистической партии. С пачкой листовок явился в

армейскую казарму у себя в городе, был арестован, оказался в Москве, в Бутырской тюрьме, откуда этапом отправили в Сибирь. А в Сибири, в городе Тобольске жила Анна Михайловна Эккельман, девушка из богатой купеческой семьи, чуткая и жалостливая, особенно к каторжанам. «Я в Бога не верю, — говорила она в старости внуку Паве. — Помню, я маленькой девочкой смотрела, как по городу ведут кандальных. Последний не мог идти, все время спотыкался и наконец упал. И тогда солдат-конвоир подскочил к нему и ударил ружьем. Я была потрясена, что это возможно и ничего нельзя поделать, и прошептала: “Боже, ты дурак!” Мне стало страшно, что Бог должен меня за это сурово покарать. Дома я даже спряталась под стол. Но Бог ничего не ответил. И я потеряла веру навсегда». И вот Анна познакомилась с ссыльным Давидом. Они поженились, родилась дочка Лена. Но Давид, которому нельзя было покидать этих мест, стремился прочь из Сибири. Отец Анны помогал ссыльным бежать, добывая им и, как тогда говорили, «выправляя» паспорта. Давид вернулся в Польшу, вскоре и Анна с двухлетней дочкой последовала за ним — по приграничным тропкам они перебрались в Австро-Венгрию, достигли Франции и поселились в Париже.

Там в 1913 году в бедном квартале на улице Риволи у них родилась вторая дочь Эстер.

Началась мировая война, огонь приближался к Парижу, и Бреннеры переехали в Лондон, где родилась их третья дочь Миля.

В России — революция. Теперь то, за что Давида преследовали, стало доблестью. В начале 1920-х годов семья приплыла на пароходе в Петроград. На поезде, где их ограбили, добрались до Москвы. Бреннерам дали одну на всех комнату в коммуналке (бывшей барской квартире) на Малой Дмитровке. Жилось бедно и трудно, и по-прежнему мечтательная Анна решила отправиться в Тобольск, в уже разлетевшееся домашнее гнездо, где, как ей казалось, спрятан клад. Она проехала через одичалую страну и никакого клада не нашла… Давид по настроениям был близок к внутрипартийной оппозиции, Сталина не любил и почему-то называл «Соленый».

Бреннеры подумывали о возвращении в Париж и связались с представителями Франции в Москве. Французы разрешили Анне и детям приехать, но революционера Давида видеть на своей земле не хотели. Впрочем, в дальнейшем семья все же могла с ним соединиться, отправив ему приглашение. У Давида было больное сердце, и Анна не согласилась на разлуку и неопределенность.

Юная Эстер гуляла по Москве. Она пыталась подрабатывать

как чертежница, шить, вязать. Говорила с английским акцентом и многие русские слова произносила с неправильными ударениями. (Всю жизнь она будет с удовольствием читать романы на английском и спустя годы восхищать гостей Катаева — англичан, например поэта и прозаика Ричарда Олдингтона, своим чистопородным староанглийским произношением.)

Жена писателя Никулина актриса Екатерина Рогожина рассказывала, что Катаев встретил Эстер не на улице, а в «Метрополе»: там она танцевала, в том числе с иностранцами. Про иностранцев и Эстер сплетен в литературной Москве ходило немало, но я повторять их не стану. Замечу лишь, в семейном предании остался след ее романа с итальянским инженером Марио, который писал ей письма даже в 1970-е годы, а «миниатюрная блондинка» Ноэми (прототип Эстер) в романе Анатолия Рыбакова «Дети Арбата» ходит в рестораны с японцем.

В «Алмазном венце» Катаев откровенно называл идеал своей молодости, «высший тип женщины»: ослепительная и порочная, «красавица, преимущественно блондинка». Чтобы владеть такой, нужно иметь много денег. «Стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решеткой которых наркотически блестят глаза… Ее можно видеть в “Метрополе” вечером. Она танцует танго, фокстрот или тустеп с одним из своих богатых поклонников вокруг ресторанного бассейна… В начале вечера она недоступна и холодна, как мрамор, а в конце нечаянно напивается, падает в бассейн, а два ее кавалера в смокингах с помощью метрдотеля, тоже в смокинге, под руки волокут ее к выходу, причем она хохочет, рыдает, с ее ресниц течет черная краска и шлейф крепдешинового платья оставляет на паркете длинный след, как от мокрого веника».

Катаев был очарован хрупкой зеленоглазой светловолосой феей с нежными чертами лица: «Посмотрите, какой У нее носик! Какая воздушная!» — «Она просто очень плохо питается», — отвечала Рогожина. (Кстати, Эстер не была природной блондинкой, всю жизнь красила волосы. «Я не знаю, какого ты цвета», — подшучивал Катаев.) Фея, носившая элегантную заграничную одежду, не говорила возлюбленному, в каких условиях живет. Однажды Рогожина пришла в ту самую коммунальную квартиру на Малой Дмитровке. Эстер лежала в кровати, тяжело больная. Рогожина бросилась за Катаевым, он закутал возлюбленную, унес в автомобиль, отвез в больницу. «Какой флакон духов? Ей нужны фрукты, мясо!» — восклицала актриса. Валентин и Эстер (или, как он называл ее, Эста) стали жить вместе.

Расписались в 1935 году. Ему было тридцать восемь, а ей двадцать один.

Катаев жил, как в своей последующей повести, где с особой интонацией, точно о небожителях, говорилось об «особых людях» — «богатых», которые «каждый день могли ходить в театр, обедали почему-то в семь часов вечера, держали вместо кухарки повара». Теперь частью этой жизни стала красавица Эста.

Здесь же замечу, что судьбы ее сестер сложились не так сладко. Лена, учившаяся в школе танцев у Айседоры Дункан и мечтавшая уехать с ней на гастроли, стала продавщицей. Совсем непросто жилось Миле. Давида Бреннера в 1930-е годы лишили пенсии, но близкие от него это скрывали, и Катаев передавал ему деньги через Эстер. Умер он перед войной. Анна Михайловна часто гостила у дочери в переделкинском доме («Фадеев, сибиряк, любил поболтать с моей мамой, сибирячкой», — вспоминала Эстер). В 1966 году совсем старая Анна попала под машину.

В первые дни совместной жизни Катаев сказал: «Сначала роди мне дочь, а потом — кого хочешь!» Так и получилось.

Елена Левина, дочь писателя Бориса Левина, который в начале 1930-х годов вместе с Ильфом и Петровым приобрел дачу на станции Клязьма у Михаила Кольцова, вспоминала, что летом 1935-го там часто бывали Катаев и Эстер. Эстер ей очень нравилась: «Светловолосая, хрупкая красавица с зеленоватыми, чуть раскосыми глазами, всегда улыбалась. Я от нее не отходила, рассматривала ее голубое колечко. Через какое-то время она потолстела, и я в недоумении толкала ее кулачком в живот: “Эстерка, почему ты такая?” Она только смеялась. Через некоторое время она родила девочку. На радостях Катаев подарил Петьке (племяннику) велосипед: черный, лакированный, с кожаным седлом и педалями, как каучуковые подошвы. Потрясающий».

«Пишущая машинка “Ремингтон” пришла в квартиру на Тверской вместе с мамой, — сообщает Павел Катаев. — Отец сидел за письменным столом перед пишущей машинкой… и прицельно бил пальцем… А тем временем мама, расположившись в кресле неподалеку, ловко работала спицами, готовя своему первенцу приданое. Нет, действительно, это было самое счастливое время их жизни!»

20 апреля 1936 года у него родилась дочь, и в том же году вышла повесть «Белеет парус одинокий» с посвящением «Эстер Катаевой».

Он дал дочери имя Евгения в честь своей любимой матери…

В ноябре 1936-го в «Правде» появился катаевский рассказ

«Цветы», в котором отец с нежностью оглядывал семейство.

«Хозяйка дома вышла из-за стола и вернулась к гостям, держа на руках шестимесячную девочку в длинном, голубом байковом платьице с круглым воротником. Девочка сидела на ладони, живо поворачивая во все стороны головку, овальную, как дынька. Темные подсолнушки глаз весело смотрели во все стороны».

Рассказчик вспоминал апрельский рассвет, роддом и свое волнение — «паля папиросу за папиросой, я ходил под лестницей, не в состоянии найти себе место… Я был гораздо беспомощней и беззащитней, чем жена». Он устремился в город: «О, этот план у меня уже был готов давно: на все деньги — цветов и завалить всю квартиру! Пускай моя дочь (нет, каковы слова — “моя дочь!” Как это волшебно звучит!), пускай же моя дочь лежит в своей маленькой кроватке среди цветов, как сказочный мальчик-с-пальчик в атласной чашечке розы!»

Дочка родилась, но в роддом пока не пускали.

«Днем я томился у телефона, дожидаясь звонка “оттуда”. Звонок раздавался, и я слышал слабый голос жены, которая спрашивала, как я себя чувствую и не забываю ли я есть на ночь простоквашу.

— А ты, ты как себя чувствуешь? — кричал я в горячую трубку: — Как наша дочка?»

Рассказчик бродил по улицам, готовившимся к Первомаю: «И отовсюду на меня смотрело мужественное лицо Сталина, прижимающего к груди черноглазую, веселую девчушку с букетом в руках». Когда пришло время ехать в роддом, все цветы из магазинов празднично смели, но это не страшно — «большие, шумные пчелы самолетов кружились над первомайской розой Москвы»: «Слезы выступили у меня на глазах, когда я увидел похудевшую жену с оживленно блестящими глазами, которая протянула мне нечто завернутое в голубое вязаное одеяльце. Я стал целовать милые, худые руки, в то же время пытаясь заглянуть в одеяльце.

— Тише. Ты с ума сошел, — сказала жена. — Она спит. Она простудится. Дома посмотришь.

Мы поехали домой. По дороге я все же приподнял край одеяльца и увидел беленький нос величиной не больше горошины».

«Мой первый синенький “фордик” в подарок по случаю рождения дочери привез из Америки Женя Петров», — рассказывала Эстер, хорошо водившая машину.

Эту машину приобрели на катаевские заграничные гонорары.

«БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»

«Вообще-то я пишу всегда от руки. По два-три раза, — рассказывал Катаев. — Мне еще Бунин советовал не садиться прямо за машинку. Почерк лучше подает сигнал, если что не так, чем отстуканная на машинке фраза… Но “Парус…” стал печатать сразу, сначала одним пальцем (у меня тогда впервые появилась своя машинка), а потом пошло, поехало… Представляете, даже черновиков не было. Писал свободно, без плана, с ощущением живописи, с любовью к природе Новороссии, она мало отразилась в литературе — разве что в романе Григория Данилевского “Беглые в Новороссии”. А меня всегда привлекала».

Может быть, плана и не было, но «Парус» — увлекательно рассказанная приключенческая история (черновые замыслы которой, как утверждала Анна Коваленко, возникли еще при жизни с ней). Да и сам автор формулировал прямо: «Захотелось скрестить сюжетность Пинкертона с художественностью Бунина». Затеей продолжать «Парус» он поделился спустя какое-то время с Мандельштамом: «Сейчас нужен Вальтер Скотт». «Это был не самый легкий путь, — оценила Надежда Яковлевна, — для него требовались и трудоспособность, и талант». Интересно, что в первой же главе повести герой Петя Бачей сравнивается с «рыцарем Вальтер Скотта».

И впрямь подобно Скотту своей новой вещью Катаев завоевал сонмы мальчишек и девчонок и с лету стал «классиком детско-юношеской литературы».

Кто-то объясняет «впадение в детство» (а также «погружение в природу») едва ли не «внутренней эмиграцией» среди ужесточавшейся советской действительности. Может быть, в случае с некоторыми писателями все так и обстояло, но Катаев действительно ориентировался на востребованное, приносящее читателя, а значит, успех, и главное, был адекватен себе.

В «Парусе» он особенно хорош тем, что ему всегда удавалось — стилем. Но книга и продолжение литературного автобиографизма (Катаев наделяет героя именем отца и фамилией матери), дань запахам и краскам, людям, улицам, берегам детства.

Здесь, как и в «Отце», героя зовут Петром — Петей, он пытливый и возбудимо-крикливый, с двумя макушками. Правда, не монархист-черносотенец, как Валя в детстве, а наоборот, прогрессивен… Здесь и смерть матери (кислородные подушки). И отец-учитель с бородкой. И тетя, заменившая детям мать. И младший трогательный братик. Взрывные проказы и азартные

игры. «В романе нет ни одного персонажа, которого так или иначе не было в жизни», — говорил Катаев, не скрывая, что прототип Гаврика — его приятель Мишка Галий (Галик). «Он сейчас секретарь парткома джутовой фабрики в Одессе. Дедушка у него был ночным сторожем, а потом рыбаком». (А был еще мальчик из детства по имени Лаврик.) Встречается в повести и Жорка «Дубастый» (в жизни Женька с тем же прозвищем).

Обнаруживая в «Парусе» перекличку с ранними подростковыми катаевскими рассказами, одновременно находишь некую «простодушную прелесть», изначальную и нескончаемую в его писаниях. Поэтичная проза должна быть, прости господи, глуповата.

«Я живу с большим удовольствием, — откровенничал он 7 июня 1936-го на обсуждении «Паруса» секцией критики Союза писателей. — В детстве мне все было ново… У меня беспрерывное ощущение новизны… Я все время чувствую себя еще с большой примесью ребенка, если не по мыслям, то по чувствам… Словом, все в мире я воспринимаю как в первый день творения… Вот мое основное творческое самочувствие».

На этот раз Катаев мог в полной мере показать мир так, как всегда и видел — как первооткрыватель. «Если вы хотите определить что-либо, — определяйте наповал либо совсем не определяйте», — говорил он, и в этом тоже было кредо первооткрывателя. Все внове детскому глазу, и оттого все одновременно просто и необычно. И даже рождественскую елку в доме не получается сразу назвать елкой: «Наполняя всю комнату сильным запахом хвои, стояло посредине нечто громадное». Море — нечто. Железные пуговицы-«ушки», папиросные пачки, сельтерская вода «Фиалка» — куда ни глянь, всюду разные «нечто», то есть чудеса. Обостренное восприятие всякой вещи и всякого явления делает их по отдельности космически важными, растворяя зрителя в зрелище. Может быть, таково оно, сквозное чувство книги, в финале которой опять маленьким становится умирающий, прошедший тюрьму дедушка: «В одуванчиках сидел ребенок — он был этим ребенком, а также этими блестящими цыплячье-желтыми цветами… Он был парусом, солнцем, морем».

«Детско-юношеский канон» стал особенно органичным катаевскому дару. Важнее «психологизма», развития и изменения характеров был язык, с помощью которого и переданы пленительные картины «природы Новороссии» вперемешку с эффектными киношными сценами.

Утро жизни, райская легкость, летняя теплынь, ребячья непосредственность… Одно из постоянно повторяемых слов «сладко». Героям трудно, опасно, больно, а все равно сладко.

Именно детское зрение позволяет то и дело блаженно и влюбленно останавливать мгновения, так что жизнь словно бы залипает в меду. Повесть тем и хороша — сочетанием стилистических залипаний и гонки событий.

Да, конечно, сюжет идейно выверен, закручен вихрем 1905 года. Строго говоря, книга о том, как сын интеллигентного учителя впечатлительный Петя и внук нищего рыбака грубоватый Гаврик содействуют революционерам — а это и скуластый матрос Родион Жуков с броненосца «Потемкин», и брат Гаврика могучий конопатый подпольщик Терентий, и стреляющие бунтари, которым мальчики приносят мешочки с патронами, рискуя нарваться на пулю или попасться полиции, и рыбаки, на своих лодках празднующие в открытом море Первомай — «рабочую пасху»…

И все-таки есть что-то сильнее сюжета, страстно-лихого, порой по гротескности мультипликационного, с чудесными победами: то прыжок за борт, то взрыв стены (катаевская тема — преодоление тюремных стен). Не заслоняет ли все сладкий пейзаж: таинственное море с парусом? И так ли уж важно, что он белеет над шаландой, в которой мятежный матрос драпает в Румынию?

Павел Катаев предполагает, что на книгу отца вдохновило полотно импрессиониста Альбера Марке «Порт в Онфлере», увиденное в Пушкинском музее и напомнившее родную Одессу — парус, вода, флажки, солнечно-ветреный серебристо-голубой день. Писатель решил вместо эпиграфа к повести поставить именно эту картину, и в первом издании «Паруса» на белой странице перед текстом шла ее цветная репродукция.

Картина стала для Катаева талисманом, окном в детство.

В кабинете у Катаева висела точная копия этой картины. Марке, приехав в Москву в 1934-м, в гостях у Катаева расписался на ней.

«Из своего окна вижу Москва-реку, нежные флаги яхт-клубов, Бабьегородскую плотину, гребцов, купальщиков, мост, жемчужно-синие контуры Парка культуры и отдыха с башней, парашютами и дирижаблем. Летит гидроплан. Белилами блестит вода… Весь этот живописный мир, который я вижу глазами любимого пейзажиста. Он приехал», — сообщал Катаев в «Правде». До этого он побывал в квартире у Марке в Париже.

«Белый парус дал поэтический настрой, музыкальную основу… Ребенком я всегда читал на елках лермонтовский “Парус”, — делился Катаев. — В повести, когда поставил эту самую белую запятую, да, вот тогда, пожалуй, сюжет внутренне выстроился для меня окончательно».

Он не просто воспроизводил стихию, увиденную обычным мальчиком. Нет, мальчик — художник, и в «Парусе» Катаев накладывал точные и яркие мазки на подмалевки собственных ранних стихов и рассказов.

«Я впервые увидел море благодаря Валентину Катаеву, — писал критик Феликс Кузнецов, впоследствии ставший его младшим сообщником в борьбе за «Литературную газету». — Это было глухим зимним вечером в далекой сибирской деревне при тусклом помаргивают коптилки (шла война)».

Катаев не случайно говорил о бунинском влиянии на роман. В «Парусе» он словно бы возвращался к нежной мелодичности и изобразительной пластичности учителя. Я уже цитировал Эстер Катаеву, вспоминавшую о том, как в конце 1950-х они посетили в Париже вдову Бунина Веру Николаевну, и та рассказала: «Бунин читал “Парус” вслух, восклицая — ну кто еще так может?»

Бунины продолжали следить за Катаевым. В дневнике за 1934 год Вера Николаевна писала о прозаике Анатолии Каменском, уехавшем в Советский Союз. «К. видался с Катаевым и с настоящими коммунистами». Катаев здесь, видимо, упомянут как коммунист ненастоящий. Да и встреча Каменского, автора эротической прозы, проповедовавшего «сладострастие», с писателем-эпикурейцем была, пожалуй, не случайна. Добавим: в 1937-м Каменского арестовали и осудили на восемь лет заключения (позднее срок увеличили до десяти лет). Умер он в декабре 1941-го в Ухтижемлаге (Коми АССР). После войны, узнав от жены Симонова о запоях «Вали Катаева», Муромцева записала: «Я думаю, что он несколько иначе все воспринимает, чем они, вот и тянет забыться. Все-таки он почти четверть века дышал нашей культурой».

Катаев наконец-то с эпичным размахом послушался Бунина: «Опишите воробья, опишите девочку». Повесть полна мастерскими изображениями природы, людей, птиц, рыб, девочек. Яркие и прелестные картины «минувшего», как цветные фотографии Прокудина-Горского… Не отпускающее и невозвратное детство в невозвратной стране (где было столько уюта и в жаркие дни бродячие собаки, «чрезвычайно довольные одесской городской управой», лакали воду из специальных жестянок, прикованных к деревьям), сближающее эту литературу с «Другими берегами» Набокова.

Гаврик зачарованно подходит к тиру, а запах пороха имеет цвет — «синевато-свинцовый», и «вкус выстрела» чувствуется на языке. Не сходно ли вспоминал о детстве Набоков: «Цветное ощущение создается по-моему осязательным, губным, чуть ли не вкусовым чутьем»?

Невозвратная Россия — это и колесный пароход «Тургенев», на котором Бачей после летнего отдыха возвращаются из Аккермана в Одессу, видя с палубы знаменитую башню Ковалевского, старый и новый городские маяки. Одесский журналист Александр Розенбойм рассказывал, что спустя десятилетия после выхода «Паруса» привез Катаеву фотографию «Тургенева». «Он долго молча смотрел на нее, взял лежавшую на рабочем столе сильную лупу и принялся рассматривать детали… “Как вы думаете, сколько лет его не видел, — повернулся он ко мне, — сколько лет, я уже даже сам не знаю, — заключил Катаев, мягко, по-одесски произнося букву “Ж” — “ужье дажье…” И, не выпуская фотографию из рук, позвал жену: “Ты видишь, это мой пароход!”».

Но «Парус» совершенно точно был написан не врагом революции, а ее сыном, как выразился когда-то Катаев. Родителей не выбирают. История физиологически неумолима. Море таинственно, но и революция таинственно-природна, как море. «Надвигались события. Казалось, что они надвигаются страшно медленно. В действительности они приближались с чудовищной быстротой курьерского поезда… К тишине ожидания уже примешивался не столько слышимый, сколько угадываемый шум неотвратимого движения».

Можно сказать и о странном союзе всех действующих лиц «Паруса». Усатая торговка с Привоза мадам Стороженко, рыбаки, шпики, революционеры, гимназический священник, студенты, погромщики с хоругвями, лавочник с длинным прозвищем «Борис — семейство крыс», квасники в купеческих картузах, «писаря» в солдатских погонах, точильщики, паяльщики, старьевщики, менялы, цветочницы, кухарки с корзинами, художник-пейзажист перед мольбертом — все соединены уютным сладко-соленым духом приморского города. Они все заодно, так же, как раки, камбала, скумбрия, барабулька-«барбунька», мидии и бычки. При этом, находясь со всем городом в состоянии родства, что-то (и не только революционные сцены) Катаев умело дофантазировал. «Он мне как-то признался, — говорит Павел Катаев, — что никогда в жизни не был в одесском пригороде Ближние Мельницы, куда поселил одного из героев дядю Гаврика Терентия и его семью. В этом пролетарском районе одесскому гимназисту, сыну преподавателя нечего было делать».

И при этом Одессу Катаев знал безошибочно. Литератор Татьяна Тэсс вспоминала, как в одном рассказе у нее цвели каштаны на Приморском бульваре в Одессе (где прошло ее детство). Спустя немало времени Катаев при встрече немедленно сообщил ей, «бросив беглый взгляд узких внимательных глаз»:

— А на Приморском бульваре, между прочим, не каштаны, а платаны.

«И я тут же, залившись краской стыда, увидела перед собой эти старые платаны на бульваре».

«Белеет парус одинокий» — первая часть тетралогии «Волны Черного моря» с участием Гаврика, Пети и его брата Павлика. «Хуторок в степи», «Зимний ветер», «Катакомбы» — продолжения, писавшиеся не последовательно, а в разное время. Но «Парус», на мой взгляд, оказался гораздо сочнее и краше этих частей, которые Шкловский иронично назвал заваренным несколько раз чаем («Одессея», — как говорили остряки). Была еще повесть 1943 года «Электрическая мащина», где нет ни тени «идейности», а есть мальчишеское блуждание все тех же Пети и Гаврика по чарующей, с ласковым тщанием прорисованной Одессе.

Сначала опубликованный в майском номере «Красной нови» и быстро вышедший отдельной книгой «Парус» вынес автора далеко вперед. Критика заговорила о новом Катаеве. Он снова всех удивил. (Кстати, вслед за книгой написал пьесу, и уже через год появился динамичный фильм по его сценарию.)

«Читал “Белеет парус одинокий”, — записал Олеша. — Хорошо. Катаев пишет лучше меня. Он написал много. Я только отрывочки, набор метафор».

Алексей Толстой в докладе о советской литературе назвал ее достижением «прелестный прозрачный» «Парус».

Повесть была хороша и одновременно совпала с глубинными стилистическими и идеологическими процессами, появившись в печати накануне «масштабных мероприятий», посвященных столетию смерти Пушкина. По сути, Катаев сделал смелое движение в сторону реабилитации классики.

О том же сказал Бабель. 28 сентября 1937 года, выступая в Союзе писателей, он так ответил на вопрос о современных писателях: «Высоко я очень ставлю Валентина Катаева, который, считаю, будет писать все лучше и лучше, который проделал очень правильную эволюцию, который, делаясь старше, делается серьезнее и книгу которого “Белеет парус одинокий” я считаю необыкновенно полезной для советской литературы. Книга Катаева сделала очень много для того, чтобы вернуть советскую литературу к великим традициям литературы: к скульптурности и простоте, к изобразительному искусству, которое у нас почти потеряно… Я лично считаю, что Валентин Катаев на большом и долгом подъеме и будет писать все лучше и лучше. Это одна из больших надежд».

Не сомневаюсь в искренности Бабеля, но слова о «правильной эволюции» к «простоте» — это не только личная художественная

оценка, но и похвала в духе торжествовавшей «культурной политики».

Книга Катаева вышла в разгар борьбы с формализмом. В начале 1936 года газета «Правда» опубликовала разгромные статьи о «претенциозности». 28 января — «Сумбур вместо музыки» об опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Услышав «кряканье, уханье и пыхтенье», Сталин, от которого исходила статья, вероятно, ощутил себя львом в мешке: «Это музыка, умышленно сделанная “шиворот-навыворот”… Левацкое искусство вообще отрицает в театре простоту, реализм, понятность образов, естественное звучание слова… Это игра в заумные вещи, которая может кончиться очень плохо».

«Формализм» принялся осуждать Союз писателей. 8 марта на заседании бюро секции критиков Лев Субоцкий, ответственный редактор «Литературной газеты» (через год его арестуют, но в 1939-м освободят), пообещал «полосу развернутых высказываний писателей на тему: “Что я думаю о формализме”» и пожаловался на «доминирующую ноту тех, кто дает свои статейки — бейте, но не до бесчувствия».

Действительно, 10 марта в «Литературной газете» на первой полосе под заголовком «Против формализма и натурализма» появились тексты А. Ддалис, К. Паустовского, С. Кирсанова, О. Брика, В. Катаева. Последний в статье «Впереди прогресса» осудил «симуляцию глубокомыслия» и тип «писателя, который работает для так называемых “понимающих”». Катаев выбрал мишенью спутника в беломорском путешествии литературоведа Дмитрия Мирского — популяризатора творчества Джеймса Джойса. «У нас возникают свои доморощенные джойсисты. Это желание во что бы то ни стало, механистически пересадить на нашу почву гнилое цветение западной литературы… Не лучше ли учиться нам у гениально простого и вместе с тем сложного Гоголя, у мастера точнейшего выражения самых тончайших оттенков мысли — Гончарова, у Пушкина, Лермонтова…» Далее Катаев с каким-то бунинским догматизмом сравнил «декадентов» с «обезьяной, нашедшей телескоп и не знающей, что с ним делать».

Статья помогла не до конца, требовалось большее, потому что 23 марта на общемосковском собрании писателей все тот же Субоцкий провозгласил: «Ряд наших литераторов хочет отмолчаться от дискуссии… Молчат товарищи… Список молчальников можно продолжить В. Катаевым».

15 марта — в «Литературной газете» вышло очередное покаяние «бывшего формалиста» Шкловского.

20 марта «Литературная газета» известила о том, что

Всеволод Мейерхольд выступил в Ленинграде с докладом «Мейерхольд против мейерхольдовщины»: «Если вы допускаете левацкие уродства, я вас разоблачу…»

В этом смысле откровения Катаева в «Литгазете» 1933 года об «изгнании метафоры», так очаровавшие эмигранта Адамовича, можно истолковать и как заблаговременное предчувствие «генеральной линии». А может быть, что-то уже витало в воздухе, движение художника и власти было встречным.

Впрочем, катаевское упрощение языка выглядело совершенно естественным, единственно уместным: ведь большая часть его повести — мир, пропущенный через ребенка. Несколько вычурно в духе прежней прозы проскользнул лишь горячечный бред больного матроса.

Среди общих похвал ложку дегтя преподнесла разве что критик Лариса Мессер, писавшая в «Литературном современнике»: «Оправдывает ли этот успех ту атмосферу слезоточивого умиления, какая распространилась вокруг этой книги в многочисленных критических откликах на нее?» Обругав прежние вещи Катаева как «самоуверенные и легковесные», она называла удачный «Парус» «только первой разведкой» и требовала от писателя «перевооружения»: «Ему придется упорно преодолевать в себе заблуждения дешевой “западнической” моды… Ему предстоит рассеять дух тепленького умиления…»

Книгу быстро полюбили в народе. 15 ноября 1936 года «Литературная газета» напечатала колонку «Голос читателя», составленную из писем. «Подлинный художник реалист», — писал о Катаеве «слесарь завода им. Лепсе» И. Павлов. «Служащий завода “Динамо” им. Кирова» В. Позлевич желал «Парусу», дающему «радостное ощущение жизни», «скорее попасть на киноэкран». У М. Невяжской, «ст. консультанта Наркомфина СССР», после чтения повести «осталось теплое хорошее чувство».

Понять менявшийся дух времени можно, прочитав рядом с этими письмами коротенькое «Постановление Комитета по делам искусств при Совнаркоме Союза ССР»: «Опера-фарс Демьяна Бедного “Богатыри”… огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются в народном представлении носителями героических черт русского народа… дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являвшегося в действительности положительным этапом в истории русского народа…»

Горький оценить новую повесть Катаева не успел — он умер 18 июня 1936 года на даче в Горках-10.

Гроб с телом несли Сталин и Молотов. К Дому союзов на

прощание устремились тысячи людей. Урна с прахом была захоронена в Кремлевской стене. Меньше чем через два года по обвинению в убийстве «пролетарского гения» и его сына будут расстреляны личный секретарь писателя Крючков, кремлевский врач Левин, глава НКВД Ягода… Все дадут признательные показания.

Белый парус Катаева вступал в пределы 1937-го…

Валентину Петровичу исполнялось сорок.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ПРАВДА ЗНАЧИТ МРИЯ

КАТАЕВ И МАНДЕЛЬШТАМ

«С Мандельштамом дружили», — заявил Катаев на творческом вечере в 1972 году.

Итак, они познакомились за полвека до того в 1922 году в голодном Харькове.

В том 1922-м Осип Мандельштам и Надежда Хазина — их роман начался в 1919-м в Киеве — зарегистрировали брак. Мандельштам уже выпустил дебютную книгу, был дружен с Ахматовой и Гумилевым, учился в Сорбонне, Гейдельбергском и Петербургском университетах, сквозь Гражданскую войну скитался по стране. В 1922-м в Берлине вышла его новая поэтическая книга, а в Харькове брошюра «О природе слова».

Надежда Яковлевна вспоминала: «О. М. хорошо относился к Катаеву: “В нем есть настоящий бандитский шик”, — говорил он» — и продолжала так, как будто знала о тюремной ловушке, из которой тот вырвался и которая в конце концов погубила ее мужа: «Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший “влипнуть” и выкрутиться из очень серьезных неприятностей. Из Харькова он ехал в Москву, чтобы ее завоевать». Замечу, что в те годы и Мандельштам несколько раз попадал под арест. Грузинский поэт Николоз Мицишвили так передавал сказанное им в Батуме, где его задержали вместе с братом: «От красных бежал в Крым. В Крыму меня арестовали белые, будто я большевик. Из Крыма пустился в Грузию, а здесь меня приняли за белого».

Как мы помним, Катаев предложил Надежде Мандельштам пари — «кто раньше завоюет Москву». Он первым ринулся в столицу, но очень скоро, в том же 1922-м, туда перебрался поэт с женой.

Они обитали на Тверском бульваре в небольшой комнате на первом этаже в писательском общежитии в Доме Герцена. «Он был уже давно одним из самых известных поэтов. Я даже считал его великим. И все же его гений почти не давал ему средств к приличной жизни: комнатка почти без мебели, случайная еда в столовках, хлеб и сыр на расстеленной бумаге…» Приходя, Катаев читал свои стихи. Например, в «Алмазном венце» он приводит стихотворение «Опера», посвященное Леле Булгаковой, которое было «наспех отвергнуто». «Мандельштам браковал все, что я написал, но находил одну-две настоящие строчки, и это было праздником и наградой», — сообщил Катаев незадолго до смерти журналисту Борису Панкину.

«Мандельштаму было 30 лет, но для всех, даже для меня, он

оказался человеком старшего, уже отошедшего поколения, — вспоминала Надежда Яковлевна. — И субъективно он относил себя не к ровесникам (Катаев, скажем, казался ему щенком, хотя был моложе года на четыре), а к “прежде вынутым хлебам”. Теперь я понимаю, что в эпохи полной перетасовки поколение исчисляется не только по возрасту, но и по принадлежности к той или иной формации». Катаев был моложе Мандельштама на шесть лет, но дело не в этом — при всем самолюбии, поощрительно-надменное отношение Мандельштама он принимал как должное, смиряясь перед его талантом.

«Он позволил Катаеву утащить только что вышедшую “Сестру мою жизнь”, — писала Надежда Яковлевна. — “Что мне надо, я помню, а ему нужнее”, — объяснил О. М. Он всегда повторял: “Книга должна быть у того, кому она нужна”».

Однако, если верить Катаеву, и он мог посмеяться над Мандельштамом — вместе с Олешей увез его Надюшу в пивную:

«У нас это называлось: “Поедем экутэ ле богемьен” (“слушать цыган”). Мы держали Надюшу с обеих сторон за руки, чтобы она не выскочила сдуру из экипажа, а она, смеясь, вырывалась, кудахтала и кричала в ночь:

— Ося, меня умыкают!

Мандельштам бежал за экипажем, детским, капризным голосом шепелявя несколько в нос:

— Надюса, Надюса… Подождите! Возьмите и меня. Я тоже хочу экутэ».

Они умчали без него, а потом он отыскал их в грузинском ресторане и читал стихи:

Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить.

«Одному надо было только платить!» — ехидничал Катаев.

Я обнаружил письмо Мандельштамов, отправленное из Крыма в августе 1923-го[97]. Надежда Яковлевна взывала: «Друг Катаев — Валентин и друг Олеша Юрий!

Милые дети!

За неимением богатого отца, очутившись на мели в Крыму, обращаюсь к вам с деловым предложением — вышлите нам заимообразно сроком на три недели 2 червонца. Я думаю, деньги вам пригодятся и тогда, когда мы приедем в Москву. Не оставляйте старую няню[98] и его дряхлеющую питомицу без червонушек — иначе нам не приехать в Москву. А кроме того прошу мне написать подробный отчет о всем происходящем в Москве (Мар, Мира…) и нет ли новых возможностей. Где ползает

Муха? Целую ее в нос. Крым как Крым. Старцы пасутся в санатории и я с ними. Курим мерзейшую капусту. Дукат! Дукат! Хочу в Москву.

Надя».

На обороте поэт приписал: «А я целую Муху! Ваш О. Мандельштам» и приложил письмо:

«Дорогой Валентин Петрович!

Когда автомобиль наш (Дора?) остановился по случаю поломки на раскаленном шоссе где-то в Симеизе какая-то Дора подошла и закричала: — Ой, что вы сделали? Зачем вы приехали? Здесь вы не поправитесь! Готовьте червонцы! — и пошла дальше, прижимая к груди купленные за сто миллионов яйца.

Здесь кроме того обычай: с червонца сдачу не давать, а предлагают забрать на всю сумму червонца, хотя бы в рассрочку — товаром. Похоже, кроме червонцев в обращении денег нет.

Профессора, поддерживая друг друга, спускаются к морю (Сакулин[99] и др.), как старцы античной трагедии, с посохами и в бумажных коронах.

Я все время хвораю, чувствую себя так, если бы меня выкупали в кипящем масле и облепили потом клопами. Но кроме шуток — Надюше необходимо здесь пробыть 6 недель. Мне нечем заплатить за ее пансион. Не хватает всего *6* червонцев *(30 я* достал в Москве). Я написал отцу, брату… На редакцию, сами знаете, расчет плохой. Займите мне парочку — если у вас дела не плохи.

Жалко. Столько сборов — и из-за пустяка не могу дать Наде шесть недель отдыха, которые ей так нужны.

Юрий Карлович милый! Именем Доры — чей дух витает здесь — Ай-Петри видна даже из уборной — не оставьте и вы! Если бы каждый — по одному! Верну в первую же неделю по приезде (я не с пустыми руками вернусь)».

Как рассказывал Катаев в «Алмазном венце», Мандельштам сочинял при нем стихи, обычно диктуя их жене. «Это была его манера писания вместе с женой, даже письма знакомым, например, мне, из Воронежа». То есть получается, что поэт писал Катаеву из ссылки, которую отбывал с 1934 по 1937 год.

Во все том же «Алмазном венце» он вспоминал, как позвал Мандельштама к Крупской за «заказом на агитстихи» (при последнем слове собеседник поморщился, но все же согласился). Крупской была нужна разоблачительная агитка «против кулаков», которые выдают батраков за свою родню. Получив аванс, молодые люди купили ветчины и вина и принялись сочинять. Катаев утверждал, что быстро придумал начало: «Кулаков я хитрость выдам, расскажу без лишних слов, как они родни под видом

укрывают батраков», но Мандельштам, презрительно на него посмотрев, решил взяться за басню (которую стала за ним записывать преданная жена):

Есть разных хитростей у человека много,
И жажда денег их влечет к себе, как вол.
Кулак Пахом, чтоб не платить налога,
Наложницу себе завел!

Правда ли это мандельштамовские строчки, достоверно неизвестно, но из агитки, усмехался Катаев, ничего не получилось.

9 мая 1924 года Катаев и Мандельштам поставили подписи под общим письмом в Отдел печати ЦК РКП(б): «Мы приветствуем новых писателей, рабочих и крестьян, входящих сейчас в литературу. Мы ни в коей мере не противопоставляем себя им и не считаем их враждебными или чуждыми нам… Но мы протестуем против огульных нападок на нас. Тон таких журналов, как “На посту”, и их критика, выдаваемые притом ими за мнение РКП в целом, подходят к нашей литературной работе заведомо предвзято и неверно». Среди прочих подписались Есенин, Бабель, Толстой, Волошин…

В 1924-м Мандельштам уехал в Ленинград. В конце 1928-го вернулся в Москву.

Они высказывались друг о друге в печати.

В 1929 году в статье «Веер герцогини», напечатанной в «Вечернем Киеве», рассуждая об отношении критики к Олеше, Ильфу, Петрову и Катаеву, Мандельштам упоминал «вопиющую недооценку» «Растратчиков». «Повесть двусмысленная, — оговаривался он, — ее подхватили за рубежом, из нее делают орудие антисоветского пасквиля. Однако в ней есть за что уцепиться. Бояться ее нечего. Как всякая крупная вещь, она допускает различные толкования. Злостно-хвалебным статьям о “Растратчиках” зарубежной прессы мы не можем противопоставить своего толкования, потому что книгу у нас недооценили; она пошла под общую гребенку — “удостоилась” куцых похвал и похлопываний по плечу. Вместо разбора произведения Катаева были в свое время устроены никому не нужные, кустарные суды над самими “растратчиками” — его героями. Проглядели острую книгу».

В другой раз в 1930-м в машинописном тексте «Политические высказывания зифовской периодики» вместе с уволенным из издательства «Земля и фабрика» Нарбутом он прямо-таки обрушился на Катаева. Текст тогда не был опубликован. О

поводах для обиды я еще скажу — Мандельштам бьш зол на нового руководителя издательства Илью Ионова. Авторы «записки для внутреннего пользования» собирали компромат на выпускаемые ЗИФом журналы и их авторов.

Для начала Мандельштам — Нарбут припечатали Катаева не вполне по-русски, но с лихостью разоблачителей: «Абсолютно аполитичные очерки чисто эстетическим любованием хозяйственными достижениями». И привели яркую и поэтичную цитату (которую я уже давал) из «Путешествия в страну будущего»: Катаеву, залюбовавшемуся коровой, так и хотелось назвать ее вместо Пеструшки — Эрнестиной Витольдовной. Но обычно тонким и остроумным разоблачителям почему-то стало совсем не смешно. Что еще за аполитичное эстетство? Где суровая правда коммуны?

Затем (уличив журнал «30 дней» в цитировании «бульварного романа Муссолини») Мандельштам — Нарбут перешли к катаевскому рассказу «Автор» о «волнениях неопытного драматурга». Там подробно и иронично был показан путь от создания пьесы до ее постановки — сложности с читкой, конфликт с режиссером — все, как в биографии Катаева (критик Наталья Иванова называет этот рассказ прототипическим по отношению к «Театральному роману» Булгакова). В чем же претензия? Оказывается, Катаев потакает обывателю — изобразил интеллигентных людей, упустив их отличительные советские свойства:

«Обыватель жадно заглядывает за кулисы — какие здесь все почтенные: “Тишина. В стакане красный чай. Из мягких кресел при появлении автора поднимаются корректные интеллигентные люди ‘в черных костюмах и накрахмаленных сорочках’”… Никак не поймешь по очерку Катаева: где происходит действие — в Москве или оно взято напрокат из жизни начинающего парижского драматурга в трактовке [пропуск] романиста. Мелькнуло лишь одно советское словечко “Главрепертком”, а редакция в своей приписке услужливо сообщает, что “театр стал массовым агитатором и пропагандистом, рупором культурной революции”»…

— Ай-ай-ай! Несоветский! — грозит Осип Эмильевич Валентину Петровичу и, кажется, вздымает бровь: — А случайно, не антисоветский?

Издательство «ЗИФ» («Земля и фабрика») прекратило существование в 1930-м. Главред Ионов в 1937-м был арестован, спустя пять лет умер в Севлаге. Жертвами террора стали и Мандельштам с Нарбутом.

Может быть, Катаев успел чем-то настроить против себя

ранимого Мандельштама?

Вот свидетельство из «Мемуаров» литературоведа Эммы Герштейн: «Однажды Мандельштам в большом волнении описал только что произошедший эпизод. Он сидел в приемной директора Государственного издательства Халатова[100]. Долго ждал. Мимо него проходили в кабинет другие писатели. Мандельштама секретарша не пропускала. Терпение его лопнуло, когда пришел Катаев и сразу был приглашен к Халатову. “Я — русский поэт”, — гордо выкрикнул Мандельштам и ушел из приемной, хлопнув дверью».

Но замечу, что в конфликте с ЗИФом Катаев Мандельштама поддержал. В 1928 году поэта обвинили в плагиате. Издательство «ЗИФ» выпустило книгу Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель», вместо «литературного обработчика» назвав Мандельштама переводчиком. Новый директор ЗИФа Ионов разорвал с Мандельштамом договор. 13 мая 1929-го в «Литературной газете» вышло открытое письмо литераторов, подписанное среди прочих Катаевым, против попыток «набросить тень на доброе имя писателя»[101].

Наверняка Катаев не знал о существовании разоблачающей его бумаги. Хотя в 1933-м он по касательной задел знакомого. «Проза Мандельштама — проза декадента», — было сказано со страниц «Литгазеты», но рядом Катаев проехался и по себе, и по Бабелю, и отдельно по другу Олеше.

Тем более сложно не согласиться с драматургом Александром Гладковым — мандельштамовская проза существенно повлияла на «художественную поэтику» Катаева[102], особенно — в поздний период, когда тот решил с нежностью вспомнить «щелкунчика» и «верблюжонка»: «Он расхаживал по своей маленькой нищей комнатке… горделиво закинув вверх свою небольшую верблюжью головку, и в то же время жмурился, как избалованный кот, которого чешут за ухом… Я смотрел на него, несколько манерно выпевавшего стихи, и чувствовал в них нечто пророческое, и головка щелкунчика с поредевшими волосами, с небольшим хохолком над скульптурным лбом казалась мне колобродящей верхушкой чудного дерева».

Осуждающе глядя в прошлое с высоты времени, Надежда Яковлевна сообщала в своих «Воспоминаниях», что к концу 1920-х годов у большинства прозаиков «начало прорываться нечто грязно-беллетристическое, кондовое… У Катаева эта метаморфоза, благодаря его талантливости и цинизму, приняла особо яркую форму. Под самые тридцатые годы мы ехали с Катаевым в такси. До этого мы не виделись целый век, потому что подолгу жили в Ленинграде или в Крыму. Встреча после разлуки

была самой дружественной, и Катаев даже вызвался нас куда-то проводить. Он сидел на третьем откидном сидении и непрерывно говорил — таких речей я еще не слышала. Он упрекал О. М. в малолистности и малотиражности: “Вот умрете, а где собрание сочинений? Сколько в нем будет листов? Даже переплести нечего! Нет, у писателя должно быть двенадцать томов — с золотыми обрезами!..” Катаевское “новое” возвращалось к старому: все написанное — это приложение к “Ниве”; жена “ходит за покупками”, а сам он, кормилец и деспот, топает ногами, если кухарка пережарила жаркое. Мальчиком он вырвался из смертельного страха и голода и поэтому пожелал прочности и покоя: денег, девочек, доверия начальства».

По-моему, все верно за исключением слова «метаморфоза». Разве Катаев противоречил себе? Отчего было ему не радоваться барскому уюту и писательской славе, к которым он всегда стремился и которых бы все равно достиг, не случись революция?

«Я долго не понимала, где кончается шутка и начинается харя. “Они все такие, — сказал О. М., — только этот умен”. Это в ту поездку на такси Катаев сказал, что не надо искать правду: “правда по-гречески называется мрия[103]”»…

Надежда Яковлевна, обвиняя эпоху в порождении циников разного сорта, выводила из них «более приятную породу, выполнявшую заказы, чтобы покупать за дешевую цену девочек, а за дорогую — еду и одежду», и эффектно пригвождала «успешных»: «Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев. Почему-то все желали идти с веком наравне».

Но не попытался ли идти с веком и Мандельштам? «Идти против всех и против своего времени не так просто, — размышляла Надежда Яковлевна. — В известной степени каждый из нас, стоя на перепутье, испытывал искушение ринуться вслед за всеми, соединиться с толпой, знающей, куда она идет. Власть “общего мнения” огромна, противиться ей гораздо труднее, чем думают, и на каждого из людей время кладет свой отпечаток». И она же признавала непреодолимое всевластие рока: «Попытки договориться с эпохой оказались бесплодными».

Об этом, но и о большем (не просто об исторической эпохе) написал в «Алмазном венце» Катаев, уравняв жертв времени — расстрелянного Мандельштама и себя-стари-ка, и такой экзистенциальный поворот многим, конечно, показался циничным: «Хотя в принципе я и не признаю существования времени, но как рабочая гипотеза время может пригодиться, ибо что же как не время скосило, уничтожило и щелкунчика»…

Именно тут хочется вспомнить наполненный пафосом

безысходности катаевский рассказ 1922 года «Огонь» о коммунисте, деятельном атеисте Ерохине, у которого страшно сгорела жена: «Где же ангелы? Где же бог?.. Все — темная, поповская ложь. Холод. Лед. Молчание. Огонь. Смерть…»

Жизнь важнее любых идей — не в этом ли правда Катаева и в «Отце», и в «Парусе», и в поздних мовистских повестях? «Жажда жизни, стремление найти в ней свое место» — так он в одном из интервью обозначил «внутреннюю тему» своего героя.

В 1930 году в «Четвертой прозе» Мандельштам написал: «Один мерзавец мне сказал, что правда по-гречески значит мрия». Мерзавец — очевидно, Катаев, но слово лирично мерцает. Повествователь вообще бранчлив и через несколько абзацев обозвал себя самого: «Что это за фрукт такой этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается?..» Эта повесть многогранна, но одна из граней, несомненно, сверкает общественным несогласием — Катаев вдохновил Мандельштама на обобщающий образ, Мрия превращается в секретаршу власти: «Настоящая правда с большой буквы по-гречески, и вместе с тем она та другая правда — та жестокая партийная девственница — правда-партия… Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и классической газетой!»

В ноябре 1933 года Мандельштам сочинил антисталинское стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны…». В книгах оно печатается по автографу, записанному поэтом в НКВД во время допроса. Стихотворение стало причиной ареста в ночь с 13 на 14 мая 1934 года. Следователем на Лубянке был болгарский журналист, а затем чекист Николай Шиваров, репрессированный в 1937-м с формулировкой «перебежчик-шпион». Мандельштама приговорили к трем годам ссылки.

«За всех пытался просить, когда взяли Мандельштама — писал Сталину, — говорила в интервью Эстер Катаева. — Кажется, наша квартира была единственная, где тогда ждали Мандельштамов… Более того: я знаю свою вину перед Мандельштамом, хотя считаю, что меня можно понять… Валя не простил — месяц со мной не разговаривал. Он обожал Мандельштама, чуть не всего его знал наизусть, называл великим поэтом — я же, честно сказать, его недолюбливала. Высокомерная посадка головы, страшная нервность, путаный, комканый разговор, обида на всех… С ним было очень трудно. Но бывать у нас он любил (и после ссылки, когда ему негде было жить в Москве, и раньше, еще до первого ареста). Часто прибегал читать Вале новые стихи. Понимаю, поэту это всегда нужно — Валя тоже меня будил, когда писал новую вещь. Он долго продолжал писать

стихи и в душе, думаю, считал себя поэтом, — и Асеев, и сам Мандельштам относились к нему именно так.

И вот однажды Мандельштам приходит к нам, Вали нет дома, — это его сердит, раздражает, он начинает метаться по квартире, хватает газету, ругает Сталина: “Сталинские штучки, сталинские штучки…” А у меня в это время сидит гостья, не сказать чтобы слишком доброжелательная. Я спокойно ему сказала, что очень прошу в моем доме не произносить ничего подобного. Я страшно боялась — не столько за себя, сколько за мужа. Катаев-то не боялся — или, по крайней мере, не показывал виду… Он держался замечательно. Думаю, рано или поздно его взяли бы обязательно, просто берегли для очередного большого процесса. Так вот, Мандельштам тогда обиделся и выбежал, а свидетельница этой сцены долго еще меня шантажировала — помните, как у вас дома шел такой-то разговор… Не помню, отвечала я. Но на всю жизнь запомнила — главным образом, гнев мужа. Он и после воронежской ссылки помогал Мандельштаму чем мог».

В ночь с 3 на 4 июня 1934 года в городе Чердынь Пермской области Мандельштам выпрыгнул из окна больницы, после чего приговор был пересмотрен. 13 июня случился хрестоматийный звонок Сталина Пастернаку, который, как считается, замялся и стал говорить о том, что они с Мандельштамом совсем разные, на что получил от «кремлевского горца»: «Мы так товарищей наших не защищали». Мандельштаму предложили поменять место ссылки. Осип и Надежда выбрали Воронеж.

В 1935-м Мандельштам написал «Стансы», названные исследователем его творчества, литературоведом Михаилом Гаспаровым программными: «Я должен жить, дыша и большевея». В январе 1937-го была написана «Ода» Сталину (Бродский считал это стихотворение «грандиозным»):

> И я хочу благодарить холмы,
> Что эту кость и эту кисть развили:
> Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
> Хочу назвать его — не Сталин, — Джугашвили!

В феврале возникли стихи о военном параде («Обороняет сон…») с упоминанием «простого мудреца», в начале марта — «Если б меня наши враги взяли…» с финалом: «Будет будить разум и жизнь Сталин». Гаспаров, указывая на позднейшие попытки умолчаний и извинительных интерпретаций, выносил несколько важных, хоть и не бесспорных суждений: «Мандельштам, пишущий гражданские стихи с готовностью по

совести стать рядовым на призыв и учет советской страны, — это образ, который плохо укладывается в сложившийся миф о Мандельштаме — борце против Сталина и его режима… Он шел на смерть, но смерть не состоялась, вместо казни ему была назначена ссылка. Это означало глубокий душевный переворот — как у Достоевского после эшафота. Несостоявшаяся смерть ставила его перед новым этическим выбором, а благодарность за жизнь определяла направление этого выбора. Мандельштам называл себя наследником разночинцев и никогда не противопоставлял себя народу. А народ принимал режим и принимал Сталина… Все его ключевые стихи последних лет — это стихи о приятии советской действительности».

Кстати, Катаев тоже не раз называл себя разночинцем. Например, в альбоме Кручёных под фотографией Алексея Толстого поставил подпись: «С почтением, разночинец В. Катаев».

Он был одним из первых, с кем Мандельштам встретился, вернувшись в Москву в мае 1937-го.

4—5 июля 1937 года датировано стихотворение «Стансы»:

Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, врастать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.
Дорога к Сталину — не сказка,
Но только жизнь без укоризн…

Гаспаров, говоря о стихах, «которые потом Н. Я. Мандельштам раздраженно вычеркивала из его тетрадей», отмечал: «Считать их все неискренними или написанными в порядке самопринуждения невозможно. Трагизм судьбы Мандельштама от этого становится не слабее, а сильнее».

Мне кажется неверным видеть твердую определенность в политических рефлексиях художника, измученного и, в конце концов, замученного государством (например, в 1917-м у него же были строки: «— Кере́нского распять! — потребовал солдат, и злая чернь рукоплескала»). И все же в контексте гаспаровского анализа своеобразно выглядят инвективы Надежды Яковлевны: «Они постановили на семейных и дружественных собраниях, что к 37-му надо приспосабливаться. “Валя — настоящий сталинский человек”, — говорила новая жена Катаева, Эстер, которая в родительском доме успела испробовать, как живется отверженным».

Надежда Яковлевна предельно резка в мемуарах. Тем не менее о Катаеве она написала значительно теплее, чем о других

— ведь он не отступился от опального. «Что было бы с Катаевым, если б ему не пришлось писать “Вальтер-Скотта”? Это был очень талантливый человек, остроумный и острый, из тех, кто составляет самое просвещенное крыло текущей многотиражной литературы».

А так ли уж вынужденно писал Катаев «Вальтер-Скотта»? Тяготился или получал наслаждение? И не было ли Промысла в его судьбе — стать многоплановым писателем и попробовать себя в столь разных жанрах?

А вот задетый воспоминаниями Каверин даже адресовал Надежде Яковлевне открытое письмо «Тень, знай свое место!», о чем литературовед Станислав Рассадин размышлял так: «Вряд ли он сам с удовольствием (есть свидетельства, что совсем напротив) прочитал, как в годы бедствий — других у них, впрочем, не было — чета Мандельштам обратилась к нему с просьбой о денежной помощи. Но Вениамин Александрович, единственный из *своих* (к прочим не обращались), отказал, сославшись на то, что строит дачу и поиздержался. Правда, еще Сельвинский отделался трешкой, другие, как тот же хулимый нынче Катаев, оказались гораздо щедрее».

«В один из первых дней после нашего приезда из Воронежа нас возил по Москве в своей новенькой, привезенной из Америки машине Валентин Катаев, — свидетельствовала Надежда Яковлевна. — Он влюбленными глазами смотрел на О. М. и говорил: “Я знающего вам не хватает, — принудительного местожительства”».

Судя по всему, влюбленность была неподдельной — творчество Мандельштама осталось для Катаева источником настоящего искусства, строки вплелись в кровь и дыхание, навсегда пленил сновиденческий полет слова-Психеи, преодолевающий гравитацию словарей… Спустя десятилетия свободное сцепление ассоциаций превратилось в выношенный катаевский прием.

Да и устроить жизнь недавнего ссыльного Катаев пытался изо всех сил… Полубезумный хрупкий образ и облик поэта, наборматывающего заклинания, только распалял желание помочь. Сохранялось почтительное чувство к мастеру, прийти на подмогу которому означало возвыситься в своих же глазах…

Далее — пространная цитата, которую нельзя не привести, знаменитая ядовито-фельетонная зарисовка роскошества писателей, верных велению времени — «все должно выглядеть, как прежде», то есть как бы дореволюционно, по-имперски, даже антично:

«Вечером мы сидели в новом писательском доме с парадным

из мрамора-лабрадора, поразившим воображение писателей, еще помнивших бедствия революции и гражданской войны. В новой квартире у Катаева все было новое — новая жена, новый ребенок, новые деньги и новая мебель. “Я люблю модерн”, — зажмурившись, говорил Катаев, а этажом ниже Федин любил красное дерево целыми гарнитурами. Писатели обезумели от денег, потому что они были не только новые, но и внове. Вселившись в дом, Катаев поднялся на три этажа посмотреть, как устроился в новой квартире Шкловский… Походив по квартире Шкловского, Катаев удивленно спросил: “А где же вы держите свои костюмы?” А у Шкловского еще была старая жена, старые маленькие дети и одна, в лучшем случае две пары брюк. Но он уже заказывал себе первый в жизни костюм… ведь уже не полагалось ходить в ободранном виде и надо было иметь вполне господский вид, чтобы зайти в редакцию или в кинокомитет. Куртка и толстовка комсомольцев двадцатых годов окончательно вышли из моды — “все должно выглядеть, как прежде”…

Катаев угощал нас новым для Москвы испанским вином и новыми апельсинами — они появились в продаже впервые после революции. Все, “как прежде”, даже апельсины!.. Катаев привез из Америки первый писательский холодильник, и в вине плавали льдинки, замороженные по последнему слову техники и комфорта. Пришел Никулин с молодой женой, только что родившей ему близнецов, и Катаев ахал, что у таких похабников тоже бывают дети».

За несколько лет многое поменялось. «Когда мы покидали Москву, писатели еще не были привилегированным сословием, — обнаружила Надежда Яковлевна, — а сейчас они пускали корни и обдумывали, как бы им сохранить свои привилегии».

Но ведь Катаев так хотел помочь Мандельштаму пустить корни…

Возможно, Мандельштам и его жена были одними из немногих, кто знал одесскую тайну расстрельного подвала, на что снова намекала Надежда Яковлевна, говоря о Катаеве как о человеке, «умудренном ранним опытом»: «Умудренный ранним опытом, уже давно повторял: “Не хочу неприятностей… Лишь бы не рассердить начальство”»…

«“Кто сейчас помнит Мандельштама? — сокрушенно сказал нам Катаев. — Разве только я или Женя Петров назовем его в разговоре с молодыми — вот и всё”… О. М. на такие вещи не обижался, да к тому же это была истинная правда, за исключением того, что братья Катаевы решались упоминать его имя в разговорах с посторонними».

Зная бескорыстную преданность Катаева поэзии, сразу

веришь в искренность его сокрушенности. Но не менее важна была решимость. Не только решимость говорить о Мандельштаме. «Часть лета мы прожили на деньги, полученные от Катаева, Жени Петрова и Михоэлса».

По воспоминанию Семена Липкина, Катаев шутил по поводу «поборов» поэта и его жены:

> С своей волчицею голодной
> Выходит на добычу волк.

«Провожая нас в переднюю, Катаев сказал: “О. Э., может, вам дадут наконец остепениться… Пора”»…

Именно этой попыткой остепенить, а по сути, спасти стала встреча, устроенная Валентином Петровичем у себя в квартире, — Мандельштам читал стихи Фадееву, «который у власти еще не был, но пользовался большим влиянием», — как отмечала Надежда Яковлевна. «Фадеева проняло — он отличался чувствительностью… С трезвыми как будто слезами он обнимал О. М. и говорил все, что полагается чувствительному человеку. Меня при этой встрече не было — я отсиживалась несколькими этажами выше, у Шкловских. О. М. и Виктор [Шкловский] пришли довольные. Они улизнули пораньше, чтобы дать возможность Катаеву с глазу на глаз обработать Фадеева. Фадеев не забыл стихов — вскоре ему пришлось ехать в Тифлис с Оренбургом — на юбилей Руставели, что ли? — и он уверял, будто попытается напечатать подборку стихов О. М. Этого не случилось».

Зимой, встретив Мандельштама в Союзе писателей, Фадеев назначил ему встречу. Через несколько дней в машине он рассказал ему и Надежде Яковлевне о разговоре с секретарем ЦК Андреем Андреевым — «тот решительно заявил, что ни о какой работе для О. М. не может быть и речи. “Наотрез”, — сказал Фадеев. Он был смущен и огорчен».

Тем временем Мандельштам получил в Литфонде путевки в профсоюзную здравницу «Саматиха» под Москвой. Незадолго до этого он встретился с генеральным секретарем Союза писателей Владимиром Ставским.

Отправив Мандельштама на отдых, 16 марта 1938 года Ставский написал «совершенно секретно» в Наркомвнудел Ежову: «В части писательской среды весьма нервно обсуждается вопрос об Осипе Мандельштаме… Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами “зоны”). Но на деле — он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом — литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него “страдальца” — гениального поэта, никем не признанного. В

защиту его открыто выступали Валентин Катаев, И. Прут[104] и другие литераторы, выступали остро. С целью разрядить обстановку О. Мандельштаму была оказана материальная поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме. Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к вам, Николай Иванович, с просьбой помочь».

То есть по сути — удар «помощи» мог прийтись «не только и не столько» по Мандельштаму, сколько по Катаеву и другим…

29 апреля начальник 9-го отделения 4-го отдела ГУГБ Виктор Юревич подготовил справку, из которой вполне ясно следовало, что «заступник» Катаев — это «антисоветский элемент», нацеленный на «враждебную агитацию»: «По отбытии срока ссылки Мандельштам явился в Москву и пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путем нарочитого демонстрирования своего “бедственного положения” и своей болезни. Антисоветские элементы из литераторов, используя Мандельштама в целях враждебной агитации, делают из него “страдальца”, организуют для него сборы среди писателей. Сам Мандельштам лично обходит квартиры литераторов и взывает о помощи… Считаю необходимым подвергнуть Мандельштама аресту и изоляции».

В тот же день замнаркома НКВД Михаил Фриновский оставил резолюцию «Арестовать»[105]. Ранним утром 2 мая поэт был арестован опергруппой НКВД в доме отдыха «Саматиха».

17 мая на единственном запротоколированном допросе Мандельштам показал: «читал свои стихи Фадееву на квартире у Катаева Валентина», «материальную поддержку мне оказывали братья Катаевы, Шкловский и Кирсанов»…

2 августа Особое совещание при НКВД СССР постановило заключить Мандельштама в исправительно-трудовой лагерь на пять лет.

27 декабря Мандельштам умер в пересыльном лагере Дальстроя во Владивостоке.

5 февраля 1939 года «Литературная газета» вышла с фотографией Катаева на первой полосе — он выступал на «общемосковском митинге писателей». Здесь же — Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении советских писателей». Орденом Ленина были награждены Катаев, Петров, Фадеев, Шолохов, всего 21 человек, 49 — орденом Трудового Красного Знамени, 102 — орденом «Знак Почета». В газете сообщалось, что Фадеев единогласно избран секретарем

Президиума Союза писателей, «связь с журналами возложена на В. Катаева и Н. Асеева».

Именно в тот день брат Надежды Яковлевны литератор Евгений Хазин поехал в Лаврушинский сообщить Шкловскому о смерти Мандельштама. «Виктора вызвали снизу, из квартиры, кажется, Катаева, где попутчики вместе с Фадеевым вспрыскивали правительственную милость, — писала Надежда Яковлевна. — Это тогда Фадеев пролил пьяную слезу: какого мы уничтожили поэта!.. Праздник новых орденоносцев получил привкус нелегальных, затаившихся поминок».

И снова она же: «В Ташкенте во время эвакуации я встретила счастливого Катаева. Подъезжая к Аральску, он увидел верблюда и сразу вспомнил Мандельштама: “Как он держал голову — совсем, как О. Э.”… От этого зрелища Катаев помолодел и начал писать стихи».

«Я, СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА»

В 1937 году появилась повесть «Я, сын трудового народа…».

Вообще-то, Катаев задумал писать продолжение «Паруса», но передумал — в воздухе пахло грозой. Всюду искали врагов, по стране гремели расстрелы. Погрохатывая в отдалении, надвигалась большая война.

«Мои прежние планы временно были отодвинуты в сторону, уступив место вещам, более созвучным духу времени». Книга Катаева — о судьбе украинского селянина Семена Когко после Первой мировой и Октябрьской революции, о земле и смуте, гайдамаках и захватчиках. Сердцевина этой написанной отменным языком повести (кстати, тоже напечатанной на «Ремингтоне») — «вечерница» и сватовство, многосерийное, со сложным церемониалом и песнями, показанное в самых сочных подробностях…

Главные же недруги — германские войска, в 1918 году занявшие Украину, но некоторые фразы могут показаться провидческими: «Много незваных гостей побывало за это время на Советской земле. Иные из них уже добирались до самой Москвы. Но никто не минул участи шведов и участи немцев». По воспоминаниям Эрлиха, Катаев воспользовался материалами, хранившимися в сейфе у ответсека «Правды» Льва Ровинского: приказы генерала Гофмана, командующего германской армией на Украине, донесения партизанских отрядов, выписки из немецкой прессы… Эпиграфом повести стали слова об «отечественной войне», поднятой «против иноземного ига, идущего с Запада», из статьи Иосифа Сталина «Украинский узел» в «Известиях» от 14 марта 1918 года.

Незамысловатая и увлекательная фабула напоминает те подростковые комиксовые приключения, которые так любил юный одессит Валя. А некоторые повороты отсылают к «Капитанской дочке» и «Дубровскому», что было очень своевременно в «пушкинский год» — самодур-богач посадил дочку в погреб под замок, требуя, чтобы она вышла за «молодого помещика», прислужника чужеземцев, но партизан-освободитель Семен ворвался в родное село в храм на венчание. Дальше уже комикс — чернобровая красавица бросилась к нему, в злодеев полетели гранаты…

Есть в повести и очередная игра с самодоносом. В Одессе в 1918-м у Катаева в квартире висела офицерская шашка «За храбрость» «с аннинским красным темляком». Эта шашка всплывает у как бы отрицательного персонажа Клембовского, и

эпизод с ее участием, очень может быть, взят из жизни. Элегантный офицер русской армии замаскировался под простолюдина, дабы с ним не расправились «красные». Но с приходом немцев он открывает истинное лицо и, заговорив с комендантом по-французски, наклоняет голову «с выдающимся затылком». И с двумя макушками, хочется добавить.

«Обер-лейтенант почтительно взял шашку, подержал ее некоторое время под моноклем и затем широким движением вернул обратно.

— О нет! Я прочитал здесь надпись: “За храбрость”. Такое оружие не берут голыми руками. Оставьте его у себя. Немецкая армия умеет ценить благородного противника».

Боги имеют слабости.
Но не у всех сабли «За храбрость». И… —

так писал о Катаеве уже в 1972-м Андрей Вознесенский.

Характерны и финальные слова Катаева о Клембовском, которого «пропал и след»: «Наша история знает случай, когда царский офицер трижды продавал свое золотое оружие: один раз немцам, другой раз трудовому народу и в третий — и последний — опять немцам. Только вряд ли теперь Клембовский обманет кого-нибудь, какую бы батрацкую свитку на себя ни надел».

Подразумевался недавно расстрелянный маршал Тухачевский: во время Первой мировой он попал в немецкий плен, после революции вступил в Красную армию и командовал фронтами, а в 1937-м вместе с другими военачальниками был расстрелян за «подготовку переворота» и «шпионаж в пользу Германии».

«Я много думал о том, что необходимо написать произведение, которое подняло бы и разожгло в сердцах и умах советских людей патриотические чувства», — отчитывался автор и в финале повести, кажется, решил в полную силу передать «обаяние государства». Семен Котко, через 20 лет после революции, превратившись из бойца в директора запорожского алюминиевого комбината (его сестра заправляет «знаменитой на весь Советский Союз свинарней»), приехал с женой на Красную площадь (в свое время по приказу Семена расстреляли ее отца) полюбоваться на сына-красноармейца на параде.

«— Я, сын трудового народа… — гремят зеркальные плиты мавзолея, где на левом крыле в грубом пальто из солдатского сукна, во всей суровой и доброй своей простоте стоит, принимая присягу, Сталин.

— Я, сын трудового народа… — говорят седые стены Кремля.

— Я, сын трудового народа… — звенит бронза Минина и Пожарского.

— Я, сын трудового народа… — поет потрясенный воздух».

На повесть скептически отозвался критик Виктор Перцов, в «литгазетной» статье «Эпос и характер» коривший Катаева за отсутствие достоверных героев и «подмену портрета барельефом». Зато в «Литературной газете» же критик Марк Серебрянский отмечал: повесть «написана так, что читатель, захваченный ею, прочтет ее залпом, не отрываясь». А Владимир Ермилов в статье «Повесть о народном счастье» в «Красной нови» называл финал со Сталиным (в грубой «шинелке», как у миллионов) превосходным, «раскрывающим весь подтекст повести» и указывающим на необычайные возможности для «простых людей» в стране, где садись да пиши «о комсомольце Юсиме, ставшем директором гиганта — “Шарикоподшипника”, об Алексее Стаханове, выдержавшем экзамен в Промакадемию, о стахановце Сметанине, ставшем заместителем директора одной из крупнейших фабрик в Европе».

В 1938 году Театр им. Евг. Вахтангова поставил пьесу «Шел солдат с фронта», написанную Катаевым, после чего подвергся газетным нападкам.

В 1939-м режиссер Владимир Легошин снял детский фильм с тем же названием. Автором сценария стал Катаев. Руководил производством художественных фильмов в Комитете по делам кинематографии при Совнаркоме Александр Манькович-Линов, чекист из Одессы, художник, друг Якова Вельского, вероятный прототип одного из ключевых персонажей в «Вертере».

Композитор Сергей Прокофьев (вернувшийся в СССР в 1936 году), которому «хотелось живых людей с их страстями, любовью, ненавистью, радостью и печалью», создал на основе повести оперу «Семен Котко». Обратиться к повести ему советовали и Всеволод Мейерхольд, и Алексей Толстой. «Катаев проявил большое понимание оперного стиля, — сообщал Прокофьев в «Литературной газете», — и взялся сам написать либретто для нашей оперы». Премьера состоялась в сентябре 1940 года в Театре им. К. С. Станиславского. Ставить ее должен был Мейерхольд, но к тому времени он уже был расстрелян.

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Небо мое звездное,
От тебя уйду ль? —
Черное. Морозное,
С дырками от пуль.

Валентин Катаев, не раз обманывавший как будто неминуемую смерть, написал это четверостишие, вступая в 1937 год.

Вокруг пули только и летали — косили друзей, знакомых, недругов, благодетелей…

В 1936-м был арестован поэт Владимир Нарбут, в 1937-м его этапировали в лагерь, где в 1938-м расстреляли за «контрреволюционный саботаж». В 1937-м за Нарбута попыталась вступиться вдова Багрицкого Лидия Суок — была арестована и вернулась из карагандинской ссылки только в 1956-м. В 1937-м был арестован начальник Главлита Сергей Ингулов, в 1938-м его расстреляли.

Тесть Евгения Петрова Леонтий Исидорович Грюнзайд погиб в 1938-м на Колыме.

Троюродные братья Катаева архиепископ Пахомий (Черниговский) и архиепископ Аверкий (Волынский) погибли с разницей в 16 дней в ноябре 1937-го — первому сделали смертельную инъекцию в тюремной клинике НКВД в Котельниче, второго расстреляли в Уфе. Оба причислены к лику святых Русской православной церковью за границей.

В августе 1937-го была арестована Надежда Николаевна, двоюродная сестра писателя, медсестра на Ленинградском заводе им. МОПРа. По семейному преданию, уехавший в Финляндию сын Анатолий прислал ей письмо, и это привело к роковой развязке. В октябре Надежду расстреляли.

Катаев общался с ней, уже поселившись в Москве: «На белые ночи мы вероятно поедем к моей двоюродной сестре в Питер», — сообщал он в одном из писем 1920-х годов.

У родни сохранилась горькая память, что он не смог ее спасти.

Но как? Что от него зависело?

В 1937-м в том же Ленинграде арестовали поэта и переводчика Валентина Стенича. Анна Ахматова со слов вдовы Стенича Любови Давыдовны рассказывала, что за арестованного хлопотали Зощенко и Катаев. Стенич был расстрелян в 1938-м. Не

зная о его гибели, Зощенко в 1940-м отправил письмо в НКВД с просьбой пересмотреть дело. Приписку сделал и Катаев: «Присоединяюсь к отзыву Михаила Михайловича Зощенко о писателе-переводчике Валентине Осиповиче Стениче (Сметаниче), которого я знаю тоже с 1927 года. Считаю нужным просить о пересмотре дела».

(А в 1939-м Катаев в числе тринадцати писателей ходатайствовал перед НКВД о пересмотре дела поэта Николая Заболоцкого.)

До сих пор исследователи не приходят к ясному пониманию, что означал этот новый этап в истории — массы людей, как правило, преданных партии и вождю, в безумном экстазе с визгом и стоном топили друг друга в крови… Да, сигнал убивать шел сверху, а все же как быть с убойным энтузиазмом на местах?

«Как марксист я понимаю, что происшедшему были причины, — писал Валерий Кирпотин. — И что за все, что делалось, ответственность падает не только на Сталина. Его во всем поддерживали все коммунисты (и миллионы беспартийных), в том числе и я…»

Неужели термидор неизбежен, и те, кто сначала убивал «врагов», не могли не приняться за истребление недавних товарищей?

Или это было соперничество между людьми, неизбывное и ожесточенное при любом строе и в любом коллективе, заложенное в самой человеческой природе, которое на этот раз было подогрето государственной лицензией на насилие и обрело форму «доносов» и «чисток»?

Или перед страшной войной нужно было приучить к тому, что смерть внезапна и повсеместна?

Для заметного писателя вероятность получить пулю в те годы была, как для солдата на передовой.

Катаев уцелел. А стоило копнуть прошлое — и запросто в расход.

Но и неверно думать, будто сфабрикованные дела стали сюрпризом 1930-х годов. Ведь, напомню, по сообщению коллегии ОГЧК 1920 года, «заговор», в котором подозревали Катаева, затеяла «огромная контрреволюционная организация, в которой сплелись белополяки, белогвардейцы и петлюровцы» — хотя союз между ними являлся фантасмагорией.

А двоюродного брата Валентина Петровича Василия (родного брата Надежды) уничтожили еще в 1920-м.

Одним из первых фальшивых и показательно-резонансных процессов в СССР стало «дымовское дело» 1924 года. (Тогда чуть было не пострадал катаевский избавитель Яков Вельский, не

вовремя вступившийся за председателя «комитета бедноты» села.) В селе Дымовка на Николаевщине убили уголовника Григория Малиновского. В прессе его объявили селькором-коммунистом, а убийство — политическим. Партийное и советское руководство Дымовки пошло под суд. Началась всесоюзная кампания негодования — статьи, стихи, пьесы… Сюжет гибели селькора сделался хрестоматийным. Общественным обвинителем на суде выступил близкий к Троцкому московский журналист Лев Сосновский. Троцкий же опубликовал в «Правде» статью «Каленым железом», объявив причиной убийства сращивание просталинского госаппарата («чиновника») с «кулаком». Статья была зачитана Сосновским на суде и благоговейно приобщена к делу, приговор огласили через три дня: часть подсудимых расстреляли, часть посадили. И только в 1969 году их реабилитировали, Малиновку переименовали обратно в Дымовку, музей лжегероя закрыли, памятник ему снесли…

Но мы в 1930-х…

В те же годы к одной из первых писательских дач в Переделкине подъехал черный «воронок». Вышли чекисты:

— А где Валентин Катаев?

В саду за самоваром сидели писатель Всеволод Иванов, его жена Тамара, драматург Александр Афиногенов с женой-американкой Дженни Мерлинг. Все переглянулись.

— Он здесь не живет, — сообщила Дженни (впоследствии рассказавшая эту историю Катаеву).

— Ищем его…

Чекисты укатили.

— А что… — после общей паузы будто бы сказала Тамара Владимировна. — Давно уже пора с ним разобраться!

Павел Катаев, поведавший мне эту байку, говорит, что разыскивали отца не для ареста, а чтобы привезти в «литературный салон», на вечеринку.

(В отличие от Бабеля он по возможности избегал посиделок с теми, кого автор «Конармии», нежно обобщая, именовал «милиционерами».)

29 августа 1936 года Кирпотин отчитывался в письме Ежову, Андрееву и Кагановичу о заседании Президиума Союза писателей, потребовавшего казни участников «троцкистско-зиновьевского центра»: «В. Инбер признала свое выступление на митинге плохим, сказала, что она является родственницей Троцкого и потому должна была особенно решительно выступить с требованием расстрела контрреволюционных убийц… Олеша принадлежал к числу тех писателей, которых спаивал троцкист-террорист Шмидт[106], подготовляющий покушение на тов.

Ворошилова (со Шмидтом пили Бабель, Малышкин, Валентин Катаев, Никулин, Олеша)».

Пили и трепались… Чем не повод зачистить «южан»? Тем более «острого» сообщника Мандельштама, о котором Ежову уже докладывал Ставский…

В 1938-м Андреев писал Сталину о совместной работе, проведенной с Лаврентием Берией: «…в распоряжении НКВД имеются компрометирующие в той или иной степени материалы» на ряд писателей, включая Катаева.

Нельзя сказать, что Катаев отличался какой-то активностью. Перелопатив прессу 1930-х, могу сказать, что в отличие от многих он практически не высказывался о происходящем.

Нет, он смотрелся бледно на багровом фоне возбужденной общественности. Куда подевалось юношески-шальное: «за сто тысяч убью кого угодно»? Он, бравировавший цинизмом, оказался гораздо тише и скромнее многих, упиравших на совестливость и искренность и с готовностью звавших убивать.

Вчитываясь в документы эпохи, чувствуешь себя в средневековой сказке: на добрых тружеников напали злые вампиры, «нужна бдительность», теперь вокруг ходят укушенные, но «они маскируются», вечная слава серебряной пуле и осиновому колу…

15 июня 1937 года в связи с приговором по делу Тухачевского «Литературная газета» вышла под лозунгом «Нет пощады шпионам!». «Упорно и мрачно фашизм готовится к большой европейской войне. Главным объектом нападения он наметил Союз Советских Социалистических Республик, — говорилось в заявлении писателей, подписанном Толстым, Шолоховым, и (да!) — Катаевым. — НКВД и тов. Н. И. Ежов раскрыли центр шпионов и мерзавцев». «Смерть — единственно возможный приговор предателям», — утверждали на той же полосе писатели Ленинграда и в их числе Зощенко.

А вот стихи эпохи.

Владимир Луговской:

> Душно стало. Дрогнули коленки,
> Ничего не видно впереди?
> К стенке подлецов! К последней стенке,
> Пусть слова замрут у них в груди…

Михаил Исаковский:

> За нашу кровь, за мерзость черных дел
> Свое взяла и эта вражья свора:

Народ сказал: «Предателям — расстрел!»
И нет для них иного приговора.

Перец Маркиш:

Пусть, ядом напоив разбухнувшие почки,
Деревья и кусты ворвутся, как гроза,
В Верховный трибунал и всем поодиночке
Ветвями острыми вонзаются в глаза!

И даже Николай Заболоцкий в стихотворении «Предатели» славил «великую науку»:

Науку веровать в людей и, если это надо, —
Уменье заклеймить и уничтожить гада.

Как считается, подпись под «Нет пощады шпионам!» за Пастернака поставили, однако от подписи под самым первым писательским воззванием 21 августа 1936 года «Стереть с лица земли!» он уклониться не смог, а в январе 1937-го написал карандашом записку в Союз писателей по поводу резолюции «Если враг не сдается, его уничтожают!»: «Прошу присоединить мою подпись к подписям товарищей… Я отсутствовал по болезни, к словам же резолюции нечего добавить. Родина — старинное, детское, вечное слово, и родина в новом значении, родина новой мысли, новое слово, поднимаются в душе и в ней сливаются, как сольются они в истории, и все становится ясно, и ни о чем не хочется распространяться, но тем горячее и трудолюбивее работать над выражением правды, открытой и ненапыщенной, и как раз в этом качестве недоступной подделке маскирующейся братоубийственной лжи».

26 января 1937 года в «Литературной газете» — реплики писателей. Исаак Бабель: «Ложь, предательство, смердяковщина». Виктор Шкловский: «Честность неделима, как мир… Преступления троцкистов не имеют себе подобных в истории. Эти люди — кристаллы подлости…» «Холодные, жестокие глаза с ненавистью смотрят из-за судебного барьера», — ответно всматривался Леонид Леонов. «Убрать фашистский кал!» — это Демьян Бедный. Юрий Тынянов: «Приговор суда — приговор страны». Здесь же Андрей Платонов с «Преодолением злодейства»: «Разве они могут называться людьми даже в элементарном смысле? Нет, это уже нечто неорганическое, хотя и

смертельно-ядовитое, как трупный яд из чудовища. Как они выносят самих себя?»

Интересно, что каждый автор шиковал фирменным стилем. Тот же Платонов языком наива оберегал «жизнь рабочего человека»: «Кто ее умерщвляет, тому больше не придется дышать». Алексей Толстой — добротный реалист: «Лампы под зелеными абажурами, на сукне — томы допросов, налево за отдельным столом — прокурор, с седой головой, в черном, — при каждом вопросе подсудимому он поднимается и похож скорее на профессора, экзаменующего студентов по весьма сложным и критически важным вопросам». Олеша (в эссе «Фашисты перед судом народа») — разумеется, поэтичен и метафоричен: «Это не люди, а револьверы. Человек-револьвер, человек-маузер» — и далее о Сталине: «Сияет над эпохой этот обмен улыбками между вождем и поколением».

Повторимся, на насыщенном фоне «негодующей общественности» Катаев был едва заметен. Однако 4 сентября 1936 года выступил на собрании журнала «Красная новь» «в связи с процессом троцкистско-зиновьевского блока» — в печати этих слов не было, но в стенограмме остались.

Пришлось оправдываться за дружбу с комдивом Шмидтом, который мог потянуть за собой на дно. «У меня точно сформулированных мыслей сейчас нет… с большим трудом формулирую», — Катаев, безошибочно почуяв воскресший дух инквизиции, решил рассказать о колдуне. Монолог звучал бредово и жутко, словно бы по мотивам Гоголя: «То, что произошло со мной, находится на грани фантастики. Я имею в виду Митю Шмидта. Я до сих пор хожу как угорелый. Подумайте, герой гражданской войны, грудь заляпана орденами, всегда был как будто бы за генеральную линию партии, за товарища Сталина. Но были у него какие-то странности, и может быть, если бы я был тонкий психолог, более тонкий писатель, я бы видел что-нибудь серьезное в его поведении. Возьмем такой пример. Шесть месяцев тому назад он приезжает ко мне. В это время моя жена была беременна, а у него только что жена девочку родила… За обедом самые семейные разговоры шли. Он спрашивает: “Как ты назовешь ребенка? У тебя обязательно будет сын”. Я ему говорю: “Женя, Евгений, по имени матери”. А он говорит: “Нет, назови обязательно Степаном”.

— Почему Степаном? — спрашиваю я.

— Да так вот, мол, Степан Халтурин.

И дарит он мне книгу с надписью: “Назови сына Степаном”.

Потом он куда-то уходит, затем приходит, вид у него недовольный, и он говорит, что Ворошилов, мол, не принимает.

Засиживается у меня, просит разрешения переночевать и остается.

Утром смотрю: у него два разных носка на ногах — один черный, а другой белый.

Я спрашиваю: “Митька, почему ты такие носки носишь?” Он отвечает: “Да я так привык с детства. Одна часть белая, а другая черная”… Все это, товарищи, страшно, но это факт».

Увы, не обошелся Катаев и без публичных показаний на писательницу Галину Серебрякову, жену участника «новой оппозиции» Григория Сокольникова. «Я познакомился с ней в Ялте, — рассказывал Катаев. — Это было тогда, когда Троцкий уже не был Троцким, если можно так выразиться, но он еще не был выслан. Мы с Галиной Серебряковой остановились в одной гостинице, нас познакомили, и мы несколько дней встречались за обедом. О чем говорила Галина Серебрякова? О том, что Троцкий это блестящий человек, блестящий стилист, который учил ее править стиль в ее сочинениях. Если бы, что невозможно и фантастически, если бы Троцкий был у власти, так она была бы первой дамой из общества». Такие же претензии можно было предъявить и самому Катаеву — напомню, в 1928-м он включил в книгу «Отец» свои воспоминания об уже исключенном из партии и высланном в Алма-Ату Троцком и его «бессонной удивительной энергии».

Между тем в этой речи Катаев, несомненно, подличая, хотя и по факту обвиняя Серебрякову в самом невинном — признании за Троцким стилистического блеска, невзначай давал понять, что никогда доносчиком не был, ведь ему некуда было идти и сообщить о ее крамольных речах. «Я вот сейчас проверяю себя и думаю: ну куда же мне нужно было пойти, ведь нужно было куда-то пойти и рассказать, что Серебрякова говорит, что Троцкий это стилист. Ведь нужно было разобраться…» — будто бы наивно бормотал он и следом сразу отстранил тяжелое обвинение, добавив, что собеседницу можно было распознать по «моральной» линии, а не по «политической».

При всей гнусности подобного выступления кажется важным, что никаких призывов к расстрелам и вообще карам Катаев не изрекал — только путался в липких словах, отрекаясь от «опасных связей»…

А жизнь без остановки лечила иглоукалыванием страха. Во все том же насквозь расстрельном номере «Литературной газеты» под лозунгом «Выше большевистскую бдительность!» и рядом со стихами Евгения Долматовского «Может быть, еще не все добиты…» было опубликовано письмо в редакцию некоего студента Штейна, который обвинял Катаева в срыве вечера

памяти Маяковского и «неуважении к советской аудитории». Кроме Катаева Штейн обвинял не явившихся на вечер Олешу, Брика, Голодного и требовал от Союза писателей разобраться с ними: «Это следует сделать!»

4 апреля 1937 года был арестован некогда могущественный «первоапостол» РАППа Леопольд Авербах (Генриха Ягоду, женатого на его сестре Иде, в свою очередь арестовали 28 марта, а Иду — 9 июня). Авербаха расстреляли 14 августа, днем ранее — его литературного оппонента Александра Воронского.

23 апреля 1937 года к пятилетию со дня ликвидации РАППа газета «Правда» вышла с подборкой писательских суждений. Общая их тональность была неприязненнокритичной к «литпроцессу». В заметке «Скрытая групповщина» Катаев вздыхал о силе «рапповских» пережитков и пытался перевести разговор от политики и идеологии в область художественного, сокрушаясь о неназванных писателях, которые «пишут плохо, скучно, серо, штампованно и абсолютно не читаются не то что широкой публикой, но даже близкими знакомыми и родственниками».

Через два дня на Охотном Ряду он встретил Булгакова, возвращавшегося с женой из Большого театра. «Конечно, разговор о Киршоне, — записала Елена Сергеевна. — Сказал, что будто арестован Крючков — секретарь Горького».

На самом деле Крючков еще не был арестован, да и Киршон тоже, но газеты давали понять: дни их сочтены… А кто следующий? За скупыми дневниковыми сводками чувствуется тревога собеседников (хотя по поводу Киршона Елена Сергеевна вспомнила богиню возмездия: «Все же приятно, что есть Немезида»).

В апреле 1937-го прошло четырехдневное собрание московских драматургов, заклеймившее Владимира Киршона и Александра Афиногенова. Последнего задело то, что выступавший Катаев упрекнул его в проталкивании пьес административным путем на сцены театров.

При всей развязности катаевской речи любопытно, что он сразу перевел тему с политики на искусство и принялся обвинять «влиятельные круги» в навязывании бездарной драматургии: «Встречался с одним крупным военным. Он меня как-то спрашивает: “Что у вас в театрах?” Я его спешу обрадовать: “Вот будет ‘Большой день’ Киршона”. Он говорит, что отвратительная, фальшивая, плохая пьеса.

— Почему же вы об этом нигде не заявляете?

— Да как же — раз театры ставят, значит, они знают, что нужно ставить. Мы же люди военные, может быть, у вас так и делается…

А тут, конечно, действуют всякого рода подхалимщики, которые не жалеют красок — замечательная вещь, прекрасная вещь, великолепная вещь! Или потом еще добавляют: сверху указали!»

Афиногенов был исключен из партии и Союза писателей, но не репрессирован, продолжил жить в Переделкине и в 1938-м восстановился в партии. Исключенный из партии и Союза писателей Киршон, объявленный руководителем троцкистской группы, вскоре был арестован. В 1938-м его подсадили в камеру Ягоды в качестве «наседки» перед расстрелом обоих.

А ведь еще в 1934-м в журнале «Знамя» литературовед Борис Бегак ставил в пример киршоновскую пьесу «Чудесный сплав» и катаевскую «Время, вперед!», давших «человека новой формации», «столь необходимого советской комедии».

Верили ли писатели в виновность репрессируемых? Поначалу некоторые несомненно. Или хотели верить государству…

«Нельзя собственно назвать то, что испытываю, негодованием, в данном случае это ничего не выражающее слово, — писала в дневнике поэтесса Ольга Берггольц. — Поднимается какая-то холодная и почти не эмоциональная ярость, которая физически душит… Надо выработать в себе холодность и жестокость к людям наряду с доверием… Всех этих сволочей надо трижды расстрелять еще и за то, что внесли в партию недоверие друг к другу».

Через некоторое время уже о самой Берггольц писал в дневнике прозаик Аркадий Первенцев: «Вчера в доме небольшое происшествие. Часа в 2 ночи из дома взяли поэтессу Ольгу Берггольц… Неужели эта худенькая женщина, комсомолка и кандидат ВКЛб, оказалась сволочью? У нее были злые, настороженные глаза. Она, казалось, все время была начеку — и в разговорах, и в поведении. Когда приходил кто-либо новый, она уже тревожилась».

«Очень волнует меня дело Зиновьева, Каменева и других, — записал Корней Чуковский. — Оказывается, для этих людей литература была дымовая завеса, которой они прикрывали свои убогие политические цели».

Немецкий писатель-антифашист Лион Фейхтвангер, побывав на суде над бывшими руководителями партии Пятаковым, Радеком, Серебряковым, Сокольниковым и другими, в книге «Москва. 1937» оправдывал репрессии необходимостью мобилизоваться перед войной и утверждал: «Мои сомнения растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственных впечатлений от того, что говорили подсудимые и как они это говорили. Если все это было вымышлено или подстроено, то я не

знаю, что тогда значит правда».

Сами нацисты, чьими агентами, как правило, выставляли подсудимых, называли «процессы» спектаклями. В феврале 1937 года гитлеровская газета «Фёлькишер беобахтер» давала пояснения в свойственном ей ключе: кавказская банда истребляет еврейскую.

Многие из жертв были вчерашними палачами или просто деспотичными упырями, как те же рапповцы, но чем больше вокруг обнаруживалось «шпионов», тем абсурднее становилось происходящее…

Драматург Александр Гладков, потрясенный террором, в дневнике за 1937-й писал о неразрывном слиянии в стране талантливого, здорового, сильного и страшного, трагического, бессмысленного: «Советские люди дрейфуют на льдине у Северного полюса, огибают на крылатых кораблях половину земного шара, советских людей в зашторенных кабинетах на Лубянке избивают и мучают… А в городах в ресторанах гремят джазы, на сценах театров страдает Анна Каренина, типографии печатают в миллионах экземпляров стихи Пушкина и Маяковского и десятки миллионов людей голосуют за невысокого, коренастого человека с лицом, тронутым оспинами, и желтоватыми глазами, человека с солдатскими усами и рыбачкой-трубкой, именем которого совершались все подвиги и подлости в этом году».

Неправдой будет сказать, что в то время литераторов только и мучили страхи — человек умеет свыкаться со всем…

Катаеву, как и когда-то в камере смертников, помогала изначальная положительная заряженность.

«Мы шагали мимо Дома Союзов, где в Колонном зале проходили политические процессы, — залихватски вспоминал он в 1977-м. — Мы читали дискуссионные листы газет, разворачивая их прямо на улице, и ветер вырывал их у нас из рук, надувая, как паруса».

В 1936-м была принята сталинская Конституция, демократическая, если доверять ее формулам. Через год состоялись выборы в Верховный Совет СССР. По официальным данным, в них участвовали 96,8 процента избирателей — 98,6 проголосовали за блок коммунистов и беспартийных.

В январском 1936 года номере «Красной нови» вышла заметка Катаева о посещении прославленной украинской колхозницы. «Видно, что она прилагает страшные усилия, чтобы скрыть возбуждение. Она сердится на себя за это возбуждение. Но ничего не может поделать». Она — ударница, «по-бабьи, до бровей» закутанная в шелковый платок, с милой улыбкой, в которой

сверкает золотой зуб, у нее первенство по Союзу в выращивании сахарной свеклы.

«— Сколько вы намерены дать свеклы в следующем году? — спросил Сталин.

Мария Демченко смущенно замялась.

— Пятьсот дадите?

Она ответила не сразу…

— Дам пятьсот, — сказала она сосредоточенно».

В октябре 1937 года на первой полосе «Литературной газеты» в статье «Достойнейший кандидат» Катаев агитировал за избрание в депутаты Михаила Шолохова: «Я горячо голосую за»[107]. Рядом стояла новость о том, что Толстой и Зощенко (рассказавший собранию писателей о своих впечатлениях) стали членами окружных избирательных комиссий Ленинграда, Олеша — членом участкового избиркома в Москве.

В декабре 1937-го Катаев отправился на граничащую с Крымом станцию «Партизаны» в колхоз имени Сталина, о процветании которого рассказал читателям «Правды»: «Чудесное украинское сало — розоватое и прозрачное, нарезанное кубиками, возвышалось над миской аппетитной горкой. И зеленая рюмка вишневки, выпитая нами с хозяином, оказалась тоже “собственной”, — из собственной вишни-шпанки».

В Союзе писателей начался новый передел власти. Укреплялся Фадеев, потянувший следом своего любимчика Катаева.

26 января 1938 года в «Правде» появилось письмо «О недостатках в работе Союза писателей». Подписанты — Алексей Толстой, Александр Фадеев, Александр Корнейчук, Анна Караваева и Валентин Катаев. Авторы горевали о бюрократизации жизни союза Ставским, равнодушным к «вопросам искусства».

Весной 1938 года по итогам совещаний ЦК ВКП(б) было решено отправить Ставского в длительный отпуск и сформировать «шестерку», руководящую союзом: Александр Фадеев, Петр Павленко, Леонид Соболев, Анна Караваева, Валерия Герасимова и Валентин Катаев.

Сталинский классицизм торжествовал не только в архитектуре и живописи, но и в словесности. 10 августа 1938 года Евгений Петров писал в «Литературной газете»: «Сейчас смешно вспоминать, но ведь это факт, что в течение многих лет имя Алексея Толстого не упоминалось иначе как с добавлением: “буржуазно-феодальный писатель”… Валентин Катаев был просто какой-то мелкий буржуа с крупными недочетами… Сам великий Пушкин был всего-навсего “носителем узко-личных переживаний и выразителем узко-дворянских настроений”».

То было время, когда людоедские призывы могли сочетаться с поразительной душевностью. Например, в 1937–1938 годах Союз писателей терпеливо нянчился с неким Игнатом Простым, посчитавшим себя крупным прозаиком. Эта история (сама по себе — сюжет для сатирика) дает некоторые представления о «социалистической открытости», а может быть, о страхе стать крайним и подставиться под обвинение в «ущемлении самородка». Уверовав в свой талант, Игнат требовал признания, публикаций и денег (на жизнь и алименты) и бомбил жалобами руководство Союза писателей, а затем отписался Сталину и Ворошилову. Катаеву пришлось ознакомиться с рукописью Простого и написать на нее рецензию с изложением явных недостатков. Выразив сильные сомнения в достоинствах прозы Простого, Катаев тем не менее просил Ставского о милосердии: «Ввиду того, что тон его писем почти отчаянный, а союз, вообще говоря, оказывает такого рода помощь “начинающим”, я думаю, что сделать это надо». Простому послали пальто и сапоги. Константин Федин обращался в Бюро Президиума СП СССР с пафосом заламывающего руки: «Что делать с Игн. Простым? Оба отзыва резко отрицательны… Помогать Простому — значит продолжать какое-то “оболыценье”; не помочь — оттолкнуть и м. б. погубить человека». И только в 1939 году, после дебатов с участием Катаева, Вишневского, Фадеева, «настойчивое дарование» попросили работать по специальности и не досаждать.

В стране пытали и стреляли, летали и строили. 5 июля 1938 года «Литературная газета» открывалась рапортом Сталину трех летчиц — Осипенко, Ломако, Расковой: «Беспосадочный перелет Севастополь — Архангельск выполнен. Готовы выполнить любое ваше задание», рядом — рапорт Катаева, из которого ясно, что он совсем не бедствует: «Давая взаймы государству рабочих и крестьян, мы укрепляем нашу мощь, оборону страны, содействуем еще большему расцвету социалистической индустрии. Я подписываюсь на государственный заем третьей пятилетки в сумме 10.000 рублей». В Ленинграде, сообщала газета, Дмитрий Шостакович подписался на ту же сумму.

Новая мировая война становилась реальностью. Германия пьянела, заглатывая земли. 30 сентября 1938 года Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссолини решили судьбу Чехословакии — стать разделенной. СССР, равно как и чехословацким представителям, не позволили участвовать в обсуждении. В дипломатических документах США и других западных стран с удовлетворением говорилось о том, что после захвата Чехословакии рейху открыт путь на Советский Союз.

Чехословацкие писатели выпустили воззвание «к совести всего человечества». 10 октября 1938 года в «Литературной газете» появился «Ответ», подписанный большой группой писателей, в том числе Катаевым: «В дни, когда совершилось страшное предательство, и войска фашистских варваров при пособничестве правительств Англии и Франции раздирают живое тело вашей миролюбивой демократической страны, мы, советские писатели, от глубины нашего сердца выражаем вам нашу братскую солидарность, нашу любовь».

В 1937-м Катаев с Эстер и маленькой Женей переехал в Лаврушинский переулок, в новопостроенный писательский дом 17. Заложили дом в 1934-м, но строили с задержками и возвели не к сроку. Несмотря на железный политический диктат, в квартирном вопросе царил беспорядок: писатели воевали за жилища.

О въезде в Лаврушинский трех друзей рассказывал Семен Гехт:

«Вечером к дому Ильфа в Нащокинском подкатывает взятый напрокат в “Метрополе” “линкольн”. По лестнице взбегает Валентин Катаев. У него тоже в кармане ордер, ключи.

— Тащите табуретку, Иля! — командует он. — Надо продежурить там ночь. С мебелью!

И “линкольн” с символической мебелью, с Валентином Катаевым, Петровым и Ильфом катит в темноте к восьмиэтажному дому в Лаврушинском переулке.

Законные владельцы отстояли свою жилищную площадь от захватчиков.

Переехав в дом на Лаврушинском, Ильф сказал:

— Отсюда уже никуда! Отсюда меня вынесут».

Слова сбылись в короткие сроки. Ни пыток, ни расстрела… Еще раньше, во время путешествия по Америке с Евгением Петровым у Ильфа открылся давний туберкулез.

«Я никогда не забуду этот лифт, и эти двери, и эти лестницы, слабо освещенные, кое-где заляпанные известью лестницы нового московского дома, — вспоминал Петров. — Четыре дня я бегал по этим лестницам, звонил у этих дверей с номером “25” и возил в лифте легкие, как бы готовые улететь, синие подушки с кислородом. Я твердо верил тогда в их спасительную силу, хотя с детства знал, что когда носят подушки с кислородом — это конец».

С детства об этом знал Валя, и Жене, не запомнившему мать, рассказал…

Илья Ильф умер 13 апреля 1937 года.

На следующий день Катаев писал в «Правде»: «На высокой

подушке лежит белая голова с крупными, резко очерченными губами».

31 мая в страну Большого террора из Парижа вернулся тяжелобольной Александр Куприн, отсутствовавший на родине с 1919 года[108]. Тот самый «человечек с пьяным баском», которого в рассказе «Темная личность» высмеивал пятнадцатилетний одессит Валя. «Я пришел к нему в гостиницу “Метрополь”, — вспоминал Катаев, — и принес ему букетик мокрых левкоев… Он уже плохо видел и с трудом нашел своей рукой мою руку. Трудно забыть выражение его лица, немного смущенного, озаренного слабой, трогательной улыбкой». Они сидели на открытой веранде, потом пошли по центру. Куприн двигался медленно, держась за рукав Катаева с «потусторонней», по его выражению, улыбкой на лице.

19 октября 1977 года, выступая перед Брежневым, Катаев вспомнил: Куприн «спросил, как-то робко понизив голос: “Скажите, откуда у них, у большевиков, столько денег?”».

«По улице строем проходили военные, шли нарядно одетые люди, — вспоминал Катаев в 1986-м. — День был какой-то праздничный. Куприн был в восхищении от увиденного и все расспрашивал меня о Магнитке, о других стройках, обо всем».

О дряхлости и лунатизме Куприна Катаев сказал 22 августа 1938 года встретившемуся Булгакову, а спустя три дня Куприна не стало.

Срезало время… Не эпоха, как многих вокруг, а само время, которое безжалостнее любого тирана…

Порой смотришь на финальный год человека — ждешь, что был казнен, а потом оказывается иначе. Например, от рака легких в 1938-м умер во многом «несбывшийся» писатель Борис Житков, о котором Катаев отзывался с острым читательским любопытством.

«Как сейчас вижу этот скошенный каблук поношенных туфель… Слышу склеротический шумок в ушах, вижу дурные, мучительные сны и, наконец, чувствую легкое головокружение верхушки, обреченной на сруб, верхушки, которая все еще продолжает колобродить…» — писал Катаев, отталкиваясь от мандельштамовских метафор и перенося драму репрессий в масштаб другой катастрофы — каждый обречен…

А еще, кроме тоски и страха, всегда есть место нежности к новой жизни, особенно когда она родная.

31 мая 1938 года у Эстер и Валентина родился второй ребенок — Павлик или как называл его Катаев — Павля.

Для сына и дочки любящий отец с грубоватой лаской придумал клички — Шакал и Гиена.

«Что с вами будет без меня?» — иногда тихо говорил он жене.

НЕХОРОШИЕ ПРИЗНАНИЯ

Катаев с Вельским выпивали, и тот «кричал шепотом» о множестве доносов на друга и обилии стукачей среди писателей.

— Вы живете как в чаду… Их много! Почти все!..

Так Катаев вспоминал, рассказывая про Вельского сыну.

Летом 1937-го за несколько дней до ареста Вельский сказал своему харьковскому приятелю Мацкину: «Тебе хорошо! Ты беспартийный и в Чека не служил. А я сплю и вижу, как ко мне подходят два оперативника в козловых сапогах и говорят: “Ну, Вельский, пойдем с нами”». Его арестовали 26 июля. Протоколы допросов стандартны: «я продолжал вести враждебную партии работу, направленную на разложение писательских и журналистских кадров»; «наша троцкистская организация стоит на позициях террора»… Однако среди «антисоветчиков», которых называл допрашиваемый, нет Катаева.

Киянская и Фельдман отмечают: «Очевидно, отсутствие в протоколе фамилии друга было непременным условием, при котором подследственный согласился подписать бумагу». 5 ноября Вельский был расстрелян.

В показаниях он упоминал «крокодильца» Аркадия Бухова. Еще дореволюционный фельетонист, сотрудник «Сатирикона», он в 1927 году вернулся в страну из эмиграции, работал в советских сатирических изданиях. В 1928-м стал «секретным агентом» НКВД и собирал информацию «о настроениях среди писателей или об отдельных писателях». Как и Вельский, Бухов печатался в соавторстве с Катаевым, называвшим его «бриллиантом чистой воды в “короне русского смеха”». 29 июня 1937-го был арестован и 7 октября того же года расстрелян. Вот он-то о Катаеве поведал немало. Характерно, что одна из контрреволюционных фраз, которую по его показаниям произнес Катаев («СССР страна слабая»), следователем Виктором Абакумовым была приписана Вельскому и подшита к «расстрельному делу».

Ясно и то, что показания бывшего сатириконца в значительной степени совпадали с его прежними доносами.

По поводу связей Вельского с иностранцами он предположил, что были они «с теми же иностранными журналистами, с какими в ресторанах встречался Катаев или Олеша. Из фамилий, называемых при мне, я сейчас припоминаю только одну, названную В. Катаевым — журналиста Бассе-хеса (корреспондента, кажется, австрийской газеты)».

(Еще в 1932-м Сталин назвал Бассехеса «капиталистической мразью», а в июне 1937-го он был вышвырнут из СССР.

Уличенный в общении с этим иностранцем мог быть автоматом записан в шпионы.)

Олеша общался, разумеется, и с поляками: «На рауте в польском посольстве, года три тому назад — об этом мне рассказывал писатель Валентин Катаев — всего теплее принимали Олешу, и посол (или его заместитель) долго жал ему руку и вспоминал, что он знает его отца, “пана Олешу”».

То есть в «польской истории» замешан как-то и Катаев…

Свидетельство поэта Якова Хелемского: в 1960-е годы на пляже в Коктебеле Катаев поделился милой историей — во второй половине 1920-х они с Олешей пришли на открытие в Москве выставки польского художника, где внезапно оказалось, что «пан малярж» когда-то жил в Одессе и знал Олешу «мальцом». Теперь в порыве чувств он выкрикнул: «Юрка, засранец!» — приподняв невысокого автора «Зависти».

Весьма вероятно, что-то подобное Катаев поведал Бухову в каком-нибудь веселом застолье, и именно этот анекдот превратился в строчки протокола, уличавшего в шпионаже.

А вот еще — протокол (причем, вероятнее всего, допрашиваемому указывали, какие имена называть в первую очередь):

«*Вопрос:* С кем вы встречались в Москве в частной обстановке из лиц, антисоветски настроенных?

Ответ: Мне известны следующие лица как активно контрреволюционно настроенные, с которыми я встречался по своему общественному и личному положению:

Олеша Юрий Карлович, писатель. Он настроен фашистски. В разговорах со мной он развивал теорию сильной личности типа Муссолини.

Булгаков Михаил Афанасьевич, писатель. В разговорах со мной он постоянно указывал на неизбежное возвращение к капитализму как результат неудачи Советской власти.

Катаев Валентин Петрович, писатель. Критиковал успехи советской власти и говорил, что в случае столкновения с капиталистическим миром СССР потерпит поражение, так как, по его словам, все успехи раздуваются в прессе и отчетах, и что в действительности СССР страна слабая».

Последнее утверждение перекликалось с монологом маньчжурского торговца из «правдистского» рассказа Катаева 1935 года «Случай»: «Говорили люди, что советская власть непрочная власть. Я не верил людям. Думал, они от зависти говорят. А теперь вижу сам — непрочная власть… Нет, та страна, в которой люди не любят деньги, плохая страна, непрочная. Ничего из вашей страны не выйдет. Пустая страна. Пустой народ.

Никакой цивилизации».

Учитывая любовь автора к деньгам, все это звучало весьма двусмысленно.

Вообще же, свое «враждебное отношение к советской власти» Бухов списывал на «контрреволюционное окружение», в первую очередь — на Катаева и Олешу.

Обвинение, вслед за которым последовал приговор к «высшей мере», могло быть предъявлено и Катаеву: «Будучи контрреволюционно настроенным, ведет систематически антисоветскую агитацию, проявляя террористические намерения…»

Но, судя по всему, Катаева берегли.

Берегли за талант?

Или для большого процесса?

Весной 1938 года из пожаров Испании был отозван в Москву Михаил Кольцов. В ночь на 13 декабря он был арестован в редакции газеты «Правда».

(А ведь еще летом того же года Катаев в «Литературной газете» встретил его «Испанский дневник» восхищенными похвалами: «Читая, я стал подчеркивать места, которые мне особенно понравились. Скоро вся книга оказалась исчерканной синим».)

1 февраля 1940 года Кольцова приговорили к расстрелу по обвинению в шпионаже. Его брат Борис Ефимов впоследствии писал: «Не забуду красноречивого молчаливого участия в черных глазах Евгения Петрова и его долгого рукопожатия».

Петров, как и Кольцов, впрочем, тоже поучаствовал в кампании «против врагов» и даже побывал на процессе «право-троцкистского блока», в марте 1938-го излив свои впечатления на общемосковском собрании писателей: «У меня такое ощущение, как будто я был тяжело болен, как будто я встал с постели после тифа… Какое счастье, что этот тяжелый кошмар наконец кончился…»

Он, конечно, не знал, что в показаниях арестованного (подвергавшегося пыткам) Кольцова присутствуют и его имя, и имя его брата. «По мере того, как журнал “Огонек” разросся в издательство, вокруг него постепенно сформировалась группа редакционных и литературных работников, частью аполитичных, частью чуждых советской власти, являвшаяся в своей совокупности группой антисоветской», — записал Кольцов 9 апреля 1939 года, находясь во внутренней тюрьме Лубянки. По его показаниям, в составе газеты «Правда» «сформировались две группы, взаимно враждовавшие», но обе антисоветские. Он сообщил о «близком знакомстве» с Катаевым и о Петрове как

участнике антисоветской группы и антисоветских разговоров.

Михаил Ефимов, племянник Кольцова[109], размышлял над этими показаниями: «Возникла идея “заговора дипломатов”… К этим “заговорщикам41, видно, решили для масштабности добавить еще и ведущих мастеров культуры».

Кого-то из названных Кольцовым арестовали (например, Бабеля), кого-то (Эренбурга, Толстого, прямо названных агентами французской разведки) могли готовить для отдельного процесса. Исследователь дела Кольцова Виктор Фрадкин констатирует: членом шпионской организации намечался Валентин Катаев.

Исаака Бабеля взяли 15 мая 1939 года. Фрадкин замечает: «Следователи-садисты теми же изуверскими методами выбивают у Бабеля показания на тех же самых известных людей, что до этого и у Кольцова, — Эренбурга, Лидина, Олешу, Катаева…»

И вот уже Бабель называет Катаева причастным к своей «преступной деятельности».

Надежда Мандельштам вспоминала: «Бабель рассказал, что встречается только с милиционерами и только с ними пьет. Накануне он пил с одним из главных милиционеров Москвы, и тот спьяну объяснил, что поднявший меч от меча и погибнет… После ареста Бабеля Катаев и Шкловский ахали, что Бабель, мол, так трусил, что даже к Ежову ходил, но не помогло, и Берия его именно за это взял…»

Бабель был вхож к Ежову и тесно общался с его женой Евгенией Соломоновной. В октябре 1938 года с диагнозом «астено-депрессивное состояние» ее поместили в подмосковный санаторий, где в ноябре она умерла от отравления люминалом.

На допросах Ежов признал покойную жену шпионкой и рассказал о ее тесном общении и совместном шпионаже с Бабелем и Кольцовым (ее интимную связь с Шолоховым зафиксировала прослушка в номере гостиницы «Националь», и это, кстати, в то время, когда Шолохов писал письма Сталину с жалобами на НКВД).

В феврале 1938-го «источник», то есть секретный сотрудник, в своем доносе в НКВД сообщал о Бабеле: «Он Катаеву и другим поведал кое-что, связанное с его пребыванием в числе друзей Ежова».

В начале 1930-х годов Багрицкий затащил в гости к Евгении и Ежову юного Липкина, а тот впоследствии воскресил застолье стихами:

> Поэт с хозяйкой вспоминали юг,
> «Зеленой лампы» одаренный круг…

«Если бы она не отравилась… или не была отравлена… может, уцелел бы и Бабель?» — спрашивала саму себя Эстер. По ее словам, в ночь перед арестом Бабель собирался заночевать у Катаева на даче на Клязьме, но потом все же уехал в Переделкино, где его и взяли. «А если бы Бабель остался у нас, — романтично предполагала она, — повернуться могло по-всякому: иногда, не застав человека дома, его надолго оставляли в покое — хватало других дел… А у нас на Клязьме его бы никто не нашел».

Или нашли бы и укрепились заодно в целесообразности ареста Катаева…

Журналист Георгий Елин скопировал неопубликованные записки драматурга и актера Исидора Штока. «Когда взяли автора “Конармии”, я побежал к Катаеву:

— Валя, что случилось с Бабелем?

— Кто вы такой и зачем задаете провокационные вопросы?! — Валентин Петрович вскочил из-за стола, побелел лицом: — Я вашего Бабеля не знаю, мы вообще виделись один раз, и то случайно!»…

Судя по всему, в последние годы перед арестом Бабель стал видеться с Катаевым чаще, чем раньше.

Я уже упоминал, что Катаева он ставил высоко, как и других южан. Еще в 1931 году Вячеслав Полонский, главред «Нового мира», записал в дневнике о появлении в редакции Бабеля: «Прочитал отрывок из рассказа об одессите Бабичеве, рассказ начинается прославлением Багрицкого, Катаева, Олеши».

Эстер подозревала, что Бабель приходил в гости полюбоваться на их дочку Женю. «Едва она начала говорить, у нее была такая прелестная французская картавость — его это умиляло необыкновенно, он приносил игрушки…» Отголоски этого умиления есть и в воспоминаниях жены Бабеля Антонины Пирожковой: «Двухлетняя дочь Валентина Петровича Катаева, вбежав утром к отцу в комнату и увидев, что за окнами все побелело от первого снега, в изумлении спросила:

— Папа, что это?! Именины?!

Бабель, узнав об этом, пришел в восторг».

(Катаев не меньше бабелевского приглядывался к детям — например, в 1937-м новорожденному сыну Ардова Мише, смуглому и черноволосому, дал прозвище Кофейное зерно.)

На допросах Бабель «хочет отметить имевшие место на протяжении 1938 года антисоветские разговоры» с Катаевым, Олешей и др. Он признавался, что «клеветнически говорил о том, что арестованы лучшие, наиболее талантливые политические и военные деятели, жаловался на бесперспективность и серость

советской литературы, что, мол, является продуктом времени, следствием современной обстановки в стране». Последний упрек в «серости» прямо из критичных катаевских статей в «Правде» 1937 и 1938 годов. По признанию Бабеля, «примерно тех же настроений держались» его собеседники, включая Катаева.

Эренбургу следствием явно отводилась роль международного шпиона, курирующего своих агентов, отсюда следующее показание Бабеля: «Эренбург был тем человеком, кого приезжавшие в Париж советские писатели встречали в первую очередь. Знакомя их с Парижем, он “просвещал” их по-своему. Этой обработке подвергались все писатели, приезжающие в Париж: Ильф и Петров, Катаев…»

Будто бы в связке с Эренбургом действовал Андре Мальро, по признанию Бабеля, завербовавший его «для шпионской работы в пользу Франции» еще в 1933-м.

26 января 1940 года на закрытом суде Бабель, отказавшись от показаний, заявил, что «возвел на себя поклеп». На следующий день его расстреляли.

0 том, сколь реально грозил арест некоторым писателям, названным в показаниях, свидетельствует служебная записка от 19 июня 1939 года, адресованная «Зам нач. следствен, части НКВД СССР капитану государствен, безопасности тов. Влодзимирскому» и подписанная «Зам нач. 5-го отд. 2-го отдела ГУГБ ст. лейтенант государств, безопасности [Райзман]»: «Прошу дать выписку из показаний арестован. Бабеля и Кольцова на Эренбурга и Олешу».

Спустя 15 лет после ареста мужа Антонина Пирожкова добилась его реабилитации — одной из первых. Она вспоминала о разговоре со следователем: «Он спросил меня, кто мог бы дать хороший отзыв о Бабеле из его знакомых. Я назвала Екатерину Павловну Пешкову, Эренбурга и Катаева». Катаева она даже не стала предупреждать о том, что с ним свяжется следователь — знала: не откажет.

18 декабря 1954 года приговор Бабелю был отменен посмертно. (Военная коллегия Верховного суда специально уточняла, что «фигурирующие» в показаниях Бабеля Катаев и некоторые другие писатели, «якобы причастные к его преступной деятельности», «не арестовывались».)

Как вспоминала Тэсс, в 1961 году приехавшая в СССР из Парижа, дочь Бабеля от первого брака Наталья отправилась в Переделкино к другу отца: «Когда я вошла в уютный и теплый катаевский дом, все сидели за обеденным столом, беседа была в разгаре, и Наташа, веселая и оживленная, словно и не помышляла о возвращении в Москву».

Но это будет после, а пока 20 июня 1939 года в Ленинграде взяли режиссера Всеволода Мейерхольда. И вновь на допросах, сопровождавшихся пытками, замелькали те же имена, что и в показаниях Кольцова и Бабеля. И вновь ниточки тянулись к Эренбургу и Андре Мальро — вербовщикам для «троцкистской работы». «Юрия Олешу мы хотели использовать для подбора кадров террористов, которые бы занимались физическим уничтожением руководителей партии и правительства».

1 февраля 1940 года 65-летнего Всеволода Эмильевича приговорили к расстрелу.

Кстати, следователь Лев Шварцман, истязавший Мейерхольда, Бабеля, Кольцова и с большой вероятностью предназначавшийся Катаеву, тоже не избежал истязаний и был расстрелян в 1955-м.

Уже давно, не год, не два,
Моя душа полужива,
Но сердце ходит, дни кружатся,
Томя страданием двойным, —
Что невозможно быть живым
И трудно мертвым притворяться —

так однажды в ту эпоху записал себе в тетрадь наш герой.

«ОКРОВАВЛЕННАЯ КОШКА»

Катаев, помалкивавший о политике и «врагах», внезапно в разгар репрессий разразился хлестким текстом.

Некоторые литературоведы полагают, что его заметка могла стать «предвестницей ареста» поэта Владимира Луговского. Неужели?

31 декабря 1938 года в «Литературной газете» была нарисована карикатура на обоих, самозабвенно вальсирующих, и еще на кучу других литераторов рядом с пьесой-фельетоном за подписью Оливер Свист (автором был сам Катаев), где говорилось: «Нежно обняв Луговского, танцует Катаев».

Однако — о поводе для танцев. 5 ноября 1938 года в «Правде» вышла небольшая рецензия на сборник Луговского «Октябрьские стихи» (под названием «Выдохи и вдохи»).

«Чего-чего, а изысканным стихам крышка, — иронизировал рецензент. — Зато “выдохов” и “вдохов” больше чем надо. Как на утренней зарядке: “Выдох, вдох! Выдох, вдох!”… Все пять стихотворений, собранных в этой книжке, поражают серостью, сухостью, ритмической бедностью, полным отсутствием элементарного вкуса и такта.

Ты стоишь на западной границе,
Пуля пробегает по виску.

Читатель в недоумении. Что, пуля — клоп?..»

Катаев упрекал Луговского в пошлых клише — «затасканные, штампованные, деревянные выражения, вроде “музыка октябрьского народа”, “трубы отгремевших битв”, “тех годов багровые огни”, “штыковые ночи”, “светлый гром октябрьского парада” и так далее и тому подобное».

Рецензия вызвала немалые страсти.

Поэт Тихонов писал Луговскому: «Читал я, как Катаев прыгнул “окровавленной кошкой” тебе на плечи — почему он это сделал, черт его знает. М. б., это какие-нибудь московские склоки, которые вымещают на тебе».

(Здесь приведем пример одной такой склоки. 15 мая 1937 года в «Литературной газете» Арон Эрлих перечислял бытовые злодеяния литераторов: «В. Луговской, сбивший с ног ударом кулака 72-летнего сторожа В. И. Букреева только за то, что старик не хотел и не мог пустить его без установленного пропуска на территорию строящегося писательского дома, тоже внушает

сомнение в искренности своих будто бы благородных и высоких стихов».)

В письме прозаику Павленко Тихонов продолжал наслаждаться найденным сравнением: «Почему Катаев прыгнул ему на плечи эдакой “окровавленной кошкой”, исцарапав со всех сторон? В чем дело? Володю жалко. Он, поди, здорово переживает…» При этом — ни словечка о несправедливости катаевских замечаний.

Луговской и правда распереживался и отправил Фадееву слезное письмо:

«Меня глубоко обидели… Это подлые и безответственные слова. Личное мнение Катаева пусть останется с ним, но это напечатано на страницах высшего органа партийной печати… Ты меня утешал: “после статьи Катаева будешь лучше писать”. Писать-то я буду, наверное, неплохо, но *что* писать и *как* писать, об этом думаю и еще подумаю…»

Письмо длинное, Луговской по кругу с нарастающим надрывом причитал по поводу своих стихов: «Их оплевали в “Правде” — значит, я должен думать и полагать, что эта линия в моей поэзии *вредна, не нужна* нашему читателю. А ведь как раз эти стихи мне давались нелегко, я самым принципиальным, самым честным образом стремился приблизиться к большой политической теме и много над ними работал. Это была не халтура, а *линия*».

Можно спросить по-простому: а что, Катаев не имел права ругать стихи, которые ему не понравились? Написал об этом в «Правде»? Так он там работал.

«Со мной поступили цинично и холодно. Мне этого не забыть. Это ли *“сталинское внимание к человеку”*??» — вопрошал Луговской. Но ведь и в те времена «Правда» спорила с «Правдой» — сам же Луговской приводил в пример ноябрьскую ожесточеннейшую полемику в газете между директором Третьяковской галереи Владимиром Кеменовым и партийным идеологом Емельяном Ярославским о книге художника Федора Богородского «Автомонография» (Кеменов осыпал Богородского бранью, объявив его картины образцами «натуралистической фальши, крикливой лакировки», на что через три дня получил брань от Ярославского, инкриминировавшего Кеменову «безобразное третирование» художников, и при этом у всех троих продолжалась благополучная жизнь — оппоненты только пошли на повышение).

«Когда В. Катаев прочел ответ Е. Ярославского, он сказал: “Снаряд разорвали рядом со мной”», — сообщал Луговской. Если Катаев так сказал, получается, ожидал встречного отлупа, то есть

едва ли рецензия была ему «спущена».

Между тем Луговского публично оградил от катаевских нападок Фадеев, и поэт не забыл поблагодарить его в письме: «Я знаю, старина, что тебе было нелегко выступать в мою защиту. Тут и положение обязывает к сдержанности, и дружба твоя с Катаевым и многое другое».

Наконец, в «Литературной газете» 20 ноября 1938 года Василий Лебедев-Кумач («О формах критики и о духе поэзии») поддержал Луговского и предупредил Катаева, что критика, высказанная «не по-товарищески и не по-советски», ведет к «полной потере авторитета “заушающего”» и должна рассматриваться как «дикость и хулиганство» (затем Лебедев-Кумач едко высмеял Кирсанова за то, что тот высмеял Твардовского и Симонова).

Неужели все эти газетные обмены любезностями были «предвестниками арестов»?

Скорее уж рецензент Катаев подставлял себя, назвав пошлыми и деревянными священные для советского гражданина словосочетания.

Больше того — на допросе арестованный Кольцов, очевидно, под диктовку следователя сообщил: «В отношении литературы и искусства на страницах “Правды” в 1938 г. соблюдался вражеский курс крайней нетерпимости и охаивания культурных кадров» и назвал Лебедева-Кумача — автором, досадившим антисоветчикам.

Так для чего же Катаев написал критический фельетон? Ответ прост, хотя и не очевиден некоторым реконструкторам той эпохи, как не был очевиден и некоторым ее современникам. Разве что фраза Фадеева звучит искренне, поскольку подпитана пониманием искренности рецензента: «После статьи Катаева будешь лучше писать».

Вне зависимости от любых режимов и событий больше всего Катаева интересовала литература, она же — изящная словесность. «Чрезвычайно мало и плохо пишут критики о мастерстве, о стиле», — сетовал он. Особое, пожалуй, болезненное отношение на всю жизнь сохранялось у него к стихам. Как правило, он выражал его резко, не думая о выгоде и издержках. Он влюблялся в чужие стихи, а мог прийти от них в ужасное раздражение. Иногда даже, как свидетельствовал поэт Николай Старшинов, работавший с Катаевым в «Юности», ярость («Позор!») сменялась благостностью («Прелестно») из-за одних и тех же строф.

Пусть версия элементарна, но кажется мне, причина статьи о Луговском — раздражение поэта и читателя.

Такое же читательское раздражение можно обнаружить в

другой его «правдистской» рецензии еще 1936 года «Топор в похлебке» на повесть донбасского литератора Александра Фарбера «Победители». У меня нет сомнений: за отзывом Катаева — не заказ, не сведение счетов, не желание травить мало кому известного прозаика и даже не «борьба с формализмом» — а стилистические разногласия и любовь к хорошей литературе: «И пошел валить Александр Фарбер в свой горшок всяческие “красоты” и “метафоры”. Каждая этак по два пуда весу. Вместо “розы”: “багровые, как запекшаяся кровь, розы”. Вместо “деревянный крест”: “деревянный знак смерти”. Если борщ, так непременно: “Золотым костром пылал в тарелках борщ”… И лежит большой, неуклюжий топор неосвоенной метафоры в жидкой похлебке “Победителей”».

Возвращаясь к статье о Луговском, можно вспомнить, конечно, что весной 1937-го правление Союза писателей осудило включение им нескольких «старых» стихов в однотомник «избранного», после чего он принес покаяние, и предположить, что катаевская рецензия была продолжением той атаки.

Но тогда гонимым легко назначить и Катаева: менее чем за два месяца до выхода его рецензии досталось и ему — гуртом от разных изданий. Причем у меня не вызывает сомнений, что это была добросовестная критика.

Разносу подвергли пьесу «Шел солдат с фронта», поставленную в Театре им. Евг. Вахтангова.

Премьера того спектакля отмечена в дневнике Елены Булгаковой. Присутствовали Петров, Толстой, Фадеев. «Автора не вызывали ни разу». Елена Сергеевна разговаривала с художником спектакля Владимиром Дмитриевым: «Он был до слез взволнован, что на сцене разорвалась туча и дождь не пошел».

26 сентября 1938 года в «Вечерней Москве» театровед Яков Гринвальд писал: «Катаева и театр постигла творческая неудача. Пьеса, которую он сделал, оказалась много ниже его повести… Появились схематичность, трафаретность, а кое-где и фальшь… По-видимому, Катаев побоялся упреков в том, что он выводит на сцену “идеологически невыдержанного” большевика… и он поспешил превратить этого живого большевика и человека в трафаретного героя… Спектакль получился таким тусклым и неудачным!»

С вердиктом «Вечерки» о «печати поспешности», лежащей на постановке, на следующий день согласилась «Красная звезда» в заметке за подписью Петра Корзинкина: «Эта инсценировка… вызывает чувство разочарования… Обоюдно повинны и автор, и театр». Корзинкин призывал думать впредь «авторов, слишком поспешно переделывающих литературные произведения для

сцены и кино».

В тот же день в «Комсомольской правде» фельетонист Семен Нариньяни объявил: «Спектакль получился холодным и явно неудачным… Наши театры уже не раз убеждались, что из скороспелой переделки даже очень хороших романов получались только весьма посредственные пьесы. Этой же участи не избежала и повесть “Я — сын трудового народа”… Основные герои повести, механически перенесенные автором на сцену, чувствуют себя в новой обстановке явно не на месте…»

30 сентября в «Литературной газете» появилась большая статья катаевского друга Семена Гехта на ту же тему: «Спектакль принес разочарование… В повести все было правдиво, а в театре — ложно. Печальное превращение! Сплоховали и автор, и режиссер…» Гехт утверждал, что театры ставят пьесы «ищущих легкой удачи драмоделов», а пьеса Катаева «явилась на свет в результате дружного, но неверного союза ножниц и клея».

1 октября Елена Булгакова записала в дневнике: «Утром М. А. рассказывал мне, что Катаев в отчаянии от истории с пьесой. Он не привык к ругани, а тут — во всех газетах! Обвиняет театр — что испортил пьесу из подхалимства».

Повторюсь, нельзя воспринимать никакую, даже самую лютую, эпоху схематично. У меня нет сомнений, что единодушная критика пьесы Катаева была связана не с подготовкой его ареста или кампанией травли, а исключительно с халтурностью постановки.

«В ЛОНДОНЕ РВУТ СЕБЕ ВОЛОСЫ ОТ ДОСАДЫ»

31 января 1939 года Валентина Петровича наградили высшим орденом страны — орденом Ленина. Его фотография появилась на первой полосе «Литературной газеты».

Почувствовав себя в фаворе, он стал щедрее хвалить власть.

3 марта в «Правде» Катаев написал о фильме Михаила Ромма «Ленин в 1918 году», оправдывавшем диктатуру во имя будущих поколений, по сюжету которого в заговоре по убийству пролетарского вождя участвовали его главные соратники Бухарин, Троцкий, Зиновьев и Каменев и только Сталин оставался тверд и верен:

«Финальная встреча Ленина и Сталина, вернувшегося победителем с Царицынского фронта, вызывает слезы восторга. Ленин и Сталин сидят рядом, близко наклонившись друг к другу.

Ленин: Сталин!.. Дорогой мой… Я очень боялся, что вы не успеете приехать!»

А к семидесятилетию Ильича в «Правде» от 23 апреля 1940 года, продолжая тему, Катаев наслаждался музейной фотографией:

«За столом Ленин. Перед Лениным — Сталин. Сталин молод, худ, высок. На нем черный пиджак. Под пиджаком — мягкая рубашка, подпоясанная шнурком. Молодые, густые, черные волосы вьются надо лбом. Сталин весь движение, и Ленин весь движение. Они с любовью и живостью смотрят друг на друга».

16 апреля 1939 года на общемосковском собрании писателей он призвал писать так, «чтобы добиться высокой чести, когда Сталин с трибуны процитирует кого-нибудь», и заканчивая пожеланием, «чтобы Сталин долго и долго жил», выразил «веру в то, что в обиду он нас не даст».

23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен договор о ненападении, известный как пакт Молотова — Риббентропа.

Секретный дополнительный протокол разграничивал советскую и германскую сферы интересов, определял, под чьим влиянием окажутся территории в Восточной Европе. СССР отходили восточные регионы Польши, населенные украинцами и белорусами, и Прибалтика, также была дана гарантия присоединения Бессарабии, потерянной в 1919 году. К сфере советских интересов была отнесена и Финляндия.

1 сентября Германия вторглась в Польшу. 17 сентября в

Польшу вошли советские войска.

Уже 25 сентября в «Правде» появились «Путевые заметки» Катаева: «Чувство горячего, молодого нетерпения испытывали все… Командир тов. Еременко велел выкопать наш пограничный столб, погрузить его на подводу и везти вместе с наступающими частями на запад. Он сказал: “Я его вкопаю там, где мне прикажут партия и правительство”. Крылатая фраза командира мгновенно облетела фронт».

Надев военную форму, Катаев вернулся туда, куда отправился когда-то воевать мальчишкой-добровольцем «за веру, царя и отечество».

«Я всматриваюсь вокруг, — писал он 6 октября. — Узнаю складки местности, линию железной дороги. Даже наши артиллерийские окопы сохранились. Они осыпались, заросли травой, но я узнаю их».

Катаев в красках и с наблюдательным юморком изображал картину польского разгрома: «Следы бомбардировок: воронки и сломанные деревья… То и дело встречаются сброшенные с шоссе польские автомобили. Они лежат вверх колесами, ободранные, страшные, со снятыми баллонами, без стекол и арматуры — настоящие трупы машин… Панически бегущая польская армия бросала их безжалостно и грубо, явно не рассчитывая больше когда-нибудь воспользоваться ими. В одном месте у дороги в болоте лежала легковая машина… Она лежала, так сказать, по горло в зеленой, малахитовой жиже. И лежала она так уютно и спокойно, как будто бы никогда нигде, кроме болота, и не жила. Абсолютно акклиматизировалась».

Рядом стоял репортаж Евгения Петрова «Как польские офицеры сожгли два села» — в том же ключе спустя два года в «Правде» будут писать о фрицах: «Женщин уводили в лес, насиловали и убивали. У многих из них были вырезаны сердца». Старший брат ездил по Западной Белоруссии, младший — по Западной Украине.

23 октября в «Правде» Катаев сообщал: «Каждый цветок, брошенный Красной армии, был голосом народа за советскую власть. А цветов этих были тысячи тысяч! Колонны Красной армии были осыпаны цветами. Вот, собственно, и голосование».

1 января 1940 года «Известия» опубликовали праздничное письмо нескольких писателей (Толстого, Шолохова, Фадеева, Катаева и др.) датскому коллеге-антифашисту Мартину Андерсену-Нексе — борцу за «святое дело освобождения людей от гнета империализма» (слово «фашизм» с некоторых пор из печати выветрилось), но на той же полосе, видимо, для равновесия было размещено «Новогоднее воззвание Гитлера». 26 февраля уже в

«Правде» была опубликована пространная речь фюрера, провозглашавшего: «Надежда противников на то, что им удастся разжечь войну между Россией и Германией, провалилась. В данном случае русский и германский народы совершили для обоих народов нечто благословенное. Но мы отдаем отлично себе отчет в том, что в Лондоне рвут себе волосы от досады…» «Гитлер, — сообщала «Правда», — закончил словами Лютера: “Это нам удастся, даже если бы весь мир был полон чертей!”».

«В тихом норвежском Тронгейме английские и прочие разбойники бомбят Кнута Гамсуна. Страшное дело!» — восклицал один из героев пьесы Михаила Козакова «Когда я один».

Через десятилетия Чуковский вспоминал в дневнике, «как в 1939 году Евгений Петров говорил простодушно:

— Что мне делать? Я начал роман против немцев — и уже много написал, а теперь мой роман погорел: требуют, чтоб я восхвалял гитлеризм — нет, не гитлеризм, а германскую доблесть и величие германской культуры».

В 1939 году через несколько месяцев после выхода на экраны сняли с показа «антигерманский» фильм по катаевскому сценарию «Шел солдат с фронта». Сняли с репертуара и оперу «Семен Котко» — тогда Катаев просто заменил немцев на австрийцев…

ДОМ

Дома в Переделкине принадлежали не самим писателям, а Литфонду. Поэтому жилище сгинувшего писателя предоставлялось другому.

На дачу Бабеля вселился Всеволод Вишневский, на дачу расстрелянного Владимира Зазубрина — Фадеев, а когда тот застрелился, появился новый жилец — Ярослав Смеляков.

В конце 1930-х годов многие решили, что Илья Эренбург остался на Западе. Вернуться в Москву его поторапливало советское посольство, полпред в Париже Яков Суриц сообщал в Москву: «По моим впечатлениям, у него нет уверенности насчет его положения в СССР. Его, по-видимому, заботит, не отразится ли на нем его близость к Бабелю и Мейерхольду». В 1939-м Эренбурга обделили при награждении большой группы писателей, ему было запрещено печататься в «Известиях». Несомненно, он скорбел из-за договора между СССР и Германией. «Именно тогда в Москве пустили слух, будто я — “невозвращенец”. Дело было простое, житейское: моя дача в Переделкине кому-то приглянулась, нужен был предлог, чтоб ее забрать», — предполагал он в мемуарах «Люди. Годы. Жизнь». Если верить Павлу Судоплатову, занимавшему высокие должности в НКВД, Берия, получив в 1939-м приказ от Сталина арестовать Эренбурга, сумел его отстоять.

Весной 1940 года Фадеев предложил Катаеву с женой и детьми занять давно пустовавшую дачу Эренбурга в Переделкине.

В одной из фадеевских записок Ставскому предлагалось обновить литературные журналы, выдвинуть побольше беспартийных, в частности Катаева Валентина.

В мемуарах «Отлучение» писатель Александр Авдеенко так вспоминал своего соседа Фадеева: «Возбужденный, краснолицый, веселый. Хохочет на всю улицу. Вчера он и Валентин Катаев, увлеченные каким-то разговором, никого не замечая, скорым шагом прошли по переулку, очевидно, спешили обедать к Фадееву. Завидую. И удивляюсь. Не умею хохотать на всю улицу».

Фадеев рассказывал Виктору Ардову: «Катаев зашел ко мне на дачу, мы с ним крепко выпили, но нам спиртного не хватило. И хотя была глубокая ночь, мы стали ходить по соседним дачам и просить водку взаймы. И нам ее всюду давали, потому что хозяева очень боялись, что мы у них останемся…»

На вопрос журналиста, кто же оберегал Катаева, Эстер отвечала: «Я думаю, Фадеев. Если бы не он, то нас бы, наверное, и не было».

В 1940 году, когда Фадеев уже сделался секретарем Союза писателей, прозаик Евгений Федоров, автор повести о детстве и юности Сталина, с раздражением «ликвидированной» последним «как халтурная»[110], жаловался Ставскому в письме на борзость «фадеевской команды»: «С тех пор, как Вы ушли из руководства Союза, а в Ленинграде по приезде А. А. Фадеева, Е. Петрова и В. Катаева были кооптированы по их выбору в президиум новые люди, на меня посыпались камни».

«Ой, Валя, если бы ты знал, какие на тебя телеги приходят», — по рассказам Эстер, говорил Фадеев Катаеву.

4 мая 1940 года в Литфонде в присутствии Фадеева слушали и удовлетворили просьбу Катаева «ввиду того, что дача, арендуемая И. Эренбургом, фактически не используется им уже около 2-х лет — предоставить эту дачу временно писателю тов. Катаеву Валентину Петровичу на летний сезон 1940 г., с условием немедленного освобождения им дачи в случае возвращения тов. Эренбурга».

Спустя несколько дней немцы победно наступали по территории Франции. Французская компартия, выражая настроения Москвы, призывала к «справедливому и прочному миру» и в связи с этим была запрещена властями, многие депутаты-коммунисты, выступавшие против «лжи об антифашистской войне», были арестованы.

1 июня 1940 года в Литфонде «слушали заявление дочери тов. Эренбурга о приезде ее отца» и постановили «ввиду получения официальной телеграммы о приезде т. Эренбурга считать возможным передать его дачу тов. Катаеву только с постановления Президиума ССП».

Когда Эренбург вернется точно, было непонятно. Лето было в разгаре. Президиум, дирижируемый Фадеевым, оказался на стороне Катаева и его семейства.

Это был не единичный случай, когда президиум решал, кому дача нужнее — как раз в то лето 1940-го за переделкинское жилище с переменным успехом бились писатель Первенцев и вдова литератора, погибшего на финской войне, Сергея Диковского — Валентина. Первенцев писал в дневнике: «Сегодня, 3 июня 1940 года, приехала Диковская и устроила мне скандал, сказав, что это она уполномочена Президиумом Союза советских писателей и т. Поскребышевым. Сегодня увидел В. Катаева… Катаев говорит, что Президиум сделал вопрос с Диковской с нарочитой целью — не поднимать шума. Катаев сказал, что Фадеев за меня в потенции».

14 июня немецкие войска вошли в Париж, Эренбург укрылся в советском посольстве. 23 июня «Известия» распространили

сообщение ТАСС, адресованное желающим «набросить тень на советско-германские отношения», которые «нельзя поколебать какими-либо слухами и мелкотравчатой пропагандой, ибо эти отношения основаны не на преходящих мотивах конъюнктурного характера, а на коренных государственных интересах СССР и Германии». По сообщению «Правды» от 24 июня: «Французские власти объявили, что германские условия перемирия “тяжелые, но почетные”». 23 июля «Правда» вышла с благожелательным репортажем «Что происходит в Париже»: «Город внешне оживился… Парижская полиция не покидала города. Однако порядок в городе наводят немецкие военные власти… Работают кино. Идут французские и немецкие фильмы». Эренбург вернулся в Москву 29 июля.

В начале 1950-х годов он купил дом в Новом Иерусалиме на Истре. Дача в Переделкине так и осталась за Катаевым.

Чуковский рассказывал в дневнике: «Когда Эр. приехал из Парижа и думали, будто он, выступивший против нашего союза с немцами, лишен благоволения начальства, у него отняли переделкинскую дачу и дали Валентину Катаеву, а когда он захотел объясниться с Павленко и подошел к автомобилю, в который садился Павленко, тот “дал газу”, и автомобиль умчался».

Несомненно, Катаев прикипел к переделкинским местам — городок писателей вырос между двумя бывшими имениями: Самариных и Колычевых. Павел Катаев вспоминал, что отца «интересовала старинная усадьба помещика-славянофила Самарина, где в барском доме частенько гостили знаменитые российские литераторы». В лесу пытливый дачник нашел остатки кирпичной часовни, которая, как он полагал, сохранилась со времен Ивана Грозного. Хотя связь этих мест с Грозным и была во многом надуманной (имение Боде-Колычева построили спустя столетия после убийства митрополита Филиппа Колычева), характерно, что Катаев ощущал здесь глубокое дыхание русской истории. «Как-то отец и меня привел к этой часовне, — вспоминал Павел. — Он размышлял вслух о том, когда она здесь возникла и кто молился в ней, но меня это не интересовало. Мне хотелось поскорее выбраться из мрачной лесной чащи…» Кстати, с таким же «почвенническим» интересом воспринимал Переделкино другой его житель, Борис Пастернак — английский философ Исайя Берлин вспоминал: «Он снова и снова не переставал мне говорить, как счастлив он был, проводя лето в писательской деревне Переделкино, которая когда-то была частью поместья великого славянофила Юрия Самарина. Истинная связь традиций велась от легендарного Садко к

Строгановым и к Кочубеям, к Державину, Жуковскому, Тютчеву, Пушкину, Баратынскому, Лермонтову, Фету, Анненскому, к Аксаковым, Толстому, Бунину — к славянофилам…»

Уже в 1984-м, будучи по собственному определению, «глубоким стариком», Катаев сочинил небольшое эссе «Переделкино» — о растворении человека в ландшафте: «Та часть русской земли, где я сейчас живу, есть место не только живописное, но также и историческое… Иногда мне кажется, что именно здесь началось то, что у нас принято называть Русью. Хотя это и неверно, потому что Русь пошла от Киева. Но “моя Русь”, несомненно, началась здесь, в подмосковном лесу…»

Обосновавшись на даче, он написал сказки «Дудочка и кувшинчик» (про поход в лес за земляникой с женой, Женей и Павликом) и «Голубок» (про сову, которая — в окончательной версии — съела белого голубя и улетела на чердак к «деду Корнею»). В том же 1940-м появился «Цветик-семицветик», по сей день любимый детьми. «Написал сказку “Цветик-семицветик”, думая о том, как надо жалеть людей. Написал, узнав, что умер светлый и талантливый человек — Борис Левин (погибший на финской войне писатель)».

А дачная история испортила и без того непростые отношения Катаева и Эренбурга, что не помешало им при случае общаться (а в 1944-м первый поздравил второго с орденом Ленина выразительной телеграммой: «ПРИВЕТСТВУЮ = КАТАЕВ»).

Тему «уведенной дачи» подхватывали и приятели Эренбурга. 16 апреля 1942 года Александр Безыменский писал ему о Фадееве: «Боже-ж мой! Наконец-то сей мальчик осчастливил нас сообщением о своем мнении насчет вашего романа! Если зрение мне не изменило, он пишет, что роман Эренбурга блестящий. Как приятно это узнать от столь высокопоставленного лица. Довольно долго “оно” скрывало свой отзыв. Какая честь для вас, для всей Руси! Вчерашний РАПП, наместник, зять зубровки…[111] Нет, Илья Григорьевич! Пожалуйста, не огорчайтесь. Есть люди, которые говорят искренне, честно, прямо. Вы сами знаете, что они существуют и вам от этого сознания будет легче перенести хвалу чиновного рецензента, написанную, возможно, на пресловутой даче в Переделкине, волею “судеб” принадлежащей ныне Валентину Катаеву».

5 апреля 1962 года Александр Твардовский писал Эренбургу по поводу гранок его мемуаров, публиковавшихся в «Новом мире»: «“Дача кому-то приглянулась”. Фраза как будто невинная, но мелочностью этой мотивации так несовместима с серьезностью и трагичностью обстоятельств, что она выступает к Вашей невыгоде. И потом, есть вещи, о которых читателю должны

сообщать другие, а не сам “пострадавший”. От этой фразы несет урон дальнейшее изложение в своей существенности, значительности».

«ДОМИК»

В том же 1940 году вслед за переделкинским домом у Катаева появилась пьеса «Домик» (Литературный современник, № 5–6), комедия-обманка, антирастратчики.

В захолустном, ничем не примечательном городе Конске «молодой энтузиаст» Персюков обнаруживает старушку, будто бы внучку знаменитого математика Лобачевского, живущую в обветшалом домике знаменитого предка. Он развивает бурную активность, в которую вовлекает городские власти, рассылает телеграммы по всей стране и за рубеж, так что весь бюджет должен уйти на торжества по случаю открытия музея и прием сотен почетных гостей, включая стахановца Степанина и Эйнштейна.

Персюков заказывает «скульптуру на разные мифологические и советские темы», оплачивает композиторам симфонию «Триумф арифметики», завозит пальмы и цитрусовые деревья. Предприимчивый юноша собрал немалые деньги с промышленных директоров, записав их в «комитет по проведению чествования Лобачевского», и вообще обложил данью всех местных «хозяйственников». В финале ждешь позора и разгрома, но звучат фанфары: по новому проспекту бежит новый трамвай, в новом отеле поселились высокие гости, появился машиностроительный вуз — Конск преобразился, и Кремль торжественно переименовывает его в Лобачевск. Правда, тут же выясняется, что домик был другого Лобачевского — Ивана Николаевича, а не Николая Ивановича; управляющий делами горсовета кричит на председателя горисполкома: «Говори лучше, как партию и правительство обманывала» (ответный вопрос: неужели в партии и правительстве безграмотные и безответственные кретины?). А всё же — гип-гип-ура! Город расцвел благодаря рискованному прожекту. Громче музыка и смех! Такая вот парадоксальная похвала авантюризму…

Отчасти сюжет пьесы Катаеву подсказала его поездка в Таганрог в 1935 году на 75-летие со дня рождения Чехова. Вблизи города делегацию посадили в поезд с фикусами на каждом столике, а вдоль пути дудели в золоченые трубы пионеры. В связи с торжествами улицы Таганрога заасфальтировали, появилась неоновая вывеска «Гастроном». Тогда Катаев и подумал: я уеду, а асфальт с неоном останутся.

9 марта 1940 года на совещании в Комитете по делам искусств он просил оградить драматургию от контролирующих инстанций: «Сколько инстанций получается… Хотелось бы, чтобы

та пьеса, которая у меня уже лежит, проверенная мною художественно и политически, представляла в моих глазах полноценную вещь, чтобы я мог в театре за нее драться». Словно предчувствовал близкие неприятности…

Поначалу «Домик» вызвал единодушное одобрение. Катаев прочел эту пьесу на заседании Президиума Союза писателей 22 марта 1940 года. Самому молодому участнику обсуждения Константину Симонову (уже и поэту, и драматургу) особенно приглянулся Персюков: «Приятно видеть в комедии героя, который производит сам активные поступки, может иногда перехитрить других, является таким живым, веселым, общительным, энергичным». «На чтении были виднейшие наши прозаики, критики, драматурги. Аплодисменты и взрывы смеха, неоднократно прерывавшие чтение пьесы, оживленный обмен мнениями во время перерыва — доказательство того, что пьеса всем понравилась, — сообщала «Литературная газета». — Комедия “Домик” принята к постановке в театре имени Вахтангова».

4 августа 1940 года Бернгард Рейх в «литгазетной» статье «Освобождение фантазии» признавал, что многие элементы пьесы «не выдерживают очной ставки с действительностью», но не видел в том беды: «С помощью этих отклонений от действительности он изображает настоящую правду».

Тем временем за кулисами газет и журналов важные лица производили обмен записками.

Пьесу одобрил председатель Всесоюзного комитета по делам искусств Михаил Храпченко. Но кто-то недовольный сигнализировал Андрею Вышинскому, одному из советских руководителей, оттрубившему гособвинителем на московских процессах 1930-х. Вышинский попросил Фадеева разобраться с Катаевым.

8 июня 1940 года Фадеев доложил Вышинскому: «Пьеса Катаева “Домик” исправлена им по моим указаниям в результате нашего разговора. Мне в таком виде она кажется вполне приемлемой и полезной. Должен сказать, что она прошла уже в ряде театров, в частности, в Днепропетровске, и была хорошо принята зрителями и прессой. Наша точка зрения — Президиума Союза писателей — что пьесу надо разрешить (мы ее обсуждали)».

11 июня Вышинский вернул пьесу Фадееву, попросив «учесть замечания, сделанные в тексте».

Однако 30 августа 1940 года крупные начальники из Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Петр Поспелов и Дмитрий Поликарпов доложили секретарю ЦК Андрею Жданову:

Храпченко «вместо того, чтобы запретить» разрешил к постановке «Метель» Леонова «и другие фальшивые пьесы», например «Домик» Катаева.

Эренбург связывал разгром «Домика» с личным недовольством Сталина…

14 сентября 1940 года Секретариат ЦК ВКП(б) признал пьесу «идеологически вредной и антихудожественной», запретив ее к постановке в театрах.

Уже в октябре Храпченко, проморгавший недоброе, принес покаяние. В журнале «Советское искусство» он сожалел, что в театр «получили доступ некоторые политически вредные, клеветнические пьесы, “Метель” Л. Леонова, “Домик” В. Катаева. Надо добиться, чтобы была исключена возможность появления в нашем театре такого рода пьес».

Пока же менялся тон прессы. И менялся резво и резко. 22 сентября в «Литературной газете» вышла первополосная редакционная статья без подписи «Идейное воспитание советского писателя», поносящая Союз писателей, его президиум, и персонально автора «идеологически вредной» пьесы.

На следующий день состоялось расширенное заседание Президиума Союза писателей с обсуждением «Домика» и «Метели». Два бывших «беляка» были выставлены на товарищеское поругание — а не было ли здесь закулисного предвоенного умысла? Ведь вождь-то знал всё о своем стаде. Больше того, Леонову прямо и главным образом ставили в вину, что он сделал белогвардейца Порфирия Сыроварова положительным героем. («Люди, показанные в пьесе “Метель” — это всевозможного рода подлецы. Среди них есть один благородный человек — белогвардеец», — вещал Фадеев.) Все, кто еще совсем недавно единодушно одобрял катаевскую пьесу, и тот, кто писал благожелательную рецензию на пьесу леоновскую, каялись в заблуждениях — бес попутал, кляли еретиков и клялись именем наместника Божьего на земле, упражняясь в теологических спорах, как надо понимать его «простые и мудрые» слова об искусстве.

Чувствовалось, что Леонов большинству чужд, зато с Катаевым у собравшихся налажены отношения, он свой, что не избавило его от хорошей трепки. Фадеев принял огонь на себя: «В отношении этой пьесы мы очень виноваты, в частности, я персонально, потому что мы ее слышали и неправильно расценили». Напомнив о «гигантских процессах» над «врагами народа», он с сожалением заметил: «Ведь остатки врагов еще живут». Тему врагов поддержал драматург Вишневский: «Мы здесь в этом зале в дни, когда шли расстрелы всей этой банды,

принимали единогласно, за исключением может быть 1–2 колеблющихся поэтов, требования о расстреле этих врагов, и мы знали, что мы делали. Оптимизм нас ни на минуту не покидал». «Когда в армии публично расстреливают перед фронтом — это должно служить примером», — развил он мысль и предложил поискать позитивную программу: «Товарищ Сталин в день может читать 500 страниц печатного текста. Это его ежедневная порция… Надо подумать, как мы должны ответить на это».

Критик Иоганн Альтман[112] (председатель комиссии по драматургии), отвечая на фадеевское: «О себе скажи», оправдывался: «Когда мы приглашали того же Валентина Катаева на комиссию, он не пришел ни разу, потому что это корифей… Катаев — член комиссии, не пришел к нам и пьесу не прочел».

Виктор Ардов выступил с «короткой исповедью»: «С этой пьесой я был знаком очень рано: Катаев мне читал 1-й акт, когда еще не было 2-го» и попробовал смягчить удары: «Там настоящие советские люди и очень симпатичные… Стержень оказался порочным».

Но заговоривший вслед за ним Николай Асеев сразу взял крутой тон: «Ардов меня просто возмутил. Зачем он выступает адвокатом и буфером для Катаева? Это дикая чепуха… Не надо матрацем стелиться под падающего Катаева. Это отвратительно, я просто скажу», на что Ардов подал реплику с места: «Я сказал, что в пьесе плохой корень…» «Не надо сдабривать никаких горьких пилюль, а надо, чтобы Катаеву стало страшно от наших товарищеских честных глаз», — вразумлял Асеев и, кажется, не без зависти заключил: «У нас ценят людей по тому, что он проехал мимо меня на автомобиле последней марки».

(Катаев отомстил Асееву 22 декабря 1943 года тоже на Президиуме СП СССР при коллективном разгроме его книги стихов «Годы грома», назвав того «оголтелым мещанином».)

И тут неожиданно слово взял поэт и переводчик, ныне совсем забытый, Аркадий Ситковский — спокойным смельчаком: «Товарищи, я слушал пьесу Катаева “Домик” на заседании президиума, и она мне тогда понравилась. И сейчас мне эта пьеса продолжает нравиться. Я никак не могу понять, почему ее сняли. Если люди говорят об искренности, убежденности, так где же эта искренность? Люди, наспех улавливая эти отголоски, начинают высказывать свои суждения о пьесе… Я не понимаю, товарищи, почему пьесу сняли? Может быть, ее сняли, так же не думая, те же самые люди, которые, не думая, разрешили…» Эта единственная наперекор генеральной линии речь не имела для оратора никаких репрессивных последствий и доказывает, что даже в кафкианской атмосфере можно было собраться с духом и возражать.

Впрочем, Катаеву пришлось оспаривать собственного защитника: «Вот тут Ситковский говорил, что он не понимает, почему плохо… Можно только сказать, что совершенно правильно сделали, что эту пьесу запретили».

Еретики стали каяться друг за дружкой. Леонов призвал коллег забыть о снисхождении: «Говорить надо пожестче» и склонил голову: «Пьеса получилась у меня плохая и вредная». Катаев же в заключении спича просил о жалости: «Я еще больше рассказал бы об ошибках, но у меня грипп, 39 температура, и я пришел только для того, чтобы меня не посчитали дезертиром».

9 октября 1940 года Всеволод Иванов записал с циничным юморком: «На собрании Президиума Союза СП обсуждается план разных “Библиотек избранного” — поэзии, прозы, критики. N. N. предложил:

— Надо издать том “Избранных доносов”. Разговор в прихожей:

— Правда ли что жена Катаева опять беременна?

— Нет, это у него выкидыш (“Домика”)».

На Катаева в журнале «Театр» налетел и театральный критик Абрам Гурвич, который впоследствии сам стал мишенью в «борьбе с безродным космополитизмом»: «Там, в Америке, в качестве пронырливого деляги Персюков был бы на месте. Циничное, спекулятивное отношение Персюкова к жизни, как видим, рисуется автором откровенно и даже демонстративно… Чем хуже, тем лучше, — говорят французы. Хорошо, что Катаеву не удалось еще раз обмануть ни себя, ни зрителя».

Публицист Михаил Серебряков писал в журнале «Искусство и жизнь»: «Видно, строитель картонного домика утратил способность разбирать, где правая, где левая сторона. “Проворачивая” комедию, он сочинил гнусный памфлет. Быть может, он намеревался осмеять частные недочеты нашей жизни, а получилось глумление над всем и вся».

Только в 1956 году «Домик» снова увидел сцену под названием «Дело было в Конске», что можно объяснить осуждением Сталина в том же году на съезде партии. В 1958-м театровед Владимир Фролов в журнале «Октябрь» сознавался: «Прошло уже семнадцать лет, и теперь я перечитываю комедию и не нахожу того, за что я и мои коллеги ругали пьесу… Персюкова воспринимаешь настоящим героем, человеком вполне симпатичным, пареньком-энтузи-астом».

Пока же удары сыпались градом. В журнале «Октябрь» вышла передовая «К вершинам творчества», и одновременно такая же редакционная «анонимка» появилась в журнале «Литературный критик», озаглавленная «За идейную большевистскую

принципиальность».

«Вся психология Персюкова — это психология капиталистического грюндера, колониального молодчика, искателя приключений, — пригвождал «Октябрь». — Персюков ничем по своей психологии не отличается от Остапа Бендера, но Остап Бендер пытался удрать за границу, а Персюков надеется преуспевать в советской стране…»

«Читая эту пьесу, можно подумать, что наши работники — безмозглые, неумные существа, которым любая никчемная мысль может вскружить голову», — не отставал «Литературный критик».

Итак, Катаева не просто разнесли в прессе, но он получил три редакционных манифеста в ведущих изданиях плюс партийная обструкция.

4 октября 1940 года в «Известиях» Лебедев-Кумач (который, как мы помним, сцепился с Катаевым еще из-за Луговского) выступил с закрепляющей статьей «Причины неудач». Обругав «Домик» и «Метель» как «пустые, ублюдочные и вредные», он утверждал: «В первую очередь большая моральная вина ложится на Союз советских писателей. Ведь не случайно была дана такая восторженная оценка катаевскому “Домику” при читке этой пьесы в Союзе писателей. Ведь не случайно восторженный отчет об этой восторженной читке был напечатан в “Литературной газете”… Совершенно обойдены были клеветнический фильм и писания Авдеенко и, наоборот, с исключительной похвалой был встречен катаевский “Домик”».

Авдеенко рядом с Катаевым, возможно, упоминался не случайно. Их в те дни постоянно ставили рядом…

Есть версия, что ЦК обошелся с «Домиком» столь сурово в отместку за то, как повел себя Катаев во время расправы Сталина с Авдеенко. Да и Катаев на заседании президиума, кажется, на это намекал: «“Домик”, конечно, пьеса плохая. Я это понял в ту минуту, когда Сталин начал нам рассказывать о том, как определять насыщенность вещи…»

Именно в «ту минуту» — ведь так вышло, что Катаеву и Сталину довелось выступать дуэтом, правда, с преобладанием одного из солистов…

СЛУЧАЙ СО СТАЛИНЫМ

Той осенью 1940 года над шахтером-прозаиком из Донбасса Александром Авдеенко разверзлось небо.

Начинал он более чем успешно. Благословение Горького, большие гаражи, квартиры, дача, автомобиль «бьюик». Путешествовал по Беломору, но ездил и за рубеж, бичевал «врагов народа», работал в «Правде», а на Всесоюзном съезде Советов пообещал: «Когда моя любимая девушка родит мне ребенка, первое слово, которому я его научу, будет — Сталин».

В августе 1940 года по его сценарию вышел (на мой взгляд, мутный и занудный) фильм «Закон жизни» о комсомольском секретаре Огнерубове, развратнике и выпивохе. Харизматичный вожак горячо проповедует «коммунистические идеалы» и веселую «расслабуху» под портретом Сталина и затягивает в попойку студентов медицинского института. Он пытается совратить красивую комсомолку, та тянется к нему, что вызывает ревность у влюбленного в нее довольно блеклого резонера Паромова, который публикует статью против соперника, затем обличенного на общем собрании.

С писателем получилось, как с его персонажем.

16 августа 1940 года в «Правде» вышла статья без подписи «Фальшивый фильм» (выражавшая впечатления Сталина): «Содержание “закона жизни” сформулировано Огнерубовым: он имеет право беспорядочно любить, он имеет право менять девушек, он имеет право бросать их после того, как он использует их… Это не закон жизни, а гнилая философия распущенности». Фильм тотчас запретили. (Через несколько дней в Мехико был убит ледорубом Лев Троцкий, в «Правде» появился отредактированный Сталиным некролог «Бесславная смерть».) 9 сентября на Старой площади с пяти часов вечера до полуночи длилось заседание Оргбюро ЦК с участием писателей и работников кино, на котором выступил и сам вождь, внезапно возникший из-за колонны. И повторил те же тезисы, что и в «Правде»: «Он “Закон жизни” назвал. Какой жизни? Какой закон? Посмотрел на девушку, понравилась и вали… А у наших женщин — белые волосы, как у свиньи!»[113]

Архивная стенограмма сталинской речи несколько отличается от пересказов. Но финальные разоблачительные слова громыхнули жестью. «Влезть в душу — не мое дело, но и наивным не хочу быть. Я думаю, что он человек вражеского охвостья… И он с врагами перекликается: “Живу среди дураков, все равно мои произведения пропустят, не заметят, деньги получу, а кому

нужно, поймет, а дураки — черт с ними, пускай в дураках и остаются”».

Грешника заклеймили Асеев, Фадеев, Жданов…

«На трибуну вышел Валентин Катаев, — вспоминал Авдеенко. — Недавно раскритикованный за пьесу, он чувствовал себя на трибуне не очень уютно, говорил несколько скованно и разбросанно. Обо всем и ни о чем».

«Предполагалось, что и выступление отца будет в духе всего совещания направлено против Авдеенко, — пересказывал Павел Катаев. — Свое выступление, однако, отец построил не как критику конкретного писателя, а высказал свое отношение вообще к идее выдвижения писателей из народа. Отец заявил, что писателя невозможно выдвинуть, а он должен сам по себе появиться, и уж тем более писателей никак не может быть так много».

«Но Катаева выручил Сталин, — наблюдал помертвевший Авдеенко. — Поднялся из-за стола…

Он сказал, что в свое время прочел мои книги.

— Что это за писатель! — с пренебрежением, даже с отвращением воскликнул он. — Не имеет ни своего голоса, ни стиля. И неудивительно. Неискренний человек не может быть хорошим писателем…

Страшно прозвучали слова “человек в маске”, “вражеское охвостье”, но слово “барахольщик” почему-то показалось еще страшнее и обиднее…»

(Авдеенко был весь в заграничном — костюм, замшевые туфли, темно-синяя рубашка, шерстяной галстук. Услышав про барахольщика, режиссер фильма Александр Столпер быстро развязал галстук, авдеенковский подарок, и спрятал в карман. Уже в октябре 1941 года «опального» донбассца встретил в клубе писателей Первенцев и записал в дневнике: «Пообедав и не расплатившись, Авдеенко стал опять свозить свое барахло. Воистину, прав был Сталин, назвав его барахольщиком!»)

«Катаев тем временем молча стоял на трибуне. Сталин прохаживался перед дубовым возвышением. Туда и сюда. Сюда и туда. Говорил. Набивал трубку. Курил. Размышлял. Говорил. Молчал. А я слушал, вытирал и вытирал облитое то горячим, то холодным пбтом лицо…

Сталин удалился за колонну… Сидел в уединении не более минуты. Как только Катаев начал говорить, снова вышел из-за колонны и, прохаживаясь взад и вперед, продолжал свою безначальную и бесконечную речь. Катаев растерянно умолк. Переступая с ноги на ногу, стоял на трибуне, а Сталин говорил, говорил. О том, что писатели должны писать правду. Ходит туда-

сюда и говорит. И еще, еще прошелся по моему адресу. В слова обо мне он вкладывал какую-то особую злость. Я следил за ним глазами и ясно видел все, что произойдет со мной сегодня ночью…

Сталин умолк, ушел за колонну. Катаев еще раз попытался закончить свое выступление. Но Сталин его снова прервал. Наконец выговорился и решил заметить Катаева, молча простоявшего на трибуне более часа. Посмотрел на него, кивнул и сказал:

— Извиняюсь. Продолжайте!

Катаев развел руками:

— А что же мне продолжать, товарищ Сталин? Вы за меня все сказали. — И сошел с трибуны.

Много лет спустя Катаев мне признался, что он не ожидал от себя такой отчаянной выходки. Когда вернулся на свое место, понял, что непочтительно ответил Сталину. Ему показалось, что Сталин очень внимательно посмотрел на него. Катаев долгое время боялся мести Сталина, ждал ареста».

Жена и сын Катаева и вовсе утверждали, будто Валентин Петрович нагло съязвил: «После того как вы столь блестяще закончили мое выступление, мне нечего больше добавить».

«Как можно было представить себе по рассказам отца всю эту картину, в зале повисла мертвая тишина, — писал Павел Катаев. — Руководители партии и правительства за длинным столом замерли, как по команде. Замерли так же остальные, рядовые участники совещания. Товарищ Сталин приостановился, трубка замерла в воздухе на полпути к усам. В многолюдном зале отец мгновенно ощутил вокруг себя полную пустоту. Зал замер как в волшебной сказке. И тут он заметил сбоку, что опущенный ус Сталина чуть-чуть двинулся вверх, обозначая улыбку-ухмылку».

«Мне кажется, что товарищ Сталин исчерпывающе закончил мою речь» — эти слова Катаева сохранила стенограмма, находящаяся в государственном архиве. Возможно, на бумаге драматизм был сглажен, но даже в официальной расшифровке — Катаев все время перебивал Сталина. Можно представить этот дуэт — с грузинским и одесским акцентом…

Катаев жаловался на засилье бездарей, у которых нет представлений о «стиле»: «Количество балласта чудовищно, количество балласта у нас такое, что подумать страшно».

Сталин подтвердил наличие «замухрышек», но добавил: «Я не согласен, что это балласт… У нас в партии собираются люди верблюжьи, сырые, поглядишь, в отчаяние приходишь, потом из этих людей вырабатываешь работников».

«Это плохо, что вас называют снобом», — заметил вождь Катаеву, на что последовал его ответ: «Если мы говорим, как Флобер строит сцену, мы уже снобы».

«Мне хотелось бы так кончить. — Кажется, Катаев вообразил себя вождем, решив оставить последнее слово за собой. — Мы на основании очистки своего времени могли бы обсуждать поконкретнее произведения…» — «Правильно, — подхватил Сталин. — Кроме того, отдельные романы очень хорошо и поучительно ставить на обсуждение…» Но Катаев не унимался и продолжил за Иосифом Виссарионовичем: «И потом нас давит такой момент, когда писательская общественность немного дезорганизуется…»

Семен Липкин рассказывал Павлу Катаеву, что встреченный им в Переделкине Фадеев жаловался на «безобразное поведение своего приятеля Вали на совещании в Центральном Комитете с участием руководителей партии и правительства во главе с товарищем Сталиным.

— Как он не понимает, — кричал красный от возбуждения Фадеев, — что я не смогу его защитить!».

А вот как с чужих слов восстановил дальнейшее писатель Анатолий Рыбаков:

«— Всем ехать в Союз! — приказал Фадеев.

В Союзе заперлись в кабинете, и Фадеев дал трепку Катаеву.

— Ты где сейчас был? На Дерибасовской, на Молдаванке? С кем ты разговаривал? Перед кем ты стоял?.. В каком виде ты представил руководство Союза писателей?!»

Авдеенко вопреки его ожиданиям не посадили, но лишили всех благ, исключили из Союза писателей и партии — по его утверждению, выделили для жизни зарешеченный подвал в Макеевке, и он снова стал шахтером. Берия направил Сталину и Молотову расшифровку подслушанного разговора Авдеенко с женой («21 год, физкультурница»). «Это выше смерти… — Прозаик рыдал. — Милая, я же умереть хочу. Почему я не умираю? Ты знаешь, у меня такое безумное желание поколотить всех. Я бы все отдал, чтобы привести это в исполнение… Я ненавижу, я ненавижу всех. Я не был врагом, но они заставляют меня сделаться им…»

Несмотря на опалу, вскоре он поступил на заочное отделение Литинститута. Во время войны главред «Красной звезды» Давид Ортенберг в письме попросил у Сталина разрешения напечатать фронтовой очерк Авдеенко «Искупление кровью» о боевом подвиге штрафбатовца, Сталин позвонил Ортенбергу: «Можете печатать. Авдеенко искупил свою вину». В 1944-м у него вышел в «Новом мире» роман «Большая семья». Именно ему выпало вести

репортаж по радио с похорон генералиссимуса.

«Мне, заклейменному лично товарищем Сталиным, надо бы смотреть на него без розовых очков. Куда там! Чувствовал себя осиротевшим».

На следующий день после совещания в ЦК Фадеев устроил расширенное заседание Президиума Союза писателей.

Там говорил и Катаев, возможно, пытаясь загладить вчерашнюю «вину». Но все свел к литературным размышлениям Сталина… Пожалуй, главное в катаевском выступлении — придать особый смысл своему опрометчивому тезису: «Вы за меня все сказали».

«Я бы хотел снова вернуться к высказанному товарищем Сталиным о Шекспире, Гоголе, Грибоедове, Чехове. Конечно, говорил товарищ Сталин, положение у писателей — трудное. Вот имеется враг. Но ведь мы тоже враги. (Представляю, как при этой фразе напряглись собравшиеся. — *С. Ш.*) Его врага — враги. Так показывайте и нас, советских людей».

По словам Катаева, его прельстила сталинская мысль о важности искусства полутонов, усложнения характеров: «Сталин немножко подумал, сделал паузу и сказал: “Если бы мне надо было решать такие вопросы, какие должны решать писатели, то я бы предпочел чеховский метод”. Меня это прямо потрясло».

Через пять дней в «Литературной газете» Валентин Петрович, похоже, попытался оправдаться письменно, развив и расцветив сталинскую мысль. Мысль эту цитировал на президиуме Фадеев: «Товарищ Сталин сказал, что настоящий художник любит “вытачивать” строчку, шлифовать стиль, это является признаком настоящего художника. Поэтому, он говорит, неправильно и глупо называть снобом человека, который работает над формой». Катаев в статье вторил вождю (его не упоминая) почти буквально: писатель должен создавать произведения «блестящие по форме, где каждое слово любовно выбрано, тщательно отшлифовано, взвешено и поставлено на свое место» и как пример стиля (свежего для XIX века) цитировал пушкинское «Клеветникам России».

(Сталинские слова довольно невнятно по смыслу, но истово по стилю еще через несколько дней на разные лады перепевала и «литгазетная» передовица, заодно припечатывавшая «идеологически вредную» пьесу Катаева, да и во всем номере из статьи в статью повторялись фразы вождя вплоть до текста критика Елены Усиевич о цветущем таланте писательницы Ванды Василевской, которую тот помянул мимоходом.)

«Я спрашивал его: “Папа, а почему они погибли? Каким образом отбирались жертвы?” — вспоминал Павел Катаев. — Он

отвечал: “Я не знаю, но мне кажется, что они находились слишком близко к власти”».

Может быть, и не высшими соображениями, а инстинктом самосохранения объясняется то, почему Катаев старался не участвовать в судилищах над «врагами»? Уйти в тень, промолчать, не отсвечивать… Но одновременно иметь писательскую славу и достаток… Особая стратегия: быть на виду, но держаться в сторонке.

По рассказу сына, еще до войны Катаева вместе с Петровым пригласили на новогодний банкет. К изрядно выпившему Валентину Петровичу подошел секретарь Сталина Александр Поскребышев: «Товарищ Катаев, с вами хочет поговорить Иосиф Виссарионович». — «Здесь какая-то ошибка — это не меня, а моего брата». Спустя какое-то время Поскребышев подошел снова: «Вас просит Сталин». — «Да это шутка, вызывают не меня, а Петрова». Вероятно, Поскребышев сообщил Сталину, что захмелевший Катаев подойти не в состоянии.

Как бы фантастично ни выглядело это происшествие, но Павел Катаев божится — не раз слышал эту историю от отца…

Эстер в интервью объясняла произошедшее алкоголем: «Конечно, он был пьяный — пили они здорово… Когда мне рассказали о случае со Сталиным, я спросила у Вали: “Это правда?” Он ответил: “Молчи”».

Возможно, не приближаться к Сталину подсказал инстинкт выживания: мало ли как бы пошел разговор, тем более во хмелю. Сколько писателей мечтали о таком разговоре, слали челобитные, а услышав сухой голос в трубке, теряли дар речи или начинали петь «Интернационал»… Катаев предпочел пить дальше…

Может, это и уберегло.

СМЕРТЬ БУЛГАКОВА

«Плодовитый Валюн» присутствует в дневниках Елены Сергеевны, третьей, последней жены Булгакова — чувствуется, передавшееся ей от мужа отношение к бывшему другу — не вражда, но прохладца разлада. Да и успехи Катаева совпадали с запретами на пьесы Булгакова.

6 августа 1934 года Булгаковы «были на “Дороге цветов” Катаева в Вахтанговском. Позвали к себе вахтанговцев». 7 мая 1937-го запись с обидой: «Сегодня в “Правде” статья Павла Маркова о МХАТ. О “Турбиных” ни слова. В списке драматургов МХАТа есть Олеша, Катаев, Леонов (авторы сошедших со сцены МХАТа пьес), но Булгакова нет».

23 августа 1938 года Елена Сергеевна записала: «Встретили в Лаврушинском Валентина Катаева. Пили газированную воду. Потом пошли пешком. И немедленно Катаев начал разговор. М. А. должен написать небольшой рассказ, представить. Вообще, вернуться в “писательское лоно” с новой вещью. “Ссора затянулась”. И так далее. Все — уже давно слышанное. Все — известное. Все чрезвычайно понятное. Все скучное. Отвез меня к М. И., а сам поехал с М. А. к нам и все говорил об одном и том же. Сказал, что Ставского уже нет в Союзе, во главе ССП стоит пятерка (или шестерка?), в которую входит и Катаев».

Очевидно, подразумевался разрыв Булгакова с МХАТом, случившийся в 1936-м после запрета пьесы «Мольер». Тогда он устроился консультантом-либреттистом в Большой театр. Но поскольку Катаев упоминал «рассказ» — очевидно, ему хотелось и булгаковской прозы. Все это, уверен, совершенно искренне. Катаева зажигала сама идея — помочь Мишунчику. И ведь тот прислушался — в 1938-м написал новую пьесу для того театра, с которым порвал, ставшую для него роковой…

21 ноября 1938 года Елена Сергеевна записала о встрече в ресторане с главой секции драматургов, которого мог подослать Катаев: «В Клубе к нашему столику сразу же подошел Чичеров с тем же разговором: почему, М. А., вы нас забыли, отошли от нас? И в ответ на слова М. А. о 1936 годе, когда все было снято, сказал:

— Вот, вот, обо всем этом нам надо поговорить, надо вчетвером — Вы, Фадеев, Катаев и я, все обсудим, надо чтобы Вы вернулись к драматургии, а не окапывались в Большом театре.

Потом подошел Катаев и сказал, что Гнат Юра[114] непременно хочет ставить у себя “Дон-Кихота”, просит экземпляр пьесы. Что он, Катаев, едет завтра в Киев и может отвезти пьесу».

Ага, опять — Катаев-благодетель…

И ведь поеду в тот самый Киев, где когда-то встречались с синеглазкой, с которой разрушил наш роман ты, посчитавший меня «неудачником»… Ну что, кто из нас чего достиг?..

«М. А. сказал: надо еще раньше переписать экземпляр, у меня один — испещренный поправками».

Эта пьеса «Дон Кихот» была ему дорога, и перед смертью в бреду он повторял ее название…

25 марта 1939 года Булгакова записала: «Вчера пошли вечером в Клуб актера на Тверской… Все было хорошо, за исключением финала. Пьяный Катаев сел, никем не прошенный к столу, Пете[115] сказал, что он написал барахло, а не декорации, Грише Конскому — что он плохой актер, хотя никогда его не видел на сцене и, может быть, даже в жизни. Наконец все так обозлились на него, что у всех явилось желание ударить его, но вдруг Миша тихо и серьезно ему сказал: вы бездарный драматург, от этого всем завидуете и злитесь. — “Валя, вы жопа”. Катаев ушел мрачный, не прощаясь».

(Спустя четверть века немолодой Валентин Петрович просиял и расхохотался, услышав то же самое, обращенное к нему.

Четырехлетняя внучка Тина, ползая у него в ногах и обнимая колени, накрытые пледом, не понимая значения подслушанного у взрослых слова, но от избытка нежности, воскликнула:

— Дедушка, ну ты такая большая жопа!)

Пожалуй, в реплике Булгакова было и напоминание о недавнем разносе пьесы «Шел солдат с фронта», который Катаеву устроили в прессе (и о чем не без злорадства писала в дневнике Елена Сергеевна).

Драматург же с даром, ощущавший свою невостребованность, решился идти напролом — в это время он работал над пьесой о молодом Сталине «Батум», первоначально называвшейся «Пастырь» по одной из партийных кличек Иосифа Джугашвили. («Единственная тема, которая интересует для пьесы, это тема о Сталине», — говорил он директору МХАТа, а с женой поделился фантасмагорией, будто зовется «Михо» при дворе «его величества» и тот без него «прямо не может жить — все вместе и вместе».)

Пьеса, на мой взгляд, повторяла евангельский сюжет: обретение учеников-простолюдинов, тайная вечеря во мраке с вином, проповеди перед толпой, арест, избиения, общая уверенность в смерти Пастыря, чудесное его избавление от смерти и после побега из Сибири появление среди своих, которые его поначалу не узнают… Мистика и ирония по-булгаковски переплетались — уже в Прологе цыганка, получившая от Сталина его последний рубль, предсказывала: «Большой ты будешь

человек!», а монолог ректора семинарии: «Нам, как христианам, остается только помолиться о возвращении его на истинный путь и вместе с тем обратить горячие мольбы к небесному Царю царей…» будущий «красный царь» скреплял возгласом: «Аминь!»

О трагикомическая мистика! Четверть века спустя в повести «Святой колодец» Катаев придумал говорящего кота: на кавказском застолье у усатого хозяина произносил «мама» и «маман», но «скончался во время очередного выступления, будучи не в состоянии произнести слово “Виссарионович”»… Последнее воспретил цензор. А ведь здесь и Авдеенко с именем, которому он обещал научить своего младенца, и булгаковский амбициозный Бегемот[116]…

В июле 1939 года МХАТ пьесу взял. В августе Булгаков с женой и постановочной группой выехал в Грузию для изучения материалов на месте. Но через несколько часов пришлось сойти с поезда — Сталин запретил «Батум» (решение остается довольно загадочным, в разговоре с Немировичем-Данченко он назвал пьесу «очень хорошей»).

Когда на станции Серпухов в вагон зашла женщина-почтальон и спросила: «Кто здесь бухгалтер?» — Михаил Афанасьевич сразу понял, что телеграмма ему и все кончено. Булгаков предсказал эту ситуацию в 1921-м в рассказе «Богема» о попавшем в «особый отдел»:

«— Вы бухгалтер?

— Боже меня сохрани.

Пауза…

— А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро, не задумываясь, — скороговоркой проговорил маленький.

— Для постановки моей революционной пьесы, — скороговоркой ответил я».

И сразу Булгаков заболел, начал слепнуть. В сентябре ему был поставлен фатальный диагноз — гипертонический нефросклероз. Это была болезнь почек, от которой умер его отец.

«У него было измученное землистое лицо», — вспоминал Катаев свой приход в квартиру в писательском доме в Нащокинском переулке. Они разлили холодную воду из бутылки. Чокнулись. «У меня сжалось сердце… — Я скоро умру, — сказал он бесстрастно. Я стал говорить то, что всегда говорят в таких случаях, — убеждать, что он мнителен, что он ошибается. — Я даже вам могу сказать, как это будет, — прервал он меня недослушав. — Я буду лежать в гробу, и когда меня начнут выносить, произойдет вот что: так как лестница узкая, то мой гроб начнут поворачивать и правым углом он ударится в дверь Ромашова, который живет этажом ниже. Все произошло именно

так, как он предсказал».

Драматург Борис Ромашов был его соседом, а лестница в доме действительно была узкой…

Михаил Афанасьевич умер 10 марта 1940 года.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
«ВОЛЖСКИЙ ЛЕД ТЕБЯ ОСТУДИТ, РУССКИЙ ПЛАМЕНЬ ОБОЖЖЕТ…»

1941-й

Валентин Катаев напророчил войну СССР с гитлеровской Германией еще в 1935-м.

Тогда он написал сценарий «Лицо героя», по которому в 1936 году вышел фильм Александра Мачерета «Родина зовет», затем снятый с экранов.

«Вражеская эскадрилья внезапно, точно вор, темной ночью, напала на советскую территорию, — пересказывала сюжет газета «Правда», сухо констатируя: сценарист и режиссер «постарались заглянуть в будущее». — Глаза долго-долго смотрят на портрет Сталина… Родина зовет! Это доминирует над волей и сознанием… Враг должен быть уничтожен. Не разбит и отброшен, а именно уничтожен… На крыльях его машин, точно щупальца каракатицы, — фашистская свастика».

Лето 1941 года Катаев проводил в Переделкине. Наступление немцев встретил запоем.

В самом начале войны над их домом низко пролетел самолет, и маленькая Женя, задрав голову, пролепетала:

— Война едет…

«Стреляли зенитки, — вспоминал другой «переделкинец» Аркадий Первенцев, — вечерами артиллеристы расшивали с треском ящики со снарядами. Во дворах, у сосен, зияли траншеи укрытий… Быстрое продвижение врага не способствовало оптимизму».

Уже 3 июля Эстер и дети вместе с семьями других писателей уехали в эвакуацию: Берсут, Чистополь, позже Куйбышев…

Из Берсута (где Эстер некоторое время раздавала еду в столовой вместе с женами Пастернака и Лебедева-Кумача) в Чистополь плыли на пароходе. Безумно хотелось пить. Женю укусил дурной комар, и она заболела малярией на много лет.

В Чистополе Эстер поселилась в гостинице в одном номере с женой Долматовского Софьей и устроилась нянечкой в детсад-интернат, куда отдала Женю и Павлика. Оттуда как-то вечером Женя совершила побег. Она пришла укладывать братика, стала толкать его и шептать: «Павлик, плачь!» Мальчик заплакал. Собрались недоуменные взрослые. Под шумок девочка выскользнула на волю. Она пошла по улице, не зная, куда идти, но решив найти маму. На счастье, повстречался писатель Николай Ляшко, который подхватил ее и притащил в гостиницу, — ночью Эстер вернулась и обнаружила сюрприз — дочку у себя в постели.

20 июля в «Литературной газете» Катаев выступил в

знакомом для себя жанре «приветствия англичанам» в связи с соглашением о совместных действиях между СССР и еще месяц назад «империалистической» Британией: «Я знаю, что поют англичане, что написано на их знамени: “Никогда, никогда англичанин не будет рабом”… Я счастлив, что в эти великие дни мы вместе». 30 июля он заявил в «Литературной газете», что вносит в «фонд обороны» свой месячный заработок.

Немцы наступали стремительно.

16 августа Первенцев записал: «Пришли Катаев, потом Фадеев и Баталов[117]. Катаев, по обыкновению, был пьян до бесчувствия, падал и бил посуду. Противно смотреть. На груди орден Ленина». И далее о «Коньяк-Фадееве»: «Вместо того чтобы избивать и издеваться над писателями, он должен был бы хотя бы примитивно воспитать своих собутыльников типа Кагор-Катаева. Фадеев с жадностью пил водку и пиво».

Первенцев злился на более успешных коллег. Особенно его разъярило то, что 23 августа «братья-писатели» не пришли на спектакль по его патриотической пьесе «Крылатое племя». «Позже я встретил пьяного Валентина Катаева вместе с Барнетом[118] у подъезда кабака Жургаза… Я не очень обижен тем, что несколько знатных алкоголиков во главе с А. А. Фадеевым не отравляли коньячным запахом театра. Пьесу приняли хорошо и без этих представителей, без этих истребителей коньяка».

16 октября 1941 года советские войска покинули Одессу и переправились в Крым (как когда-то армия Деникина). В город вошли румынские войска.

Вернулся «Вертер» — художник Витя Федоров — и устроился в Одесский театр. Петр Ершов, поэт и критик, один из лидеров «Зеленой лампы», выживший в 1930-е, при оккупантах сделался деканом драматического отделения консерватории, начал выступать с докладами и публиковать статьи[119].

5 октября в «Огоньке» вышел рассказ Катаева «Их было двое»: младший командир «советский еврейский поэт» 23-летний Вергелис ведет пленного ровесника голубоглазого стрелка-радиста Вилли Ренера. «В голове тяжело гудело. Ослабевшие ноги нетвердо ступали… Во рту пересохло. Очень хотелось пить и курить». Похмельные муки переданы со знанием дела… «Немец обернулся на ходу. С перепоя ему хотелось болтать».

А вот и болтовня:

«— Я облетел почти всю Европу… Я был в Бухаресте… В Бухаресте много публичных домов… Я также был в Голландии.

— Что же вы видели в Голландии?

— В Роттердаме отличные, богатые магазины… Кроме того, я был в Польше.

— А что вы заметили в Польше?

— Польские девушки — змеи: они кусаются.

— Ав Греции?

— В Греции душистый коньяк».

(Интересно, что поэт и фронтовик Арон Вергелис впоследствии стал вторым мужем Евгении Катаевой, которой тогда было пять лет.)

«Ох, какое это было кошмарное время, — говорила героиня катаевской военной повести «Жена». — Вспомнить страшно. Украина занята. Белоруссия занята. Ленинград в кольце. Волоколамск. Истра. Подумайте только — Истра! Проносится слух, что немецкие танки в Химках». Этот слух охотно распространял сам Катаев.

В октябре к Москве вплотную подошли танки Гудериана. Перед эвакуацией писательница Мария Белкина писала в открытке на фронт мужу критику Анатолию Тарасенкову: «Очень тяжелый день… Последние впечатления о клубе, пьяный “Белеет парус одинокий” целует мне руки и говорит какие-то странные вещи, а рядом сумасшедший Володя Луговской…» (то есть примирение Катаева с Луговским произошло). Вот как затем расшифровывала Белкина ту запись: «У плохо освещенного буфета стояли писатель Катаев и Володя Луговской, последний подошел ко мне, обнял. “Это что — твоя новая б…?” — спросил Катаев. “На колени перед ней! Как ты смеешь?! Она только недавно сына родила в бомбоубежище! Это жена Тарасенкова”. Катаев стал целовать меня. Оба они не очень твердо держались на ногах. В растерянности я говорила, что вот и билеты уже на руках и рано поутру приходит эшелон в Ташкент, а я все не могу понять — надо ли?.. “Надо! — не дав мне договорить, кричал Луговской. — Надо! Ты что, хочешь остаться под немцами? Тебя заберут в публичный дом эсэсовцев обслуживать! Я тебя именем Толи заклинаю, уезжай!..” И Катаев вторил ему: “Берите своего ребеночка и езжайте, пока не поздно, пока есть возможность, потом пойдете пешком. Погибнете и вы, и ребенок. Немецкий десант высадился в Химках…”».

В 1985-м Катаев в «новомирском» эссе писал про «страшные дни, когда фашистские генералы уже рассматривали в свои цейсовские бинокли кремлевские башни».

Между тем, по мнению Первенцева, некоторые писатели готовились к «грядущему режиму». Он вспоминал встречу с Авдеенко в октябре 1941 года в клубе писателей.

«Я сравнил его с плутоватым Фадеевым, с пьяницей Катаевым…

— Я знаю, — сказал Авдеенко, — идут немцы, которым я

нужен…

Он хотел остаться. И не потому, чтобы видеть героику города и страдать его страданиями. Нет! Он хотел лучше переметнуться в связи с изменением политической ситуации».

Говорят, той осенью в клубе писателей подавали отменные соленые грузди — грибной год войны…

7 ноября 1941 года, несмотря на панику горожан и постоянные авианалеты, прошел военный парад на Красной площади с уверенной речью Сталина (он упомянул «перепуганных интеллигентиков») — ночью по его приказу были расчехлены и зажжены кремлевские звезды. В декабре атаки немцев захлебнулись, началось советское контрнаступление.

Но и в сентябре 1942 года поэт Виктор Гусев, приехав из Москвы в ташкентскую эвакуацию, рассказал Всеволоду Иванову: «Катаев пьет так, что даже Фадеев должен был ему посоветовать уехать на время: “а то за тобой уже посматривают”». Иванов в своем дневнике объяснял то, что Фадеев и Катаев «пьют без просыпа», большими успехами Гитлера.

В одну из бомбовых ночей Катаев и Пастернак дежурили с песком на крыше дома в Лаврушинском.

Это был их хрупкий заслон на пути войны — «на фоне черного Замоскворечья, на фоне черного неба, перекрещенного фосфорическими трубами прожекторов… в грохоте фугасок и ноющем однообразии фашистских бомбардировщиков, ползущих где-то вверху над головой».

Пастернак жил на последнем этаже, а на крыше стояло зенитное орудие, и он пошутил: «Наверху зенитка, а под ней Зинаидка» (впрочем, его жена Зинаида к тому времени уже была в эвакуации).

1942-й

Исход войны был непредсказуем, но миф о несокрушимой и победоносной гитлеровской армии кончился под Москвой.

16 февраля 1942 года Катаев писал в «Правде»: «Довоевались!» В статье «Сверхчеловеки» он не жалел средств для высмеивания «хваленого “немецкого воина”»: «Чрезвычайно обессиленный, умственно отсталый, исхудавший, опустившийся… Вшивый. Грязный. Вороватый. Блудливый. В жилете из газеты “Фёлькишер беобахтер”, в штанах из газеты “Ангрифф”, заплатанных сзади страницами “Майн Кампф”».

6 февраля 1942-го в «Правде» Катаев рассматривал снимки, найденные у немецкого офицера, убитого в районе Яропольца. Пятеро повешенных. «Они прямо смотрят смерти в глаза. Они знают, что умирают от рук гитлеровских палачей за родину, за Сталина. Они не боятся смерти… Секунда — и стол выбит из-под их ног. Это уже не люди. Это трупы… Русского патриота, человека сталинской эпохи, запугать нельзя».

18 февраля тоже в «Правде» он вчитывался в приказ фашистского коменданта одного из районов Ленинградской области (к статье прилагалась фотография записки): «Каждый, который у себя есть одна корова, сдай в восемь часов один горшок с молоко». «Какой “лингвист” потел над этим приказом? — возмущался Катаев. — Растленная душонка, потерявший остатки совести и чести, проклятый родной страной и забывший родной язык белогвардеец, продавшийся фашистам?»

В ответ на «Краски Геббельса» (название статьи Катаева от 19 июля 1941 года) у нас найдутся свои… 19 марта 1942 года «Правда» напечатала его первый военный рассказ — «Флаг». Немцы осаждают маленький гранитный остров. Когда боеприпасов и продовольствия уже не остается, советским воинам предлагают вывесить белый флаг капитуляции. Немецкий контр-адмирал видит это огромное знамя, темное от предрассветных сумерек, потом оно кажется ему красным от восходящего солнца… Скалы взрываются вместе с десантом, а оставшиеся бойцы отстреливаются до конца. «Флаг никогда не был белым. Он всегда был красным. Он не мог быть иным». Он еще полыхнет над Берлином…

Рассказ очень показательный для эстетики Катаева, в которой наш мир — красный, хотя и считается, что белый цвет вмещает все цвета радуги. Катаев был перепачкан красками, но главная — горячая краска жизни и смерти. Конечно, наш мир — это волшебный цветик-семицветик, но все же трепетные лепестки

тянутся от багровой мясистой сердцевины.

Описание флага страны вообще удавалось Катаеву. С особой поэтичностью он изображал еще в «Растратчиках»: «Высоко над Красной площадью, над смутно светящимся Мавзолеем, над стенами Кремля, подобно языку пламени, струился в черном небе дивно освещенный откуда-то, словно сшитый из жидкого стекла, насквозь красный флаг ЦИКа». И репортаж из Западной Белоруссии завершал словно бы стихотворной строчкой: «В ясном, фарфоровом небе реют прозрачно красные флаги». Вот и теперь, вдохновляя воюющих не сдаваться, опять погружался в тайны цвета: «Он был сшит из заветных шелковых платочков, из красных косынок, шерстяных малиновых шарфов, розовых кисетов, из пунцовых одеял, маек. Алый коленкоровый переплет первого тома истории гражданской войны и два портрета — Ленина и Сталина, вышитых гладью на вишневом атласе, — подарок куйбышевских девушек — были вшиты в эту огненную мозаику… Как будто незримый великан-знаменосец стремительно нес его сквозь дым сраженья, вперед, к победе».

То, что в рассказе «Флаг» Катаев занят собой и решает эстетические вопросы, переходящие в метафизические, уловил неугомонный Абрам Гурвич. «Холодный огонь неодушевленного эстетизма» — так он выразился в статье «Ответственность художника» 10 апреля 1943 года в газете «Литература и искусство»[120] (по мотивам выступления на творческо-критическом совещании в Союзе писателей). «Это должен был быть рассказ о героических защитниках острова Н., но он стал рассказом об игре световых пятен». Вердикт Гурвич выносил суровый: «Незахваченный пафосом борьбы художник будет говорить не то и не так, и краски его будут мертвыми».

На той же полосе наставлял Шкловский: «Писать во время величайшей войны не о ней — не только бессовестно, но и нельзя».

Между тем в разгар войны Катаев написал как никогда много стихов, далеких от исторических потрясений — о природе и женщинах…

Ее глаза блестели косо,
Арбузных косточек черней,
И фиолетовые косы
Свободно падали с плечей.

Пройдя нарочно очень близко,
Я увидал, замедлив шаг,
Лицо скуластое, как миска,

И бирюзу в больших ушах.

С усмешкой жадной и неверной
Она смотрела на людей,
А тень бензиновой цистерны,
Как время, двигалась по ней.

Первый его выезд на фронт случился весной 1942 года — в Подмосковье, под Сычевкой. Был Катаев и под Ржевом. Советские войска несли большие потери и безуспешно пытались выбить неприятеля. 23 марта в «Правде» появилась его фронтовая зарисовка разведки боем: рвутся немецкие мины, советские танки врезаются в снежную стену, из-за которой тюкают противотанковые ружья… По воспоминаниям Ортенберга, Катаев потребовал, чтобы его посадили в танк и дали участвовать в атаке, при этом в дивизии из-за тяжелых боев оставалось всего три танка. «Долго ему в этом отказывали, наконец, после настойчивых просьб, разрешили».

Встретившись с художником Виталием Горяевым, иллюстратором его «Паруса», Катаев воскликнул: «Черт меня дернул попроситься в танк, идущий в бой!.. Вернулся весь избитый и ничего не увидел. Амбразура была загорожена круглыми спинами, а вокруг острые углы холодного металла. Ухватиться абсолютно не за что, и я весь в синяках и ссадинах, а говорят, был бой…»

А война не отпускала и Москву…

Был май, стояли ночи лётные
И в белом небе без движения
Висели мертвые животные
Аэростатов заграждения.

«А У ВАС КОГДА-НИБУДЬ ПОГИБАЛ МЛАДШИЙ БРАТ?»

Евгений Петров с самого начала войны постоянно бывал на фронте.

Жена с сыновьями уехала сначала в Берсут, потом в Ташкент. Он переселился в гостиницу «Москва», которая стала тогда «творческим общежитием» для писателей, журналистов и даже артистов. Там же получил номер и Катаев, работавший в Радиокомитете и Совинформбюро на заграницу (братья передавали материалы для американского газетного объединения «NANA» — *North American Newspaper Alliance)*.

Адмирал Иван Исаков, который уже осенью был тяжело ранен и потерял ногу, вспоминал: «Никто из тех, кто встретился в этот июньский вечер в гостинице “Москва”, не думал, что следующий, кому предстоит дорого заплатить за стремление все увидеть и все понять, находится среди нас». Петров стал упрашивать Исакова взять его с собой в осажденный Севастополь, отбивавшийся от немцев днем и ночью — завоз подкрепления и вывоз раненых проходил под страшным обстрелом.

Накануне отлета у Петрова в «Москве» побывал Борис Ефимов.

«Он себя неважно чувствовал, — вспоминал художник, — лежал на диване, укрытый пледом. Вокруг него суетилась Варя, его милая подруга. В номере находились также его старший брат, Валентин Катаев, Евгений Долматовский и еще кто-то, не помню. На столе лежали карты и деньги — играли в покер… За столом зашел по какому-то поводу разговор об Александре Фадееве, в ту пору одном из руководителей Союза писателей. И дернуло же Долматовского шутливо переиначить его фамилию — вместо “Фадеев” сказать “Фадейкин”.

— Не Фадейкин, а Фадеев! — неожиданно взревел Катаев. — Замечательный русский писатель!

И добавил трехэтажное матерное ругательство. Женя Петров буквально подскочил на своем диване.

— Немедленно убирайся отсюда вон! — закричал он на старшего брата.

Катаев как-то сразу съежился и сказал:

— Пожалуйста. Я только заберу свои деньги.

И, взяв со стола трехрублевку, как побитый, вышел из номера. Всем было неловко. Варя успокаивала Петрова, уложила его обратно на диван и укрыла пледом. Я посмотрел на Женю. Он

был явно расстроен только что происшедшим инцидентом».

Ефимов постарался развеселить Петрова, и тот вроде бы оттаял.

«— Ну, Женя, — сказал я, — счастливо. Вернетесь, расскажете, как там наш Севастополь».

Сумев получить нужные разрешения, через сутки Петров был на аэродроме, прилетел в Краснодар, а там со все той же горячностью настоял на Севастополе.

26 июня из порта Новороссийска вышел эсминец «Ташкент», лидер эскадренных миноносцев. Бомбы падали со всех сторон. Шедший впереди эсминец «Безупречный» взорвался и потонул, остановиться и подобрать немногих уцелевших было нельзя — сверху атаковали «юнкерсы». В Севастополе под разрывами бомб, снарядов, гранат и мин в полной темноте корабль забрал более 2100 раненых, женщин и детей — выше всяких возможностей. На обратном пути с пяти до девяти утра его непрерывно атаковали 90 самолетов, сбросивших более трехсот бомб — «Ташкент» получил множество повреждений и едва не затонул, многие погибли. Петров остался с ранеными до конца (поил их водой), несмотря на подоспевшие торпедные катера.

2 июля он вылетел из Краснодара в Москву, казалось, оставив угрозу гибели позади. С ним в пассажирском самолете «Дуглас» оказался и все тот же Первенцев, вспоминавший: «Летчик с бородкой. Фамилия Баев. Ждем Петрова. Приехал возбужденный. В 11.00 Баев ухарски отвернул “Дуглас” от земли, как будто вырвал пробку из бутылки. Баев передал управление штурману, а сам подобострастно болтает с Петровым. Ищет выпить. Тоска грызет мое сердце… Петров идет в кабину управления. Ложусь спать и моментально засыпаю. Удар. Я лежу на земле облитый кровью. Самолет, его обломки впереди. Кричу. Я изувечен. Пробую подняться, но, кажется, перебита спина, вытек левый глаз; я падаю на землю головой в пшеницу и бурьян. Чья-то рука тянется из-под обломков дюраля… Крики… Я приказываю снять с меня пиджак, рубаху. Обматываю рубахой голову и чувствую, как она вскипает и пузырится кровью. Больница. Я зверь… Но ранен глубоко. Я завидую Петрову. Он обложен льдом в мертвецкой».

Корреспондент «Красной звезды» Михаил Черных рассказал о катастрофе в подробностях: «Штурману вздумалось пройти в пассажирское отделение. На его место стал пробираться Евгений Петров… Ни штурман, ни пилот не имели права разрешать Евгению Петрову проходить в отделение пилота. Пилот Баев, разговаривая с Петровым и давая указания ему, отвлекся от управления. Самолет летел на высоте 15–20 метров со скоростью 240 км в час. Впереди подымался широкий холм. Пилот заметил

его, но уже было поздно. Самолет ударился о землю…»

«Его вытащили из-под обломков. Он несколько раз повторил: “Пить… Пить… Пить!” Ему поднесли кружку воды, он глотнул — и умер», — утверждал Эрлих.

Петрова похоронили в Ростовской области в селе Маньково-Калитвенское.

«И он навсегда остался лежать в этой сухой, чуждой ему земле», — написал Катаев, крайне скупой на слова о случившейся трагедии (тело в Москву не привезли, в тех местах лютовала война), однако хранивший в ящике стола фотографии, на которых был запечатлен мертвый среди похоронных цветов.

Евгения Катаева однажды увидела, как отец перебирает их и плачет.

— Как это можно не прийти на вечер памяти твоего родного брата? — сетовал как-то Виктор Ардов, присоединяясь к хору раздосадованных очередным своенравием Катаева.

Да вот так — можно. Память о брате была для Катаева остроболезненной, запрятанной, глубоко личной.

Когда погиб Женя, пьяный Катаев пришел в Малый Головин к бывшей жене Анне и сидел на лестнице, отключенный…

В 1969 году в повести «Кубик» Катаев вспомнил крещение в Одессе: *«Я* увидел его, поднятого из купели могучей рукой священника… и уже тогда меня охватило темное предчувствие какой-то непоправимой беды, которая непременно должна случиться с этим младенцем, моим дорогим братиком, и потом, через много лет, точно с таким же выражением зажмуренных китайских глаз на удлинившемся, резко очерченном лице мужчины с черным шрамом поперек носа лежал мертвый Женя…»

В 1986-м он написал, что крещение происходило на дому: «Из церкви везли на извозчике немного помятую серебряную купель, куда налили подогретой на кухне воды… Я ужасно боялся, что мой маленький братик захлебнется…»

«Прощай, Евгений Петрович! Может быть, ты виноват в катастрофе, но смерть большое искупление…» — стонал изувеченный Первенцев, находивший причины всех несчастий в алкоголе.

«Красная звезда» напечатала статью, черновик которой был в полевой сумке погибшего. «Держаться становится все труднее. Возможно, что город все-таки удержится. Я уже привык верить в чудеса…»

2 июля эсминец «Ташкент» был потоплен при внезапной бомбардировке в порту Новороссийска. Адмирал Исаков писал, что случилось это «именно в те часы, когда Петров летел в Москву», и «сочетание трагических событий» было

«необыкновенно».

3 июля Совинформбюро дало сводку о потере Севастополя.

Петров, как и Ильф, не дожил до сорокалетия.

Читаю этот горький петровский отчет, и другие его трагично-пафосные корреспонденции времен войны — все-таки журналистские тексты Катаева того же времени гораздо более легкомысленны и водевильны, и дело, мне кажется, не в степени испытываемой опасности, а в настрое. Например, 5 июля, в день похорон Петрова, между прочим, главного редактора «Огонька», в журнале вышел катаевский очерк об артисте-осетине Туганове, ставшем конногвардейцем. Он блистал на сцене московского цирка вместе с «труппой донских казаков», пока не пришла война, на которую все и отправились добровольцами. Однажды капитан по ошибке заехал в село, занятое немецкими автоматчиками. По наезднику открыли шквальный огонь. «Он свалился с седла и повис на стременах под брюхом лошади. Это был его излюбленный номер джигитовки». Когда лошадь вынесла из села, циркач «вскочил на седло и умчался, как вихрь, в развевающейся бурке и в развевающемся алом башлыке. Немцы ахнули, но было уже поздно».

«Я никогда не видела такой привязанности между братьями, как у Вали с Женей, — вспоминала Эстер. — Собственно, Валя и заставил брата писать. Каждое утро он начинал со звонка ему — Женя вставал поздно, принимался ругаться, что его разбудили… “Ладно, ругайся дальше”, — говорил Валя и вешал трубку».

Долматовский, присутствовавший при конфликте в гостинице «Москва», вспоминал, как много позднее, сидя у моря в Коктебеле, Катаев обернулся с лицом, искаженным болью:

— А у вас когда-нибудь погибал младший брат?

Эренбург вспоминал: «Пришло сообщение о смерти Петрова. Я пошел к Катаеву, у него был Ставский. Мы сидели и молчали». (Ставский погибнет в 1943-м.)

Да, молчали. Катаев молчал. И молчал о случившемся всю жизнь… Он даже домашним ничего не говорил. Павел Катаев записал: «У меня сложилось убеждение, что отец готов говорить о живом брате, но никогда — о мертвом».

А вот воспоминания Эрлиха: «Мы с Валентином Катаевым достали ключ от осиротевшего номера в гостинице “Москва”. Бродили по комнате, машинально притрагивались к ручкам и карандашам в пластмассовом стаканчике на письменном столе, которые так и не дождались на этот раз возвращения своего хозяина.

Мы долго не находили никаких слов. Наконец Катаев сказал:

— Завтра или послезавтра, не позднее, здесь поселится новый

жилец.

Это значило: надо позаботиться о вещах покойного, и прежде всего об его рукописях.

— Да, — согласился я, — давай, я помогу перенести вещи к тебе в номер.

— Нет, не надо их здесь, в гостинице, хранить. Забери их лучше с собой, на Лаврушинский… Домой отвези. А когда будет комиссия по наследству, все передашь будущему председателю…»

В романе «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» Катаев писал о янтарно-коричневых глазах брата, «как бы знающих что-то такое, чего никто, кроме него, больше не знает», и несколько манерно, вероятно, искусством камуфлируя боль, продолжал: «Он был обречен. Ему страшно не везло. Смерть ходила за ним по пятам…»

«Смерть долго гонялась за Петровым, наконец его настигла», — написал и Эренбург.

«В 1942 году в январе месяце я оказался в одном купе с Валентином Петровичем во время поездки в Ташкент, — вспоминал Кирпотин. — В Челябинске в купе подсела Герасимова. Катаев сильно скрашивал томительность поездки. Разговорчивый, веселый, гибкий, он легко подхватывал любую житейскую или литературную тему и весело, остроумно развивал ее. Говорили о погибшем брате, Евгении Петрове. Он его осуждал. Он бы избежал на его месте любой опасности». Так воспроизводит слова Катаева тот, кто относился к нему недоброжелательно.

Однако в январе Петров был жив (да и Герасимова в Ташкент не ездила, зато позднее рассказывала, как заступалась за Эстер в Берсуте, когда завистливые писательские жены требовали от той, нарядно-изящной, мыть полы. А дочь поэта Алексея Суркова Наталья передала мне родительский рассказ: однажды Эстер в подаренных мужем брильянтовых серьгах, с которыми не расставалась, стирала в корыте. Проходившая мимо местная женщина с издевкой окликнула: «Барыня!» — «Закончу стирать, и буду снова барыней!» — в тон ей ответила Эстер).

Но о чем бы и когда бы Катаев ни разглагольствовал, он и сам рисковал в поездках по войне под обстрелами, а впереди был даже полет на штурмовике…

Кирпотин выписал из их разговора в поезде (ну, может, не январского, а осеннего) одну катаевскую юношескую историю времен Румынского фронта, которую я уже упоминал: измотанный (прежде всего — психологически), холодной ночью лег в студеную воду, надеясь получить воспаление легких. Все это было «близко к передовой линии», — подчеркнул Кирпотин, недвусмысленно связав то «малодушие» с уползанием от новой

войны в среднеазиатский тыл.

Такой эпатажный разговор в те адовы дни был сам по себе небезопасен… Зачем Катаев выставил себя пораженцем? Решил подыграть собеседнику, считая его трусоватым?

Или уничижение паче гордости? Может быть, тревожила память об отваге, ныли геройские раны и бывший офицер гасил горечь злейшей самоиронией…

В Ташкент Катаев был командирован в августе и прибыл осенью. Перед командировкой руководитель Бюро национальных комиссий СП СССР Петр Скосырев просил его выяснить положение дел у всех эвакуированных и предупреждал о ненадежности и лукавстве «узбекских товарищей»: «Есть подозрение, что Алимджан[121] прямо заинтересован в непоявлении узбекских вещей в русской печати». «Приехал В. Катаев, — записал Всеволод Иванов. — Встретились в столовой — не поздоровались» (скорее всего, Катаев разделял недовольство писательского руководства тем, что Иванов будто бы «дезертировал» — нарочно застрял в Ташкенте, хотя изначально направился туда просто сопроводить семьи).

В Москве в Союзе писателей Катаеву выдали опросник, чтобы проинспектировать эвакуированных и выяснить их «бытовые условия». Он навестил детей и вдову Петрова, пил с писателями, вдыхал «густой осенний зной» и сочинял стихи… «Ахматова переживает вторую славу, надо обязательно зайти к ней и посмотреть, как это выглядит», — сказал по приезде Надежде Мандельштам. А еще недавно, пока не было Катаева, Эстер с детьми в Куйбышеве проведал Петров. Павлик запомнил, как дядя, худой человек в гимнастерке, снял его с грузовика. Катаев привозил детям «фронтовой» пористый шоколад. Они его любили. Вообще же, ели мало и делились пищей с местным полуголодным мальчиком во дворе.

Иванов записал в дневнике, что его приятель поэт Виктор Гусев «жаловался на Вальку Катаева, который не любит свою семью и семью Петрова, который суть загадочный человек». Много ли мог знать о чужих чувствах Гусев? Если он говорил об участливости и заботе, то Катаев, как слон, нес на себе не только свою семью, но и родных жены, постоянно помогал и вдове брата с племянниками. Но человек он и правда был загадочный. Обособленный. Закрытый. Сложно сказать, насколько он откровенничал с родными и был им понятен, если для них до самого конца оставалась тайной его служба у белых…

В Ташкенте Катаев — тосковал и любовался.

Это ведь в тех краях он признался Надежде Мандельштам, что, увидев верблюда, вспомнил ее мужа, и сразу потекла лирика:

Пустыни Азии зияют,
Стоит верблюд змеиномордый.
Его двугорбым называют,
Но я сказал бы: он двугордый.

Четверостишию явно не хватало посвящения «О. М.».

И там же написалась такая стихотворная «Лолита», которую спокойно печатали в советском собрании сочинений:

Есть у Гафур Гуляма дочь.
По очерку лица
Халида смуглая точь-в-точь
Похожа на отца.

Но только меньше ровный нос,
Нежнее кожи цвет.
И говорят пятнадцать кос,
Что ей пятнадцать лет.

Она в саду цветет, как мак,
И пахнет, как чабрец.
Стучи в резную дверь… но так,
Чтоб не слыхал отец.

Тем же 1942 годом Катаев датировал четверостишие «Могила Тамерлана»:

Бессмертию вождя не верь:
Есть только бронзовая дверь,
Во тьму открытая немного,
И два гвардейца у порога.

По мнению Павла Катаева, стихи посвящены Мавзолею Ленина на Красной площади, что, в общем-то, лежит на поверхности. Спустя годы возникнет перекличка, когда Катаев назовет свою повесть об Ильиче «Маленькая железная дверь в стене». Но тут было и пророчество о развенчании другого «гения и вождя», «великого полководца»…

Да уже и тогда, минуя любую цензуру, в военной повести «Жена», «памяти Евгения Петрова», героиня Катаева, переживая гибель мужа-летчика, увидела в трагическом бреду: «Слава и смерть складывали в пустыне войны свой мавзолей из гигантских,

полированных плит. Смерть клала — черные лабрадоровые плиты. Слава клала — красные, гранитные. Я подвела Андрея к темной бронзовой двери. Дверь отворилась. Я поцеловала Андрея в закрытые глаза и гипсовые губы. И уже нечем было дышать».

Кстати, именно это — по-моему, самое пронзительное — место заметил критик Ермилов в газете «Литература и искусство», назвав «“изобретением” плоховато-эстетского пошиба», «чуждым простому и суровому величию наших дней».

Смерть побеждает славу.

Вот бронзовая дверь — пустой прах, вот резная — пятнадцать девичьих кос…

В 1949-м Катаев вернулся к тому же образу в романе «За власть Советов»: у мавзолея «в красных и черных, гранитных и лабрадоровых плитах» у открытой двери «на часах стояли два курсанта»: «За этой бронзовой дверью мерцала таинственная, бархатная тьма».

«Бессмертию вождя не верь»…

1943-й

Немцы уже для всех очевидно проигрывали. Катаев писал:

Голубой пожар метели
И победный шум знамен.
Волга в белой спит постели.
Грозно стынет синий Дон.

Льется огненная лава.
Враг бежит, от страха пьян.
Где ж твоя былая слава,
Потрясенный великан?

Погоди-ка, погоди-ка,
То ли будет, то ли ждет!
Волжский лед тебя остудит,
Русский пламень обожжет.

Вижу я, как у дороги,
У крутого бережка,
Рухнут глиняные ноги,
Треснет медная башка!

Силой нашею проучен,
Ты рассыплешься навек
У таинственных излучин
Двух великих русских рек.

В феврале 1943 года грандиозная Сталинградская битва завершилась разгромом и пленением отборной группировки противника.

Летом состоялось самое крупное танковое сражение в истории — Курская битва. Стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая дальше только наступала.

Тем летом по дороге на фронт Катаев заехал в Ясную Поляну. В пруду купалась солдатская рота, и в этом ему привиделось что-то толстовское, будто из «Войны и мира».

Без обмундирования и нужных бумаг он прибыл в 12-й танковый корпус генерала Митрофана Ивановича Зиньковича. Встретили сурово: не шпион ли? Но недоразумение быстро

разрешилось, писателя обрядили в военную форму.

Катаев вспоминал, что искал корпус Зиньковича по компасу, идя по неубранным полям, мимо мертвых танков. Вдруг он услышал звук бомбардировщика, а затем — оторвавшейся от самолета тонной авиабомбы. Он прыгнул в ближайшую воронку и лежал, уверенный, что бомба падает прямо на него. «Я понимал, что наступили последние секунды моего существования на земле, и в эти последние секунды под ужасающий свист бомбы я не увидел, а как бы ощутил не только всю мою жизнь от самого рождения до смерти, но как бы соединился таинственным образом со всеми моими предками, как ближними, так и самыми отдаленными… Тесно прижавшись ко мне, стояли на коленях мои маленькие дети — Павлик и Женечка — и жена, которых я мучительно любил больше всего на свете и которых я видел последний раз в жизни…» Бомба взорвалась в стороне.

Из впечатлений Катаева о боях на Орловско-Курской дуге родился рассказ «Виадук». Бои за Орел. Полевая жена генерала девушка Клава подала вареную гусятину и водку, но времени нет — генерал и гость поехали на передовую в сопровождении этой девушки и лейтенанта. «Доро́гой лейтенант успел объяснить обстановку… По приказу Верховного главнокомандующего вся танковая часть должна быть переведена на тот берег и взять Золоторево не позже 23.00, а переправа находилась под сильным воздействием немецкой артиллерии». Катаев, по рассказу, попал со всеми под сильный обстрел, в дожде помогал эвакуировать мирных жителей из трубы туннеля: «Я схватил за повода двух лошадей, жавшихся к стене, и выбежал вместе с ними».

Генерал спросил, есть ли у него оружие. Была «дрянь» — итальянский пистолет «Brevettato» и то без патронов.

«— Лейтенант, при первом удобном случае достаньте писателю приличный пистолет.

— Слушаюсь.

Лейтенант был очень вежливый молодой человек с утомленными глазами и сдержанным, тихим голосом… Вероятно, он был хороший сын и аккуратно писал матери».

Вскоре генерал, сбежав с насыпи, протянул рассказчику «какой-то красный предмет, похожий на печень».

«— Что это?

— Пистолет, который я приказал для вас достать лейтенанту.

И он сунул мне в руку маленький пистолет в кобуре, сплошь залитой кровью.

— С убитого немца? — спросил я.

— Нет, это пистолет лейтенанта… Лейтенант убит… Возьмите, — сказал генерал решительно. — Выполощите кобуру в

ручье, а свой “Бреветато” выкиньте.

Я некоторое время стоял, не зная, что делать, и держал перед собой окровавленную кобуру с пистолетом лейтенанта. Это все было, как во сне. Потом я вынул из кобуры маленький, ладный, чистенький, хорошо смазанный маузер и выполоскал кобуру в ручье».

Когда вернулись с передовой к генеральской палатке, рассказчик увидел, что после авианалета «миска гусятины была вся засыпана черной, рыхлой землей».

По воспоминанию Павла, пистолет с простреленной кобурой лежал в Переделкине в ящике письменного стола и был для него привлекательной игрушкой. С войны Катаев привозил и осколки — разложив на столе, рассказывал историю каждого и о местах, где подобрал. На том же столе «мал мала меньше, точно матрешки» стояли и снарядики.

Но от них, так же как от пистолета, Катаев вскоре избавился — все-таки дома подрастал мальчишка…

Катаев лежал с генералом и боевым охранением в полевых зарослях «на великолепной орловской земле» под непрерывным минометным обстрелом и пулеметным огнем «мессершмиттов». Он рассказывал снарядившему его в командировку Ортенбергу, что риск был велик, но почему-то это не тревожило: «Первый раз, когда я не почувствовал особого страха, — впереди никого из наших не было, а только… восемнадцать немецких танков».

А мины ложились на поле густо и близко, так что генерал в сердцах сказал:

— Ну чего вас сюда принесло?

Но Катаев трезво и опытно оценивал вероятность смерти. Он писал в «Красной звезде» в очерке «Во ржи»: «Немец бьет наугад, а все остальное уже дело случая… Все “безопасные” звуки, как бы громки они ни были, не задерживали на себе внимания, существовали где-то, как бы на втором плане. Все звуки “опасные” в свою очередь делились на просто опасные и смертельно опасные и в соответствии с этим занимали в сознании более или менее важное место».

И вот началась атака.

«— За родину, за Сталина! — крикнул чей-то хриплый голос.

И мы услышали протяжное, раскатистое “ура”.

Грянули пулеметы, автоматы…

Неслись на запад немецкие грузовики, самоходные пушки, кухни, танки. В жизни я не видел более приятного зрелища!

…На душе было восхитительно легко. Я смотрел на потную рабочую спину генерал-майора, и почему-то мне вспомнилась “Война и мир” и Багратион, идущий по вспаханному полю, “как

бы трудясь”».

5 августа Орел и Белгород были освобождены (в честь чего был дан первый салют во время войны).

Митрофан Иванович Зинькович, по катаевской характеристике, «неслыханной храбрости человек», погиб 23 сентября 1943 года у города Григоровка при форсировании Днепра и получил посмертно звание Героя Советского Союза.

Возвращаясь с фронта, Катаев купил у колхозницы бельевую корзину грибов — белые, подберезовики, грузди, маслята, — которые с трудом увязал в шинель, эти военные грибы он вспоминал всю жизнь.

Уже летом 1943-го Эстер с детьми вернулась в Переделкино. В сентябре Катаев с ней и дочерью перебрался в Москву, а за городом оставили Павлика с бабушкой Анной и двоюродным братом Левой, чей отец погиб в начале войны в московском ополчении.

В начале июля Катаев принял участие в совещании в Союзе писателей «о юморе», где присутствовали и Эренбург, и Зощенко. О последнем Катаев говорил, как об одном из моторов журнала «Крокодил», и призывал без оглядки смешивать смешное и страшное, легкомысленное и мужественное: «Я был на фронте под Сморгонью, как и Зощенко. Мы были между двумя очень серьезными боями. Человек начинает жарить анекдот невероятный — хохот стоит, все веселы, начинают танцевать, а потом в бой идут веселые».

Осенью он вернулся на дачу, оставив в Лаврушинском Эстер и Женю, которая пошла в первый класс. Помногу работал в своем кабинете на первом этаже, иногда выезжал в Москву и на фронт и гулял по Переделкину с Павликом и Левой. Как-то на переделкинском поле они подобрались к зенитному орудию, которое вблизи оказалось муляжом.

Той же осенью Катаев на Калининском фронте. «Здесь русский город был», — писал он, оказавшись среди руин недавно освобожденного города Белый, через который лежали дороги на Смоленск, Вязьму, Ржев и Великие Луки.

Здесь думал я: ведь это вся Европа
Сюда стащила свой железный лом,
Лишь для того, чтоб в зарослях укропа
Он потонул, как в море золотом.

Кто приподнимет тайную завесу?
Кто прочитает правду на камнях?
И две старушки маленьких из лесу

Несут малину в детских коробках.

Затем — под Духовщиной, где тогда шли тяжелые бои и стоял вражеский полк, командир которого приказал повесить Зою Космодемьянскую. Отсюда для «Красной звезды» был привезен очерк «В наступлении», там и тут вспыхивавший метафорами: «Беспрерывно впереди, в кустарнике раздаются маленькие взрывчики, как будто кто-то бьет электрические лампочки. Это разрывные пули… Автоматчики ведут пленных немцев. Их только что взяли. Мокрые, грязные, похожие на арестантов, бредут они, низко опустив головы в серых пилотках. И дождь вокруг них блестит стальной решеткой».

Здесь, на фронте, Катаев встретил Шолохова. «Я не сразу узнал его. Пилотка, шинель, пистолет. Ничего похожего на знаменитого писателя. Скорее всего, это пехотный капитан. С небольшой группой товарищей он пробивался по лесу к командному пункту. Над лесом с шумом проносились немецкие пикирующие бомбардировщики. Изредка свистели бомбы, и лес был потрясен разрывом крупной фугаски. Падали ветки, сбитые осколками. Впереди заливались пулеметы. Шел бой. Мы встретились как будто вокруг не происходило ничего особенного…»

8 сентября 1943 года состоялся Архиерейский собор Русской православной церкви, избравший патриарха, — участников доставляли в столицу на военных самолетах. Вместо прежних гонений на духовенство власть начала возрождение религиозной жизни. В Ленинграде было возвращено 20 ведущих топонимических названий имперского времени (Советский проспект стал опять Суворовским и т. д.). В официальных церковных документах, прошедших государственный контроль, Москва стала порой именоваться «Третьим Римом». Катаев откликнулся на такие перемены стремительно. Уже в октябре 1943 года в журнале «Красноармеец» появился прямо-таки дореволюционный рассказ «Отец Василий». Немолодой священник с глазами «твердыми и прозрачными, как лед», словно бы срисованный со старика из повести «Отец», рассказывает, как служил в храме «под немцами» и о проповедях, которые произносил: «Я говорил моим прихожанам о святом Александре Невском, победителе немецких псов-рыцарей на Чудском озере, я говорил им о Дмитрии Донском, победителе татар на поле Куликовом, я говорил о двенадцати языках, вторгшихся на нашу родину под знаменами Наполеона… И каждую службу я возносил молитвы о великом русском воинстве — о даровании ему победы

и одоления над всеми его врагами и супостатами». Пономарем у отца Василия был партизан Никита Степанович, синеглазый, «с черепом лысым, как у апостола».

Отмечу здесь, что Михаил Кедров, третий младший брат умученных святых — архиепископов Пахомия и Аверкия (троюродный брат Валентина Петровича), после революции оказавшись в Польше, избежал репрессий и в 1948-м в Елоховском соборе был рукоположен патриархом Алексием Симанским во вроцлавского епископа для Польской православной церкви. Умер в 1951 году и похоронен в Белостоке.

В 1943 году в «Новом мире» вышла странно отстраненная от войны повесть «Электрическая машина» из уютного мира досоветской Одессы. Петя и Гаврик — о эти русские Том и Гек! — сняли три рубля в Государственном казначействе с золотым орлом на фасаде и двумя портретами внутри — «царя в голубой ленте и царицы в жемчужном кокошнике» и провели целый день в поисках страстно желанной таинственной «электрической машины»: если крутить ее ручку, загорится лампочка. В конце концов они купили «элементы Лекланше»: цинковые палочки и угольные пластинки, затем в аптеке — перекись марганца и пять фунтов нашатыря и кокс на угольном складе. Но дома весь мальчишеский пафос разбился о холодный скепсис Бачея-старшего:

— Лампочка не будет гореть… Слишком слабый ток…

Инженер-электронщик из Зеленограда Александр Трубицын обратил мое внимание на техническую сторону повести, меняющую ее смысл. Если бы папа не был гуманитарием, он помог бы ребятам составить батарею, провести опыты, Петя со свойственным ему азартом блистал бы знаниями электричества и дома, и в гимназии. Вот в чем подлинный драматический сюжет «Электрической машины». Счастье было рядом, но не был сделан последний шаг.

В том же 1943-м в «Новом мире» вышла катаевская повесть «Жена» о встрече на войне с молодой красивой женщиной по имени Нина (фабула была основана на рассказе жены летчика Морозова, который Катаев услышал по радио).

Вдова едет на могилу мужа, командира истребительного авиационного полка. Она сидит ночью в траве на расстеленной шинели автора, вглядываясь в «дымноголубой столб» вдали («немецкий прожектор из Орла светит»), и рассказывает историю своей любви. При всем объяснимом героическом схематизме сюжета в повести есть то, что незаслуженно сделало ее малоизвестной (раскритиковали, вот и прошла мимо читателя) — человеческие чувства и страдания. Нина бесконечно возвращается

мыслями в солнечный Крым, где началась ее любовь: теперь муж убит, а Севастополь сдан… Некоторые страницы в повести превосходны, 21-я глава точно достойна включения в любую военную антологию: утреннее блуждание по подмосковному лесу в предчувствии катастрофы, две бегущие старухи в серых платках, нарастающая догадка, возникшая из самого воздуха — все наложено на Седьмую симфонию Шостаковича, которого женщина слушает в исполнении эвакуированной труппы Большого театра, и одновременно, как в кино, проступает другая картина: наступление маленьких бодрых барабанщиков («безумная флейта осторожно, как шакал, шла за ними по слоистым пескам»). Тут, несомненно, Катаев — уже мовист. Даром что «в ложе правительства поднимался со своего места, отставляя бархатный стул, товарищ Вышинский».

И это не Нина, это Катаев в Куйбышеве, куда приезжал, навещая семью, 5 марта 1942 года слушал первое исполнение Седьмой симфонии в Театре оперы и балета.

«Жену» разругали. Например, в 1944-м в журнале «Знамя» Берта Брайнина отмечала в повести «отсутствие идейного стержня», особенно негодуя по поводу героини: «Трудно поверить, что такую бездумную овечку воспитала и вырастила наша действительность…»

1944-й

В марте 1944 года Катаев побывал под Уманью во время перехода через болота армии маршала Конева.

В марте же был свидетелем боев за город Кодыма.

Говорил ли он Кирпотину о том, что не стал бы рисковать, как Петров, но в путевых молдавских заметках в «Красной звезде» все время едва ли не мистически показывал себя в сложных полетах, словно бы ждущего повторения судьбы брата… «После Умани неожиданно сильный снежный буран. Сквозь белые, газовые вихри с большим трудом находим аэродром. Когда приземляемся — вокруг уже ничего не видно». Перелет над Днестром. Сердцевина Молдавии. «Самолет идет на посадку. Но вдруг, не коснувшись земли, опять круто взмывает вверх». Наконец, Карпаты. «Мощный ветер ревет, как водопад» — это Катаев несется в штурмовике над Прутом.

С войсками 2-го Украинского фронта он наступал по тем районам Молдавии, где шел со своей батареей в Первую мировую. Пил винцо в хате, закусывая мамалыгой с брынзой. «Он прилетел самолетом, с одним блокнотом в кармане, пришел в нашу деревеньку, с доброй улыбкой спросил:

— Ну, как тут живем?» — вспоминал военкор Леонид Кудреватых.

В апреле 1944-го советские войска вышли на рубежи крепко защищенного румынского города Яссы.

Тогда-то Катаев и попросился лететь на боевое задание. Он прибыл в 8-ю гвардейскую штурмовую авиадивизию и, пообщавшись с отчаянными летчиками, обратился к командиру Владимиру Павловичу Шундрикову: посадите меня в штурмовик. Тот наотрез отказался — слишком опасно. Но в этот день по радио передали благодарность Сталина за форсирование реки Прут и непосредственно «летчикам подполковника Шундрикова». Вечером начали отмечать, и среди застолья Катаеву удалось заполучить у командира разрешение на полет.

Пришлось сдержать обещание.

— Стрелять умеете?

— Я ведь артиллерист…

— Что увидите в воздухе, стреляйте.

— А если это будут наши?

— Наших не будет.

Полетели бреющим, на 50 километров за линией фронта…

Кудреватых писал: «Валентин Катаев на самолете-штурмовике занял место стрелка, место в хвосте самолета, ничем

и никем не прикрытое, продуваемое и простреливаемое со всех сторон. И слетал в роли стрелка на этом самолете на вражеские позиции, исполнил все положенные стрелку обязанности. А когда самолет, к счастью, успешно вернулся на свой аэродром, Валентин Катаев пересел на другую машину и улетел в Москву».

По горячим следам Катаев отчитывался так: «Я опускаю над собой прозрачный колпак и крепко его привинчиваю. Я сижу — глубоко и удобно — на широком брезентовом ремне, подвешенном между двумя бортами штурмовика против пулемета, обращенного назад».

Спустя 20 лет он рассказывал: «Сверху, из самолета, я видел дороги, бегущие обозы фашистов, панику, горящие Яссы и аистов, которые летели на нашем уровне. Спокойно, как веслами, махали своими крыльями, белые с черными. Возвращались на родину».

«Я сидел на заднем сиденье спиной к спине летчика и, прижав к плечу приклад крупнокалиберного пулемета, всматривался в облачное небо ранней весны», — вспоминал он через 30 лет.

2 мая 1944 года в «Правде» появилась его миниатюра «Кузнец». «Славные советские конники» преследовали немцев и румын. Но остановились: стерлись и сбились подковы. Тогда, как из-под земли, возник старец-молдаванин, когда-то кузнец, ныне похожий на мертвеца, показал нехитрые инструменты — щипцы, молот, меха, «выкопал в земле маленький первобытный горн» и начал ковать… Конники полетели снова вперед. «Туманное солнце и нежная апрельская лазурь мигали в зеркальных клинках».

10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу.

В августе, во время Ясско-Кишиневской операции была разгромлена Румыния.

А вот какие стихи сочинял Катаев в том году в Переделкине:

За стволы трухлявых сосен
Зацепившись вверх ногами,
Разговаривали дятлы
По лесному телеграфу.

— Тук-тук-тук, — один промолвил.
— Тук-тук-тук, — другой ответил.
— Как живете? Как здоровье?
— Ничего себе. Спасибо.

— Что хорошенького слышно
У писателя на даче?

— Сам писатель кончил повесть.
— Вам понравилась? — Не очень.

— Почему же? — Слишком мало
В ней о дятлах говорится.
— Да, ужасно нынче пишут
Пожилые беллетристы.

— А писательские дети?
— Все по-прежнему, конечно:
Павлик мучает котенка
И рисует генералов.

— А Евгения? — Представьте,
С ней несчастье приключилось:
Нахватала в школе двоек
И от горя захворала.

Но теперь уже здорова,
Так что даже очень скоро
Вместе с мамою на дачу
На каникулы приедет.

Это для своих.

А вообще для детей в том же 1944-м вышла книжечка «Бочка», состоящая из одного стихотворения, основанного на военном анекдоте:

Окопы немцев под горой,
А наши — на горе,
И вот мы занялись «игрой»
Однажды в январе.

Бойцы скатили с горы бочку с камнями, после чего перестреляли любопытных фашистов. На следующий день, когда те затаились, бочка с толом беспрепятственно докатилась до них и взорвалась.

16 сентября 1944 года в газете «Литература и искусство» поэт Надежда Павлович недоумевала: «Война — не игра, не забава, и не стоит воспитывать в малышах такое представление о ней».

Тогда же под раздачу попал Корней Чуковский. Он написал стихотворение-сказку «Одолеем Бармалея», поначалу расхваленную, но в последний момент вычеркнутую из антологии

советской поэзии лично Сталиным (немедля «Правда» назвала сказку «пошлой и вредной стряпней»). К слову, и сам Чуковский никогда не переиздавал эту странную, отдающую живодерством вещь. Звери политизированы и поделены на классово-правильных и неправильных. Они мучают и убивают друг друга, хорош и смельчак Ваня Васильчиков:

И всадил он Каракуле
Между глаз четыре пули…
Но взмахнул он что есть силы,
Острой саблей раз и два,
И от бешеной гориллы
Отлетела голова.
И, как бомба, над болотом
Полетела к бегемотам,
Изувечила хорьков,
Искалечила волков…
Ненавистного пирата
Расстрелять из автомата
Немедленно!

Не сомневаюсь в читательской искренности Катаева, сказавшего (по воспоминаниям Кирпотина) на Президиуме СП СССР соседу по Переделкину, с которым оставался и впредь в приятельских отношениях: «Ваша сказка “Одолеем Бармалея” — дрянь!»

«СЫН ПОЛКА»

9 мая 1945 года Катаев целый день — с самого утра и до салюта — катался в автомобиле по ликующей Москве вместе со своей семьей и дочками соседа Никулина.

В 1965 году Театр на Таганке поставил спектакль «Павшие и живые» — артисты читают стихи военного времени. Критик Наталья Крымова вспоминала: «На просмотре я слышала за спиной глухие рыдания, в антракте увидела — это был Валентин Катаев. Жена его плакала открыто, не стесняясь».

Катаев рассказал сыну, что однажды на фронте встретил солдата-мальчика в форме, пошитой по его росту… Одичавшего, обозленного, как волчонок, его подобрали в лесу разведчики, и он прижился. Потом в войсках Катаеву встретился еще один ребенок, и стало понятно, что это — типичная ситуация. Дети, которым некуда деться среди пожаров и пепелищ, прибиваются к солдатам.

Но, пожалуй, мне удалось найти наиболее вероятный прототип. Он возник еще 2 декабря 1943 года в катаевском очерке в «Красной звезде» «Труба зовет» о посещении Калининского суворовского училища: «11-летний воспитанник Коля Мищенко два года воевал с немцами. Его отца и мать расстреляли немцы в 1941 году. Коля ушел в отряд белорусских партизан. Потом он вместе с партизанами перебрался через линию фронта. Здесь он вызвался провести группу наших разведчиков во вражеский тыл…»

«Отец читал маме эту повесть по мере написания, и мы с сестрой также при этом присутствовали, — вспоминает Павел. — Очень хорошо помню папу во время работы… Он сидел, низко и как-то боком склонившись над столешницей, и быстро писал, заполняя страницу за страницей буквами, словами, фразами, соединяющимися в ровные строчки».

«Сын полка» появился в 1945 году в журнале «Октябрь» — сюжет хорошо помнят многие. Три солдата, возвращаясь с разведки, нашли в лесу в окопчике в вонючей зеленой луже спящего измученного ребенка.

«— Тише! Свои, — шепотом сказал Егоров.

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы — русские, плащ-палатки — русские и лица, наклонившиеся к нему, тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово:

— Наши…

И потерял сознание».

Ване Солнцеву двенадцать. Отец погиб на фронте в первые дни войны. Мать убили оккупанты. Бабушка и сестренка померли с голоду. Деревню спалили. Сбежал из немецкого «детского изолятора». Прятался в лесах. При всей упрощенности сцен, обстоятельств и характеров Катаев подтверждает образы доблестных богатырей какой-то точно найденной былинной интонацией. Если в повести и есть условность, то она неразрывно связана со сказочной поэтичностью. А главное, виден и вызывает сочувствие мальчуган-сирота с его страхами, надеждами, упрямством. Командир артиллерийской батареи капитан Енакиев отсылает его в тыл, но мальчик дважды с ловкостью чертенка ускользает от «профессора разведки» артиллериста Биденко, возвращается к бойцам и добивается своего: остается в полку. Он ходит по вражеским тылам со старой клячей, изображая «пастушка» и ведя за собой разведчиков, попадает в немецкий плен… Кошмар допроса, чудо освобождения, волшебно вкусная еда из солдатского котелка, фронтовая парикмахерская, баня, обмундирование, собственноручный выстрел из пушки «по Германии» — «На, паршивая! Получай!»… И еще одна картина, выпукло-жуткая: контрнаступление немцев превосходящими силами — неотвратимая гибель для капитана, замершего у орудия. Капитан спасает мальчика боевым заданием — доставить донесение в штаб, а сам принимает бой и под конец «вызывает огонь на себя».

Командир полка направляет Ваню в Суворовское училище.

Венчает повесть беспокойный сон суворовца. Бег по громадной мраморной лестнице, где поджидает старик-генералиссимус Суворов «с алмазной звездой на груди и с серым хохолком над прекрасным, сухим лбом»: «Он взял Ваню за руку и повел его по ступенькам еще выше, туда, где на самом верху, осененный боевыми знаменами четырех победоносных войн, стоял Сталин с бриллиантовой маршальской звездой, сверкающей и переливающейся из отворотов его шинели.

Из-под прямого козырька фуражки на Ваню требовательно смотрели немного прищуренные, зоркие, проницательные глаза. Но под темными усами Ваня увидел суровую отцовскую усмешку, и ему показалось, что Сталин говорит:

— Иди, пастушок… Шагай смелее!»

Вот оно — обретение отца.

(В поздней версии повести усатый призрак растаял, как не было, а финальные слова говорил все тот же Суворов.)

Безотцовщина, нашедшая приют в Суворовском, — жизненная

правда: например, мой дед погиб под Ленинградом, а отца приняли в Суворовское в Свердловске, где в основном были такие же сироты…

Ежедневно Катаеву приходили письма от узнавших себя в «сыне полка». Павел вспоминает:

«— А ты его знаешь? — каждый раз спрашивал я в надежде на чудо.

Но чуда не случалось.

— Конечно нет! Его же не существует!

Такой ответ каждый раз меня ужасно разочаровывал».

Успех повести был огромен, быстро вышел фильм, где главную роль сыграл детдомовец Юрий Янкин, Ленинградский театр юного зрителя поставил спектакль… Катаев, первым показавший отражение той войны в ребенке, не без сарказма называл Ваню Солнцева «своим оброчным мужичком» (по примеру Пушкина, называвшего так Емельяна Пугачева в связи с работой над «Историей Пугачева»)[122].

20 февраля 1945 года Президиум Союза писателей обсуждал, кого же выдвигать на Сталинскую премию. Надо признать: произведения подвергались достаточно квалифицированному разбору. Общее мнение по поводу катаевского «Отчего дома» выразил Леонов: «Когда прочитаешь эту пьесу, остается чувство неудовлетворенности… В сердце не остается…» Зато 15 марта 1946 года при обсуждении «Сына полка» возражений не возникло: достоин.

Повесть получила Сталинскую премию второй степени в области литературы (первая степень — «Молодой гвардии» Фадеева). В номере «Литературной газеты», посвященном лауреатам, детская писательница Александра Бруштейн писала: «“Сын полка” читаешь залпом, как в жаркий день пьешь родниковую воду. Повесть В. Катаева, несомненно, останется жить для многих поколений грядущих читателей, как глубоко-художественный документ эпохи». Произведение включили в школьную программу, использовали для «громких читок» в библиотеках и школах.

(«Читал деревенским мальчишкам несколько дней подряд, они слушали меня раскрыв рты со все выражающим увлечением…» — в 1945 году хвалил «Сына полка» в письме Катаеву их общий с Булгаковым приятель Юрий Слезкин.)

Одновременно Сталинской премии второй степени по драматургии удостоилась пьеса Владимира Соловьева об Иване Грозном. Похоже, за текстом критика Юрия Осноса в «Литературной газете» скрывался нехитрый подтекст — перебросить мост к Сталину: «Соловьев в своей пьесе “Великий

государь” показывает Грозного как великого русского патриота, передового государственного деятеля, осуществляющего исторически необходимую задачу создания мощного, централизованного русского государства. Грозный в “Великом государе” — это человек, творящий волю истории и глубоко сознающий эту волю, и поэтому оправданный перед современниками и перед потомками». Рецензент обелял и репрессии против враждебных бояр, от чего страдали невинные, сентенцией воеводы Воротынского: «Казался мне порой жестоким нрав царя. Но прав был государь: когда окрест него кишат такие змеи, так и ужа, принявши за змею, убить не грех». Характерно, что еще 3 апреля 1944 года Кирпотин записал в дневнике: «Катаев — намеком: Пьеса о Грозном. О народе забывают, пишут только о государях».

«ОДЕССКИЕ КАТАКОМБЫ»

Катаев жалел, что не попал в Одессу сразу после ее освобождения.

В марте 1945 года в четырех номерах «Известий» он напечатал очерк «Одесские катакомбы».

Валентин Петрович отправился с несколькими подпольщиками в катакомбы, образовавшиеся за сотни лет до этого в результате разработок ракушечника — камня, из которого построен город. В этих лабиринтах партизаны скрывались на протяжении всей румынско-немецкой оккупации: пекли хлеб, делали взрыватели для мин, печатали листовки, отсюда устраивали вылазки для диверсий: «Я то и дело хватался за блокнот и за карандаш, пытаясь как можно больше записать из того, что они рассказывали. Но потом я понял, что это — безнадежное дело. Об этом надо написать роман. И я дал себе слово непременно его написать».

В оптимистично-романтическом очерке Катаев умалчивал о том, что почти всех «катакомбников» разгромила румынская сигуранца, и о предательстве одного из чекистов-партизан Федоровича, из-за чего была схвачена и казнена главная группа во главе с капитаном госбезопасности Владимиром Молодцовым.

«Проходя мимо небольшой ниши в стене, я заметил несколько растрепанных, заплесневевших книг без переплетов. Я взял одну из них. Это была книга “Об основах ленинизма” И. Сталина. Я осторожно перелистал книгу и заметил, что многие места ее были отчеркнуты карандашом и на полях сделаны заметки».

Написать роман, приближенный к правде, было не так-то просто. Наиболее дерзко «катакомбники» действовали только в начале войны: взорвали румынскую комендатуру, расположившуюся в здании НКВД, где в 1920-м дожидался гибели Катаев, пустили под откос люкс-эшелон с администрацией для Одессы. Дальше были успешные «зачистки», которыми руководили бывшие белогвардейцы — начальник Восточного округа Румынской службы специальной информации Георгиу Ионеску (Георгий Андреевич Иванов, офицер царской армии, сотрудник деникинской контрразведки), его заместитель Ион Курерару (Иван Степанович Кунин, сотрудник деникинской контрразведки) и начальник отдела агентурной разведки Аргир Николау (царский и белогвардейский офицер Николай Васильевич Голушко).

В оккупированной Одессе происходило действие одного из

лучших и самых страшных произведений Катаева — небольшого рассказа 1946 года «Отче наш».

Женщина приехала с четырехлетним сыном к Черному морю за два месяца до войны и не выбралась. «Женщина была похожа на русскую. Мальчик тоже был похож на русского. У мальчика отец был русский. Но это ничего не значило. Мать была еврейка. Они должны были идти в гетто». Такое могло случиться с Эстер и Павликом… Вместо гетто они весь день кружили по морозному городу, а ночью замерзли насмерть на скамейке в парке. «Солдаты раскачали и легко бросили мальчика с подогнутыми ногами. Он стукнулся об женщину, как деревянный, и даже немного подскочил». А из уличного рупора, как и в прошлое утро, пропел музыкальный петушок и ангельский детский голос начал читать по-румынски «Отче наш»…

По сюжету следующей повести Катаева, в Одессе оказались отец (Петр Бачей) с сыном Петей, приехавшие из Москвы накануне войны, отрезанные от нее войной и войной разлученные…

РАЗГРОМ ЗОЩЕНКО

14 августа 1946 года грянуло постановление ЦК «по Ахматовой и Зощенко».

Для последнего все началось раньше. Весной 1943-го ему предложили стать ответственным секретарем журнала «Крокодил», но он отказался. В 1943-м в «Октябре» вышли первые главы его повести «Перед восходом солнца» — исповеди о попытках преодолеть тоску и страх, но затем журнал прекратил публикацию. 23 ноября Зощенко написал письмо «дорогому Иосифу Виссарионовичу», уверяя в научной ценности своей книги (теория условных рефлексов «была проверена на животных» и автор указывал на «полезную применимость ее к человеческой жизни»). Однако через десять дней появилась ругательная статья в «Литературе и искусстве» и прошло расширенное заседание Президиума Союза писателей — не только Фадеев и Леонид Соболев, но и Маршак, и давний друг Шкловский (о котором в повести сказано с теплотой) единодушно осудили произведение как «антихудожественное, чуждое интересам народа».

Для понимания того, что происходило с Катаевым, важно осознать, что в декабрьском постановлении Президиума СП СССР «О журнале “Октябрь”» его и Зощенко поставили рядом: «В журнале за 1943 год была напечатана пошлая пьеса “Синий платочек” В. Катаева и пошлая антихудожественная повесть М. Зощенко “Перед восходом солнца”». А в докладной Маленкову, которая уже цитировалась, разнос катаевской пьесы предварял обличения повести Зощенко.

В самом конце 1943-го, за несколько дней до Нового года, в номер в гостинице «Москва», где жил тогда Зощенко, пришел Катаев. Лидия Чалова, возлюбленная Зощенко, вспоминала: «Когда я уже одной ногой была в коридоре (как обычно, я спешила уйти, чтобы не мешать), услышала: “Ну, Миша, ты рухнул!”». Могло ли это звучать злорадно, если Катаев был братом по несчастью, пускай и младшим?

31 декабря Зощенко вызвали в «Крокодил». Он опасался ареста, но узнал, что его выводят из редколлегии. Вернувшись, он сказал Чаловой, что «это не страшно, если, конечно, решено ограничиться для него только этой мерой наказания. Словом, он был не так уж расстроен». Да и «Крокодилу» было не привыкать: первый раз журналом занялись еще в октябре 1933-го, тогда под контроль «Правды» его отдало Оргбюро ЦК, из-за чего уволились десять сотрудников, включая катаевского спасителя Якова Вельского, — часть сразу отправилась в лагерь или ссылку, часть

позже расстреляли…

Из дневников Кирпотина: «Никулин: Катаев подписал просьбу членов редколлегии “Крокодила” о выводе из состава редакции Зощенко. Потом, пьяный, просил прощения, целовал ему руки». Сами же Кирпотин и Никулин, изобличавшие Зощенко, просить прощения не собирались…

В феврале 1944 года в коллективном «письме граждан» в журнал «Большевик» говорилось: «Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, — это пьяницы, жулики и развратники». Однако затем Зощенко печатался в разнообразных изданиях, выпустил несколько книг, был награжден медалью «За доблестный труд», стал членом редколлегии журнала «Звезда».

9 августа 1946 года, общаясь с писателями и кинематографистами, Сталин сказал, что «недолюбливает» Зощенко («Человек войны не заметил»), назвал его безобидный и трогательный рассказ из «Звезды» «Приключения обезьяны» «балаганом» («Ничего ни уму, ни сердцу не дает») и спросил: «Что у Анны Ахматовой можно найти? Одно, два, три стихотворения». На следующий день в газете «Культура и жизнь» появилась статья проворного Вишневского «Вредный рассказ Мих. Зощенко». Через четыре дня ЦК вынес постановление «О журналах “Звезда” и “Ленинград”». Зощенко был назван «пошляком и подонком литературы», его рассказ — «пасквилем на советский быт и советских людей». Тогда же секретарь ЦК Андрей Жданов выступил с докладом, развивавшим и закреплявшим эти обвинения: Зощенко — «беспринципный и бессовестный литературный хулиган», Ахматова — «блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой».

Новую жизнь получило поступившее Маленкову в 1943 году антикатаевское и антизощенковское донесение, на котором появилась резолюция: «Переговорить с Пономаревым (начальником Совинформбюро. — *С. Ш.*) в духе записки. Кстати, надо выяснить, как Совинформбюро распространяет доклад т. Жданова».

Выясняли не только это. В донесении «Высказывания работников литературы и искусства о докладе товарища Жданова» 27 сентября 1946 года руководитель агитпропа ЦК Александров сообщал: «Некоторые драматурги чувствуют себя “попавшими в тяжелое положение”… Писатель В. Катаев сказал: “Что я дам в театр? ‘Белеет парус’ дал. Эта вещь прошла все испытания. А больше ничего. Подождем пока все успокоится”».

В разгар всей этой — прямо скажем — вакханалии Катаев,

очевидно, ощутив себя вакхом, 2 сентября 1946 года устроил скандал на Президиуме Союза писателей. Его мимоходом задел Поликарпов (неприятель, незадолго до этого убранный из секретарей СП СССР), упрекнув, что тот редко заглядывает в союз («вас на аркане не затащить»).

Катаев закипел (цитирую стенограмму):

— Я вам не мальчик и не гимназист приготовительного класса; извинитесь сейчас же или я немедленно уйду. Мне пятьдесят лет, я написал столько романов, я не позволю со мной так разговаривать…

Последовал ответ:

— Я не нахожу нужным извиняться перед вами.

Катаев покинул заседание, воскликнув:

— Ну и наплевать мне на вас!

Вслед ему раздалось поликарповское:

— Вот живая иллюстрация возмутительного отношения к своим обязанностям и поведения людей! И другой реакции я не видел со стороны Катаева.

— Он же невменяем, он пьян! — прояснил ситуацию Сурков (мол, и ушел еще выпить).

— А я и не видел его в другом состоянии в стенах союза, — откликнулся Поликарпов. — Бывают вещи, которые по цинизму своему переходят за предел допустимого здравым смыслом. Человек в опьяненном состоянии приходит обсуждать такой документ! (Постановление ЦК о «Звезде» и «Ленинграде».)

Василий Гроссман (с которым вместе добирались до Умани в 1944-м) попробовал заступиться, мол, не пьяный…

Но Катаев уже вернулся:

— Я не хочу быть гимназистом, около которого всё время машут розгой, — я не хочу этого!

Какая точная метафора его писательской доли…

И вот один из документов эпохи, за которым посвист розги, — 23 сентября 1946-го редактор Гослитиздата Дмитрий Юферев докладывал вышестоящим по поводу подготовленного сборника «Избранное»: «Заключаю, что рассказ “Отец” должен быть снят. Содержание рассказа составляют отношения старика-отца к сыну, молодому человеку “в офицерской тужурке”, попавшему в тюрьму после вступления Красной Армии в город… Психологическая усложненность рассказа напоминает о болезненных мотивах творчества Достоевского. Стиль разнороден. Натуралистические, мелочно-кропотливые описания чередуются с вычурными импрессионистическими фразами… Рассказ совершенно чужд нашей современности».

Через два дня после катаевских криков, 4 сентября, снова был

собран президиум — Зощенко и Ахматову исключили из Союза писателей. Присмиревший Катаев держал речь среди прочих: «Путь Зощенко был давно ясен. В условиях, когда наша страна стала так быстро шагать, когда начались пятилетки, когда мы победили такого страшного врага, как немецкий фашизм, — нелепо и неправильно пользоваться такой литературной аппаратурой, которой пользуется Зощенко… Мы должны помолодеть! Ведь раньше мы ругались, кричали, говорили правду!.. Так чего же нам бояться ради правды и пользы причинить какую-то неприятность товарищу? Это он поймет и простит…» и вдруг прибавил, словно бы для лучших времен: «Мне было стыдно за нас всех, когда я читал постановление ЦКВКП(б)».

Катаев выступал 17 сентября на общемосковском собрании писателей, констатировав невозможность послевоенного смягчения режима, о чем мечтали многие: «Мы все-таки потихоньку, надо сказать прямо, начали скатываться в болото… У нас у всех было некоторое успокоение и усталость легкая, которая бывает после страшного напряжения. Тут надо бы прямо смотреть в лицо истине, мы стали немного мягче, немного хотелось отдохнуть, мы стали, да простит меня аудитория, я отношу это в первую очередь к себе, немного обывателями». И далее напустился на того, о ком сразу сообщил: «Зощенко был моим большим другом в течение многих лет». Покаявшись, что разговоры с другом о литературе «не дошли до той острой серьезной критики, которая с моей стороны могла бы быть», он постарался представить того едва ли не помешанным (бьггь может, так прося к нему снисхождения, да и отсылая к сквозной теме повести — душевной болезни): «Когда Зощенко в последнее время начал подготовлять книгу “Перед восходом солнца”, он мне показывал куски книги, и я сказал: или ты сумасшедший, нельзя эту книгу выпускать, это неприлично. Там не только аполитичность, как у Ахматовой, а скрытое злопыхательство, какая-то патология, действительно, вещь может разложить молодежь. Я развел руками. Я до сих пор не уверен, что Зощенко не просто больной человек».

Обладатель орденов за Первую мировую, ценитель Ницше и психоанализа, автор главы в книге о Беломорканале (и в 1954-м считавший свое в ней участие правильным), сложнейший человек и прекрасный писатель, стал изгоем…

Теперь от него шарахались, как от заразного…

А он и сам отталкивал недавних знакомых, например, сделал вид, что не узнает актрису Елену Юнгер, повстречавшуюся на Невском, а когда она побежала за ним, говорил: «Разве вы не

знаете, Леночка, что нельзя ко мне подходить? У вас могут быть большие неприятности».

Знакомая Зощенко Сильва Гитович вспоминала, как боялись его «старые друзья», как затрепетал при случайной встрече один «давнишний, многолетний друг», и на контрасте давала другую историю: «В Ленинград приехал Валентин Катаев, позвонил ему и бодро закричал в телефонную трубку: “Миша, друг, я приехал, и у меня есть свободные семь тысяч, которые мы с тобой должны пропить. Как хочешь, сейчас я заеду за тобой”. Это было сказано в то время, когда неизвестно было, чем заплатить за квартиру и где раздобыть денег, чтобы на рынке купить хлеб. Действительно, очень скоро катаевская машина появилась перед домом. В открытой машине, кроме него самого, сидели две веселые раскрашенные красотки в цветастых платьях, с яркими воздушными шариками в руках, трепыхающимися на ветру».

Всеволод Иванов записал в дневнике 19 апреля 1948 года: «Катаев и Зощенко в Ленинграде. Катаев позвонил: “Миша. У меня есть 10 тысяч, давай их пропьем”. Приехал на одной машине, она ему не понравилась — велел найти “Зис-110”. Нашли. За обед заплатил 1200. Уезжая, вошел в купе и поставил три бутылки шампанского. — Объясняя свое поведение в инциденте с Зощенко, Катаев ему сказал: “Миша. Я думал, что ты уже погиб. А я — бывший белый офицер”».

В последней цитате существенно, конечно, откровение Катаева — он раскрыл свою тайну, показывая, что постоянно находится на грани катастрофы… А Зощенко пересказал тайну Иванову, а по сути, всему свету…

Повторим: ни жене, ни детям — про белогвардейство Катаев так ничего не сказал за всю жизнь…

Зощенко вообще был не прочь посудачить о Катаеве. Например, рассказывал тому же Всеволоду Иванову (в присутствии и по свидетельству его сына Вячеслава) о «встречах с участием вина и женщин»: «Описывалось утро с Олешей и Катаевым в доме последнего. Катаевская теща[123] ушла с другими домашними в синагогу. Катаев привел с улицы какую-то девку и уединился с ней в тещиной комнате. По этому поводу Зощенко коротко прокомментировал: “Валька же подлец, вы знаете”. Теща вернулась раньше времени и с шумом стала выгонять девицу из своей комнаты и из дому. Катаев бросил ее в беде и присоединился к гостям».

По воспоминанию сатирика Михаила Левитина, «Михаил Михайлович говорил, что из Москвы приезжал В. П. Катаев и убеждал, что он не виноват, что его вынудили, заставили, что самому ему в голову не пришло бы написать такое… Свой рассказ

о его приезде добрейший Михаил Михайлович закончил так: “И я его простил. А что с него возьмешь?”».

Катаевский недруг Каверин писал со слов Зощенко, что через полгода после постановления ЦК или даже раньше «пьяный Катаев, вымаливая прощение, стоял перед ним на коленях… Зощенко простил его и даже (судя по манере, с которой это было рассказано мне) отнесся к этому поступку с живым интересом».

Подло ли выступил Катаев? Подло. Подло, как поступили и остальные: от Маршака до Твардовского… Перечеркнул ли он свое поведение приездом в Ленинград? Для того времени это был смелый поступок…

Гитович продолжает живописать Катаева, прикатившего с двумя девицами:

«— Миша, друг, — возбужденно говорил Катаев, — не думай, я не боюсь. Ты меня не компрометируешь.

— Дурак, — сказал Михаил Михайлович, — это ты меня компрометируешь.

“Вот в этом-то и сказалась вся темная душа Вальки Катаева”, — грустно усмехнувшись, сказал Михаил Михайлович».

Теперь приходилось главным образом заниматься переводами. Но своей жене Вере с наивной верой в неведение вождя Зощенко пересказывал разговор, якобы состоявшийся между Симоновым и Сталиным:

«— Ну а как там у вас Зощенко?

— Что ж, ничего… Как будто работает… Из Союза его исключили…

— Как так исключили? Не надо было этого делать! У нас, в партийных кругах, так не поступают! Надо было помочь человеку, поддержать. Что же, значит, он и карточек не имеет?.. Выдать ему немедленно карточки!»

В мае 1947 года Зощенко вернули продовольственную карточку, в сентябре, по указанию Сталина, напечатали десять его «партизанских рассказов» в «Новом мире».

Но только после смерти вождя в июне 1953-го Зощенко приняли обратно в Союз писателей (активнее всех на президиуме за его «восстановление» ратовала навсегда оставшаяся сталинисткой Мариэтта Шагинян, но она оказалась одиночкой. Стеной встали исключавшие Зощенко и Ахматову Симонов и Твардовский. Симонов заявлял, что «исключили правильно», а принять в союз можно заново как переводчика и автора нескольких новых рассказов, «где есть попытка стать на правильные позиции»; справедливость исключения отстаивал и Твардовский, спросивший: «Я не понимаю, почему так хлопочет Мариэтта Сергеевна? На пенсию писателя это не влияет» — в

итоге не восстановили, а приняли по сути как дебютанта). Когда в 1954-м на встрече с английскими студентами Зощенко прямодушно сообщил, что «сатирически изображал не советских людей, а мещан», в прессе началась новая кампания шельмования. На собрании писателей он сказал: «Я унижен, как последний сукин сын… Не надо мне вашего снисхождения», в ответ прозвучал медленный голос Симонова: «Това*г*ищ Зощенко бьет на жалость».

Поздней осенью 1955 года Катаев вместе с семнадцатилетним сыном приехал в Ленинград. К ним в гостиницу «Астория» пришел Зощенко — писатели «тихо беседовали, устроившись на диване». Павел сделал несколько фотографий: «Вот он, худой, смуглый, с глянцевыми глазами, окруженными густыми тенями, внимательно слушает, держа папиросу чуть на отлете. А вот он, закинув голову, смеется, и я слышу его характерные тихие смешки».

Валентин Петрович вспоминал их последнюю встречу: «Все такой же стройный, сухощавый, корректный, истинный петербуржец, почти не тронутый временем, если не считать некоторой потертости костюма и обуви — свидетельства наступившей бедности. Впрочем, знакомый костюм был хорошо вычищен, выглажен, а старые ботинки натерты щеткою до блеска. Он был в несправедливой опале».

В 1956 году у Зощенко вышел однотомник рассказов и повестей, вторую большую книгу выпустили в июне 1958-го. Но доживал он раздавленный, изможденный, с больным сердцем…

22 июля 1958 года он умер.

«ТАК ОН НАД СЕРЬЕЗНОЙ ТЕМОЙ РАБОТАЕТ?»

28 января 1947 года Валентину Катаеву исполнилось пятьдесят.

9 февраля его избрали депутатом Верховного Совета РСФСР от Щербаковского округа Москвы.

В прессе не прекращалось пышное чествование… Казалось, эта пора возрастной спелости совпала с долгожданным полновесным государевым благословением. «Вечер, посвященный пятидесятилетию Валентина Катаева, начался необычно, — сообщала «Литературная газета», — юбиляр отсутствовал — он был на встрече со своими избирателями. Появление его во время начавшихся уже выступлений зал встретил стоя, горячими, долгими аплодисментами». В клубе писателей выступали Фадеев, Вера Инбер, Тихонов, Славин… В поздравлениях повторялось, что юбиляр не по возрасту молод и свеж…

Правда, говорят, Катаев огорчился, когда в связи с юбилеем не получил нового ордена. По крайней мере, сохранилось письмо утешавшего его Вишневского:

«Считаю, что к твоему 50-летию ты орден получить был должен. Поработал. Вчера говорил об этом. Получил согласие руководящих т.т. — и сегодня послал им официальное представление. Вот пока всё, что хотелось мне сказать… За народом служба не пропадет, дорогой мой».

Через несколько дней Вишневский ходатайствовал перед Ждановым о награждении Катаева орденом Трудового Красного Знамени. Но получил он этот орден спустя десять лет — к шестидесятилетию.

«У Катаева нет ни одной комедии, сценическая судьба которой сложилась бы счастливо» — эти спорные слова театроведа Владимира Фролова могут быть отнесены и к пьесе 1946 года «День отдыха». Но что считать успехом? Признание зрителей? Тогда все в порядке. Отношение критики и начальства? Тогда — нет. Вот и у этой комедии было мало прессы и мало инсценировок на родине, зато ее играли в европейских театрах, в Англии, Бельгии, Швейцарии. «День отдыха» десятилетиями шел во Франции, поставленный в парижском «Нувоте» *(Théâtre des Nouveautés)* режиссером Жаком Фаббри под названием «Je veux voir Mioussov» — «Я хочу видеть Миусова».

Живая, ловко закрученная комедия положений, местами пьеса абсурда, была далека от социальных бурь и при

незначительной правке могла идти и до революции, и в постсоветский период. Персонажи, очутившиеся в доме отдыха «Сыроежки», стали жертвами путаницы: кто с кем и чей, и пока путаница нарастает — сходят с ума от взаимной ревности, страха, непонимания… Фролов рассказывал о показе пьесы в Московском театре сатиры: «Непрерывно смеялся зрительный зал… И опять в этой пьесе трогала не только смешливая катаевская интонация, но и та лирическая задушевность, с какой автор относился к своим героям».

Впрочем, у Михаила Пришвина возникло совсем другое впечатление, и он воскликнул в дневнике: «Вот уж халтура!» Пьеса Катаева, по Пришвину, «вреднее, то есть ниже в отношении пошлости, чем Зощенко. Между тем в короткое время он заработал на ней около миллиона! И вообще, у него миллионы, и в то же время он ненавидит, наверно, правду советской власти, как дьявол».

«Я считаю, что из меня драматург не получился», — сообщал на склоне жизни Катаев, признавая свое умение «состряпать водевиль»: «По-видимому, я прирожденный беллетрист».

В 1946 году тридцатилетний фронтовик Константин Симонов, возглавивший «Новый мир», позвал «войти в редколлегию журнала и такого блестящего человека, как Валентин Катаев». В том же году он, вернувшись из Парижа, передал Катаеву «Лику» с надписью для него Бунина.

13 мая 1947 года Симонов, Фадеев и участник войны писатель Борис Горбатов были вызваны в Кремль к Сталину.

Вот как по горячим следам вспоминал ту встречу Симонов:

«Фадеев привел несколько примеров того, как трудно посылать в командировки крупных писателей. Среди других упомянул имя Катаева. Очевидно, вспомнив это, Сталин вдруг спросил:

— А что, Катаев не хочет ездить?

Фадеев ответил, что Катаев работает сейчас над романом, который будет продолжением его книги “Белеет парус одинокий”, и что новая работа Катаева тоже связана с Одессой, с коренной темой Катаева.

— Так он над серьезной темой работает? — спросил Сталин.

— Над серьезной, над коренной для него, — подтвердили мы.

Опять наступило молчание.

— А ведь есть такая тема, которая очень важна, — сказал Сталин, — которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей… у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У

них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, — сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: — засранцами, — усмехнулся и снова стал серьезным».

С весны 1947 года стала набирать обороты «борьба с низкопоклонством перед Западом» (в этом Тихонов и Фадеев обвинили литературоведа Исаака Нусинова за его книгу о Пушкине). В «Правде» появилась установочная статья «Советский патриотизм» одного из руководителей агитпропа ЦК Дмитрия Шепилова.

Через некоторое время «безродных космополитов» стали разоблачать во всех сферах — в критике, литературе, кино, науке, даже в архитектуре. Их лишали работы, исключали из партии, некоторых арестовывали.

3 сентября 1947 года Катаев писал:

«Уважаемый товарищ Шепилов, так как я сегодня улетаю в Берлин и не мог с Вами связаться по телефону — излагаю в нескольких строках в чем дело. В 3 и 4 №№ журнала “Звезда” была напечатана “Повесть о великом поморе” — писателя Н. А. Равича… 20-го августа с. г. в органе того же Культпропа Ц.К. “Культура и Жизнь” была напечатана статья некоего А. Михайлова — “Искажение исторической правды”, где он в неслыханно грубой форме, ссылаясь на перепутанные исторические даты и выдвигая очень сомнительные положения, обрушивается на тов. Н. А. Равича…Между тем до сих пор никто не хочет исправить ошибку, допущенную “Культурой и Жизнью”, путем напечатания ответа на статью А. Михайлова, и тем самым дать возможность тов. Н. А. Равичу продолжать литературную работу. Так как по словам тов. А. М. Еголина (еще один руководитель агитпропа. — *С. Ш.*) все материалы по этому вопросу находятся у Вас, я очень просил бы Вас ускорить разрешение этого вопроса».

Писатель Николай Равич, за которого заступался Катаев, был арестован в 1937-м, отбывал срок в лагере. Меньше чем через год после катаевского письма его арестовали повторно и выслали в Красноярский край, где он находился по 1954 год.

Катаев улетел в Берлин на I съезд немецких писателей, куда

прибыли литераторы из всех зон Германии. Он вспоминал посещение развалин имперской канцелярии: «Бродишь, переступая через ребра фундамента и через остатки внутренних стен, как по мертвым кварталам Помпеи». О скандале, случившемся на съезде, рассказывала «Литературная газета»: «Маленький человечек поднялся на трибуну и отрекомендовался: “независимый” писатель Ласки… С поразительной развязностью этот никому не известный субъект начал “защищать”… писателя Зощенко. Шум в зале нарастал…» Ответную речь держал Катаев: «Что, собственно, произошло с Зощенко? Зощенко у нас резко критиковали… А ныне новые рассказы Зощенко напечатаны в последней книге журнала “Новый мир”, и напечатаны они, собственно говоря, мною, так как я являюсь одним из редакторов этого журнала. О том, что рассказы Зощенко напечатаны, неизвестному Ласки, очевидно, неизвестно, так как он пользуется “устарелыми отмычками”».

Как уже упоминалось, действительно, «партизанские рассказы» Зощенко вышли в сентябрьском «Новом мире» (после того, как он отправил их сталинскому секретарю Поскребышеву). Важно, что слова Катаева появились в советской газете — таким образом, было зафиксировано: Зощенко не запрещен.

Накалялись отношения СССР с недавними союзниками. В Кремле ожидали новой войны вплоть до ядерной бомбардировки советских городов.

Одновременно с кампанией по борьбе с «космополитами» 17 мая 1948 года СССР первым официально признал государство Израиль и начал снабжать его оружием в войне с арабами. Надежды получить союзника на Ближнем Востоке — новое социалистическое государство — не оправдались. Вскоре Израиль стали обвинять в проамериканской ориентации. Был закрыт Еврейский антифашистский комитет, его руководителей арестовали и в 1952-м почти всех расстреляли. В феврале 1953 года после взрыва бомбы на территории советского посольства с Израилем были на время разорваны дипломатические отношения.

В послевоенные годы Катаев почти не выступал в прессе. Чем-то эта пропажа напоминала его же затишье 1930-х.

Репрессии прошлись по Лаврушинскому. В 1948-м в Казани на гастролях арестовали Лидию Русланову, из конфискованной квартиры в писательском доме начали грузовиками вывозить вещи. А ведь еще недавно Катаев восхищался ее фронтовыми концертами: «Звуки чистого и сильного голоса смешиваются с взрывами и свистом вражеских мин, летящих через голову». Павлу Катаеву запомнилось, как она пришла к ним в гости вечером, когда давали салют в честь освобождения Орла. Ее

освободят в августе 1953-го. «Мы с папой возвращались откуда-то, вошли в подъезд, и вдруг из тени вышла худая женщина в сером плаще и сказала: “Валя, это я”». В 1949-м забрали с концами писателя Давида Бергельсона, которого в чистопольской эвакуации дети (так запомнила Женя Катаева) почему-то называли «Чарли Чаплин с кипяточком». В 1949-м посадили Августу Уткину, сестру погибшего во время войны поэта, тогда же — писателя Дмитрия Стонова. И опять на допросах требовали показаний на знакомых и соседей. Евгения Катаева вспоминает: ночью ей казалось, что придут за папой, и она не могла заснуть. Но ведь он не враг, не шпион… Если она расскажет ему о своих страхах, он может рассердиться. Она боялась за отца, но от всех это скрывала.

Надежда Кожевникова, дочь писателя Вадима Кожевникова, утверждает, что ее родители «сидели в скверике, ожидая ареста, глядя на окна квартиры Катаевых, где должны были дать сигнал: пришли за ними или нет. По договоренности мамы с Эстер, если да, то Катаевы обещали меня удочерить, не дав отправить в детдом. Знаю от мамы, к сентиментальности не склонной».

Писатель Григорий Свирский приводил разговор с Катаевым зимой 1949 года: «— Как живете? — спросил я… — Как? Как и все! — отозвался он со своей одесской живостью. — Затылком к ростомеру… Опубликуешь что-нибудь. Ставят к ростомеру. Ждешь в холодном поту, то ли отмеряют, какую премию дать: первая — вторая — третья степень признания. То ли грянет выстрел…»

В это же время под посмертный запрет попали Ильф и Петров. Их книги изымались из библиотек.

Усиленно продвигалась идея уникальности и самодостаточности отечественного. Кто-то видел в происходящем обретение национального «я». «Переживаем события с космополитами, — записал Михаил Пришвин в дневнике 10 марта 1949 года. — Чувство радости освобождения от них перекликается со днями Февральской революции». Говорят, некоторые литераторы, подозреваемые в «космополитизме», стали приходить на собрания в рубахах, расшитых петухами и васильками.

В 1950-м, во внутреннем «новомирском» отзыве на рукопись Михаила Слонимского «Инженеры», Катаев нахваливал: «Очень современно, т. к. проливает некоторый свет на вопрос, имеющий широкое общественное значение, может быть даже коренное значение — “преклонение перед заграницей”… Борьба русских патриотов — инженера и профессора — с засильем иностранцев в русском машиностроении».

«Русские былины, — писал он в «Правде» в январе 1953 года, — это неисчерпаемый источник вечной красоты. Какое богатство могучих человеческих характеров, выражающих душу великого русского народа!»

О «космополитах» Катаев помалкивал («занят романом») — за все время кампании ни словечка. Несколько внешнеполитических фельетонов. Редкие плевки в сторону Запада.

27 сентября 1947 года в «Литературной газете» — «Ионыч из Вашингтона» о конгрессменах, отправившихся в турне в связи с «планом Маршалла», ослаблявшим влияние СССР и привязывавшим экономики опекаемых стран к доллару. «Они мыкаются по Европе из страны в страну и всюду суют свой нос… Они не стесняются распекать целые нации и делать строгие выговоры народам… Почтенным туристам, вероятно, очень хотелось бы бодрым шагом пройтись по нашей необъятной стране с палкой, тыкая ее в разные места:

— А здесь что? Баку? Заверните. А это — Урал? Заверните! Золото? Заверните. Нефть? Заверните».

25 марта 1950 года в той же «Литературной газете» он рецензировал книгу английского военного атташе Хилтона, высланного домой, после того как он, будто бы нарядившись в рваный полушубок, фотографировал секретный завод: «Не моргнув глазом, он ошарашивает читателя сообщением о том, что “народу не дают возможности получать книги дореволюционных авторов”, если только эти авторы не изображают действительности “в самых мрачных красках”. Прямо-таки непонятно, куда после этого деваться Пушкину с его “Евгением Онегиным” или Толстому с “Войной и миром”».

24 января 1948 года в «Литературной газете» вышел панегирик Украинской ССР в честь тридцатилетия ее образования: «Мой отец был коренной русский. Мать — коренная украинка. В моей душе с детских лет тесно сплетено “украинское” и “русское”. Вернее, даже не сплетено, а совершенно слито».

2 марта 1949 года Катаев комментировал в «Литгазете» постановление правительства «о снижении розничных цен»: «Каждый отныне сможет потреблять больше масла или булок, или мяса, или рыбы… Будет больше возможностей купить много новых книг или чаще посещать театр».

В1949 году он пришел в Литературный институт — вести семинар вместо взявшего отпуск Паустовского. «Элегантный, выдержанный в коричнево-песочной гамме», новый препод, по воспоминанию Инны Гофф, разочаровал и шокировал послевоенных бедных студентов, напирая на «материальные прелести» творчества:

«— Напишете роман — купите себе машину, пойдете в хороший ресторан…»

Позже она поняла: он вербовал их в литературу.

Гофф приводит стенограмму открытого катаевского семинара 4 ноября 1949 года — открытого во всех смыслах, раскованного и вольного вопреки суровому климату эпохи. «Катаев вел его своеобразно — комментировал выступления по ходу дела, спорил или соглашался».

На равных он говорил им о мастерстве — ритмических вариаций в прозе, проникновения и врастания в шкуру героя и свежих (навылет и наотмашь) сравнений: «Нужно заканчивать главы музыкально… Раз не можешь сказать разительно, то лучше промолчать… Скороговорок в литературе быть не должно».

Поэт Константин Ваншенкин вспоминал своего друга по Литинституту Ивана Завалия, учившегося у Катаева на семинаре. Тот поставил ему задачу (совсем по Бунину): фиксировать жизнь. Однажды студента задержали на улице Горького с тетрадкой, в которую он записывал все, что видит. Из отделения звонили в институт: есть ли такой и получал ли задание.

Парень был с Черниговщины, сын заврайотделом сельского хозяйства. «Катаевская наука засела в нем прочно», — грустно иронизировал Ваншенкин, проводивший с товарищем летний месяц на Украине. В поле или при дороге «Иван вытаскивал из-за пояса клеенчатую общую тетрадь, развинчивал авторучку и, пристроившись обычно на корточках, не таясь и не обращая внимания на реакцию окружающих, начинал записывать все своим характерным крупным почерком. Увлекшись беседой, его действия обычно обнаруживали не сразу, но, заметив, начинали посматривать с удивлением и ужасом…».

В 1955 году Завалий погиб под колесами поезда.

«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»

Роман «За власть Советов» вышел в «Новом мире» в 1949 году.

Бывший гимназист Петр Васильевич Бачей жил в Москве, стал крупным юристом. В июне 1941 года он отправился с сыном Петей в город детства, Одессу. Накануне ребенок не мог уснуть и смотрел на Кремль, «подернутый синей дымкой ночи» (вид из окна писательского дома): «Мальчик представил себе товарища Сталина, одного, в этот тихий и смутный предутренний час склонившегося над письменным столом, с дымящейся трубкой в крепкой, смуглой руке». Утром отца и сына увез в аэропорт голубой автобус «с двумя таинственными фонариками, розовато-синими, как медуница».

«Много лет спустя спросил у отца, что это за цветок такой — медуница, — вспоминал Павел. — И он мне ответил, что слышать слышал, а вот никогда увидеть ее не доводилось». Одна из разгадок обольстительности катаевской прозы — он уже тогда писал, как медиум, отдаваясь магии поэтического, свободно пропуская на страницу попросившееся слово. Хотя оставался точен — медуница по мере цветения меняет окраску с розовой на синюю.

Война застигла Бачеев во время расслабленного отдыха, и они застряли в Одессе. Петр Васильевич решил воевать, его зачислили в артиллерийский полк. Петя, отправленный в Москву на поезде, не доехал из-за разбомбленного моста, попал на теплоход, уходивший в Новороссийск, но начался немецкий налет, мальчика выкинуло в море взрывной волной, где его подобрала шаланда с работницами рыбоколхоза Матреной Терентьевной (Мотей) и ее дочерью Валентиной. Когда город был сдан, все трое присоединились в катакомбах к партизанскому отряду Мотиного дяди Гаврика Черноиваненко, «первого секретаря подпольного райкома». Позднее к ним примкнул попавший в окружение Бачей-старший. Подпольщики устраивали диверсии и агитировали народ на борьбу.

Из-за провокатора Андреичева были арестованы фашистами и казнены трое — партизан Святослав, разведчик Дружинин и юная Валентина.

В финале подземный обвал отсоединил отца от сына, разделил отряд на две группы, но обе чудесно выбрались наружу из лабиринтов — одни к советским танкам и талой воде ручья, «от которой, как от мороженого, ломило лоб», другие к штормовому морю с мчащими на Запад торпедными катерами…

«Я чувствовал себя молодцом, не предвидя, что в самом ближайшем времени окажусь примерно в таком же положении, — писал Катаев о своей последней встрече с Зощенко. — Так или иначе, но я еще не чувствовал над собой тучи».

А тучи сгущались.

3 октября 1949 года собрался Президиум Союза писателей. Катаева поругали за погруженность в «страну детства», слабую роль партии в партизанском движении и праздничную бутафорию вместо сурового драматизма. Единственным поддержавшим его без всяких оговорок был Сергей Михалков. Он назвал очень обидными и для себя нападки на талантливого человека, ведь завтра так же могут заговорить о нем самом. «Катаев написал книгу, в которой он очень хорошо, тонко и интересно раскрыл психологию ребенка… Есть отдельные куски, которые читаешь как стихи… И я хочу поздравить писателя с удачей». По поводу упреков в том, что Петя-младший — барчонок, Михалков включил иронию: «Я не знаю, у меня демократический сын или нет, дачи нет[124]. А у катаевского героя имеется дача, но неизвестно собственная или ее снимают?» — «Я сторонник того, чтобы дети жили в комфортабельных условиях», — сказал Катаев. В заключительном выступлении он слегка поскромничал («Как говорится, каждая девушка не может дать больше, чем она дает…»), но в основном хорохорился, нахваливая написанное. Отстаивая эпизод с тонущим Петей, он признался: «Я один раз умирал и мне показалось, что передо мной, — как это в плохих романах пишут, — прошла вся жизнь. Один раз я тонул, а другой раз меня ранили и я, теряя сознание, вспоминал отдельные куски». В итоге решили никакой резолюции не принимать.

8 октября 1949 года в «Литературной газете» ее главред Владимир Ермилов, начав с комплиментов роману, угрожающе (и проницательно) загромыхал: «Почему такое огромное место занимает в нем старая, дореволюционная Одесса?.. Устремленность не вперед, в будущее, а *назад,* в туман прошлого, окрашивает весь роман. Это роман, повернутый вспять… У Петра Васильевича ни разу не пробудилось естественное для любого советского человека желание ознакомиться со всем тем *новым,* что произошло в городе за советскую четверть века… От дореволюционной Одессы — к Одессе, захваченной фашистами, минуя двадцать четыре года советской власти, — вот какой “скачок” сделал писатель!»

Обвинение было тем более неприятным, что незадолго до этого Катаев публично заявлял: «При гитлеровцах и румынах происходило воскрешение старого мира».

Остроумно подловив автора на некоторых нестыковках и

огрехах, Ермилов делал суровые политические выводы: «Из романа выпало главное: формирование сознания, характера, психологии людей партией большевиков… Автор не заметил, что он исказил *облик партийного работника».*

12 ноября Президиум Союза писателей обсуждал выдвижение книг на Сталинскую премию. И опять на защиту Катаева встал Сергей Михалков: «Это книга и реалистическая, и глубоко патриотическая, и романтическая. Эта книга уже стала любимой книгой советских детей». Михалков под держал выдвижение романа «с чистым сердцем». Но взял слово писатель Михаил Бубеннов: «Роман Катаева “За власть Советов” является его крупнейшей творческой ошибкой… Катаев не чувствует, что клевещет на руководителей Одесского обкома партии…» Бубеннов продолжил топтать роман на следующем заседании 29 ноября: «В нем грубо искажается образ большевиков… Восторженно описываются старые улицы, меняла, частные магазины, гимназия и даже папиросные коробки старой фирмы!»

8 января туча как будто поредела. «Правда» напечатала статью критика Михаила Кузнецова (одессита по рождению) «Роман о советских патриотах». В целом книга Катаева была названа прекрасной, писателю (видимо, при переиздании) предлагалось сделать ярче и глубже отдельные сцены, связанные с партизанщиной. Заодно рецензент с презрением упоминал «усилия некоторых критиков» — ведь иной недобросовестный критик, «непомерно раздувая недостатки, имеющиеся в романе, по существу зачеркивает достоинства произведения». Полемика, казалось, затихала: статья в «Правде» — голос партии.

Не тут-то было. Внезапно обрушился град.

17 января судьбу романа должен был решать Комитет по Сталинским премиям.

Накануне и в тот же день опять в «Правде» (в двух номерах и оба раза на нескольких страницах) вышла статья все того же Бубеннова с серо-ледяным названием «О новом романе Валентина Катаева “За власть Советов”».

Сомнений ни у кого не возникло: одобрено на самом верху. Для верности сообщалось: редакция «полностью согласна с оценкой романа» и отмежевывается от предыдущей добродушной статьи Кузнецова — «неправильной» и «ошибочной».

Роман объявлялся негодным: «Чтобы это произведение вообще могло жить в литературе, его нужно подвергнуть коренной, решительной, глубокой переделке. Валентин Катаев не должен жалеть для этого ни времени, ни труда».

У публикации была особенная предыстория.

Писатель Николай Кузьмин, друживший с Бубенновым (даже

сообщение о его смерти приснилось ему накануне того, как принесли газету с некрологом), пересказывал в мемуарах, будто тот безуспешно обошел редакции со своей «статьищей», но везде получил от ворот поворот, и тогда отправился к главным воротам — Боровицким Кремля, где вручил большой конверт дежурному офицеру. Дело было в пятницу, а в субботу позвонил главный читатель (Бубеннов запомнил звук звонка как особенный, режущий).

Сталин разделил недовольство Катаевым. Посоветовал напечатать рецензию в «Правде». Пожелал успехов.

«Что происходило с Бубенновым, нетрудно себе представить. “Голова, рассказывал Михаил Семенович, прямо-таки пылала!”».

Дальше звонок Маленкова, предложившего разбить статью на газетные подвалы. Через минуту звонил главный редактор «Правды» Михаил Суслов: просил спуститься к подъезду, редакционная машина выехала.

Вышла газета. Разразилась гроза.

Катаев раскрыл зонт. Уже 24 января «Правда» опубликовала его заявление: «Я согласен со справедливой и принципиальной критикой моего нового романа “За власть Советов”, данной в статье М. Бубеннова на страницах газеты “Правда”. Обещаю своим читателям коренным образом переработать роман. Считаю это делом своей писательской чести». Перед глазами был пример Фадеева. В 1947 году «Правда» разругала его «Молодую гвардию», обнаружив занижение роли партии в руководстве подпольщиками, что означало недовольство Сталина. Роман вышел в переделанном виде только в 1951-м.

Вскоре после публикации «правдистской» статьи, воспроизводил Кузьмин со слов Бубеннова, к нему «своей неторопливой державной походкой приблизился Катаев, протянул руку и, задержав рукопожатие, улыбаясь волчьей безгубой улыбкой, негромко, задушевным тоном произнес:

— Помни, Миша, что ты вынул у меня из кармана миллион!

И с прямой спиной проплыл к выходу».

Отмечу: и Катаев, и Бубеннов находились в одной редколлегии — «Нового мира».

Кстати, критику Бубеннова предвосхитил Шкловский, в 1948-м сообщавший Катаеву в письме: «Конечно, вся книга тороплива… Большой трактор, а пашет маленьким плугом… Ты прошел уже по выработанному штреку. И не пошел дальше».

Анатолий Рыбаков, называвший Бубеннова, автора романа о войне «Белая береза», удостоенного Сталинской премии первой степени, юдофобом и алкоголиком, приводил такую его характеристику, распространенную среди литераторов: «Белая

береза, белая головка, белая горячка, черная сотня». (Добавим: Бубеннов был солдатом-минометчиком и «Белую березу» начал прямо на фронте.) В 1951 году в «Комсомольской правде» он выступил со знаменитой статьей «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» («Нередко за псевдонимами прячутся люди, которые антиобщественно смотрят на литературное дело и не хотят, чтобы народ знал их подлинные имена. Не секрет, что псевдонимами очень охотно пользовались космополиты в литературе»), его в той же газете поддержал обычно отмалчивавшийся Шолохов («Не к лицу молодым литераторам стыдиться даже неблагозвучных фамилий своих отцов и праотцов»), в «Литературной газете» резко заспорил Симонов, в итоге кампанию затормозил Сталин, заметивший на политбюро: «Если человек избрал себе литературный псевдоним — это его право, не будем уже говорить ни о чем другом, просто об элементарном приличии… Зачем насаждать антисемитизм?»

Неприязнь же Бубеннова к Катаеву, по мнению Рыбакова, объяснялась просто: «интеллигентный, умеет писать, одесский акцент — личность сомнительная».

Юрий Трифонов, дебютировавший в 1950 году в «Новом мире» повестью «Студенты», вспоминал разговор с главредом:

«Твардовский сказал:

— Вы не думайте, что вы всех очаровали. Даже в нашей редколлегии есть люди, которые протестовали резко.

Я посмотрел вопросительно, перебирая в уме: кто бы это? Спросил:

— Бубеннов?

— Бубеннов! — строго и с нажимом произнес Твардовский. — Главный наш зоил. Мужчина серьезный, имейте в виду. Как он Катаева-то поставил по стойке “смирно”! Но мы с ним не посчитались. И вообще, я думаю, он у нас тут не загостится…

Твардовский угадал: Бубеннов продержался в журнале недолго, опираться ему было не на кого, Шолохов далеко, остальные члены редколлегии — Федин, Катаев, Смирнов и Тарасенков — стояли, конечно, за Твардовского. Заседания заканчивались руганью Твардовского с Бубенновым.

Александр Трифонович умел людей, которые ему были неприятны или которых он мало уважал, подавлять и третировать безжалостно: и ехидством, и холодным презрением, а то и просто бранью».

29 апреля 1950 года на Секретариате Союза писателей Бубеннов громил роман «Сталинград» («За правое дело») Василия Гроссмана, который готовил к публикации «Новый мир». Отпор дал Катаев, похвалив «великолепный глаз Гроссмана»: «Меня

неприятно поразило, что товарищ Бубеннов не посоветовался с нами, беспартийными членами редколлегии, а бахнул во все колокола сразу. Зачем сразу писать Суслову?»

В те дни Валентин Петрович уже переписывал свое произведение по лекалам Михаила Семеновича…

Я не поленился сравнить оба варианта катаевского романа — раскритикованный Бубенновым и выправленный.

«Многое в романе производит впечатление нереальности, надуманности, фальши», — сообщал рецензент и переходил в атаку на «центрального героя»: «Трудно поверить, чтобы в городе могли называть Гавриком пожилого, почтенного человека, большого партийного работника, тем более что это уменьшительное имя, если им называют взрослого, иногда может приобретать не совсем хороший оттенок». Пришлось Катаеву заменить всюду легкомысленное Гаврик на Гавриил Семенович и «товарищ Черноиваненко», тем более основания были нешуточные. По утверждению Рыбакова (и об этом же Павел Катаев), Сталин сказал Бубеннову в телефонном разговоре: «Впечатляет место, где вы пишете о так называемом Гаврике. Правильно пишете. Гаврик по-русски — это мелкий жулик, мелкий мошенник. Встает вопрос — случайно ли такое имя, Гаврик, товарищ Катаев дал партийному руководителю? Не может быть такой случайности. Мне говорили, что Катаев — мастер литературы, может ли мастер литературы не знать, что такое означает на русском языке слово “гаврик”? Не может не знать».

Особенно возмутило Бубеннова мальчишеское веселье Гаврика в первые же минуты подполья. «Секретарь подпольного райкома партии, по заверению В. Катаева, сравнивает убежище, где разместились одесские большевики, с притоном контрабандистов! Что может быть кощунственнее этой сцены?!» Разумеется, в новой версии романа кощунство испарилось без остатка.

«Совсем странное впечатление производит Черноиваненко, когда он начинает говорить», — сердился Бубеннов на обилие жаргонизмов и просто одесский акцент «весьма неприятного человека». Что ж, все эти «слушай здесь!», «ша!» и «тэма» Катаев вымарал. Бубеннов — кстати, довольно аргументированно — показывал организационную беспомощность этого героя во всех делах. Пришлось корректировать сюжет. Разгневал рецензента и, по его выражению, «шут» — помощник Гаврика Леня Цимбал, который «вкалывал» песенки «с бодрой развязностью заправского одесского куплетиста». Конечно, в новой редакции пропали и такие ужимки персонажа, и его шальные куплеты. Немалое

раздражение вызвала Раиса Львовна, переживавшая за своего мужа, оставленного в городе для подпольной работы. Катаев переписал и эти страницы. Пришлось значительно расцветить и расширить историю партизанской борьбы с оккупантами. Оказалась вычеркнута наивнотрагическая песня подпольщиков, которую Катаев взял из жизни — не устроила Бубеннова их неоптимистичная горечь.

«Катаев пишет в одном месте: “С чувством некоторого неприязненного смущения Петя смотрел, как папа и Колесничук целуются прямо в губы и хлопают друг друга по спине. В глазах мальчика было что-то неестественное в их поведении…” Мы согласны с Петей: это производит вопреки желанию автора очень неприятное впечатление!» В новом варианте уже не целовались…

Кое в чем грубиянская критика, пожалуй, пригодилась: композиция первого варианта была рыхловата, а развитие сюжета строилось на несколько утомительных сюрпризах-случайностях, когда действующие лица безостановочно встречали друг друга («по какой-то чародейской воле автора», — как резонно замечал Бубеннов). События в переписанной книге стали логичнее и достовернее. Впрочем, Бубеннов усомнился даже в траектории падения мальчика за борт. Пришлось сокращать сочное описание, высушивая — убрав или заменив синонимом каждое слово, которое в «Правде» было выделено жирным.

Что действительно было отвратно в статье — поучения (между прочим, в прошлом сельского учителя), какие образы и даже прилагательные нельзя употреблять… «В романе Катаева слишком много пустых звуков!» — наставлял кондовый соцреалист, полагавший почему-то недопустимым писать: «учтиво заикаясь», «ненавидел пронзительно» или «ползс суставчатый червяк поезда». Ценителю прекрасного не понравился у партизанки неподвижный взгляд «светлых, прозрачных глаз с твердой косточкой зрачка». Что ж, Катаев эту «косточку» — извольте! — заменил на «зернышко». Но некоторые слова сдавать не захотел…

Несомненно, на переработанный роман легла мертвящая пелена официальной строгости. Исчезли вольности, способные вызвать высочайшее недовольство. Так, если в первом варианте бессонное лицо Сталина было «чуть тронутым двойным светом — светом зеленой рабочей лампы и парчовым светом дворцовых люстр», то теперь стало не до световых инсинуаций; в первом варианте Петя вспоминал демонстрацию и «веселого Сталина в белой майской фуражке и белом кителе», теперь эпитет «веселый» пропал. Может быть, вождю и тень отбрасывать не положено? Зато сохранился рассказ Пети в подземелье о том, как он видел

Сталина на первомайском параде («весь в белом и в черных сапогах»): «Мы аплодировали, кричали ура, все бросились к парапету, и я бросился» (сын Катаева именно так и реагировал на вождя, даже пытался вскарабкаться на Мавзолей, и Сталин ему благожелательно кивнул[125]). А вот «рыцарски-прямые, благородные черты» автор убрал от греха — лучше не детализировать бога…

Вообще, в обеих версиях романа было очень много Сталина (как нигде у Катаева). Он явился к заплутавшим в темноте, измученным жаждой подпольщикам. В катакомбах при свете гаснущего фонаря они нашли клочки желтой от времени бумаги, листовку, написанную в 1912 году, и Гаврик в мистическом экстазе понял — спасутся:

«— Товарищи, это голос Сталина! Он долетел к нам из глубины истории. Чуете его силу? Это он, сам Сталин говорит нам сейчас: “Мы живы”.

Черноиваненко полузакрыл глаза и медленно прошептал:

— …кипит наша алая кровь огнем неистраченных сил! Да! Неистраченных сил…»

20 июня 1951 года Чуковский записал в дневнике: «Видел Катаева. Он кончил роман. Три раза переделывал его. Роман обсуждался в издательстве, потом редактором, потом его читал Фадеев, — сейчас послали в ЦК. “Я выбросил начало, вставил его в середину, у меня начинается прямо: ‘они давно хотели поехать в Одессу — отец и сын — и теперь их мечта осуществилась’. Конец у меня теперь — они вернулись в Москву, вышли из метро — и только что кончился салют. Только две звездочки — синяя и розовая. А в самолете с ними генерал медиц. службы — не правда ли, здорово? И в метро они только перемигнулись. Это напомнило им штреки — в подземелье”. Сам он гладкий, здоровый, веселый. У него в гостях подружка его юности Загороженко». (Очевидно, Наталья Запорожченко, младшая сестра Женьки Дубастого.)

Начало романа и правда стало проще и как бы уютнее, концовка стала торжественнее.

26 августа Чуковский записал: «Работаю в малиннике. Подходит Катаев. “Какая чепуха у меня с моим ‘Белеет парус’, то бишь — с ‘За власть Советов’. Книга на рассмотрении в ЦК. Приходит ко мне 3-го дня Саша Фадеев. — Где твоя книга? Отвечаю: — в ЦК. — Почему же они так долго рассматривают? — Не знаю. — Саша поехал в ЦК, спрашивает, где книга. Отвечают: у нас нет. Стали разыскивать. Нашли у тов. Иванова. Тот говорит: книга у меня (она уже сверстана). Но я не знаю, зачем ее прислали. Ведь ее в Детгизе уже рассматривали, уже есть о ней

две рецензии, зачем же вмешивать в это дело ЦК? И постановили — вернуть рукопись Константину Федотычу[126]. И теперь милейшему Федотычу еще нагорит. Значит, книга моя через месяц может выйти. Вот здорово. Расплачусь с долгами. Я одному Литфонду должен 30 ООО. Попросил у Саши. Он весь побагровел. ‘30.000’[127].Сделаю ремонт в этом доме. Стены оставлю некрашеные… ”».

Переделанный роман был принят и признан.

Бубеннов вспоминал (в пересказе критика Зелинского), как летом 1954 года впавший в запой Фадеев сидел у него на даче:

«— Ты должен понять, что, естественно, люди моего поколения мне психологически ближе, понятнее. Со многими из них я пил водку, например с Катаевым. — При этом Фадеев громко захохотал и хлопнул меня по колену».

Здесь выскажу спорную, но гипотезу: еще до «Вертера», до слияния авторского образа с узником ЧК Виктором Федоровым, Катаев примерил тот же прием, перенеся себя в румынскую Одессу. Вот он, Петр Васильевич Бачей, человек с катаевской внешностью и биографией (от Канатной улицы, через Сморгонь, к Замоскворечью), несет «эти карие узкие глаза с южным юморком, окруженные суховатыми морщинками», по городу, в котором опять сброшены Советы. «Одесса стала модным местом, чем-то вроде Ниццы, где одни рассчитывали повеселиться, другие — завести коммерческие связи, третьи — купить дачу где-нибудь в районе Фонтанов или Люстдорфа и жить в свое удовольствие». Главка с ироничным названием «Человек проходит, как хозяин…». «Старый белогвардеец, вернувшийся, наконец, после многолетней эмиграции в свой родной город?» — спрашивает он, оглядывая себя в стеклах витрин. Эта Одесса как будто бы взята из его молодости, он и сам сравнивает город с «временами деникинщины». Здесь ходят, словно воскресшие из тумана, «совсем не похожие на прежних люди». Попадается и старик «с тростью под мышкой, в высоком крахмальном воротничке» с «кадыком какого-то багрового, индюшачьего оттенка». Этот прохожий словно бы срисован с Бунина из «Записок о гражданской войне» — старика с толстой палкой с набалдашником, чья шея, «вылезавшая из цветной манишки, туго пружинилась…», и он «вертел шеей, словно ее давил воротничок».

На углу Дерибасовской и Адольфа Гитлера в комиссионном магазине «Жоржь» торгует Женя Колесничук. Между тем прототип Женьки с той же кличкой Дубастый, друг катаевского детства, как уже говорилось выше, был именно эмигрантом, беглецом от «красных», поэтому запросто, как и другой друг детства Федоров, мог «вернуться в родной город с чужеземными

войсками».

Приходит на ум и судьба родственника Валентина Петровича правнука протоиерея Александра (Кедрова) Бориса Швецова. Сын протоиерея Владимира, расстрелянного в январе 1938 года в Кирове, летом 1941-го красноармеец, он попал в плен под Ригой. Стал офицером так называемой 1-й Русской национальной армии белогвардейца Бориса Смысловского. Вместе с ним и сослуживцами нашел приют в Лихтенштейне. Затем переехал в Аргентину, где принял постриг с именем Анастасий. Близко общался со святителем Иоанном (Максимовичем), был хранителем Курской Коренной иконы Божьей Матери — Одигитрии русского зарубежья. Уже в нулевые годы переехал в Россию и поселился в монастыре напротив города Одоева Тульской области. 7 апреля 2015 года отметил столетний юбилей.

Кстати, о Вертере-Федорове. В черновом варианте романа был товарищ Бачея, белый офицер, прибывший в Одессу вместе с румынами. «Петр Васильевич должен был зарезать своего товарища-белогвардейца», — поведал Катаев Президиуму СП СССР в 1949-м. Поразмыслив, он выбросил сцену.

Зато сделал двух героев советскими разведчиками, которые не знают этого друг о друге.

И вновь с иронией глава называется «Друзья детства», крайне крамольная, если убрать обороты типа «с внутренним отвращением» или «в душе презирая себя».

«— Боже мой, кого я вижу! — сладко пропел Колесничук… произнося слова “боже” и “вижу” с нежнейшими, изысканнейшими черноморскими интонациями. — Господин Бачей!

— Господин Колесничук! — в том же духе воскликнул Петр Васильевич… — Ну, я очень, очень рад тебя видеть… Как живешь, старик?.. Что поделываешь?

— Ничего себе. Спасибо. Как видишь, мало-мало коммерсую… Ну а ты что робишь?

— То же самое, коммерсую, — пожал плечами Петр Васильевич.

— В Одессе?

— Не. Я сюда только на днях приехал… А, советская власть!.. Разве большевики что-нибудь понимали? Вот Америка — это да.

— Америка — это да! — вздохнул Колесничук. — Да и Германия, знаешь, тоже.

— Что тоже?

— Тоже, так сказать, могучая страна… Скажешь, нет?

— А кто ж спорит».

Но как бы то ни было, для меня бесспорно другое: своим романом Катаеву удалось показать настоящий советский и русский патриотизм — в ненависти к захватчикам, в жертвенности, в праздновании освобождения.

Он передал проснувшееся в людях чувство родной почвы и животворной связи с былым…

В конце книги Бачей едут в метро, и черный туннель напоминает катакомбы. Выходят из вагона на новой станции «Новокузнецкая», открытой во время войны: «Петя увидел на сияющей стене ряд темных бронзовых барельефов, где среди шлемов, мечей и знамен в грозном сиянии славы строго и мужественно рисовались чеканные профили наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова»…

На этой станции Катаев с сыном, задрав головы, любовались мозаичными оптимистическими картинами Александра Дейнеки (с которым Валентин Петрович приятельствовал; как-то после ночной попойки в мастерской тот подарил ему свою картину «Коровы» — небольшое стадо под розовой луной).

Однажды, спустя много-много лет, Павел Катаев шел через «пестрый» зал ЦДЛ с отцом, вдруг потерял его, а оглянувшись, увидел, что тот стоит возле столика, а кто-то «с пьяным лицом» схватил его за руку.

«Сквозь буфетный шум до меня донеслось глухое восклицание, обращенное к отцу:

— Валя, прости!

И некто в темном, не отпуская папиной руки, сполз со стула и оказался перед отцом на коленях.

Не будь я сам свидетелем, эту быстротечную сценку можно было бы посчитать нелепой выдумкой.

— Да ладно, ладно… — приговаривал отец, делая деликатные попытки освободиться».

Это был Бубеннов.

«ПОЕЗДКА НА ЮГ»

Летом 1949 года Эстер повезла детей в Сочи в санаторий «Правда». Туда приехал глава семейства. Здесь же отдыхала Лиля Брик с Катаняном, наигранно любезничавшая с Катаевым. Потом поехали в Одессу.

Еще в 1944-м он написал, тоскуя по далекому пространству и удалявшемуся времени:

Каждый день, вырываясь из леса,
Как любовник в назначенный час,
Поезд с белой табличкой «Одесса»
Пробегает, шумя, мимо нас.

Пыль за ним подымается душно.
Стонут рельсы, от счастья звеня.
И глядят ему вслед равнодушно
Все прохожие, кроме меня.

«Пулечка, поэдем в Одэссу?» — манерничала Женя. И вот, пулечка повез. Залитые солнцем драгоценные виноградники. Друзья — осколки прошлого, гимназический товарищ Боря… Вышли на баркасе в море за скумбрией, которую так любил (но именно горячего копчения). Будаки, Днестровский лиман, куда маленького Валю вывозили, когда еще была жива мама… Древняя крепость Аккерман, к которой он на паровом катере сбежал десятилетним гимназистом…

Павлик простудился, его оставили в гостинице, а остальные отправились в тесную мглу «катакомб». Эстер и Женя вернулись оттуда подавленные.

На следующий год — поездка в Крым, в Коктебель. По только что открывшейся магистрали. Идея Катаева! Он рядом с шофером, дядей Сашей, а сзади Эстер, дети, их двоюродная сестра Инна в белом кабриолете «победа» с открывающимся брезентовым верхом.

Машина была новенькая. Синий катаевский «форд» реквизировали «для нужд фронта». В нем по Москве ездил генерал-интендант. После войны машину вернули, но уже без нарядной обивки. В Большом театре, рассказывал Катаев байку в излюбленной манере, он встретил жену генерала в платье из этого материала. Потом появился трофейный «мерседес-бенц». А теперь — «победа».

Из путешествия в 1951-м в журнале «Знамя» получилась «Поездка на юг» (главред «Нового мира» Твардовский не взял) — восхищенный отчет о стране, отстраивавшейся после войны. Но главное в этом тексте, кроме всякой, в том числе семейной «открыточности», как всегда, путешествие в глубины памяти, к тому, что действительно важно и интересно. А самые нежные слова, пожалуй, про Новомосковск, где до этого Катаев не был ни разу: там в конце XIX века располагался полк с его дедом полковником Иваном Елисеевичем Бачеем и венчались его родители. «Мне почему-то вдруг представились две обожженные венчальные свечи с атласными бантами… Я почувствовал сильнейшее волнение. Одновременно я ощутил себя и стариком, и каким-то странным существом, еще не появившимся на свет». Он стоит у старинного собора и спрашивает себя: не на этих ли ступенях стояли новобрачные?

Катаев делился с Чуковским в переделкинском малиннике: «Павлик у меня все время будет говорить: “У меня есть идея!” А Женя будет на все смотреть с точки зрения учебника географии. И всем будет хотеться мороженого. Всю дорогу. “Вот в Туле купим”. “Вот в Харькове”. И только в Москве на обратном пути купили наконец мороженое». Все так. Но еще очерк открывался и закрывался ассоциацией с картиной Федора Шурпина «Утро нашей Родины». Это полотно, выехав из Москвы, возбужденно вспоминали дети. И о нем же восклицала Эстер на обратном пути в тех же местах, где еще лес и поле, но откуда уже видны сказочные сталинские высотки: «Полз трактор. Летел пассажирский самолет. Человек в белом кителе, с плащом, переброшенным через руку, смотрит, немного прищурясь, вдаль».

Очерк встретили недоброжелательно. В «Литературной газете» Катаева отчитал начинающий литератор Владимир Огнев — опираясь на возмущенные «письма в редакцию», обвинил в потребительстве, эстетстве, равнодушии к «стройкам коммунизма»: «“Зеркальные пуговки” путевого указателя, вспыхнув под светом направленных на них фар, тут же гаснут. Их холодный блеск недолговечен».

А Катаев плыл по широкой парной реке жизни, сладко жмурясь, будто и не замечая нападок, большой, гладкий, невозмутимый…

В ноябре 1951 года в «Правде» вышла редакционная статья «Против рецидивов антипатриотических взглядов в литературной критике», обличавшая литературоведа Абрама Гурвича за «принижение русской классики» (он в свою очередь поносил до этого и «Домик», и «Флаг» Катаева). В ЦДЛ устроили открытое собрание писателей. В основном ругали «Новый мир»,

печатавший «космополита». Каялся главред Твардовский. Катаев на собрание явился, член редколлегии все-таки, но поэтично заявив о «шаткой линии» журнала, свел весь разговор к поэзии. Назвал «плохими, несовременными» стихи Асеева (бумеранг обидчику) и пожурил Тарасенкова, отрицательно рецензировавшего в журнале «хорошие стихи» Тихонова.

Поездки в Коктебель на автомобиле продолжились летом 1952-го и 1953-го, дети ждали Крыма весь год и до одури наслаждались морем.

Учиться ленились, но легко исправляли «двойки» на «пятерки».

Катаев не бил детей, вернее, несколько раз пытался: сына — ремнем, дочь — подвернувшимися прыгалками, но немедленно прекращал из-за их душераздирающих воплей. Однажды, когда с сестрой носились по квартире, Павлик запустил в обидчицу тапком и попал в окно.

— Это еще что?! — грозно ворвался отец, но, увидев разбитое стекло и испуганно притихшего ребенка, вместо ругани прижал к себе и стал успокаивать.

Евгения говорит: иногда ей казалось, что отец ближе к ней, иногда, что к Павлику. Однажды — это было после войны — Эстер ушла за мукой и попросила мужа причесать девочку. В результате его стараний в школу она явилась причудливо взлохмаченная, как будто Женя из «Цветика-семицветика», вернувшаяся с Северного полюса. Пришлось самой заплетать косы. Было стыдно, зато нелюбительница учебы пропустила первый урок.

Женя любила гулять с отцом в выходной. Спускались по Большому Каменному мосту. Вступив на улицу Горького, заходили в магазин «Сыр». «Для вас у меня со слезой», — заговорщицки сообщал продавец и доставал душистый швейцарский. Часто брали и запомнившийся ей мягкий солоноватый сыр типа топленого молока в красивой фаянсовой коробке. Шли к «Елисеевскому». Там Катаев покупал лучшую ветчину, придирчиво выбирал черную икру, а она была нескольких сортов… Так — с остановками — брели до самого Белорусского вокзала. На обратном пути заходили в «Националь»: знакомые лица, пьяный Олеша… Перекусывали: часто судаком «Орли» и яблочным паем.

Павел вспоминает: однажды в морозных сумерках раннего утра он подходил к школе, как вдруг услышал: «Павля!» Обернулся, это был отец: небритый, «видно, что только-только проснулся».

— А я вот решил посмотреть, как Павля в школу идет.

Довел сына до дверей, помахал и деловито зашагал прочь…

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ ОТ КРЕНА.

ПЕРЕМЕНЫ

5 марта 1953 года умер человек, правивший страной почти 30 лет.

Спустя три дня в «Известиях» вышел некролог Катаева. «Сталин и смерть — что может быть более несовместимого?.. Над гробом бессмертного Ленина Сталин дал великую клятву свято исполнять заветы Ильича. Над гробом бессмертного Сталина мы даем клятву свято исполнять его заветы».

Словно бы нарочитая перекличка с тайным стихотворением: «Бессмертию вождя не верь…»

Спустя восемь лет на съезде партии старая большевичка Дора Лазуркина сообщит о явившемся ей Ленине, который пожаловался: «Мне неприятно быть рядом со Сталиным» — и последнего вынесут из мавзолея…

9 марта 1953-го Катаев с сыном стояли на Красной площади. Павел запомнил справа от мавзолея на красном постаменте гроб с прозрачным колпаком, «овальным иллюминатором» и фуражкой поверх крышки. Кончилась эпоха.

«Это тело в гробу, — размышлял в те дни Пастернак в письме Фадееву, — с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, могуществом подытожившего себя века и могуществом пришедшего ко гробу народа».

Уже 10 марта на заседании Президиума ЦК КПСС Георгий Маленков призвал «прекратить политику культа личности». 2 апреля Лаврентий Берия направил в Президиум ЦК предложение арестовать убийц Михоэлса (что и было исполнено) и вписал имя Сталина как организатора убийства. С его подачи было отменено дело «врачей-отравителей» (арестованные освобождены 3 апреля).

В марте сразу после смерти вождя Катаев написал о нем воспоминания для «Нового мира»: 19 плотно исписанных страниц, которые он, прежде чем сдать в редакцию, прочел сыну. «Со слезами на глазах и горечью в сердце я прослушал папино сочинение, и оно мне очень понравилось». Но погребальное эссе так и не вышло, а рукопись сгинула… По словам Павла, уже позднее, после разоблачения Сталина, воспоминания о нем отца «не несли прямой оценки», «были как бы бесстрастными, сторонними», но при этом по-писательски живыми.

1 мая, гуляя по Переделкину, Чуковский встретил Катаева, «который приехал на праздники»: «Он говорил о своей пьесе “За

власть Советов”. Сделано уже 100 репетиций. Все очень хорошо слажено. Молодая художница, которой поручены декорации, ездила специально в Одессу на этюды — и сделала чудесные зарисовки Одессы… С большим уважением отзывается о министре культуры Пономаренко. “Я как-то ездил с ним в Белоруссию в одной машине — и он мне сказал: ‘Какая чудесная вещь у Пушкина "Кирджали"’”[128]. А я не помнил. Беру Пушкина, действительно чудо… Он спас в 1937 году от арестов Янку Купала, Якоба Коласа и других. Очень тонкий, умный человек».

Кстати, по некоторым сведениям, именно Пантелеймон Пономаренко, меньше года отвечавший за культуру, но до конца долгой жизни успешный советский функционер, мог стать преемником Сталина (из Президиума ЦК КПСС его убрали в день смерти вождя).

Вскоре министром культуры стал академик Георгий Александров. Чуковский в дневнике воспроизводил такой обмен мнениями с соседом: «“Говорят, он дон Жуан”, — сказал я. — “Знаю! — отозвался В. П. — Мы с ним вдвоем состязались из-за одной замечательной дамы”».

Донжуанство вышло Александрову боком. В 1955 году он потерял свой пост за создание тайного борделя, где за замечательных дам с министром состязалась группа его соратников…

«Катаев не верит, что возможно оздоровление литературы, — отмечал в мае 1953-го Чуковский. — “Слишком много к ней присосалось бездарностей, которым никакие реформы невыгодны”».

Схоже формулировал спустя три года в отчаянной предсмертной записке Фадеев: «Литература — эта святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа».

Но Катаев присутствия духа не терял, умирать не собирался, зато мог позлорадствовать кончине «бездарности». Например, в июне 1953-го выказал Чуковскому шокирующе эпатажное: «Как хорошо, что умерли Треневы — отец и сын. Они были так неимоверно бездарны. У отца в комнате под стеклом висело перо, которым Чехов написал “Вишневый сад”, рядом фото: “Тренев и Горький”, рядом фото: “Сталин на представлении ‘Любови Яровой’ ” — и это был фундамент всей его славы, всей карьеры!! Отсюда дома, дачи, машины, — брр! А сын: “В это майское утро, *которое* сияло у реки, *которая*”… бррбр».

Чуковский: «Я вступился: “У сына было больше дарования, чем у отца”. Он только рукою махнул».

Константин Тренев (старший) умер в 1945 году. Виталий

Тренев, проживший всего 45 лет, умер от астмы в феврале 1953-го, а в 1948-м просил Катаева письменно оценить его произведение «Путь к океану». Катаев ответил любезно, но с прохладцей, ясно выразив скепсис: «Я думаю, что Вам следовало бы немного сократить начало, даже м. б. первый пролог, заменить его чем-нибудь более сжатым. Кроме того не мешало бы пройтись “по языку”, т. е. сделать его более живым, менее традиционно-газетным. Хорошо бы углубить характеры, сделать их более наглядными. За всем этим считаю Вашу книгу интересной и стоящей издания. Этот мой отзыв прошу использовать так, как только Вам будет угодно. Привет».

В сентябре 1953 года в продолжение разговора о «присосавшихся» Катаев поделился с Чуковским замыслом пьесы «Членский билет». Некто Евтихий Корнеплодов считается писателем, поскольку в молодости «состряпал какую-то давно забытую ерундистику». Он знаменит, у него берут интервью, читает лекции, ведет семинары в Литинституте, ездит в творческие командировки, состоит в жюри и комиссиях, но во время подготовки к пышному юбилею, когда семейство Корнеплодовых уже собирается получить дачу в Переделкине, он обнаруживает, что потерял членский билет Союза писателей. Для восстановления билета нужно предъявить свои «труды». Благополучная жизнь на грани срыва. И вдруг билет найден. «Ура! Больше ничего и не требуется. Начинается юбилейное чествование. Депутации приходят с венками, пионеры с галстуками и т. д. и т. д. Товарищи, никогда не теряйте членских билетов».

В январе 1954 года Катаев и Чуковский продолжили разговор о «самозванцах»: «Я сказал ему: чтб писатели! Но сколько есть академиков, не имеющих научных трудов! Ну, напр., член-корреспондент Еголин, академик Майский[129] и др. Катаев: “Чтобы сделать вам приятное, введу в пьесу члена-корреспондента”». 6 февраля Катаев позвал Чуковского к себе — послушать первый акт: «Мы пошли к нему в его изящный кабинет с экспрессионистской картиной и висячей этажеркой для красиво переплетенных книг. Пьеса чудесная. Имен действ, лиц нет, но всех узнаешь… Я слушал и смеялся непрерывно». 15 февраля Катаев прочитал Чуковскому второй акт: «Я непрерывно смеялся, слушая. Очень похоже на правду и очень смешно. “Будь я помоложе, я бы из тебя Гоголя сделала”, — говорит жена писателя зятю — и действительно, у нас Гоголи делаются при помощи всяких внелитературных приемов. Грибачев и Щипачев[130] — и Еголин — и академик Майский, и Бельчиков[131] тому доказательство. И Шагинян. Катаев боится,

что пьесу не разрешат… Ведь в конце концов Правление Союза писателей выдает даже деньги на этот юбилей — хотя бы второго разряда.

Гуляли мы с Катаевым под метелью по Переделкину, встретили Всеволода Иванова, Тамару Вл. и Ко́му[132]. Я подбежал к ним, а Катаев даже не поздоровался».

Замечу: как и в 1942-м в Ташкенте… Но и не было ли это манифестацией Чуковскому своего отношения к «прилипалам» и продолжением темы пьесы? «Я — средний русский писатель», — скромничал Катаев из года в год, но и спустя двадцать с лишним лет после той переделкинской прогулки со все той же надменностью относился к многочисленным советским литераторам. Анатолий Гладилин свидетельствовал, что приехавший в 1978 году в Париж писатель Юрий Нагибин жаловался ему: «Катаев мне сказал: “Вы все, теперешние прозаики, на одно лицо. Ваши книги не различить”»… «С высоты Катаева, — комментировал Гладилин, — может, и действительно различить было трудно».

«Вообще же Катаев счастлив и добродушен, — продолжал Чуковский летопись февральского дня 1954 года, — ему весело и интересно писать такую забавную и удачную пьесу, и, читая, он сам несколько раз смеялся до упаду — как будто пьеса ему неизвестна и он читает ее в первый раз».

Катаев дописал комедию «Случай с гением» в 1955-м, она была поставлена режиссером Николаем Акимовым в Ленинградском драмтеатре им. Ленсовета в начале 1956-го. Драматург и сатирик Самуил Алешин вспоминал: «Акимов в Ленинграде поставил его комедию “Случай с гением”, в которой критики усмотрели (и, кстати, правильно) издевательство над существовавшими литературными порядками», но приезжать в Ленинград, чтобы бороться за спектакль, Катаев не стал и заявил, что «не имеет отношения к толкованию режиссером пьесы». И без того — крамольной. Спектакль был снят.

Мораль комедии проста — главное, не произведения, которых никто не читал, а сам статус «писателя» и его «солидность» (Корнеплодова перед юбилеем наставляет жена: «Наденешь черный двубортный костюм, голубую сорочку и синий галстук, как у Горького»).

26 июня 1953 года на заседании Президиума ЦК КПСС был арестован Лаврентий Берия. Катаевы выехали из Москвы на юг, навстречу им тянулась длинная колонна военной техники, что показалось странным. Это входили войска на случай мятежа подконтрольных Берии силовиков. Об аресте Лаврентия Павловича стало известно уже в Крыму…

Коктебель Катаев полюбил прежде всего за возможность «хорошего морского купанья»: «Природа вокруг скупая, бедная. Что-то библейское, древнее есть в сухом гористом пейзаже. Растительности мало. Солнце, ветер. Но зато какой легкий воздух, какая чистая вода в заливе, какой песок, какое пламенное сине-зеленое море!»

Сценарист и режиссер Алексей Спешнев в то лето жил рядом с Катаевым в одном доме: «у нас общая веранда, общий быт, наши дети дружат».

Однажды его сосед замыслил побег. «Был вечер. Катаев в пижаме двигался таинственно, как кот, о чем-то перешептываясь со своим шофером, а потом с соседом — молдавским писателем Балсаном. Краем уха я слышал, как Валентин Петрович сказал Балсану, чтобы тот не забыл “балсан” — сосуд для вина: писатель и сосуд были однофамильцами, и оба широки в объеме. Я, конечно, сообразил — готовится экспедиция. Но счел некорректным уведомлять об этом жену Катаева Эстер Давыдовну. Сейчас она пыталась угомонить детей. Было это дело совершенно безнадежное. К ночи дети дичали, чумели и носились с визгами: “Айя-Папайя! Айя-Папайя!” Этим загадочным боевым возгласам научил их мой друг, бесстрашный ныряльщик и пловец… Когда, наконец, дети загнаны в дом и погас свет, Эстер обнаруживает, что Катаев и Балсан с сосудом исчезли».

Катаев исчез в рваной пижаме и тапочках. Эстер показалось, что пропал и ее сын, она допоздна кричала в саду и на берегу моря: «Павличек!» — а Павлик давно спал в кровати. Куда уехали Катаев, его приятель и шофер, никто не ведал — и бедная Эстер на пару с директором Дома творчества весь следующий день названивала в милицию. Прошла еще одна ночь неизвестности.

А путешественники отправились в Старый Крым на могилу Александра Грина, испили вина, после чего покатили в Симферополь, где устроились в общежитии обкома. Катаев решил в одиночестве побродить по городу. В окнах редакции местной газеты почему-то горел свет. Вошел, поздоровался. Бледный редактор дрожащими руками перебирал телетайпные сводки. Показал сообщение, которое должен был напечатать. «Предатель Берия арестован». Вдруг глянул на гостя с недоумением:

— Валентин Петрович, а почему вы в пижаме?

— Я в пижаме? В самом деле… Извините.

В общежитии он разбудил Балсана — громкой новостью. Они поделились ею за завтраком с сотрапезниками. Надо было переодеться — в универмаге Катаев купил синий костюм, который оказался ему мал и, казалось, предназначался пионеру старшего возраста. Когда в полдень вернулись в общежитие и

сели у репродуктора, про Берию ничего не было. Через час — тоже. На них смотрели мрачно. В номере Катаев сказал:

— Все ясно. Надо стреляться, господа офицеры.

И тут кто-то, распахнув дверь, крикнул:

— Сообщение!

Катаев отбил телеграмму в Коктебель о том, что жив-здоров, и они поехали в Бахчисарай.

На следующий день — 10 июля 1953 года — новость об аресте Берии вышла в «Правде», а затем во всех газетах.

В Коктебеле была вечеринка. Горели свечи. Жена Спешнева пела романс «Я ехала домой…». Во время аплодисментов, вспоминал Спешнев, «появился легкой походкой кота, в пионерском костюме и с двумя большими корзинами фруктов Валентин Петрович. Позади него с виноватым видом остановился грузный Балсан с “балсаном” бахчисарайского вина…

— Но какой негодяй! — смеялась Эстер, с наигранной свирепостью глядя на мужа. — Знает, в какой момент следует вернуться.

— Сообщение слышали? — зычно выкрикнул Катаев.

И веранда тотчас примолкла. Кто-то негромко сказал:

— Когда-нибудь нам будет очень стыдно, что это ядовитое ничтожество заставляло нас содрогаться.

— Ну, трусливые ребята, что тут поделаешь, — хихикнул Петр Тур[133]. — А если хотите, дети времени.

— И время такое, каковы мы? — повалился в качалку Катаев. — А все-таки приятно, что в русском небе наконец погасла эта кровавая кавказская звезда… оскорбительная для самих кавказцев.

— Протестую! — мотнула синими серьгами Адочка [жена Тура]».

Она хотела веселиться, а не обсуждать тяжелую политику…

Арест Берии (и вместе с ним начальников МВД в большинстве областей и министров МВД в союзных республиках) изменил расстановку сил во власти и ослабил «репрессивный аппарат». Вскоре центр принятия решений переместился из Совмина, который возглавлял Георгий Маленков, в ЦК партии, где первым секретарем в сентябре стал Никита Хрущев.

17 января 1954 года Чуковский записал: «Снег. Метет со вчерашнего вечера. Встретил Катаева — весь засыпан снегом, коричневая фетровая шляпа, щегольское пальто. Лицо молодое, смеющееся, без обычной отечности. Похвалил мою статью о текстологии — в будущем “Новом Мире”. Идет к телефону в контору. — “Эх, завел бы я телефон дома, да жена, да дочь… целый день будут щебетать без умолку. Посадить бы

стенографистку — о чем они говорят, боже мой!” Написал рассказ о Максе Волошине — и о жене его Марии Степановне. “Я три года наблюдал ее в Коктебеле. Святая женщина, а отдала свою душу вздору. Я вывел их под псевдонимами, но узнают, и больше мне в Коктебель нет пути”».

Этот рассказ — «Вечная слава» — вышел в «Огоньке» 24 января. Максимилиан Волошин (еще с Одессы времен Гражданской войны нелюбимый Катаевым, однако и адресат его письма в 1923-м с «самым сердечным приветом») назван Аполлинарием Востоковым, его вдова — Ольгой Ивановной. «Сам Востоков давно умер, забыт, его стихи помнят лишь немногие ценители… дом напоминал не столько базилику, сколько караимскую синагогу… Он ходил по окрестностям в греческой тунике по колено и сандалиях на босу ногу… Он свел с ума множество бездельников… В доме всегда живет несколько бестолковых старушек, поклонниц Востокова, которые помогают Ольге Ивановне поддерживать легенду о необыкновенной личности поэта и об его вечной славе… Подобно Душечке Ольга Ивановна потеряла себя и все время жила, как во сне, даже после смерти мужа». Волошинский дом пережил немецкую оккупацию, и Катаев сталкивает старуху, лелеющую призрачную «вечную славу» покойного декадента, с «вечной славой» неудачного советского десанта и того юного моряка, который отверг ее просьбу укрыться и погиб, как и его товарищи.

В 1950-е годы Чуковский любил прогуливаться с соседским псом: «Вечером вышел на прогулку вместе с Мишкой (собакой Катаева). Мишка видит цель прогулки в том, чтобы полаять у каждого забора, за которым тявкает собака. Полает и бежит ко мне похвастаться. Я говорю: “молодец, Мишка!” — и он с новыми силами кидается в новый бой. И снова подбегает ко мне за похвалами и поощрением». От имени «катаевского Мишки» сатирик Александр Раскин даже сочинил стишок, адресованный Корнею Ивановичу и преподнесенный ему в 1950 году на день рождения:

От души желаю
Счастья и добра,
В Вашу честь я лаю
Каждый день с утра.

От моих хозяев
Долго ждать еды…
Валентин Катаев
Весь ушел в труды.

То сюжет, то форма,
То аванс… увы…
Ну а что до корма,
То уж это — Вы.

И так далее…

А вообще, жители писательского поселка находились в сложных отношениях друг с другом, как бы вращались в магнитном поле зависти, обид, подозрений, взаимной иронии и неприкрытой злобы.

Например, на улочке поселка в послевоенное время между Катаевым и Пришвиным случилась стычка, чуть не переросшая в кулачный бой.

«Встретил Катаева, — записал Пришвин в дневнике, — и, чтобы не молчать, спросил о собаке его покойного брата. Я не первый раз его об этом спрашиваю и вполне его понимаю, что он обозлился. Я, говорит, не люблю ни собак, ни охоты. Началось ожесточенное quiproquo. И почуяв, что он зарвался, пошел на отступление. — Охота, — говорит, — это у вас поза, но писатель вы превосходный: какой язык, но пишете вы не о том, что надо. — Как! — закричал на него я, наступая и сжав кулаки. — Я именно тот единственный, кто пишет, что надо. Так и запомните: “Пришвин пишет только о том, что надо”. После того Катаев смутился и смиренно сказал: — А может быть, и правда: пишете, что надо. То-то, — сказал я. И простился довольно дружески».

Анатолий Рыбаков вспоминал переделкинскую прогулку с Кавериным:

«Повстречался нам однажды Катаев. Я с ним поздоровался, Каверин неопределенно качнул головой, тоже вроде бы поприветствовал, и ускорил шаг. Потом сказал:

— Боюсь этого человека.

— Почему?

— Не знаю, но боюсь.

— У вас есть к тому основания?

— Никаких. Но боюсь, ничего не могу с собой поделать».

Позднее Каверин обзавелся основаниями — и стал не здороваться с Катаевым гордо и идейно-убежденно[134].

А вот у главреда «Знамени» Вадима Кожевникова, по воспоминаниям его дочери Надежды, при виде Катаева «появлялась улыбка драчливого озорника, предвкушающего стычку, поединок словесный, укус за укус. И тот и другой язвили с наслаждением и с неменьшим удовольствием расставались».

Сын писателя Павла Нилина Александр вспоминает: «Эстер Давыдовна сказала как-то моему отцу (отец к Эстер относился очень хорошо, предпочитал одновременно с нею смотреть кино в Доме творчества, вспоминая, как она громко смеется по ходу сеанса) со всей своей очаровательной непосредственностью: “Как вас любит наш Павлик, он буквально не дает Валентину Петровичу и полслова плохого сказать о вас”. Из чего нетрудно было сделать вывод, что в кругу семьи Катаев своего критического отношения к Нилину не скрывал. Что-то похожее происходило и у нас. Отец, правда, не говорил о Валентине Петровиче плохо, но всегда с долей насмешки — и далеко не всегда по делу… Потомок крестьян, он, например, смеялся над тем, что сын преподавателя реального училища Валентин Петрович косит у себя на участке траву (под Льва Толстого). Если матушка наша говорила, что Катаев всегда очень приветлив с детьми, отец обязательно добавлял, что и с молодыми женщинами — тоже…»

Мирок был тесным. Тот же Нилин юнцом на рассвете столкнулся с эротическим откровением: «В окне у Катаевых обнаженные женские руки энергично распахнули “синие полосы занавесок” — и я увидел жену Валентина Петровича, прекрасную Эстер, как показалось мне в первую секунду, ню, но на самом деле только топлес».

«РАЗОБЛАЧЕНИЕ КОРНЕПЛОДОВЩИНЫ»

14 марта 1954 года прошли выборы в Верховный Совет СССР. Репортаж в «Литгазете» о голосовании Катаев превратил в маленькую пейзажную поэму под названием «Светло и ясно», напоминавшую пестрое пирожное: «Изумительный день. С утра до вечера ни единого облачка. Небо того особого, предвесеннего цвета, который трудно определить. Оно и голубое, и нежно-зеленое, и фаянсово-белое. За городом на полях, в лесах еще лежит снег. Он как бы облит сверкающей глазурью наста. Дороги потеют на солнце… С ветвей иногда сыплется легкий снежок и повисает в воздухе, как брошенная кисея. Это на ветках прыгают толстые щеглы в клубнично-серых жилетках».

23 июля 1954 года на заседании Секретариата ЦК КПСС под председательством Хрущева разбирали дело главреда «Нового мира» Александра Твардовского, преждевременно открывшегося новым веяниям.

Важная деталь, которую обычно пропускают: сам Твардовский в ЦК не явился, что было немалой дерзостью — запил («Твардовский затосковал, занедужил… С вечера он пил крепчайший чай… Но рано утром выскользнул из дома и исчез», — писал литератор Владимир Лакшин).

Среди прочих выступал Катаев, вспомнив, как Твардовский отверг его «Поездку на юг». Что ж, месть была одним из ключевых мотивов во взаимных «проработках». (В том же 1954-м Шолохов вышел из редколлегии журнала обиженный: Твардовский не воспринял куски из его второй книги «Поднятой целины».)

А главное, Твардовский сам вспомнил об этой обиде Катаева и публично обвинил его в манкировании обязанностями еще 29 января 1952 года на Секретариате Союза писателей: «Более или менее активно участвовал Катаев… Но, к великому сожалению, после того как редакция “Нового мира” отклонила предложенную им работу, товарищ Катаев устранился от работы в редакции».

Но несомненно и другое: уже битый и оглушенный «новомирец» Катаев испытал боязнь — обличительная волна опять накроет его… И спасался… По мнению исследовательницы Марины Аскольдовой-Лунд, опросившей свидетелей бурь вокруг «Нового мира», «деморализованный» Бубенновым, Катаев «до поры до времени предпочитал держаться за Твардовского и не конфликтовать с ним». Но теперь, по законам жанра, пришлось говорить супротив (что не мешало в дальнейшем Катаеву печататься у Твардовского, а Твардовскому защищать Катаева от мемуарных укусов Эренбурга).

Важную роль на заседании играл Михаил Суслов, прибиравший к рукам «идеологию». Часто можно услышать: Суслов благоволил Катаеву еще с 1947 года и периодически обращался с просьбами, от которых сложно было отказаться.

В вину Твардовскому ставили готовившуюся к публикации поэму «Теркин на том свете». Катаев, по утверждению Лакшина, «испещрил поля верстки» вопросительными знаками и восклицаниями. Однако, по свидетельству сотрудницы «Нового мира» Софьи Карагановой, когда первый раз услышал продолжение «Теркина» из уст Твардовского, «выступил горячо»: «О чем мы говорим?! Поэму немедленно надо в набор!» — Здесь нет противоречия. Нужно отметить — «крики на полях» были в характере Катаева и не мешали согласию на публикацию. Писатель Григорий Свирский в начале 1950-х годов в «Новом мире» увидел свою рукопись с резкими пометками и остался благодарен: «Катаевские замечания раз и навсегда отучили меня от привычно-“приподнятой” в те годы советской стилистики. На полях, в трех-четырех местах, размашисто, красным карандашом, было начертано памятно, как выстрел: “Сопли!”, “Вопли!” Снова “сопли!”. И даже немыслимо многословно: “Сопли и вопли!” У меня сердце упало. Однако в завершении — “выправить и — в печать!”»…

В ЦК ругали «Новый мир» и за статью прозаика Владимира Померанцева «Об искренности в литературе», противопоставлявшего «проповеди» — «исповедь», и за несколько других статей — например, литературоведа Михаила Лифшица против Мариэтты Шагинян (издевавшегося над ее писательской несостоятельностью). Между тем, когда Катаев по-дачному судачил с Чуковским, он резкую статью Лифшица, конечно, приветствовал. «Он говорит, — записал Чуковский, — что она была злее и прямее да ее почистили в редакции. О скоропалительности Мариэтты было сказано, что она “наполеоновская”. К Наполеону пришла красавица и хотела завести с ним роман. Наполеон вынул часы и сказал: “Сударыня, я согласен, у меня есть пять минут”».

Секретариат ЦК КПСС вынес постановление «Об ошибках журнала “Новый мир”», «освободив» Твардовского от должности главного редактора (займет ее снова в 1958-м).

11 августа Президиум Союза писателей осудил «неправильную линию журнала» и опять назначил главредом Симонова (он уходил в 1950-м).

Эхом того скандала стала катаевская статья в «Литературной газете» «Ждем решения коренных вопросов», вышедшая 14 декабря (накануне второго писательского съезда). Он решил

вернуться к летним разборкам: «Откуда эти теорийки “искренности в литературе”, от которых за версту разит давно уже похороненной идеалистической “теорией живого человека” недоброй памяти “рапповских” времен? Хорошо, что подлинная партийная критика вовремя вскрыла гнилую сущность подобных выступлений, а общественность единодушно их осудила. Но сделаны ли из этого прискорбного происшествия надлежащие выводы? Мне думается, что не сделаны».

В этом месте надо обратиться к убийственно пародийной и самопародийной пьесе «Случай с гением», в которой крупно показана «обнаженка» писательского сообщества — взаимные порицания на собраниях и похвалы на торжествах, сливающиеся в общий гул. Катаев словно бы объяснялся за прошлые и будущие реплики в театре абсурда, где попеременно жертвой и палачом становился почти каждый участник «литпроцесса»… Для воспроизведения правоверно-канцелярской лексики не требовалось никакого гротеска…

Вот в Союзе писателей решили, что Корнеплодова «будут выгонять из организации», и немедленно берет слово жених его дочери, начинающий прозаик Бурьянов: «Я должен реабилитироваться. Я хочу выступить с разоблачением корнеплодовщины». Сироткин-Амурский, писатель с Дальнего Востока (уж не пародия ли на Фадеева?), горестно сообщает обличаемому: «Посудите сами, разве мы можем поступить иначе? Ведь это — литература, советская литература. С этим шутить нельзя». Предварительно он подбивает выступить критика Мартышкина (не Ермилова ли?), «так как это вопрос глубоко принципиальный».

«*Мартышкин.* А как на это смотрит руководство?

Сироткин-Амурский (добродушно смеясь). Разумеется, одобрительно.

Мартышкин. В каком смысле одобрительно: одобрительно — да или одобрительно — нет?

Сироткин-Амурский (добродушно смеясь). Одобрительно нет».

Затем положение дел меняется, Корнеплодова чествуют все, не исключая и Бурьянова. Дочь юбиляра сообщает матери: «Если бы ты только слышала, какие мерзости он только что, вот здесь, сию минуту, говорил про папу, про нас всех!..»

«*Корнеплодова.* Что? Небось отмежевывался?

Бурьянов. Отмежевывался, Софья Ивановна.

Корнеплодова. Ну и правильно сделал. Зачем ему голову зря под топор класть? Так умные люди не делают. Цени его, Надя. Он у тебя умный. Он далеко пойдет».

15 декабря в Кремле начался II съезд писателей СССР.

На съезде ощущалась рассеянность, словно бы вынули стержень — сказывалась неопределенность в верхах, отсутствие «главного». Шолохов с трибуны обвинил съезд в «классическом спокойствии» и вызвал этим неудовольствие властей. Шварц вспоминал: «Стал постепенно засыпать под монотонные вопли помавающего кулаками Суркова. И, оглянувшись, увидел, что я не одинок. Черные, нет, смуглые до черноты соседи из Средней Азии спали откровенно. Один даже улыбнулся во сне… Вот у самого докладчика язык стал отказывать. Вместо “миллионы людей” он сказал “миллионы рублей”».

Катаевское выступление на съезде (за неимением вождя во славу «советской власти») было совершенно дежурным («отметился»). В первых строках он вспоминал, как когда-то пил до утра в Сорренто, и настаивал: «Горький до мозга костей был человек партийный». Имя Сталина уже не звучало, поэтому у многих вызвало недоумение покаянностальное признание: «Когда чувство партийности во мне ослабевало, я писал плохо, когда чувство партийности во мне укреплялось, я писал лучше». «Это выступление, уместное четверть века назад, в новых условиях выглядело расчетливо-наивным и примитивным, — отмечал в дневнике Кирпотин. — Я его слушал, и мне было неловко».

Однако за всем «лоялизмом» скрывались прагматичные причины — Катаев придумал новый журнал, который вскоре и возглавил.

Между тем в дни съезда посмертно реабилитировали Бабеля…

Среди тех нескольких, кто ходатайствовал об этом, как я уже упоминал, был Катаев.

«ЮНОСТЬ»

«Будущие мои биографы… — писал он. — Впрочем, если таковые окажутся, в чем я сильно сомневаюсь… Так вот, будущие мои биографы с большим удивлением обнаружат, что в один прекрасный день я стал редактором небезызвестного иллюстрированного ежемесячника под названием “Юность”, придуманного мною в часы одиноких ночей во время бессонницы».

Что ж, настал момент показать и этот яркий лоскут вашей биографии, Валентин Петрович.

II съезд писателей СССР еще шел, когда вы объявили в «Литературной газете» (20 декабря): «Наш новый журнал будет называться “Юность”. Само название говорит о том, какому читателю он будет адресован, и о том, каков должен быть его характер… Мы будем стремиться, чтобы каждая из ста шестидесяти страниц журнала была интересной, чтобы юный читатель, получая очередную книжку “Юности”, мог беседовать с нею, как с душевным, много знающим и умеющим увлекательно рассказывать другом». О том же — в письме ЦК еще 30 сентября 1954 года.

Конечно, тут было некоторое лукавство: готовился (и получился) не просто молодежный журнал, а штаб новой литературы. Сквозь анонсик проступали заветные переживания о «загубленном» и амбиции — влить свежую кровь…

При Катаеве дебютировали или напечатали удачнейшие свои произведения практически все лидеры новой прозы, поэзии, критики. Изначально тираж составлял 100 тысяч экземпляров, но к началу 1960-х годов превысил полмиллиона. Тогда это был рекорд.

А ведь изначально его приглашали на невинный «журнал для школьников» под названием «Товарищ», он согласился, внес коррективы и круто развернул проект…

Катаеву нравилась возня с молодежью. Он разговаривал с ней хлестко, парадоксами. В 1950-м сказал 25-летнему Трифонову, что в два счета сделал бы из него Ильфа и Петрова. В 1951-м, возглавив семинар прозы на Всесоюзном совещании молодых писателей, объяснял: «Музыка есть не только в тексте, но и в подтексте, — та внутренняя музыка, которая пронизывает всю вещь. Вот в нее и вслушивайтесь». В 1955-м, накануне очередного совещания молодых, бойко делился с ними опытом через «Литгазету»: «Мне приходилось на время воображать себя и мадам Стороженко, и торговать раками…»

С первых дней «Юности» с Катаевым стал работать журналист Леопольд Железное, чья жена Мира, сотрудница Еврейского антифашистского комитета, была расстреляна в 1950-м.

Литератор Илья Суслов, друживший с дочерью Железнова и с ним самим, пишет, что после расстрела Миры он оказался в изоляции, друзья при встрече переходили на другую сторону улицы. «С огромным трудом он нашел место младшего литсотрудника в журнале мод и тем поддерживал свое жалкое существование». И вот буквально на улице он встретил «знакомого по правдинским делам» Валентина Катаева.

Катаев пожал ему руку и сразу предложил прийти в «Юность» не кем-нибудь, а ответственным секретарем.

По воспоминаниям Железнова, у Катаева был «абсолютный литературный вкус»: «Впрочем, он был не только редактором, но и организатором нового журнала для юношества. Он вдохнул в него жизнь и дал ему такое прекрасное название… С легкой руки Катаева название “Юность” вошло в широкий обиход. Появились радиостанция “Юность”, многие молодежные кафе и даже одна из станций на железной дороге…»

Работавший в «Юности» литератор и искусствовед Юрий Овсянников рассказывал: «Законом было: “Юность” не должна походить ни на один из существующих журналов. Катаев всех нас заставлял учиться нестандартности… Каждому новому номеру радовался: оглаживал, обнюхивал:

— Ребенок же родился!..»

Инна Гофф, которую он рекомендовал в Союз писателей и позвал сотрудничать в журнал, восторженно вспоминала: «Я приехала к нему в Лаврушинский. В небольшом кабинете пестрело множество раскрашенных акварелью и гуашью листков, — варианты обложки… С каким тщанием и любовью выбирал Валентин Петрович “наряд” для своего детища. Чувствовалось, что для него очень важно, в каком виде оно явится в свет… Валентин Петрович был просто создан для роли Главного Редактора “Юности”. Закипела жизнь во флигеле особняка на улице Воровского. Закипел самовар — Катаев подарил его редакции. Здесь все делали весело — обсуждали, принимали (и отвергали!) рукописи. Рисовали шаржи и карикатуры, иногда прямо на стенах, по известке… День рождения журнала справляли ежегодно. С пикниками, выездами “на природу”. Выпускали памятные значки…»

Между прочим, огромный самовар, купленный Катаевым, разводили на углях во дворе. (Когда Катаев покинул «Юность», самовар мистическим образом развалился.)

«О, эти редакционные чаепития, — восклицал Андрей

Вознесенский, — с широким шумом самовара, не электрического, новомодного, нет, натурального — на сосновых шишках, древесных углях… Журнал основать — как город заложить».

Катаев, купивший к самовару «полтора килограмма сахара, четверку чая и большую связку баранок», полагал все это необходимым для того, чтобы придать коллективу «возможно более семейный характер». Чаепития проходили в его кабинете, а вечером мужчины отправлялись в соседний Дом литераторов, «где после надоевшего редакционного чая можно было прополоскать горло другими напитками». Наиболее даровитых авторов он угощал французским коньяком «Наполеон».

Катаев сердился, что журнал выходит в середине или конце месяца, а не первого числа, что нервировало и подписчиков. Призывал к порядку, обещая всех повести в ресторан. Когда «Юность» наконец стали выпускать в срок, он за свой счет устроил шикарный банкет в «Праге» более чем на 50 человек.

В журнал хлынула молодежь. Катаев сам отбирал для публикации то, что ему нравилось, сам создавал штат. Он купался в «Юности», как в молодильной ванной. Он давал шанс людям без связей, стажа, статуса, имени, и они проветривали литературу, принося в нее уличные голоса… «Катаев не придавал особого значения известности и местожительству автора», — свидетельствовал Николай Старшинов, возглавивший отдел поэзии.

Драматург Виктор Розов вспоминал звонок из того 1955-го: «Я еще жил в бывшей келье Зачатьевского монастыря, в котором на два громадных коридора с двадцатью четырьмя кельями был один телефон. Однажды, пробежав стометровку и взяв трубку, я услышал незнакомый женский голос: “Виктор Сергеевич, я звоню по просьбе Валентина Петровича Катаева. Организовывается новый журнал для молодежи. Называться он будет ‘Юность’. Валентин Петрович спрашивает, не согласились бы вы стать членом редколлегии”. Слегка растерявшись, я ответил: “Да”. Растерялся оттого, что к тому времени еще только-только проклевывался в литературу и чувствовал себя литературным птенцом, и вдруг такая честь — пригласил сам Катаев, который для меня был одной из вершин нашей литературы. И редколлегия была такая мощная: Самуил Маршак, Ираклий Андроников, Николай Носов, Григорий Медынский, художник Виталий Горяев. Всех я знал раньше, любил. Какие же интересные были наши заседания редколлегии! Свежие, бурные — время-то было замечательное…»

В присутствии Ираклия Андроникова заседания редколлегии растягивались на долгие часы: он травил байки и пародировал

выступления разных писателей.

Добавим сюда имя Мэри Лазаревны Озеровой, возглавившей отдел прозы. «Она очень бережно относилась к авторам, умела сразу угадать талант и знала, как пробивать рукопись», — отзывался о ней Гладилин.

Василий Аксенов вспоминал: «“Юность” поразила всех хотя бы просто своим дизайном, необычными шрифтами, новым форматом. Вслед за этим она едва ли не буквально распахнула окно в сверкающий и грохочущий мировой океан, сделав одной из самых первых своих ударных публикаций “Путешествие на Кон-Тики” норвежского исследователя Тура Хейердала… Спустя некоторое время на страницах “Юности” появились записки французского исследователя глубин Кусто. Журнал заявлял себя сторонником всего самого современного, передового, модного, будь то ныряние с аквалангом, кибернетика, фигурное катание… О литературном движении американских битников мы узнали почти сразу же после его зарождения».

Катаев признавал, что публикация записок норвежского путешественника, переплывшего океан на деревянном плоту (их ему посоветовал Долматовский), сразу подняла тираж. Дальше планировались «Старик и море» Хемингуэя и «Маленький принц» Сент-Экзюпери, но оба раза отговорили коллеги по литпроцессу, ссылаясь на мнение «высших сфер»: «Будучи от природы мальчиком сообразительным, я с душевной болью отказался от печатания» (и обе вещи спустя короткое время вышли в других журналах).

«— Довольно! — мысленно закричал я».

Когда в редакцию начали поступать рукописи неизвестных, вспоминал Катаев, «я твердо решил не сдаваться, несмотря на зловещее гудение самых разнообразных “друзей” нашего молодого журнала… Напечатал. К общему удивлению, обошлось. Засияли новые имена, и тираж “Юности” пополз вверх, как температура у гриппозного больного, однако до воспаления легких дело не дошло, и мы отделались легким испугом».

По сегодняшним меркам иногда сложно понять, в чем состояла авангардность издания. Но непривычной была просто сама интонация, раскованная, динамичная, непринужденная.

Дебюты сыпались один за другим…

Анатолий Гладилин — 21 год, повесть «Хроника времен Виктора Подгурского» (под конец чтения Катаев даже вытер слезу). Евгений Шатько — 26 лет, рассказ «Разъездной инспектор Кашкина». Анатолий Кузнецов — 28 лет, повесть «Продолжение легенды». Владимир Амлинский — 22 года, рассказ «Станция первой любви». Анатолий Приставкин — 27 лет, рассказы

«Трудное детство». («Он *вычислил* Приставкина, — писала Гофф о любимом главреде. — У него вообще был этот дар. Дар диагноста».)

Евгений Евтушенко, опубликовавшийся в журнале в двадцать пять, вспоминал так: «Я был должником Катаева, он напечатал мой первый рассказ “Четвертая Мещанская” в “Юности”, расхвалил его на Съезде писателей, да еще и привез мне в подарок из Америки мою мальчишескую мечту — ковбойский шнурок с гравированной пластинкой, в которую был вделан кусочек аппалачской бирюзы. Я не знал ни одного другого главного редактора, который был не только сам знаменит, но так обожал делать знаменитыми других. Катаев был крестным отцом всех шестидесятников».

И действительно, бескорыстная радость при открытии талантливого — эти изначальные качества Катаева раскрылись по полной. Дорвался…

Слишком часто главные редакторы пытаются сверкать на фоне тусклого; Катаев, наоборот, желал, чтобы в журнал собралось как можно больше ярких.

В каком-то смысле «крестный отец» сформирован своих «крестников», приложив и уверенную руку, и отзывчивое сердце и к образу «звездных мальчиков», и к их «новой прозе», пускай местами неряшливой, но раскрепощенной (не в этом ли идея мовизма?). Гофф так прямо и отмечала: «Выработался определенный стиль “юношеской повести” — бесхитростной, доверительной или претендующей на откровенность. Изрядно сдобренной юмором, современным жаргоном, сленгом, на котором тогда изъяснялись и сами авторы, сверстники своих юных героев».

Это не была проза, написанная в подражание мэтру. Он помогал другим создавать «другую», «передовую», новейшую литературу…

Пожалуй, игра с молодежью подпитала позднюю катаевскую литературу, когда он всех перегнал, переиграл, перестрелял, словно самый дерзкий дебютант…

«Катаев вольготно делился с молодыми своим искусством, своими художническими тайнами, — вспоминал писатель Анатолий Алексин. — Потому, наверное, “Юность” при нем стала для них взлетным, стартовым полем… Спасибо Мастеру за то, что и меня он не только пригласил в журнал, но и создал у меня счастливое ощущение, что каждую мою новую повесть и новый рассказ в “Юности” ждут… Убеждал меня, что надо писать не главами и не абзацами, а строчками».

«Работать с ним было приятно, — вспоминал Анатолий

Рыбаков. — Понимал. Любил детали. На полях моей рукописи “Приключения Кроша” против слов Кроша: “Я танцую вальс в обе стороны, поворачиваясь и левым, и правым плечом” — поставил восклицательный знак: понравилось, вспомнил, наверно, свои гимназические годы».

В 1956-м в «Юность» из Хабаровска пришел большой пакет со стихами Риммы Казаковой — взяли. В 1958-м напечатали стихи 25-летнего Андрея Вознесенского, в 1960-м — стихи 23-летней Беллы Ахмадулиной. Роберт Рождественский, Булат Окуджава, Юнна Мориц, Новелла Матвеева, Николай Носов с «Незнайкой в Солнечном городе»…

Одним из сильнейших был юмористический раздел «Пылесос». Журнал не чурался «низких жанров». Надо было обладать первоклассным вкусом Катаева, чтобы дать место бульварной литературе. Все время редакторства он печатал детективы, научно-фантастические и приключенческие произведения.

Николай Старшинов вспоминал: «Я почти ежемесячно получал от него благодарности то за публикацию неизданных еще стихов С. Есенина или Д. Кедрина, то за новые подборки Н. Заболоцкого или Л. Мартынова, то за удачные подборки молодых поэтов». На каждый номер «под поэзию» отводилось от восьми до десяти полос.

— Смотрите, это же прелестно! — восторгался Катаев стихами девушки из Ташкента Светланы Евсеевой:

Я доила коров. Выгребала навоз.
И на рынке, где грубые вкусы,
Гребешки покупала для жирных волос
И стеклянные красные бусы.

Ему был люб жаркий и шершавый типаж простушки — Мотя (сестра Гаврика).

Кстати, Катаев уговаривал Старшинова, любившего Есенина, написать повесть о детстве и юности поэта: «А я вам, имейте в виду, постараюсь кое-что подсказать. Ведь я был знаком с ним…» Великий комбинатор пытался замотивировать Старшинова тем, что он станет богат и знаменит: «А иначе вы при всей вашей любви к поэту отдадите его в чужие руки ремесленников, которые все окончательно испортят, да еще и наживутся на этом».

Когда Старшинов все же признался, что не готов, Валентин Петрович обозлился:

— Я думал, что вы — человек дела, что с вами можно серьезно говорить… А вы на это совершенно не способны…

Но оставался неизменно добр к молодому сослуживцу, так что тот всегда вспоминал о нем с благодарностью.

«Однажды я попал, мягко говоря, в очень неловкое положение[135], и мне грозили всякого рода неприятности по линии Союза писателей. Катаев знал об этом, позвал меня, побеседовал со мной очень тактично, поскольку вопрос был деликатный, выразил свое отношение к нему и ко мне:

— Дело это сугубо личное, и я — имейте в виду — не намерен принимать по отношению к вам никаких мер даже в том случае, если Союз писателей решит вас наказать…

Конечно, это было значительной человеческой поддержкой в такое нелегкое для меня время…»

Старшинов отмечал, что слово «прелестный» было у Катаева одним из самых любимых.

«— Послушайте, — обращался он ко мне обычно, — в этом номере опубликована прелестная подборка стихов Леонида Мартынова. Постарайтесь взять у него еще что-нибудь для следующего года…

— Послушайте, — говорил он мне, — позвоните Евтушенко. Пусть он зайдет в редакцию. Я привез для него из Америки целый набор прелестных галстуков. Ведь он коллекционирует их…

— Послушайте, — укорял он меня за чьи-то стихи, — это же ни к черту не годится… Их писал слепой человек…»

Но Катаев отказывал и зрячим. В 1959 году прозаик Юрий Казаков предложил «Юности» рассказ «Звон брегета», который в редакции многим понравился, но был отклонен придирчивым главредом, решившим лично объясниться с автором. Железнов присутствовал при их разговоре и его записал. Эта запись интересна хотя бы тем, что позволяет ознакомиться с некоторыми художественными идеями и наблюдениями Катаева.

«*Катаев.* Ваш рассказ может быть напечатан и в таком виде, но я хочу предупредить вас, как писатель писателя: вы находитесь на опасном пути. Вся манера письма, вся интонация, вся музыка произведения заимствованы вами у Бунина. Я очень люблю Бунина. Но ведь у Бунина свое, а у вас заимствование… Дело в том, что вы могли заимствовать не прямо у Бунина, а через посредство других писателей, на которых Бунин оказал огромное влияние. Например, у Паустовского. Это как инфракрасные лучи или как эманация радия. Вы их не видите, а они на вас оказывают воздействие.

Казаков. Мне кажется, что даже Шолохов не избежал влияния Бунина.

Катаев. Это совершенно справедливо. Больше того: Шолохов вышел из “Казаков” Льва Толстого, а затем испытал огромное

влияние Бунина. Заимствуют ли (или вернее — крадут) писатели друг у друга какие-то художественные находки? Однажды Алексей Толстой спросил у меня: “Послушай, ты когда-нибудь крадешь у других то, что тебе очень понравилось?” Я ответил, что “краду”. Толстой сказал: “Я тоже краду”. Но это надо делать умеючи… Я бы не стал печатать этот рассказ в “Юности” в таком виде. Я бы его переписал. Вы мне не верите? Не согласны со мной? Ну, тогда как хотите. Можем напечатать рассказ в таком виде. Но вам же будет хуже…»

Казакова в «Юности» так и не напечатали.

А иногда Катаев, уже отказав автору, мог и поменять мнение.

В 1959-м он отверг повесть Гладилина «Дым в глаза», предложив сделать из нее сказочку без «формалистических фокусов»: «Переубеждать меня бессмысленно». Гладилин напомнил о «формалистичности» «Времени, вперед!» с пропущенной первой главой. Катаев, оживившись, стал говорить про тайную механику давнего романа, где часовая стрелка двигалась от главы к главе. Гладилин ответно принялся объяснять свой композиционный замысел… «Это был редчайший случай, когда Катаев беседовал с автором не как главный редактор, а как писатель с писателем. Писатель огромного таланта, литературную ткань он ощущал прекрасно, и он меня услышал… И он сказал: “Толя, как ни странно, но вы меня убедили. Будем печатать ваш ‘Дым в глаза’”».

Катаев бывал и капризен, и переменчив. «Был человек настроения», — формулировал Старшинов, вспоминавший, как Валентин Петрович сначала возмутился подборкой стихов Владимира Солоухина, потом благожелательно принял, но выбросил уже из верстки. «Если хотели отказать автору, несли Катаеву, когда он был не в духе. Если же хотели “продвинуть”, ждали хорошего настроения…»

Василий Аксенов дебютировал в «Юности» в 26 лет в 1958-м — с рассказами. Катаев, которого сразу подкупил его стиль, похвалил сотрудников, откопавших ценного литератора:

— Перечитайте одну эту фразу, она говорит о многом: «Стоячая вода канала похожа на запыленную крышку рояля». Поняли? Сдавайте в набор.

Вскоре Аксенов принес в журнал первую повесть под названием «Рассыпанною цепью».

Не многие знают, что ее другое, хрестоматийное название придумал именно Катаев.

Зайдя в маленькую комнату отдела прозы, где мучились в раздумьях Аксенов и Мэри Озерова, он воскликнул:

— О друзья мои! Русские врачи издавна называли друг друга

«коллегами». Не дать ли такое название повести? «Коллеги» — звучит интеллигентно и ясно.

Катаев рассказывал и о большем участии в аксеновской повести: «Писатель сам должен прийти к пониманию: нужно ему или не нужно исправить свою вещь… Никогда не надо нажимать на него извне… Я прочитал ее и понял, что первые двести страниц у Аксенова — лишние. Я сказал ему: “Как писатель Валентин Катаев, считаю, что повесть надо начинать с двухсот первой страницы…” Аксенов ушел. Вторично он принес повесть, много сократив в ней. Вещь стала гораздо лучше».

После «Коллег» Аксенов прославился.

Он вспоминал июньский вечер 1960 года, когда, «страшно волнуясь», отправился в ресторан «Будапешт» на пятилетие «Юности». «Неужели уж даже и на самого Валентина Катаева удастся бросить взгляд?..»

Играл джаз. Евтушенко танцевал с Женей Катаевой. «Эва, брат, сказал неопознанный, но основательно уже “накирявшийся” сосед, дочка самого босса». Аксенов озирался, не веря, что снова «увидит воочию» легендарного «“главу одесской школы прозы”, основателя нашего — после второй рюмки уже с вдохновенной нагловатостью — нашего, нашего — журнала». Наконец он все-таки обнаружил босса, сидевшего за столом «в великолепном темно-синем костюме». В зал внесли стопки свежей, только из типографии «Юности» с «Коллегами». Следом внесли стопки «Литературной газеты» со статьей 25-летнего Станислава Рассадина «Шестидесятники», львиная доля которой посвящалась «Коллегам».

«Внимание, внимание, сказал кто-то еще, к вам направляется сам Старик Собакин… Держа в руке бокал темнокрасного вина, Катаев медленно шел прямо ко мне. Я пью за ваш роман, старик, сказал он. Грянули невидимые хоры, протрубили незримые фанфары. Я — приобщен…»

Катаев продержался на посту главного пять лет.

В редакции бывал почти ежедневно. Нередко приезжал раньше всех сотрудников и, проходя мимо миловидной секретарши, спрашивал:

— Ну что, Диночка, в лавочке-то нашей еще никого нет?.. Их нет, а журнальчик-то все равно выходит!..

«КОТОРОГО ЧИТАЮТ И ВЗРОСЛЫЕ…»

В 1956 году в журнале Катаев опубликовал продолжение «Паруса».

«Отдавая для публикации в “Юности” свой новый роман “Хуторок в степи”, — вспоминал Леопольд Железное, — он поручил отделу прозы обязательно ознакомить с романом всех членов редколлегии, собрать их отзывы и замечания и только после этого готовить роман к сдаче в набор».

Время действия — 1910–1915 годы. Подростки Петя и Гаврик, чья дружба только крепнет. Бачей-отец сначала разжалован из учителей мужской гимназии за доклад памяти Толстого, затем его берет к себе в коммерческое училище либерал, «выкрест и пошляк», господин Файг, но тоже увольняет за неготовность прогнуться перед невежественным сыном богача. Так Василий Петрович постепенно сближается с большевиками во главе с братом Гаврика вернувшимся из ссылки Терентием, которые защищают от разора мадам Стороженко последнее прибежище Бачеев — степной хуторок (между прочим, как я уже упоминал, обедневшие Катаевы действительно осели на пригородном хуторе).

Но лучшее связано не с «политикой», а с живой жизнью, особенно выразительна обособленная, как стихотворение в прозе, новелла: юные друзья жадно поедают запретное клубничное варенье, присланное «бабушкой из Екатеринослава к рождеству»: «О варенье уже не хотелось думать, но, как это ни странно, о нем невозможно было не думать. Оно как бы мстило за себя, вызывая вместе с легкой тошнотой безумное, противоестественное желание снова положить его в рот по полной ложке». Отдельно — вставная, подробная и пестрая, повесть о путешествии с отцом и братом (Турция, Греция, Италия, Швейцария), которую не испортил даже подвернувшийся мальчику в Неаполе Горький («усы раздувались») в компании «матроса Жукова» и сына Макса «с капельками пота на утином носу».

Петя ощущает, что он уже «не маленький», и его заострившийся интерес показан психологически точно: заигрывания с миловидной Мотей, влюбленность в темно-каштановую Марину с черным бантом в косе — эта роковая девочка прилипла к сердцу, как уголек к глазу.

Но главная влюбленность в романе — страна детства, поэтому, несмотря на все, говоря по совести, сухо-безжизненные «революционные» вкрапления и их чрезмерность, «Хуторок в степи» читается как очередная тоскливо-сладостная ода

потерянной России и тому городу, который подрос вместе с героем «Паруса» и где теперь «царил дух европейского капитализма». Как и в прежних произведениях — люди, приметы и предметы не выдуманы, а выстраданы — от «серебряного значка “Союза Михаила Архангела” с трехцветной ленточкой» до «любимца публики» куплетиста Зингерталя, «высокого тощего еврея в траурном цилиндре, надвинутом на большие уши». Катаев даже не стал выдумывать фамилию персонажа. Более того, аж в 1962 году он (вместе с Леонидом Утесовым и Клавдией Шульженко) написал письмо Брежневу, хлопоча о повышении пенсии одесситу, «одному из основателей сатирико-юмористического жанра дореволюционной эстрады», вынужденному в свои 83 года работать билетером в театре на Дерибасовской. По распоряжению Леонида Ильича пенсию Льву Марковичу повысили в несколько раз.

В романе Бачей берут в аренду хутор у мадам Васютинской, которая с обреченным неистовством напоследок произносит пространный (и от того странный в советском произведении) монолог о загубленной родине, начиная с судьбы покойного мужа: «Это был человек с большим вкусом. У нас было имение в Черниговской губернии, полторы тысячи десятин, но после того, как в пятом году мужики сожгли наш дом и убили мужа, я продала землю и переехала сюда… До убийства Столыпина у меня еще оставались иллюзии. Но сейчас у меня их больше нет. России нужна сильная власть, и покойный Петр Аркадьевич Столыпин, царство ему небесное, был последним настоящим столбовым дворянином и администратором, который еще мог спасти империю от революции. Вот именно поэтому они его и кокнули… Всякие еврейчики обливают помоями правительство и открыто призывают к революции!.. И они добьются. Вот помяните мое слово — революция будет, и даже очень скоро, и тогда всех порядочных людей эти мерзавцы повесят на первых попавшихся фонарях. А я не такая дура, чтобы этого дожидаться. Хватит с меня черниговского имения! Как вам всем угодно, а я уезжаю за границу. Уезжаю и проклинаю любезное отечество со всеми его социал-демократиями, фракциями, революциями, стачками, маевками и пролетариями всех стран, соединяйтесь! Забирайте мою землю и хозяйничайте на ней, как хотите, если, конечно, грядущий хам вам это позволит!»

Критика встретила роман благожелательно. Отмечали, правда, несколько навязчивую верность теме невозвратного прошлого…

Но Одесса продолжилась… В 1960 году вышел «Зимний ветер». Павел Катаев говорит, что отец хотел назвать роман

«Черный ветер» — блоковскими словами. Осенью 1917-го прапорщик Петя Бачей ранен при взрыве снаряда в Румынских Карпатах во время неудачного русского наступления. Его доставляют в родной город в офицерский лазарет. Смута нарастает, разваливается фронт. «Разумеется, ему всегда хотелось, чтобы Россия была самой могущественной и самой счастливой державой в мире. Он любил ее всей душой, но… Но разве от него могло что-нибудь зависеть? Он отдал своей родине все, что мог. Он пролил свою кровь; он мог бы и умереть… Он был каплей, песчинкой, она — океаном. Петя не сомневался, что в конце концов все как-нибудь обойдется. И все останется, наверное, по-прежнему». Быстро пойдя на поправку (кость не задета), он знакомится с дочерьми генерала Заря-Заряницкого и влюбляется в четвертую — Ирен с глазами «лиловатыми, как полураспустившаяся сирень». За столом в генеральском доме «настоящие кадровые офицеры» ведут разговоры в духе катаевской рецензии на Блока в «Южном огоньке»:

«— Пропала Россия.

— Бог не допустит…

— Душке Керенскому надо просто дать — пардон, мадам, — коленом под зад. А на фонарь — Ленина-Ульянова и всю его компанию. И чем скорее, тем лучше…

— Самостоятельная Украина? Гоп, мои гречаники? Только не это.

— А Совдепы лучше?

— Только не самостийная Украина. Сегодня Украина. Завтра Финляндия. Послезавтра Кавказ. Потом Туркестан. А там Курская республика, Тульская республика… Так мы, господа, всю Россию профукаем. Сумасшествие!

— А социалистическая республика не сумасшествие? Все, что угодно, но только не это.

— Социализм — это гибель цивилизации».

Матрос Родион Жуков и Гаврик Черноиваненко, сошедшийся с темно-каштановой Мариной (это в нее подростком был влюблен Петя), укрепляют победившую революцию в Петрограде и общаются с вождем, который среди прочего отсылает матроса «к Кобе» и допытывается: «Скажите, как удержать власть?»

«— Будем беспощадно расстреливать. — Глаза Ленина сверкнули, сухая, желтоватая кожа на скулах натянулась, и крупный рот слегка ощерился, обнажив крупные зубы».

Потом герои приезжают в Одессу, где начинаются бои. Гибнет беременная Марина, убит брат Пети «красный» Павлик, но и сам Петя теперь «красный», и его отец Василий Петрович Бачей перевязывает раненых рабочих и матросов, и тетя — неистовая

большевичка… Во время любовного свидания Ирен зовет Петю с собой «на Дон к генералу Каледину», а когда он отказывается, пытается его застрелить.

В интервью «Литературной газете» в 1959 году Катаев объяснял то заметное обстоятельство, что шарм «Паруса» подрастерялся в последующих повестях, — взрослением Пети и Гаврика: «Они утратили обаяние детства… Нельзя, да, пожалуй, и не стоит вечно оставаться детьми».

Золотое очарование детства он возместил багровыми красотами бойни. Ярче всего в «Зимнем ветре» показана смерть. Гаврик, расстрелявший генерала, «был поражен мгновенным превращением на его глазах и по его воле живого человека в мертвеца, что уже находилось как бы по ту сторону человеческого сознания». И это же совершает автор, убивая героев, а затем тонко и точно прорисовывая их, словно любуясь. Головокружительный эпизод — Гаврик под пулями бегает по городу с телом Марины на руках, не веря, что она мертва. В этом чудовищная сила катаевского лирического физиологизма: «Гаврик вдруг увидел, что ее перемазанное кровью, неузнаваемое лицо с синяком вокруг одного открытого глаза и с другим глазом — закрытым — меняет цвет. Сначала оно было просто очень бледное, потом стало сизое, потом через него как бы прошла лилово-багровая волна и вдруг схлынула, оставив свинцовые тени вокруг обесцвеченных, твердых губ».

В романе Петя — командир бронепоезда. Только не «Новороссии», а «Ленина»: «В бронепоезде царила атмосфера семейная… Воевали весело и зло…»

В начале 1958 года Валерий Кирпотин записал в дневнике: «Катаев действительно очень талантлив. Но по своей природе он — куртизан. Ему всегда нужен хороший заказчик. Он может очень многое, почти все… Он добивается великолепного результата путем стилизации. В иных условиях он был бы “левым”, занимался бы формотворчеством, а сейчас вынужден обслуживать идею. Он пишет в определенном “ключе” и по этому ключу стилизует: чистого мальчика, красноармейца и так далее. А в итоге стал писателем для юношества. Он это понимает. Я ему сказал, он не стал спорить, но добавил:

— Которого читают и взрослые».

«БОЛЬШЕ Я НЕ ПЬЮ»

Понять происходившее в литературе и непосредственно в «Юности» невозможно в отрыве от политического контекста. Литература не только отражала, но и подгоняла процессы перемен.

В феврале 1955 года с поста председателя Совета министров убрали Георгия Маленкова. Новое правительство было сформировано из сторонников Хрущева, который теперь взял власть по-настоящему.

Несомненно, катаевское издание своей эстетикой и этикой предвосхищало генеральную линию на «очеловечивание» общества.

Евтушенко написал об этом стихотворение «Валюн»:

Он всех нас кормил и печатал,
открыв заржавелый засов.
Катаевские волчата,
мы шли против лагерных псов.

Вселяя в Лубянку угрюмость,
пугая Китайский проезд[136],
журнал под названием «Юность»
стал юностью наших надежд…

За столькое сам виноватый,
стоял он за нас, как валун,
зловатый и угловатый,
и нежный — великий Валюн.

Еще раньше таким же символом новой эпохи стала появившаяся в майском «Знамени» 1954 года повесть «Оттепель» Эренбурга об официозном лицемерии, долгожданной смелости и свободе чувств.

В феврале 1956-го в Москве прошел XX съезд КПСС с антисталинским докладом Хрущева «О культе личности и его последствиях». Сталин персонально обвинялся как в Большом терроре, так и в том, что во время войны планировал операции по глобусу. Многие были потрясены. Началась массовая реабилитация — прижизненная и посмертная. Памятники недавнему вождю стали сносить (первый был сброшен в Тбилиси после беспорядков, подавленных танками).

13 мая 1956 года на даче в Переделкине выстрелом в сердце покончил с собой Александр Александрович Фадеев. На столике рядом с кроватью он поставил портрет Сталина. В предсмертной записке говорилось, что последние три года, несмотря на просьбы, его не могут принять «люди, которые правят государством» — «от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды».

(Последней большой любовью Фадеева была Клавдия Стрельченко, вдова погибшего на войне поэта Вадима Стрельченко, жившая в Переделкине. Критик Зелинский, писавший книгу о Фадееве, оставил очерк под рабочим названием «В июне 1954 года», где приводятся фадеевские слова Бубеннову: «Мне ближе всех оказалась теперь К. С. Я даже хотел на ней жениться. Но я не был с ней близок… Представь себе, что ночевал, а не спал. Она жила с Катаевым, а вот со мной не захотела… Я знаю, меня любил Иосиф Виссарионович». «В Сталине подкупает неподкупность», — цитируется в том же очерке. Что до отношений Фадеева со Стрельченко, возможно, он пьяно шутковал с Бубенновым — Валерии Герасимовой он говорил, что с Клавдией близок, любит ее и хотел на ней жениться, но вмешались «высшие инстанции».)

В 1957 году в январской «Неве» появилась киноповесть «Поэт». Катаев написал о вечерах «Зеленой лампы», Гражданской войне в Одессе и смертельной схватке между бывшими друзьями — поэтом Тарасовым, ставшим большевиком (он напоминает Багрицкого, птицелов), и поэтом Орловским, белым офицером (в нем много от Катаева, приходится сдать «хамам» шашку — очевидно, ту самую — «За храбрость»). Орловский возмущен «разгулом черни»: «Посбивали провода, покалечили фонари… Тьфу, мерзость!» — однако убежден, что кровавый хаос революции будет преодолен, и потому сочиняет такие стихи:

Еще пожар на гребнях крыш
Бушует при народных кликах,
Еще безумствует Париж
И носит головы на пиках,
А уж, подняв лицо от карт,
В окно своей мансарды тесной
На толпы смотрит Бонапарт,
Поручик, миру не известный.
С улыбкой жесткой на лице
Он, силой внутреннего взора,
Проводит отблеск термидора
На императорском венце.

Повесть по мотивам жизни — правда, как в кубике Рубика по авторскому произволу красное и белое поменялись местами: тифом заболел Тарасов, и арестовали его, соответственно, ворвавшиеся в город белые (но все закончилось хеппи-эндом). Кстати, само название «Поэт» многозначно. Кто подлинный герой? Оптимистичный частушечник, зевая, рифмующий лозунги, или трагический прапорщик, сравнивающий себя с Лермонтовым и после бегства французов воскликнувший: «Нас предали. Драться до последнего патрона!» — а в итоге отправленный в расход?

Повесть была экранизирована (режиссер — Борис Барнет), премьера состоялась 9 февраля 1957 года.

В том же году в журнале «Искусство кино» (№ 5) Виктор Шкловский в рецензии на фильм, указывая на близость «красного поэта» Багрицкому, отмечал: «Писатель Валентин Катаев обеднил своего земляка Тарасова» и далее — с многозначительным ядом знатока: «Образ Орловского — поэта-белогвардейца — имеет интересные черты. Орловскому Катаев дал небезразличные стихи». По Шкловскому, «сюжетное построение ленты, ее драматургия условны — они помогают смотреть ленту, но не раскрывают сущность происходящего». В результате — нет «раскрытия отношения к революции».

Шестидесятилетие Катаева в 1957-м справляли торжественно. Чествование устроили в Центральном доме работников искусств, выступали артисты театров и пионеры, а с экрана — герои фильмов по его книгам.

Незадолго до шестидесятилетия Катаев завязал с алкоголем и табаком. Вернее, выпивал он и потом, но умереннее.

О катаевских запоях слагались легенды.

Порой, когда папа загуливал, Женя могла видеть его с балкона: он пробирался в находившуюся в их же доме сберкассу — снять денег… Она все понимала, но маме не говорила.

«Прекрасно помню момент, когда мама вдруг очень серьезно и спокойно заговорила со мной, десятилетним мальчиком, о возможном разводе с отцом», — вспоминает Павел.

— Что ты скажешь? — спросила она.

В то утро мальчику не хотелось говорить об этом, «об огромной проблеме, вот-вот готовой ворваться в нашу жизнь и разрушить ее», но, собравшись с силами, он так твердо, как только мог, сказал:

— Не надо…

А Эстер между тем поставила мужу ультиматум: либо он

остановится, либо она забирает детей и уходит. «Потому что, — объясняет Павел, — устала и не желает больше терпеть многодневные загулы, непонятных гостей, пьяные скандалы».

Катаев тогда ответил:

— Я больше не пью.

Но по-настоящему он завязал после «удара».

Выпивал с гостями. После их ухода Эстер отправилась мыть посуду и вдруг услышала удар об пол. Катаев лежал на полу. Вызвала «неотложку». Врачи привели его в себя, диагностировали что-то вроде спазма сосудов, запретили пить и курить. И со следующего дня он дисциплинированный, как солдат, навсегда отказался от долгих попоек и дыма. А ведь был заядлым курильщиком с желтыми пальцами (предпочитал сигареты без фильтра «Новые» фабрики «Дукат»).

Врачи потребовали и правильного питания. Вспоминая, какая пища помогала в офицерском лазарете скорее исцелить рану, Катаев выбрал сытное меню: по утрам два яйца в мешочек и белый хлеб с маслом, за обедом — густой бульон, бифштекс или жирная рыба и икра. Когда при посещении врача он похвалился такой «диетой», тот сообщил ему, что это верный способ себя доконать. Теперь Катаеву пришлось довольствоваться овсянкой на воде, сухарями и злаковым кофе, чуть скрашенным нежирным молоком.

Этим напитком он порой угощал какого-нибудь простодушного посетителя, галантно осведомившись:

— Не желаете бурдоне?

Тот соглашался, рассчитывая на французское вино, и получал мутную бурду.

Поправившись, Катаев мог позволить себе и выпивать, и, уж точно, хорошо закусывать.

Тем временем терявшие влияние соперники Хрущева попробовали скинуть «царя горы». В июне 1957 года семь из одиннадцати членов Президиума ЦК КПСС осудили политику первого секретаря. Но стремительно созванный Хрущевым при поддержке маршала Жукова пленум ЦК разбил «антипартийную группу» (уже в октябре Хрущев снял Жукова с поста министра обороны, обвинив в «бонапартизме»).

Несмотря на смену лиц во власти, писатели по-прежнему подвергались разносу. Хрущев, науськиваемый окружением, с простосердечностью громилы лез в искусство. «Юность» вызывала недовольство литературных и политических бонз. Катаев понимал, что в любой момент могут врезать по его детищу, и с лицедейской дисциплиной повиновался системе, хладнокровно осуждая тех, кого следовало.

Например, 8 октября 1957 года в «Литературной газете» появилась его статья «Мы благодарны партии» (по мотивам доклада 1 октября на московском писательском собрании). «Имена ошибавшихся хорошо известны… Речь идет, к сожалению, прежде всего о талантливом литераторе, одном из руководителей Союза писателей — Константине Симонове, а вместе с ним — о членах редколлегии журнала “Новый мир”. Именно в этом журнале наиболее ярко проявилась неверная и вредная тенденция одностороннего, очерни-тельного показа бытия советского общества».

Подразумевалась публикация в 1956 году в «Новом мире» одного из главных оттепельных произведений — романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» о честном изобретателе, бросившем вызов бюрократической среде и посаженном за «вредительство». Нагорело всему журналу. Симонов, хотя и вынужденно отрекся от своего «выдвиженца», попал в немилость.

А Катаев продолжал: «Не менее серьезной была грубая политическая ошибка другой редколлегии — альманаха “Литературная Москва” и ее руководителя писателя Эммануила Казакевича». Альманах, начавший выходить в январе 1956-го (здесь напечатали стихи Марины Цветаевой, рассказ Александра Яшина «Рычаги» о партийной казенщине и многое другое), был подвергнут разносу в печати и на собраниях за сосредоточение на «теневых сторонах жизни». Вышло всего два сборника. «Возьмите Венгрию. Ведь началось же с писателей, товарищи», — говорил на встрече в ЦК 13 мая 1957 года Хрущев, подразумевая, в частности, кружок Петёфи, требовавший реформ и участвовавший в подготовке событий октября 1956 года. Массовая демонстрация в Будапеште переросла в вооруженный мятеж (коммунистов и сотрудников госбезопасности вешали и расстреливали, правительство заявило о выходе из Варшавского договора). В начале ноября восстание подавили советские войска — погибли несколько тысяч человек.

По словам Павла Катаева, его отец записал в свою тетрадь грустные слова по поводу произошедшего.

В те дни французские писатели (Жан Поль Сартр, Веркор, Роже Вайян, Симона де Бовуар и др.) направили письмо протеста советскому правительству, осудив и тех, «кто хранил молчание или даже высказывал одобрение, когда Соединенные Штаты задушили в крови свободу, завоеванную Гватемалой». Это письмо было опубликовано в «Литературной газете» 22 ноября 1956 года одновременно с ответом «Видеть всю правду», в котором 66 советских писателей, в том числе Каверин, Казакевич,

Твардовский, Паустовский, Эренбург, Шолохов, ну и Катаев, заявляли, что в Венгрии «советские солдаты, жертвуя своими жизнями, спасали десятки, а может быть, и сотни тысяч жизней от разгула фашистского террора».

27 марта 1957 года в Кремле «на митинге дружбы между советским и венгерским народами», где присутствовало все руководство как Венгрии, так и СССР, Катаев коснулся «происков врагов»: «Втайне они вынашивали мрачные планы восстановить в Венгрии фашистский режим и оторвать Венгрию от социалистического лагеря… Принимая вас, мы радуемся, что мрачные дни прошлогодней осени уже позади».

Вскоре он отправился в эту страну… Побывал и в Китае.

За несколько месяцев до венгерского восстания в августе 1956-го в ФРГ была официально запрещена Коммунистическая партия Германии. Предваряя это событие, Катаев писал в «Литературной газете»: «Боннским властям в высокой степени безразличны все демократические принципы. У них есть только один принцип: заслужить благосклонность своих американских патронов».

28 июля 1957 года в Москве открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов — одно из знаковых событий «оттепели»: приехали 34 тысячи гостей из 131 страны, включая Англию, Францию, Америку. Иностранцы свободно общались с советскими людьми, именно тогда в моду вошли джинсы, кеды, рок-н-ролл. Катаев приветствовал фестиваль передовицей в «Литературной газете» о затяжном для него ощущении юности: «В двадцать лет молодость кажется естественным состоянием человека. Думается — она никогда не кончится. Ее истинную цену, ее счастливую кратковременность начинаешь постигать, когда тебе уже за пятьдесят или даже, увы, за шестьдесят».

Когда 16 марта 1958 года проходили очередные выборы в Верховный Совет СССР, Катаев понял: «народ голосует за весну». Своеобразно смотрелся его политический отчет на первой полосе «Правды»: «Прелестное мартовское утро. Легкий морозец и солнце. В тени синеет еще довольно крепкий лед. На солнце подтаивает. Серебряные первые робкие ручейки». А может, такие новости были ему всего важнее?

В 1958-м Катаев с женой впервые вместе выехали за рубеж. Они совершили морской круиз вокруг Европы с заездом в Париж. Последний раз Катаев был здесь в 1931 году. Взявшись за руки, ходили по всему городу и забрели на бедную улицу Риволи — место рождения Эстер. В гостиницу знакомиться пришел знаменитый Альбер Камю, признавшийся в любви к «Растратчикам» и их причудливом влиянии на его роман «Чума».

Беседовали несколько часов, но разговор то и дело прерывал сотрудник советского посольства, упорно не покидавший номер. То была не последняя встреча с Камю. В другой раз в Париже во время обеда лауреатов Гонкуровской премии они обсуждали пределы свободы самовыражения и Катаев сетовал на рыночное потакание животному и зверскому: «Я взял его за руку и вышел на улицу. Стоял там книжный киоск. Витрина — сплошь порнографическая литература, книги об убийствах, изнасилованиях. Камю как-то очень искренне согласился, да, это диктат бездуховности».

(Интересно, что и эту, и многие другие поездки на Запад Катаев полностью оплачивал из своего кармана. «На моем счету в Парижском обществе драматических писателей накопилось свыше 3000 н. франков», — в письме Суслову сообщал он в 1960 году перед новой поездкой с Эстер «на три-четыре недели». В 1962-м он на месяц отправился с ней в Италию «за счет собственных средств», как говорилось в записке, подготовленной отделом культуры ЦК. В конце 1965-го просил Суслова отпустить на месяц в Париж: «У меня там накопились около 2000 франков авторских».)

В том же году он побывал в Бельгии и познакомился с внуком, правнуком и праправнуком Пушкина. «Семья Пушкиных радушно потчевала меня по-русски — чаем с клубничным пирогом, — записал он. — Мы расстались друзьями».

Еще в 1956-м в записке отдела культуры ЦК сообщалось: внук Пушкина Николай Александрович — «человек, враждебно настроенный к Советскому Союзу», но при этом нужно «принять меры к установлению контакта с Н. А. Пушкиным и выяснению возможности приобрести у него рукописи А. С. Пушкина». Теперь, вернувшись в Москву, Катаев докладывал в ЦК о своей встрече с белым офицером, в 1920 году покинувшим Крым на одном из врангелевских кораблей: «Было мнение, что Николай Александрович придерживается крайне реакционных взглядов и не желает общаться с советскими людьми. Это не подтвердилось. Я разузнал его адрес… Нанес ему визит и был очень хорошо и дружелюбно принят… Мне кажется, что было бы очень полезно развить этот, — поначалу столь благоприятный, — контакт и, если удастся, пригласить семью Пушкиных побывать в Советском Союзе».

Николай Александрович умер в 1964-м, так и не навестив родины.

Железное вспоминал: «Как-то его заместитель Сергей Николаевич Преображенский сказал: “Валентин Петрович, а вы не думаете вступить в партию?” Он ответил: “Да, я давно собираюсь

это сделать. Только не знаю, с чего начать!” Ему с радостью дали рекомендации». Катаев стал членом КПСС в 1958 году. По мнению Аксенова, он старался надежнее защитить журнал.

А вот Виктор Ардов трактовал эту позднюю партийность так: «Катаеву уже за шестьдесят: врачи запретили пить, по дамской части он уже не ходок… Значит, теперь “аморалку не пришьют”, а поощрения будут, и немалые…»

По-моему, Катаев вступил бы и раньше, но при Сталине боялся — партийных просвечивали насквозь.

«УЩИПНИТЕ МЕНЯ, Я НЕ ЗНАЮ, НА КАКОМ Я СВЕТЕ НАХОЖУСЬ…»

«Пастернак» — кодовое слово конца 1950-х.

В 1956 году Борис Леонидович закончил роман «Доктор Живаго» о жизни врача-поэта среди потрясений русского XX века. Журналы, куда Пастернак предложил роман, печатать его отказались. Рецензенты, члены редколлегии «Нового мира», усмотрели в произведении «дух неприятия социалистической революции». Тогда он передал рукопись итальянскому издателю Джанджакомо Фельтринелли[137].

Сам Пастернак будто бы сказал: «Всей этой кутерьмы не случилось бы, если бы у советских редакторов хватило разума опубликовать эту книгу».

Катаев слушал первое чтение романа у Пастернака на даче. «Он был гостеприимен, оживлен, полон скрытого огня, как мастер, довольный своим новым творением. С явным удовольствием читал он свою прозу, даже не слишком мыча и не издавая странных междометий глухонемого демона. Все было в традициях доброй старой русской литературы: застекленная дачная терраса, всклокоченные волосы уже седеющего романиста, слушатели, сидящие вокруг длинного чайного стола, а за стеклами террасы несколько вполне созревших рослых черноликих подсолнечников с архангельскими крыльями листьев, в золотых нимбах лепестков, как святые».

«Вот как я умею!» — будто сообщает автор приведенного абзаца.

Катаев, искренне любивший стихи Пастернака, также искренне считал его роман слабым. И был не одинок. Многие литераторы не приняли и не принимают роман. Набоков называл доктора Живаго — Мертваго, а само произведение «мутным советофильским потоком, несущим трупного, бездарного, фальшивого» героя. «Мне хотелось схватить карандаш и перечеркивать страницу за страницей крест-накрест», — признавалась Ахматова, впечатленная, однако, «гениальными пейзажами». «При всей прелести отдельных кусков, главным образом относящихся к детству и к описаниям природы, — отметил Чуковский, прослушав чтение романа, — он показался мне посторонним, сбивчивым, далеким от моего бытия — и слишком многое в нем не вызывало во мне никакого участия».

В ЦК КПСС надеялись, что Пастернак остановит издание книги за границей и согласится на ее переработку-7 января 1957

года Гослитиздат заключил с ним договор. Пастернак направил несколько телеграмм в Италию с просьбой не издавать книгу, но в письме французской славистке Жаклин де Пруайяр он характеризовал их как «фальшивые».

13 августа Пастернак не явился на заседание Секретариата Союза писателей, обсуждавшее передачу рукописи за границу. Вместо себя направил возлюбленную Ольгу Ивинскую. По ее воспоминаниям, Катаев, «непристойно развалившись в кресле», интересовался:

— Кого вы, собственно говоря, представительствовать пришли? Ущипните меня, я не знаю, на каком я свете нахожусь — романы передаются за границу в чужие руки, происходит такое торгашество…

Когда попросил слова редактор романа сотрудник Гослитиздата Анатолий Старостин, Катаев продолжил ёрничать:

— Удивительное дело, отыскался какой-то редактор. Разве это еще можно и редактировать?

В ноябре 1957-го «Доктор Живаго» вышел в Италии. В августе 1958-го в Голландии вышло первое издание романа на русском языке (что требовалось для выдвижения на Нобелевскую премию). «Проблема проста: слишком многие не хотят признать, что “Доктора Живаго” по-русски выпустило ЦРУ — американская разведка, — пишет литературовед Иван Толстой в подробном исследовании «Отмытый роман Пастернака: “Доктор Живаго” между КГБ и ЦРУ». — В этом факте видится покушение, прежде всего, на честь Пастернака. Хочу заверить читателей, что Борис Леонидович остается в белых ризах…» По утверждению газеты «Вашингтон пост», текст романа на русском языке добыли британские спецслужбы, передавшие ЦРУ фотоснимки страниц.

Некоторое время назад ЦРУ сняло гриф «секретно» с девяносто девяти документов, касающихся «Доктора Живаго». В одном из документов, датированном 1957 годом, рекомендовалось уделить наиболее пристальное внимание именно этой книге в сравнении с другими советскими произведениями. Отмечалось, что роман должен быть выставлен на соискание Нобелевской премии по литературе[138].

23 октября Шведская академия словесности и языкознания присудила Пастернаку Нобелевскую премию.

В СССР началась безобразная кампания травли: на Бориса Леонидовича обрушились оскорбления и угрозы…

27 октября Союз писателей исключил его из своих рядов. В итоговом постановлении говорилось: «Симптоматично и показательно, что одни и те же силы организуют походы против национально-освободительных движений, военный шантаж

против арабских народов, устраивают провокации против народного Китая и поднимают шум вокруг имени Б. Пастернака». Присуждение Нобелевской премии объяснялось «пропагандистскими, а не литературными» причинами. Многие писатели, рассчитывавшие на «оттепель», опасались, что из-за «смутьяна» может начаться зажим. Телеграммы в поддержку исключения прислали из ялтинского Дома творчества даже Илья Сельвинский и Виктор Шкловский.

5 ноября в газете «Правда» появилось письмо Пастернака, как утверждалось, продиктованное «уважением к правде», где он отказывался от премии: «Я хочу еще раз подчеркнуть, что все мои действия совершаются добровольно. Люди, близко со мной знакомые, хорошо знают, что ничто на свете не может заставить меня покривить душой или поступить против своей совести… Я верю, что найду в себе силы восстановить свое доброе имя и подорванное доверие товарищей».

По переписке Бориса Леонидовича заметно, как менялся градус его отношений с Валентином Петровичем. 1920-е годы — совместные посиделки и прогулки. Анна Коваленко вспоминала низкоголосую декламацию гостя:

> Как ночь, уставшую сиять,
> Как то, что в астме — кисея,
> Как то, что даже антресоль
> При виде плеч твоих трясло…

Из пастернаковского: «Катаев видел “Ковш” сверстанным» (1925); «Вчера смотрел “Растратчиков” в Художественном. Катаев написал мне записку, когда я пришел домой и ее развернул, то увидал, что она — на два лица… И очень рад, потому что один побоялся бы идти в театр» (1928).

1 августа 1929-го Катаев сообщал Анне в Тарусу: «Дурное настроение, не хочется писать, купил всего Блока — читаю. Насчет Пастернака должен тебе сказать по секрету — я очень разочарован в нем как в поэте тоже. Очень много хорошего, но все — поза. Страшная риторика. Даже иногда противно»[139].

Но и годы спустя они общались, соседи по Лаврушинскому и Переделкину, — из письма Пастернака поэту Сергею Спасскому: «Оттают твои стихи, приводившие меня в такое восхищение на зимней даче у Катаева» (1941). И, по Катаеву, вместе дежурили на крыше при бомбежке Москвы…

Летом 1958 года Катаев, гулявший с Чуковским по дачным улицам, встретил Пастернака и, сняв солнцезащитные очки «Постороннего», передал ему привет от Альбера Камю, между

прочим, лауреата Нобеля за 1957 год, который поддержал выдвижение Пастернака. (Рифма: в 1964-м другой писатель-экзистенциалист Жан Поль Сартр откажется от премии, заявив: «Вызывает сожаление тот факт, что Нобелевская премия была присуждена Пастернаку, а не Шолохову», и в 1965-м Шолохову ее дадут.)

25 июня Пастернак (быть может, прежде всего оскорбленный катаевским поведением в пересказе любимой женщины) написал Чуковскому: «Если хотите помочь мне, скажите Катаеву, что очки его сбили меня с толку, и я не знал на чей поклон отвечаю. А потом и пошел любезно разговаривать с ним в ответ на приятные новости, которые он мне сообщил. Но, конечно, что лучше нам совершенно не знаться, таково мое желание. И это без всяких обид для него и без каких бы то ни было гражданских фраз с моей стороны. Просто мы люди совершенно разных миров, ничем не соприкасающихся. И ведь скоро все эти “водоразделы” возобновятся для меня». 27 июня Пастернак сообщил музыканту Петру Сувчинскому по-французски: «На днях один из наших разъезжающих подлецов рассказал мне, что познакомился с г. А. Камю и говорил с ним обо мне. Я не хотел верить этому негодяю и счел это за выдумку. И вдруг я получаю письмо от него самого!» То есть весьма вероятно, что Катаев, вечный литературный сводник и устроитель судеб, помогал протянуть мост от Камю к Пастернаку (не пытаясь ли тем загладить свою вину?). 28 июня — еще одно послание:

«Дорогой господин Камю,

с трудом верю своим глазам, что пишу Вам — Камю… Один бесчестный человек, на чье приветствие я случайно ответил, потому что из-за его черных очков не узнал его, сняв их, поразил меня неприятным известием (если можно ему верить), что у него была возможность познакомиться и говорить с Вами; между прочим, и обо мне. Как это мне неприятно! Я бы предпочел стать жертвой откровенной подлости, чем подать повод к тому, чтобы меня считали ее союзником».

15 августа 1959-го Чуковский зафиксировал в дневнике: Катаев дал ему почитать привезенную из Америки книгу «The Holy Barbarians» о битниках и среди прочего сказал о Пастернаке: «Вы воображаете, что он жертва. Будьте покойны: он имеет чудесную квартиру и дачу, имеет машину, богач, живет себе припеваючи — получает большой доход со своих книг».

Звучит довольно развязно — последние годы Бориса Леонидовича прошли в атмосфере травли, да и прежде он жил далеко не безоблачно, — но суждение не единичное, вот и Надежда Мандельштам в дневниках Александра Гладкова говорит

о Пастернаке, «что он отлично умел жить и устраивать свои дела, и его непосредственность — это поза».

В своей трактовке Пастернака как благополучного барина, изображающего жертву, Катаев упорствовал до конца и писал в «Алмазном венце»: «Мулат в грязных сапогах, с лопатой в загорелых руках кажется ряженым. Он играет какую-то роль. Может быть, роль великого изгнанника, добывающего хлеб насущный трудами рук своих».

Тогда же, в 1959-м, Катаев рассказал Чуковскому, что в Америке его спросили: «Зачем вы убивали еврейских поэтов?»

— Все дело было в том, чтобы врать. Я глазом не моргнул и ответил: «Никаких еврейских поэтов мы не убивали».

Другой бы (следуя правилам) дипломатично уклонился от вопроса американцев, но не стал бы потом этим похваляться (тем более перед «прогрессистом» Чуковским). Что это? Откуда эта нужда выворачивать совесть наизнанку?

Катаев не пытался выглядеть лучше, чем есть. Наоборот. Как бы нарочно выставлял себя бóльшим грешником, чем другие. И даже как бы примеривал палаческий фартук…

Мне кажется, в этом был исповедальный эпатаж потомка священнического рода… Своего рода — антиисповедь.

«Вижу мулата последнего периода, — писал он в «Алмазном венце», — постаревшего, но все еще полного любовной энергии, избегающего лишних встреч и поэтому всегда видимого в отдалении, в конце плотины переделкинского пруда, в зимнем пальто с черным каракулевым воротником, в островерхой черной каракулевой шапке, спиной к осеннему ветру, несущему узкие, как лезвия, листья старых серебристых ветел. Он издали напоминал стручок черного перца…»

Избегающий лишних встреч — самокритично.

А затем и галлюцинозный мираж того, кто оказался «на отшибе, отрешенный от всех» (или это слезно-покаянная расплывчатость?): «Чем ближе мы к нему подходили, тем он все более и более светлел, прояснялся, пока не стало очевидно, что он сделан из самого лучшего галактического вещества, под невесомой тяжестью которого прогнулась почва…»

«И дышат почва, и судьба», — как сказал поэт, умерший у себя дома в Переделкине 30 мая 1960 года.

КАТАЕВ И ХРУЩЕВ

13 мая 1957 года нескольких писателей (Шагинян, Грибачева), в том числе Катаева, вызвали на совещание в ЦК. Хрущев (с утра принявший встревоженного «реакционера» главного редактора «Литературной газеты» Всеволода Кочетова) призывал их не увлекаться свободой слова и борьбой с «лакировщиками». «Лакировщики — это наши люди», — провозгласил Никита Сергеевич, как всегда размышлявший вслух: «Мы по-детски плакали, когда были у гроба Сталина… А потом мы стали плевать на труп Сталина?..» От литературы и идеологии перешли к жизни. «Кормить людей надо, одевать надо…» — «Когда жилища в Конституцию впишем?» — неожиданно перебил Катаев, быть может, из-за вспыхнувшей жажды справедливости. Хрущев прямо не ответил, не в силах оторваться от излюбленной темы пищевого насыщения и соперничества с заокеанским царством: «Товарищ Катаев, если мы сегодня бы дали рабочим и служащим норму мяса и масла США…»

В следующее воскресенье, 19 мая 1957 года, на бывшей даче Сталина в Семеновском Хрущев принимал деятелей искусства. Катаев явился с дочкой. Она вспоминает, что Хрущев и Маленков были в вышитых украинских косоворотках, причем первый секретарь крайне дружелюбно то и дело называл ее отца по имени-отчеству.

Тогдашний председатель Совмина Николай Булганин сорвал для Жени цветочек, Каганович подскочил к ней с пивом.

— Она не пьет, — охладил его пыл Катаев.

Их посадили в большом шатре с начальством, а Сергея Михалкова, как до сих пор не без удовольствия помнит Евгения, поместили в шатер поменьше. Михалков тогда и впрямь был в немилости — говорят, главу партии рассердила басня про «дурную голову», в которой он увидел намек на себя.

Сын Хрущева трогательно утверждает, что вместо алкоголя всем наливали сок, видимо, чтобы обелить родителя, который, по свидетельству очевидцев, хватил лишку. Разойдясь, он нагрубил не только поэтессе Маргарите Алигер, но и соратнику Молотову (именно тогда, на пикнике, полагает Хрущев-младший, и возникла «антипартийная группа»). Свирепые возгласы нового вождя сопровождал хлынувший ливень, от которого спасал натянутый тент. «Тот день не был таким уж безмятежно безоблачным, — сладко, но мнится, не без тонкой иронии, вспоминал Катаев в «Литгазете», — и гроза, которая неожиданно пронеслась в конце дня, как бы сопровождала тот жаркий спор,

который вспыхнул за праздничным столом». «Сотрем и пойдем вперед!.. Кто встанет поперек нашего пути с партийным билетом или без партийного билета — сотрем в порошок! Вот за это я и предлагаю тост!» — восклицал под аккомпанемент грозы Никита Сергеевич.

В тот день, говорит Евгения Катаева, Хрущев положил на ее отца глаз. В литературных кругах даже пошли слухи, что его готовят в первые секретари Союза писателей СССР вместо Алексея Суркова.

«Оправдаем высокое доверие» — называлась катаевская статья в «Литгазете» по итогам встречи, где он словно бы подшучивал над состоянием первого секретаря: «“Надо трезво смотреть на вещи”, — говорит Никита Сергеевич» и далее, как положено, аллилуйя: «Ведя самую задушевную, самую дружескую и по-дружески требовательную, прямую, откровенную беседу с представителями советской интеллигенции, тов. Хрущев поднимает множество вопросов гигантского принципиального значения».

Два года спустя, 18 мая 1959-го, в Большом Кремлевском дворце открылся III съезд писателей СССР. Катаев сидел в президиуме и, подперев голову рукой, слушал гремевшего на трибуне руководителя страны. Заправила десталинизации начал с проверенной формулы, воздав хвалу «инженерам душ человеческих», и далее пошел сыпать шутками-прибаутками, как настоящий шоумен: «Книгу читаешь, а глаза смыкаются… Потрешь их, начинаешь опять читать, опять смыкаются глаза. Чтобы прочитать книгу, берешь иной раз булавку, делаешь себе уколы и тем подбадриваешься…»

Катаев же полностью посвятил речь «новым именам», сконструировав ее из мини-рецензий на произведения Гладилина, Кузнецова, Евтушенко и других, большинству из которых не было и тридцати: «Чаще всего молодые писатели пишут о себе. Герои их произведений — это их двойники или во всяком случае сверстники…» Сам Катаев, как признавался, тоже хотел написать — но не написал — «молодежную» повесть. Причем не о ком-нибудь, а «о девушке-москвичке».

В 1959 году он побывал в Киеве. Выступал в газете «Юный ленинец», рассказывая о работе «Юности». Поэт Аркадий Гарцман, тогда пионер-шестиклассник, вместе с другими школьниками читал свои стихи. Махнув рукой от избытка эмоций, сбил графин со стола, вода залила гостю брюки. Спустя годы, в начале 1980-х годов Аркадий навестил Валентина Петровича в Переделкине и напомнил тот случай. «Так это ты был?!» — воскликнул Катаев, сообщив, что нечаянный жест

мальчика избавил его от поездки в украинский ЦК, и в благодарность одарил бутылкой вина.

Летом 1959-го — Катаев в Америке. Наконец-то! Всю жизнь бредивший этой страной, замороченный на ее бешеном стиле, заждавшийся аж с 1930-х бродвейских гонораров за «Растратчиков»…[140]

Катаев стал участником выставки в Нью-Йорке, расположившейся на площади восемь тысяч квадратных метров в комплексе «Колизей» («Coliseum») и представляющей жизнь и достижения Советского Союза (зеркальная американская выставка открылась в Москве, в Сокольниках). Он выступил перед аудиторией в полторы тысячи человек и поразился «сердечной обстановке». «Ясно, что американцы в массе своей — народ, в основном дружественно к нам настроенный, — сообщал он в «Известиях», — любознательный, любящий и понимающий шутку, реалистически мыслящий». Не обошлось и без анекдота: будто бы какой-то «почтенный джентльмен», рассматривая большой макет ледокола «Ленин», осведомился: «Ну, хорошо. Реактор и все прочее. Это я понимаю. А теперь скажите мне: где же, собственно, тут делаются ледяные кубики для коктейля?»

Там, в Нью-Йорке, Катаев стоял на крыше знаменитого 103-этажного Эмпайр-стейт-билдинг, алчно всматриваясь в «могучую и волнующую» картину: «Подо мною наискосок, как в глубине каменноугольной шахты, бежали разноцветные огоньки городского транспорта и пылал раскаленный треугольник Таймс-сквера на Бродвее со своими движущимися электрическими рекламами и прожекторами. А за угольно-черным горизонтом в одном месте небо светилось, и мне сказали, что это зарево над городом Филадельфией…»

Так получилось, что выставка предшествовала первому визиту в США лидера СССР.

С мнением «множества простых американцев» (конечно же, «за мир, за дружбу»), узнавших о том, что к ним летит Хрущев, можно было ознакомиться, прочитав катаевские газетные репортажи. Кстати, буквально за несколько дней до этого полета, что не мог не отметить Катаев, «советская космическая ракета впервые в истории человечества достигла Луны».

Поездка Хрущева продолжалась 13 дней: он исколесил Штаты, всем интересовался (пресловутая кукуруза, хот-дог и гамбургер, ставшие у нас «сосиской в тесте» и «котлетой в булочке»), много хохмил, был бесцеремонен: «Вы что думаете, только вам Бог помогает, а нам не помогает?! Нам он больше помогает!»

Через три года после пикника с деятелями искусств в

Семеновском, 17 июля 1960 года Хрущев снова пожелал пикника с деятелями и в том же месте. О месте этом писатель Владимир Тендряков вспоминал как о «блаженном острове коммунизма» — не только вкусно потчевали, но и предлагали искупаться в пруду: «В воде под берегом происходит встреча — Валентин Катаев, нагоняя волну, плывет на круглую, как плавающая луна, широко улыбающуюся физиономию Доризо и громко сетует:

— Стоило ехать за сто с лишним километров, чтоб узреть эту надоевшую на улице Воровского рожу!»[141]

На этот раз разговор прошел добродушно, даже безмятежно. Два дня спустя Катаев заливался соловьем в «Литературной газете»: «Безоблачный июльский день. День, полный цветения, голубизны и зелени, теплых летних красок… В стране сейчас действительно хорошая погода… Чувство боевого товарищества особенно остро проявилось в замечательно яркой речи Н. С. Хрущева, в глубоком выступлении М. А. Суслова…»

СМЕРТЬ ОЛЕШИ

10 мая 1960 года в Москве умер Юрий Карлович Олеша.

Они с Катаевым то общались, то нет…

Катаевское встречное раздражение на Олешу едва ли обошлось без «личного». Достаточно вспомнить вот какую историю. В середине 1930-х годов Катаев дал телеграмму в Одессу, попросив находившегося там Юру принять его новую жену Эстер с подругой. Олеша встретил их роскошно, на «линкольне», поселил в гостинице «Лондонская», каждый день устраивал посиделки с ними и своими друзьями в ресторане, но все за счет Эстер. Она еле вырвалась из Одессы, ехала на верхней полке, с пятеркой в кулаке для носильщика… Странная история, но спустя десятилетия, по свидетельству писательницы Инны Гофф, «рассказ Эстер дышал неостывшим гневом». А когда Инна напомнила Катаеву, что в одном номере той же «Лондонской» с Олешей жил ее дядя-литератор, выступавший под именем Филипп Гопп, арестованный в 1937-м и отправленный на Колыму, тот даже не изобразил сочувствия:

— Олеша окружал себя шпаной, ему нравилось почитание… Он был как подсадная утка, — потом их сажали… Бездельники… Болтуны!.. Жили в гостинице на авансы, которых не оправдали…

И это он говорил не на собрании, а на даче в июле 1979 года (когда Олеши уже давно не было в живых).

Но нити, соединявшие двоих, были слишком прочны…

Писатель Юрий Нагибин вспоминал, как в начале 1939-го его единодушно отстояли именно Катаев и Олеша. В клубе писателей дебютант прочитал рассказ о том, как юноша пытается добиться взрослой женщины и терпит фиаско из-за своей «незрелости». На автора набросились и начинающие, и именитые литераторы, обвиняя в том, что вместо пограничника или ударника он изобразил какую-то «чувственницу». «Я подумал о самоубийстве. А затем случилось нежданно-негаданное. Председательствующий на вечере Валентин Петрович Катаев вдруг покраснел и сказал резко:

— Ну, хватит играть его костями».

Следом из дверей раздался насмешливый голос Олеши:

— А ведь рассказ-то хороший!

Олеша хотел уйти (в ресторане ждали «золотые столбы коньяка»), но Катаев, уловив, что его мнение может повлиять на обсуждение, настоял, чтобы тот выступил.

«Катаев был неумолим, и Юрий Карлович покорился более сильному… Я был спасен. Две могучих руки схватили меня за

шкирку и вытащили из проруби».

По словам Евгении Катаевой, в послевоенные годы Олеша приходил к ним, трепался с другом юности, просил на выпивку и получал…

Эмилий Миндлин вспоминал посиделку той поры на катаевской даче: «Откуда-то сбоку из-за сосен, как в театре, высветился Олеша… Мы пили водку, закусывали копченой рыбой, — Катаев притащил ее с кухни. Олеша много говорил о своей пьесе, — половина ее, по его словам, уже лежала у него в кармане.

Режиссер спросил: не подойдет ли пьеса Олеши для Центрального детского театра? Катаев снисходительно улыбнулся:

— Юре нужен МХАТ! На меньшее он сейчас не пойдет.

— На меньшее я не согласен, — подтвердил Олеша. Он был уже пьян.

С каждой минутой он пьянел все больше и больше, — закуривал папиросу не с той стороны, рукописи вываливались из карманов его плаща. Он подбирал их и, комкая, рассовывал по карманам. Ни новый роман, ни новая пьеса Олеши не появились».

2 декабря 1955 года Олеша писал своей матери: «Я с ним поссорился лет семь тому назад, и с тех пор мы так и не сошлись. Иногда я грущу по этому поводу, иногда, наоборот, считаю, что Катаев плохой человек и любить его не надо. Тем не менее с ним связана заря жизни, мы вместе начинали»…

По свидетельству мультипликатора Иосифа Боярского, общавшегося с Олешей, тот «очень часто порицал Катаева»: «Я почувствовал, что между Юрием Карловичем и Валентином Петровичем Катаевым была старая, неуловимая для постороннего глаза вражда».

Или еще одно свидетельство — Ирины Кичановой-Лифшиц, общавшейся с Зощенко: «М. М. очень огорчало то обстоятельство, что Катаев отвернулся от Олеши, и он хотел их примирить… Он шел с Олешей по улице и встретил Катаева. Он взял Олешу за руку и не дал ему сразу уйти. Но примирение не состоялось — Катаев резко свернул в сторону и пошел прочь…»

Драматург Александр Гладков вспоминал 1957 год, январский день катаевского шестидесятилетия, проведенный с Олешей: «О чем бы мы ни говорили, он все время возвращался к этому юбилею К., возвращался по-разному — то драматически, то элегически, то с задором, то с какой-то тихой грустью. Уже вечером и довольно поздно Ю. К. вдруг вскочил с места и заявил, что немедленно едет поздравлять К. Он попросил бутылку коньяку, засунул ее почему-то во внутренний карман пиджака и

пошел к выходу. Через минуту он вернулся и предложил нам ехать с ним. Это было нелепо — все сидевшие за столом были незнакомы с К. Олеша уговаривал, настаивал, требовал, потом как-то неожиданно легко согласился, что ехать действительно не стоит. Бутылка коньяку была водружена на стол. Дальше в разговоре Ю. К. назвал К. “братом”, но тут же начал говорить злые парадоксы о братской любви. На короткое время мы остались вдвоем. Он вдруг спросил меня: кто лучше писатель — К. или он? Я промолчал и подумал, что это молчание его рассердит. Но он не рассердился и, наклонившись ко мне, сказал:

— Пишу лучше я, но… — он выдержал длинную театральную паузу, — …но его демон сильнее моего демона!..»

Последняя фраза, вероятно, была выстрадана и произносилась не раз, потому что приведена и в «Алмазном венце».

«Вы переворачиваете меня, как лодку», — запомнил и часто повторял Катаев предсмертную метафору Олеши, сказанную врачам.

В 1965 году вышла книга, составленная из оставшихся дневниковых записок Олеши. Ее собрал, покопавшись в его архивах, Виктор Шкловский при участии вдовы Олеши Ольги Суок и литературоведа Михаила Громова. Катаев полагал, что Шкловский скрыл важную часть дневников, изуродовал их, неправильно скомпоновав те лоскутки, которые включил в книгу, вдобавок — какая гнусность! — дал ей затрепанное название «Ни дня без строчки», совсем не то, какое было у автора: «Он хотел назвать ее “Прощание с жизнью”, но не назвал, потому что просто не успел».

Вот если бы эти рукописи доверили Катаеву, так остро чувствовавшему ушедшего соперника-собрата, а не этому теоретику (он ведь тоже был соперником «ключика», но в другом — женился на Серафиме Суок)…

Катаев вообще с давних пор не любил Шкловского — взаимно.

«Фельдшер, выдающий себя за доктора медицины», — сказано в «Траве забвенья».

«Он был похож, я убедился, на Бетховена», — писал Шкловский об Олеше. Катаев парировал в «Алмазном венце»: «Какой-то пошляк в своих воспоминаниях, желая, видимо, показать свою образованность, сравнил ключика с Бетховеном».

«В досадном несоответствии с блистательным текстом всей книги находится вялое вступление В. Шкловского», — рецензировал он книгу «Ни дня без строчки».

Он как бы оспаривал у Шкловского право на мертвого друга.

В 1983 году, в 86 лет, на вопрос журналиста «Известий»: «Кто был самым близким вашим другом?» — ответил (так и слышится — отрывистое): «Олеша».

В 1999 году книга дневников Олеши вышла полностью — конечно, гораздо более сырая, но уже не стесненная подцензурными опасениями: Горький на «чистке» писателей; европейская Одесса до революции; Мейерхольд, шепчущий: «Меня расстреляют»; имеется и запись о Сталине, сделанная больше чем через год после его смерти, исполненная причудливого пиетета: «Я подумал тогда, что великие люди двуполы — казалось, что голос вождя принадлежит рослой, большой женщине. Совершенно бессмысленно я думал о матриархате».

«ГАЗЕТУ НАДО ДЕЛАТЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СТИЛЕ»

В 1960 году Катаева обнадежили — предложили взять под начало «Литературную газету».

Всеволод Кочетов, возглавивший ее в 1955-м, считался слишком реакционным (хотя в 1959-м он ушел сам, из-за болезни). Политика его преемника Сергея Смирнова оказалась чересчур «левой» (но и он в 1960-м ушел по собственному желанию).

Судя по всему, власти была необходима площадка, способная соединить «ортодоксов» и «новаторов».

Видимо, наверху посчитали, что Катаев как компромиссная фигура сможет примирить фракции. С одной стороны, абсолютно лоялен государству, с другой — талантливый писатель, страстно любящий настоящую литературу.

Он и в будущем доказывал способность быть выше гражданской перепалки, печатая отрывок из повести «Трава забвенья» в «Огоньке» Анатолия Софронова, а затем ее целиком — в «Новом мире» Александра Твардовского, то есть в разнополюсных изданиях, у люто враждующих между собой главредов.

Николай Старшинов вспоминал: «В этот день Валентин Петрович пришел в редакцию крайне возбужденный: ему предложили новый пост — главного редактора “Литературной газеты”. И он дал свое согласие. Валентин Петрович загорелся мыслью обновить газету, сделать ее “читабельной!”, а инициативы у него всегда было предостаточно… Газетная работа, конечно, суетливее журнальной. Но он готов к этому».

Катаев почувствовал, что «Юность» ему тесна, теперь манило пространство более масштабного «прожекта»… Он всем утрет нос, создаст новую непривычную газету, самую яркую в СССР. Он обдумывал новый облик и новые рубрики, делился замыслами с «ближним кругом», начал подыскивать людей, заранее переманивал кое-кого из «Юности»…

Еще раньше он обратил свой взор на Феликса Кузнецова. Из вологодской деревни, оба дяди репрессированы, поступил в МГИМО, затем зашел с улицы к министру образования СССР («Тут что, не советский министр? Принимайте! Есть просьба»), просьбу уважили — перевели на филфак МГУ на отделение журналистики (так же пришел к министру и решил свои филфаковские неурядицы бывший «суворовец» и будущий писатель-историк

Олег Михайлов). После XX съезда КПСС аспирант Кузнецов был одним из застрельщиков бунта в МГУ с требованием «ускорения десталинизации» — отмены старых программ обучения и увольнения прежних преподавателей (приехавшего «усмирителя», секретаря Союза писателей Грибачева студенты захлопали, не дав говорить). Венгерские события напугали власть, и Кузнецова изгнали из университета с «волчьим билетом». Но уже через три года всего в 28 лет по протекции «сочувствующих» он, до того не написавший ни одной критической статьи, возглавил «оттепельный» отдел критики в «Литературной газете». Кузнецов считался ведущим критиком «поколения перемен», о котором писал статьи не только у себя в «Литературной газете», но и в катаевской «Юности». В 1977-м он возглавил Московскую писательскую организацию, уже разочаровав «прогрессистов», сблизившись с «деревенщиками» и все больше становясь «охранителем».

Феликс Феодосьевич, в 85 лет сохраняя отличную память, рассказал мне, как раздался звонок и Катаев, его читавший и публиковавший, пригласил к себе в редакцию.

«Предложил возглавить в “Юности” отдел критики. Но я уже возглавлял этот отдел в “Литературной газете”. Передо мной встала дилемма: что выбрать? Ведь катаевская “Юность” была знаковым явлением, голосом сверстников. А на Катаева я, конечно, молился. Поколебавшись, принимаю решение: иду в “Юность”. Катаев сказал: “Напишите письмо Смирнову, я его возьму с собой и пойду говорить”. Сергей Сергеевич положил письмо в стол: “Давайте не спешить, подумаем”. Проходит неделя, другая, месяц, второй, ни ответа, ни привета — видимо, не хочет меня отпускать Смирнов. Я к нему: “Как быть? Осуществляем перевод?” А Смирнов: “Подожди еще. Не исключено, что ты сам откажешься”. Загадка… Еще через некоторое время он сказал: “Позвони Валентину Петровичу”. Звоню. “Феликс, приезжай ко мне в воскресенье в Переделкино”. Я приехал. Поднялся к нему на верхотуру и впервые в жизни попробовал французского коньяку. Чокнулись. Он взял палку: “Пойдем погуляем”. Повел меня в лесочек.

— Ты знаешь, я тебя прошу остаться в “Литгазете”.

Сердце екнуло… Я вздохнул:

— Ну, что сделаешь…

— Да не вздыхай. Дело в том, что в “Литературную газету” прихожу я! Три дня назад я дал согласие Фурцевой.

Как выяснилось, Смирнов знал, что ему уходить, потому что “Литгазета” не вписалась в очередной политический разворот, и предложил вместо себя Катаева. А Екатерина Фурцева тогда в ЦК

отвечала за идеологию.

— Я хочу, — сказал Катаев, — чтобы в моей “Литературке” ты был первым заместителем. Мне нужен молодой энергичный парень, который поможет вести газету, чтобы я мог немножко писать… Я тебе расскажу, какой я вижу газету… Газету надо делать в европейском стиле. Не четырехполосочка, а толстая — полос шестнадцать, двадцать. Давать и прозу, и поэзию…

Его главным планом была борьба за качество издания и за то, чтобы привлечь побольше молодежи — в авторы и в читатели…

Он попросил меня обо всем молчать».

«Катаев добровольно ушел из “Юности”, ибо вознамерился взять в свои руки ключевой печатный орган Союза писателей — “Литературную газету”, — вспоминал Анатолий Гладилин. — Ему обещали, вопрос был решен».

«Казус Катаева» упоминается в протоколе заседания Секретариата правления Союза писателей России от 29 декабря 1962 года. Речь идет о том, что в узком кругу писательских генералов Валентин Петрович предъявил требования, на которые те согласились. «Когда обсуждалась кандидатура В. Катаева на пост главного редактора газеты, — вспоминал на заседании Вадим Кожевников, — он поставил условие, чтобы иметь право самому выбирать редколлегию в том духе, в котором он сочтет возможным для своей работы. Мы такое условие приняли…»

Однако решение затягивалось…

Есть мнение, что «Литературную газету» предложил Катаеву секретарь ЦК КПСС Суслов, в дальнейшем боровшийся за своего протеже.

Но кто бы ни обнадежил Валентина Петровича, тому было с кем побороться.

«Культурная политика» становилась все грубее. Нараставшее в партийном руководстве «недовольство отвергшими отцов» превращало Катаева в неблагонадежную фигуру. Развратил молодняк, заложил бомбу под систему… Чего от такого ожидать на более значимом посту? Влиятельный партиец Александр Шелепин был зол на «Юность» и открыто говорил: «Теперь журнал уже не исправишь, как он создан Катаевым, таким и останется». Сумрачно воспринимали «катаевские забавы» завотделом культуры ЦК Дмитрий Поликарпов и секретарь ЦК Леонид Ильичев. Особенное негодование «Юность» вызывала у вожака комсомола Сергея Павлова, желавшего подчинения журнала его организации.

Скандалом обернулась публикация в «Юности» в июне — июле 1961 года «Звездного билета» Аксенова[142].

При таких раскладах неудивительно, почему Катаева так и не

назначили…

«Продолжая строить планы, уехал за рубеж…» — вспоминал Старшинов.

В Париже он познакомил Эстер с вдовой Бунина, которую в «Траве забвенья», следуя заветам учителя — опишите старушку! — показал с бесцеремонным эстетством: «Мне кажется, я нашел определение того белого цвета, который доминировал во всем облике Веры Николаевны. Цвет белой мыши с розоватыми глазами».

(За это сравнение Катаеву досталось немало.)

Расстались в 1920-м, в 1931-м Катаев не застал учителя в Париже, в 1946-м получил от него «Лику»…

«Без преувеличения могу сказать, что вся моя жизнь была пронизана мечтой еще хоть раз увидеться с Буниным».

Муромцева сказала, что Бунин любил его, помнил и читал. «“Вашу жену мы себе с покойным Иваном Алексеевичем именно такой и представляли, детей же ваших никак не могли себе вообразить. Ивану Алексеевичу это казалось как-то совсем невероятно: дети Вали Катаева! Знали только, что есть мальчик и девочка”.

— А недавно появилась еще и внучка, — сказал я не без хвастовства».

Дочь родилась у Евгении Катаевой от первого брака с офицером бронетанковых войск Эдуардом Роем 10 января 1959 года. По форме живота знатоки определили, что будет мальчик. Не возникло вопроса, как его назвать. Катаев очень обрадовался, узнав, что девочка, и прислал в роддом корзину с белой махровой сиренью: ее высадили в Переделкине, и она до сих пор цветет возле веранды. Когда Катаев поздравлял дочь по телефону, он сказал: «Валентинчика не будет» — «Зато будет Валентиночка». Дедушка завел специальный дневник, где записывал свои простые и нежные наблюдения первых месяцев крошки (в полтора года на вопрос, как ее зовут, она представилась Тиной, и с тех пор ее никто иначе не называл):

«11 января. Послал Жене в больницу белую сирень. Несколько раз разговаривали с ней по телефону. Она уже кормила девочку и составила о ней представление: довольно крикливая, глазки изумрудные. Это конечно Женина фантазия. Но она уверена, что изумрудные. Нос как у меня. Воображаю этот ужас. Но с каждым днем (вернее, с каждым разом) девочка нравится Женечке все больше и больше. Ох, как интересно взглянуть на внучку!

12 января. Говорил с Женечкой по телефону. Она с каждым часом, все больше и больше любит свою девочку. Все идет нормально. В доме обсуждение — какая будет наша

Валентиночка. Даже Павлик заявил, что ощутил в душе нечто сердечное и нежное. Эстер заявила, что она требует, чтобы девочку называли, не Валя, не Валюта, не Валичка, а полностью: Валентина, Валентиночка. Ей доставляет большое удовольствие говорить: Наша Валентиночка)»[143].

Муромцева удивила Катаева, через 40 лет разлуки поставив на стол воздушный десерт из его юности.

«— Откуда вы знаете, что я люблю меренги?

— Помню, — грустно ответила она. — Однажды вы сказали, что когда разбогатеете, то будете каждый день покупать у Фанкони[144] меренги со взбитыми сливками.

— Неужели я это говорил?

— Конечно. Еще Иоанн ужасно над этим смеялся: как мало ему нужно для счастья! Разве вы не помните, как однажды у Наташи Н. за чаем вы съели все меренги, так что ее великосветская маман едва не отказала вам от дома?»

Посетившие Муромцеву вскоре после Катаева литературоведы Тамара Голованова и Людмила Назарова вспоминали: «Первое, что бросилось в глаза, — на столе большая коробка конфет с хорошо знакомым рисунком “Руслан и Людмила”. На наш немой вопрос Вера Николаевна ответила, что это подарок Валентина Катаева. “Он с женой был у нас на днях, — добавила она. — Это ведь давнее знакомство, еще с десятых годов нашего века…” Если судить по потеплевшему взгляду Веры Николаевны, когда она упомянула о посещении Катаева, в основной своей тональности встреча с ним была приязненной, согретой благодарностью…»

Благодарностью, очевидно, взаимной — «Руслан и Людмила» встретились с меренгами…

Совсем скоро Вера Николаевна умерла.

«За время его поездки решение о назначении его главным редактором “Литературной газеты” было отменено… — писал Старшинов, — Катаев был часто неуправляем, значит, и неудобен… Обидевшись, он заявил, что уходит из “Юности”».

«Ему обещали, — писал Гладилин, — вопрос был решен, но — интриги или выпал не тот расклад? — короче, в последний момент Секретариат ЦК партии Катаева главным в “ЛГ” не утвердил. Катаев жутко обиделся, в журнал не вернулся…»

«До случая с отцом, — говорит Павел Катаев, — не было такого, чтобы главный редактор покидал свой пост самостоятельно, по одному лишь собственному нежеланию продолжать на этом посту находиться».

По версии Феликса Кузнецова, все испортили три «ортодокса» — Грибачев, Софронов и Кочетов. Во время

катаевского отсутствия в Париже они пошли к Фурцевой и уговорили отменить назначение: Катаева ставить нельзя, это будет продолжение все того же «буржуазного духа» «Юности». Они даже согласились на то, чтобы назначить вместо Смирнова не вполне писателя, а лицо служебное, его зама Валерия Косолапова, который возглавлял газету с 1960 по 1962 год.

Катаев уперся: не даете «Литературную газету» — отрекаюсь от «Юности». Никакая ее популярность, никакие поблажки цензуры, никакая яркость авторов, ничто не могло пересилить обиды…

Для себя он уже перелистнул эту страницу жизни.

Перестал появляться, как-либо участвовать в работе, интересоваться журналом, даже забирать зарплату. Кто-то обиделся, например Мэри Озерова, кто-то сопереживал, как Старшинов… Так длилось год.

Но была и другая, в дальнейшем полностью оправдавшаяся, правда и мотивация — сознательная или интуитивная, из пушкинского «Пока не требует поэта…». Катаев бежал от «забот суетного света» к себе, к главному в своей жизни — литературе. Отшатнулся от столичного литпроцесса, затворился в переделкинских зарослях, чтобы писать совсем новую и в подлинном — прежнюю прозу, ради которой был рожден.

Павел вспоминает: «Отец появился дома расстроенный, даже подавленный… Мельком и как-то незряче взглянув на домочадцев, он прошел в кабинет и закрыл за собой дверь». Это было после встречи с давним неприятелем завотделом культуры ЦК Дмитрием Поликарповым, требовавшим образумиться и не оставлять журнала: «Не ты себя назначал, не тебе снимать!» Катаев с бледной полуулыбкой мотал головой. И тут собеседник прикрикнул: «Да ты понимаешь, с кем имеешь дело?!»

В комнате Катаев лег на кровать…

Позднее в «Кубике» он описал это происшествие — на него «поднял голос один крупный руководитель»: «Я почувствовал головокружение, унизительную тошноту и, придя домой, лег на постель, не снимая ботинок, в смертной тоске, в ужасе, вполне уверенный, что теперь уже “все кончено”… Чувство, что меня только что выгнали из гимназии: сон, который повторяется в моей жизни бесконечное число раз… Мне стыдно во всем этом признаваться, но что же делать, дорогие мои, что же делать?..»

Он боялся за себя и за свое положение? Или же то была именно «унизительная тошнота» вечного ребенка, столкнувшегося со всесильной напористостью взрослого мира?

Вне зависимости от версий и интерпретаций очевидно, что конфликт Катаева с системой углубился, когда в конце 1961 года

с эпопеей «Волны Черного моря» его выдвинули на Ленинскую премию. Он ждал, что хоть здесь не обидят. Тем паче в «Литературной газете» многозначительно сообщалось, что книги «явились завершением многолетнего труда, можно сказать, делом всей жизни». Но проза в итоге вообще ничего не получила — дали Чуковскому за книгу «Мастерство Некрасова» и двум «национальным» поэтам — белорусу Петрусю Бровке и литовцу Эдуардасу Межелайтису. Полагавший себя и без того обделенным наградами, Катаев считал, что «прокатили» нарочно и демонстративно, и это, по выражению его сына, «усугубило душевную травму». «Понятно, почему прадедушке так не везло с наградами, — напишет Валентин Петрович через несколько лет в «семейной хронике». — У него был неуживчивый, заносчивый нрав. Он всем насолил и порядочно надоел начальству. По-видимому, это наследственное: по себе знаю».

Наконец, в самом конце 1961-го главным редактором бесхозной «Юности» назначили Бориса Полевого. Он руководил журналом до 1981 года, то есть до конца жизни. В конце 1962-го «Литературную газету» возглавил писатель Александр Чаковский, просидевший на своем посту до 1988 года.

В 1975-м в юбилейной «Юности» Катаев приложил Чаковского, отомстив, вероятно, не столько ему, сколько тому поражению, с которым ассоциировался более удачливый соперник…

«Лисьими шагами, с лицемерной улыбкой на губах, в которых дымилась вонючая сигара, согбенно вошел…» — знакомые с Александром Борисовичем не могли не опознать его в этом персонаже «с мягкой рукой», который «постоянно шьется в сферах». По Катаеву, в 1955-м тот отговорил его печатать Хемингуэя, напугав гневом ЦК, а сам тиснул его в «Иностранной литературе», где был тогда главным. В литературной среде то катаевское эссе вызвало скандальчик. «Чак» ответил письмом-отповедью: «Ты всегда был трусом, Валя…»

Покинув «Юность», сообщает Гладилин, Валентин Петрович «уехал в заграничную командировку, перенес тяжелейшую операцию и заперся у себя на даче в Переделкине».

Действительно, в Париже у него воспалилась предстательная железа. Поначалу он ничего не говорил Эстер, пока к вечеру не почернел. Болезнь была в острой стадии: боль, температура. Французские врачи настаивали на госпитализации. Катаев оказался непреклонен: «Я не хочу, чтобы Советское государство платило за меня Франции». В Москву летел с катетером много часов с вынужденной посадкой в Копенгагене. В аэропорту ждала «неотложка», но предпочел больнице Переделкино, где стало

совсем плохо. Началась уремия. Дочь молилась всю ночь на коленях. Чуть позднее были больница и операция. В повести «Святой колодец» Катаев горевал над «мучительно раздувшейся опухолью, аденомой простаты, непрерывно отравлявшей мою кровь, которая судорожно и угрюмо гудела в аорте, с трудом заставляя сокращаться мускул отработавшего сердца. Хоть бы эту опухоль скорее вырезали!».

В июле 1962 года он отправил в ЦК КПСС письмо с надрывными нотками:

«Моих книг почти никогда нельзя найти ни на складах, ни на прилавках книжных магазинов. Впрочем, всем хорошо известно, что “Валентин Катаев писатель тиражный”. Таким образом, мало того, что я понес моральный и материальный ущерб, но еще было создано впечатление, что, так как мое якобы “собрание сочинений” уже осуществлено, то с этим покончено. На самом же деле это не так: настоящего собрания сочинений не было, а было только “избранное”, изданное семь лет назад ничтожно малым тиражом. Таковы факты. Поэтому я обращаюсь с просьбой восстановить справедливость… Как один из старейших советских писателей я имею на это все права. Осуществление такого собрания сочинений даст мне возможность — пока я жив — тщательно его проредактировать, а также снимет с меня заботу о куске хлеба — необходимость заниматься ради куска хлеба мелкими литературными поделками, без чего мне невозможно будет свести концы с концами, создаст для меня прочную материальную базу и даст возможность в последний период моей творческой жизни спокойно осуществить мои обширные литературные замыслы, к которым я уже приступил. Считаю возможным обратить Ваше внимание также и на то, что собрания сочинений многих писателей моего поколения, например Федина, Леонова, Эренбурга и других, изданы уже два и даже три раза и каждый раз большими тиражами. Почему же относятся так несправедливо ко мне? Надеюсь на Ваше быстрое и справедливое решение».

Несмотря на несколько раз повторенное слово «справедливость», она — в катаевском понимании — и здесь не восторжествовала: полновесного собрания сочинений он тогда не добился.

«НЕОСМОТРИТЕЛЕН БЫЛ В СВОИХ ЗАЯВЛЕНИЯХ»

Конечно, Катаев продолжал отзываться на самые заметные события.

12 апреля 1961 года советский человек первым отправился в космос. «Юрий Гагарин облетел земной шар за полтора часа, а его имя — еще быстрее — в несколько секунд», — писал Катаев в «Московском комсомольце». Он уверял, что появится тот, кто «вырвется за пределы Солнечной системы», и с академиком Петром Капицей и летчиком-испытателем Валентином Ковалевым подписал письмо о создании Музея космоса. Со временем такой музей возник.

В октябре 1962 года началось напряженное противостояние между двумя сверхдержавами, известное как Карибский кризис, мир замер на пороге ядерной войны. Откладывалась поездка в Америку приглашенных Госдепартаментом советских писателей. Катаев с Виктором Розовым встретились с американским послом в его резиденции. По воспоминаниям Розова, «беседу Катаев вел спокойно, с достоинством человека, представляющего великую страну», и в тот час, когда, казалось, боевые корабли неслись навстречу друг другу, дважды хладнокровно повторил:

— Господин посол, вы, конечно, так же, как и я, понимаете, что мы сидим в одной лодке.

Ядерную войну, как известно, отменили. В начале 1963 года Катаев, Розов и переводчица, знаток американской литературы Фрида Лурье, наконец-то вылетели в США. В их распоряжении был целый месяц.

Путешествовали на поезде через всю страну. Изумлялись чудесам техники. Званые обеды, ужины, театры… Глядя на многоуровневые дорожные развязки, Катаев непроизвольно зааплодировал.

Сначала была встреча с молодежью в Хьюстонском университете. «Если бы вы видели и слышали, как блестящ был Валентин Петрович, — вспоминал Розов, — каскад острот, метких вопросов и метких ответов, искренняя веселость… Набито было битком, стояли в дверях. Успех был яркий. Толпа студентов провожала до ворот».

По мнению Розова, этот успех обеспокоил «хозяев», и именно поэтому в Беркли и Стэнфорде были только преподаватели, студентов не пригласили. Зато в Бостоне опять допустили студентов — полный зал и неподдельный восторг. «Слушая

блистательные ответы на вопросы, брошенные реплики, скажу прямо: я восхищался Катаевым. Много я знал талантливых людей, но человека более острого ума, пожалуй, не встречал».

А в Вашингтоне их отвели в непонятное учебное заведение, где поджидала стайка странно взрослых студентов. На выходе Катаев — из шпиономании ли, романтически играя или и вовсе проницательно — предположил: «Это разведчики, им показывали нас и говорили: “Смотрите, вот они, советские люди”. Это для них был урок».

Он попросил о встрече с членами компартии США (очевидно, дали поручение в Москве). Госдеп пытался помешать, и все же встреча случилась — квартирник, человек двадцать, угощали русскими пирожками. «И как удалось Катаеву сломить сопротивление Госдепартамента, не знаю. Скажу только: он был человеком мощным».

В Нью-Йорке Валентин Петрович закатал скандал. Перед встречей в Колумбийском университете жестко спросил:

— Будут студенты?

— К сожалению, у них скоро экзамены, но…

— Выступать не будем.

— Да, но это же, господа, неудобно, тут профессора, сотрудники.

— Выступать не будем.

— Но уже объявлено, придут известные люди.

— Выступать не будем.

— Госдепартамент просил вас…

— Выступать не будем. — И обратился к Розову: — На кой леший нам вся эта антисоветская публика? Вы не возражаете, Виктор Сергеевич, не будем?

Тот согласился, хотя был и не против встречи. Так она и не состоялась.

В розовских воспоминаниях есть и другой пример крутизны характера. Они посетили загородную виллу некоего (Розов деликатно утаивает имя) популярного и немолодого писателя, который встретил их сухо и надменно. По пути из его дома на вершине холма Катаев вдруг приказал:

— Стоп!

Выскочил из машины и, размахнувшись, швырнул подаренные книжки…

— Зачем это вы, Валентин Петрович? — спросил Розов.

— А что он мне, как институтке, сверху свою поганую фамилию написал! — Катаев был разъярен непочтительным росчерком.

В Бостоне они посетили в больнице 88-летнего поэта Роберта

Фроста и, возможно, были последними паломниками у его одра — на пороге их чуть не растерзали репортеры.

Заговорили о возможности войны, Фрост афористично прошелестел:

— Только не надо обрывать плоды в садах и отравлять воду в колодцах.

Катаев усмехнулся:

— Если бы все были такие добрые, как вы…

Внезапно поэт переменился, сверкнул глазами, отрубил:

— Я совсем не добрый.

Возможно, почувствовал ядовитую и бодрящую энергетику гостя…

Катаев вспоминал, что поэт, «неутомимо разглагольствуя, умирал» с пергаментно-пятнистым лицом, «уже как бы захватанным коричневыми пальцами вечности»: «“А теперь говори ты”, — сердито сказал он и с усилием коснулся своим бокалом моего бокала. Что мог сказать ему я в эту последнюю минуту нашей земной встречи?»

Умер Фрост через несколько дней.

А в Лос-Анджелесе, напомню уже сообщенное когда-то, Катаев посетил тайную любовь далекой юности Зою Ивановну Корбул, в 1920-м бежавшую из Одессы. Он не мог забыть ее всю жизнь. Разговаривали всю ночь. За чаем с желтыми этикетками «липтон».

«— Скажите, почему вы тогда не вышли за меня замуж?

— Молодая была, глупая, — тотчас с какой-то бездумной горестной легкостью ответила она, как будто ожидала этого вопроса…»

Уже в самолете Катаев спросил:

— Ну как, Виктор Сергеевич?

— Потрясающе!

— Да, нас пытали роскошью.

Эту фразу пожилой драматург приводил уже в 1990-е как эпитафию СССР и добавлял: «Капитулировали, не выдержали пытки роскошью».

Домой в память о сладкой пытке Катаев привез пластинку с музыкой фильма «Вестсайдская история» и с восторгом пересказывал любовный сюжет. Сыну подарил настоящие, цвета голубого неба джинсы — это было что-то!

По утверждению Розова, в Америке «Катаев великолепно представлял нашу бедную, еще не устроенную, но древнюю и могучую страну».

Впрочем, какие-то его слова вызвали нарекания дома.

Не у кого-нибудь, а у Никиты Сергеевича, с кремлевской

трибуны обвинившего его в «неосмотрительных заявлениях».

Хрущев вообще становился все бесцеремоннее. В 1961–1962 годах он устроил несколько скандальных посиделок с интеллигенцией.

Катаев, по утверждению сына, сознательно не присутствовал на них — лидер стал вызывать сильную, нараставшую неприязнь… Но есть и дневниковая запись Чуковского — 7 марта 1963 года он, со слов писателя Павла Нилина, отметил, что Катаев не получил приглашения в Кремль.

Хрущевская страсть к интеллигенции усиливалась от свидания к свиданию…

1 декабря 1962 года Никита Сергеевич посетил выставку художников в Манеже, где пришел в исступление от увиденного:

— Вот она, мазня!.. Это — педерасты в живописи!.. Копейки мы вам не дадим! Уезжайте!

17 декабря на встрече в Доме приемов ЦК КПСС он сел на любимого конька:

— Слушайте, товарищи, господа, вы настоящие мужчины, не педерасты вы?! Вы извините, но это педерастия в искусстве, а не искусство. Так почему педерастам десять лет дают, а этим ордена должны быть?!

Выступавший с ним дуэтом секретарь ЦК Леонид Ильичев назвал Катаева среди нескольких других подписантов (Эренбург, Чуковский, Симонов, Каверин…) личного письма Хрущеву, откуда стал зачитывать отрывки: «Мы обрадовались выставке московских художников, потому что это первая выставка за четверть века, на которой могли быть выставлены художники разных направлений… Если мы все обращаемся к Вам с этим письмом, то только потому, что хотим сказать со всей искренностью, что без возможности существования разных художественных направлений искусство обречено на гибель…»

— Лучше было бы, если бы совсем не писали, — отозвался Хрущев.

— Значит, можно не только малевать уродливые картины, но и превозносить их как новаторские искания, — заметил Ильичев.

— Настраивают на эту волну некоторых молодых писателей и поэтов… — сказал Хрущев. — Вот только тем людям, мазню которых я видел, хотел бы сказать: хотите проявить ваш талант — получайте паспорта, вот вам на дорогу, езжайте…

По сути вся встреча превратилась в отповедь «защитникам, покровителям и отчасти вдохновителям» того враждебного и чуждого, что было вновь, как в 1930-е, поименовано «формализмом».

7 и 8 марта 1963 года на масштабной — более шестисот

участников — встрече с советской интеллигенцией в Кремле Хрущев метал молнии. Он вновь принялся долбить «подхалимов наших врагов». За «неправильное» поведение в Америке досталось и Катаеву.

В Госархиве остались тезисы к встрече, которые надиктовывал Хрущев. «Зачем это вам, товарищ Катаев, нужно было?» — как бы репетировал он вопрос, обращенный к писателю, заявившему американцам нечто, что даже отсутствует на бумаге.

10 марта итоговый доклад Хрущева вышел в «Правде». «Знакомишься с материалами о выступлениях некоторых советских писателей за границей и не можешь понять, чем они озабочены, — возмущался первый секретарь, — то ли тем, чтобы рассказать правду об успехах советского народа, то ли тем, чтобы понравиться зарубежной буржуазной публике во что бы то ни стало… Неосмотрителен был в своих заявлениях В. Катаев во время поездки по Америке. Польстят за границей нестойкому человеку, назовут его “символом новой эпохи” или еще как-нибудь в этом духе, он забудет, откуда, куда и зачем приехал, и начнет плести несуразности».

Говорят, виной всему был донос: Катаев на вопрос о каком-то очередном перле советского лидера отмахнулся: «Это его личное мнение». Но к тому времени Катаева «наверху» вообще невзлюбили из-за демарша в «Юности» и «необузданности» ее авторов…

На катаевские прегрешения пролил свет бывший приятель Лев Никулин, упрекая главу иностранной комиссии СП Алексея Суркова в утрате бдительности (писательский секретариат, 17 апреля 1963 года):

«В газете “Штандарт млодых” говорится, что председатель делегации, ездивший осенью 1962 года в Польшу, заявил, что он является духовным отцом Евтушенко, Вознесенского и других, поскольку он был редактором журнала “Юность”… В вечерних газетах было примерно такое же его заявление. Алексей Александрович, вы имели сведения об этом интервью?

Сурков. К сожалению, нет.

Никулин. Значит, аппарат не довел до вашего сведения эти обстоятельства. Это очень неприятно, потому что вслед за этим были аналогичные заявления Катаева в Америке…

Сурков. Мне учить Валентина Петровича трудно становится. Он, как говорится, уже сам с усами. Но я хочу сказать о том, как делают наши посольства. Уезжает делегация, их благодарят за проделанную работу, а вслед за ними посылают тоненькую бумагу, в которой пишут, что они то-то сделали не так, это сделали не так и т. д.».

С иностранцами Катаев и впрямь вел себя непосредственно: например, по воспоминанию поэта Константина Ваншенкина, в начале 1960-х годов при встрече с делегацией американских писателей в ЦДЛ разоткровенничался о советской цензуре, про которую спросил один из гостей. «Он повторил своим одесским жлобским голосом: вмешивается ли партия в литературу? И дал твердо заверяющий ответ: нет, не вмешивается. Однако, видя лица увядших от разочарования американцев, он решил по мере возможности взбодрить их. Но у нас, сказал он, есть Главлит. Настала пора беззвучно охнуть Суркову. Ведь Главлит — это те цензурные структуры, о которых не принято было где-либо упоминать». Дальше Катаев принялся развивать мысль, к которой прибегал не раз: что ж, и на Западе есть свои формы запретов, ограничений, давления…

Но мы возвращаемся на кремлевский мартовский спектакль 1963 года, который прославили щедрые обещания Никиты Сергеевича «катаевским волчатам» Вознесенскому и Аксенову: «Сотрем! Сотрем!.. Буду бороться против всякой нечисти!.. Мы никогда не дадим врагам воли. Никогда!

Никогда!.. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки — а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы». Проехался он и по Рождественскому с Евтушенко… (На негодников в том же 1963-м даже натравили Юрия Гагарина, чье «Слово к писателям» вышло 12 апреля в «Литературной России»: «Вот Василий Аксенов. Кому нужны его фрондирующие юнцы?.. Я видел довольно много полотен абстракционистов, и, кроме удивления, а то и попросту омерзения, они у меня ничего не вызывали… Что можно сказать об автобиографии Евгения Евтушенко, переданной им буржуазному еженедельнику? Позор!»)

Но если их хотя бы позвали под ясны очи, то — особое унижение — их «крестного батьку», «советского классика» Катаева, если верить Чуковскому, попросту вычеркнули… Нет такого. Менее достоин, чем 600 остальных…

В хрущевском ключе выступил и секретарь ЦК Ильичев. Его доклад назывался «Нет безыдейности, формализму, псевдоноваторству!».

17 апреля 1964 года «дорогого Никиту Сергеевича» с семидесятилетием верноподданно поздравляли товарищи по партии, желали жить и править еще столько же. Ему была вручена «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Он и не догадывался, что заговор, охвативший все руководство страны, был на последней стадии подготовки.

12—13 октября Президиум ЦК КПСС потребовал отставки

Хрущева. На пленуме с антихрущевским докладом выступил Суслов. Слышались крики: «Под суд!»; «Исключить из партии!»; «Он оскорбил весь узбекский народ!» Всесильный бог, вмиг превращенный в пенсионера, сидел, обхватив голову руками.

Выдвиженцы Хрущева обвиняли его в том же, в чем за семь лет до этого «антипартийная группа» старой номенклатуры, — в хамстве, самодурстве и бездарности.

Свержение Хрущева со второй попытки и прочие непрестанные партийные игры в «царя горы» — то, что отчасти объясняет, почему Сталин болезненно подозревал все свое окружение в заговоре.

Любопытно замечание Василия Аксенова: «На Западе принято считать, что с падением Хрущева осенью 1964 года кончился и период так называемой “оттепели”, а между тем именно после этого падения начался период, если так можно выразиться, “второй оттепели”, который продолжался до августа 1968 года».

Начинался и период необыкновенной прозы Катаева…

Удаление Хрущева со сцены переделкинский затворник встретил не без злорадства.

При первой же возможности он не преминул отыграться за «авангардистов». В марте 1965 года после того, как космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос, Катаев напомнил читателям «Правды», что герой планеты еще и живописец. «Увидев нашу родную Землю в новом ракурсе и в неповторимом удалении, находясь в состоянии невесомости, когда трудно определить, где верх и где низ, — рассуждал Катаев, — Алексей Леонов уже не сможет писать свои пейзажи так, как он писал до сих пор. В нем непременно проснется художник-новатор».

Ответить ором на это святотатство Хрущев теперь не мог…

В год его падения Катаев без сожалений писал в своей суперноваторской и сверхформалистской повести «Святой колодец»:

«Я нажимал кнопки, но телевизор уже окончательно вышел из-под моего контроля. Кадры сменяли друг друга с ужасающей быстротой, программа вытесняла программу, черные полосы смерти чередовались с белой рябью жизни, возникали люди, пейзажи, конференции, взмахи филадельфийского оркестра, спектакли, богослужения, аэродромы, ракеты, белый поднос хоккея с кружащимися фигурками. И выступление всемирно известного русского эксцентрика с пузатой фигуркой ваньки-встаньки и глупо лицемерной улыбкой вокруг злого, щербатого рта; он показывал свой коронный номер: искусство ставить твердую фетровую шляпу в форме перевернутого вверх дном горшка на лысую голову, поддерживая ее одними только ушами;

едва он в четвертый раз проделал этот опыт и уже собирался раскланяться, как вдруг высунулась нога, дала ему под зад, и он вылетел с арены…»

«КАТАЕВ БЫЛ В АПОФЕОЗЕ ШВЫРЯНИЯ ДЕНЕГ…»

Политические неприятности не мешали постоянным поездкам за границу. Пророчество Маяковского сбывалось ежегодно, а иногда по несколько раз в году: Катаев катался… Один, с женой, с дочерью…

Но при любых отношениях с государством он и не думал поселиться за границей. «Россия всегда остается Россией, мало ли что», — говорил не раз.

Он писал, что «чувство одиночества» охватывало его почти всегда «за пределами родины»: «Отчаянное, ни с чем не сравнимое чувство тоски по родине свойственно моей душе». Но добавлял, что сюда примешивалось и другое чувство: «Чувство смерти — иначе никак не могу его назвать. Смерть напоминала о себе все время».

Зимой 1963 года на обратном пути из Америки он уговорил своих спутников — Виктора Розова и Фриду Лурье на пять-шесть дней задержаться в Париже. У них не было денег. Розов вспоминал: «“У меня есть, хватит на всех”, — сказал Катаев. И дал нам денег и на гостиницу, и на питание, и на музей. Согласитесь, не каждый способен сделать такой жест, тем более в валюте».

Катаев с удовольствием взял на себя роль гида и с горячностью одесского гимназиста начал просвещать гостей города — как бы своих собственных. Размахивая руками, он объяснял, что вот здесь звучал девиз «Будущее принадлежит пройдохам» — в церкви Мадлен в конце романа «Милый друг» венчался Жорж Дюруа. Розов, потерянный от новизны впечатлений, запомнил только «восторженный, захлебывающийся голос» рассказчика и то, как тот «со страстью скупого рыцаря, перебирающего драгоценности в своем сундуке», «тычет в нос» прославленные места…

В Париже Катаев познакомил Розова с вдовой Ромена Роллана Марией Павловной Кювилье. Все вместе поехали в Бургундию, в деревню, на родину писателя. Пили домашнее вино за длинным дубовым столом.

Катаевская щедрость окупилась в том же году. Он вновь прилетел в Париж на постановку «Квадратуры круга» в Театре искусств *(Théâtre des Arts)* и встретился с Евтушенко, оказавшимся тогда, по собственному замечанию, «знаменитей и богаче Катаева», за которым заехал в гостиницу и пригласил на ужин.

«— А сколько у вас пиастров, Женя? — деловито спросил Катаев.

— Много, — ответил я гордо.

— А как много ваше много? — уточнил Катаев с интонацией мадам Стороженко, покупающей бычки у Гаврика.

Вывернув бумажник и все карманы, я высыпал груду мятых денег поверх двуспальной кровати.

— Деньги не уважают тех, кто не уважает их. Так мне когда-то сказал москательщик Либерзон с Дерибасовской, когда я пытался у него купить бенгальские свечи, подсунув ему рваный рубль, — неодобрительно заметил Катаев и начал с молниеносной артистичностью сортировать деньги, нежно разглаживая их морщины…

— Здесь восемнадцать тысяч двадцать два франка… — с тяжким, уважительным вздохом сказал он, испытующе глядя на меня. — Сколько из них мы можем инвестировать в ужин?

— Хоть все! — задохнулся я от восторга.

— Тогда это будет не простой ужин, а кутеж… Вы знаете, в чем разница между ужином и кутежом? — строго спросил Катаев.

— Н-ну… кутеж… это когда… долго… и много… — промямлил я.

— Не только долго и много, но и ши-кар-но!.. — поднял палец Катаев. — А еще, — он покачал пальцем, как маятником, — и разнообразно!

Лицо Катаева озарилось полководческой решимостью.

— Женя, эти деньги, доведенные вами до состояния вопиющей непрезентабельности, я аккуратно разложу по всем своим карманам, ибо в один карман они — пардон! — не влезают… Вам денег нельзя доверять, потому что при расчетах с официантами вы будете снова нещадно мять и терзать лица уважаемых государственных мужей Франции, среди которых, между прочим, есть лицо Виктора Гюго. Будем считать, что это ваша плата за обучение. Обучение литературе и Парижу… Итак, с какого кабака мы начнем? Разумеется, с “Шехерезады”…

Наши жены восхищенно напряглись и в унисон щелкнули раскрываемыми пудреницами».

Метрдотель, он же певец по имени Миша Морозов, признал и Катаева, и Евтушенко.

Катаев потребовал «Вдову Клико» 1916 года. Последнего года старой России. Не оказалось. Он раздраженно настаивал.

— Подойдите ко мне поближе… Теперь нагнитесь…

— Я боюсь, что… — бормотал метрдотель, нагибаясь.

Вероятно, гость что-то сказал ему на ухо. Пообещал много денег? Белогвардейский пароль?

«— А вы не бойтесь, — жестко произнес Катаев, кладя на испуганно вздрагивающие богатырские плечи свои руки, обсыпанные, как он сам шутил, не веснушками, а «осенюшками»… — Не бойтесь, Миша… Ведь все можно достать, если сильно хочется. Разве не так?

— Так точно… — вдруг по-военному вырвалось у метрдотеля, может быть, готовившегося когда-то вернуться в Россию на белом коне…

— А теперь действуйте, Миша!»

Устрицы, страсбургский паштет, для разминки — «Дом Периньон» 1926 года.

«Один из официантов, конфиденциально склонившись, что-то шепнул Катаеву — как я догадался, видимо, астрономическую цену бутылки.

— Я же сказал — откройте… — скучающе сделал царственный жест Катаев.

О, он отнюдь не выдохся — этот почти семидесятилетний старик Саббакин…»

Наконец из ночного Парижа возникли полдюжины бутылок «Вдовы Клико» 1916 года…

Валентин Петрович угостил бывшего соотечественника. А когда тот принялся петь, бросился к нему со слезами, одаривая крупными купюрами. «Катаев был в апофеозе швыряния денег… Лицо Катаева совершенно преобразилось, поюнело, стало чуть ли не прапорщицким…»

Бутылки были опустошены. Полководец желал зажигать дальше… Жены оставили их вдвоем.

«— Так и быть, погуляйте сегодня, мальчики, вволю, — ласково сказала Эстер, но тихонько шепнула мне: — Женя, вы все-таки не забывайте, что Валя как-никак старше вас на целых сорок лет…

В эту ночь Катаев еще долго продолжал быть двадцатилетним, таская обессиленного меня за собой то на Елисейские Поля, то в “Максим”, то в “Доминик”, то в какое-то привокзальное заведение, где на нем буквально повисла целая гроздь жриц любви в сетчатых штопаных чулках, зацеловывая со всех сторон, а он им всем дарил розы и угощал тем, что они называли шампанским…»

Что говорить, автор «Растратчиков» был верен своему сюжету, а главное — себе…

На рассвете в «Чреве Парижа», квартале пышного рынка, воспетом в одноименном романе Золя, они ели луковый суп «рядом с мясниками в кровавых фартуках». В такси Катаев заснул, и Евтушенко внес его на руках в гостиничный номер.

«— О Боже, у него же будет потом разламываться голова… А завтра — премьера… — прошептала Эстер, кладя ему на лоб горячее полотенце.

— Я буду метаться по табору улицы темной… — пробормотал Катаев, не открывая глаз».

И только и свету, что в звездной колючей неправде,
А жизнь проплывет театрального капора пеной;
И некому молвить: «Из табора улицы темной…» —

продолжим за ним стихотворение Мандельштама.

Некоторое время после «Юности» Катаева не оставляли «прожекты». Он по-прежнему по-ребячьи желал полководить. Быть первым в одесских дворах, на гимназической елке, в «Зеленой лампе», у гудковцев…

Однажды под шампанское сообщил Аксенову:

— За этим столиком Ильф сказал мне: Саббакин, вас все здесь уже знают…

Вернувшись к давнему плану быть надсмотрщиком на плантации, он предложил самым отборным неграм — коллективно создать роман.

«Условие было простое: никакого общего замысла, никаких обсуждаемых характеров и сюжетных ходов», — вспоминал один из соавторов Владимир Войнович в заметке «Игры Патриарха и его фаворитов» (чем не лабораторная работа по зарождавшемуся мовизму?). Все соглашались писать первую главу, но никто не хотел барахтаться в тканях повествования. Решили бросить жребий — в шляпу легли девять бумажек с цифрами, именно столько собралось отцов-основателей: Валентин Катаев, Анатолий Гладилин, Фазиль Искандер, Юрий Казаков, Василий Аксенов — неслабая компания, да? — Георгий Владимов, Владимир Войнович, Лев Славин, Илья Зверев…

Зверев свидетельствовал: «Счастливым первым оказался маститый Валентин Петрович Катаев, которому и здесь, по традиции, повезло. Потому что Валентину Катаеву уже случалось сочинить первую строчку одного коллективного романа. Строчка была такая: “В уездном городе Н.”, а роман назывался “12 стульев”. Так что если он был Ильфу и Петрову крестным, то нам тем более».

Катаевская первая глава получилась изящно отделанной, динамичной и тревожной — соцреалистический оптимизм оборачивался зловещим абсурдом. Инженер вечером покидает свой институт, звонит жене: не купить ли бутылку масла, она сообщает, что уже купила и привела дочку из детсадика, он бодро

идет домой и вдруг обнаруживает голые стены: пропали все вещи, исчезли жена и дочь. А окружающие утешают его, как будто ничего не случилось. Прямо-таки рассказ Юрия Мамлеева!

Остальные главы были, по-моему, не так хороши, но тоже интересны как отдельные рассказы (особенно светло и достоверно получилось у Юрия Казакова). Вместе же все катилось безумным комом, с самовыражением каждого в общем знаменателе. И все же произведение впечатляет, как букет разнообразных стилей, писательских ярких росчерков…

Этот маленький странный роман «Смеется тот, кто смеется…» опубликовал еженедельник «Неделя», приложение к «Известиям», в апреле — июле 1964 года.

В начале 1960-х годов Катаев привел Аксенова, Вознесенского и Евтушенко к Петру Демичеву, секретарю по идеологии ЦК КПСС, с предложением нового журнала «Лестница» (вариант — «Мастерская»), в котором произведения молодых авторов сопровождались бы критическим разбором старших.

— Чья же это будет газета? — спросил секретарь.

— А ничья, — буркнул Катаев. — Мы не хотим иметь дело ни с каким Союзом писателей.

Как рассказал мне Евтушенко, Катаев даже добавил что-то вроде: «Моей ноги не ступит в это болото», что сразу покоробило видного аппаратчика.

О походе к Демичеву «самых именитых из нашего поколения» во главе с Катаевым вспоминал и поэт, литературовед Виктор Есипов: «Идея создания своего журнала давно обсуждалась в нашей компании, ему даже придумали название: “Лестница”, журнал для экспериментальной прозы. Именно на этот несуществующий журнал и донес Анатолий Кузнецов».

Демичев не сказал «нет» и этим обнадежил просителей. Проект был, что называется, заморожен.

Разморозка в 1971-м привела к тому, что Евтушенко сильно поссорился с Вознесенским, Аксеновым и Катаевым, последнего обозвав «матерым хамом», «паханом», но об этом позже.

А пока приведу несколько хохмочек, расхожих, но достойных повторения.

Писательница Мария Белкина рассказывала: как-то на Новодевичьем во время чьих-то похорон Катаев, остановившись у одного памятника, задумчиво сказал оказавшемуся рядом Арию Ротницкому, возглавлявшему похоронный отдел Литфонда:

— Какой красивый камень!

— Да? — многозначительно заметил тот. — Вам нравится?

И Катаев, побледнев, отошел.

А кто-то (как считается, Лев Никулин) заранее сочинил для

«Валюна» эпитафию:

Здесь лежит на Новодевичьем Помесь Бунина с Юшкевичем[145].

Со временем все хохмы сбылись. Впрочем, что есть время? Времени не существует, как говорил наш герой…

А еще писатели в разных версиях рассказывали друг другу байку про Валентина Петровича и работавшего в ЦДЛ парикмахера словоохотливого Моисея Маргулиса. Однажды Катаев попросил его:

— Постарайтесь, я еду в Рим, буду встречаться с папой римским. Вы же знаете, надо встать перед ним на колено, поцеловать его руку. Поэтому, когда я нагнусь, голова моя должна выглядеть прилично.

Маргулис вложил в стрижку все свое искусство и при следующей встрече с Катаевым спросил:

— Ну как, Валентин Петрович, вы были у папы?

Катаев сначала даже не понял, о чем речь. А вспомнив, ответил с серьезным видом:

— Конечно, я с папой встретился.

— Ну и как он вас принял?

— Когда я склонился для того, чтобы поцеловать ему руку, он посмотрел на мой затылок и спросил: «Какой поц тебя так плохо постриг?»

«БЕССМЕРТИЮ ВОЖДЯ НЕ ВЕРЬ…»

Заграничные поездки пригодились в прозе, которая уже начала играть красками нового стиля.

В апреле 1964 года Катаев завершил повесть «Маленькая железная дверь в стене», опубликованную в июньском «Знамени». Вещь писалась несколько лет, и дабы лучше понять ее героя, «вождя пролетариата», потребовалось паломничество к «ленинским местам»: не только в Париж, но и на Капри.

«Вероятно, придется еще несколько раз побывать в Париже, Лондоне, Брюсселе, — стращал Катаев советского читателя, — в маленьком городке Порник на берегу Бискайского залива, где жил Ленин, а также в деревушке Бон-бон под Парижем, где он отдыхал вместе с Надеждой Константиновной… И, может быть, лишь тогда я буду считать свою работу законченной».

Он писал о Ленине, а кажется, смаковал устрицу…

Ленин был выписан столь эстетски, что и сам выглядел полнейшим эстетом. Начав с обнаружения сходства черепов «прбклятого поэта» Верлена и Ильича, автор приводил его фразу из письма Горькому: «К весне же закатимся пить белое каприйское вино и смотреть Неаполь и болтать с Вами» — и далее, развивая тему итальянского вина, переходил к стихам не кого-нибудь, а Бунина:

Вид на залив из садика таверны.
В простом вине, что взял я на обед,
Есть странный вкус — вкус виноградно-серный
И розоватый цвет.

И внешность, и одежда «непреклонного крепыша», и антураж вокруг него были поданы изысканно и даже манерно, что не вязалось с деятельностью главного большевика (да и его литературным вкусом). «Стройные, вышколенные лошадки — каждая с очень высоким страусовым пером над капризной головкой и в нарядной сбруе — имели совсем цирковой вид, и, видимо, это смешило Ленина: его темно-карие глаза весело сверкали».

В 1965 году в журнале «Вопросы истории КПСС» лениновед Раиса Каганова обращала внимание: катаевский Ильич только и делает, что «вытирает мокрую лысину», и трубила тревогу: «“Бытовизм” этот невольно приводит к принижению, обеднению облика Ленина как вождя, мыслителя и революционера, а в

конечном итоге в какой-то мере к искажению образа Ленина».

Катаев-путешественник все время сравнивал себя и Ленина с его «картавостью настоящего парижанина». Вот Ленин катит в библиотеку на велосипеде по «Чреву Парижа» мимо утренних проституток, «способных вызывать вожделение». Но они не волнуют Ильича и платят ему той же монетой: «Когда Ленин проезжал мимо, продолжая насвистывать “Привет Семнадцатому полку”, женщины провожали его равнодушными взглядами». То ли дело Катаев! Эти женщины бедны, но бедные бывают очень соблазнительны — парижанки «в дешевых туалетах», «в преувеличенно высоких прическах, придававпшх молоденьким личикам с умело подрисованными глазами нечто детски порочное». Не он ли (вспомним мемуар Евтушенко) тот клиент, что всегда на рассвете желал опустошить «закопченный горшочек огненного лукового супа с натертым сыром, который тянулся за ложкой, как резиновые нитки, и пропустить стаканчик кальвадоса, а потом сбегать к женщине и провести несколько минут в тесном, как каюта, номере отельчика, достойно завершив свою трудовую ночь быстрым соединением»…

Зато Ленину нравится слушать революционные песенки парижского шансонетчика Монтегюса, которого Катаев рисовал так: «Мрачные израильские глаза, сильно подведенные и неподвижные, как у морфиниста. Они неприятно выделялись на белизне напудренного лица».

Повесть была не просто красочной, а еще и мировоззренческой. Катаев — при всей его, прямо скажем, легкомысленности художника, склонного к наиболее полному наслаждению жизнью, а возможно, и благодаря этому — глубоко переживал ключевые вопросы бытия: «Что есть жизнь? Где субъект реальности?» Жизнь — это сердце, глаза, мозг, нервы. Субъект — тот, кто видит, чувствует, может изобразить, неизбежно умрет…

По-моему, он был не столько мовистом, сколько махистом или — солипсистом.

Черт побери, без натяжек и преувеличений, «Маленькая железная дверь» отдает полемикой с ленинским «Материализмом и эмпириокритицизмом». Причем через изящные художественные приемы психоделичный Ильич то и дело оказывался в роли какого-нибудь своего оппонента-богоискателя.

Вот, например, он застыл в море на спине, как в мавзолее: «Он лежал с закрытыми глазами и сквозь рыжеватые сомкнутые ресницы видел пурпурно-красное сияние какого-то фантастического, бесформенного, почти абстрактного и вместе с тем такого осязаемо-материального мира солнечного света, пронизавшего кровеносно-сосудистую сетку его закрытых век».

Интересно, что приезжает Ленин на Капри, решительно настроенный «дать отлуп» солипсистам и лично гостящим там же Богданову, Базарову и Луначарскому, и, едва ступив на берег, заявляет Горькому: компромисса быть не может. Солипсизм, если упрощать, сводился к тому, что восприятие мира субъективно, реальность существует в рамках отдельного сознания, а значит, делал выводы Ленин, обрушившийся на «идеалистическую ересь», никакой реальности нет, все бред, вздор, сон, иллюзия, марево. Реальность объективна и материальна, утверждал Ильич и подозревал субъективистов в отсутствии отдачи человечеству, по сути — вампиризме. При этом солипсисты не отрицали материализм, но указывали, что познание мира всегда индивидуально, каждый новый человек — первый и последний.

«Время не имеет надо мной власти хотя бы потому, что его не существует, как утверждал “архискверный” Достоевский», — сообщал Катаев позднее в книге «Алмазный мой венец», подтрунивая над известным ленинским выражением.

Конечно, постижение мира через ощущения тесно связано с эстетизмом… «Нет, это не марксизм! — писал Ленин. — И лезут наши эмпириокритики, эмпириомонисты и эмпириосимволисты в болото».

Тем не менее сам Ленин среди Италии, а затем Франции в дымке, мерцании, плясках светотени увиден глазами закоренелого чувственного «мелкобуржуазного солипсиста» — идеальной мишени для сердитого Ильича…

«Опишите девочку», «опишите воробья», «опишите Ильича»…

«Ленин небрежно коснулся правой руки Андреевой. Она разжала кулак. На розовой прелестной ладони лежала черная пешечка.

— Вам начинать, — любезно, но суховато сказал Ленин Богданову и сноровисто расставил фигуры: по всему видно, что опытный игрок.

Вдруг все это исчезло, ушло в прошлое. Передо мною была пустая терраса с горкой мусора в углу, сохнущие на веревке розовая мохнатая простыня, купальный костюм и старик обойщик в синем фартуке, с гвоздями в губах…»

Так колдовал тот, кто проигнорировал когда-то похороны вождя, предпочтя любовные страдания политическим…

И еще раз отмечу — странноватое название повести явно перекликалось с программным четверостишием, которое он полжизни лепил то так, то этак и приводил там и сям:

Бессмертию вождя не верь:
Есть только бронзовая дверь,

Во тьму открытая немного,
И два гвардейца у порога.

Эти стихи невидимыми молочными чернилами выведены эпиграфом к повести…

Валерия Герасимова с удивленным смехом рассказывала, что однажды при встрече он сказал ей приподнятым тоном: «Представляете, я только начал понимать Маркса!» Похожее обнаруживается в дневниках Чуковского: «“Корней Иванович, нет ли у вас Карла Маркса 1-й том. Нужно для семинара”. Катаев в университете марксизма-ленинизма. И готовит уроки». Действительно, чтобы понять философию своего персонажа, он добровольно прошел вечерний курс в этом университете.

Легкий жизнелюбец и тяжеленная теория? Конъюнктура, доведенная до абсурда? Так трактовали литераторы, не понимая, что скрывалось за лисьей усмешкой и волчьими ушами: мировоззренческая тоска, попытки примирить материализм и бренность, впечатления ограниченного сознания и беспредельность космоса. «Я ползу по волосатой руке громадного мирозданья, но я отличаюсь от муравья хотя бы тем… что могу назвать вечность вечностью, а время назвать временем, хотя и не знаю, что это такое». Он заползал и в густую бороду Карла…

Но нельзя сказать, что, сочиняя повесть о Ленине, Катаев лишь скрыто с ним полемизировал и пытался растворить в соусе эстетизма или полностью лицемерил, разводя советскую власть на «творческие командировки» (каждый выезд, хоть и за свой счет, требовал санкции ЦК).

Совершенно очевидно: Ленин вызывал у него сильный интерес. Ключевой является отсылка к поэту Луи Арагону, примиряющая с прошлым: «Подобно тому, как Арагон сказал: “Робеспьер — мой сосед”, — мне хочется сказать: “Ленин — мой современник”».

Робеспьер пролил много крови, резал головы, но французы не отвергают свою историю. Чем мы хуже? Вот что, кажется, подразумевал Катаев.

«Робеспьер по сравнению с ним мальчик», — сообщает автору знавший Ленина пожилой француз-рабочий. Следующая сцена: Ильич, чьи «глаза недобро вспыхивали», на бегу замечтался о теракте, неважно где — в Париже или Петербурге: «Вот бы трахнуть, чтобы только огонь брызнул во все стороны». «Веселье это было невеселое, а шутки нешуточные».

Как бы менялись воззрения Катаева на Ленина?

Что бы он сказал о нем в перестройку?..

Несомненно, «Ленин в Цюрихе» Солженицына был продолжением той же линии — очеловечивания «вождя» в литературе, перемещения с пьедестала в житейскую сутолоку, пускай в солженицынском варианте через ниспровержение.

Катаевский нервный интеллигент-эмигрант как бы противопоставлялся зловещему деспоту Сталину: «Ленин любил все современное, живое… А часами ходить по музею, каждую минуту останавливаясь перед статуями римских императоров, тиранов, громадных, нечеловечески величественных, — нет, по-моему, это никак не могло нравиться Ленину, как не могла ему нравиться римская государственность».

То был оттепельный тренд — умиляться алой романтике революции, которую поглотила тяжелая туча реакции. Еще до Катаева, в 1961 году (после журнальных мытарств, Твардовский не решился печатать), в «Октябре» появилась бытовая и философская повесть «Синяя тетрадь» Эммануила Казакевича — о том, как Владимир Ильич, хороший, честный и дальновидный, но со слабостями и сомнениями, спорит в Разливе с «извилистым» и перепуганным Зиновьевым (тем не менее введенным человеком, а не просто извергом и врагом народа).

В начале 1960-х годов Андрей Вознесенский написал поэму «Лонжюмо», посвященную ленинской партийной школе во Франции.

Тему ему дал Катаев, еще в 1958 году рассказав замысел повести. «Я себе это представил, — откровенничал тогдашний Вознесенский, — проходит Ленин по Парижу, и художник все видит его глазами… Я и раньше думал о ленинской теме, даже до Катаева разузнал, что была школа в Лонжюмо. Но вот до этого не додумался: Париж, эпоха глазами Ленина… Самое чистое, святое называется именем Ленина. Это разговор о самых высоких вещах…»

Действительно, сюжетно поэма Вознесенского как бы дополняет повесть Катаева — аплодисменты поющему шансонье, скольжение на «прозрачном велосипедике», сходство с Верленом…

Но там, где у Катаева бьша недосказанность, тьма за дверью, подразумевавшая горестно-умудренное: «Бессмертию вождя не верь…», у Вознесенского располагалась «комната правды»:

> Однажды, став зрелей, из спешной
> повседневности
> мы входим в Мавзолей, как в кабинет
> рентгеновский, вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,

и Ленин, как рентген, просвечивает нас.

Вознесенский с Катаевым обменялись алаверды — эссе друг о друге, словно соревнуясь в щеголеватости языка.

«Выросший мальчик с пальчик, пробирочка со светящимся реактивом адской крепости, Артюр Рембо, написанный Рублевым». Чьи это строки? Вознесенского? Нет, это о нем, как бы стилизуясь под него, Катаев, которому явно было лестно, что стариковский скит может стать площадкой модного поэтического вечера — однажды Вознесенский в меховой шапке, придававшей ему «вид еще более русский — может быть, даже древнеславянский», заявился в Переделкино в сопровождении поклонниц и поклонников. «Они разнюхали, что он идет ко мне читать новые стихи, и примкнули… Гора шуб навалена под лестницей».

Вознесенский был многословнее:

«Вот он покачивается вполоборота к вам — в державном кресле своем, в серо-черной кофте крупной вязки, как в тяжелой кольчуге…

В жилетке, точно туз козырный,
прищурясь, как парижский сноб,
Катаев, как малокозырку,
надвинет челочку на лоб!

Он колюче впивается в вас из-под челочки-козырька, стрельчатые волчьи уши его прижаты, нос, ноздри, губы и подбородок, принюхиваясь, сведены друг к другу, как плывут книзу лица на старинных японских акварельных портретах… Валюн, птица вещая… Еще четыреста страниц текста, где фраза поеживается от изящества. “Еще четыреста”, — скажет он и стрельнет глазом… По утрам он выруливает на прогулку, подобранный, как на охоту, на отстрел деталей, в дублоне, элегантно стремительный, нахлобучив очередную сто девяносто пятую свою кепку…

А Катаев имеет кепки,
сплющенные, как скрепки,
для пришпиливания мозгов.
Фиалковые, стиляжные —
с тылу для вентиляции
с ситечком или сеткой,
как у рыцарских поясов,

дабы Прекрасных Дам блюсти.
Пусть иногда мы скептики.
Боги имеют слабости.
Но не у всех сабли “За храбрость”. И…

Зрачок Катаева меток, зол, жест молодцеват, лих. Взгляните, как свистящ его кавалерийский почерк…»

Между тем желание будоражить Лениным (или сочинительствовать для книжной серии «Пламенные революционеры», как в начале 1970-х Аксенов, Гладилин, Окуджава, Войнович или Трифонов с «Нетерпением» о Желябове и «Отблеском костра» о судьбе отца — старого большевика) было понятно: бурления в государстве затихали, сменяясь ровной предсказуемостью.

Если Хрущев пинал Сталина из года в год, из речи в речь, рассказывая про его дикость все новые истории под смех и аплодисменты, после падения «кукурузника» и о нем самом, и о разоблаченном им предшественнике публично старались не упоминать. Количество антисталинских публикаций быстро шло на убыль.

В преддверии XXIII съезда КПСС Катаеву, уже обжегшемуся на обращении к Хрущеву о «рецидивах сталинизма», предложили подписаться под схожим письмом Брежневу.

И он согласился. А Евтушенко, например, отказался…

14 февраля 1966 года «глубокоуважаемому Леониду Ильичу» было направлено жесткое послание о недопустимости каких-либо оправданий Сталина — с обещанием в противном случае всемирного возмущения и раскола внутри страны: «Своими преступлениями и неправыми делами он так извратил идею коммунизма, что народ это никогда не простит. Наш народ не поймет и не примет отхода — хотя бы и частичного — от решений о культе личности».

Подпись Катаева стояла третьей среди двадцати пяти «представителей интеллигенции». Рядом расписались Корней Чуковский, Константин Паустовский, Андрей Сахаров, Майя Плисецкая, катаевский родственник Андрей Колмогоров.

В КГБ письмо восприняли как деструктивную листовку.

В записке в ЦК глава госбезопасности Владимир Семичастный докладывал: «Главной целью авторов указанного письма является не столько доведение до сведения ЦК партии своего мнения по вопросу о культе личности Сталина, сколько распространение этого документа среди интеллигенции и молодежи. Этим, по существу, усугубляются имеющие хождение

слухи о намечающемся якобы повороте к “сталинизму” и усиливается неверное понимание отдельных выступлений и статей нашей печати, направленных на восстановление объективного, научного подхода к истории советского общества и государства, создается напряженное, нервозное настроение у интеллигенции перед съездом. Следует отметить, что об этом письме стало известно корреспонденту газеты “Унита” Панкальди, а также американскому корреспонденту Коренгольду, который передал его содержание на США».

Почему Катаев подписался?

Мотивы вполне понятны и вряд ли оригинальны.

Он желал большей свободы — прежде всего для творчества, а не «чисток» и «проработок». При Сталине он терял знакомых и друзей и со страхом ждал ареста.

А с кем бы он был, дожив до 1990-х, как Леонов и Михалков?

В интервью 1983 года «Известиям» он предполагал, что его оценки будут меняться: «Меняются жизнь, люди, которые живут, их сознание, представления, вкусы. Писатель застает жизнь, современную ему, и он не вправе не считаться с ее ритмами, с убеждениями и пристрастиями своих современников».

Чтб бы сказал он накануне столетия в 1996-м, в разгар президентской кампании под лозунгом «Голосуй или проиграешь» среди нищеты одних, роскоши других, мора, вольницы, грохота новой пропаганды? Какими бы словами помянул схлынувшую советскую цивилизацию?

Был бы с «демократами»? Или с «красно-коричневыми», как сотоварищи по «Юности» Розов и Старшинов (не говоря об эмигрантах Максимове, Синявском, Зиновьеве)? Или не так? А как?..

Нет предрешенности…

Кстати, с 16 по 20 января 1966 года он гостил в городе, воспетом в романе «Время, вперед!», где авторские метафоры и цитаты из вождя сверкали единым сплавом… (Уже в 1969-м в «Кубике» он щегольнул чуть перефразированным сталинским: «Штучка посильнее “Фауста” Гёте…»[146]) «Как они верили! — спустя 35 лет попав в Магнитогорск, говорил Катаев о строителях завода. — Вот этот пафос труда, эта неиссякаемая вера, благодаря которой люди делали чудеса, захватила меня…»

21 февраля, через неделю после возникновения «антисталинского письма», он поэтично делился в «Правде» впечатлениями от Магнитогорска («сказочно хорош в своем царственно-русском горностаевом убранстве») и вспоминал эпоху 1930-х годов: «Это была пора стремительных рекордов… Я наяву увидел людей, опережающих время… Тогда, помню, я буквально

упивался небывалой, неповторимой, быть может, единственной в истории человечества картиной вдохновенного труда целого народа… Хотелось, чтобы ни одна мелочь не была забыта для Истории».

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ «ПИСАТЬ КАК ХОЧЕТСЯ, НИ С ЧЕМ НЕ СЧИТАЯСЬ…»

«СВЯТОЙ КОЛОДЕЦ»

По словам Евгении, отец поехал в Польшу на какие-то «литературные встречи». Там ему было невесело, и в гостинице он начал писать, сам не понимая, что пишет.

Когда прочитал ей первые страницы, она спросила: «Папа, что это?»

Что это — поначалу не поняли и «волчата»…

Гладилин вспоминал: «В 1963 году зав. прозой “Юности” Мэри Озерова сказала мне и Аксенову: “Катаев чувствует себя забытым. Вы бы навестили старика, ему будет приятно”. Мы отправились в Переделкино. Катаевская дача показалась нам заброшенной и печальной: забор полуобвалился, свет в одном окне. Мы вошли. Эстер, жена Катаева, нянчила внучку. Нашему приезду очень обрадовались. Катаев сразу спустился из своей комнаты, Эстер зажгла все лампы, накрыла стол, и мы за милой беседой, коньячком и закусоном прекрасно провели вечер. Катаев выглядел бодро, острил, пил, не отставая от нас. Эстер предложила: “Валя, прочти ребятам несколько страниц из твоей новой книги”.

Катаев пишет новую книгу! А мы-то думали… “Валентин Петрович!” — взмолились мы. Катаев не заставил себя упрашивать, сбегал наверх, принес рукописные страницы и прочитал что-то о старике, который долго моет разноцветные бутылки в переделкинском пруду. Выслушав, мы сказали соответствующие слова и заспешили к последней электричке. До станции шли молча. И лишь на перроне переглянулись. “Да-а, — протянул Аксенов, — по-моему, Валентин Петрович малость сбрендил”. “Впал в маразм”, — подхватил я. И в вагоне мы рассуждали о типичной судьбе советского классика: дескать, все они — авторы одной-двух хороших книг, а уж годам к шестидесяти им писать нечего или пишут бред собачий».

Как-то в новогоднюю ночь, вспоминает Павел, отец «чуть заплетающимся от выпитого бордо языком принялся читать еще утром написанные строчки»: «Я вслушивался в папино чтение и, когда он закончил, схватил его руку с мозолями на крепких, точно из кости вырезанных пальцах, соприкасающихся с авторучкой, и со слезами восторга на глазах поцеловал ее…»

После выхода «Святого колодца» Гладилин осознал, какую вещь он посчитал «маразмом»: «Катаев возродился, как феникс из пепла… Мэтром русской литературы».

Не отставал и Аксенов: «Семидесятилетие для него оказалось не унылым тупиком, а вершиной жизни».

«Фурор, — вспоминала реакцию литературной среды журналист, дочь главреда «Знамени» Надежда Кожевникова. — Явлено было чудо: новый, никому до того не известный писатель. С той же фамилией, всем знакомой, но ошарашивающий бьющей наповал новизной».

Даже Эренбург, не уважавший Катаева-человека, как пишет его биограф историк Борис Фрезинский, «с восторгом читал “Святой колодец”, чего не скрывал».

Размышляя о причинах этого творческого переворота, Гладилин предполагал, что все дело в больнице: «Ведь у него была на операционном столе клиническая смерть… Что такое “Святой колодец”? Это взгляд на жизнь после смерти».

Сценарист Алексей Спешнев вспоминал, как встретил по-европейски нарядных Катаевых.

«— Какие-то вы очень хорошенькие, — заметил я.

— Это я хорошенький, — заявил Валентин Петрович.

— Почему именно вы?

— Перестал врать.

Я все понял.

Несколько лет назад Катаев перенес тяжелую операцию, был на грани смерти и после этого как художник неузнаваемо переменился».

А Александр Гладков записал в дневнике: «И. Г. (Эренбург. — *С. Ш.*) говорит, что Катаев ему сказал, что он после операции дал клятву изменить жизнь: не дружить с подлецами… и писать, что хочется…»

«В “Святом колодце” Катаев художественно осознал свою жизнь как небытие, — писал критик Станислав Рассадин, — как жуткую фантасмагорию, осложненную псевдозаботами и псевдожеланиями».

Клинической смерти не было, — утверждает родня Катаева. Но Гладилин почувствовал что-то важное и верное.

Смерть Катаев пережил. Еще в юности. И с тех пор нес в себе сладкий яд галлюцинозной, физиологически точной, но одновременно распадно-бредовой, пограничной — между явью и небытием — прозы, так что даже в образцово-румяных текстах этот сладкий яд прорывался фонтанчиками.

По Гладилину, придя в себя после операции, «Катаев понял, что и он может умереть, что общественная и редакторская карьера — это пустое, что надо торопиться реализовать свой талант».

Только ли после операции? Может быть, всегда понимал… И всегда, при деланом легкомыслии, пропускал свою воздушную и беспощадную литературу через себя. Олеша писал: «Я помню, как

физиологически вел себя во время работы Катаев. Я жил у него и ложился спать в то время, когда он еще работал. Еще не заснув, я слышал, как он сопит, таскает подошвами по полу; то и дело он бегал в уборную…»

Но то, что под конец жизни у него возник трагический азарт мчащегося наперегонки со смертью, — это так.

Если бы не его новая проза, взялся бы я за эту биографию?..

«Святой колодец» — нежданный и гипнотизирующий.

Цепь превосходных описаний — как бы причудливо меняющих форму облаков, иногда смешанных между собой, иногда с ясными сюжетными прогалами.

Сквозная линия — ассоциативно уловленная близость между операционной и салоном самолета… Кстати, мотив операционной уловил у Катаева еще в 1930-е годы пародист Александр Архангельский: «Вокруг меня простирались хирургические простыни пустынь, пересеченные злокачественными опухолями холмов и черной оспой оврагов… Марлевый бинт дороги…»

Какими бы простаками и тугодумами ни считались партийные начальники, сложный текст «Святого колодца» был подвергнут быстрой дешифровке.

Дешифруем его и мы.

Перед тем как вырезать аденому, повествователю делают укол и он погружается в миражи: цветной поток воспоминаний о жизни — это и есть *тот свет.*

Катаеву, боровшемуся с реальностью через детальнояркое ее утверждение и одновременно отрицание, всегда особенно сочно удавалось передать бред (например, тифозный), и теперь он был, как говорится, в теме.

«Темные ласковые глаза гипнотизера» у хирурга. Глубокий сон… Вся жизнь — череда снов. Во сне «удлиненные глаза гипнотизера» у Сталина…

Частично это как бы дневник переделкинской жизни «на покое», домашняя тетрадь, без всяких пояснений и ссылок для посторонних. Выросшие дети Шакал и Гиена, аспирант и переводчица, заботливая жена. Обожаемая внучка Валентиночка: «Маленькие детские ручки, крепенькие и по-цыгански смуглые, с грязными ноготками… Пытливо-разбойничьи воробьиные глазки». Возникает и «Олег в штатском», не кагэбэшник, как мог бы решить иной читатель, а катаевский зять — военный. Описание поездки в Грузию с отвратительным спутником, «тягостным другом»… Насмешливо изображенные какие-то «гости дома»… И наконец, большущий, основной кусок про Америку, включая визит в Лос-Анджелесе к любимой с юных лет…

А всё вместе — поэма прощания с жизнью…

«Мы медленно и безболезненно, разматываясь, как клубок шерсти, съеденной молью, стали разматываться, разматываться, разматываться, превращаясь в ничто.

Нам совсем не было страшно, а только бесконечно грустно».

А еще в этой повести есть тайна метафоры.

Нет, это не ремесленническое упражнение в сравнениях, не поверхностная игра ума, а какая-то магическая точность попаданий, чудо переклички предметов и как бы рождения их заново, что заставляет вспомнить о библейском сотворении человека по высшему «образу и подобию» и предположить метафизичность настоящих метафор. Одновременно напоминают о себе законы природы — взаимосвязь и сходство всего сущего.

«Святой колодец» стал манифестом солипсизма (столь явно проявившегося в повести о Ленине) — мир таков, каким его видишь: «Я увидел девушку, которая стояла, прячась за цветущим кустом, между двух молоденьких черных кипарисов… Я опустил горячую полотняную штору и продолжал писать, а когда я пишу, то время для меня исчезает и не мешает моему воображению». Закончив писать, он отдернул штору и обнаружил, что никакой девушки нет, это так разросся куст. «Что же здесь действительность и что воображение? И в чем разница: был ли это розовый куст или семнадцатилетняя девушка?»

Неужели есть только «я» наблюдателя?

Сосед по Переделкину Евгений Поповкин, главный редактор журнала «Москва», повстречав Катаева на прогулке и узнав о его новой повести, пообещал взять в журнал вне очереди. Прочитав, сообщил, что она идет через несколько месяцев. Редактором повести была назначена Диана Тевекелян, дочь бывшего главы парткома Московской писательской организации, затем редактировавшая роман «Мастер и Маргарита», с купюрами опубликованный «Москвой». «Молодая дама оказалась либералкой и поэтому тонко разбиралась в том, что можно печатать, а что — нельзя, — вспоминал Павел Катаев. — Отец долго вылавливал и выковыривал поправки и поправочки, на которых с такой несгибаемой настойчивостью от имени интересов государства настаивала либеральная сотрудница журнала».

А потом о рукописи замолчали, будто ее и не видели.

Катаев был подавлен, даже впадал в отчаяние. Он понял, что ее «зарубили» на самом верху. Вечерами он не писал и не читал, а отрешенно просиживал за пустым рабочим столом…

«Помню, как-то в безрадостный вечер я заглянул к отцу в кабинет, — вспоминает Павел. — Отец повернул ко мне горестное, страдающее лицо, какого я еще никогда у него не видел, и глухо сказал:

— Я — пария…»

25 ноября 1965 года Поповкин отказал Катаеву в публикации повести: «К сожалению, в настоящей редакции мы лишены возможности напечатать ее… Кстати, высказанное Вам мое и большинства членов редколлегии мнение разделили также и товарищи из организации, где мы консультировались» (очевидно, речь о Главлите).

Как тут не повторить шанхайское предсказание: «Феникс поет перед солнцем. Императрица не обращает внимания. Трудно изменить волю императрицы, но имя ваше останется в веках».

В партии вспомнили и о парии.

«Как-то вечером, — рассказывает Павел, — мы, как и обычно, пили пятичасовой, по-английски, чай — раздался звонок, и я поднялся по одному из двух пролетов лестницы к телефону. Доброжелательный голос попросил к телефону Валентина Петровича».

Звонил Игорь Черноуцан, могучая персона из отдела культуры аппарата ЦК. Он слыл либералом, ему удалось отстоять и пробить немало произведений, но при его активном участии в 1961 году роман Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» был запрещен и конфискован у писателя сотрудниками КГБ.

Черноуцан сообщил Катаеву, что «в Центральном комитете прочли “Святой колодец” и не видят причин для его запрещения», но у ЦК есть просьба убрать одно сравнение — «тягостный друг» назван «человеко-севрюгой»: узнаваем Сергей Михалков.

— Значит, с рыбами сравнивать нельзя?

— Нельзя.

— А с птицей?

После небольшой паузы ответственный работник ответил:

— С птицей можно.

— Тогда я сравню его с дятлом…

В тот же вечер Катаев внес необходимую правку. Маршак обзывал Михалкова «севрюжьей мордой», Фаина Раневская «осетром», при этом уверенная, что именно так он изображен у Катаева, но в результате получился именно дятел, правда, «с костяным носом стерляди».

Но борьба вокруг «нового» Катаева продолжалась. Одни во власти хотели его напечатать, другие — запретить. 23 апреля 1966 года начальник Главлита Алексей Охотников направил председателю Комитета по печати при Совмине СССР Николаю Михайлову докладную записку, помеченную грифом «Секретно». В этой «докладной» подробно и возмущенно рецензировалась уже сверстанная катаевская повесть. «Исправления мало что меняют в содержании произведения, — сообщал Охотников. — Обстановка

в стране до 1953 г. и позже изображается как состояние кошмарного бреда больного, в котором преобладают тягостные настроения подавленности, оцепенения, патологизм восприятия всего окружающего… Следует отметить и то, что в представленном редакцией “Нового мира” варианте произведения в одном из самых отвратительных его персонажей явно угадывается писатель С. Михалков… Обращает на себя внимание также и то, что в этом произведении высказан ряд сомнительных положений о назначении абстрактного искусства… Касаясь национальных проблем США, В. Катаев, игнорируя классовый принцип, высказывает идею непримиримости интересов черных и белых и невозможности разрешения этих проблем… Таким образом, несмотря на отдельные внесенные редакцией журнала поправки, в этом произведении все еще имеются ошибочные положения и искажение советской действительности. Полагаем, что публиковать памфлет В. Катаева в представленном “Новым миром” виде также нецелесообразно, как и в варианте, подготовленном журналом “Москва”».

Удивительно: вопреки цензуре — «Святой колодец» вышел в майском «Новом мире» 1966 года.

Может быть, потому, что цензура дернулась чересчур поздно?

Всего вернее, оказался сильнее покровитель Катаева — Михаил Суслов.

«Цензура хотела опять стоп, а ей из ЦК: “Что у вас там? Не выдумывайте!” — весело рассказывал Катаев Самуилу Алешину. — И все в порядке, напечатали».

Что касается Михалкова (прототип, особо смутивший Главлит), напомню, это он — наперекор остальным — дважды безоговорочно заступался за катаевскую книгу «За власть Советов!» на писательских президиумах в 1949 году.

И вот — отборная брань: «Противоестественный гибрид человеко-дятла с костяным носом стерляди, клоунскими глазами, грузная скотина — в смысле животное, — шутник, подхалим, блатмейстер, доносчик, лизоблюд и стяжатель-хапуга… Время от времени он наклонял ко мне свое костяное рыло с отверстиями ноздрей и тревожно заглядывал в мою душу своими тухлыми глазами, как бы спрашивая: ты не знаешь, где бы чего хапнуть на даровщинку? Или рвануть у наивного начальства подачку?»

Кстати, Катаев все-таки настоял на своем, и в повести 1969 года «Кубик» возник «мучительно знакомый» осетр, с которым «лицом к лицу столкнулся» рассказчик, разглядывающий рыб в океанариуме в Констанце: «Смотрел на меня своими круглыми выпуклыми глазами наглеца, двигая костяным рылом и шевеля небольшими усиками сукина сына, надежно защищенного от

общественного мнения толстым стеклом аквариума и дымчатыми очками. Я заметил, что иногда телевизор похож на аквариум, где время от времени возникает узкая рыбья голова». Да что там, в заметке в газете «Правда» еще в феврале 1966-го — то есть одновременно с переименованием своего персонажа в дятла — он писал: «…попадаются этакие севрюги с белыми вываренными глазами стяжателей».

После такого Михалков в долгу не остался и отзеркалил Катаева в мемуарах: «Писатель с отвратительной личной биографией, аморальный человек в полном смысле слова» (добавив для справедливости: «писал самые светлые произведения»).

Что же получается? Взаимные обвинения в цинизме и продажности? Странный диспут двух опытных о невинности. Уж точно, обоим роль морализатора как-то не подходила…

(Кстати, ничто не помешало им в июне 1972 года совместно отправиться в Кишинев на встречу с молдавскими писателями.)

Михалкова хотя бы извиняет то, что он оборонялся. А вот зачем Катаеву было с таким остервенением атаковать?

Объяснение, как мне кажется, в следующих словах: «Но вы, конечно, заметили, что я говорю во множественном числе “мы”. Надо объясниться. Мы — это я и еще один, скажем, — человек. Вернее — фантом, мой странный спутник, который приехал со мной в этот край и теперь неотступно, как тень, сопровождал меня на полшага позади… Он был моим многократно повторяющимся кошмаром… Он непрерывно присутствовал рядом со мной, прислушиваясь к моему дыханию, он быстро считал мой пульс; он повсюду шлялся за мной по улицам и по крутым горным тропинкам моих сновидений…»

Дело не в вельможах Михалкове или Алексее Толстом, дело в самом себе, в своем втором «я».

Об этом там же в «Святом колодце»: «Я говорил, что не желаю унижаться, и чувствовал, как у меня дрожат губы. А они твердили:

— Унизься, дурак, унизься. Ну что тебе стоит унизиться!

У меня уже шумело в голове, мне было море по колено…»

Парадокс: он отбрыкивался от фантома, с которым так часто сливался напоказ. «По природе я робок, хотя и слыву нахалом», — сообщал в другом месте. Слыл или упорно создавал себе этот образ?

Катаев то пытался убежать от себя, корыстного и сановного, оторваться от неотступной тени, то хотел нырнуть в нее, искупаться, как в луже, отчаянно юродствуя.

В 1962-м он поделился с Чуковским: в Переделкине многие

«загубили свои дарования», и, вероятно, наслаждаясь эпатирующим эффектом, передал свой разговор с Евтушенко: «Я ему сказал: Женя, перестаньте писать стихи, радующие нашу интеллигенцию. На этом пути вы погибнете. Пишите то, чего от вас требует высшее руководство».

Очередной скомороший выверт?

Замечу, сам Катаев в поздней прозе своему рецепту никак не следовал, отлично сознавая, что есть «дикое мясо» искусства… Но не желал потакать и «прогрессивной» интеллигенции с ее дисциплинированной дистиллированностью, святыньками и страхами, что доказал и «Алмазным венцом», и «Вертером»…

«Циник романтичный, циник, артистичный до мозга костей, циник, ненавидящий циников, циник, порой щедрейше помогавший всем, от кого цинизмом и не пахло», — причитал над учительской с двумя макушками головой Евтушенко.

«Поскольку это писатель, творческая личность, он тянется к хорошему, а делает в жизни плохое, — огрублял Катаева Михалков, отчасти объясняя и собственный парадокс — не особо любящего детей автора любимых детьми стихов. — Это такая раздвоенность писательской личности». Не о том ли рассуждал в одном из эссе и сам Катаев? «Соединение Моцарта и Сальери, органическое слияние старческой мудрости с детской непосредственностью… Настоящий гений, быть может, и должен иметь два лица и две души: душу Сальери и душу Моцарта».

Интересно, что поэт Юрий Кублановский в юношеском подпольном негодовании объединял тогда «человеко-севрюгу», мовиста и его «потомство», вглядываясь глазами снайпера в мейнстрим советской литературы:

> И воняет севрюжьим варевом
> в десяти шагах ЦДЛ.
> Вот бы там старика Катаева
> на оптический взять прицел!..
> Затаившись в посольском скверике,
> в линзу чистую вперив глаз.
> (Есть еще один — да в Америке
> с младшим Кеннеди хлещет квас.)

«Еще один» — очевидно, Евтушенко…

Проговорю еще раз уже говоренное о нашем герое: он и сам не знал, каким казаться — то и дело ему хотелось, чтобы его считали циником. Его проза, с самых ранних рассказов, о том, как жизнь трагикомично надламывается. Среди окружающего безумия он искал поведенческие ответы… Катаевские приступы цинизма

были не тусклыми и мышиными, но показными, вызывающе-тигриными, потому и послужили материалом для сплетен. Экзистенциальный романтизм. Броская рисовка фаталиста. Барство как вызов. Демарш против проклятой — прелестной, но гибельной, а значит, свинской — реальности, при которой всяк оккупирован жизнью и смертью.

Возможно, будучи нежным, ранимым и застенчивым, он так спасал свой рассудок.

«О, если бы вы знали, как я был одинок и беззащитен», — вздох из «Святого колодца». И разве это не боль?

Человеко-дятел — мучительный двойник лирического героя повести, построенной по набоковскому принципу зеркал. Также его двойник и старик, тщательно моющий разноцветные бутылки в переделкинском пруду, извлекая из мешка… Ощупать все явления и предметы жизни, назвать по именам, вдохновенно промыть, высушить и вернуть в мешок, который «вовсе и не мешок, а самая обыкновенная прорва, в смысле прорва времени, попросту говоря — вечность».

При дешифровке повести партийных начальников не смутили признания в любви Америке и американцам и издевка над соотечественником-соглядатаем, бубнящим на ухо: «Должен вас предостеречь: ведите себя более осмотрительно. Не следует так откровенно восхищаться…» ЦК не волновало то, что себя узнают и другие, не столь титулованные, как Михалков, прототипы.

Наглые наскоки на людей как бы подпитывали Катаева, давали энергию. Например, досталось в повести писателю-сатирику Леониду Ленчу и его жене Лиле, выведенным под фамилией Козловичи.

Он — «интенсивно розов», улыбается «всеми клавишами своих зубов», «в несколько эстрадном пиджаке цвета кофе о-лэ, и брюках цвета шоколада о-лэ, и в ботинках цвета крем-брюле при винно-красных шерстяных носках». «Что касается мадам, то она была в узких и коротких штанах эластик, которые необыкновенно шли к ее стройно склеротическим ногам с шишками на коленях». При этом автор будто бы имел «полное представление о ее душевном состоянии, которое отражалось на ее лице, измученном возрастом и ощущением собственной красоты».

«Все знакомые не могли не узнать супругов Ленч в образе Козловичей и немножко удивлялись, как с ними обошелся друг “Катаич”», — вспоминал Борис Ефимов, впечатленный злой и изощренной карикатурой.

Интересный, но и извечный способ порвать отношения — превратить в персонажей…

Вскоре после выхода повести Ефимов встретил Ленчей в ЦДЛ.

«Лиля бросилась ко мне буквально с воплем.

— Боря! Посмотрите! — кричала она, задирая юбку. — Где вы видите у меня склеротические шишки на коленях? Скажите, где их увидел Катаев?!

А стоявший рядом Ленч печально добавил:

— Не пойму, что это Катаичу вздумалось…»

Через несколько дней Ефимов встретил Катаева на каком-то вечере в ЦЦРИ и упрекнул в немилосердии к приятелям. Что мог ему сказать на это художник, не щадивший в прозе ни отца, ни матери, в свое время из-за своей литературы потерявший дружбу Булгакова и Багрицкого?

Пришлось сыграть на прогрессивных фобиях собеседника. «Боря! — нахмурившись, сказал Катаев. — Вы что, не знаете, что это за дама? Не знаете, кем она кое-где работала в Ленинграде? Там ее приставили к Зощенко, а потом перебросили на Ленча. Вообще она пущена по литературе».

И считай, отболтался…

Еще один персонаж повести — девятнадцатилетняя блондинка-«молочница». Вот — в красном платье и с «объемным телом» она пронеслась на белом мотороллере с его сыном: «У нее в руке был длинный початок молодой кукурузы, который она грызла; издали можно было подумать, что она играет на флейте». А вот — «в садике под цветущим каштаном валялся мотороллер юной молочницы, а она сама, смешав свои белокурые волосы со стрижеными волосами нашего сына — Шакала, спала блаженным сном праведницы, положив обольстительную пунцовую щеку на его голую руку, а на полу были разбросаны: красное платье, нейлоновые чулки без шва, на спинке стула висел черный девичий бюстгальтер с белыми пуговицами».

Ее звали Ника, и была она дочерью переделкинского лесничего, оберегавшего сохранность столетних елей, которые уже после его смерти рубили победоносные «новые русские».

У Ники был роман с сыном одного из литературных «боссов»: бросил. Начались другие романы, поселок гудел сплетнями. В институт поступить не удалось, но кем-то работала на телевидении. «В роли Золушки провалилась, — пишет Надежда Кожевникова, дружившая с Никой с самого детства. — Старый греховодник Катаев подметил точно: “молочница” охмуряла и его сына, в числе прочих. От игр не отказывались, но жениться? А Нику будто заклинило: именно здесь, в Переделкине, желала одержать победу на глазах тех, кто, считала, ее отверг». Она вышла замуж за некоего «невзрачного Леню», ставшего бизнесменом и отгрохавшего дворец. Однажды этот муж «молочницы» выпроводил Кожевникову со словами, похоже,

адресованными всему «писательскому сословию» и, быть может, тому, кто сохранил его блондинку, навсегда молодую и свежую, в русской литературе: «Вы столько лет жену мою унижали, посмешищем сделать хотели, но нет, не удалось! Чтобы больше ноги вашей здесь не было, вон из моего дома!»

Аксенов вспоминал: «По “Аллее Мрачных Классиков” шествует Валентин Петрович. Впереди клубочком белой шерсти катится собачка Степан, позади тащится старый переделкинский хулиган — внутренне благородный пес Миша. Аллея возмущена, но молчит.

Катаев приветствует нас и кричит через забор:

— Эстер, приехали мовисты!»

(«Растратчики приехали!» — напомню, в 1927-м встречал его в Сорренто Горький.)

В «Святом колодце» с явным кокетством провозглашалось: «Я являюсь основателем новейшей литературной школы мовистов, от французского слова mauvais — плохой… Нужно писать плохо, как можно хуже, и тогда на вас обратят внимание».

Этот самый мовизм (словцо, в дальнейшем многажды и даже назойливо повторяемое) был подан как идея спонтанного, интуитивного, бессознательного письма, расколдованного от литературщины и вообще традиционных литературных форм. Но во всех катаевских произведениях (и в последних в первую очередь) бросается в глаза умелость: въедливая фиксация вещей, отборные эпитеты и образы — нечто противоположное свежей небрежности и непринужденности, которую можно было бы ожидать от действительного мовиста.

Не пациент психоаналитика, вдохновенно порющий горячку. Из другого теста — мастер с ясным и цепким умом.

Разгадка, возможно, проста: Катаев, способный на все жанры (поэт, рассказчик, романист, очеркист, фельетонист, драматург, сценарист), тяготился одним: своим мастерством. Очевидно, он желал оторваться от земного притяжения и отдаться стихии полуобморочного экспромта, попробовать себя медиумом, начать писать, как он сам признавался, «раскованную эмоционально-ассоциативную прозу» (и к этому он не безуспешно подталкивал учеников). Художнику-профи, волевому, напряженному долгом ремесла и доведшему ремесло до отточенного блеска, хотелось расслабиться. Психологический закон: ополчиться на то, чего ощущаешь в себе избыток, расхваливать то, чего недостает.

Другое дело: Катаев пробивался к такой прозе всегда, а не одними последними текстами, еще в ранних его вещах есть все та же «раскованность» — открытие детского в себе и чудесного в мире, психоделика, выворачивающая сокровенное,

сновиденческий микс из клочков времени, бесстрашие выставлять себя слабаком.

Так как надо понимать мовизм? А так, что, непревзойденный мастер, самый, пожалуй, мастеровитый из советских писателей, предложил идею преодоления мастерства в пользу стихийности, разговорности. «Замена поисков красоты поисками подлинности, как бы эта подлинность ни казалась плоха». Предложил. Но не значит, что сам решительно последовал предложенным маршрутом.

Под идею мовизма можно подверстать написанное до него, одновременно с ним и в особенности после него: такую прозу, где зачастую сплетаются поток сознания и дневниковость — то, что всегда присутствовало и в его прозе, но отцеженной авторской придирчивой редактурой и обильно нагруженной обдуманными хитрыми метафорами.

«Не могу избавиться от метафоры», — признавался Катаев под конец жизни. То есть от мастерства, тормозящего, замедляющего, утяжеляющего художественное течение. От литературы. «Искусство не терпит сознательности», — повторял он за Толстым, стремясь к безотчетности гения, первозданности, когда умелое обращение с миром, полным красок, сменяет слепой, но безошибочно меткий инстинкт… И пытался даже метафору сделать необдуманной, инстинктивной, сорвавшейся: «Рогатые глаза. Глупо. Но мне всегда так хотелось».

А вообще, как он признался однажды, мовизм — «полемическая шутка, ничего более…».

Популярность повести была огромна, завал читательских писем, шум интеллигенции. Только пресса молчала.

Пожалуй, у многих Катаев вызвал раздражение своим ощутимым высокомерием и явным литературным превосходством.

Наконец, 13 августа 1966 года в «Литературной газете» на него напал Владимир Дудинцев. Признавая художественную магию когда-то обругавшего его писателя, он выдвигал обвинение в отсутствии «способности испытывать боль» и даже «сердечной глухоте». С революционно-демократическим пафосом Дудинцев изобличал катаевское равнодушие к «прислуге»: «…с внучкой приходит нянька… Это человеко-тень. Нянька и все. Вторая человеко-тень — шофер, который возит семью… Еще одна тень человека — садовник». Наконец, рецензент сталкивал Катаева, навестившего одесскую любовь, с оставшейся в Москве Эстер: «Но ведь другая — тоже человек. Улетая к первой, ты покидаешь ее».

Ответ Дудинцеву написал Юрий Трифонов. «Литературная газета» не приняла его статью. Во всех других изданиях, куда он

ее предлагал, тоже отказали. Власть была недовольна новым Катаевым: пусть не антисоветским, но и совсем не советским. Трифонов называл критику Дудинцева «несправедливой и однобокой»: «Старик, написанный В. Катаевым в повести “Святой колодец”, нуждается в сострадании. Во-первых, потому, что он на грани смерти, во-вторых, потому, что он одинок, в-третьих, потому, что недоволен прожитой жизнью и ничего не может исправить… Книга яркая, местами поразительная, небывалая по писательской искренности. Что касается уровня прозы, то его можно назвать блестящим… В повести “Святой колодец” есть чувства, есть боль, но критик не пожелал их увидеть».

Вдова Трифонова Ольга вспоминает: «Ю. В. считал эту книгу не только событием в Литературе, но и событием в своей жизни. Она открывала новые горизонты, новые возможности формы».

В 1967-м в «Юности» в эссе «Путешествие к Катаеву» свое слово сказал и Аксенов: «Личность героя, а таким образом, и личность автора ускользнула от него, и он не почувствовал боли, заглушенной эфирно-кислородной смесью. Дело тут в том, кажется, что он исследовал (обследовал) книгу в здравом уме и твердой памяти и — вот уж действительно! — “при наличии отсутствия боли”».

Занятно, что в этом своем эссе Аксенов солидаризировался с будущим «черносотенным» недругом Станиславом Кунаевым, цитируя его стихи:

> С утра болела голова,
> Но хуже то, что надоела
> Старинная игра в слова,
> А я не знал иного дела.

И противопоставлял своей и сотоварищей зачастую вымученной литературности «веселое хищное око»: «Мне кажется, что Катаев сочиняет всегда… Валентин Петрович рожден на этой земле для того, чтобы быть писателем. Это как раз тот самый редкий случай осуществившегося предназначения».

В 1967 году Куняев, составлявший сборник «День поэзии», посвященный пятидесятилетию советской власти, приехал в Переделкино.

«— Ха-ха! Вспомнили, что Катаев начинал как поэт? А Катаев всю жизнь стихи пишет! Его Иван Алексеевич Бунин еще благословил на этот подвиг!

Он был в какой-то изысканной фланелевой рубашке, чисто выбритый, благоухающий дорогим одеколоном.

Его глаза озорно поблескивали, а крючковатый нос с хищно

вырезанными ноздрями как бы принюхивался к новому посетителю. Как бы желая уяснить его сущность. И весь он излучал некое сияние лоска, комфорта, успеха. Победитель, да и только!»

Катаев понадобился Куняеву как «один из немногих свидетелей и участников революции», тогда он не понял, о чем стихотворение 1920 года.

А это был юный голос с другой стороны фронта: «Я набеги пою бронепоезда…» (то есть «Новороссии», где командовал башней), «Что мне белое, синее, алое…» (то есть трехцветный флаг, летящий над головой)…

Что мне Англия, Польша и Франция!
Пули, войте и, ветер, вей,
Надоело мотаться по станциям
В бронированной башне своей.

Катаев не прекращал писать стихи, но в основном в стол. В «Юности» не воспользовался правом главреда и так и не предложил ничего своего в отдел «поэзии». Повести печатал, статьи тоже, даже маленькую комедию «Пора любви»[147] напечатал в 1962 году, а стихи ни разу.

«ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ»

Вся его последующая мовистская проза появлялась в «Новом мире»…

Катаев отдал «Маленькую железную дверь» в «Знамя» Кожевникову, а «Святой колодец» пытался пристроить к Поповкину в «Москву», возможно, потому, что не очень-то хотелось обращаться к Твардовскому.

У обоих в памяти еще свежо было заседание ЦК 1954 года, когда Катаев обвинил главреда «Нового мира» в том, что тот отверг его «Поездку на юг».

Но может быть, дело в том, что Катаева раздражала стайность интеллигенции, делившей мир на передовых кумиров и ретроградов-негодяев, он был выше этого: не журнал красит литературу, а литература — журнал.

Я уже упоминал: прежде чем его новая повесть «Трава забвенья» вышла в 1967 году в третьем номере «Нового мира», на который молилась просвещенная общественность, сильнейшую часть (в четырех номерах) напечатал журнал «Огонек» одиозного «сталиниста» Софронова, врага Твардовского.

Один и тот же прекрасный текст про Ивана Бунина появился в разнополюсных изданиях, существовавших внутри советского литпроцесса, но их разборки, вероятно, уже казались Катаеву слишком мелкими. С невинностью вдохновенного лирика, небрежно, мимоходом он показал себя вне и выше двух лагерей. Очередная вызывающая независимость. Тогда — до «Алмазного венца» и «Вертера» — публика этот жест предпочла не заметить. В «Новом мире», конечно, были оскорблены.

Алексей Кондратович, многолетний заместитель Твардовского, вспоминал, что поначалу Александр Трифонович вообще не хотел брать повесть, пришлось его «перебороть». Да, взаимная неприязнь сохранялась и понимание литературы у них было слишком разным, но думается, особо «перебарывать» не требовалось, ведь уже в декабре 1967 года Твардовский выдвинул Катаева на соискание Государственной премии СССР за «Траву забвенья», сказав Кондратовичу: «Пусть видят, что настоящее печаталось у нас».

А вот что касается предварительной публикации у Софронова — Твардовский рассвирепел и решил ударить штрафом.

«Я был свидетелем тяжелейшей сцены, — писал Кондратович. — Все главы о Бунине, без изъятия и даже с ошибками, которые мы к этому времени успели устранить из текста, — появились в “Огоньке”. Это было полное неприличие.

А. Т., и без того равнодушный к творчеству Катаева, возмутился и стал настаивать, что повесть надо снимать, пусть Катаев идет к чертовой матери. “Не будем же мы перепечатывать после Софронова!” С прозой у нас в то время было туговато, и мы стали уговаривать А. Т. не снимать повесть из номера. Пришлось пойти на редакционные и издательские осложнения: ставить всю повесть в один номер: не печатать же, в самом деле, одну первую часть — Бунина. А. Т. и тут сопротивлялся. Потом заявил, что он хочет видеть Катаева и поговорить с ним. Катаев пришел встревоженный, чувствовал, что кошка сало съела. А. Т. сказал все, что полагается говорить в таких случаях, без обиняков и дипломатии. И семидесятилетний Катаев стал вести себя, как наивный гимназистик: *“Я* дал им выбрать кусок и не думал, что они будут печатать всё”. “Они подвели меня”, “Они нахалы” и т. п. Будто он ничего не видел и не знал: журнал выходит как-никак через неделю, можно было бы и позвонить. Так врут в первом классе гимназии: дальше придумывали что-нибудь похитрее. Это было зрелище жалкое и противное».

Отмечу гимназический инфантилизм как вообще свойственный Катаеву. Он не умел скользить, вести сложную многоходовку, ему скучно было притворяться «вечно правым» и убедительно оправдываться, все его лукавство оставалось именно что наивным и поверхностным, возможно, потому и срывавшимся в цинические демонстрации…

Твардовский объявил Катаеву, что забирает у него часть денег — вместо положенных 400 рублей за лист выдаст 300: «Если он не согласен, — пусть берет рукопись». Наказание грубое, прямо-таки деревенско-«кулацкое», ведь предварительные публикации в прессе толстожурнальной прозы были общеприняты (отрывки из «Травы забвенья» появлялись и в «Известиях»). Кондратович насмешничал: «И снова Катаев прижимает в дешевой театральной мольбе руки к груди, оправдывается, кается, говорит, что конечно, по 300, по 300 нельзя… Он понимает. Когда вышел номер, мы выплатили ему по 300. Мне передавали: Валентин Петрович обижен…»

Но выбирать не приходилось, и Катаев нес каждую новую вещь в «Новый мир», а Твардовский смурнел все больше: эстетство…

Кстати, а если задаться гимназическим вопросом: кто из них больше освежил читающую и пишущую страну? Как замечает критик Наталья Иванова, «то, что он сделал в “Юности” для Аксенова, Гладилина, Искандера, Чухонцева, Рассадина и других, Твардовский не сделал бы ни за что.

Ни при какой погоде. Потому что они были ему *социально* (и

культурно) *чужие,* а Катаев не только сделал это, — он возглавил это новое литературное поколение». А «цепочку московских повестей» Трифонова, доказывает та же Иванова, спровоцировала цепочка катаевских повестей: «Неожиданный, “новый” Катаев вызвал к жизни неожиданного, “нового” Трифонова».

«Трава забвенья» — пушкинское из «Руслана и Людмилы». Витязь выезжает на «старой битвы поле», недоумевая, кто его «усеял мертвыми костями».

Зачем же, поле, смолкло ты
И поросло травой забвенья?..
Времен от вечной темноты,
Быть может, нет и мне спасенья!

На этот раз это была ясная и прекрасная реалистичная проза о собственной юности и безвозвратности жизни с увлекательно-драматичными историями и, конечно, ассоциациями, раздумьями, цитатами из Бунина, Мандельштама и даже Бурлюка, вполне подпадающими под старинное определение «лирические отступления». Катаев взял еще одну высоту мастерства.

Повесть о вырванном сердце. Его выхватили из рассеченной груди героя, а потом это сердце привязали к красному знамени «восставшие ламы», и все это бред лежащего в сыпняке: «Буддийски-красный цвет»… Но и «девушка из партшколы», сдавшая белого офицера в ЧК, будучи «персональным пенсионером», «старой большевичкой», пишет герою письмо со словами: «Но я его все-таки любила. Хочешь знать правду — и сейчас люблю, пишу это перед смертью. Сердце у меня давно вырвано».

Засохший комочек человеческого сердца, прикрепленного лентой к древку революционного стяга, Катаев увидел в историческом музее в Улан-Баторе, где побывал после войны (и крепко пил «за дружбу» с маршалом Чойбалсаном). В конце 1960-х годов он приехал в Монголию с сыном и в музее показал ему этот страшный экспонат.

Повесть о жизни меж двух твердынь — между Буниным и Маяковским, но и о секретах сознания и подсознания, так занимавших Катаева: «Кора головного мозга хранит отпечатки всех впечатлений жизни под надежной охраной механизма памяти, ключом к которому наука еще не овладела».

Читатели только и говорили что о катаевской улетной «Траве забвенья», но пресса реагировала слабо. Правда, спустя три месяца после публикации появился восхищенный отклик в

«Литературной газете» литературоведа Олега Михайлова: «Написана повесть с такой пронзительной силой, что временами ощущаешь как бы зрительные галлюцинации». Сравнивая раннего, «бунинского», Катаева и более позднего, «красного», критик отмечал: «Странное дело, тот, “первый Катаев” запечатлен более зримо, так сказать, овеществлен и материализован, хотя, кажется, ничего общего не имеет с автором знакомых нам произведений 20-х годов, популярным советским прозаиком и драматургом. “Мне, русскому офицеру, георгиевскому кавалеру…” — повторяет он». Это же по-своему подметила и разозленная Лиля Брик, сообщавшая своей сестре Эльзе Триоле: «Вася (Катанян. — *С. Ш.*) всецело присоединяется ко мне и сердится даже еще больше. Он говорит, что все это о Володе написано, чтоб сбалансировать восторги перед Буниным. Черт знает что!..»

Претензии Брик касались баек, рассказанных Маяковским Катаеву: как именно он встречался с Блоком и мог ли режиссер Николай Евреинов не накормить его ужином: «Мы получили от жены Евреинова возмущенное письмо».

«А “среднего размера карлика — страшного новатора” Шкловский принял на свой счет (Вася говорит, что он именно его имел в виду. У них старые счеты) и недавно в Политехническом отстегал, говорят, автора, — продолжала Брик. — Никогда у Володи не было “невычищенных ногтей” — это мелочь, но противная».

Впрочем, она была верна своей нелюбви к Катаеву, посягавшему на принадлежащее единственно ей… А ведь ее не было в Москве в тот последний вечер, когда Маяковский, по Катаеву, «драл невычищенными ногтями пыльную шкуру медведя» — да, всегда эффектный, внешне идеально упорядоченный, но тогда потерянный и не похожий на себя. Катаевский образ прост: Маяковскому было не до красы ногтей в состоянии предельно болезненном…

У каждого свидетеля того вечера остались свои, в чем-то не совпадающие воспоминания, поэтому, в конце концов, не важнее ли отдельных деталей — способность точно передать ощущение от человека? Кажется, это у Катаева получилось бесподобно.

Госпремию ему, конечно, не дали. Не допустили даже до второго отборочного тура. А ведь ему уже было семьдесят.

Юбилей шумно отмечали в Переделкине. «Съехались молодые гости, выкормыши “Юности”, — вспоминал Аксенов, упоминая Гладилина, Вознесенского, Ахмадулину, Рождественского, Окуджаву, — рекой лилось отменное вино, а подвыпивший хозяин все грозил: “Сейчас, старики, я вам

выставлю такое вино, какого никто из вас, плебеев, никогда и не мечтал пить!" Не исключено, что ему мгновениями казалось, будто время отъехало назад и он снова в своей молодой компании двадцатых годов».

У него постоянно были люди.

Марину Влади, еще до ее романа с Высоцким, привез Гладилин. «Мы заехали в Переделкино, на дачу к Катаеву, причем без приглашения, — вспоминал он, — но Валентин Петрович, увидев Марину, засуетился, развел костер, сразу набежал народ…» Веселье длилось до ночи. Появился Евтушенко, который уже не отпустил красавицу вдвоем в Москву с приятелем, и присоединился к ним.

Любопытная деталь из мемуаров Гладилина: «Вопрос по существу она задала нам с Васей [Аксеновым], когда мы сидели где-то втроем. "Толя и Вася, если бы вы знали, как мне хорошо с вами. Только я одно не могу понять — почему вы оба такие антисоветчики? Вы живете в прекрасном мире социализма и все время его критикуете! Что вам не нравится в Советском Союзе?" И завелась. Мол, вы не представляете себе, какая жуткая жизнь в мире капитализма. Приводила массу подробностей… Ну нам хватило ума не спорить о политике с красивой женщиной».

С Высоцким Катаев был знаком, но не более. Эстер рассказывала: во Франции на приеме, где были писатели и артисты с Таганки, Катаев цитировал какие-то стихотворные строки и никак не мог вспомнить автора, и тут Высоцкий, оказавшийся рядом, назвал забытое имя.

— Да, да! — воскликнули они в один голос.

Журналистка Кира Васильева писала: «К Катаевым сзывали специально на Булата. Собрался тесный кружок *своих*. Мне было девятнадцать, среди *своих* я оказалась только потому, что меня опекала Женя Катаева, дочь писателя, которая была много старше. Она ввела меня в кружок своих переделкинских подруг… Все эти тридцатилетние дамы как-то одновременно оказались разведены и вовлечены в сети новых любовных интриг… Как это было принято у Катаевых, и в этот раз мужчины блистали остроумием, а все женщины были чертовски хороши. Среди красавиц выделялись Белла Ахмадулина и невеста Окуджавы Ольга, словно списанные с пушкинских сестер Лариных. Бард спел самое популярное из своего репертуара. Женская половина общества не сводила с него восторженных глаз, а во время "Молитвы" у многих выступили слезы. Булата это внимание распаляло, он словно забыл об Ольге. Вдруг она что-то сердитое нашептала ему, порывисто вскочила и убежала, ни с кем не попрощавшись. Он — за ней вслед… Та сцена у Катаевых

странным образом спроецировалась на дальнейшие отношения Булата и Ольги…»

На катаевский юбилей откликнулись многие. В «Правде» «подлинного художника» поздравил Вадим Кожевников. В «Известиях» чествовал Ираклий Андроников: «По изобразительной силе Катаев стоит рядом с великими мастерами». В «Литературке» нахваливала Людмила Скорино: «Все, на что падает взор художника, обретает какую-то неизъяснимую прелесть». Из всех возможных наград «за большие заслуги в развитии советской литературы» Катаев удостоился повторного ордена Ленина, который уже давали в 1939-м.

Тем временем удары он получал и «слева», и «справа»…

Так, в «Вопросах литературы» (1968, № 1) «прогрессивный» Бенедикт Сарнов разразился большой статьей «Угль пылающий и кимвал бряцающий», посвященной последним катаевским повестям. Бенедикт Михайлович обнаружил в катаевской прозе «ужасную информацию» «о человеческой душе, в которой поколеблены не только эмоциональные, но и нравственные устои», и называл его сердце пустым.

Александр Гладков, в так и не напечатанной статье, отвечал: «Мужество и честность Катаева в том и заключаются, что его повести это не задачи с заранее готовыми ответами… За величавой напыщенностью сарновского утверждения скрывается довольно плоское, почти на грани пародии, содержание… Все время какие-то намеки и недосказанности, кривая усмешка и осуждающее покашливание… Критика высокомерно-наставительная, с непробиваемой броней собственного превосходства, с невозможностью удивиться и восхититься до потери себя, — такая критика в сущности незряча, каким бы набором оценочных линз она ни обладала». Остается сожалеть, что Гладков не решился нигде опубликовать свой ответ, поддавшись давлению «новомирского» критика Льва Левицкого, по выражению которого, случился «ожесточенный спор» («Катаев не нуждается в защите», — твердил Левицкий), из-за чего их отношения чуть не испортились.

А «почвенный» Олег Михайлов в 1974-м в книге «Верность», причисляя Катаева к «одесситам» и отбросив прежние восторги, припечатывал его заодно с Багрицким, Бабелем, Олешей, Ильфом и Петровым: «Они порывают с важными социальными, гражданственными и духовными заветами русской литературы, двигаясь в сторону модернизма» и обвинял персонально Катаева в «равнодушии к человеку, его страданиям и бедам»: «Он низвел человека к роли низменной и жалкой… Признаться, не приходилось еще встречать в нашей литературе такого, прямо-

таки обезоруживающего своей откровенностью фетишизма и поклонения “тельцу”. Короче, как сказал бы Мефистофель, “Сатана там правит бал”… Где уж тут уместиться понятиям “совести”, “добра”, “человечности”, “морали”».

Но были ли теперь Валентину Петровичу особенно важны споры критиков?

Главным было: писать так, как хочется.

Катаев рассказывал, что продолжает заниматься литературой «даже во сне»: «Иногда вскакиваешь среди ночи, бежишь к письменному столу для того, чтобы записать мысль или исправить несколько строчек».

«КУБИК»

В 1967 году он побывал в Париже с сыном: гуляли по Латинскому кварталу и набережным Сены. В январе 1968-го взял в очередную французскую поездку дочь. Из Парижа по приглашению его друга, богача-«нефтяника» Зиновия Юдовича, поехали в Монте-Карло. Играли в казино. Потом в Тур, где на фестивале короткометражных фильмов нашего героя избрали президентом жюри и обращались «monsieur le president». На конкурсе он поддержал английскую ленту о сельском учителе, осознавшем, что человек смертен.

Французские впечатления и опыты, и особенно краски казино в Монте-Карло, перемешавшись, превратились в «Кубик», опубликованный во втором номере «Нового мира» за 1969 год.

Драматург Иосиф Прут вспоминал, что это он познакомил Катаева с «нефтяником-французом Зорей Юдовичем — участником движения Сопротивления, кавалером ордена Почетного легиона». И винил себя: «Зоря был с ним откровенен, описав свою личную жизнь», а собеседник отразил эти тайны в прозе (очевидно, в «Кубике»): «После чего Юдовичи отказали Катаеву от дома». Литератор Александр Ольшанский уточнял, какой именно эпизод рассекретил Катаев — прелестная новелла в повести — отношения богача с любовницей, после ее смерти получившего коробку из-под бисквитов, в которой, кроме прощального письма, в полной сохранности лежали его многолетние денежные переводы. По Ольшанскому, рассерженные супруги Юдовичи «собрали все книги Катаева с дарственными надписями и отправили автору в Москву наложенным платежом».

В том же 1968-м для балета Большого театра Валентин Петрович написал либретто по мотивам рисунков Жана Эффеля. Балет не ограничивался сюжетом сотворения мира и человека, но и давал горько-ироническую картину истории вплоть до современности.

Отвечая на вопрос одесского журналиста Александра Розенбойма, какое из своих новых произведений он хотел бы видеть экранизированным, Катаев не без самовлюбленности сказал: «Можно экранизировать “Кубик”, но для этого нужен Федерико Феллини».

Эта вещь на первый взгляд, как мечталось и манифестировалось, преодолевала сюжетность: «Не повесть, не роман, не очерк, не путевые заметки, а просто соло на фаготе с оркестром — так и передайте».

Ворох стереоскопических открыток: Констанца, Париж, Монте-Карло; груда цветных кубиков, россыпь плодов — «авокадо, персиков, очень крупного дымчатого алжирского винограда, манго, лесной удлиненной земляники и сухой садовой желтовато-розовой клубники»…

Публикация текста чуть не сорвалась.

«А. Т. прочитал “Кубик” Катаева, — записал Алексей Кондратович. — Ему не нравится, и очень. Иного и ожидать нельзя было. Он еще несколько дней назад сказал: “Зачем вы заключили с ним договор?” Теперь он против публикации…» В записи от 13 февраля Твардовский снова спрашивает: «Давайте все-таки подумаем, ребята, не снять ли нам его: уж очень противное произведение». И все же большинство редколлегии было за то, чтобы печатать.

Кондратович сообщает, что «последние работы Катаева» в журнале «печатали, всякий раз вопреки желанию А. Т. (“Печатайте, ваше дело, но мне это не нравится”)», и живописует выяснение отношений с Валентином Петровичем, которого он вслед за шефом считал пустоцветом. «Разговаривали с Катаевым, — записал Кондратович. — Он обнаглел и решительно против всяких исправлений. Мотивировка удивительная и хамская: “Твардовский — поэт, и я не обязан его слушать…”». А что должен был сказать мастер прозы? Признать, что Твардовский лучше, чем он, разбирается в изящной словесности? Кондратович заподозрил, что Катаев будет упорствовать и вещь может уплыть в «Знамя», к Кожевникову. «Мы решили вести разговор мягкий, но будет сей хам сопротивляться, — вернуть, пусть уходит… Поначалу он и повел себя хамовато, но потом (в этом весь Катаев) стал спускать на тормозах. Вкусы Катаева очень точно выразились во фразе: “Набоков, конечно, великий, величайший писатель”. Вот она одесская школа: ее не интересует жизнь, как таковая, — а фраза, как сделано, стилистика и пр. им всего дороже».

«Интеллигенция все еще жужжала восторженно о двух повестях Катаева (редактор восторга не разделял, но было приятно, что вокруг журнала шум), а тут снобам новая сласть: повесть “Кубик”, — вспоминал Трифонов реакцию Твардовского. — Оглянувшись с озорным видом, будто кто мог подслушать, шептал: “А я вам говорю — дерьмо!” Я спорил. Катаев мне нравился». Если рецензией Дудинцева на «Святой колодец» Твардовский «был возмущен», то «теперь его уже раздражало ликование снобов. Напечатанием катаевских вещей он все же гордился, так как считал их, конечно же, литературой в отличие от многого, что печаталось, и литературой, *имевшей право на существование,* но ему не близкой и даже в некотором

смысле чуждой, однако же вот печатал, и не одну вещь, а три. Была известная гордость собой, своей широтой, великодушием. Отношение Александра Трифоновича к Катаеву меня не удивляло. Это был твердый, закаленный годами труда и размышлений вкус: видеть в литературе не стиль, а суть».

А может быть, за стилем, за будто бы избыточными в сравнительно небольшом тексте словесными узорами, проступала как раз таки суть и «Кубик» был социально внятен?

Единственный связующий сюжет — история нежных Мальчика и Девочки из Одессы, эмигрантов первой волны, ставших во Франции успешными и элегантными Мосье и Мадам и как интуристы наведавшихся в город детства (жизнь в другом измерении, которой, кажется, столь случайно избежал автор). «Кубик» — имя их собачки, бешено ненавидящей всяких революционеров и покусавшей одного из них, смуглого урода-официанта с Корсики по имени Наполеон с «высокой чаадаевской лысиной» и «заросшей шеей», который потом будет митинговать на парижских улицах 1968-го. Это даже не классовая, а именно зоологическая ненависть к нищим хамам, похлеще бунинской: «О, тягостное чувство зависимости от каких-то подлецов, думал Кубик, чувствуя расстройство своего вестибулярного аппарата, от подлецов, называющихся забастовочным комитетом…»

Кубик — Шариков наоборот, благородный карликовый пудель…

Толпа «леваков» показана Катаевым с отвращением — варвары, «скифы» против европейской цивилизации. Неужели и здесь они победят? «Наполеон очутился среди люмпенов… Вконец опустившийся, пьяный, с немытыми руками, давно уже утративший вид официанта из первоклассного ресторана, он выкрикивал провокационные проклятия… и его несло вместе с толпой по улицам и переулкам, как по глубоким траншеям, проложенным среди гор давно уже не убиравшегося, разлагающегося мусора, объедков, картонок, оберточной бумаги, стружек, охваченных языками пламени ящиков, в тучах удушливого дыма, где время от времени взрывались петарды, патроны, самодельные бомбы, начиненные гвоздями и битым стеклом… Разрушив и уничтожив все, что находилось внутри театра Одеон, разбрасывая вокруг себя превращенные в лохмотья драгоценные исторические костюмы театрального гардероба, осыпанная рваными позументами и кружевами толпа ринулась обратно на бульвар Сен-Жермен». И тут же с откровенным злорадством автор фиксирует незыблемость устоев и усмирение бунтовщика: «Поперек бульвара стояла цепь полицейских. Наполеон бросился на нее, выкрикивая с пеной у рта проклятия

всем подлецам и их прислужникам, которые лишили его состояния, ограбили и затравили бешеными собаками. Два черных аккуратных ажанчика[148] в коротких пелеринках и белых воротничках проворно выдернули его из толпы, взяли за руки и ноги и запихнули в черную полицейскую машину».

Любопытно, что в первой версии «Кубика» Катаев несколько раз восхищался Василием Розановым: «Вот В. Розанов — тот действительно смел и писал так, как ему хотелось, не кривя душой, не согласуясь ни с какими литературными приемами». Но в переиздании Розанова заменил на «кое-кто»…

Видимо, не по своей воле. В 1971 году в записке, направленной в издательство «Художественная литература» в связи с подготовкой собрания сочинений Катаева, влиятельный критик Александр Дымшиц настаивал: «В “Кубике” совершенно необходимо убрать то место, где говорится о… творческой свободе Василия Розанова».

Розанова вспоминали в то время и в полемике, вспыхнувшей между «почвенниками» и «западниками», по поводу которой сделаем небольшое отступление.

Критик Андрей Дементьев в «Новом мире» в статье «О традициях и народности» (1969, № 4) обвинял журнал «Молодая гвардия» в русском национализме и подлавливал автора этого журнала Виктора Чалмаева на цитатах из философа Константина Леонтьева и, собственно, Розанова. Дементьев скрупулезно анализировал стихи, прозу и публицистику «молодогвардейцев», с возмущением обнаруживая деревенские и церковные мотивы: «Надо ли еще раз объяснять, что советский патриотизм не сводится к любви к “истокам”, к памятникам и святыням старины». Критик не оставлял журналу права на «славянофильские» вкусы и пристрастия, не совпадающие с его собственными, и соответственно все подверстывал под антисоветскую крамолу, завершая разбор цитатой из программы КПСС, которой противоречит деятельность издания.

Занятно, что поношение «мужиковствующих» вышло в журнале у Твардовского, неразрывно связанного с деревней, а раздражавший «прогрессиста» Дементьева консерватор Чалмаев в значительной степени совпадал по взглядам с Солженицыным, по сути предлагая поставить «сбережение народа» выше идеологического доктринерства. Ополчившийся на «национальный манифест» Дементьев высмеивал попытки вспомнить былые русские слова, и эти камни уж точно летели прямиком в солженицынский огород… «Они призывают вернуть слова: “длань”, “десница”, “ланиты”, “око”, “денницы” — и особенно влюблены в старые церковки, старинные храмы и

“суровые пращуров лики на фресках, на досках икон”, — распинался критик. — Что же касается старинных монастырей и храмов, то поэты могут здесь опереться не только на известные уже нам выступления В. Чалмаева, но и на помещенную рядом с чалмаевской “Неизбежностью” редакционную статью “Тысячелетние корни русской культуры”. В ней не без торжественности сказано следующее: “Стоят они, рукотворные свидетели творческого гения, чистые зеркала народных идеалов — могучие и добрые храмы…” Но ничем не оправдано воскрешение и подновление таких настроений…»

«Они» не смолчали, что было логично при подобной полемике. В журнале «Огонек» (1969, № 30) группа писателей-почвенников выступила с отповедью отделу критики «Нового мира» и лично Дементьеву, который при Сталине обвинял в антипатриотизме «“южную” одесскую группу литераторов», а теперь «не упускает случая поиздеваться над всем, что связано с любовью к отчим местам». Подписанты отмечали, что «В. Чалмаев приводит слова В. Розанова, не упоминая его фамилии. А. Дементьев не поленился установить имя цитируемого автора и название его труда…», и напоминали: в самом же «Новом мире» в «Кубике» Катаева «Розанов цитируется с откровенной симпатией».

Принято утверждать: письмо в «Огоньке» было «доносом» на «Новый мир» и подготавливало устранение Твардовского — справедливости ради, это был ответный выстрел…

Да и «новомирцы» следом дали залп по «Огоньку», быстро сверстав в своем журнале редакционную реплику, письменно поддержанную главой Союза писателей Константином Фединым и одобренную Главлитом…

…Закончим справочное отступление, вернемся к «Кубику».

Разгадать «идеологическую чуждость» повести было не так уж и сложно. 18 июня 1969 года в «Литературной газете» появилась статья критика Нины Денисовой «Необычайные метаморфозы в трех измерениях».

Для начала она, словно в каком-нибудь 1930-м какой-нибудь Машбиц-Веров, поставила в вину писателю поэтизацию роскоши: «Тяга к “чуду” необорима, и, как символ ее, возникает на страницах “Кубика” мрачно-торжественный, но вместе с тем словно бы и зовущий, прямо-таки неотразимо притягательный образ игорного дома в Монте-Карло… Но ведь не для того же, воскликнет, пожалуй, иной читатель, понадобилось В. Катаеву продемонстрировать весь блеск своего мастерства, чтобы утвердить правомерность способа существования Месье и Мадам или агрессивность Кубика?!» Собственно, это и восклицание самой Денисовой, выводящей мовиста на чистую воду.

Финальной фразой рецензент объявляла «Кубик» — демонстрацией «мастерства, не одушевленного истинным жизненным содержанием».

11 июля 1969 года в «Литературной России» в статье «Но зачем?..» писатель и критик Вера Смирнова судила еще жестче. «Когда игрою во всевозможные “кубики” занимается юноша, который ищет и не знает, что сказать и как, — это понятно, как болезнь роста. Но в данном случае…» В данном случае Смирнова разглядела матерого недруга: «Почему-то, когда читаешь “Кубик”, все время теряешь ощущение, что перед тобой творение советского человека и коммуниста… И не странно ли читать, что автор говорит про Месье — капиталиста и эмигранта: “Ведь, в сущности, он и был я”… Какое далеко ведущее уподобление!»

А вот Чуковский 17 июня 1969 года, за четыре месяца до смерти, в письме Катаеву называл части, составляющие повесть, «чистейшей классикой»: «Есть люди, для коих “Кубик” — мозаика самодовлеющих образов. Для меня это вещь монолитная, в ней каждая строка подчинена единой лирической теме… У “Кубика”, как и полагается новаторской вещи, есть множество ярых врагов… Признавая высокое качество отдельных страниц, они свирепо возражают против образов, которые “ничему не учат и никуда не ведут”. Этим сектантам я напоминаю, что некий Чуковский сказал в своей книжке “О Чехове”: “Всякий художественный образ, впервые подмеченный, свежий, есть благодеяние само по себе, ибо своей новизной разрушает дотла наше инертное, тусклое, закостенелое, привычное восприятие жизни…” Вся вещь так виртуозно-пластична, что после нее всякая (даже добротная)… проза кажется бревенчатой, громоздкой, многословной и немощной».

Катаев замолчал на несколько лет — он писал новую большую книгу.

«ХАНЖА, КЛИМАКТЕРИК, ПОДАГРИК»

В 1971 году Евтушенко составил письмо на имя Брежнева с давней идеей нового литературного журнала. Его вызвали в ЦК, где завотделом культуры Василий Шауро сообщил: «Мастерская» одобрена. Однако и Катаев, и Вознесенский с Аксеновым теперь разговаривали с ним холодно. Их оскорбило, что он пишет письма главе государства за их спинами. Они решили, что амбициозный «Евтух» хочет подмять издание под себя.

Катаев был мрачен:

— Кто вам поручал обращаться к генеральному секретарю нашей партии, спекулируя нашими именами?

Как рассказал мне Евтушенко, Катаев бросил ему: «Вы Михалков нового пошиба! Поставить нас в тень и захватить власть в журнале!»

Вскоре Евтушенко отправился к новому первому секретарю Союза писателей Георгию Маркову.

— Ну и как же, Евгений Александрович, вы, либералы, собираетесь побеждать нас, бюрократов, если делите шкуру неубитого медведя? За полчаса до вас у меня был Андрей Андреевич Вознесенский…

Марков иронично подвинул бумагу с машинописным текстом: «Мы, нижеподписавшиеся, не имеем отношения к инициативе Е. А. Евтушенко» и подписями Катаева, Аксенова и Вознесенского.

Дома Евтушенко лег к стене лицом и ничего не мог произнести… План, уже подписанный Леонидом Ильичом, пошел прахом.

Волк-учитель, даром, что древний, злой нюх не терял, да и волчата давно уже подросли.

Тогда-то Евтушенко сочинил басню «Волчий суд»:

Однажды три волка
по правилам волчьего толка
на общем собранье
судили четвертого волка
за то, что задрал он, мальчишка,
без их позволенья
и к ним приволок, увязая в сугробах,
оленя.
Олень был бы сладок,
но их самолюбье задело,
что кто-то из стаи один

совершил это дело.
Для стаи, где зависть —
как будто бы шерсть на загривках густая,
всегда оскорбленье —
победа без помощи стаи.
У главного волка,
матерого хама, пахана,
угрюмая злоба
морщинами лоб пропахала.
Забыв, что олень был для стаи
нежданный подарок,
он вдруг возмутился,
ханжа[149], климактерик, подагрик.
Талантливый хищник,
удачи чужой он не вынес.
Взрычал прокурорски,
играя в святую невинность…

«Евтушенко полагает, что это и было начало пожизненного конфликта с “некоторыми ровесниками”. Впереди было еще много общего, но прежней близости уже не было», — писал поэт и критик Илья Фаликов.

Фаликов называет «публичным обменом любезностями» написанную тогда же «Песню акына» Вознесенского:

И пусть мой напарник певчий,
Забыв, что мы сила вдвоем,
Меня, побледнев от соперничества,
Прирежет за общим столом.

Александр Гладков 5 ноября 1971 года писал в дневнике: «Лева [Левицкий] рассказал о том, как Катаев, Аксенов и Вознесенский написали письмо в ЦК, дезавуирующее Евтушенко, который предлагал их в редколлегию нового журнала».

«Мы сидели втроем с Аксеновым и Гладилиным в “пестром зале” Дома литераторов, — вспоминал писатель Аркадий Арканов, — появился Евтушенко в крайне возбужденном состоянии (видимо, хлопнул пару фужеров шампанского) и закричал на весь зал: “Слушайте все! Вот сидят Аксенов и Гладилин, это павлики Морозовы! Вы предатели! Вы антисоветски настроенные элементы!”».

«Еще мерещился образ нового журнала, юнее “Юности”, — писал Аксенов, — некая гулкая лестница с эхом новых метафор;

процесс разъединения, однако, шел все ускоряющимся темпом, и лестница в конце концов была просто облевана».

«РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ»

«Гулял по Переделкину, вспоминал разные события своей жизни и решил написать их в той последовательности, в какой они приходили мне на память…» — объяснял Катаев возникновение новой вещи.

Детская писательница Мария Прилежаева в 1972 году в «Литературной газете» приводила свой разговор с Катаевым о книге «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона».

«— Роман будет переписываться заново от первой до последней страницы. Триста с лишним страниц.

— Вы пишете от руки?

— Только. Потом переписываю. Исправляю. Дорабатываю. Второй раз переписываю обязательно. Иногда трижды. А то и больше».

Роман вышел в 1972 году в «Новом мире» (№ 7–8) — «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона». Около трехсот новелл — эпизодов из детства, рассказ о себе маленьком, адресованный любимой внучке.

Многие не понимали названия, считали кокетством. Но Катаев (поздний целиком) про это — бесконечные поражения в борьбе с беспощадным временем.

И все же остается воскрешение испарившегося прошлого: чем оно удаленнее и чем ярче восстановлено, тем злее поединок, тем острее надежда хоть в чем-то сохраниться…

«Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» — сказочная книжка из катаевского детства с рыцарем или королем на обложке. Может быть, его рог поможет собрать осколки и склеить «византийскую мозаику»?

Валентин Петрович постоянно возвращался к детству. Уже в 1918-м, как говорится, едва оперившись, он дал жанровое определение «Из воспоминаний детства» рассказу «Святки у покойников», напечатанному в журнале «Весь мир». Во взрослом «Времени, вперед!» один из наиболее частых эпитетов — «детский». Даже сказки как будто сочинял для себя. Предположу, что самые трогательные сцены в любой его недетской книге связаны с детством. Чего стоит, например, в повести о Ленине визит к одесскому доктору Дюбуше, когда после неудачного вязания стальной крючок попал маленькому Вале в указательный палец.

В «Разбитой жизни» подробно и прекрасно прорисован мир, увиденный не только одиннадцатилетним, но и трехлеткой. Невероятная памятливость на мельчайшие детали или

бесподобная реконструкция?.. Простейшие элементы быта, обыденные развлечения детворы стали колдовскими слагаемыми поэмы в прозе. Он не только смог передать восторг первооткрывателя, но, кажется, потому и смог, что этот восторг не остыл за всю длинную жизнь.

Золочение ореха для рождественской елки; чемпионат по «французской борьбе» на цирковой арене, выступления там же японца-атлета; летние роликовые коньки и зимние, для катка; лечение зуба у властного доктора Флеммера; игрушечный, раскладной и настоящий городской театры; собственный фотографический аппарат, своя мандолина и домашний микроскоп; физические и химические опыты, завершающиеся кошмаром, когда от гибели спасают только «волосяные водоворотики» двух макушек; смерть дяди, смерть бабушки, рождение братика; ипподром, откуда полетел на аэроплане прославленный борец Иван Заикин; «циклодром», где всех обогнал на велосипеде великий авиатор и гонщик Сергей Уточкин; вылазки с приятелем тайком от взрослых на другие земли Новороссии: к турецкой крепости Аккерман, в город Николаев; безуспешная ловля воробьев на водку; две гаванские сигары, зарытые в «клад» на глиняном обрыве; слон Ямбо, сошедший с ума от разлуки со слонихой в балагане на Куликовом поле…

Одесса театров, храмов, училищ, Александровского парка, легендарных зданий и памятников, прогулок и, конечно, повсеместной бойкой торговли, хотя бы на Дерибасовской, где «молодые нервные евреи в куцых лапсердаках, подпоясанных веревкой, бегали в толпе с книжками в руках, выкрикивая: “Что делает жена, когда мужа дома нема…”».

И наступающий прогресс — демонстрация живой фотографии (то есть кино) в юнкерском училище, появление беспроволочного телеграфа, восхитившее родителей, первые автомобили, возмутившие обывателя.

Роман — отчасти ремейк «Паруса», но без партийного довеска. Наоборот, европейский город великой России — это вечный праздник, шмелевское Лето Господне («духовой оркестр грянул вальс, ветер пробежал по трехцветным флагам на белых флагштоках»), а «перемены» надвигаются дыханием ада. В 1910-м рядом с Землей прошла комета Галлея, призрак отложенного апокалипсиса…«И все же какая-то тревога осталась в моей душе»… Он предчувствовал «катастрофу», а потом услышал о приближении кометы Биэлы — «еще более страшной, чреватой войнами и революциями». Вся книга пропитана трепетом близкого изгнания из рая… «Чувствовал ужас от чего-то

незаметно надвигающегося на нашу землю, на всех нас, на папу, тетю, Женю, меня, и я молил Бога, в которого тогда еще так наивно, по-детски верил, чтобы мое “чело клеймо минуло роковое”. И он услышал меня». То есть удалось выжить…

Православно-монархический настрой окружавшей среды показан без утайки: здесь и посещение «гимназической церкви во имя святого Алексея, ангела-хранителя наследника цесаревича Алексея, маленького сына государя императора, будущего владыки Российской империи», и «директор и дамы-патронессы в белых атласных платьях, скроенных вроде русских сарафанов, с бело-сине-красными ленточками розеток Союза русского народа»…

Катаевы сдавали комнату, и однажды туда въехали «две средних лет неприятные дамы». Когда Петр Васильевич робко спросил у них документы, постоялица ничего ему не показала: «Жгуче-черные волосы на ее голове были гладко причесаны, отчего голова казалась слишком маленькой, а на затылке был тяжелый узел. Черный шнурок пенсне, по-мужски заложенный за большое ухо, делал ее еще более сердитой и неприятной… Другая жиличка в это время лежала на кровати, укрывшись старым шотландским пледом, и, отвернувшись к стене, читала какую-то брошюру в декадентской обложке с социал-демократическим названием». Потом квартирантки смылись, городовой и околоточный надзиратель опоздали, а Валя нашел «складненький патрон от браунинга, закатившийся под кровать».

А еще была превосходная рождественская елка в епархиальном училище, состоявшаяся, несмотря на слухи, что «смутьяны» бросят бомбу… А еще однажды отца покусала собака, оставив «глубокие сине-красные следы» и «раны, сочащиеся кровью», и казалось, что она бешеная. «Примерно в одну из этих лунных ночей пришло известие, что в Киеве убит Столыпин», и для мальчика слились «эти два события — собака, покусавшая папу, и убитый выстрелом из браунинга в печень в киевском театре на глазах государя императора Столыпин». А между тем «это происшествие нанесло мне такую глубокую душевную рану» — укусы? или выстрел Богрова? — «что я до сих пор чувствую какую-то безумную, ни с чем не сравнимую сердечную боль…».

Кстати, тогда же, в сентябре 1911 года, Василий Розанов писал: «Россия, покачнувшись, не может не схватиться за сердце… Натиск бешенства, укусы бешеного животного…»

А вообще, основные герои книги — море, небо, солнце, луна, звезды, ветер, растения… И вещи. Вещи (особенно — наряды) даже виднее, чем люди. Автор-профи, как бывалый модельер, показывает осведомленность в тонкостях ткани:

Валя приходит в храм в «коломянковых летних штанах», и ему вытирают рот «красной канаусовой салфеткой»…

А главная боль содержится в самом конце — смерть матери. Страшная и пронзительная только что при перечитывании опять заставившая прослезиться, глава «Черный месяц март» идет в завершение, но траурно отражена во всей книге, другие главы как бы подготавливают ее. Уже в 1975-м в письме Аксенову Катаев сообщал, что этот отрывок из собственной прозы ему нравится больше всего.

Система не считала Катаева врагом, но он задевал поздними двусмысленностями, фокусами и вольностями.

Официоз игнорировал его «поиски стиля»: редкие рецензии в прессе, и снова седая пелена умолчания. (И огромная популярность среди читателей.) К 75-летию правление Союза писателей направило ему приветствие, но конкретное перечисление «этапных произведений творческой биографии» начиналось «Временем, вперед!», а обрывалось повестью о Ленине.

В 1973-м у 76-летнего Валентина Петровича при обследовании случайно обнаружили онкологию — кишечную опухоль. Врачи и домашние сказали ему: полип. В больнице, «кремлевке», перед операцией он был весь серый и обо всем, конечно, догадывался, но родные старательно разыгрывали веселье. И так никогда ему и не сказали, что на самом деле вырезал хирург…

Тогда же в восьмом номере «Нового мира» появился рассказ «Фиалка». В подмосковный интернат персональных пенсионеров к бывшей жене Екатерине Герасимовне приезжает старик Иван Николаевич Новоселов. «Последние месяцы, особенно после операции, его беспрерывно мучила мысль, что он может умереть, не получив от нее прощения». Врачи разрезали его, зашили, «ничего опасного не обнаружили, разрешили ходить», но он понимает, что дело худо.

Когда-то он предал ее, ту, на которой женился по расчету, и в итоге его лишила всего та, на которой он женился по любви.

И вот теперь, нищий, смертельно больной, он ведет разговор с прославленной большевичкой и вдруг начинает вспоминать обманутую: «Она была так прекрасна! — прибавил он со слезами на глазах». А потом молит:

— Прости меня, Катя. Ведь Христос велел прощать своих врагов.

Но бывшая жена непреклонна…

И он уходит от нее умирать.

На первый взгляд моральная правота на стороне

твердокаменной старушки, а Новоселов подлец. И все же это рассказ о трагизме, уравнивающем всех, и одиночестве, странно сближающем двух навсегда разделенных людей. Стоило чуть изменить ракурс, и «принципиальная» бабушка становилась все той же «девушкой из партшколы», непреклонно несущей смерть «врагам революции»… О жестокость жизни!

(Летом 1976 года состоялась премьера телеспектакля Малого театра Союза ССР по этому рассказу. Сценарист — сам автор.)

8 апреля 1974 года Катаев приехал в Одессу на тридцатилетие освобождения города. Он рассказал журналисту Розенбойму, что очень обрадовался, когда его пригласили, и попросился жить в дорогих его памяти «Лондонской» или «Бристоле» (тогда «Красной»), но вместо этого поселили в новой гостинице «Черное море». «С его мнением не посчитались, — сказала мне Евгения Катаева, — а для отца существовала только старая Одесса». Девушка-регистратор протянула бумагу, извещавшую, что он должен освободить номер 11 апреля до полудня. Катаев молча поставил подпись. 9 апреля он пошел в гости к Женьке Дубастому, и вместе они отправились на Княжескую улицу (переименованную в Баранова), на которой жил когда-то Бунин. Это был прощальный привет невозвратному времени.

Тем же вечером Катаев покинул Одессу и больше сюда не приезжал.

Иногда он впадал в экстаз отречения от мест, навсегда связанных с сущностью его личности и литературы. «Вы не тоскуете по югу?» — спросил у Катаева прозаик Аркадий Львов. «При чем здесь тоскую не тоскую! — вскинулся он. — Я недавно перечитывал “Белеет парус одинокий” и сам удивлялся себе: что особенного я находил в этих одесских берегах! Просто глина, обыкновенная желтая глина, голые берега… Негостеприимное море… На всем Средиземном море вы не найдете такого унылого берега, как возле Одессы».

«Представляете, — в конце жизни рассказал он литератору Борису Галанову, — вечером отодвинул занавеску и вдруг за окном кабинета, среди моих переделкинских сосен и елей, увидел пятнистый ствол одесского платана. Стоит неподвижно, и на каждой его ветке ярко горят восковые свечи. Не знаю, откуда он тут взялся! Утром подошел к окну: пусто».

КАТАЕВ И СОЛЖЕНИЦЫН

Когда в 1962 году «Новый мир» напечатал «Один день Ивана Денисовича», Чуковский записал, что встретившийся ему в Переделкине сосед назвал повесть фальшивой, спросив про героя: «Как он смел не протестовать хотя бы под одеялом?»

Знаешь как — покажи. Хотя Катаев показал… Не только теми злыми репликами, которые бросает заключенный в рассказе из сборника «История строительства» о Беломорканале. Много позднее «новомирского» Солженицына, но в том же журнале, в прошедшем советскую цензуру «Вертере» ждущие расстрела одновременно жадно ждут врангелевского десанта.

«Здесь характерная аберрация, — замечает критик Юрий Арпишкин, — Чуковский говорит о том, что в повести написана правда, а Катаев о том, что не во всякую правду можно поверить. Кроме того, он был уверен, что человек свободен всегда, пусть и только под одеялом. В этом заключалась его выстраданная гармония во взаимоотношениях с реальностью».

Чуковский размашисто добавлял: «Теперь я вижу, как невыгодна черносотенцам антисталинская кампания». Гнев не по адресу, а термин как минимум неточный. Какой из Катаева в то время черносотенец? Или Корней Иванович видел юношеские стихи соседа? Или Катаев сказал ему еще что-то, что не попало в дневник?

(Впрочем, потом для многих «черносотенцем» сделался и Александр Исаевич…

В связи с «разочаровывающим» Солженицыным и «Вертером» в 1971 году самиздатовский автор диссидент Марк Волховской (псевдоним будущего радикал-либерального политика Михаила Молоствова) утверждал, что Катаев «потрафил настроению, которое подогревает и формирует» Александр Исаевич: «Все беды наши-де навеяны ветром с Запада. Русский народ попал под марксизм, навязанный ему евреями, латышами, китайцами, венграми с помощью немецких денег и дезорганизаторской деятельности “образованщины”».)

17 декабря 1962 года на встрече с Хрущевым Катаева среди прочих распекали за поддержку выставки авангардистов в Манеже. Зато в противовес «диверсантам буржуазии» похвалы главы государства за свой лагерный рассказ («Как Иван Денисович раствор сохранял — это меня тронуло») удостоился присутствовавший Солженицын, которому пришлось даже встать под аплодисменты и раскланяться в разные стороны.

28 декабря 1963 года «Новый мир» и Центральный гос-архив

литературы выдвинули Солженицына на соискание Ленинской премии. «Присудят — хорошо. Не присудят — тоже хорошо, но в другом смысле. Я и так, и так в выигрыше», — бросил он Владимиру Лакшину. Александр Исаевич добрался до самого финала, но все же премии не получил. Напомню, в конце 1961-го на эту же премию был выдвинут Катаев, и его тоже прокатили.

По свидетельству Анатолия Рыбакова, Катаев сказал ему про Солженицына: «Дали бы ему Ленинскую премию за “Ивана Денисовича”, служил бы верой и правдой, никаких бы хлопот с ним не имели». Так полагали многие.

В 1964 году Солженицын издал свои «Крохотки» в самиздате. В 1965-м его книги вышли в США и Германии. В 1966-м он развернул активную общественную деятельность — выступления, интервью иностранцам, появились в самиздате романы «В круге первом» и «Раковый корпус».

В мае 1967-го он написал и разослал по почте 250 адресатам «Письмо съезду» Союза писателей, немедленно опубликованное на Западе и, как считается, подогревшее «весенние страсти» в Чехословакии. Солженицын обличал «то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь».

Считается, что именно после «Письма», получившего одобрение изнуренных давлением писателей, Солженицын стал восприниматься властью как серьезный противник.

Катаев (который, как мы помним, на встрече с американцами в ЦДЛ на вопрос о цензуре произнес табуированное слово «Главлит») решил не отмалчиваться.

Он действительно считал, что ключевой тезис Солженицына — творческая свобода — не несет стране разрушения, а может ее только укрепить, избавив от множества внутренних проблем и постоянных нападок извне.

Так родилась телеграмма, написанная в Переделкине, которую Павел Катаев отвез в Москву и отправил с Центрального телеграфа.

«Москва, Кремль

Президиуму Съезда писателей

Дорогие товарищи, не имея возможности по тяжелым семейным обстоятельствам и состоянию здоровья присутствовать на съезде, довожу до вашего сведения, что считаю совершенно необходимым открытое обсуждение съездом известного письма Солженицына, с основными положениями которого я вполне согласен.

Делегат Съезда, член Президиума Валентин Катаев».

Тогда же Корней Чуковский, радушно принявший в Переделкине Солженицына и прочитавший «Письмо», назвал в дневнике эти призывы к свободе «безумными»: «Государство не всегда имеет шансы просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду. Если бы Николаю I вдруг предъявили требование, чтобы он разрешил к печати “Письмо Белинского к Гоголю”, Николай I в интересах целостности государства не сделал бы этого… Возникнут сотни Щедриных, которые станут криком кричать о Кривде, которая “царюет” в стране…»

IV съезд Союза писателей СССР открылся в Москве 22 мая, письмо Солженицына не оглашалось, но в июне встретившиеся с ним руководители СП утешительно пообещали публично опровергнуть «клевету» подвергавших сомнению его участие в войне и рассмотреть вопрос о печатании «Ракового корпуса».

Солженицын стал вынашивать второе письмо. И за поддержкой отправился к Катаеву.

Вениамин Каверин свидетельствовал: «Однажды (это было на даче К. Чуковского), когда мы обсуждали, кто мог бы поддержать его новое письмо, он вдруг назвал В. Катаева (!), а когда я предупредил его, что хозяин может спустить его с лестницы, все-таки пошел к нему — и был, против ожидания, принят любезно».

Да, Катаев высказал «теленку» симпатию и одобрение на этом этапе бодания с «дубом». Вдобавок в личном общении он никогда не придавал значения политической позиции собеседника.

Разумеется, Каверин как истинный «прогрессист» стал выговаривать Солженицыну за «неразборчивость». В ответ Солженицын, записал Каверин, «отшутился»…

В дневнике летом 1967 года «новомирец» Алексей Кондратович приводил слух об отдельном письме Катаева («может быть им и пущенный»), направленном прямиком Суслову: «Смысл письма таков, что мы старые люди и понимаем, что из всех живущих сейчас писателей Солженицын — самый крупный. А обсуждение его передают на секретариат, где ни одного серьезного писателя или человека… Удивились, что писал Катаев».

Существование такого письма подтвердил в своем дневнике Александр Гладков: «Н. П.[150] показал мне письма В. Катаева Суслову и Антокольского Демичеву в защиту Солженицына, очень категоричные и страстные, особенно письмо Катаева».

В новом послании на этот раз секретарям Союза писателей 12 сентября 1967 года Солженицын грозил «неконтролируемым появлением на Западе» его «Ракового корпуса», который хотел, но не мог опубликовать Твардовский. Многие из собравшихся на заседании секретариата выступали за то, чтобы напечатать

повесть, то и дело возвращаясь к одной из ее идей — «нравственному социализму», но в итоге Солженицыну рекомендовали отмежеваться от «кампании, поднятой недружественной зарубежной пропагандой». Вскоре «В круге первом» и «Раковый корпус» вышли на Западе. 4 ноября 1969 года Александр Солженицын был исключен из рязанской организации Союза писателей. В западных изданиях появились заявления ведущих литераторов о «преступлении против цивилизации» и «варварстве». 8 октября 1970 года (то есть через восемь лет после дебюта в «Новом мире») Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе.

Одновременно закончился и «Новый мир» Твардовского. Его поэма «По праву памяти», вымаранная цензурой из журнала, неожиданно появилась в западноевропейской прессе под заглавием «Над прахом Сталина». Теперь власть решила избавиться от Александра Трифоновича — первым замом главреда был назначен незнакомый ему журналист Дмитрий Большов, а редакция была расформирована. 9 февраля 1970-го Твардовский покинул свой пост. Он умер 18 декабря 1971 года. Катаев продолжил печататься в «Новом мире» и дальше — и при Валерии Косолапове, и при Сергее Наровчатове, и при Владимире Карпове.

Председатель КГБ Юрий Андропов в записке политбюро предлагал «предоставить Солженицыну право убежища» и устроить встречу академика Сахарова с «одним из руководителей Советского правительства»: «Мало надежды на то, что в результате такой беседы Сахаров изменит свое поведение (он болен, сломлен своим окружением, находится в состоянии экзальтации)». 31 августа 1973 года в «Правде» в продолжение «письма академиков» появилось писательское заявление «О Солженицыне и Сахарове», подписанное Михаилом Шолоховым, Чингизом Айтматовым, Василём Быковым, Сергеем Залыгиным, Константином Симоновым, и в том числе — Катаевым, с осуждением «клевещущих на наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства и по существу призывающих Запад продолжать политику “холодной войны”».

7 января 1974 года на политбюро решался вопрос о «пресечении антисоветской деятельности» Солженицына (после того как в декабре 1973-го первый том книги «Архипелаг ГУЛАГ» вышел в Париже в издательстве «YMCA-Press»). «Он пытается создать внутри Советского Союза организацию, сколачивает ее из бывших заключенных, — докладывал Андропов. — У нас в стране находятся десятки тысяч власовцев, оуновцев и других

враждебных элементов». 12 февраля Солженицын был арестован и 13 февраля доставлен на самолете во Франкфурт-на-Майне.

15 февраля 1974 года в «Правде» Катаев прощался с Александром Исаевичем железным слогом: «Смерть любого человека всегда тягостна для окружающих людей, тем более гражданская смерть человека, отпадение его от общества, от государства. Однако с чувством облегчения прочитал я о том, что Верховный Совет СССР лишил гражданства Солженицына, что наше общество избавилось от него. Пользуясь терпением народа, партии, вопреки нашей надежде, что в нем наконец заговорит совесть, Солженицын вступил в борьбу с Советской властью — борьбу, которая рекламировалась им как открытая, прямая, а на самом деле была подрывной и велась подпольными методами: методами “пятой колонны”. Люди моего поколения, прошедшие со страной весь сложный, трудный — с громадными жертвами, — но славный и героический путь от Октябрьской революции до наших дней, могут сказать только одно: никому не позволим подрывать основы советской государственности. Поэтому гражданская смерть Солженицына закономерна и справедлива».

Вслед за этой публикацией в переделкинском доме раздался звонок. «Какой-то Суслов», — сообщила домработница… Катаев взял трубку. «Главный идеолог» благодарил.

Бенедикт Сарнов вспоминал: «Наутро, когда указ о “выдворении” был объявлен, у меня прямо камень с души свалился» и добавлял, что среди множества публикаций отклик Катаева на это событие «слегка выделялся». Прочитав катаевское «с чувством облегчения», он «подумал, что наверняка Валентин Петрович этим казенным способом выразил то, что чувствовал на самом деле… А поскольку “чувство огромного облегчения” было тем самым чувством, которое испытал и я, узнав, что А. И. уже в Германии, у Бёлля, — мне показалось, что Валентин Петрович почувствовал (и хотел выразить) именно это. А может быть — кто знает! — так оно на самом деле и было?».

Семен Липкин, гулявший по Переделкину со своей женой Инной и Катаевым, однажды спросил напрямик:

— У вас есть слава, любовь читателей, вы богаты, чего же вам еще надо от государства?

«Он вспыхнул:

— Меня Союз писателей ненавидит — все эти напыщенные Федины, угрюмо-беспомощные Леоновы, лакейские Марковы, тупорылые Алексеевы и прочие хребты саянские[151]. Они знают, что я презираю их, и я спасаюсь, подчеркивая свою официальную преданность власти. И не забудьте, я член партии.

— А для чего вы в нее вступили? Вы ее любите? Вы марксист-

ленинец?

Он продолжал, не отвечая на мой вопрос, волновался:

— Иначе мне житья не будет…»

Прервем цитату. «Житья не будет» — откуда это въевшееся в плоть ожидание? Не из 1920-го ли еще года, когда едва не отобрали жизнь?

«…Вы не знаете, как трудно печатались мои лучшие вещи, каждая встречалась отрицательными статьями влиятельных критиков. В сталинское время было страшно. Да вот и теперь не понят “Алмазный мой венец”, клюют, щиплют.

— Я вам сочувствую, но вы платите дорогой ценой. Например, своей подписью под требованием выслать из страны Солженицына, великого русского писателя.

— Он не великий. Он хороший писатель. Хороши “Один день Ивана Денисовича”, “Матренин двор”. Дальше пошло хуже, просто плохо…

— Как может писатель требовать, чтобы власть выслала собрата по перу за пределы родины? Поступили бы так Короленко, Чехов, Бунин? Иногда мне кажется, что вы не понимаете величину своего таланта, унижаете его.

— Какой я талант, я средний писатель. Собирают ареопаг. Один из секретарей предлагает, чтобы КГБ снова бросил Солженицына в концлагерь. Выступает Расул Гамзатов, советует выдворить Солженицына за границу. Я, жалея Солженицына, присоединяюсь к хитрому горцу. Все-таки жизнь вашего гения была спасена».

Понятно, что судьбу Солженицына решали не писатели, а партийное начальство…

Но Павел Катаев подтверждает тогдашнюю логику отца: он одобрял высылку как единственную возможность избежать заключения.

ГАЛИЧ И ЧУКОВСКАЯ: ДВА ИСКЛЮЧЕНИЯ

Запреты, гонения, изгнания… И роль Валентина Катаева. Разная, двоящаяся, мерцающая…

29 декабря 1971 года дело Александра Галича обсуждали на заседании Секретариата Московской городской организации Союза писателей.

Знаменитый и успешный советский драматург и сценарист, лауреат премии КГБ СССР, оказался резким фрондером. Еще в 1968-м его вызвали на Секретариат Союза писателей и серьезно предупредили после выступления в Новосибирском академгородке с песнями «Промолчи — попадешь в первачи!», «Мы — поименно! — вспомним всех, кто поднял руку!», «Смеешь выйти на площадь…». Галич обещал больше не выступать «публично», но продолжал петь в компаниях, кассеты расходились по стране. В 1969 году во Франкфурте-на-Майне в издательстве «Посев» вышла первая книга его песен.

Тогда же в «Посеве» издали поэму Твардовского, напомню, стоившую ему «Нового мира».

Согласно легенде, вопрос о Галиче поднял в кругу соратников член политбюро Дмитрий Полянский, осенью 1971-го услышавший из магнитофона:

А ночами, а ночами,
Для ответственных людей,
Для высокого начальства
Крутят фильмы про б…

Песни Галича были вполне себе политически заряженными, хотя в письме в секретариат и на заседании он оборонялся: неправильно поняли, написано было «в состоянии раздражения и запальчивости», ни в какой комитет Сахарова не вступал… («И на жалость я их брал и испытывал, / И бумажку, что я псих, им зачитывал».) И все же спустя три с половиной года после первого предупреждения сатрапы-секретари решили следовать правилам своего союза.

При чтении стенограммы того заседания выясняется, что все как один в самых суровых выражениях порицали «антисоветчика» за «двурушничество» и требовали его немедленного исключения, пока не пришел черед говорить Катаеву.

«Это дело очень сложное, серьезное, и я, например, глубоко ранен этой историей… — Катаев даже вспомнил: когда-то за

социальную сатиру прессовали самого Демьяна Бедного. — Я товарища Галича совершенно не знал как автора стихов и песен, об этом я первый раз слышу. Но я Галича знаю как великолепного драматурга, очень полезного человека для нашего кинематографа… Потом где-то появляются его песни. Надо было разобраться, где его, где вычеркнуто, где подделано… Будем более разумными… Я прошу Секретариат дать ему еще один шанс исправиться, потому что мы потеряем очень хорошего мастера кино и театра».

Выступление — адвокатское на фоне предыдущих — прокурорских… Теперь стало доставаться и Катаеву. Следующий оратор писатель Иван Винниченко так и начал: «Валентин Петрович говорил, что перед нами сложный случай… Случай этот не сложный, а простой и ясный…» — и обвинил Галича в «садистском наслаждении издеваться над советским народом». Дальше говорил Николай Грибачев: «Я бы согласился с Валентином Петровичем, если бы не… — и пошел изобличать. — …После этого хочется помыть руки, и не понимаешь, как человек с писательским билетом может дойти до такой жизни, когда эта пошлость, эта брань, нецензурность, развязность прет из каждой строки, из каждой щели…» Потом слово взял Александр Рекемчук, один из немногих согласившийся с Катаевым, но в довольно причудливой форме: «Валентин Петрович, я в отличие от вас ознакомился со всеми материалами по персональному делу товарища Галича… Должен сказать, что все это отвратительно». Обнаружив «какое-то удивительное свойство автора проституировать свое литературное дарование», он назвал его слушателей «аудиторией подонков». Драматург Алексей Арбузов, долгие годы работавший с Галичем, признался: «Я провел одну из самых тяжелых ночей в своей жизни. Я не знаю, как сложится ваша судьба, но мне ясно одно: вы должны, вы просто обязаны уничтожить прежде всего этот образ, который вы себе присвоили» и посетовал: «Я, наверное, не могу поднять руку и проголосовать за ваше исключение, потому что я слишком много помню из того, что было». И опять один за другим выступали изобличители, пока не вступилась поэтесса Агния Барто: «Я думаю, что согласилась бы с Валентином Петровичем, ради того, чтобы не марать чести Союза писателей, проявить еще некоторое великодушие, с одним непременным условием — если бы товарищ Галич сейчас сказал, что ему необходимо выступить с протестом против того, что вы сидели 20 лет, и с заявлением, что стихи это не ваши» (имелась в виду легенда, будто бард провел два десятка лет в «сталинских лагерях») и добавила: «Независимо от того, будет он членом Союза или не будет, но он должен так

сделать».

Вмешался секретарь по оргвопросам генерал КГБ Виктор Ильин: «Мы уж очень великодушно и либерально рассматривали на заседании Секретариата СП в 1968 году дело Галича. Мы именно его под таким углом и рассматривали, Валентин Петрович, к которому вы призываете нас сейчас». — «К сожалению, я тогда там не был», — подал реплику Катаев. «Почему “к сожалению”? — срезал Ильин. — Я пользуюсь вашим присутствием здесь, чтобы сказать вам, что именно под этим углом мы рассматривали и обсуждали персональное дело товарища Галича…» — и сообщил, что «лично практически соприкоснулся» с «политическим двурушничеством» еще в «ходе борьбы с троцкистской оппозицией», намекнув, правда, на девять лет, проведенные в заключении после того, как в 1943-м его арестовал личный враг, начальник военной контрразведки Абакумов: «Некоторым из нас, в том числе и мне, пришлось пережить действительно трудные времена, но вы-то здесь при чем?»

«Сидишь и думаешь, что это дурной сон, — подхватил критик Николай Лесючевский. — Мы сегодня столкнулись с такой пакостью в человеческом обычном смысле, с такой пакостью… В какой ванне можно отмыться, прикоснувшись к этой грязи? Вы говорили о Демьяне Бедном, — обратился он к Катаеву. — Зря вы сгоряча сказали, потому что не очень приятно сравнивать эти две фигуры… Давайте еще великодушие проявим? По отношению к Галичу мы проявим великодушие, а по отношению к народу, нашему обществу не просто великодушия, а даже души не будем проявлять?» Писатель Аркадий Васильев, до того считавший Катаева «литературным авторитетом», предположил, что он «не знает всей глубины падения товарища Галича… Он забрался на постамент славы сомнительного барда, думал, что постамент из мрамора, а он оказался из грязи».

Стали голосовать. По стенограмме из двадцати секретарей двое (Рекемчук, Арбузов) воздержались, двое (Катаев, Барто) голосовали против исключения.

Рекемчук вспоминал: «Четверо секретарей проголосовали против его исключения: Агния Барто, Алексей Арбузов, Валентин Катаев и я. Но его все равно исключили. И потом, уже выдавленный *за бугор,* он не раз — на публике, на сцене, с гитарой, с явным удовольствием — перечислял эти четыре фамилии… По команде с Лубянки нас, четверых, травило гэбэшное охвостье, прикинувшееся “диссидой”».

Как бы то ни было, Галич был исключен. По словам Рекемчука, заседание, вероятно, прослушивалось, поэтому

руководителя Московской писательской организации Сергея Наровчатова вызвали к первому секретарю столичного горкома партии Виктору Гришину. Вернувшись, Наровчатов потребовал исключить единогласно, но процедуру переголосования не провел, а просто записал в итоговом протоколе формулировку, нужную партийному начальству. 17 февраля 1972 года Галича исключили и из Союза кинематографистов, куда 30 марта приняли Владимира Высоцкого.

В июне 1974-го Александр Аркадьевич покинул СССР. Он погиб 15 декабря 1977 года в Париже от удара током.

9 января 1974 года из Союза писателей исключали литератора Лидию Чуковскую. Ей ставили в вину публикации за границей, участие в радиопередачах «Би-би-си», «Голоса Америки» и «Немецкой волны» и статью «Гнев народа» в поддержку Солженицына и Сахарова (о «палачестве» советской системы и «подлинном гневе» народа, который однажды, быть может, всех «утопит в крови, без разбора»).

В своих воспоминаниях она приводит задевшую ее реплику присутствовавшего на заседании секретариата Катаева, на которую сразу и не нашлась, что ответить: «Я хочу поставить один вопрос: о порядочности. Вот уже года два она вступила в борьбу с Советским Союзом и с Союзом писателей. Почему она сама не вышла из Союза? Этого требует элементарная порядочность, которая ей, как видно, несвойственна».

Почему тут он не призывал к милосердию? Не видел литературных заслуг? В общем, так вот он захотел: приехать в Москву и пригвоздить переделкинскую соседку, бок о бок с которой жить и по одной улице гулять. Высокая принципиальность? Давние счеты? Или простейшее понимание, что второй раз «особое мнение», как в случае с Галичем, не пройдет и устав Союза писателей обязателен для всех его членов?

Одно более или менее понятно: Катаев считал, что у государства есть ясные правила устройства, каждый вправе мириться с ними или бороться, но в таком случае надо быть готовым платить за эту определенную цену. Здесь вспоминается его фраза, брошенная сыну Павлу: «Если бы я ненавидел советскую власть так, как ты, я бы взялся за оружие».

Галич до конца жизни остался благодарен своему защитнику Катаеву.

До конца жизни не забывала «благодеяние» Катаева Чуковская.

В 1976 году после избрания Валентина Петровича членом-корреспондентом Академии Гонкуров Лидия Корнеевна прислала заметку в парижскую «Русскую мысль», приводя слова Пастернака

о Катаеве из личного письма двадцатилетней давности и таким образом, по ее мнению, опровергая возглас «Мертвые не возразят».

9 августа 1980 года она писала своему другу поэту Давиду Самойлову, назвавшему катаевскую повесть «Уже написан Вертер» «преотвратной прозой»: «Катаева я уж давно не читаю. Даже когда он не лжет, не клевещет и не антисемитничает (и не исключает меня из Союза), он — мертв. Этакий очень талантливый мерзавец. Зачем его читать? Я к нему вполне равнодушна, пусть хоть на голову станет — не оглянусь». 25 ноября 1982-го Самойлов возвращался к теме соседа Чуковской: «У него с фразой все в порядке. И вообще все в порядке — и построение, и сюжет, и лица. Но как будто внутри всего этого подохла мышь — так несет непонятной подловатиной». «Я считаю, что Ваше определение гениально, — отвечала Лидия Корнеевна 20 декабря. — Я смеялась до слез, до судорог, сидя у себя в комнате одна. Какая у Вас точность удара!»

Чем-то эта едкая переписка напоминает фейсбучные посты и комментарии прогрессивных заединщиков, посвященные очередному «нерукопожатному».

«КЛАДБИЩЕ В СКУЛЯНАХ»

В1973 году Катаев стал членом-корреспондентом Майнцской академии (ФРГ).

Прозаик Александр Рекемчук вспоминал, как в 1974 году просил его продолжить пребывание в Секретариате Московской организации Союза писателей.

«Впервые он смотрел на меня отчужденно — сверху вниз, ведь он был очень высок ростом, — почти враждебно, жестко, поджав тонкие губы.

Наконец губы шевельнулись:

— Послушайте, Рекемчук… Мне осталось пятнадцать минут.

Что? Я обмер, похолодел…

Сгорбясь, он наклонился к моему лицу и, уставив глаза в глаза, договорил тихо:

— И все эти пятнадцать минут я буду писать!

Развернулся и пошел к двери».

Через несколько дней Катаев все же согласился и остался одним из секретарей.

Гладилин вспоминал, что спросил по поводу секретарства:

«— Валентин Петрович, зачем вам это нужно?

— Толя, — ответил Катаев, — посмотрите, на даче забор обвалился, уголь не привозят, и потом, они обещали, что будут крайне редко меня беспокоить».

24 сентября 1974 года свершилось — получил Героя Социалистического Труда.

Героями стала большая группа литераторов — «проверенных товарищей»: Расул Гамзатов, Микола Бажан, Григол Абашидзе, Вадим Кожевников, Георгий Марков, Николай Грибачев.

Сообщение о присвоении Катаеву этого звания пришло одновременно с информацией о том, что студия имени Довженко начала в Одессе съемки многосерийного телевизионного фильма «Волны Черного моря» по его тетралогии.

В разговоре с прозаиком Аркадием Львовым Катаев будто бы хвастливо настаивал: для других награжденных «это была лишь счастливая случайность, потому что героя правительство поначалу полагало дать одному ему, Катаеву, но потом почему-то застеснялось», и тогда Подгорный «вписал в Указ» остальных, «которые, в простоте своей, и не ведали, кому обязаны этим, неожиданно обрушившимся на них золотым дождем».

Как вспоминает Павел Катаев, только после получения «Золотой Звезды» (предсказанной гадалкой-турчанкой) отец немного расслабился. Возникло ощущение признания и защиты

государством.

В Кремль он отправился в вечернем костюме цвета маренго, недавно сшитом (как выражался Катаев, «построенном») для него.

«Ему очень шел этот костюм, — вспоминает Павел. — Белая рубашка, отлично повязанный (мной!) галстук, платок в наружном кармане хорошо сидящего пиджака, черные удобные полуботинки… Отец был строен, моложав, обрызган английской туалетной водой “Аткинсон” из большого квадратного флакона. На лице — добрая и чуть ироничная по собственному адресу улыбка. Можно и в путь!»

В Кремле председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный специальным шилом проколол дыру на лацкане пиджака и с изнанки специальным кружочком завинтил ножку звезды.

Сфотографировались, и Катаев спросил председателя:

— А вы не прогорите?

— Не прогорим! Контора надежная!

В 1975 году в десятом номере «Нового мира» появилось «Кладбище в Скулянах».

«Слава России» — пожалуй, ключевое словосочетание в этом милитаристском романе, основанном на дневниках деда и прадеда писателя — офицеров XIX века. «Некогда и я повторил в юности начало дедушкиной, да и прадедушкиной военной карьеры». Прежде чем начать свой роман, Катаев на протяжении нескольких месяцев расшифровывал их дневниковые записи, вооружившись большим увеличительным стеклом…

Затем он поехал в молдавское приграничное село Скуляны, где когда-то стоял богатый дом предка, чье имя затерялось на почерневшей плите «древнего погоста времен Кантемира».

Смерти прадеда, капитана Елисея Бачея, от холеры на берегу реки Прут, деда генерал-майора Ивана Бачея «от удара» в Екатеринославе и другого деда протоиерея Василия Катаева с больной ногой в Вятке не прекращают их существования — автор подхватывает разговор. Как на спиритическом сеансе, они говорят устами потомка-медиума… В такой семейственности есть что-то зловещее, как и в самом названии «Кладбище в Скулянах», тем более Катаев непрерывно пишет о своей связи с румынскими (известными сказаниями про вампиров) землями — и через «родовое гнездо», и через битвы Первой мировой в предгорьях Карпат, и через Вторую мировую, когда он летел над мельницей «с охваченными огнем вращающимися крыльями»…

Елисей Бачей сражался с турками у Константинополя, командовал стрелками, «будучи от самых Цареградских Ворот не далее сорока саженей» (и Катаев вместе с ним жалеет, что войти

не получилось), возле польского города Грубешова пустил под лед кучу французов, получил под Гамбургом четырнадцать ран, а его правнук служил артиллеристом под Сморгонью, среди столетних «кутузовских» берез, вспоминая, как «властелина полумира» Наполеона «чуть не захватили в плен казаки», а затем по следам прадеда со своей батареей прошел почти всю Добруджу на севере Балкан, сожалея: «До подступов к Константинополю мне дойти не пришлось, в чем я сильно отстал от моего предка… Ах, Добруджа, Добруджа!.. Иногда ты снишься мне».

Основную часть романа составили мемуары катаевского деда Ивана Елисеевича. Главным образом, книга о нем — воине, честно служившем родине, поначалу не задумываясь о масштабности исторических задач русской геополитики.

Девятилетним его увезли учиться в гимназию в Одессу, где первое впечатление определило его судьбу: в открытом море шло «при свежем крепком ветре — несколько военных фрегатов» под андреевскими флагами, «и чудная эта картина со всеми своими подробностями показалась мальчику как бы символом славы и могущества России. Слезы восторга навернулись на его голубые глаза», в восемнадцать он отправился добровольцем на Кавказ: «не считаясь с опасностью для жизни, с юношеским пылом бросался в самые опасные места боя». Перечисляя жестокости, творимые нашей армией, включая истребление жилья и грабеж имущества горцев, о чем равнодушно сообщал его предок, Катаев замечает: «Кто знает, какова была бы судьба России, каковы были бы границы Советского Союза, если бы тогдашняя Россия не победила…»

Это роман о закольцованности бытия, о взаимосвязи всех со всеми, но и о неразрывности истории, так что автор по кругу повторяет патриотичные заклинания: «Все распалось, разрушилось… Осталась лишь таинственная связь между ним, моим дедушкой, и его предками, и его будущими потомками, историческая судьба которых заключалась в боевом служении России».

Есть и амурные забавы, и сожаления по поводу свирепости армейских нравов и самодурства начальства, и женитьба деда на племяннице полкового адъютанта Марии Ивановой, и рождение пятерых дочерей, и отношения с сослуживцами, двое из которых (Горбоконь и Кульчицкий) застрелились из одного пистолета, но суть все-таки проста: служение отечеству верой и правдой.

Иван Бачей, вспоминая начальные волнения и террор народовольцев, записывает: «Не дай Бог дожить еще до такого времени…» И дневник обрывается — пустые страницы. «Возможно, что именно в этот миг и настигла дедушку смерть от

удара… Зарево надвигающейся революции уже стояло над Россией. Для дедушки это было неожиданным открытием, и он ужаснулся… Красно-черные клиновидные молнии взрыва пронзили дедушкин мозг и погасили его сознание».

Такое вот произведение, при всех авторских приемах (путешествиях в прошлое и перевоплощениях) прозрачное, внятное и довольно далекое от мовизма — один солнечный славный день нескончаемой Истории, оттененный тонкой горькой иронией по поводу бренности всего…

Одинокий рассказчик бродит по кладбищу и ищет поддержки предков…

«В повести “Кладбище в Скулянах” В. Катаев расписал свою родословную по обеим линиям, восходящую к знатным дворянским родам и к православным протоиереям, — язвил литератор Семен Резник. — То был ответ критикам, недовольным “модернистским” характером его поздней прозы, в чем они усматривали “космополитизм” и отрыв от национальных корней».

Катаев часто бывал в Молдавии, которую любил. И даже возглавил Совет по молдавской литературе при Союзе писателей СССР, всячески помогая тамошним авторам.

Литератор Геннадий Красухин, входивший в Совет по молдавской литературе, вспоминал одно из заседаний, где решил разобрать стилистическую неряшливость переводов, сделанных поэтом Михаилом Беляевым. Катаев смеялся. А когда незадачливый переводчик стал возражать, что молдавского поэта переводил не только он, но и Валентин Петрович, и эти переводы все хвалили, весело отозвался:

— Предпочитаю обходиться без соавторов! — и обратился к молдаванину: — Советую не связываться с теми, кто в тяжелых, напряженных отношениях с русским языком.

Молдавский писатель Оскар Семеновский как-то спросил Валентина Петровича, почему тот никак не реагирует на нападки критиков, на что получил ответ: «Это же не искусство, а окололитературная возня. Так стоит ли отвечать? Лучше писать хорошие книги».

Всю литературную жизнь находясь в центре критических нападок и интерпретаций, он был предельно закален, изумительно черств по отношению к «негодующим» и повторял: «Помнить надо одно, пушкинское: “Ты сам свой высший суд”».

«Я вам советую посылать ругателям после каждого их выступления роскошные букеты цветов, — сказал он Евгению Долматовскому. — Захваленных поэтиков читатели не любят».

«Знаете, тут недавно приезжал аспирант из Оксфорда, — говорил Катаев литератору Борису Галанову. — Пишет обо мне

диссертацию. Просидел несколько дней в “Ленинке”. Взял библиографию, стал изучать и просто руками развел: “Послушайте, мистер Катаев, оказывается, вы плохой писатель. Вас всегда ругали”. Черт возьми, я почувствовал себя глубоко виноватым. Действительно, выходило, никакой я не писатель. Ввел в заблуждение симпатичного юношу».

В 1976 году (о чем я уже упоминал в связи с протестом Чуковской) Катаева избрали первым иностранным членом-корреспондентом Академии Гонкуров по предложению ее президента писателя Эрве Базена. Эту академию, ежегодно присуждающую наиболее авторитетную литературную премию Франции, он называл «самой мощной, непоколебимой цитаделью хорошего литературного вкуса».

«АЛМАЗНЫЙ МОЙ ВЕНЕЦ»

Ему стукнуло восемьдесят.

«Мы, группа сотрудников и членов редколлегии журнала “Юность”, навестили Катаева в Переделкине, — вспоминал Розов. — Один из гостей произнес тост в честь награждения писателя орденом Дружбы народов. Орден этот учрежден был незадолго до этого, и Катаев ответил на поздравление: “Благодарю вас, действительно очень приятно, этот орден еще не у всех есть”».

В 1978 году в шестом номере журнала «Новый мир» вышел «Алмазный мой венец», вызвавший огромный читательский интерес, сразу обросший шумом возмущения (и до сих пор окруженный восхищением).

«Что может быть прекраснее художественной свободы?» — спрашивал Катаев.

Он вспоминал об ушедших «бессмертных» современниках — живо, бесцеремонно, весело, через дикие сценки. Именно — дикие. При чтении вспыхивает мандельштамовский завет: «дикое мясо», по-катаевски переиначенный на «свежие фрукты»: «Это не роман. Роман — это компот. Я же предпочитаю есть фрукты свежими, прямо с дерева, разумеется, выплевывая косточки».

Артистически закрученная карусель литературных звезд. Книга-поэма, богатая образами и красками, но и книга-игра— может быть, поэтому она воспринимается так современно…

Героев прикрывали лиричные «ники»: Командор — Маяковский, будетлянин — Хлебников, королевич — Есенин, мулат — Пастернак, щелкунчик — Мандельштам, синеглазый — Булгаков, штабс-капитан — Зощенко, конармеец — Бабель, ключик — Олеша, колченогий — Нарбут… Между прочим, исследователи практически ни разу не поймали автора на явной неправде или преувеличениях.

В финале в некой «зарезничной стране», как бы в парижском парке Монсо, повествователь обнаруживал своих друзей в виде «ярко-белых и не отбрасывающих теней скульптур» и, поняв, что остался один, вдруг сам начинал коченеть от «звездного мороза вечности»… Переставая отбрасывать тень. Как вампир.

Все произведение пронизано вампиризмом: они умерли, а я нет и теперь распоряжаюсь ими. «Они не могут ему ответить», — будто бы сказал со сцены Виктор Шкловский и заплакал. Кстати, чужие раскавыченные стихи в прозе и чужие строчки в названиях повестей и романов как принцип — чем не вампиризм?

«Чужую поэзию я воспринимаю как свою и делаю в ней

поправки», — пояснял Катаев, воспроизводя с ошибками даже Пушкина и оправдывая себя тем, что нужно «пропускать все явления мира, в том числе и поэзию, через себя».

Такой мемуар смутил и задел многих.

Разгульная и одновременно трагическая независимость, свободное и ироничное обращение с «великими», самой смерти вопреки, демонстративная выборка зажигательных, с «перчиком» историй, местами явно претендующих на сенсационность, — все это вызвало обвинения в развязности, амикошонстве и даже подлости…

(Когда внучка, поступившая на журфак, принесла домой разговоры о том, что Валентин Петрович непочтителен с «классиками», он объяснил просто: «Послушай, вот твоя подружка Ленка, есть Дима, есть Ритка… Если бы я спросил тебя про них, что бы ты рассказала? Так вот, я про своих приятелей написал лишь самую малую толику того, что знаю…»)

Сложности возникли уже в журнале. Завотделом прозы «Нового мира» Диана Тевекелян (та самая, что в журнале «Москва» щепетильно редактировала так и не прошедший «Святой колодец») теперь просила главреда Сергея Наровчатова убрать «вольности и перехлесты».

Поэт-главред, к его чести, не уступил и, по свидетельству Тевекелян, сказал ей следующее: «Это вам не автобиография, не утомительные мемуары, где все сверено с нынешней конъюнктурой, все вроде бы ровно, правдиво, а на поверку вранье. Катаев никому оценок не выставляет, он так воспринимает этих людей, дофантазирует, конечно. Может и приукрашивает себя. Кому не хочется хоть немного подправить собственную жизнь? Он ничего вам не навязывает, пожалуйста, не соглашайтесь, кто вам не велит? А колдовская красота уходящей, уже призрачной жизни — у кого еще вы это прочтете? Это щемящее прощание, и неизбежность, и счастье от самой жизни. Он художник, глупо требовать от него какую-то документальность, достоверность. Он же не трактат пишет, не научное биографическое исследование. Он же Катаев, черт побери!»

Тевекелян вспоминала, что «даже на крайность пошла» и в одном месте настояла на изъятии слов — «показалось, что Катаев зло иронизирует над метафоричностью раннего Пастернака». Она снова и снова «пыталась склонить Валентина Петровича» — снять фразу, сделав выбор между «долгом и красотой» (долгом, естественно, в ее понимании): «Катаев в гневе махнул рукой, буркнул “снимайте”… Сняла».

Рецензенты встретили «Алмазный венец» и похвалами (в

целом бледными), и ругательствами (энергичными).

«Зависть и ревность, — говорит о реакции «передовых кругов» критик Владимир Новиков. — Тогда в приличном обществе выразить симпатию Катаеву стало совершенно недопустимо».

«“Алмазный мой венец” вызвал, мягко говоря, недовольство прогрессивной интеллигенции», — констатировал Анатолий Гладилин.

Удивительно, с какой страстью не могли простить Катаеву свободы именно те, кто претендовал на звание свободомыслящих…

Справедливости ради: опять доставалось «слева» и «справа».

Давид Самойлов делился с Лидией Чуковской (попутно «прикладывая» и повесть Трифонова «Старик»: «Уж очень плохо написано»): «Прочитал я его “Алмазный венец”. Это набор низкопробных сплетен, зависти, цинизма, восторга перед славой и сладкой жизнью. А завернуто все в такие обертки, что закачаешься».

Петр Проскурин, писатель-почвенник, вопрошал с трибуны: как можно поднимать шум вокруг «ничтожных произведений, отшлифованных до алмазного блеска», когда надо всеми возвышается, как могучий снежный утес, фигура Шолохова…

Даже комплиментарный критик Вадим Баранов в «Литературной газете» (26 июля 1978 года) не мог не укорить автора в аполитичности: «Нарисованные им образы выиграли бы, если бы полнее отражали особенности идейной борьбы того времени, если бы в их индивидуальных голосах различимее слышался голос вдохновлявшей их эпохи».

В «Вопросах литературы» (1978, № 10) Катаева покусывал В. Кардин[152]: «Поддается ли узде катаевское воображение, для Катаева ли роль хроникера, Нестора-летописца?.. Шлюзы открыты. Ничто не сдерживает поток пестрых сведений… Чем-то все же неуместна эта забава, коробят прозвища… Картинки, подкрепляющие обиходные истины типа “слаб человек”, “все люди, все человеки”, портреты писателей “в туфлях и в халате”, чаще всего потакают обывательским вкусам».

В том же 1978-м в «Вечерней Одессе» сатирик Семен Лившин отозвался пародией «Алмазный мой кроссворд»: «Берег. Море. “Белеет парус одинокий…”. Сейчас уже трудно припомнить, кто из нас придумал эту фразу — я или дуэлянт. Да и стоит ли? Ведь позднее один из нас дописал к ней целую повесть».

Другую (надо сказать — презабавнейшую) пародию «Мовизма осень золотая» в журнале «Литературное обозрение» за подписью-псевдонимом «В. Тропов» и одновременно в самиздатовском ленинградском журнале «Сумма» под своим именем выпустил

Владимир Лакшин с действующими лицами «кучерявым» (Пушкиным), «гусариком» (Лермонтовым), «бородачом» (Толстым) и Экспеаром (Шекспиром). «Душная, словно ресторанная портьера, ночь спустилась над Мыльниковым переулком… Гусарик, глядя поверх собеседника презрительным взглядом, впервые прочитал свои звонкие, немного фельетонные, ставшие потом известными строфы: “дух изгнанья летел над грешною землей, и лучших дней воспоминанья и снова бой. Полтавский бой!” Цитирую по памяти, не сверяя с книгой, — так эти стихи запомнились мне, так они, по правде говоря, лучше звучат и больше напоминают людей, которых я забываю». Или оттуда же: «С бородачом я сблизился случайно. Меня болтало. Меня болтало на площадке последнего вагона подмосковной грязно-зеленой электрички, когда я увидел на краю заплеванного шелухой перрона старика в парусиновой толстовке с давно не чесанной сизой бородой и в лаптях на босу ногу… Я понял, что старик, кончавший тогда последний том “Войны и мира”, хочет на попутных добраться в златокупольную Москву… Когда бородач рассуждал о вечности, ковыряя вилкой рисовую котлетку, в нем самом сквозило что-то неуловимо провинциальное».

Но особенно лихо высказалась эссеист Майя Каганская в памфлете «Время, назад!», опубликованном в третьем номере парижского «Синтаксиса» за 1979 год. Ей показалось, что автор, «при жизни втирающийся в царство прославленных мертвецов», отнесся к своим героям нарочито по-разному: «Если Мандельштам сокращен до “щелкунчика”, “мулат” — не в цвет Пастернаку, Бабеля не вмещает “конармеец”, то “Командор” — вытягивание во фронт перед старшим по званию Маяковским, а “королевич” — нескончаемый поклон в сторону удавленника Есенина». «“Алмазный мой венец” написан чужой кровью… — обличала Каганская. — Но разве Катаев убивал? Убивали другие: чекисты, лагеря, “чрезвычайки” и “тройки”. От них не убережешься, тем более не убережешь. А при всем при том каинова печать на катаевском лбу проступает куда более явственно, чем алмазный нимб над его головой…»

Как иронизировал по поводу филиппик Каганской уже в наши дни поэт Сергей Мнацаканян, «суть обвинений в том, что Валентин Катаев не умер от болезни почек в сорок девять лет, не попал в лагеря, не покончил жизнь самоубийством, не был расстрелян в 1939-м, не был, на худой конец, арестован для профилактики году в 1946-м или принужден к нищей эмиграции. Тогда бы с его обликом было бы все тип-топ! Главная вина Катаева в том, что он выжил».

Добавлю: расстреляли бы молодого Валентина в 1920-м, и

некого Каганской было бы обзывать Каином…

«К стольким нелегким судьбам прикоснулся писатель, а итог один — анекдот, — утверждала критик Алла Латынина. — Должна же быть какая-то иерархия ценностей изображаемого. Наконец, и некие моральные запреты на “изображение”»…

(Уже в 2010-м она признавала: «В свое время я писала об “Алмазном венце”, и, на мой сегодняшний взгляд, та статья слишком прямолинейная и какая-то наивно-морализаторская».)

Яростно решил «пробиться к правде» и другой читатель Катаева публицист Юрий Юшкин. Он затеял целое расследование по поводу «Алмазного венца», встретившись с восьмидесятилетним поэтом Василием Казиным («сын водопроводчика»), Шкловским, Ольгой Суок, Тамарой Ивановой… Все они, разумеется, поминали Катаева недобрым словом. «Они и помогли мне прийти к истине!» — восклицал Юшкин с жаром неофита.

Он показал «разоблачительную рукопись» критику и искусствоведу Илье Зильберштейну, который, похвалив, направил его к ответсеку «Вопросов литературы» Евгении Кацевой. Та прочла с интересом, отозвались положительно и члены редколлегии, но все же последовал отказ: «Не можем мы печатать такое против Героя Социалистического Труда. Не правильно это будет понято».

А «такое» было и впрямь круто для советского журнала. Юшкин выпустил свой специфичный текст уже в нулевые годы небольшим тиражом, и тональность его позволяет почувствовать накал страстей вокруг катаевского произведения и понять, какими сплетнями «свидетели обвинения» одарили пытливого «следователя».

Юшкин изобличал в Катаеве белогвардейца: «Это ему сыпной тиф помешал уехать навсегда во Францию вслед за Буниным. Катаевские характеристики недалеки от тех, которые давали З. Гиппиус, Д. Мережковский и им подобные тем, кто после революции остался в России…» Обвинял и в аморалке: «“Свободный полет фантазии” позволяет ему забыть всех своих жен. А надо было бы написать обо всех, начиная с первой и кончая последней. А заодно надо было бы написать о том, как бегала последняя жена от его пьяных побоев в писательском доме № 17 по Лаврушинскому переулку, скрываясь за первой открывшейся дверью. Подлинность же этого не вызывает сомнения, ибо об этом мне рассказывала вдова Всеволода Иванова Тамара Владимировна (в свое время бывшая женой И. Бабеля), которая не раз давала приют у себя (в квартире 42) жене Катаева (из квартиры 43)».

И, конечно, главный криминал — «“раскованность” и “художественная свобода” позволили ему давать клички людям, оставившим большой след в русской литературе, позволили заниматься вымыслами и фальсификациями…».

«Ручаюсь, что все здесь написанное чистейшая правда и в то же время чистейшая фантазия, — словно заранее насмешничал над Юшкиным и подобными ему «дознавателями» Катаев. — И не будем больше возвращаться к этому вопросу, так как все равно мы не поймем друг друга».

В девятом номере «Дружбы народов» за 1979 год в статье «Не святой колодец» критик Наталья Крымова (жена режиссера Анатолия Эфроса) писала, что эпатаж «пронизал произведение насквозь». И вообще, смутил ее человек, «который не устает заверять нас, что подавляющее большинство поэтов его города выросли из литературы западной, в то время как он с малых лет был исключительно привержен поэзии Кольцова, Никитина…», удручило ее «множество безнравственных метафор», например, «как бы смазанное жиром лунообразное лицо со скептической еврейской улыбкой» — критик скорбно-осуждающе уточняла: «тот, у кого было такое лицо, впоследствии погиб вместе со своей больной мамой в фашистском концлагере». Как будто Катаев виноват в этой судьбе, и теперь вводится запрет на изображение всех с трагической судьбой… Речь о поэте Семене Кесельмане. Как показали изыскания Олега Лек-манова и Марии Котовой, он умер своей смертью до войны, а мать его скончалась не позднее самого начала 1930-х годов.

Крымовой в том же номере возражала литературовед Евгения Книпович: «Катаев для меня, бесспорно, утвердил свое право не быть сладко-провинциально-сентиментальным и деликатным, говорить о любимом словами простыми и грубыми, сочетая в его одухотворении непочтительность с высокой и холодной любовью».

Интервью с осуждением «Алмазного венца» дал юрмальской газете отдыхавший на Рижском взморье Вениамин Каверин.

Загробное стихотворение, ходившее по Москве (как бы от лица Бунина), приводит литератор Эрлена Лурье:

Милый Валя! Вы меня простите ль,
Что из гроба обращаюсь к Вам?
Я б не стал, когда б меня Спаситель
К Своему престолу не призвал.

Он сказал: Сей старец нечестивый
Прежде был твой робкий ученик.

Разберись-ка с этим гнусным чтивом,
Иск ему как следует вчини!

Заканчивалось оно так:

Ну, суди Вас Бог. Прощайте, Валя.
С грустью вспоминаю о былом.
Прежде горячо любимый Вами
Академик с золотым пером.

«Помню, пришли к отцу в гости Адамович и Гранин, — вспоминал Александр Нилин. — И Гранин с места в карьер стал ругать недавно опубликованный “Алмазный мой венец”. Моя матушка не умела брать инициативу в разговорах — тем более при таких знаменитых и прогрессивных нарасхват людях (Адамович с Граниным после гостей шли прямиком на премьеру к Любимову на Таганку). Но из мешавшего ей всегда чувства справедливости сказала все-таки: “Но написано очень хорошо”. — “А разве это главное?” — очень строго сказал ей Гранин. “А что главнее, Даниил Александрович, если вы работаете писателем?”».

По словам литератора Василия Субботина, в Доме творчества в Переделкине «невозможно было сидеть за столом, такой стоял возмущенный гул… какой гад этот Катаев», притом многие негодовавшие даже не читали повесть, а боялись не совпасть с «общим мнением». По наблюдению Субботина, Катаев, «выходя из калитки своей дачи, смотрел сначала в одну сторону аллеи, потом в другую и, если никого не было, шел гулять».

Как уже упоминалось, Серафима Суок («дружочек»), прочитав произведение, плакала, ее муж Виктор Шкловский («какой-то пошляк») хотел пойти к автору «бить морду», но она его удержала. Мордобой заменила сочиненная им эпиграмма:

Из десяти венцов терновых
Он сплел алмазный свой венец.
И очутился гений новый.
Завистник старый и подлец.

Менее известную и более злую эпиграмму приводил Юшкин:

Черт возможности такой не упустил —
Смердякова с Свидригайловым скрестил.
В «Новом мире» весь читающий народ

Обнаружил потрясающий приплод:
Камни подлинно алмазного венца
Оказались в грязных лапах подлеца.

Шкловский не был одинок в желании без затей разобраться с Катаевым.

Жена Каверина Лидия Тынянова говорила: «Я удивляюсь, почему Таня и Костя Есенины (дети поэта и Зинаиды Райх. — *С. Ш.*) не набьют Катаеву морду».

Вениамин Смехов рассказал мне, будто знаменитый актер Игорь Ильинский (он, между прочим, сыграл в вышедшей на экраны в 1956 году цветной кинокомедии «Безумный день» по катаевской пьесе «День отдыха»), разъяренный прочитанным, а может, кем-то накрученный, поехал в Переделкино, чтобы «врезать по мордасям» давнему приятелю. Прочухав неладное, хозяин не впустил его, и тогда 77-летний Игорь Владимирович помочился под дверь 81-летнему Валентину Петровичу.

Вот она — плата за художественную свободу…

Нелегок оказался венец.

КАТАЕВ И «ПОБЕГИ»

В феврале 1977 года Катаев приехал в Ленинград на вечер памяти Зощенко. Еще до начала вечера он со своим «черноморским, неистребимым акцентом» сказал литературоведу Дмитрию Молдавскому: «А знаете ли вы, что моего брата Женю — Евгения Петрова крестил священник отец Молдавский? Ведь это ваша фамилия?» Катаев не унимался, вспоминал литературовед: «Потом он спросил меня, почему я столь сурово насуплен, и добавил: “Вы что, не верите в отца Молдавского? Хотите выдам справку?” И написал на маленьком листке бумаги: “Одесский священник отец Молдавский, друг моего отца, крестил моего брата Евгения Катаева (Петрова)”. Все улыбались».

А зачем он наврал?

Подмигивал будущему биографу?

Ведь крестил протоиерей Михаил Марченко. Тот же, что и Валентина Петровича.

Перепутал с главой сиротского приюта протоиереем Григорием Молдавским, у которого жили?

Все-таки он был весь, целиком, до маниакальности там, в дореволюционном детстве.

На том вечере, «с презрением отойдя от микрофона и пробормотав что-то насчет техники, которая вторгается куда не надо», он вспоминал фронт Первой мировой и офицера Зощенко, с которым мог встретиться под Сморгонью…

В 1978 году он выступил на так называемой «встрече в Останкине», показанной по Центральному телевидению, сыпал байками о писателях и напоминал бодрого энергичного американского актера, всю жизнь игравшего инфернальных героев. Задачей литературы назвал «смягчение нравов».

Вопрос: а если бы какой-то текст («Святой колодец», «Алмазный венец», «Вертер») отвергли, мог бы он издать его на Западе?

Павел Катаев ответил мне:

— Никогда!..

Евгения Катаева ответила подробнее. По ее словам, Катаев категорически не передал бы ничего за границу, хотя возможности такие были постоянно. Он полагал, что должен печататься в своей стране, так как тут его читатель. Имея возможность уехать во Францию («обещали золотые горы и семью вытащить через год»), твердо отказался.

Однажды язык Катаева довел его до Лондона. В еженедельнике «The New Statesman» британский журналист

Александр Верт напечатал статью о советской жизни, составленную из прямой (доверительной) речи собеседника-собутыльника. «Мы с Катаевым много выпили в ту ночь, и в конце концов его прорвало…» Нехилая подстава! Скандал! Катаев, по Верту, сообщил ему, что соцреализм мертв и возник по указке сверху, «старейшие мастера» никакие не мастера, а борьба между «отцами и детьми», сторонниками свободы и апологетами системы, стремительно углубляется.

Потребовалось опровержение. 10 января 1968 года «Литературная газета» сообщала, что Валентину Петровичу приписан «привычный набор расхожих измышлений враждебной нам пропаганды». Правда, реакция самого «оклеветанного» была иронично-сдержанной. Мол, Верт в письме извинился: «многое» (то есть вовсе не всё!) из слышанного от других «новаторов» («то есть настоящих писателей») ему приписал[153].

Журналист Борис Панкин вспоминал, как уже совсем пожилой Катаев за столом в Переделкине, потягивая из бокала красное вино, выслушивал домашних с их модным интеллигентским антисоветизмом. «Валентин Петрович от нападок отбивается поначалу вяло, дежурно, как бы не желая обидеть детей ни безразличием к их суждениям, ни откровенным, бывает, их неприятием…

— Вот вы, говорю, обижаетесь, — пересказывает он свою беседу с одним американским прозаиком, — что у нас писателей критикуют, и порой уничтожающе, за их книги. — Тут он повел вокруг взглядом, вовлекая в его орбиту разгоряченных не умолкнувшим еще спором детей. — А мы за такую критику спасибо бы сказали, потому что у нас самое страшное — молчание. Пиши, сокрушай любые идолы, любые авторитеты, любые власти — никто и ухом не поведет, как будто тебя и нет… Вот что по-настоящему страшно.

Он вновь победоносно оглядывается вокруг.

— Что такое? — спрашивает громогласно».

Надо отметить, Катаев при всех его рассуждениях о губительном для художника отсутствии давления не верил в возможность сочетания успеха и независимости на Западе.

Литератор Илья Суслов, в 1960-е годы работавший в «Юности» и возглавлявший отдел сатиры и юмора «Литературной газеты», в 1974-м эмигрировал в США. Там он и повидался снова с Катаевым.

Суслов приехал в Университет Джорджа Вашингтона, где проходила встреча с группой советских писателей (Григорий Бакланов, Нодар Думбадзе, сопровождающие…).

Валентина Петровича Суслов видел выше всех его

современников: «Последние книги Катаева кажутся мне памятником русскому языку… Кого можно поставить сегодня рядом с ним? Я подошел к нему на этой встрече в университете Вашингтона и тихо поздоровался. И он узнал меня! “Как Миша? — спросил он. — Как живет Миша? Хорошо ли ему?”».

Миша — Михаил Суслов, тоже эмигрант, еще в 1960-е годы написал сценарий по рассказу Катаева «Отче наш». Но фильм так и не разрешили[154].

Илья начал рассказывать Катаеву о себе, о брате и, очевидно, о преимуществах американской жизни — эта тема не оставляла его при разговоре с гостями из Союза.

Катаев смотрел недоверчиво. Наконец он заявил, насмешив Суслова: «Илья, цензура повсюду». И даже высказал подозрение, что в Библиотеке Конгресса кто-то перечеркнул во многих местах рукописи Фолкнера (между тем, действительно, в свое время Фолкнер попал под закон Комстока, запрещавший распространение «предосудительных книг»).

И Катаев желчно добавил: «Нечего все валить на советскую власть».

«— Валя, замолчи! — не выдержав, крикнула его жена Эстер.

И он примолк. Только желваки у него ходили да глаза цепко перебегали по нашим лицам».

Суслов пишет, что, если Катаев разговаривал с ним открыто, другие советские знакомые были напряжены и бледнели.

«А Катаев, дождавшись, пока все гости покинули комнату, подошел ко мне, взял мою руку в свои, старые, жилистые, с коричневыми старческими пятнами, и, странно улыбаясь, сказал:

— До свиданья, Илья. Как молодостью пахнуло. Как молодостью…

И погладил мою руку».

Когда в июле 1974 года была осуществлена стыковка космического корабля «Союз-14» с орбитальной научной станцией «Салют-3», Катаев говорил литератору Геннадию Красухину: «Мы обставили американцев из-за коллективного нашего сплоченного духа, до которого можно ли угнаться духу разрозненному?»

А все-таки есть в этом нечто закономерное: у писателя, вслед за учителем только случайно не покинувшего страну в 1920-м, его ученики, «побеги» его ствола, гордость «Юности», чьи имена он называл с высоких трибун — Кузнецов, Гладилин, Аксенов, — стали эмигрантами…

Катаев ценил Анатолия Кузнецова (напомню, дебютировавшего в «Юности» с повестью «Продолжение легенды») и старался ему помогать.

Когда после Литинститута у того закончилась московская

прописка и остаться в столице не было шансов, стал хлопотать в Министерстве культуры, оттуда просьба перешла в ЦК, и завотделом культуры Поликарпов поселил писателя в Туле вместо положенного Киева.

В июле 1969 года, находясь в «творческой командировке» в Лондоне, целью которой был «сбор материалов в связи с приближающимся столетием Ленина» (ничего не напоминает?), Кузнецов внезапно отказался возвращаться.

Получив политическое убежище, он объявил о выходе из КПСС и Союза писателей. «Публично и навсегда отказываюсь от всего, что под фамилией “Кузнецов” было опубликовано… Ответственно заявляю, что Кузнецов — нечестный, конформистский, трусливый автор. Отказываюсь от этой фамилии… Все опубликованные после сего дня произведения буду подписывать именем А. Анатоль. Только их прошу считать моими».

По признанию Кузнецова, чтобы добиться разрешения на поездку в Англию, он за полгода до этого согласился стать агентом КГБ и доносил на знакомых. «С октября 1968 года с Кузнецовым поддерживал контакт сотрудник органов госбезопасности, которого он информировал о серьезных компрометирующих материалах в отношении группы писателей из своего близкого окружения», — докладывал Андропов в ЦК. Главное, о чем «информировал» Кузнецов, — подготовка издания подпольного журнала. Как уже упоминалось, всего вероятнее, речь шла о «Лестнице» («Мастерской»), затеянной Катаевым. Кузнецов, ввязавшись в игру с мнительными «органами», сознательно преувеличивал заговорщицкий характер проекта…

В результате в мае 1969 года катаевских подельников Аксенова и Евтушенко вывели из редколлегии «Юности», а Кузнецова туда ввели. От «Юности» он и отправился в лондонскую поездку.

Следующим стал Гладилин…

«Толя, это правда, что вы стали настоящим непрохо-димцем?» — спрашивал его Катаев.

Действительно, повесть «Прогноз на завтра» оказалась «непроходной» для советских журналов. В 1972-м она вышла во Франкфурте-на-Майне в издательстве «Посев». В ЦК Гладилину пообещали помочь с изданием «залежавшегося», и они на пару с Окуджавой (у которого в «Посеве» выходили книги) написали письма в «Литературную газету», открещиваясь от западных «пиратов». «Я возмущен подобной провокацией, — заявлял Гладилин. — Мои книги не имеют ничего общего с политической игрой недругов нашей страны». Рядом (его то исключали из

партии, то принимали обратно) Окуджава осуждал «любые печатные поползновения истолковать мое творчество во враждебном для нас духе».

Вскоре Гладилин посчитал, что обещания не выполнены — в издательствах началось бодание с редакторами, а значит, пришла пора задружиться с «недругами». 14 января 1975 года он пришел в Союз писателей и заявил тогдашним руководителям Московской организации Виктору Ильину и своему приятелю Александру Рекемчуку: «Ребята, я решил уехать из страны. Я ухожу из Союза писателей». Решили, что он зол с похмелья, и назначили разговор на завтра. Когда Гладилин снова пришел в тот же кабинет, там, кроме Ильина, его неожиданно встречал старый знакомец — Катаев (напомню, секретарь Московской писательской организации).

Гладилин вспоминал: «Ильин обувает галоши, надевает пальто и на цыпочках покидает кабинет, плотно закрыв за собой дверь. А Валентин Петрович начинает так: “Толя, должен признаться, я никогда ни для кого ничего хорошего не делал. Но для вас сделаю все”. Я обалдел. И это не было кокетством с его стороны. И он знал, что я знаю, сколько хорошего он сделал для многих, в том числе и для меня. Видимо, он сильно расстроился… Он повторял буквально слова Сергея Сергеевича Смирнова: дескать, мы перед вами виноваты. И далее: “Вы хотите поехать за границу — вы поедете, у вас будет советский паспорт, пожалуйста. Мы издадим все ваши новые книги, переиздадим старые. У вас все будет хорошо. Только не делайте никаких заявлений иностранным корреспондентам, сидите тихо. Поручите все мне. Ладно?” Я говорю: “Конечно, Валентин Петрович, давайте так”. На этом мы расстаемся, а внизу, в “пестром зале”, меня ждут ребята, уже слух разнесся, что Гладилин уезжает. Я им рассказываю, какие мне поставили условия».

Что ж, если бы Катаев и впрямь был этим всесильным «мы» и с его тонкостью и проницательностью мог принимать важные литературно-политические решения, быть может, удалось бы избежать многих промахов, приведших систему к катастрофе…

«Я знал, что у Катаева есть какой-то ход в ЦК, что на самом верху кто-то его очень любит», — писал Гладилин, очевидно, подразумевая влияние «главного мовиста» на «главного идеолога». Но катаевская попытка убедить власти поступиться цензурным догматизмом, издать в сущности безобидные книги и не провоцировать очередного скандала с «избравшим свободу» — обернулась неудачей.

— Сволочи и суки! — вот и все, что мог отчеканить старик Саббакин.

«Через две недели, — вспоминал Гладилин, — Валентин Петрович мне звонит и по телефону (а то, что мой телефон прослушивается, всем понятно) говорит открытым текстом такие слова: “Толя, они сволочи, они суки. Они ничего не хотят. Поэтому вы совершенно свободны от всех обещаний, которые вы мне дали. Мы с женой были бы очень рады, если бы вы с Машей приехали к нам на ужин”. Что мы, естественно, и сделали».

И где здесь катаевский конформизм? Где хоть намек на боязнь?

Вероятно, он следовал внутренне сформулированным принципам: ясно разграничивал для себя тех, кто «подрывает основы» («поднявших меч на наш Союз» — шутливо процитирую Окуджаву), и тех, кто готов признавать государство, но хочет расширения художественной свободы…

К последним относил и себя.

Только грань эта не всегда была ясной…

На исключение Гладилина из Союза писателей Катаев не явился, сама процедура прошла мягко, с извинениями и вздохами (добровольный изгнанник вспоминал: «Даже такие просоветские зубры, которые должны бы были обличительные речи произносить, как, например, Михаил Алексеев, бормочут какие-то общие слова: “Ну что же, ну мы вынуждены исключить Гладилина из Союза писателей… Он куда хочет, во Францию? Ну нету же во Франции Союза советских писателей, поэтому мы его исключаем”»).

Гладилин прилетел в Париж с женой и дочкой, через несколько лет перетянул туда вторую жену с дочкой…

Устроившись на радио «Свобода», он рецензировал всю новую катаевскую прозу. В какой-то момент, вспоминал Гладилин, «классика отечественной литературы защищала только “Свобода” в лице вашего покорного слуги». Катаева в парижской студии обсуждал он и вместе с Виктором Некрасовым, фронтовиком, лауреатом Сталинской премии, диссидентом, эмигрантом. В сентябре 1974-го Некрасов с женой с разрешения советского правительства прилетел в Швейцарию. В 1976-м ему удалось добиться переезда в Париж из Ростова своего пасынка с женой и сыном. В мае 1979-го Некрасов был лишен советского гражданства.

Гладилин вспоминал: «Каждую нашу “Беседу у микрофона” мы, не сговариваясь, заканчивали так: “Катаев в первую очередь Мастер. Давайте сначала научимся писать, как он, а уж потом будем критиковать”».

Приехав в СССР в разгар перестройки, Гладилин навестил Эстер, которая рассказала: «Знаете, Толя, когда объявлялась ваша

передача, посвященная ему, Валя вечером отключал телефон, закрывал на ключ дверь, зашторивал окна, и мы слушали радио».

ГОСУДАРСТВО И ЛЕВИТАЦИЯ

«Самое драгоценное качество художника — это полная, абсолютная, бесстрашная независимость своих суждений» — важнейшая идея Катаева, ценившего простор творческого своеволия (или, сместив акцент, скажем по-пушкински — самостоянья) и чуждого узости гражданственной экзальтации.

«Он своими книгами, — полагала литературовед Мария Литовская, — как бы требует иной системы координат: когда художество и политика отделяются друг от друга».

Она же отмечала благородный (в значении — древний) генезис катаевского отношения к миру: «Никому не приходило в голову обвинять, скажем, Рафаэля в стремлении заработать или Фирдоуси в угодничестве перед властями». «В своем творчестве художник всегда ощущает себя государственным человеком. Иначе какой же он творец!» — сказал Катаев Борису Галанову.

«Самое поразительное, что на протяжении всего своего века ему удалось сохранить эту центристскую позицию, спокойно, по крайней мере внешне, следуя своим путем», — писала Литовская.

Действительно, политическую «суету» Катаев воспринимал довольно равнодушно.

По-настоящему его занимала физиология — и этот интерес сливался со страстью к литературе.

В 1975-м Василий Аксенов отправил нескольким своим друзьям (кроме Катаева — Ахмадулиной, Вознесенскому, Окуджаве, Искандеру, еще не уехавшему Гладилину) литературную анкету. Катаев ответил «дорогому Васе» одновременно с поощрительной теплотой и наставнической иронией. Среди прочего он писал: «Проникнуть в тайну художественного творчества, в самую его суть — напрасный труд. Это еще непосильнее, чем хирургическим путем пытаться обнаружить в коре головного мозга механизм сна, механизм регулировки кровяного давления, механизм сновидений, предчувствий, наконец, механизм, возбуждающий в человеке чувство направленной страсти, любви».

Хирургическим путем не обнаружишь, но ведь как-то иначе можно…

Первая сигнальная система… Вторая, позволяющая представить «образ»… Третья…

Эти секреты его занимали все больше. Он все настойчивее вникал в загадку человеческой психики, и мовизм был одной из попыток докопаться до первичных, «досознательных» тайн своей личности, при этом заворожив читателя. Тина Катаева рассказала

мне, что в конце 1970-х годов у деда на полке рядом с письменным столом стояла книга «Мозг и сознание» испанского нейрофизиолога Хосе Дельгадо. Ученый применял электростимуляцию и радиостимуляцию мозга, выявив центры, связанные с эмоциями, влечениями, ощущениями страдания или удовольствия, наслаждения. Катаев предполагал, что возможна еще и литературная стимуляция читательских мозгов. И — специальное сканирование писательских. «Глядишь, нащупают какой-нибудь “нервный центр вдохновения” или “бугорок озарения”, составят “карту” творческого воображения», — заявлял он журналу «Вопросы литературы». В кабинете в шкафу стояли Библия и «Диалектика природы» Энгельса (незаконченный труд по естествознанию, в котором предрекается гибель человечества под остывшим Солнцем). Он читал Зигмунда Фрейда и Ивана Павлова, обсуждая с домашними, и склонялся к идеям русского физиолога (не от «собачек Павлова» ли родился пудель Кубик?). Книг в доме было много, и ступени лестницы, ведущей на чердак, использовались как книжные полки…

В «Разбитой жизни» Катаев писал, что троюродный брат его отца был ученым-физиологом и как-то зазвал его к себе в лабораторию посмотреть, как препарирует человеческий мозг. «Меня ужасала мысль, что в этом восковом слитке высокоорганизованной и такой непрочной материи может каким-то образом отражаться, жить, существовать все окружающее человека — весь мир, вся вселенная, весь я…»

Предчувствия, вещие сны, предсказания… Катаев верил во все это, но считал не столько мистическими, сколько материальными, не изученными наукой явлениями.

В «Разбитой жизни» он рассказывал, что у родителей был знакомый арендатор, которого звали Кисель Пейсахович. Одну из батрачек на его винограднике звали Маруся: «Я видел ее всего два или три раза и всегда именно в то время, когда она вместе с другими девчатами сбегала вниз к Днестру купаться». Прошло немало времени, и вот однажды «послышался голос мамы, открывавшей дверь, потом голос папы и, прежде чем я добежал до передней и увидел Кисель Пейсаховича в потемневшем от дождя брезентовом пальто с капюшоном на спине, *я уже знал,* что утонула Маруся.

— Утонула Маруся?! — дрожа от страха, закричал я.

Этот порыв ясновидения испугал маму, и она, побледнев сама, стала меня успокаивать, говорить, что я фантазирую». Но гость «подтвердил, что в прошлом году, после того как мы уехали, батрачка Мария действительно утонула, купаясь в Днестре, необычайно раздувшемся после летних ливней в

Карпатах».

В восемьдесят два он писал о «божественной невесомости» и ощущении человеком возможности «лететь, как бабочка». В восемьдесят пять вспоминал юношеский сон на войне: «Мне снилось, что я летаю в какой-то незнакомой большой комнате под самым потолком».

Домашние помогали ему «левитировать». Тина Катаева называет это «опытами с биоэнергией».

Они соприкасались руками над головой неподвижно сидящего на стуле Валентина Петровича. Потом под мышки и под колени легко поднимали «испытуемого», вдруг потерявшего вес.

Он делался невесомым. Для него отменялось тяготение. Казалось, он устремлялся к потолку, как воздушный шар.

Древний вампир, он учился летать темными переделкинскими вечерами…

Между прочим, вампир-государственник.

20 марта 1977 года в «Правде» Катаев выступил против диссидентов.

Казалось бы, зачем? Восемьдесят лет, звезда героя есть, должностных амбиций нет, ничто не угрожает, живи на даче и побеждай земное тяготение в текстах и не только…

А может быть, он так и думал, как писал в газете?

Статья называлась «Хочу мира». Он вспоминал об истоках советской власти и «Скифах» Блока: «И вправду, это была варварская лира». Затем, когда страна прошла «трудный, тернистый путь», «возникла могущественная держава, одно из сильнейших государств мира». Ей всегда доставалось от разных недругов («то Геббельс, то бандеровцы»), и вот — новая напасть: «Появились так называемые “диссиденты”, или “инакомыслящие”, сделавшие из своего “диссидентства” и “инакомыслия” довольно выгодную профессию. Они разными путями бежали или были изгнаны со своей родины за границу и подняли там ужасный антисоветский шум, который изредка доносится до слуха честных советских людей по каналам множества радиостанций. Откуда берутся колоссальные деньги на их содержание, даже и догадываться нечего. Антисоветская пропаганда то немного утихает, то снова усиливается. Сейчас, например, мы наблюдаем очередной шквал. Если считать по сейсмической шкале — баллов восемь-девять. Обычно при этой силе землетрясения уже начинают обваливаться здания. Однако Советское государство не ощущает ни малейших колебаний, хотя шум стоит страшный. Можно подумать, что мир рушится. А, собственно, что произошло? В чем дело? Просто “диссидентыГ”-неудачники высосали из пальца вопрос о “правах человека” и

сделали из него орудие антисоветизма, а также (заметим мы в скобках) дойную корову, к соскам которой крепко присосалась “диссидентская” братия… Но ведь, как сказал Пушкин, надо уметь “сохранить и в подлости осанку благородства”… Неужели же вы, синьоры “диссиденты”, не знаете, что в стране, которая вам платит, вас содержит, убивают президентов, неугодных политических деятелей, взрывают дома, подслушивают телефонные разговоры, воруют, берут взятки, грабят на улицах, грабят в метро; предприниматели грабят рабочих, миллионы безработных ищут и не могут найти себе работу, миллионы девушек и юношек гибнут от наркотиков; процветают алкоголизм и проституция, похищаются дети, совершаются вооруженные нападения, банды гангстеров берут заложников и убивают их, орудует мафия». Напоминает постсоветскую картину из «России в обвале» Солженицына (включая обличение «радиоголосов»).

«“Диссидентов” еще иначе называют “инакомыслящими”, — продолжал Катаев. — Они, так сказать, мыслят инако. Они не согласны с советским образом жизни, собственно, они не согласны с самим фактом существования нашего Советского государства. Конечно, это их право. Могут и не соглашаться. Но подрывать его основы, его институты — извините. Подрывать свои основы не позволит ни одного государство в мире — ни социалистическое, ни капиталистическое».

Повторяющийся публицистический мотив — «подрывают основы» (эхо грубого стихотворения 1911 года: «Шатает основы твои»?..).

Под конец жизни Катаев заявил журналисту Борису Панкину, что у белогвардейцев «была ясная программа»: «Вот вернемся, не одних только большевиков к стенке поставим, всех, кто *расшатывал».*

Любопытно, что он уважительно признавал правила и «капиталистического государства» (сразу вспоминается торжество в «Кубике» по случаю разгрома парижских смутьянов). То есть суть не в идеологичности, а прежде всего в «порядке», в опасении — как оказалось справедливом — отмены «самого факта существования» большой страны, а значит, распада устоявшейся жизни. Ведь и для Белого движения первична была не идеология, а «Россия — единая и неделимая».

Не о таком ли единстве родины — имперской и красной — он писал в последних строках «Разбитой жизни»?

«…тень Луны промчалась по полям прошлых и будущих сражений. По Добрудже, по Молдавии, по виноградникам Скулян, где некогда жил мой прадедушка капитан Елисей Бачей, где родился мой дед — мамин папа — генерал Иван Елисеевич Бачей,

по отрогам Карпат, где я лежал с ногой, простреленной навылет… И где маршевая рота с красным бархатным знаменем… шла…»

19 октября 1977 года в Большом Кремлевском дворце состоялся «объединенный пленум правлений творческих союзов и организаций СССР». Почетный президиум возглавил Брежнев. Выступавший одним из первых Катаев отмечал, что особенное русское слово «интеллигенция» увековечено в новой советской конституции, и благодарил за этого «нашего дорогого товарища и друга Леонида Ильича». Вспомнил Катаев и возвращение Куприна в 1937 году, про которого отчеканил: «Он был честным русским патриотом». То ли дело «клеветники России»: «Чем очевиднее наши успехи и наша правда, тем громче их крики и вопли… Клевещите, господа, клевещите! Вам не удастся ни на один миг задержать наше триумфальное шествие вперед! Это про вашего брата, продажного клеветника-антисоветчика, можно сказать, слегка перефразируя слова Пушкина:

> Клеветник без дарованья,
> Палок ищет он чутьем,
> А дневного пропитанья
> Ежесуточным[155] враньем».

Конечно, такая речь понравилась не всем. Василий Аксенов вспоминал, как «поднимался по лестнице Большого Кремлевского дворца в то время, как динамики разносили по всему огромному помещению речь Катаева» — и «душа затуманилась грустью и досадой».

«Говорят, что на такие и подобные акции его побуждали личные просьбы Михаила Андреевича Суслова, — добавлял Аксенов. — Если это действительно так, тогда это еще можно понять — ну как откажешь столь обаятельному господину».

(Прозаик Аркадий Львов сидел в гостиной у Катаева, когда на экране стали показывать «государственно-творческое собрание»: «Он заерзал в своем кресле, засуетился, протянул руку в сторону телевизора… Вскочил, подбежал к телевизору, приложил к ящику, слева, ладонь и сказал: “Вот здесь сидел я, а Суслов рядом, немножко правее, если смотреть отсюда”. То обстоятельство, что он сидел рядом с Сусловым, естественно, не было случайным. В кремлевской табели о рангах, особенно, когда дело касается распределения мест в правительственной ложе, случайностей не бывает… Суслов уже давно сделался его добрым гением, об этом по Москве шел упорный слух…» Приведу и концовку из катаевской записки «дорогому Михаилу Андреевичу» с просьбой об очередном вояже в Париж: «Крепко жму руку и

надеюсь на Ваше доброе ко мне отношение».)

А кто побуждал Аксенова несколькими годами ранее в эссе о Катаеве славить установление советской власти в Одессе: «Дни, одухотворенные романтикой и страстью революции… Конники Котовского на мокрой брусчатке, жилистые матросы в пулеметных лентах… Верность своей родине, в кровавых муках меняющей кожу…»? Цензурный комитет? Еще через какие-то годы он завлекательно воспоет зашибательскую крутизну Америки… И ведь Аксенов же — вопреки Евтушенко и другим своим товарищам — 3 апреля 1963 года выступил в «Правде» с заявлением под названием «Ответственность»: «Я никогда не забуду обращенных ко мне во время кремлевской встречи суровых, но вместе с тем добрых слов Никиты Сергеевича и его совета: “Работайте! Покажите своим трудом, чего вы стоите!”… Для меня прояснилось направление моей будущей работы, цель которой — в служении народу, идеалам коммунизма…»

Цитирую, не осуждая, а наоборот — возражая всем, желающим размашисто судить-рядить, цепляя других, но только не себя…

Вениамин Смехов рассказал мне, что выступление Катаева возмутило творческую «передовую среду». Открыто и прямо высказанное государственничество воспринималось как нонсенс. Вскоре, 6 ноября, он увидел Катаева в Париже в нашем посольстве на приеме, посвященном шестидесятилетию советской власти. Там были огромных размеров осетр и актеры Таганки: Алла Демидова, Зинаида Славина, Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Борис Хмельницкий… Катаев приблизился к ним, желая вступить в разговор. Поздравил Смехова с ролью Воланда (в том году в театре состоялась премьера «Мастера и Маргариты»).

— Я с начальством не знаюсь, — внезапно произнес худрук Таганки Юрий Петрович Любимов.

И повернулся к Катаеву спиной…

Если так все и было, то можно подивиться логике «скрытого» диссидентства: отрицать власть, отмечая ее юбилей. Да и с различным начальством, включая главу КГБ Андропова, Юрию Петровичу приходилось именно знаться, притом постоянно — он даже пользовался телефонами правительственной связи.

Что до комплиментов генсеку и похвал СССР, вспомним: в 1973 году не кто иной, как Александр Солженицын в «Письме вождям Советского Союза», призывая к мирной эволюции советской системы в сторону «национальных идей», называл Брежнева «простым русским человеком со здравым смыслом». Многие пассажи Александра Исаевича по патриотическому

пафосу даже перехлестывали рамки тогдашней «Правды»: «Внешняя политика царской России никогда не имела успехов сколько-нибудь сравнимых… От всех этих слабостей с начала и до конца освобождена советская дипломатия. Она умеет требовать, добиваться и брать, как никогда не умел царизм. По своим реальным достижениям она могла бы считаться даже блистательной: за 50 лет, при всего одной большой войне, выигранной не с лучшими позициями, чем у других, — возвыситься от разоренной гражданской смутою страны до сверхдержавы, перед которой трепещет мир. Некоторые моменты особенно поражают сгромождением успехов. Например, конец Второй мировой войны, когда Сталин, без затруднений всегда переигрывавший Рузвельта, переиграл и Черчилля… Нисколько не меньше сталинских успехов надо признать успехи советской дипломатии последних лет… На такой вершине ошеломляющих успехов неохотнее всего воспринимаются чьи-то мнения или сомнения. Сейчас, конечно, самый неудачный момент приступать к вам с советом или увещанием». В этом же манифесте Солженицын признавал реалистичным для России единовластие и опасным поспешное насаждение западной демократии.

Вот и Катаев там и тут, к примеру, в «Алмазном венце» сообщал, что гордится «торжеством своего государства», и называл его «сверхдержавой».

Но если судить поверхностно: один (пострадавший от власти) — отважный бунтарь, другой (с властью ужившийся) — опасливый приспешник…

Возвращаясь к Василию Аксенову — по одной версии, это он ранней весной 1978 года, сидя в соседнем зубоврачебном кресле, предложил тридцатилетнему писателю Виктору Ерофееву выпустить сборник ранее не публиковавшихся художественных текстов. По версии Ерофеева, эту идею Аксенову подарил он.

В 1970-х годах государство начало реорганизовывать цензурную систему. Пирамиду, в которой Главлит подчинялся ЦК, сменяла децентрализация, контроль переходил к «творческим союзам» (впрочем, усилилась роль КГБ). Характерно, что после скандала в 1974-м с разогнанной уличной выставкой неофициального искусства авангардистам выделили зал художников-графиков в Московском горкоме на Малой Грузинской улице.

Альманах «Метрополь» стал вызовом для власти, еще не способной отказаться от запретов, — хотя дело «Метрополя» показывает, как переменились ее реакции со времен дела Синявского — Даниэля. Начальник 5-го управления КГБ Филипп Бобков позднее и вовсе утверждал: «Мы просили не разжигать

страсти и издать этот сборник, такой вопрос, считали мы, лучше решить по-писательски». Он валил все на главу Московской писательской организации Феликса Кузнецова, который в разговоре со мной настаивает: именно в московском управлении КГБ ему показали экземпляр альманаха и попросили что-то предпринять в связи с его готовящейся презентацией.

Кстати, незадолго до скандала, рассказывает Кузнецов, в Нью-Йорке, куда он в очередной раз прилетел во время «обмена культурными делегациями», к нему в гостиничный номер пришел с бутылкой виски «близкий к Госдепу» американец и предложил: «“Не хотели бы вы как знаток современной русской литературы составить антологию произведений, которые лежат в столах писателей, и издать ее в США?” — “Я ответил: вы предлагаете мне нарушить закон”».

Итак, в 1979 году в Москве тиражом 12 экземпляров вышел альманах «неподцензурной литературы».

«Метрополь» печатала летом 1978 года машинистка из «Юности», а одновременно шел процесс вступления в Союз писателей СССР составителей сборника Виктора Ерофеева и Евгения Попова.

Писатель Николай Климонтович, друживший с «метропольцами», приводил «симпатичный устный рассказ» Аксенова: когда в ЦК Катаева и иже с ним обнадежили с «Лестницей», тот пригласил их в ресторан «Метрополь». «И не здесь ли исток названия через полтора десятка лет позже организованного альманаха, — писал Климонтович. — Оба молодых писателя (Евтушенко и Аксенов) были сражены заказом: мэтр потребовал свежих калачей, красной и черной икры и ледяного шампанского-брют. Василий Павлович, усвоив этот урок настоящего барского шика, на деле — вполне купеческого, собирался нечто подобное устроить и на “метропольской” вечеринке». Была и другая версия названия. «Метрополь, столичный шалаш над лучшим в мире метрополитеном», — сообщалось в аннотации. Но то, что альманах стал отголоском несбывшегося катаевского журнала, подтверждает и Попов… Об этом рядом со словами о «Лестнице» писал и сам Аксенов: «“Метрополь” во многом осуществил то, что смутно мерещилось наивным юнцам молодой “Юности”».

Альманах тайно переправили в Америку, в издательство «Арди» и во Францию в «Галлимар». Он содержал как тексты «легальных» авторов (Беллы Ахмадулиной, Владимира Высоцкого, Андрея Битова и др.), так и «непроходных» (например, Юрия Кублановского и Юрия Карабчиевского). Некоторые тексты уже были напечатаны (стихи Вознесенского и рассказ Искандера), а

некоторые заведомо быть напечатаны не могли. Рассказ Виктора Ерофеева назывался «Приспущенный оргазм столетия»: «Женщина, не соблюдающая менструального поста, хуже фашиста. Слово МЕНСТРУАЦИЯ — одно из самых красивых слов русского языка. В нем слышится ветер и видится даль (Даль?)». Здесь же была знаменитая «Лесбийская» уже подавшего на отъезд по «израильской визе» Юза Алешковского.

Трифонов уклонился от участия. Евтушенко не пригласили, вызвав его обиду, — есть мнение, что Аксенов решил, что он «потянет одеяло на себя», памятуя интригу вокруг катаевской «Лестницы». Катаева тоже не позвали… Не та «весовая категория». Герой Соцтруда.

«Отношение его к альманаху было сочувственное», — сказал мне Евгений Попов и вспомнил: «В 23 года, в 1969-м, я послал ему рассказы и получил ответ, написанный авторучкой. Он рассказы хвалил, но говорил, что я слишком груб, и рекомендовал мне писать более изящно и не бросать основную профессию (геолога)»[156].

Альманах направили в ВААП[157], Госкомиздат, издательство «Советский писатель», предложив выпустить его без цензурных правок. Презентацию (вернисаж) назначили на 21 января в кафе «Ритм». Туда позвали работавших в столице иностранных журналистов. В этой связи 20 января авторов альманаха пригласили на расширенное заседание Секретариата Московской организации Союза писателей. Как следует из стенограммы на вопрос: «Текст альманаха за границей?» — Аксенов и все составители дружно воскликнули: «Нет!» Руководство СП требовало от «метропольцев» отменить вернисаж и не передавать альманах на Запад.

Уже 25 января в эфире «Голоса Америки» издатель Карл Проффер (основатель «Ardis Publishing») заявил, что «Метрополь» скоро выйдет на английском и французском. «КГБ справедливо утверждал, что вся игра заранее была построена на обмане», — отмечал Николай Климонтович.

16 мая 1979 года из Союза писателей исключили «организаторов» — Евгения Попова и Виктора Ерофеева (было принято решение не выдавать им членских билетов).

В это время Аксенов, Попов и Ерофеев ехали в Крым. Последний вспоминал: «Аксенов ночью, уже за Харьковом, в своей зеленой “Волге” сказал мне, что он печатает роман “Ожог” на Западе. О как! Я встрепенулся. По тайной договоренности с КГБ Аксенов (с ним доверительно поговорил то ли полковник, то ли генерал) не должен был печатать за границей этот весьма скверный (но тогда ценилась антирежимность) и непонятно как

попавший в КГБ роман (автор дал его почитать только близким друзьям, я тоже попал в happy few). Иначе с ним обещали расправиться и выгнать из страны. Я попросил объяснений. Но, несмотря на то, что за месяцы “Метрополя” я несколько вырос диссидентским званием в узком мире свободной русской литературы, Аксенов отделался неопределенным мычанием».

«Все лето и осень шли переговоры с Юрием Верченко и Сергеем Михалковым (оргсекретарем правления СП СССР и председателем СП РСФСР) о том, что нас восстановят во избежание дальнейшей эскалации скандала», — говорит Евгений Попов. 21 декабря 1979 года их вызвали на Секретариат Союза писателей РСФСР. «Будущий светоч демократии Даниил Гранин объявил, что в Союзе писателей нам делать нечего. “Ребята, я сделал все, что мог, но против меня сорок человек”, — тихо сказал мудрый хитрый Михалков, который наперед знал, что я запомню эти слова и когда-нибудь кому-нибудь о них сообщу. Например, вам. Бондарев все заседание промолчал, лишь жестами, как глухонемой, выражая свое возмущение. Очевидно, не хотел светиться в стенограмме… “Прекрасный подарок Союза писателей к столетию Сталина” — под таким заголовком на следующий день вышло наше совместное с Ерофеевым интервью в газете “Нью-Йорк таймс”».

Сразу же в знак протеста из Союза писателей вышли Аксенов, Инна Лиснянская и Семен Липкин.

22 июля 1980 года Аксенов, его жена Майя, ее дочь Алена и внук Иван улетели в Париж, откуда через пару месяцев перебрались в Штаты.

20 ноября 1980 года Аксенов был лишен советского гражданства.

После выхода из Союза писателей Лиснянская и Липкин поселились в Переделкине у вдовы литературоведа Николая Степанова. «Неожиданно для себя оказались диссидентами, — вспоминал Семен Израилевич. — Часто встречались с прогуливающимся Катаевым, обменивались незначащими словами, но дружелюбно, что я отметил в это трудное для нас время, когда обыватели переделкинских дач и Дома творчества из числа прогрессивных старались с нами не здороваться.

Однажды он подошел ко мне, похожий в своей красной рубашке на Савву Леонида Андреева, и сказал:

— Я прочел вашу “Волю”. Вы новатор в традиции. Большой поэт.

И тут же на улице Гоголя, гуляя со мной, стал читать наизусть запомнившиеся ему строки, восхищался и лирикой, и поэмами. Замечу: о книге, изданной в Америке издательством

“Ардис”, составленной изгнанником Иосифом Бродским, он говорил таким тоном, как будто книга вышла в обычном московском издательстве, вещи весьма не советского содержания оценивал только с художественной стороны, как бы не замечая их политической направленности…

Я понимаю, что некрасиво писать о том, как тебя хвалят, но потому так отважно, не боясь насмешек, сообщаю мнение Катаева о книге, изданной нелегально за рубежом, что мне хочется понять и изобразить сложный, как теперь принято выражаться в таких случаях, характер моего знаменитого собеседника».

«УЖЕ НАПИСАН ВЕРТЕР»

Лето 1980-го. «Новый мир» номер семь. «Уже написан Вертер».

Изначально повесть называлась «Гараж» и была написана в январе — августе 1979 года. Но весной 1980-го на экраны вышла одноименная комедия Рязанова, и Катаев в корректуре изменил заголовок. Сократил с восьми листов до трех.

Одна из версий, почему он это написал: после отторжения «прогрессивной» интеллигенцией его «Алмазного венца» («клюют, щиплют») в отместку решил «сделать погорячее».

Но главное, он писал своего «Вертера» снова и снова (и в «Отце» сквозь 1920-е, и в киноповести «Поэт» 1957-го, и в «Траве забвенья»), рассыпая то крупные осколки, то стеклянную пыль витража разбитой жизни…

Катаева часто упрекали в «бестемье», вернее, в способности притягивать любой сюжет к самодостаточной изобразительности. Но тут была смертельно важная для него тема.

Расстрельная пуля снова и снова вылетала и не могла долететь.

Всё в прошлом. Одесса под большевиками. Богатая семья, дававшая воскресные обеды, рухнула, отец бежал в Константинополь, мать «распродает барахло», а их сын юный художник Дима, нелепо и случайно замешанный в белогвардейском заговоре, арестован. Конвоиры ведут его по улицам. «Одна старушка с мучительно знакомым лицом доброй няньки выглянула из-за угла и перекрестилась. Ах, да. Это была Димина нянька, умершая еще до революции. Она провожала его печальным взглядом». Он ждет расстрела в подвале ЧК. Сдала жена, подосланная и обольстившая гражданка-сексот Лазарева, вместо имени Надя хотевшая назваться Гильотиной, но остановившаяся на Инге, ученица совпартшколы «с маленьким белым шрамом на губе». Мать обреченного Лариса Германовна в надежде на чудо припадает к бывшему эсеру-бомбисту Серафиму Лосю, который когда-то читал у них на даче «что-то свое, революционно-декадентское». Лось отправляется к следователю ЧК Максу Маркину, с которым они бежали с каторги:

«— Вспомни напильник. Может быть, ты посмеешь отрицать, что напильник достал я?

— Напильник достал ты, — смущенно пробормотал Маркин.

— Так подари мне жизнь этого мальчика».

В час ночных расстрелов Маркин уводит приговоренного юношу и выталкивает, отперев *маленькую железную дверь в стене*:

— Уходи и больше не попадайся.

Лариса Германовна видит на афишной тумбе газету со списком расстрелянных, обнаруживает там имя сына и, вернувшись домой, принимает смертельную дозу веронала. Инга, встретив Диму в «общественной столовой», яростно вскрикивает:

«— Значит, контра пролезла даже в наши органы! Ну, мы еще посмотрим.

Ему показалось, что все это уже когда-то было… Неподвижно развевающийся плащ удаляющегося Иуды».

Она врывается к прибывшему в город «особоуполномоченному по чистке органов» Науму Бесстрашному, и теперь в ярости он: «Как! Выпустить на свободу контрреволюционера, приговоренного к высшей мере?»

Бесстрашный, быть может, ключевая фигура повести. Он только что вернулся из революционной Монголии, где всем подряд по его приказу отрезали традиционные косы. «Он стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденновский шлем с суконной звездой… Улыбаясь щербатым ртом, он не то чтобы просто говорил, а как бы даже вещал, обращаясь к потомкам с шепелявым восклицанием:

— Отрезанные косы — это урожай реформы.

Ему очень нравилось выдуманное им высокопарное выражение “урожай реформы”… Время от времени он повторял его вслух, каждый раз меняя интонации и не без труда проталкивая слова сквозь толстые губы порочного переростка, до сих пор еще не сумевшего преодолеть шепелявость. Полон рот каши… А может быть, ему удастся произнести их перед самим Львом Давыдовичем, которому они непременно понравятся, так как были вполне в его духе… Его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию. Перманентная, вечная, постоянная, неутихающая революция. Во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось залить весь мир кровью… У него, так же как и у Маркина, был неотчетлив выговор и курчавая голова, но лицо было еще юным, губастым, с несколькими прыщами».

Первым делом он приказывает арестовать саму Ингу, жену «скрывшегося юнкера».

И вот уже расстреливают раздевшихся донага и ее, и Маркина, и Серафима Лося… А спустя годы на Лубянке расстреливают самого Наума Бесстрашного, целующего сапоги чекистам…

Дома Дима находит мать бездыханной и записку «Будьте вы все прокляты». Он бежит к «военному врачу, который служил в

добровольческой армии, застрял в городе и теперь отсиживался на даче в погребе, ожидая каждую ночь ареста». Верный клятве Гиппократа тот, преодолевая страх, следует за знакомым, которого полагал расстрелянным, но может лишь констатировать смерть. «Дима стоял на коленях возле тахты, целовал мраморно-твердые, холодные материнские руки и плакал, а доктор — в военном кителе со срезанными погонами, в фуражке с синим пятном от кокарды, с докторским саквояжем в руке — гладил его по еще колючей голове и говорил, что ему надо как можно скорее скрыться или лучше всего бежать вместе с ним…»

И вся эта история — переделкинский сон автора…

И опубликована она ведущим литературным журналом Советского Союза!

Публикацию предварял редакционный врез: «В основе этой прозы не конкретные воспоминания, но память о целой эпохе» — опасливая, но глубоко верная формулировка. Катаев написал именно об эпохе, о механизме и метафизике Большого террора, отсчет которого нельзя вести с лубянского подвала, и тогда Наум Бесстрашный предстает уже не «жертвой репрессий», а палачом, получившим воздаяние…

Все началось раньше. Недаром и в «Алмазном венце» повествователь всматривается в парижский «нож гильотины, тот самый, который некогда на площади Согласия срезал головы королю и королеве, а потом не мог уже остановиться…».

Два вождя революции — один на портрете, другой в кино — пожирают былое. «Вместо царского портрета к стене был придавлен кнопками литографический портрет Троцкого с винтиками глаз за стеклами пенсне без оправы»… «Черный язык оборванной ленты слизал с экрана глаза Мозжухина (русского актера, покинувшего Россию в 1920 году. — *С. Ш.*), и тотчас на мелькающем экране показался худой, измученный болезнью Ленин. Он ходит взад-вперед по начисто выметенному кремлевскому двору, по его мостовой и плитам, между Царь-пушкой и Царь-колоколом…»

В «новомирском» врезе, написанном лично главным редактором Сергеем Наровчатовым, Катаева даже объявляли фантазером: «В ней, этой памяти, причудливо соединились увиденное, пережитое, перечувствованное, прочитанное и — домысленное, нафантазированное, угаданное». Редакция пыталась списать все на отдельные «искривления и нарушения законности»: «Повесть старейшего советского писателя В. Катаева, свидетеля и очевидца тех времен, самым своим острием направлена против врагов революции. Сегодня в связи с оживлением троцкистского охвостья за рубежами нашей родины,

в накале острой идеологической борьбы гневный пафос катаевских строк несомненно будет замечен. Наше короткое вступление имеет целью привлечь внимание читателя к фактам многолетней давности, незнание или забвение которых затруднит восприятие катаевской повести».

Сумбурное предисловие не случайно и как будто бы адресовано «наверх». Зачем вы навязали этого старика? Его гневный пафос несомненно будет замечен за рубежами в накале борьбы…

Будь воля редакции — Катаева бы не напечатали!

В то время верования советской либеральной интеллигенции сводились к тому, что все плохое пришло со Сталиным (а по стилю воспроизводило «царизм»). Напомню, и перестройка началась с повторения оттепельного лозунга «возвращения к ленинским нормам» и реабилитации казненных участников так называемой «троцкистской оппозиции», превратившихся в героев журнала «Огонек». Но «контрик» Катаев был равнодушен к «похищенному Прометееву огню революции», какие бы левые вихри ни крутили его в Мыльниковом переулке.

Если бы он протащил в прозу осужденные партией «сталинские репрессии» — его бы лобзали и ласкали. Но он-то внаглую, с обезоруживающей трагически-лунатичной усмешкой одиночки долбанул прямиком по «комиссарам в пыльных шлемах»…

Убежден, «Уже написан Вертер» в «Новом мире» 1980-го (с радикальным замахом на весь большевизм) имел не меньшее политическое значение, чем «Один день Ивана Денисовича» в том же журнале в 1962-м.

Катаева не приняли. Он вломился на системное поле, ни с кем не считаясь, не по свистку, когда еще было нельзя, и оставил позади официально-прогрессивную команду, которая с еще большим негодованием принялась швырять в его старческую спину проклятия…

За эту смелую свободу многие — по стайной цепочке — по сию пору не могут его простить.

Критик Наталья Иванова отмечает: «Кем-кем, а либералом советского образца Катаев не был (однако либеральная общественность была абсолютно уверена, что Катаев — “свой”, и именно поэтому столь болезненно отреагировала на “Вертера” — соответственно, как на измену)… Он не посчитался и с общественным мнением — в том числе той группы, которую сам и взрастил. Плюнул в самую душу шестидесятникам — “Вертером”, не оставлявшим сомнений в его почти физиологической ненависти к большевизму. Да и от

антисемитских подозрений в еврейском происхождении (от одесского акцента он до конца жизни так и не избавился) Катаев здесь отрекается совсем недвусмысленно».

«Прочел повесть В. Катаева “Уже написан Вертер”, — писал в дневнике за 11 июля 1980 года критик Игорь Дедков, до самого конца советской власти хваливший Солженицына за антисталинизм и порицавший за антиленинизм. — Такое впечатление, что это инспирированная вещь. В ней есть некое целеуказание: вот кто враг, вот где причина былой жестокости революции. Троцкий, Блюмкин (Наум Бесстрашный), другие евреи в кожанках… Страшные видения некоего “спящего”… Однако это страшные видения глубоко благополучного человека, который наблюдает страдания со стороны (безопасной!) и потому способен заметить, что по щеке терзаемого существа ползет “аквамариновая” слеза…[158] Историческое мышление в этом случае тоже отсутствует; т. е. оно настолько подозрительно и нечистоплотно, что все равно что отсутствует… И неожиданная в старике Катаеве злобность, и бесцеремонное упрощение психологии героев (на каких-то два счета)». 5 октября Дедков привел отзыв критика Лазаря Лазарева: «Белогвардейская вещь». И соглашался: «Я подумал, что это, пожалуй, правильно: не антисоветская, ни какая другая, а именно белогвардейская, с “белогвардейским” упрощением психологии и мотивов “кожаных курток” и с налетом антисемитизма».

1 июля 1982 года Валерий Кирпотин записал: «Пошел к Катаеву, с некоторой неохотой, но решил — неудобно, многие слишком презрительно говорят о нем… Зашла речь о его повести “Уже написан Вертер”. Я прямо сказал о своем отношении. Катаев стал говорить о ЧК с такой же злобой, как одесский обыватель 1919–1920 гг. Настаивает на том, что “военный коммунизм” — дело рук Троцкого. Я сослался на Ленина. Катаев мне:

— Прочли бы Троцкого, тоже нашли бы обоснование “военного коммунизма”. Ты сам был троцкистом.

Попрощались за руку, но я, конечно, больше к нему ни ногой».

Александр Рекемчук, в то время член редколлегии «Нового мира», так вспоминал историю появления катаевской повести: «Может быть, самое яркое из созданного им. И наверняка — самое скандальное (во всяком случае, тогда это было шоком). Заставившее многих его почитателей отшатнуться, отпрянуть в негодовании… Я был в числе отпрянувших. Больше того: я был в числе тех, кто возражал против публикации этой повести в “Новом мире”. Между прочим, тогдашний главный редактор журнала Сергей Наровчатов тоже был смущен прочитанным

текстом и, как обычно, когда в редколлегии возникали споры, повез его куда-то, говорят — в ЦК КПСС, говорят, что к самому Суслову. И оттуда последовала команда: печатать!.. Сейчас уже трудно поверить в реальность подобной ситуации, когда редколлегия — против, а ЦК — за. Но так было в тот раз».

Действительно, удивительно — ЦК пришлось настоять на свободе художественного слова наперекор свободолюбцам-«новомирцам».

Хотя так ли уж странно?

То, что «Вертера» все-таки разрешили, объясняют благодарной платой за готовность периодически откликаться на «просьбы партии». Отдельными политическими заявлениями (впрочем, кто сказал, что совершенно неискренними?) Катаев завоевывал себе право на художественную свободу.

Вот свидетельство журналиста Бориса Панкина, который прямо назвал фамилию Суслова: «Я послал рукопись в ЦК, — тонко улыбаясь, рассказывал мне Валентин Петрович. — Есть там человек. — Он пристально посмотрел на меня. — Очень большой человек. Я к нему обращаюсь, когда уже вот так. — И он совсем по-одесски, по-молодому, лихо провел ребром ладони по кадыку. — Помогает. Позвонили от него и сказали — вещь будет напечатана».

«Да, так он еще никогда не писал! — запоздало восхищается Рекемчук. — “Урожай реформ”. Косы. Лев Давидович. Нет, это не про Чубайса. Того еще не было и в помине». Он спрашивает себя, перечитывая повесть: «Что же нас — меня, в частности, — заставило тогда ее отвергнуть?» — и отвечает: «Она была слишком хорошо написана».

Писатель Николай Климонтович припоминал «забавный случай», который даже его, «воспитанного в сугубо либеральном духе, несколько покоробил». В редакции «Нового мира», «оказавшись в кабинете наедине с одной из самых прогрессивных редакторш журнала» (очевидно, Дианой Тевекелян), он поздравил ее с «очень хорошей» повестью, «полагая наивно, что делаю комплимент»: «Каково же было мое смущение, когда дама внятно отчеканила: “А я знаю людей, Коля, которые тем, кто хвалит эту гадость, руки не подают…” Лишь позже выяснилось то обстоятельство, что хитрая лиса Катаев, отлично зная, что такое оскал русского либерализма, организовал дело так: повесть была спущена Наровчатову сверху».

Сама Тевекелян так писала в мемуарах: «С Катаевым связан, пожалуй, единственный серьезный конфликт между Наровчатовым и рабочей редколлегией. Почти все высказались против публикации повести “Уже написан Вертер”. Повесть

появилась все-таки, правда, спустя время. Автор получил благословение Суслова».

Другой тогдашний «новомирец», в 1981 — м возглавивший журнал Владимир Карпов, вспоминал: «В тот день привезли в редакцию очередной номер “Нового мира”, в котором был напечатан “Вертер”. Я принес его и вручил Валентину Петровичу. Он не верил своим глазам! Потом опомнился, стал меня обнимать и целовать.

После этой публикации Катаев относился ко мне с особенной нежностью, хотя заслуги моей в “пробивании” этой повести не было… И вот Валентин Петрович с того дня простер на меня свою благодарность и ласку».

Публикацию надо было обмыть.

«Катаев осторожно, будто священнодействуя, достал из буфета темную бутылку с яркой этикеткой:

— Это настоящий французский коньяк. Я сам привез его из Парижа.

В те дни мы еще не были избалованы импортными напитками, они еще не появились в продаже, были редкостью.

Валентин Петрович налил в хрустальные рюмочки солнечного цвета заветную влагу. Мы чокнулись.

— За вас. За вашу смелость и отвагу. За публикацию “Вертера”».

Когда Борис Панкин спросил Катаева, для чего тот написал «Вертера», ответ последовал в форме тоста.

«— Это было испытание для системы. Я предложил советской власти испытание — способна ли она выдержать правду? Оказывается, способна. Выпьем за нее.

Я пригубил из вежливости. Дети и Эстер Давыдовна пить демонстративно отказались…

— Они, — сказал Катаев, обращаясь только ко мне и словно продолжая какой-то спор, который был без меня, — делают кумира, философа из Троцкого. А он же был предтечей Сталина».

Тогда же Катаев недобрым словом помянул Дзержинского («наверняка был троцкистом»), который, как я упоминал, и приезжал в Одессу инспектировать чекистов, то есть и был историческим прототипом Бесстрашного.

Но испытание советская власть выдержала не вся и не вполне.

2 сентября 1980 года председатель КГБ Юрий Андропов направил секретную записку в ЦК КПСС: «В Комитет госбезопасности СССР поступают отклики на опубликованную в журнале “Новый мир” (№ 6 за 1980 год) повесть В. Катаева “Уже написан Вертер”, в которых выражается резко отрицательная

оценка этого произведения, играющего на руку противникам социализма. Указывается, что в повести перепеваются зады империалистической пропаганды о “жестокостях” социалистической революции, “ужасах ЧК” и “подвалах Лубянки”. Подчеркивается, что, несмотря на оговорку редакции журнала относительно троцкистов, в целом указанное произведение воспринимается как искажение исторической правды о Великой Октябрьской социалистической революции и деятельности ВЧК.

Комитет госбезопасности, оценивая эту повесть В. Катаева как политически вредное произведение, считает необходимым отметить следующее.

Положенный в основу сюжета повести эпизод с освобождением председателем Одесской губчека героя повести Димы, оказавшегося причастным к одному из антисоветских заговоров, и расстрелом за это самого председателя губчека не соответствует действительности…[159]

В описываемый период, а он обозначен исторически вполне определенно — осень 1920 года, председателем Одесской губчека был М. А. Дейч. Он участвовал в революционном движении с 15 лет. В 1905 году за революционную деятельность был приговорен к смертной казни, замененной затем пожизненной каторгой. С каторги бежал в Америку, где был арестован за выступления против империалистической войны. После освобождения из заключения весной 1917 года возвратился в Россию. После Октябрьской революции работал в ВЧК. Возглавляя с лета 1920 года Одесскую губчека, успешно боролся с белогвардейско-петлюровским подпольем и бандитизмом, за что в 1922 году был награжден орденом Красного Знамени. Впоследствии работал на различных участках хозяйственного строительства, был делегатом XVI съезда партии, на XVII съезде партии избран в состав комиссии Советского контроля. В 1937 году подвергся необоснованным репрессиям и впоследствии был реабилитирован…

Написанная с субъективистской, односторонней позиции повесть в неверном свете представляет роль ВЧК как инструмента партии в борьбе против контрреволюции».

Суслову, по видимости, и благословившему публикацию «Вертера», пришлось наложить резолюцию:

«1. Ознакомить тт. Шауро и Зимянина.

2. Тов. Шауро.

Прошу переговорить».

17 сентября Василий Шауро, завотделом культуры ЦК, записал: «Товарищу М. А. Суслову доложено о принятых мерах».

Главной мерой стал строжайший запрет на упоминание

повести в печати: ни единого отклика, словно ничего не было. Издательство «Художественная литература» не включило повесть в десятитомное полное собрание сочинений Катаева, выходившее в 1983–1986 годах…

Публично все молчали, но гудели между собой. Разве что писатель Григорий Бакланов с трибуны пленума творческой интеллигенции Москвы вопрошал, как мог автор «Вертера» намекать, что случайно не отправился в другие миры, то есть за границу…

Вспоминавший об этом высказывании поэт Сергей Мнацаканян добавлял: «С поразительным эффектом повести пришлось столкнуться и мне. Я тогда работал редактором газеты “Московский литератор”. Однажды, когда в газете печатался отчет с собрания прозаиков Москвы, меня вызвали к цензору. Оказывается, существовало постановление о том, что в прессе не допускается упоминание повести “Уже написан Вертер”. А в отчете несколько раз выступающие, причем положительно, обращались к этому произведению. Мне как редактору предложили это упоминание снять».

Станислав Куняев вспоминает, как заказал в родной калужской областной библиотеке тот самый номер «Нового мира» и «открыв его, ахнул»: «Страницы 122–158 журнала были аккуратно вырваны, что называется, под корешок».

«Когда повесть была написана, — вспоминает киевский филолог Вадим Скуратовский, — мне, тогда беспросветному литературному аутсайдеру, позвонили из “Литературной газеты” и осторожно спросили, как я к ней отношусь. Я ответил несколько гиперболически: пожалуй, это — лучшее из всего, что я когда-либо читал на всех известных мне языках, всех известных мне литератур всех их периодов… Мне тотчас же заказали рецензию. Но не успел я ее дописать, как в редакцию ворвалась стоустая литературная молва самой высокой либеральной пробы: повесть-де антисемитская, сомнительный автор и сомнительная направленность». Рецензию запретили.

Катаев взбесил не только легальных «прогрессистов», но и нелегальных. В архивах общества «Мемориал» за 1981 год хранится статья «Катаев и революция» самиздатовского публициста Марка Волховского[160]. «Выдумаете, автор “Нового Вертера” антисемит? Боже упаси! — насмешничал рецензент. — Он просто противник международного сионизма равно как и других иноземных влияний… Слова матери Вертера: “Будьте вы все прокляты!” должны быть адресованы слюнявым Робеспьерам, местечковым Сен-Жюстам, которым предстоит еще целовать начищенные сапоги… Эти самые сапоги оказываются чем-то

вроде справедливого возмездия. Так называемый культ личности Сталина тем самым оправдывается. Он лишь расплата за романтику мировой революции, с которой носились Троцкие, Радеки, Блюмкины и местечковые чекисты…» Волховской делился «чувством брезгливости, с которым закрываешь эту книжку некогда честного журнала».

Какое трогательное, пусть и невольное, единодушие с председателем КГБ СССР!

После выхода июньского «Нового мира» Катаев объявил, что устраивает банкет в ЦДЛ на открытой веранде, и позвал туда всю редколлегию журнала.

«Он приглашал всех, в том числе и тех, кто был против, — рассказывает Рекемчук. — Но мы, те, кто были против, решили не идти. Чтоб не лицемерить. Нет — и баста. И надо же такому случиться: я был как раз в тот день в клубе писателей — куда-то ехал, собирался где-то выступать, — и вдруг на затейливом крыльце олсуфьевского особняка, уже на выходе, столкнулся с Катаевым.

Он обрадованно, отечески возложил мне на плечо свою смуглую стариковскую кисть:

— Значит, вы все-таки пришли?

— Нет, я не пришел, — заметался я. — Мне просто нужно ехать в одно место… я здесь совершенно случайно.

— Но — может быть?.. — он заглянул мне в глаза.

— Нет-нет, извините, Валентин Петрович.

— Послушайте, — сказал он, — там будет хорошая выпивка, приличная еда!

Он знал мои слабости.

— Нет-нет, — сказал я. — Большое спасибо. Но не могу… До свиданья!

И сбежал.

Конечно же, он обиделся».

Когда в январе 1982 года Кирпотин спросил Катаева по поводу новой прозы: «Опять какого-нибудь жида к ногтю прижимаешь?» — собеседник «чуть-чуть растерялся, потом ответил: “Нет, второй раз может не сойти”».

Тогда же литератор Василий Субботин наблюдал выступление Катаева в конференц-зале Литинститута — похоже было, что «саму эту встречу устроили, чтобы высказать всю ту ерунду, которой уже достаточно он наслушался». По Субботину, после первого же вопроса «в агрессивной форме» от одного из молодых людей «Катаев без улыбки, но сдержанно резковато смахнул его, словно муху со стола. Остальные, как видно, поостереглись, не полезли».

Надо сказать, все упреки в антисемитизме автор повести отвергал решительно.

Он ничего не преувеличил, не покривил против правды, честно показал кабинеты и застенки, сквозь которые прошел, и тех, кого видел… «Надо иметь в виду, что аппарат ЧК в тексте просто одно в одно списан с реальности 1920 года», — сообщает историк Немировский и иронизирует, что обидеться на повесть могли бы и русские. Диму арестовывает явный славянин «в сатиновой рубахе с расстегнутым воротом, в круглой кубанке». Чекистка Лазарева русачка — «питерская горничная из богатого дома, пошедшая в революцию». Да и распорядитель расстрелом, как будто нарочно, дабы избежать обвинений в предвзятости, — «светлоглазый с русым чубом».

«Чем же провинился злодей (тут ему уже все прошлое готовы были припомнить) Катаев? — писал Александр Нилин. — Он даже и не особенно подчеркивал — впрочем, и подчеркивал, конечно, описанием специфической внешности персонажей, — что в одесской ЧК служили люди определенной национальности. И вот на Катаева с его чекистами (в дальнейшем тоже расстрелянными) ополчились умные и тысячу раз более прогрессивные люди… Но ведь Катаев не из головы выдумал и героев, и ситуацию… Я догадываюсь, что многим свободомыслящим и достойным людям претит сама мысль, что конформист Катаев в своей прозе оказывается более протестным автором, — талант всегда смелее».

Писатель Юрий Карабчиевский вспоминал, что его чуть не выгнали из интеллигентного московского дома, когда он похвалил повесть, которая ему «очень понравилась»: «Об авторе все говорили в один голос, что он человек отвратительный. Не знаю, я с ним не был знаком, но хочется думать, что в нем… был свой страдающий и болящий центр… иначе как бы он смог ощутить и так талантливо выразить чужие страдания».

И все же… Рельефное, натуралистичное, едва ли не карикатурное изображение чернокожаных комиссаров можно было бы списать на художественную манеру Катаева, но сложно отделаться от впечатления, что внешность, речь и деяния персонажей слиты воедино (как, допустим, в «Сыне полка» у фашистов) и повесть — вербальное отражение запомнившегося ему белогвардейского плаката с «чудовищным, ярко-красным Троцким, сидящим верхом на поломанных крестах Кремля», или другого тоже созданного деникинским ОСВАГом[161] под названием «В жертву Интернационалу», на котором главные большевики (Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек, Раковский) собираются заколоть связанную женщину в

кокошнике — Россию. С белогвардейского плаката и желтый часовой: женщина «умоляет впустить ее в комендатуру, но китаец стоит неподвижно, как раскрашенная статуэтка: фаянсовое лицо, черные брови, узкие змеиные глаза, рот без улыбки. Она унижается. Она плачет. Он неподвижен».

Деникинский плакат. А если копнуть чуть глубже — «Одесский листок», «Русская речь»…

Дело не только в свободе от тисков «политкорректности», когда нет запретных образов и художник вправе рисовать, как ему вздумается, хоть колченогого, хоть горбатого, равно как бело-, красно-, желто- и чернокожих.

Есть и другая сторона всей красочной жути «Вертера» — мистерия, сближающая эту прозу с «Мастером и Маргаритой» Булгакова: выпуклое и страстное воссоздание мира Священного Писания. В катаевской «иудаике» присутствуют и убивающие, и убиваемые, и избавители, и даже пророки — в повесть вплетаются стихи Мандельштама и Пастернака (вещь озаглавлена его строкой и им завершается)…

«Перед мальчиком полукругом раскинулась как настоящая черствая иудейская земля… неподвижный, бездыханный мир, написанный на полотне, населенный неподвижными, но тем не менее как бы живыми трехмерными фигурами евангельских и библейских персонажей… и надо всем этим царила гора Голгофа…»

Подосланная предложила себя Диме на Первое мая («Митя, хочешь быть моим первомайским кавалером?»): в это праздничное утро на лавочньк весах некто Кейлис, «лысый пожилой еврей в старорежимном люстриновом пиджаке, педантично взвешивал первомайские пайки ржаного хлеба, нарезая его острым ножом, каждый раз опуская нож в ведро с водой, чтобы липкий хлеб лучше резался». Все не случайно, символично, торжественно, и вот уже первый вечер с обольстительницей Лазаревой оборачивается Тайной вечерей с Иудой — он и она распили «лилово-красное вино в его комнатке. Они пили его из одной кружки. Они заели его ржаным хлебом с кисловатой каштановой коркой… Это был их свадебный ужин, их первая брачная ночь».

Лазарева, конечно, тоже говорящая фамилия: воскрешение Лазаря четвородневного, «он расстрелян и вместе с тем он стоит в столовой и разговаривает со своей женой»…

Что касается вульгарных обвинений и подозрений, можно привести воспоминание писателя Анатолия Алексина: «“Все юдофобы — ничтожества”, — сказал мне Катаев. Я привел в опровержение несколько отнюдь не ничтожных имен. “А сие

исключение, как обычно, лишь подтверждающее правило!” — не сдался Валентин Петрович». И одновременно — преклонение перед Розановым, которого с его же подачи, как и Катаева, записывали и в «филы», и в «фобы». В любом случае Катаев автор двух произведений о родном городе «Уже написан Вертер» и «Отче наш», зачастую воспринимаемых разновекторно (характерно, что и то и другое иногда называют вершинами его прозы).

Станислав Куняев вспоминал звонок от старшего коллеги по Секретариату Московской писательской организации в 1980 году. «Валентин Петрович позвонил из Переделкина и, не найдя Феликса Кузнецова, с раздражением сорвал свою досаду на мне:

— Я не приеду на ваш Секретариат и вообще моей ноги в Московской писательской организации не будет. Кого вы там принимаете в Союз писателей? Ивана Шевцова? Ваш Секретариат войдет в историю как исключивший из своих рядов Василия Аксенова и принявший Ивана Шевцова. Так и передайте мои слова вашему шефу!»

(Замечу, Аксенов покинул союз сам, а Ивана Шевцова, автора небеспричинно считавшегося антисемитским памфлета «Тля», приняли только после того, как у него было издано семь романов. «Валентин Катаев ставил ультиматум — мол, если примут Шевцова, из союза выйду я», — в 2007-м рассказывал сам 87-летний Шевцов журналисту Олегу Кашину.)

«Я не удивился, — сообщает Куняев, — поскольку знал окружение Валюна, национальный состав сотрудников редакции “Юности” в его редакторскую бытность. Как было ему иначе откликнуться на прием в Союз писателей Ивана Шевцова? Только так… Но каково было мое изумление, когда буквально через несколько месяцев в июньском номере “Нового мира” я прочитал трагическую катаевскую повесть “Уже написан Вертер”».

В своих мемуарах Куняев приводит сбивчивое анонимное письмо, пришедшее в Московскую писательскую организацию летом 1980 года:

«Дела Курчавого Маркса бессмертны и сейчас, преклоняясь перед ним, миллионы людей совсем не интересует шепелявил он или картавил. И когда он писал свой великий лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь”, то он не думал, что его заменят на “Бей жидов, спасай Россию”, а по-ваше-му, по-интеллигентному, как написано в вашем бреде сивой кобылы “Будьте Вы все прокляты”. Троцкизм хоть и безусловно ошибочное течение, но в таком тоне о нем писать просто глупо и изображать евреев как гитлеровцев это значит быть ими самому… И хоть у вас вполне арийское лицо, через 50—100 лет вы канете в

вечность, а они, губастые, носастые, останутся в веках пока будет существовать этот мир…»

В этой анонимке — боль, как от ожога. Крик оскорбленной женщины, превратно истолковавшей прочитанное. Но письмо показательное… Слишком многие в этот раз не поняли Катаева…

В июле 1980 года литератор Семен Резник посетил на переделкинской даче Анатолия Рыбакова. «В качестве примера того, как быстро в литературе набирает мощь антисемитская струя, я назвал только что появившуюся повесть Валентина Катаева “Уже написан Вертер…”. Назвал, и тотчас пожалел о своей опрометчивости: ведь у Рыбакова с Катаевым должны были быть давние отношения, а какие именно, я не имел понятия. Куда может повернуть разговор, если их связывает многолетняя дружба и он посчитает нужным “заступиться” за товарища! Но Рыбаков очень резко отозвался о Катаеве, сказав, что хотя они соседи по даче и нередко встречаются, но он давно уже не подает *этому подонку* руки».

В ноябре того же года Резник в письме в «Литературную газету» призывал к бдительности в связи с «разгулом литературного хулиганства на почве национализма и шовинизма». К погромщикам, утверждал он, примкнул и Катаев, «что наиболее ярко выразилось» в его повести: «Это повесть о революции, причем, под соусом сновидений и галлюцинаций, революция представлена как ужас и изуверство, творимые евреями, то есть в полном соответствии с тем, как рисовали ее самые крайние черносотенные идеологи вроде Дубровина, Пуришкевича, Маркова Второго». К письму Резник приложил рассказ-пародию «Коленный сустав»: «Маузер стрелял в посла с местечковым акцентом. Ради Льва Давидовича Наум готов был не только залить кровью всю необъятную Землю и весь бесшумный хоровод светил, но даже доставить секретное письмо[162]. Наум картаво пакостил везде, где только мог. И где не мог… Дима стоял на коленях возле тахты, а доктор со срезанными погонами гладил его по колючим волосам и умолял бежать от гиблых мест, где все говорят с местечковым акцентом… В то грозное время, эру, эпоху Я был увлечен романтикой революции и страшно боялся попасть в выложенный закопченным кирпичом подвал губчека… Как мятежный парус на лазури теплого моря и холодного неба, Муза моего Я наполнялась ласковым ветерком безупречно славянско-арийских образов Гаврика и Родиона Жукова, Вани Солнцева и капитана Енакиева…»

В ответ Резнику позвонил зам главного редактора Евгений Кривицкий.

«— Да, вы правы, но есть мнение, что эту повесть лучше

вообще не критиковать. Чтобы не привлекать к ней внимания.

— Чье это мнение? — спросил я.

— Ну, понимаете, есть такое мнение…»

Вскоре Резник эмигрировал в США и устроился на «Голос Америки». В 1986-м в нью-йоркской газете «Новое русское слово» он не без ехидства делился слухом: «У Катаева были в связи с выходом “Вертера” неприятности: в закрытом ателье Литфонда ему отказались вне очереди сшить пыжиковую шапку».

После появления повести доктор философских наук Соломон Крапивенский направил письма в «Литературную газету» и «Новый мир»: «Меня как читателя и воспитателя молодежи крайне тревожит то молчание, которое складывается вокруг повести В. Катаева… Подчеркну только, что, на мой взгляд, такого контрреволюционного и антисемитского по своему замыслу произведения, маскируемого в то же время под борьбу с врагами революции, наши журналы еще никогда не печатали».

Но вынужденная немота сковала, повторимся, и тех, кто повесть принял и желал похвалить.

«Когда он прочитал “Вертера” маме, она возмутилась шепелявыми евреями: надо убрать», — рассказала мне дочь Катаева Евгения, чей тогдашний муж Арон Вергелис, между прочим, писал на идише.

А дети не поняли, что тут такого — «Папа, оставь». Эстер даже перестала с ним разговаривать. Но он все равно не вычеркнул: «Эста, ну при чем здесь евреи? Я просто пишу, как было».

По утверждению Бориса Панкина, сидевшего в застолье с Катаевыми, дети тоже не приняли повесть и «нападали на папочку».

«Нет, невозможно быть писателем! — вырывается у Катаева вдруг. — Они все от тебя чего-то хотят. Но ведь это же правда, правда… И еще — как я могу быть антисемитом, если у меня жена еврейка и, стало быть, мои дети наполовину евреи. Вот, полюбуйтесь-ка на них».

«МЫ ТОЛЬКО КОМУ-ТО СНИМСЯ»

«В каждом человеке с детства живет война», — сказал Катаев Панкину и вспомнил о недавней встрече на прогулке «с пятилетним существом, которое грозно размахивало игрушечным пистолетом и расстреливало всех и вся вокруг».

15 января 1982 года Владимир Карпов записал в дневнике: «Позвонил Катаев, ему нездоровится, попросил приехать на обед к нему в Переделкино.

— Приезжайте обязательно, кроме хорошего обеда, отдам свой новый “Юношеский роман”.

Эстер Давыдовна действительно приготовила “парадный” обед — телятина, запеченная в духовке. На улице снег, а на столе салат из свежих огурцов и помидоров…

Вручая мне свою рукопись после обеда, Валентин Петрович сказал:

— Я давно хотел написать роман о войне, еще после Первой мировой собирался. Но меня опередили Ремарк, Ромен Роллан, Олдингтон и другие. Я их читал, не хотел повторяться, отложил эту тему. И вот недавно я обнаружил свои письма той поры, вернулись юношеские воспоминания. Очень необычные юношеские мысли — я хотел войны! Там геройство, увлекательные события! Так начиналось, к чему я пришел — читайте сами…»

«Юношеский роман» вышел в том же году в номерах 10–11 «Нового мира». Письма генеральской дочке Миньоне (Ирен Алексинской) от вольноопределяющегося Александра Пчелкина (Валентина Катаева) из действующей армии. Достаточно заглянуть в архивы — почти все эти сюжеты и наблюдения присутствовали в его фронтовых корреспонденциях, но теперь (рука мастера) все обрело новое измерение, оказалось тонко прорисовано, расцвечено, психологически углублено, усложнено деталями, а сквозным сюжетом военного романа в письмах «дорогой Миньоне» стала тоска по другой, по-настоящему дорогой сердцу — Ганзе Траян (Зое Корбул), невысокой и кареглазой, с «незначительным и незапоминающимся» облачком лица: «Если я и был влюблен в Миньону, то поверхностно, как бы буднично, а в глубине, в самой-самой глубине души безнадежно и горько любил Ганзю… Одна яркая, прелестная, как бы внезапно появившаяся из куста сирени, а другая неописуемо никакая, неяркая, незаметная, как та звезда, которую всегда так трудно найти в небе, полном знакомых созвездий».

Как и предыдущая воинская книга мовистского периода

«Кладбище в Скулянах», «Юношеский роман» — это прозрачно-освежающая реалистическая вещь.

В начале 1920-х годов уже москвич Саша Пчелкин в Одессе забрал свои фронтовые письма у умирающей генеральской дочки Миньоны…

Катаев вновь окунулся в то время, когда «превращение исключенного гимназиста в добровольца-патриота совершилось быстро», и вслед за целованием креста и Евангелия его отправили «на позиции» — под обстрелы и ядовитые газы. «Творчески перерабатывая» — сокращая, расширяя, компилируя — послания Алексинской, он пытался передать, как менялся на войне, пока внутренне метался от животного ужаса к жестокому азарту, от мечтательного романтизма к беспросветному унынию, и обратно… «Мои снаряды угодили в скопление немцев, которые тут же разбежались, оставив на месте несколько убитых… Чувствую себя прекрасно. Даже не очень одиноко. Огрубел. Ругаюсь нецензурно и курю махорку. Зато поздоровел. Колю дрова. Хожу по воду. Да! Во время ночной тревоги впопыхах надел правый сапог на левую ногу, а левый на правую. Так и провел возле орудия весь бой».

Война дьявольски глубоко впивается в память деталями. Над орудием сооружена «арка из хвойных веток и над ней буквы, сплетенные тоже из хвои: Б. Ц. Х. (Боже царя храни)»; изнурительная чистка орудий — «самое ужасное следствие войны»; солдаты в песке отливают ложки из раскаленного алюминия; а это кровавый солдатик трясет оторванными кистями («у него в руках взорвалась дистанционная трубка, которую он свинтил с неразорвавшегося немецкого снаряда»); «белобрысый шпион, копающий собственную могилу под наблюдением двух стрелков»; битва батарейцев со вшами, выловленными в складках гимнастерок («Мне и сейчас, уже старику, неприятно вспоминать») и «вереница телег с почерневшими трупами отравленных газами»… Бросок из белорусских лесов на равнины Румынии, где под обстрелом уже собирался выбежать из окопчика, но отправил вместо себя семнадцатилетнего новобранца, который тотчас был убит, а затем «кто-то из орудийной прислуги» выкопал из земли «сгусток запекшейся крови и вынес его на лопате как бы нечто вроде крупной темно-красной печени». И там же — венгерский кавалерист, в которого направил снаряд, увидев в стереотрубу и заорав телефонисту команду бить по цели…

«Я перекрестился, как бы желая изгнать из себя дьявола». А рядом со всем этим адом, в котором выживший неизбежно ощущает себя чертом, восторг по поводу «национальной

гордости» — громадного аэроплана («До сих пор нигде, кроме России, нет такого»): «Вы, наверное, видели в “Ниве” или каком-нибудь другом журнале фотографию государя императора в походной форме на борту “Ильи Муромца”: держась одной рукой за поручень, он стоит на фюзеляже и своими лучистыми глазами смотрит с улыбкой прямо в объектив фотографического аппарата — вот, дескать, какой у нас богатырский боевой аэроплан».

Ближе к финалу оглушенный герой скитается 11 дней, догоняя бригаду с напарником, «телефонистом по фамилии Кац». Образ сложен. Это художник из Витебска, друг Шагала. С одной стороны, Пчелкин сочувствует ему из-за приниженного положения на батарее. «Я был единственным человеком, с которым Кац мог позволить себе обращаться как интеллигент с интеллигентом, называя меня “коллега”…» Но сразу и подпускает юморок: «Хотя и без особого удовольствия, но я принял это обращение и сам называл его коллегой. Коллега Кац». И наконец, художественный произвол — привет от упрямца всем возмущавшимся портретной галереей «Вертера», отстаивание права видеть и изображать, как вздумается: «Небритый подбородок, впалые щеки, поросшие волосами цвета медной проволоки, косящий глаз с бельмом, иронически искривленные губы… Все это производило на меня неприятное, чтобы не сказать отталкивающее, впечатление, но приходилось мириться».

И все эти наблюдения и письма «сиреневой барышне» сопровождают «мучительные приливы неразделенной любви» к кареглазой Дюймовочке (в 1982 году жительнице Лос-Анджелеса Зое Ивановне Корбул исполнилось восемьдесят четыре), «черные мысли» из-за утраты веры, пропажи всякого смысла, и исчезающей прежней родины, и предчувствия новых ужасных бедствий…

«Я вытираю высохшей старческой кистью руки, покрытой гречкой, мокрые щеки, вспоминая свою погибшую молодость».

21 августа 1984 года Катаев написал рассказ «Спящий», появившийся в первом номере «Нового мира» за 1985 год.

Короткий и необычайно выразительный, изумительно сделанный. Пожалуй, новый рубеж мастерства…

Человеку восемьдесят семь, а он может так писать, и больше того, находится в развитии!

Катаев, однажды назвавший себя «влюбленным в весь мир», до последнего ходил-бродил каждый день в любую погоду и так же неотступно тренировал нюх и зрение.

«Случилось так, что в связи с каким-то литературным мероприятием мы с ним и Эстер Давыдовной поехали в Бурятию, — вспоминал Семен Липкин. — Вдвоем гуляли по тайге.

Он наклонился и сорвал цветок. Спросил с подначкой:

— Вот вы перевели бурятский эпос. А знаете, как называется этот цветок?

— Да. Ая-ганга.

— Имеет какое-то отношение к знаменитой реке?

— Не знаю.

Он глубоко, как собака-ищейка, внюхивался:

— Пахнет лавандой».

Александр Нилин, живший с Павлом Катаевым в одном кооперативном доме, однажды был у него в гостях, когда туда нагрянул Валентин Петрович, впечатливший его тем, с каким любопытством он изучал подробности «обстановки квартиры Павлика, куда пришел он впервые (я потом проверил у Павлика, что впервые): его интересовали и обои, и шпингалеты на окнах, и вообще все, на что я, скорее всего, внимания не обратил».

Вот и рассказ «Спящий» весь сконструирован из точных наблюдений.

Если вычленять фабулу, то это история времен австрийской оккупации Одессы 1918 года.

«Белеет парус одинокий», но не революционеров и бедняков, а тех героев, которые были Катаеву, похоже, интереснее…

Прогулка в открытом море на выписанной из Англии, из Гринвича яхте «с косо летящим надутым парусом» в компании молодежи — владельцем яхты Васей, сыном бывшего миллионера, его невестой Нелли, дочерью бывшего прокурора, и ее младшей сестрой Машей, в которую влюблен присутствующий здесь же рассказчик. Нелли осторожно и успешно обольщает некто Манфред, тоже из богачей, «наследник громадного имения в Смоленской губернии». Прошлая жизнь не вернется, но он манит ее уплыть с ним в Италию и обещает достать много денег. И вот Манфред с подельником, нелепым Ленькой Греком, и еще каким-то солдатом-дезертиром пытаются ограбить хозяина ювелирного магазина. Их окружает ревущая толпа и расстреливают чины державной варты. Что ж, Манфред и Ленька не явились на очередную морскую прогулку, и Нелли неприятно удивлена, что обольститель пропал — оказался болтуном и позером…

Но в фабуле разве дело? Сон побеждает все, смешивая и любовь, и смерть.

«Пароходы увозили кого-то подобру-поздорову из обреченного города», а кто-то оставался.

«— Что же все-таки в конце концов с нами будет? — сказала она, не размыкая век, опушенных светлыми ресницами, за которыми угадывалась млечная телячья голубизна.

— А ничего не будет, — с бесшабашной улыбкой сказал я».

И далее:

«— Мы только кому-то снимся, — сказал я.

— Да, мы только снимся, — сказала она.

— На самом деле нас нет, — сказал я.

— На самом деле… — сказала она».

Обращение яви в мираж. Мед забытья склеивает веки и солнечно подслащивает любое горе. Литература как целебный, смягчающий горе сон золотой. Невозможно принять кошмар войн и смут, накрывший страну, и вселенскую катастрофу, на которую обречен каждый рожденный, если не посчитать все это сном.

«Сон» — так и назывался рассказ Катаева об измученном отступающем конном корпусе Буденного, напечатанный в «Правде» 24 февраля 1935 года. «Степь. Ночь. Луна. Спящий лагерь. Буденный на своем Казбеке. И за ним, в приступе неодолимого сна, трясется чубатый смуглый мальчишка с пучком вялого мака за ухом и с бабочкой, заснувшей на пыльном горячем плече». Сон во сне.

Чуковский вспоминал, как однажды уселся на мотоцикл к своему внуку, и тот погнал с бешеной скоростью… Когда они поравнялись с катаевской дачей и хозяином, стоявшим в калитке, Корней Иванович на полном ходу бросил шутку:

— Прогулка перед сном!

Катаев парировал мгновенно:

— Перед последним сном!

«ИКОНА ЛИКОМ ВНИЗ»

Павел Катаев подтверждает, что отец каждое свое произведение переписывал трижды. Так было и с «Сухим лиманом».

В окончательном варианте «между абзацами появлялись просветы, и рукопись от этого становилась словно бы прозрачной… На мой вопрос, что он сейчас делает, отец озорно улыбался, прикладывал ко рту две сложенные ладони и с шумом выдувал воздух, словно бы наполняя невидимый воздушный шарик… Мальчишка, да и только!»

«Сухой лиман» вышел 1 января 1986 года в «Новом мире».

Последняя проза. Предсмертная.

Отмечая «точность и естественность» произведения, литературовед Мария Литовская предполагала: «“Сухой лиман”, несмотря на свое поневоле завершающее место в творчестве писателя, был, возможно, началом следующего, “золотого” этапа его творчества».

В 1960-е годы «бывший мальчик Саша», пожилой членкор Академии наук (в котором угадывается автор), приехал в город детства Одессу и отправился в военный госпиталь навестить больного двоюродного брата, военного врача в отставке.

За братом, «бывшим мальчиком Мишей», проступает двоюродный брат Валентина Петровича Александр Николаевич Катаев.

В «Сухом лимане» у героев церковная фамилия Синайские, как и когда-то в «Отце». «Отпрыски некогда большой семьи вятского соборного протоиерея» мальчишками, балуясь, выкрикивали смешное слово: «Катавасия», между прочим, созвучное фамилии Катаев: «Они тогда еще не знали, что “катавасия” слово церковное. Катавасией называлось песнопение, исполняемое обоими клиросами, выходящими на середину церкви».

Приехавший из Москвы говорит: «Мы с тобой с раннего детства, так сказать, с младых ногтей, сами того не ведая, пропитались запахом церковного ладана… Не исключено, что род наш Синайских уходит в невероятную даль раннего русского христианства».

В разное время критики отмечали у Катаева «старинные» слова и обороты и одновременную выспренность слога, что можно объяснить влиянием «церковного языка». Кажется, его навсегда пропитала таинственная красота того, что в 1918 году он изображал так:

Дым кадильный, как волокна…
И от близости святыни
На душе тепло, а в окна
Нежно смотрит вечер синий.

Ходячий больной ненадолго покидает госпиталь, и двое бредут по любимой Одессе, вспоминая детство и судьбы родных…

Правда и беллетристика перемешаны, как соль и сахар. И все же прототипы прозрачны, а изыскания подтверждают: написано предельно близко к достоверности.

Больше того, в некоторых местах Катаев называет всех своими именами: бывшая гувернантка из Вёве, ставшая Зинаидой Эммануиловной, ее дочь Надя, ее муж петербургский военный врач Виноградов, их дочь Алла…

Да, Надя, «попав в черный список», сгинула не в лагерях, а просто была расстреляна, а Аллочка не выходила за остзейского барона. И нет подтверждений, что ее сестра Зина (в повести Лиза) до революции вышла за грека, которого через несколько лет погубила «неизвестная форма тропического гнилостного заболевания еще библейских времен»… А быть может, грек присочинен, чтобы возник пятилетний Жорочка (то есть Женя Катаев), который по обычаю нес икону перед невестой и положил ее в церкви на аналое ликом вниз — ужасная примета.

Московский гость говорит:

«— Но ведь потом погиб и наш Жора, тот самый мальчик, который положил икону ликом вниз… Значит, смерть ходила за ним тридцать пять лет…

— Ты веришь в приметы?

— Приходится».

В ответ военврач называет его «идеалистом, может быть, даже мистиком» и добавляет: «Неужели ты до сих пор не уяснил себе, что за всеми нами гоняется смерть?»

Сплошные смерти, и только двое уцелевших.

«У каждого из них имелась своя семья… Были свои семейные сложности, запутанные отношения, но все это как бы не шло в счет. Они чувствовали себя одинокими и признавали настоящей своей родней только друг друга, так сказать, последними из рода Синайских».

Павел Катаев подтверждает: «Папа и его двоюродный брат “дядя Саша” очень тепло относились друг к другу, отец навещал его в Одессе…»

В 1976 году в Переделкино вместе с женой приехал Сергей Катаев, внук Василия Николаевича, погибшего в Одессе в 1920-м,

начинающий писатель, показать свою прозу Валентину Петровичу, и прямо там у его жены начались роды — словно бы символ того, что их роду нет переводу…

Можно сказать, это христианская по духу повесть. Катаев возвращается к герою «Отца», своему отцу, показывая его подражателем Христовым. Во время разрухи Гражданской войны он сделался простым банщиком: «…когда ему приходилось мыть грязные ноги больных солдат и стричь отросшие ногти на этих ногах, то ему представлялся некий церковный обряд омовения ног, когда архиерей посреди церкви на глазах у всех мыл ноги своему причту». И рядом целиком воспроизводится великопостное стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны…».

Военврач держит под мышкой томик и цитирует из него знаменитое, написанное незадолго до смерти письмо 1836 года («Пушкин полемизирует с Чаадаевым, который, как тебе, может быть, известно, был привержен к католичеству, к западничеству»): «…Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно?»

Конечно, самый поздний Катаев не случайно обратился к этому позднему пушкинскому тексту с хрестоматийными словами: «Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется)… Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Пальмовые ветки, заменявшие в Одессе вербы, привозили из Палестины и продавали на Афонском подворье. «Их обычно закладывали за иконы, и они стояли там целый год рядом с бутылочкой со святой водой». Изначально «Сухой Лиман» назывался «Ветка Палестины» (как и «Белеет парус одинокий», вновь по-лермонтовски). Но «Новый мир» попросил изменить название. Другой вариант названия — «Икона ликом вниз».

Откликаясь на повесть в эмигрантском журнале «Грани» из нью-йоркской больницы, 81-летняя фольклорист и литературовед Елена Тудоровская в своей предсмертной рецензии восклицала: «Даже удивительно, как опубликовали в советской печати это своеобразное произведение» и обозначала «крепкую связь с самым духом христианства» как «идею, важнейшую в повести»: «Страницы насыщены символикой Церкви, символикой христианства…Члены семьи называли Сухой лиман, где они жили

летом, Геннисаретским озером. Значит, они сами сравнивали себя с последователями Христа… Не имеет ли в виду В. Катаев и себя в качестве Ученика?»

Эта повесть была как бы благоговейным возвращением в детство и одной из первых ласточек религиозного ренессанса, случившегося в стране через некоторое время…

Узнав, что дочь заходит в церковь поставить свечки, он сказал: «Ты думаешь, все так просто? Вера — это ответственность».

Катаев часто повторял: война убила его веру.

Однако в «Обоюдном старичке», «новомирской» статье 1985 года, посвященной Толстому, на которого равнялся, указывал, любуясь: тот состоял из прямых противоречий, в том числе по вопросам веры и неверия.

В «Разбитой жизни» он вспоминал рыбную ловлю — приманивание бычка на креветку, уверенного, что ловца не существует: «бога нет…»: «Господи! — думал я тогда (или, может быть, теперь?). — Неужели чья-то громадная рука держит и меня, как маленького, ничтожного бычка, сжимая так крепко в своем невидимом кулаке, что мое сердце трепещет, сжимается и каждый миг умирает».

«ЧЕРНЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»

Драматург Самуил Алешин вспоминал, как однажды гулял в Переделкине вместе с Катаевым и Львом Славиным (напомню, тоже выпускником Пехотного училища, участником «Зеленой лампы», ЮгРОСТА, сотрудником «Гудка», переделкинцем и т. д.): «Оба одесситы, вспоминали молодость, а я помалкивал и слушал, как они изощрялись друг перед другом». Два приятеля обратились к стародавней кондитерской, которую посещали мальчишками. «А помнишь, Валюн?» — Славин говорил о фисташковом пирожном, в котором был особенно хорош крем. «Затем заговорил Катаев. “А помнишь, Левчик?” — так тоже начал он, и полились, нет, запорхали, такие воспоминания, что я почувствовал, как стали физически возникать те самые пирожные… Воспоминания Катаева сопровождались постанываниями Славина, среди которых только и звучало: “Ох, Валюн!.. Ну, Валюн…” Катаев живописал, и вы ощущали у себя во рту похрустывание миндального пирожного. А потом ваши зубы погружались в пропитанную ромом “картошку”. А затем во рту таяли лепестки “наполеона”, прослоенного кремом, легким, как морская пена. А потом… Короче, когда мы дошли до конца аллеи и повернули обратно, я не только успел побывать у мадам Розы, но хоть и подошло обеденное время, а об очередной трапезе не могло быть и речи. Я был сыт и, как мне казалось, даже прибавил в весе».

В 1976 году в «Новом мире» восьмидесятилетний Славин выпустил имевший успех роман «Арденнские страсти» о последнем наступлении Гитлера на Западном фронте. Юбилей Славина отмечали в ЦДЛ с Катаевым в президиуме. В восемьдесят пять он отказался от официального банкета и праздновал дома в узком кругу друзей, среди которых был и Катаев.

Лев Исаевич Славин («наследник» в «Алмазном венце») умер 4 сентября 1984 года.

На его похоронах кто-то тронул вдову Софью Наумовну за плечо. Она обернулась — Катаев со слезами показывал ей палец:

— Один… Я остался один.

Он стал чаще давать интервью, которые были все откровеннее или провокативнее. То, чем раньше он мог фраппировать в личном общении (и что потом пересказывали с квадратными глазами фарисеев), теперь попадало и в прессу. «Где и как вы находили героев?» — спросил его в 1983-м журналист «Известий». «У меня нет героев, — отрезал Катаев, — то есть герой всегда один — это я сам…» В 1984-м в «Литературной газете» он, с

детства убежденный, что будет писателем, и знавший себе цену, бравировал самоотречением: «Было время, когда считал себя неплохим писателем. Но сейчас у меня ощущение, что я писатель плохой. Стал даже подумывать о том, что, может быть, мне следовало бы выбрать для себя другую профессию — учителя, военного, инженера…» В 1986-м в «Советской культуре» вышло последнее интервью Валентина Петровича. На вопрос: «А кого вы любите из современных писателей?» — назвал Толстого: «Мне было уже 13 лет, когда он еще был жив» (правда, затем добавил: «С удовольствием перечитываю Валентина Распутина». Книга повестей Распутина — последнее, что Катаев читал перед смертью).

В конце 1984 года в нью-йоркском журнале «Семь дней» появился фельетон Сергея Довлатова «Чернеет парус одинокий». Он препарировал катаевское интервью «Комсомольской правде», в котором тот на вопрос журналиста о Ленине похвалил создание СССР и электрификацию. А что должен был ответить Герой Соцтруда советскому журналисту?

Бурная реакция Довлатова, асимметричная дежурным фразам из газеты, увы, была вкладом в дружную кампанию кройки и шитья черной репутации Катаева — будто бы бездушного приспособленца…

«Может быть, дали высказаться какому-нибудь уцелевшему сталинисту, отставному майору лагерной охраны или, наконец, только что восстановленному в партии Молотову?..» — вопрошал Довлатов, приписывая Катаеву «унизительный лакейский гимн», правда, при этом добавляя, что тот — «один из самых популярных и (будем объективны) один из самых талантливых русских прозаиков наших дней…». А не именем ли Ленина через несколько лет клялись ударники перестройки из того же «Огонька», которых никто не обзывал за это лакеями? Ария обличителя достигала ультразвука: «Катаев, общепризнанный талант, прозаик европейского уровня, глубокий старик, достигший всех мыслимых высот признания и благополучия, что могло заставить его пойти на такое всенародное унижение?! Поневоле начинаешь задумываться о таинственном феномене этой личности…» И разгадка приходила. У Катаева «литературных дарований», размышлял Довлатов, «не меньше, чем у Солженицына», вот он и переживает, что обделен успехом нобелевского лауреата, и поэтому соглашается быть «пугалом в глазах окружающих»… Да и какие блага имеет Валентин Петрович к концу жизни? «Коллекция зажигалок, машина и дача в Переделкине, которую в любой момент начальство может отобрать!..»

Коллекции зажигалок у Катаева не было. У него вообще не было хобби. Одно постоянное увлечение — литература. А в социально-политическом отношении он так и остался ни с кем: не диссидентствовал, не хотел уезжать, не вливался во внутрисоветские течения «либералов» и «русофилов». По большому счету, именно он мог повторить довлатовское: советский — антисоветский — какая разница…

«Иногда я думал, имеем ли мы вообще право трогать Катаева? — вспоминал Гладилин литературно-политические штудии на радио «Свобода». — Он, чудом уцелевший осколок иной эпохи, со своей системой ценностей, и ему отказаться от этого — означало отказаться от собственной жизни… Как написал бы сам Катаев, после отступа, с новой строчки, цитируя автора двухтысячелетней давности:

Не судите, да не судимы будете!»

Но то, что перемены необходимы, Валентин Петрович понимал отлично.

Он ждал и предчувствовал время, когда сможет писать без оглядки и издательство не заставит его выкидывать из книги «Вертера», а журнал — переименовывать «Ветку Палестины»…

ВРЕМЯ ГОРБАЧЕВА

11 марта 1985 года Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. 15 мая 1985 года начался вояж нового советского главы по стране, который сам он позже назовет «первым актом гласности». «Всем нам надо перестраиваться, всем», — заявил он во время неформального общения с ленинградцами. Энергичный, открытый лидер — нравился.

Весной 1985-го критик Игорь Дедков встретил Катаева во время переделкинской прогулки: «Он шел высокий, в темном пальто, худой, глядя перед собой и чуть-чуть вверх, никого не замечая… Шел человек — очень старый, но достаточно уверенно, без палки, погруженный в себя».

10 октября 1985 года (по стопам генсека!) приехав в Ленинград, Катаев выступал в Доме писателя. Он рассказал о своем «общении с народом»: на восьмом этаже гостиницы «Ленинград» подошла немолодая женщина, пережившая блокаду, и попросила написать книгу для внука… «Взрослым писателем, так сказать, я стал последнее время… Но пришел к убеждению, что никакой разницы между детским и взрослым писателем нет».

«Поездка была прекрасной, — сообщил он «Литературной газете». — На Сенатской площади (бывшей Сенатской конечно, сейчас она площадь Декабристов) вспомнились “Петербургские строфы” Мандельштама:

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка…»

2 сентября Горбачев дал доброжелательное интервью журналу «Тайм» вновь со словами о «перестройке», 5 ноября — американский президент впервые со времен «оттепели» дал интервью советской прессе. 1 января 1986 года Рейган поздравил граждан СССР с Новым годом (пятиминутку любви транслировала программа «Время»), а Горбачев поздравил американцев…

В тот же день, 1 января, в «Литературной газете» вышло большое интервью с Катаевым: «Я слушал выступление М. С. Горбачева на встрече с ленинградцами. Слушал с большим интересом. Он остро говорил о необходимости очистительной работы в обществе — избавлении от лжи… Мне услышалось в его

выступлении то, что Блок называл “музыкой революции”… И тогда у меня возникло желание перечитать статьи Блока, написанные им в начале века, — всю серию статей под общим названием “Россия и интеллигенция”. Достал с полки Блока, выпущенного издательством “Алконост” в 1923 году, отыскал нужный мне том и принялся за работу. Тонкая бумага пожелтела от возраста, но шрифт не потускнел — остался ясным и четким. Крутое время. Переломные судьбы…»

Да, именно новая революция обрушилась на государство (второй раз в XX веке его опрокидывая), и Катаев чутким ухом уловил первые звуки этого сумасшедшего вальса… И недаром вспомнил столь сложного для него «революционного Блока». В том же интервью он как бы провидчески предупреждал: «Экономическое сотрудничество с Западом — это, конечно, неплохо, но надо же отличать нужное, необходимое, самое необходимое нам, а не тащить все, что предложат… Жаль, конечно, что у нас пока не делают таких козеток, как финские, и таких машин, как “мерседес”. Но если ты любишь красивую мебель или красивую посуду, постарайся, чтобы это делалось в твоей стране».

На Катаева из эмигрантского далека наскочил давний недоброжелатель Семен Резник, который 8 февраля 1986 года частил, как пономарь, в нью-йоркской газете «Новое русское слово»: «Насколько я успеваю следить за советской прессой, это первый такой откровенный и циничный подхалимаж известного писателя к новому генсеку. Валентин Катаев спешит заложить камень в основание культа личности нового “вождя”…» Резник предполагал, что «у гробового входа» писатель надеется «получить к девяностолетию не “просто” еще один орден Ленина, а второго “Героя”».

Но рапповские нападки продолжались и дома. В 1985-м критик Александр Овчаренко в книге «Большая литература: Основные тенденции развития» разоблачал «замаскировавшегося»: «Экспериментальность в последних произведениях Валентина Катаева тотальна и соединяется с очень субъективным взглядом на действительность. По одному этому она не может не настораживать, так же, впрочем, как безудержные славословия в честь этих экспериментов Валентина Катаева со стороны непримиримых противников социалистического мира и социалистического реализма».

В январе 1986 года главред «Нового мира» Владимир Карпов в письме журналисту Борису Панкину по поводу его готовившегося в журнале эссе о Катаеве запрещал упоминание «Вертера», ссылаясь на руководителя Главлита Павла Романова:

«Вы, наверное, в курсе дела по поводу того, что у нас произошло после публикации этой вещи? Если нет, напомню: о ней в печати не появилось ни одной строки и табу до сих пор не снято».

Тем временем Валентину Петровичу исполнилось восемьдесят девять.

Журналистка Валентина Жегис, приехавшая к нему в день рождения, рассказывала, что на ее поздравления он ответил:

— Ну что вы? Это же не крутая дата! Вот в будущем году…

Он хотел жить и жить…

Катаев не без самоиронии (и самодовольства) называл свою жизнь «чрезмерно затянувшейся».

«Уже тридцать три — и жизнь прошла!»…

В 1983-м говорил «Известиям»: «Я, признаться, собирался прожить лет до пятидесяти. Так и строил свои жизненные и литературные планы. А вышло — дольше».

«Было бы время, нашлись бы силы, прожил бы до ста пятидесяти и еще чуточку», — откровенничал, вампирически усмехаясь, с литератором Борисом Галановым.

И, ах, как жалко, честно говоря, что не прожили, Валентин Петрович!

Какую прекрасную (и неожиданную! какую? загадка!) литературу могли бы вы написать, пожив еще. Пускай не пятьдесят, хотя бы несколько лет…

«Иногда мне хочется поскорее стать стариком», — с детским задором поведал он в начале 1930-х сценаристу Александру Мачерету.

Он никогда не был взрослым, поэтому так и не состарился.

«В тот январский снежный вечер, — рассказывала Жегис, — мы сидели в уютной гостиной переделкинского дома, пили чай с именинным пирогом, приготовленным Эстер Давыдовной, а затем по скрипучей деревянной лестнице поднялись в его рабочий кабинет. Здесь царил все тот же порядок, тишина, привычные вещи — массивный письменный стол, напоминающий корабль, готовый к отплытию, лампа под матовым абажуром, чистые листы большого блокнота, на которых всегда писал Катаев».

В Катаеве, запомнил общавшийся с ним в ту зиму журналист Евгений Гильманов, «была та самая благородная простота, к которой люди идут всю жизнь и не так уж часто приходят. И еще в нем был какой-то чисто юношеский вызов быстротечному времени — в каждом его жесте, порывистом движении…».

В 1944 году Катаев написал:

Ах, какие сугробы
За окном намело.

Стало в комнатах тихо,
И темно, и тепло.

Я люблю этот снежный,
Этот вечный покой,
Темноватый и нежный,
Голубой, голубой.

И стоит над сугробом
Под окном тишина.
Если так же за гробом,
Мне и смерть не страшна.

Зимой 1986 года его увезли из Переделкина в Москву.

«КОГДА Я БУДУ УМИРАТЬ…»

Проза Катаева — одно из оправданий жизни.

Понимайте, как хотите. Мне так кажется.

«У каждого человека в детстве — раньше или позже — всегда внезапно наступает миг, когда он со всей очевидностью начинает понимать, что он смертен и ему непременно когда-нибудь предстоит умереть, перестать существовать, жить, — мысль, к которой невозможно привыкнуть».

Катаев вспоминал страшный сон из детства: за ним долго со стуком гонялся гроб, он же — собственный скелет.

Пока не загнал наконец — «и со всех сторон в меня хлынула тьма». Проснувшийся навсегда повзрослел.

С конца 1970-х годов Валентин Петрович вел дневник. Последние годы каждый день концовка каждой записи: «Живу!»

С утра он записывал предыдущий день в простых характеристиках. Вот, например, 1 января 1986 года — о вчерашнем: «Ходил гулять с Эстер полтора часа. Дома читал прекрасного Заболоцкого. Приходил поздравлять с Новым годом Егор Исаев[163]. Мило побеседовали. Он объяснялся в любви. Вечером приехала Тиночка с мужем. Была встреча Нового года. Пили розовое шампанское. Я пил сок. Сидели у телевизора до 2–3 часов. Я лег спать около 3-х. Спал хорошо, с перерывами до 11 утра уже 1 января 1986 года. Мороз. Стекла замерзли. Солнце неясное. Сосульки с крыши. Красивая зима. Настроение среднее. Живу!»

«Мне стукнуло 89 лет. Это ужасно!» — написал он 28 января. А вот флэшбэк от 29-го: «День моего 89-летия. Погода мягкая. Но я не гулял, сидел дома, ничего не писал, читал гениальные стихи Бялика[164] в посредственном переводе Жаботинского[165]. Было много гостей, всё свои, родственники, обед. Шампанское (которое я не пил). Много цветов нанесли. Разошлись после 10, лег спать в 12… Уже около 11 утра 29-го. Стекла чистые, в лесу — снег. Настроение среднее. Живу!»

В феврале 1986-го на переделкинской даче затеяли капитальный ремонт.

Катаев с Эстер переехали в Лаврушинский.

Стресс переезда.

В кабинете были не заклеены окна. Всю ночь дуло. Он не мог уснуть. Не хотел никого беспокоить. Чувствовал, что поднялось давление. Пил капельки.

Из последних слов дневника:

«28 февраля, среда. Записываю вчерашний день, 27 февраля,

четверг, Москва, Лаврушинский. Погода стала морозней. Суета с переездом. Гулять само собой не ходил. Ничего не писал, читал Распутина. Хорошо! Спал у себя в кабинете на диване. Замерз. Ночью проснулся от холода и давления. Кое-как поспал до 9. Укрылся теплым одеялом, стало терпимо. Уже 10 утра, за окнами Замоскворечье — новые огромные дома. Уже 28 февраля. Настроение среднее. Мороз. Живу!»

В тот день он был в квартире с внучкой. Позвал ее. «У меня не двигается левая рука. Плохи мои дела. Наверное, у меня инфаркт». Приехала «скорая». Это был инсульт.

Валентина Петровича поместили в ЦКБ («кремлевку»). «Он требует какого-то Диора», — удивленно сказали врачи. Просил цитрусовый одеколон «Eau Sauvage» от «Christian Dior», подаренный родными на 89-летие. Одеколон принесли, но его украл кто-то из медперсонала. «Флакончик-то шопнули», — с усилием шутковал пациент. «Вплоть до последних дней, — вспоминает Павел, — отец спускался к завтраку только после душа и китайской гимнастики, гладко выбритый и надушенный». Дедушкина комната навсегда запомнилась Тине сочетанием ароматов шкатулки из сандалового дерева и лавандового одеколона.

В больнице, выкарабкиваясь из инсульта, он одновременно перенес воспаление легких.

«Как я вас бедных оставлю? Я сделаю все, чтобы выбраться». У него восстановились речь и рука. Как говорят родные, он добился этого усилием воли.

«Через несколько дней после начала болезни, — вспоминает Павел, — когда нам позволили навестить отца, мы принесли в палату несколько букетов цветов. Очень хорошие, сильно пахнущие розы — крупные и мясистые.

Отец повел глазами, слабо иронически улыбнулся и проговорил:

— Как на похоронах».

И еще он сказал:

— Я повторяю судьбу мамы.

Родные навещали по очереди.

Евгения вспоминает, что отца занимало происходящее со страной, он чувствовал новый сдвиг гигантских пластов… С 25 февраля по 6 марта проходил XXVII съезд КПСС, на котором Горбачев назвал эпоху Брежнева застоем. Обличал застой и первый секретарь МГК Борис Ельцин. Катаев с больничного ложа, со смертного одра выспрашивал у дочери: «Ну что там на съезде?»…

Эстер он сказал: «Ты понимаешь, я уже умирал. Это не

страшно, это так красиво, там такая музыка!.. Забери меня отсюда — я должен это написать, чтобы никто не боялся смерти». «Врачи ничего не понимали, — добавляла она. — Они думали, что он ненормальный». «Я не мыслю прозу без музыки, — говорил он за несколько лет до этого. — У меня в прозе подспудно идет иногда Шопен, иногда Рахманинов, Скрябин, которого я очень люблю…» «Катаев говорил со мной, как музыкант, — вспоминал режиссер Борис Покровский. — Мне представилось, как будто я беседую с композитором…»

«Тина, ты не представляешь, как смерть прекрасна!» — сказал он внучке. И ей же — про занимавших его «Растратчиков», которые не удались Станиславскому: «Я понял, как это надо поставить — как воспоминания умирающего человека…»

В больницу Эстер принесла ему свежевыпущенный последний том собрания сочинений — со стихами.

Он пролежал в больнице полтора месяца. 11 апреля попросил сына, крепко сжимая руку:

— Обещай мне, что ты меня увезешь домой.

Павел пошел к главврачу и договорился забрать отца в понедельник.

В субботу 12 апреля, в полдень, Валентина Петровича Катаева не стало. Мгновенная остановка сердца.

По старому стилю — 30 марта. «Черный март», когда-то забравший любимую маму.

В 1944-м он записал:

Когда я буду умирать,
О жизни сожалеть не буду.
Я просто лягу на кровать
И всем прошу. И все забуду.

Это был праздничный День космонавтики — 25-я годовщина полета Гагарина.

Через две недели случился взрыв в Чернобыле.

«Вся жизнь и творчество В. П. Катаева были отданы беззаветному служению советскому народу, делу коммунизма», — говорилось в некрологе, подписанном Горбачевым, Лигачевым, Ельциным и другими партийными боссами (перечисление произведений обрывалось романом «За власть Советов»).

Есть что-то символичное в том, что Егор Кузьмич Лигачев и Александр Николаевич Яковлев («главный реакционер» и «архитектор перестройки») стояли рядом в карауле у гроба.

На прощание с Катаевым в ЦДЛ людей пришло мало.

Это был клуб, где крутилась вся его жизнь — собрания,

разносы, веселье, страх.

«Все это называлось панихида, а за нею следовали еще более удручающие слова — “вынос тела”, — писал он за год до конца. — Вынос уже не человека, а только его уже никому не нужного мертвого тела».

Вся проза Катаева соперничала со смертью. Художественная страстная сила героя этой книги такова, что и тело в гробу, и само погребение видишь его глазами… И поэтому — книга как будто и не должна кончаться, обрывается некстати. Без сомнения, имей он возможность, изобразил бы и себя в гробу, и яму, и камень надгробия…

Поэт Михаил Шаповалов, случайно проходивший мимо, вспоминал: «Гроб вынесли на плечах из малого зала ЦДЛ, где проходило прощание с умершим. За ним шли человек двенадцать провожающих, легко узнавался сын писателя Павел. На ступеньках при спуске в вестибюль несущие замешкались, и мне открылось известково-серое лицо “старого римлянина” и погребальные цветы…»

«Я видел, как после панихиды, когда вынесли гроб из двери Дома литераторов, — вспоминал Александр Нилин, — Эстер Давыдовна затопала на пороге изящно обутыми ножками (будь Катаев жив, он бы обязательно написал, что ножки были обуты изящно), приговаривая: “Не хочу, не хочу, не хочу…”».

Похоронили на Новодевичьем.

«У меня ощущение, что я нахожусь в вагоне роскошного поезда…» — сказал Катаев (очень по-катаевски), вернувшись в Лаврушинский из Переделкина. Внучка вдруг вспомнила эти слова при прощании на кладбище: сквозь наступившую тишину прошел поезд…

В 2009-м рядом с ним положили вдову, дожившую до девяноста пяти.

Писательница Ольга Новикова, в то время юная сотрудница «Худлита», готовившая с Валентином Петровичем собрание сочинений, рассказывает: Эстер позвала ее на семейный обед после его смерти. И подарила массивную золотую цепочку — ей, и тонкую — ее маленькой дочери. Последний привет от Катаева. Уже в больнице он распорядился сделать этот подарок…

ВЕЧНАЯ ВЕСНА

«Вечная весна в одиночной камере».

Припев Егора Летова подходит как эпитафия Валентину Катаеву, одиночке, сквозь XX век пронесшему постоянную память о камере смертников и называвшему свою жизнь «погоней за вечной весной»…

В 1960-м в Париже гадалка-турчанка (сказавшая и про осколочную рану бедра, и про будущую операцию, и про награждение «Золотой Звездой») воскликнула:

— Что же вы меня не предупредили? Это же необыкновенный человек. Это — Царь!

«Царь, разумеется, по их терминологии», — добавляла Эстер, снижая пафос.

Влюбленное повелевание жизнью…

Наследник великой литературы. В Катаеве всегда было сочетание властности и легкомыслия, как у человека, по его признанию, с самого начала понимавшего, что он особенный.

Он щедро называл свои произведения чужими полюбившимися строчками. А я назвал и эту книгу, и все восемь частей — его строчками.

Он написал, что «прожил свою жизнь в счастливом дыму».

Оглянувшись на петли длинной дороги, спросим себя: в счастливом ли?

Кадильный сладкий дым горестного отпевания матери, чад военных пожаров, зеленовато-желтый туман газовой атаки, дымчатые тифозные видения, бронепоезда и пароходы в угольном дыму, пороховой дым расстрелов, растаявшее облако несбывшейся любви, дым кирпичной трубы Магнитки и вересковой сталинской трубки, операционный мираж, пестрый дым литпроцесса с пламенными выпадами критика Дымшица…

Ничто с детства и до ухода не могло заслонить его необычайно зоркий и, конечно, вопреки трагизму — радостно-детский взгляд.

У Катаева была глубокая душа. И таинственная.

Свою тайну он унес с собой.

Обычно люди стараются не вспоминать травмирующие события. Он хотел осознать, осмыслить и прочувствовать все до конца. Не боялся прикасаться к ранам, не заживавшим никогда. Он с разных сторон и на все большей глубине вновь и вновь возвращался к главным, болевым точкам жизни.

Обостренно одинокий, закрытый, скрывавший важную часть себя даже от близких, он заглушал страдания бравадой,

буффонадой, попойками, показной беспечностью. Но и настоящей литературой.

Поэтому все же дым счастливый.

Жизнь воспринималась им как произведение, а значит, и принималась.

Катаев — весь вызов. Он весь — слишком. Художник-маг, которому завидуют и сейчас и чей дар не могут оспорить. Баснословно успешный, но не через карьерные интриги, а благодаря дару.

В силу этого редкого дара он был сам по себе, свободный от групп, стаек, общественного мнения.

Спасатель судеб. Устроитель литературы, которая без него была бы другой. Бескорыстно открывавший и опекавший таланты.

Русский человек. Потомок славных родов. Герой войны. До конца дней сохранивший офицерский государственнический инстинкт.

Оболганный. Да, так. Слева и справа бормочут нелепые небылицы и однообразные байки, пытаясь представить бóльшим грешником, чем остальные…

Он был грешен, но в отличие от очень многих не разыгрывал святошу.

Отрицание Катаева — унылая стайность, которая передается во времени.

Наслаждение Катаевым — вечная весна.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Основные сочинения Валентина Катаева

1923 — «Сэр Генри и черт».
1924 — «Остров Эрендорф».
1924 — «Повелитель железа».
1926 — «Растратчики».
1927 — «Квадратура круга».
1928 — «Отец».
1932 — «Время, вперед!».
1936 — «Белеет парус одинокий».
1937 — *«Я,* сын трудового народа».
1940 — «Домик».
1944 — «Жена».
1945 — «Сын полка».
1949 — «За власть Советов».
1951 — «За власть Советов» (новая редакция).
1956 — «Хуторок в степи».
1960 — «Зимний ветер».
1964 — «Маленькая железная дверь в стене».
1965 — «Святой колодец».
1967 — «Трава забвенья».
1969 — «Кубик».
1972 — «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона».
1974 — «Фиалка».
1975 — «Кладбище в Скулянах».
1978 — «Алмазный мой венец».
1980 — «Уже написан Вертер».
1982 — «Юношеский роман».
1986 — «Сухой лиман».

В печати выходили очерки и юморески Валентина Катаева под псевдонимами: *В. Къ., Вал. К., Валентин Петрович, Старик Саббакин, Оливер Твист, Митрофан Горчица* и др.

Приложение 2
Письма из личного архива Людмилы Коваленко

Илья Ильф и Юрий Олеша — Анне Коваленко

Дружок!

Молодец, что решила ехать. Жду тебя. Я уже забыл какая ты точно. Говорят, ты подстриглась… Приезжай. Увидимся. Думаю, что здесь тебе будет хорошо… Жду.

Целую лапки с нежностью.

Поцелуй Тамару. Кланяйся маме и Сереже.

Юра.

Дорогая Муся,

я вновь призываю Вас к себе. Пребудьте с нами. Все написанное подтверждаю.

Целую.

Иля.

29.03.23 г.

Москва

Чистые Пруды

Мыльников 4 кв 2(а)

19 ч. 30 м.

[рисунок]

Этого зайца и эту собаку я подарил Вале. А Вам, если Вы приедете, я подарю лошадь большую и живую.

Рисунки принадлежат руке Вали.

Ваш *И.*

Юрий Олеша, Илья Ильф, Валентин Катаев — Анне Коваленко

Москва 6-04-23 г.

Дорогая Муся!

Мы только что получили твое первое письмо, датированное 23 марта.

Ввиду того, что сперва нами получено было письмо от 24 марта, в котором ты выразила согласие ехать, мы письму первому (от 23 марта) не придали никакого значения и сегодня выслали

тебе полтора миллиарда.

На эти деньги обеспечь маму и, нисколько не заботясь о себе (потому что об этом позаботимся мы), немедленно выезжай. Если не теперь, то никогда — это ты понимаешь сама. Здесь тебе, полагаем, будет хорошо. Будешь учиться и жить на 100 % — каждого дня.

О дне отхода того поезда, с которым ты едешь, телеграфируй, встретим на вокзале.

Пишем это письмо на почтамте, времени нет, писать много нельзя.

В общем так:

выезжай немедленно, как только получишь деньги.

Олеша

Ильф

Катаев

Евгений Петров — Валентину Катаеву

Дорогой Валя!

Если ты еще не потерял способности удивляться, то был, наверно, очень удивлен моим отсутствием в Москве и молчанием в течение 6-ти месяцев. Получив еще в декабре 22 года твою телеграмму, я твердо решил ехать в Москву, а для того, чтобы это можно было бы легче сделать, я перевелся в Одессу на должность следователя в Губрозыск. Мне обещали дать отпуск, а для того, чтобы ехать, нужны были деньги, которых у меня не было. В Одессе я провел весь январь месяц в надежде получить жалование, продать кое-какое барахло и выехать; но вдруг неожиданно был переведен обратно в Мангейм, так как там снова возобновился бандитизм. Пойми сам, мог ли я бросить службу и без денег ехать в Москву, не зная, что меня там ожидает, тем более, что тогда была зима, а Москва, по имеющимся у меня сведениям, не очень любит в этом отношении вновь приезжающих южан, а одесситов тем более. Итак, до сегодняшнего дня я пробыл в Мангейме (вчера я сдал дела и это письмо пишу из Мангейма). Теперь мое положение до некоторой степени улучшается: у меня есть кое-какой посев, продав который, я смогу иметь необходимые на дорогу деньги. Завтра утром я еду в Одессу и буду там жить, ожидая от тебя ответного письма…

Видел в «Одесских известиях» от 3-го и 17-го июня твои стихи: «Прачка» и «Румянцев». Первое мне не совсем понравилось, второе же очень хорошее…

Передай от меня привет мастерам южно-русской школы Эд.

Багрицкому и Юр. Олеше. Пока прощай! Надеюсь, что в случае благоприятных стечений обстоятельств, скоро увидимся. Если переменил адрес, не забудь сообщить. Зная тебя и твою нелюбовь к письмам, прошу писать сейчас же, не откладывая в долгий ящик.

Твой *Женя*

22.06.1923 г.

Дорогой Валя!

К сожалению до сих пор о тебе ничего не слышно. Конечно, я не предполагаю, что с тобой что-либо случилось, а уверен, что писать ты или не имеешь времени, или просто не хочешь. Сейчас у меня положение во всех отношениях странное и неопределенное… Если бы я был вполне уверен в своей службе и знал бы, что меня никуда не переведут — я бы совершенно не беспокоился и знал бы, что, живя с тетей, я с одной стороны, исполняю то, что я должен исполнить, а с другой стороны, буду жить оседло…

Валя, очень прошу тебя написать мне о твоих соображениях относительно тети и относительно меня. Мне кажется, что ты, здраво рассудив, можешь дать мне полезный совет… Ты делаешь ошибку, что сам нигде не служишь, т. к. служба хоть и поганое дело, но все же дает регулярные средства к жизни.

У Зины родилась дочь, которую назвали Верой, и я полагаю, что тебе следовало бы поздравить Зину и Павла Федоровича, т. к. это доставит им удовольствие. Ну пока все. Прощай. Жду письма с обстоятельным изложением твоих соображений. Жму руку.

Твой *Женя*

Посылаю 2 тетиных письма для ознакомления.

6.08.23.

Валентин Катаев — Анне Коваленко

30 июня 24 г.

Москва

Дорогая Муха, маленькая моя жена, Киця, кося, цуца и т. д.!

Мы уже было собирались посылать телеграмму насчет твоего молчания, но приехал Юрка и рассеял наше волнение, а потом пришло твое письмо. Мы страшно бедные и не знаем когда разбогатеем. «Земля и фабрика» взяла «Роман паровоза»!!! Можешь себе представить… Но у них формальности. Сначала надо в цензуру, а потом они платят. Вероятно это дело затянется. «Роман паровоза» отшиб «Эрендорфа». Две вещи одного жанра

они не могут купить у одного автора, а «Роман паровоза» им *больше нравится*\ Эрендорфа продаю одному богатому еврею — но все это пока очень неопределенно. Для Ингулова не написал ни одной строчки. Вышла «Жизнь» с моими записками[166]. Скоро дополучу червонцев 6–7. В лавку мы до сих пор должны черв. 7–8. При первых же деньгах вышлю тебе. Ты *должна* ездить на лиман. Если не будет денег — будешь ездить реже, только и всего. Это мое категорическое требование. Я приеду не скоро. Наверное к августу и вместе с Юрой (если вообще приеду). Видеть тебя страшно хочу, но это еще рано.

Видишь, как плохо быть замужем: муж пишет о делах, о деньгах, об издателях и ничего лирического…

Я совершенно потерял способность халтурить. Не могу. Жалко. И с какой стати? Получил от Толстого письмо, он целует тебе ручки. Тамара ведет себя крайне загадочно. Т. к. я видел ее случайно на Мясницкой с каким-то молодым человеком в рыжем френче. Они явно флиртовали. Раза два к нам заходил некий «певец-сатирик», он же «автор-куплетист» В. Коралли[167]. Впрочем, дома меня не было — не видел. Женя остался в восторге. Певец-сатирик выбивал чечетку и вообще развлекал мое семейство.

И вообще я тебя очень люблю. Ты у меня хорошая девочка. Нарисуй пожалуйста какая ты в полосатом платьице. Напиши что носят одесситки и вообще.

Если вздумаешь мне изменить с Соболем — срочно телеграфируй, а то у меня тут наклевывается один романчик, так мне бы не хотелось пропускать удобного случая.

Ну, Мух, дай свою шейку, я ее подлижу и поцелую. Дай поцелую в лобик, в бровки, в глазки, в носик, в щечки, в ушки (изнанку ушек), потом куда? Забыл… Да, потом в носик, в губки, в шейку. Все. Если хочешь могу тебя подразнить:

— Какие были мыши? И сколько их было? И кто у них родился? Ну?

Пиши, бездельница.

Твой *Валя*

8 июля 924 г.

Москва

Дорогой Мух!

Как поживаешь? Получил твое письмо и был страшно тронут и обрадован и огорчен. Все вместе. Но что же делать, если у меня почти нет совершенно денег. Авось выкручусь. Крепись, детка. Я тебя люблю и ты меня любишь. Это самое главное…

Юркиному письму, конечно, не верь. А то я знаю, ты такая.

Ты можешь вдруг взять да и поверить. А вот плохо то, что нам всем сейчас надо идти прививать оспу. Нехорошо. Потом будет болеть и жар. Не хочу. Ну, детка, целую тебя нежно-нежно. Люби меня.

Твой муж *Вопя*

1 авг 929 г.

Москва

Здравствуй, обезьяна!

Получил только что твое письмо неизвестно когда отправленное, узкое на лиловой подкладке с московским штемпелем. Очевидно кто-то бросил тут. Денежные дела наши плао-хао. Сейчас я лезу вон из кожи, чтобы скопить денег для поездки в Крым хотя бы на 2 недели. Модпик[168] ничего не дает, т. к. лето, а моя пьеса не дойная корова. Все что можно было у Модпика взято. Так что я ориентируюсь на журналы. Подумываю о Гудке. Во всяком случае на этих днях вышлю тебе 100 рублей, а через некоторое время еще рублей 300. Это все что я могу. Относительно отъезда Ан. Ник. на Кавказ, конечно что-нибудь устроим…

Недавно мы с Юрой читали «Бориса Годунова». Вот это — шедевр.

В Тарусу может быть загляну на 1–2 дня. Посмотрю мою загорелую зверюшку. Ты, главное, не скучай, собачка. Я же тебя люблю все-таки!

Плао-хао. Плао-хао. Плао-хао.

Ну, будь здорова, не капризничай, все будет хорошо.

Твой султан и повелитель и вообще хозяин, глава дома и пр. и пр.

Валя

P. S. Опять же — целую!

Из писем Елизаветы Бачей

17 марта 1923

Дорогой Женя!

Твое письмо меня очень обрадовало тем, что ты вполне благополучен и здоров. Возьми себе за обыкновение не опаздывать надолго со своими письмами ко мне, т. к. это приносит мне немало беспокойства и тревоги. Ведь с Пасхи я не имела от тебя писем и не знала, что с тобой и где ты… Мне очень нравится твой перевод в Одессу — уже потому, что тебе не придется делать бесконечные разъезды, а м. б. и личные

дознания. Эта сторона твоей службы всегда меня очень тревожила как непосредственное общение с преступниками и возможность всяких неожиданных неприятностей от этого… По-моему, тебе незачем переезжать теперь в Полтаву. Одесса устраивает тебя в том отношении, что там можно служить и хотя бы урывками учиться и жить в большом городе. Если бы ты получал содержание достаточное для нас двоих, то я к осени переехала бы к тебе. Не знаю только возможно ли будет прожить нам вдвоем на твой единственный заработок?

Когда будешь писать мне, то возьми это письмо и ответь мне на все мои вопросы, чего ты никогда не делаешь. Начеркай мне карандашом свой автопортрет, очень хочу видеть тебя, хотя бы в таком изображении. Пиши и не забывай всегда твою любящую и тревожную тетю.

28 сентября 1923

Дорогой мой Женя!

Твое письмо от 19 IX — меня крайне удивило: как после такой заботливой переписки, настоятельной подготовки к моему переезду в Одессу, сознательной необходимости в нашей совместной жизни, ты при первом представившемся случае забыл все и отмоторил в Москву! Если бы ты не был такой длинной жердью — я сказала бы, что ты большой поросенок. Но я на тебя не сержусь, откладываю в сторону свои личные чувства, и буду спокойна и довольна твоим благополучием, которого желаю тебе всегда и во всем. Напиши мне непременно, как ты устроишься с квартирой. Неужели же живете втроем в одной комнате? Для меня лично такое трио с молодой женщиной кажется довольно неудобным. Почему ты ничего не пишешь мне о Валиной жене? Или он уже получил свободу? Да вообще, что это за брак: гражданский или церковный и который по счету? Мне очень хотелось бы видеть Валентина в семейной обстановке, но конечно я в Москву для этого не поеду. Приводится ли в порядок когда-ниб. ваша комната или этот пережиток старины остается предрассудком нашего возраста?

Был ли ты у Зины перед отъездом, простился ли с нею и как она отнеслась к твоему решению вверить Вале свое существование. Дорогой Валентин, пусть это замечание тебя не царапает, это не осуждение, а рассуждение. В тебе все легкомысленно, порывисто и неугомонно. М. б. мадам Катаева тебя и укатала уже, за это ей только спасибо. Вообще, дети мои, живите легко и приятно, но безвредно для других. На всякий случай, пусть это будет моим маленьким завещанием для вас, т. к. лично увидеться нам видно уже не придется. Опасаюсь я, что

события опять призовут вас на фронт и на все ужасы войны.

Сама я живу довольно бесцветно и скромно. Пока остаюсь в Дет. больнице, где пользуюсь гостеприимством моей хорошей знакомой, служащей здесь же. Комнату и обед мы оплачиваем пополам. При своей безработности дела у меня всегда много, т. к. я исполняю всю домашнюю работу, почти ежедневно стираю (не могу отвыкнуть от чистого белья, а на прачку не могу тратиться), хожу на базар за хлебом и для продажи вещей, имею один ежедневный урок, безрезультатно топчусь на Бирже труда и бесконечно занята всякими починками и штопками… Да еще затруднение с жильцом (коммунистом), который никак не может освободить нам комнату. Мне уже очень хочется жить у себя, не считаясь с удобствами и привычками постороннего человека в комнате.

4 мая 1930

Дорогая моя Муся!

Наконец-то и вы написали мне! Очень рада была получить ваше милое сердечное письмо. Мне нисколько не жалко было заплатить за него 20 к. (даже 1 р. 20), но или вы забыли наклеить марку, или она потерялась с конверта. У нас только что сделали то же самое: бросили в ящик письмо без марки, а потом пошли на почту, ее покупать.

С наступлением хороших дней меня неудержимо тянет вон из города. Хочется куда-нибудь на природу. В наших местах есть прекрасные окрестности: и лес, и река, и солнце… Раньше это делалось очень просто: нагружали на подводу свое барахло и отправлялись, не заботясь о вопросах продовольствия. А теперь за чертою города ничего достать нельзя, прежде всего нет хлеба, все крестьяне прикреплены к колхозам и сами выкачивают из города все продукты. В магазинах не протолпиться, хуже чем в Москве, и покупатели озверелые, очумелые. Женя аккуратно посылает мне 60 р. в месяц. При моих скромных потребностях мне достаточно.

После Москвы вам безусловно необходимо наше южное приволье, море, наш воздух. Но куда? Куда деваться? Все распяты и пригвождены.

У нас устроили тоже книжный базар на бульваре, и по правде сказать, гораздо красивее и искуснее московского. Меня приятно удивляет обилие здесь книжных магазинов, киосков и ларьков. Новая жизнь и быт опрокидывают все старое и уничтожают его.

8 ноября 1931

Дорогая моя, прелестная Анна Николаевна!

Не знаем, что делается на белом (вернее, черном) свете. Так

ли и в Москве? Я прошу Женю выписать мне какую-ниб. газету. Но едва ли он это сделает. Трудно ему жить. И работать надо, да и дома гоняют. Это между нами. Я сильно грущу о нем, и, конечно, бесполезно. Все непоправимое зло. Какой счастливец Валентин, что попал в вашу семью! Такие вы все уютные, что всем при вас хорошо… Живу я здесь с 1-го сентября вместе со своим двоюродным братом — старым Евг. Петр. Ганько. С питанием слабо. Обед берем в столовой. Евг. П. лишенец[169] ему хлеба не полагается — устраивается через знакомых… Когда я ложусь спать, то начинаю представлять себе всякие вкусные вещи: пироги, голубцы, цыплят, рыбу, икру, шоколад, пломбир и т. д. От этого вероятно худею. Все висит на мне, как на вешалке, не хочется в зеркало смотреть. И все так. Прежде думали о том, что надеть, куда пойти — теперь, что съесть, чем обогреться.

14 июня 1932

Дорогая моя Анна Николаевна!

Время невеселое. Надоедает эта вечная тревога и погоня за куском хлеба. При этом обещают, что в скором времени его вовсе не будет. На этом фронте не только прорыв, а бездонная и безнадежная пропасть. В Торгсине сейчас муки и сахару — завались! Да не на что взять. Хорошо тем, у кого есть какая-нибудь иностранная валюта или золото. Те гребут этот дефицит пудами.

Керосину нет. Чтобы получить литр керосину — надо сдать две пары старых калош. А калош тоже нет! Еще новое дело. Все сидят без денег. Второй месяц никому не платят ни жалованья, ни пенсии. Отпуска дают, а денег на дорогу нет. Почта и телеграф по переводам не платят. Мне как-то повезло получить от Жени 100 р. за этот месяц. А то была бы большая беда. Я очень рада за Женю, что ему удалось вырваться в Крым. Но какие надо иметь суммы, чтобы жить в Ялте в гостинице! А я все беспокоюсь, что он так много мне посылает. Надо думать, что я уж не так сильно его разоряю! Неизвестно, где придется зимовать. Ищу другую комнату. В этой только два больших плюса: сухая и теплая. Но зато очень мало свету, керосину же и электричества нет, культурных удобств и воды нет. Водопровод во дворе, но трубы текут, ремонтировать нечем, и скоро останемся без воды. Так и во всех домах — все рушится, а починять нечем. А Комунхоз требует ремонта, штрафует или отбирает имущество за бесхозяйственность.

Бедный Петька[170] верно мерзнет на даче. Почему-то мне всегда грустно, когда большие уезжают на курорт, а маленькие остаются дома. Ну на будущий год его тогда возьмут с собой в

Крым. Хотелось бы видеть этого мальчишечку. Не думаю, чтобы его бабушка сумела дать ему что-либо кроме толстых щек. А ведь Женя мечтал дать ему хорошее правильное воспитание и образование, даже уже собирает для него солидную библиотеку. Нужны ли будут к тому времени, когда он вырастет, такие книги? И люди будут совсем другие, и идеология не та, и вкусы, и искусство другие.

Олимпия Олеша — Юрию Олеше

Дорогой Юрочка!

Четыре месяца окончилось, как мы живем в Польше и только теперь собрались написать тебе — плохие дела были и скитались, как собаки бездомные, потому и не было желания писать; хотя и в настоящее время звезд с неба не снимаем, но все-таки живем не голодая — папа обо всем тебе пишет сам. Благодаря чужим, мало знакомым людям (давнишним знакомым Губаревой из Белостока) мы не умерли от голода, так как сами давали без нашей просьбы деньги взаймы — и у них я прожила с Губаревой, а после и с папой, на даче около Варшавы пять недель и в конце их брат ксендз из Гродненской губ. пригласил нас к себе, где мы пробыли 10 дней, в течение которых он нашел папе место, где мы сейчас находимся. Кто его знает, долго ли пробудем, но уже скоро два месяца, как здесь мучаемся! Здесь, как и в каждом имении или деревне, тоска смертная, а отец занят целый день, иногда дольше 12 ч. в сутки работает, а я несчастная все время одна, без всякой работы (так как мы на полном пансионе) и без книг, так что серьезно тебе говорю, боюсь сойти с ума, со мной что-то неладное творится, я начинаю бояться себя и тоска по Ванде и бабушке окончательно меня заест. Кроме того постоянное беспокойство о тебе, не болен ли ты, как там живешь, может голодаешь, и всякие мысли в голову лезут — одним словом, если бы я знала, что так буду страдать и тосковать, не уехала бы оттуда ни за какие блага. Я так изнервничалась — плачу каждый день, пойду в лес и заливаюсь там слезами — конечно, папа об этом не знает.

Результатом всего этого появились сердечные припадки, которых у меня не было больше трех лет — однажды ночью думала уже умирать, разбудила папу, чтобы был при смерти — и знаешь странно — я тогда пережила в ту ночь весь ужас своей смерти и когда действительно буду умирать, пожалуй, страшнее не будет. Нет, я здесь не хочу умереть — я должна еще с тобой повидаться и умереть там, в родной Одессе. Когда мы уезжали, ты говорил о своем приезде в Польшу через год — а теперь, как ты

об этом думаешь, возможно ли это? Нам очень хочется тебя видеть — надеемся, что и ты питаешь те же чувства. Лучше всего было бы, если б ты мог сюда приехать, а если нет, тогда я могла бы приехать в Харьков, конечно, если б были деньги на то у тебя лишние и при возможном возврате в Польшу; вот узнай пожалуйста официально, выпустят ли из России, а я здесь узнаю, примут ли меня обратно. Я очень беспокоюсь, что ты мало зарабатываешь и может оборванный и голодный? Напиши мне продолжение истории с Симой. Может вы опять вместе? Этого я наилучше хотела бы… Пиши, много ли успел за это время в своих работах — может быть написал что-нибудь серьезное?

Вообще сейчас после получения пиши, потому что кажется, письма из-за двойной цензуры долго идут.

У нас много долгов — 200 т. марок — не знаю, когда отдадим, потому что ободрались совершенно и при теперешней дороговизне и жаловании 25 т. и 5 п. зерна мы не сможем одеться и заплатить долги. Если зарабатываешь прилично, чтобы не делая себе ущерба помочь нам, и если хочешь, то пришли сколько найдешь возможным — но только не думай, что мы требуем — Боже сохрани — я ничего, никогда от тебя не требую и нисколько не обидимся, если откажешь. Купил ли ты себе пальто и одеяло? Напиши, встречаешься ли с Нарбутом?

Что слышно из Одессы? Как ужасно, проживя всю жизнь в большом городе, жить в имении, в захолустье и только питаться и питаться! Мы оба поправились, уже не такие тощие, но на душе еще хуже чем раньше было — не знаю, как я дальше буду жить. Племянницы папы очень симпатичные и умные — славная молодежь — я их очень полюбила. Губарева весной будет жить вместе с нами — мне одной слишком тяжело. Судьба со мной очень скверно поступила. Не помнишь, 29 декабря с тобой ничего не случилось? У нас с папой были скверные сны и мы одновременно со сна вскрикнули.

Ты мне обещал сняться и прислать фотографию — напоминаю об этом — мне очень больно не иметь возможности посмотреть тебя. Очень боюсь, что может ты переехал в Москву и письмо не застанет тебя — но надеюсь на Ольгу Леонидовну — она будет любезна и перешлет его тебе. Помнишь, ты несколько раз говорил, что я не буду себя здесь чувствовать хорошо и буду тосковать — это ты был совершенно прав — я страшно скучаю по югу, по Украине, только и живу в мыслях там — там мне все кажется милым и хорошим — Боже, как бы я хотела еще хоть несколько лет пожить в Одессе, милой Одессе, с которой ни один город не может сравниться. Варшава и Львов очень красивые города, во Львове мы жили два дня, а в Варшаве месяц — но

никаких достопримечательностей не видели — не было времени и осень время не подходящее для всего, но как-нибудь весной поедем, чтобы все осмотреть. Грибов собирали много, здесь все сосновые леса. А слив, яблок и груш я съела больше двух пудов — имела право от хозяина дачи, где мы жили, пользоваться всем и еще денег одолжил, совершенно незнакомый.

Ожидаем от тебя длинного письма. Скучаешь ли ты за нами? Как обидно, что мы не живем все вместе — и тут жизнь зло посмеялась над нами.

Целую тебя крепко — не забывай любящую, несчастную мать. *О.*

Если б Ванда была жива, все было бы хорошо и мы наверно не уезжали бы из России.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В. П. КАТАЕВА

1897, 16 января — в Одессе в семье учителя Петра Васильевича Катаева, выходца из семьи священнослужителей, и Евгении Ивановны Бачей, дочери генерала, родился их первенец — Валентин.

1902, 30 ноября — рождение брата Жени, впоследствии писателя Евгения Петрова.

1903, 28 марта — смерть матери от плеврита.

1906 — поступление в Одесскую 5-ю мужскую гимназию.

1910, 18 декабря — первая публикация стихотворения «Осень» в газете «Одесский вестник».

1912 — отдельными брошюрами выходят два рассказа «Пробуждение» и «Темная личность».

1914, 15 июня — участие в поэтическом вечере «Кружка молодых поэтов». Знакомство с Эдуардом Багрицким, чуть позднее с Юрием Олешей и в этом же году — с Иваном Буниным.

1 августа — Германия объявила войну России.

1915 — не окончив гимназию, Катаев уходит добровольцем в действующую армию.

1916, 1 января — вольноопределяющийся 1-го разряда Катаев вступил в службу в 1-ю батарею 64-й артиллерийской бригады.

20 июня — под Сморгонью был отравлен газами фосгена. *Август — ноябрь* — пребывание с артиллерийской бригадой на Румынском фронте.

Декабрь — откомандирован в Одесское пехотное училище.

1917, 29 марта — произведен в прапорщики армейской пехоты и назначен в распоряжение штаба Одесского военного округа.

1 апреля — прибыл на Румынский фронт.

11 июля — во время «керенского» наступления на Румынском фронте ранен в предгорье Карпат и отправлен в госпиталь Одессы.

5 сентября — награжден орденом Святой Анны 4-й степени. *Осень* — стрелялся на дуэли с поэтом Александром Соколовским «за оскорбление женщины».

1918, 4 февраля — первый литературный вечер кружка «Зеленая лампа».

Ноябрь — образование в Одессе литературного кружка «Среда».

Декабрь — военная интервенция стран Антанты в Одессе (по

апрель 1919 года). Катаев мобилизован в белую армию.

1919 — пребывание в Одессе.

Апрель — август — приход к власти большевиков.

Май — Катаева забирают в Красную армию служить в 58-й пехотной дивизии.

Июнь — красный эшелон, в котором находился Катаев, разбит на станции Лозовой. Катаев в Полтаве.

Август — Одесса попадает под власть Вооруженных сил Юга России генерала Деникина (по февраль 1920 года).

Октябрь — служба орудийным начальником на бронепоезде «Новороссия» Вооруженных сил Юга России.

1920, начало года — Катаев заболел сыпным тифом в Жмеринке. *Апрель* — Валентина Катаева и его брата Евгения арестовывает ЧК. Тюрьма.

15 сентября — освобождение. Работа в ЮгРОСТА.

1921, 21 февраля — смерть отца.

12 мая — женитьба на Людмиле Гершуни.

Весна — создание «Коллектива поэтов». Отъезд в Харьков.

1922 — развод с Людмилой (12 января). Знакомство с Осипом Мандельштамом в Харькове. Переезд в Москву. Печатается в «Литературных приложениях» берлинской газеты «Накануне» (по 1924 год). Знакомство с Михаилом Булгаковым. Роман с Еленой Булгаковой, сестрой Михаила Афанасьевича.

1923 — начинает печататься в сатирических журналах «Крокодил», «Смехач», «Чудак», «Бузотер», «Красный перец», «Заноза с красным перцем», публикации в «Рабочей газете», «Труде», «Красной ниве», «Огоньке». Поступил на службу в газету «Гудок». Приезд в Москву из Одессы Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Март — встреча с Маяковским, начало общения.

Апрель — женитьба на Анне Коваленко.

Конец мая — в Москву из эмиграции приезжает Алексей Толстой.

Начало осени — знакомство с Сергеем Есениным.

1924 — публикация романов «Остров Эрендорф» и «Повелитель железа».

Весна — в Москву переезжает Исаак Бабель.

1925 — переезд в Москву Эдуарда Багрицкого.

1926 — знакомство с Михаилом Зощенко.

Август — публикация повести «Растратчики».

1927 — поездка с женой и Леонидом Леоновым в Сорренто к Максиму Горькому. Написана пьеса «Квадратура круга». Предложение Ильфу и Петрову работать над романом.

1928 — выход книги «Отец».

Январь — публикация романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

28мая — приезд Максима Горького в СССР.

Осень — на малой сцене МХАТа поставлен лирический водевиль «Квадратура круга».

1929 — посещение сельскохозяйственных артелей. Опубликована пьеса «Авангард».

1930, май — публикация рапповским журналом «На литературном посту» развернутой статьи критика Иосифа Машбиц-Верова «На грани», направленной против Катаева.

1931 — поездка на строительство Магнитогорска. Опубликована пьеса «Миллион терзаний». Приезд в Берлин на постановку пьес «Миллион терзаний» и «Авангард» в Лессинг-театре.

1932 — публикация романа «Время, вперед!». Постановка пьесы «Миллион терзаний» в Московском театре оперетты.

23 апреля — ликвидация РАППа.

26 октября — встреча со Сталиным у Горького в числе сорока пяти приглашенных писателей.

1933, январь — в первом номере «Литературной газеты» появилась статья Виктора Шкловского «Юго-запад» об одесских писателях.

1934, 16 февраля — смерть Эдуарда Багрицкого.

17 августа — I съезд писателей СССР.

23 декабря — премьера пьесы Катаева, Ильфа и Петрова «Под куполом цирка» в московском театре Мюзик-холл.

1935 — развод с Анной Коваленко. Женитьба на Эстер Бреннер.

1936 — опубликована повесть «Белеет парус одинокий».

20 апреля — рождение дочери Евгении.

1937 — опубликована повесть «Я, сын трудового народа». Экранизация повести «Белеет парус одинокий».

13 апреля — смерть Ильи Ильфа.

Май — встреча с Александром Куприным.

1938 — экранизация пьесы «Шел солдат с фронта». Постановка пьесы «Шел солдат» в Театре им. Евг. Вахтангова. Пьеса подвергается газетным нападкам.

Весна — назначение на руководящую должность СП СССР. *31 мая* — рождение сына Павла.

1939 — Катаев в числе тринадцати писателей пишет ходатайство в НКВД о пересмотре дела Николая Заболоцкого.

5 февраля — награждение орденом Ленина.

15 мая — арест Исаака Бабеля.

1940 — переезд в Переделкино. Публикация серии детских

произведений: «Дудочка и кувшинчик», «Голубок», «Цветик-семицветик». Присоединяется к письму Михаила Зощенко в НКВД с просьбой пересмотра дела писателя и переводчика Валентина Стенича. Опубликована пьеса «Домик».

14 сентября — Секретариат ЦК ВКП(б) признал пьесу «Домик» «идеологически вредной и антихудожественной», запретив ее к постановке в театрах.

20 сентября — премьера оперы «Семен Котко» в Театре им. К. С. Станиславского.

1941, 22 июня — начало Великой Отечественной войны.

3 июля — Эстер Катаева с детьми вместе с семьями других писателей отправляется в эвакуацию: Берсут, Чистополь, позже Куйбышев.

30 июля — Катаев вносит в Фонд обороны свой месячный заработок.

1942 — опубликованы рассказы «Лейтенант», «Третий танк», «Партизан», «Флаг».

Весна — первый выезд на фронт. Военный корреспондент «Правды» и «Красной звезды».

2 июля — гибель Евгения Петрова.

Осень — командировка в Ташкент.

1943 — Катаев на Калининском фронте. Военные репортажи с Орловской земли и Брянского направления. Опубликованы очерки «У артиллеристов», «Во ржи», «В наступлении», повести «Электрическая машина» и «Жена».

1944, март — апрель — побывал под Уманью, стал свидетелем боев за город Кодыма. С войсками 2-го Украинского фронта прошел по районам Молдавии, где был в Первую мировую войну.

1945 — опубликована повесть «Сын полка». Выдвижение на Сталинскую премию.

Публикация серии очерков «Одесские катакомбы».

1946 — Сталинская премия второй степени за повесть «Сын полка». Опубликованы рассказы «Отче наш», «Виадук».

14 августа — постановление ЦК ВКП(б) в отношении Анны Ахматовой и Михаила Зощенко.

1947, 28 января — пятидесятилетие Валентина Катаева.

9 февраля — избран депутатом Верховного Совета РСФСР. *1949* — опубликован роман «За власть Советов».

3 октября — Президиум СП СССР критикует Катаева.

1950, 16–17 января — разносная статья Михаила Бубеннова «О новом романе Валентина Катаева “За власть Советов”» в газете «Правда».

1951 — публикация романа «За власть Советов» в новой

редакции.

Опубликован очерк «Поездка на Юг».

1953, 5 марта — смерть Иосифа Сталина.

1954 — выступление Катаева на II съезде писателей СССР. Обсуждение дела Твардовского на заседании Секретариата ЦК КПСС.

1955 — назначение на должность главного редактора журнала «Юность».

1956 — опубликован роман «Хуторок в степи». Экранизация романа «За власть Советов».

1957, январь — опубликована киноповесть «Поэт».

19 мая — участие во встрече деятелей искусств с Никитой Хрущевым в Семеновском.

1958 — дело Леонида Пастернака.

1959, 18 мая — выступление Катаева на III съезде писателей СССР.

Лето — визит в Америку.

1960 — опубликован роман «Зимний ветер». Провал главредства в «Литературной газете».

10 мая — смерть Юрия Олеши.

1961 — уход из «Юности». Хирургическая операция.

1963 — поездка в Америку и Париж.

1964 — опубликована повесть «Маленькая железная дверь в стене».

1966, январь — поездка в Магнитогорск.

14 февраля — подписывает «антисталинское» письмо.

Май — опубликована повесть «Святой колодец».

1967 — опубликована повесть «Трава забвенья».

1969 — опубликована повесть «Кубик».

1971, 29 декабря — обсуждение дела Александра Галича на заседании Московской писательской организации.

1972 — опубликован роман «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона».

1973 — перенес хирургическую операцию. Опубликован рассказ «Фиалка».

1974, 9января — дело Лидии Чуковской.

27 сентября — получил звание Героя Социалистического Труда.

1975 — опубликована повесть «Кладбище в Скулянах».

1976 — избран членом Гонкуровской академии.

1978 — опубликована повесть «Алмазный мой венец».

1980 — опубликована повесть «Уже написан Вертер».

1982 — опубликован «Юношеский роман».

1985 — опубликована повесть «Спящий».

1986 — опубликована повесть «Сухой лиман».

12 апреля — Валентин Петрович Катаев умер. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

ЛИТЕРАТУРА

Аксенов В. П. Десятилетие клеветы (радиодневник писателя). М.: Изографус; Эксмо, 2004.

Ардов М. В. Вокруг Ордынки. М.: Инапресс, 2000.

Баруздин С. Люди и книги: Литературные заметки. М.: Советский писатель, 1978.

Брайнина Б. Я. Валентин Катаев: Очерк творчества. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960.

Галанов Б. Е. Валентин Катаев: Очерк творчества. М.: Детская литература, 1982.

Грознова И, Тимофеева В. Из творческого наследия советских писателей [Антология]. М.: Наука, 1990.

Деятели русского искусства и М. Б. Храпченко, председатель Всесоюзного комитета по делам искусств: апрель 1939 — январь 1948: Свод писем. СПб.: Наука, 2007.

Евтушенко Е. Волчий паспорт. М.: Колибри, Азбука-Аттикус, 2015.

Ершов П. Одесская «Зеленая лампа». Из воспоминаний // Новое русское слово. Нью-Йорк. 1951. 21 января.

Ефимов Б. Е. Десять десятилетий: О том, что видел, пережил, запомнил. М.: Вагриус, 2000.

Иванова Н. Б. Пастернак и другие. М.: Эксмо, 2003.

Ильф А. И. Дом, милый дом… М.: Ломоносовъ, 2013.

Катаев П. В. Доктор велел мадеру пить…: Книга об отце. М.: Аграф, 2006.

Катаев В. П. Уже написан Вертер // *Лущик С. З.* Реальный комментарий к повести. Одесса: Оптимум, 1999.

Киянская О. И, Фельдман Д. М. Очерки истории русской советской литературы и журналистики 1920—1930-х годов. Портреты и скандалы. М.: Форум, 2015.

Кондратович А. И. Новомирский дневник: 1967–1970 годы. М.: Советский писатель, 1991.

Котова М., Лекманов О. В лабиринтах романа-загадки: Комментарий к роману В. П. Катаева «Алмазный мой венец». М.: Аграф, 2004.

Куняев С. *Ю.* Поэзия. Судьба. Россия: В 2 кн. М.: Наш современник, 2001.

Лакшин В. Я. «Новый мир» во времена Хрущева: Дневник и попутное (1953–1964). М.: Книжная палата, 1991.

Литовская М. А. Феникс поет перед солнцем: Феномен Валентина Катаева. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1999.

Мнацаканян С. Великий Валюн, или Скорбная жизнь Валентина Петровича Катаева: Роман-цитата. Алма-Ата: Шелковый путь, 2014.

Нарбут В., Зенкевич М. Статьи. Рецензии. Письма. М.: Изд-во ИМЛИ РАН, 2008.

Нилин А. М. Станция Переделкино: поверх заборов. М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.

Огрызко В. В. Циник с бандитским шиком: Книга о Валентине Катаеве. М.: Литературная Россия, 2015.

Ортенберг Д. И. Время не властно: Писатели на войне. М.: Советский писатель, 1979.

Президиум ЦК КПСС: 1954–1964: Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы. Постановления: В 3 т. М.: РОССПЭН, 2015 (серия «Архивы Кремля»).

Сарнов Б. М. Сталин и писатели: В 4 т. М.: Эксмо, 2008.

Сидельникова Т. Н. Валентин Катаев: Очерк жизни и творчества. М.: Советский писатель, 1957.

Скорино Л. И. Писатель и его время: Жизнь и творчество В. П. Катаева. М.: Советский писатель, 1965.

Трифонов Ю. Избранные произведения: В 2 т. М.: Художественная литература, 1978. Т. 2.

Чуковский К. И. Дневник: 1901–1969: В 2 т. М.: Олма-пресс; Звездный мир, 2003. Т. 2.

Шишова З. Сильнее любви и смерти. Феодосия: Коктебель, 2011.

Daglish R. Ecology, Trifonov and his Critics, Kataev and His Memoirs // New World Review. 1979. Vol. 47. № 4.

Johnson Ph. M. Struggle with Death: The Theme of Death in the Major Prose Works of Ju. Olesha and of V. Kataev // Dissertation Abstracts International. 1977. V. 38.

Leconte S. The Prose of Valentin Kataev. Nashville, 1974.

Supa W. Twôrczość Walentina Kataewa. Bialystok, 1996.

Szarysz J. Poetics of Valentin Kataevs Prose of the 1960's and 1970's. New York, NY: P. Lang, 1989.

Иллюстрации

Валентин Катаев.

Протоиерей Василий Катаев с матушкой Павлой и сыновьями Михаилом, Петром (впоследствии — отец писателя), Николаем. *Вятка. 1880-е гг.*

Генерал-майор Иван Бачей с женой Марией Егоровной. *Екатеринослав. 1880 г.*

Валя Катаев. *1898 г.*

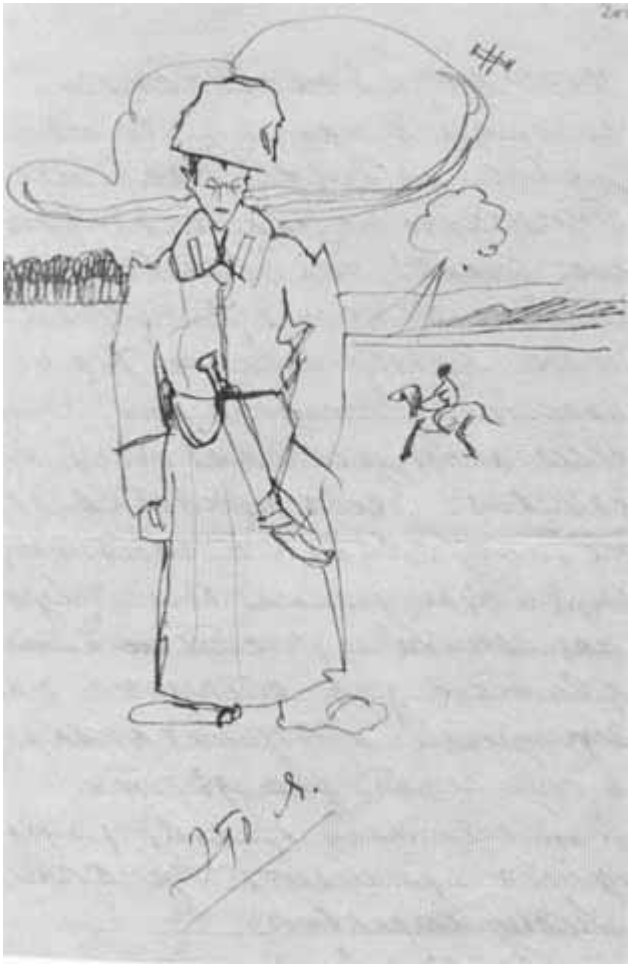
Женя и Валя Катаевы. *1903 г.*

Мать Валентина Катаева Евгения Ивановна Бачей (слева) с подругой. *1890-е гг.*

С папой, Петром Васильевичем Катаевым.

Катаевы на Капри. *1910 г. Из фондов Одесского литературного музея (ОЛМ).*

Прапорщик Валентин Катаев. *1916 г.*



Автопортрет на обороте письма из действующей армии. *1916 г.*

Валентин Катаев и неизвестная. *1920 г.*

«Сиреневая» Ирен Алексинская. *Из фондов ОЛМ.*

После поэтического выступления. Среди присутствующих: Валентин Катаев (*сидит на полу*), Александр Биск, Петр Пильский, Семен Кесельман (*второй ряд — второй, третий, четвертый слева*), Анатолий Фиолетов (*третий ряд — четвертый слева*). *1914 г. Из фондов ОЛМ.*

Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев и Яков Вельский. *1924 г.*

Сестры Суок: Ольга, Лидия, Серафима. *Одесса. Около 1916 г.*

Михаил Булгаков. *1920-е гг.*

Владимир Маяковский. *1920-е гг.*

Маяковский. *Рисунок В. Катаева.*

В Москве: «Слава валяется под ногами». *1922 г.*

Валентин Катаев. *1920-е гг.*

Илья Ильф. *1920-е гг.*

Ильф. *Рисунок В. Катаева.*

Анна Коваленко. *1920-е гг.*

Валентин и Анна Катаевы. *Москва. Мыльников переулок. 1924 г.*

Юрий Олеша (*справа*), Тамара Коваленко (*в центре*) и неизвестный. *1925 г.*

Рисунки В. Катаева (*верхний ряд*) и Ю. Олеши (*нижний ряд*). *1930 г.*

Супруги Катаевы в Сорренто. *1927 г.*

Валентин Катаев (*в театральном костюме*), Максим Горький, Мария Будберг, профессор Николай Кольцов, Леонид Леонов. *Сорренто. 1927 г.*

Анна Катаева в наконец-то купленной шубе. *Москва. 1920-е гг.*

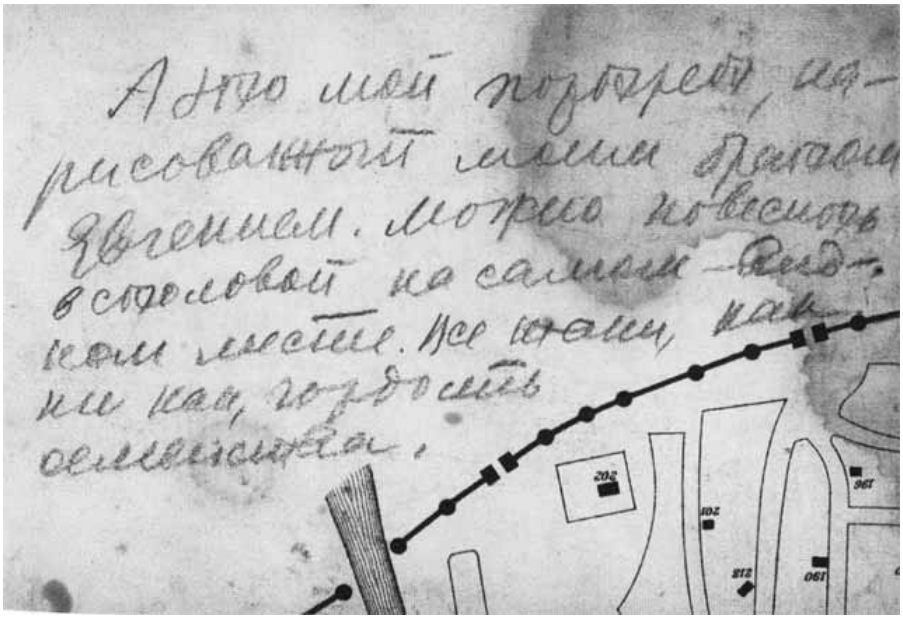
Дом Катаевых (*первый слева*) в Малом Головином переулке. *Москва. 1920-е гг.*

Валентин Катаев, Всеволод Иванов, Леонид Леонов. *1920-е гг.*

Писательский клуб. *Москва. 1920-е гг.*

Евгений Петров. *1930-е гг.*

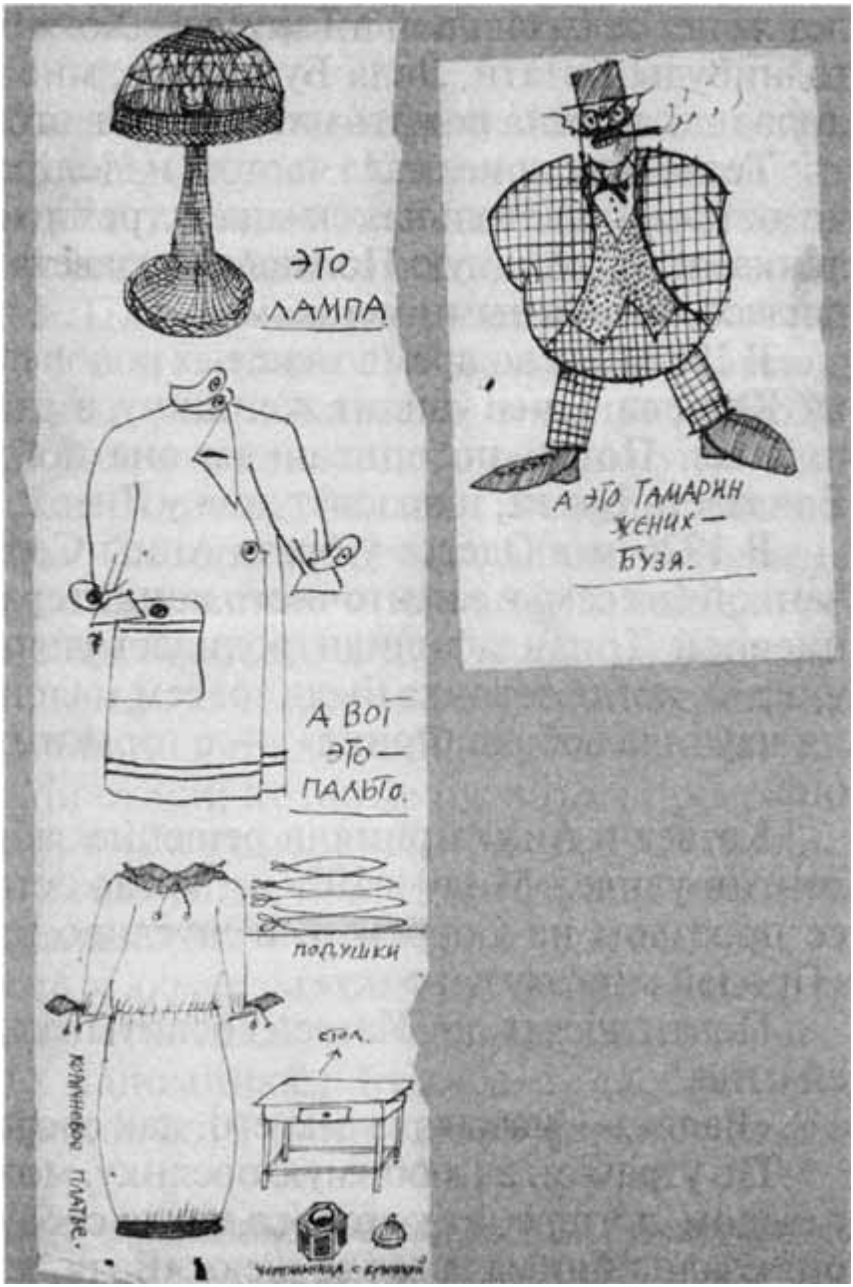
Валентин Катаев. *Рисунок Е. Петрова. 1930-е гг.*



Обратная сторона рисунка с портретом.

Открытка с фотографией, отправленная жене из Сочи. *1930 г.*

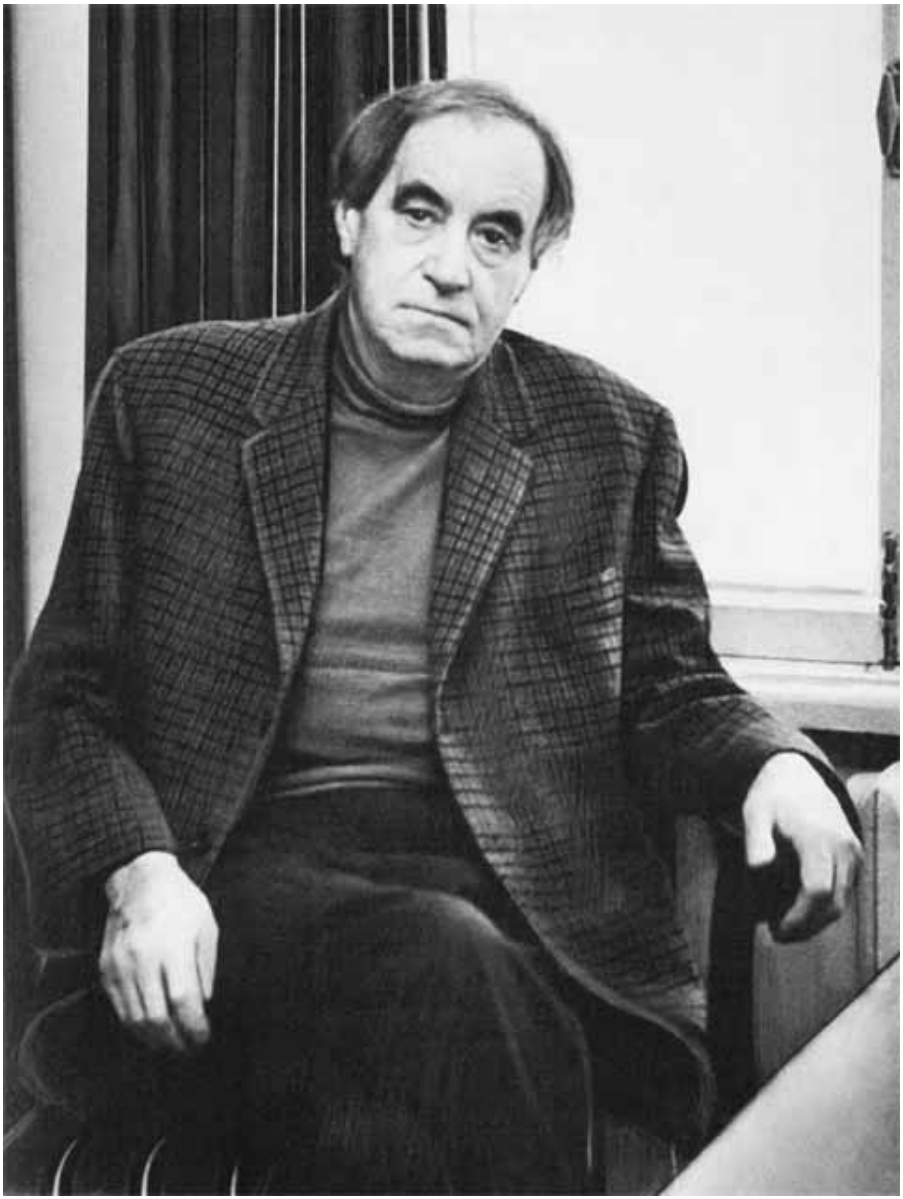
Обратная сторона открытки.



Рисунки из писем Валентина Катаева. *1920-е гг.*

Милкина кукла. *Рисунок В. Катаева. 1932 г.*

Подражание Репину *Рисунок В. Катаева. 1930 г.*



Валентин Петрович Катаев. *1970-е гг.*

ПРОПУСК

Этот пропуск дает право участвовать 17-го апреля 1930 года на гражданской панихиде в клубе Писателей (ул. Воровского, 52) и присутствовать при кремации тела В. В. МАЯКОВСКОГО.

Комиссия по организации похорон.

Главлит № А—55689. 6-я тип. Транспечати. Москва. Тираж 600 экз.

Пропуск В. П. Катаева.

На похоронах Маяковского: Михаил Файнзильберг, Евгений Петров, Валентин Катаев, Серафима Суок-Нарбут, Юрий Олеша,

Иосиф Уткин. *Апрель 1930 г.*

«Три драматурга МХАТа»: Катаев, Олеша, Булгаков. *1931 г.*

Катаев с Николаем Асеевым, Эдуардом Багрицким, Львом Никулиным и Марией Игнатовой, женой издателя Григория

Цилина (*слева*). *1930-е гг.*

Пропуск № 1620
Катаев
(фамилия)
В. П.
(имя, отчество)
Занимаемая должность Журналист Строит. Магнитостр.
Имеет право входа в склады Кроме Фашистского и Западного
Действителен до 1/IX сентября 31
Печать
11 Июня 1931 г.
Начальник Гарнизона „Магнитострой"
Командир отряда ВОХР „Магнитострой"

Пропуск В. П. Катаева на объекты Магнитостроя. *1931 г.*

«В сыром свитере, от которого пахло собакой после дождя». *1932 г.*

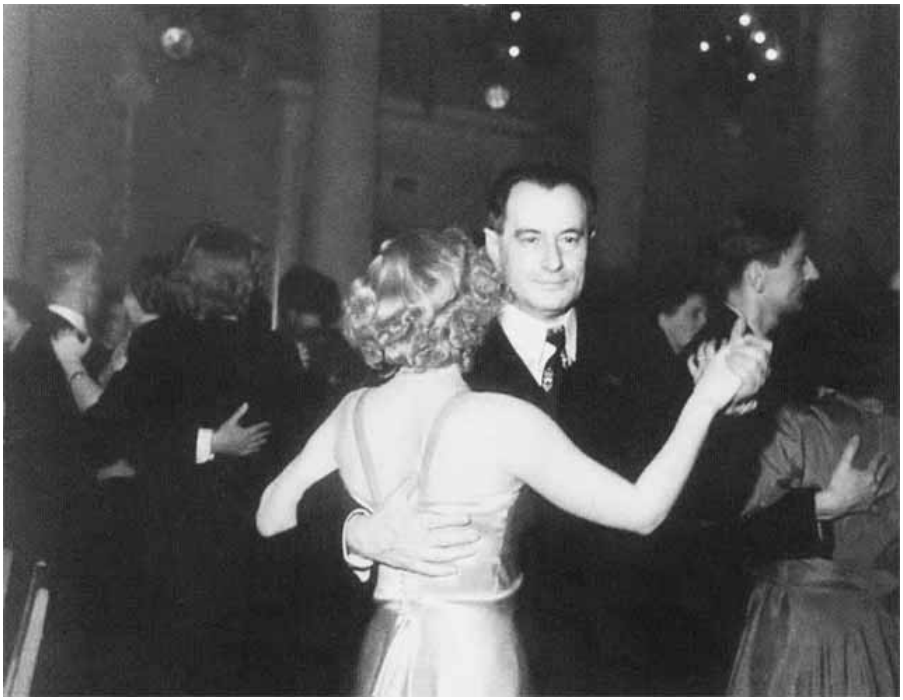
Валентин Катаев. *1930-е гг.*

Эстер Бреннер. *1930-е гг.*

С Эстер и дочерью Женей. *1936 г.*

Семья Катаевых: на руках у папы — маленький Павлик. *1938 г.*

М. И. Калинин вручает В. П. Катаеву орден Ленина. *1939 г.*



Танец с Эстер. *1940 г.*

Военный корреспондент В. П. Катаев в Доваторской гвардейской дивизии. *1942 г.*

На Калининском фронте. *1943 г.*

«Он напоминал бодрого энергичного американского актера, всю жизнь игравшего инфернальных героев».

С Эстер, Женей и Павликом. Тень развода…

Павел и Валентин Катаевы. *1946 г.*

С Михаилом Зощенко. *Ленинград. 1955 г.*

Шалва Дадиани, Михаил Исаковский, Илья Эренбург и Валентин Катаев.

С Корнеем Чуковским.

Валентин Петрович за письменным столом. *1950-е гг.*

Валентиночка, Валентин и дочь Евгения. *1959 г.*

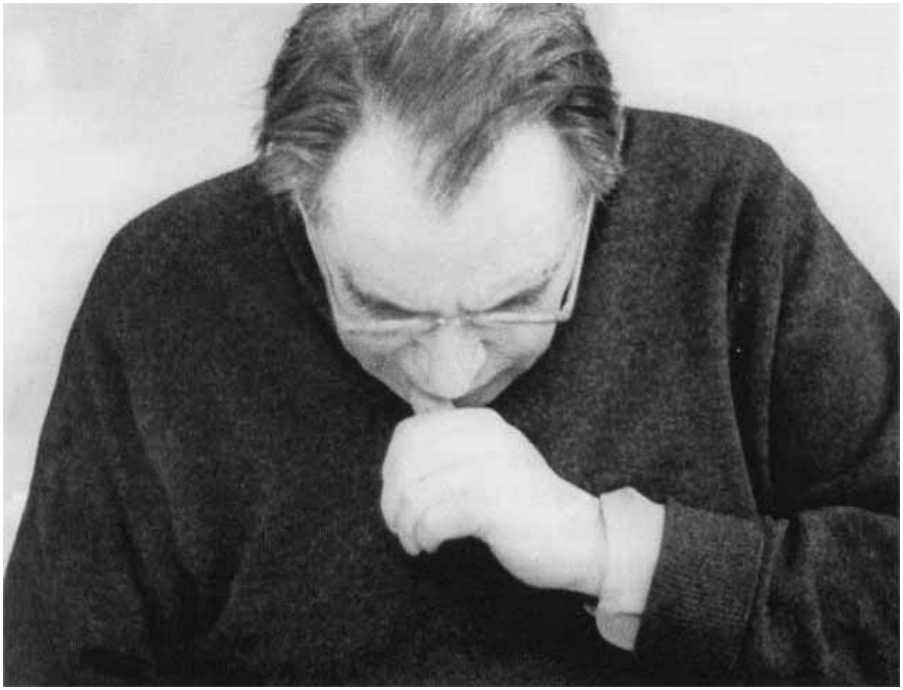
В Нью-Йорке. *1960 г.*

В Париже. *1967 г.*

С режиссером Юрием Завадским, внучкой Тиной и женой Эстер.

С Эстер в Переделкине.

Эстер и Валентин Катаевы с Сергеем Герасимовым (слева) и Тамарой Макаровой (справа) на приеме в Кремле. *7 ноября 1982 г.*



Каждое свое произведение Катаев переписывал трижды.

«Было бы время, нашлись бы силы, прожил бы до ста пятидесяти и еще чуточку». *1980-е гг.*

notes

Примечания

1

Даты до февраля 1918 года приведены по юлианскому календарю (старому стилю).

2

Записал литератор Николай Александрович Подорольский.

3

К слову, упомянутый Михаил Меньшиков (1859–1918), публицист, один из идеологов русских националистов, был расстрелян вблизи озера Валдай. Владимир Пуришкевич (1870–1920) скончался от сыпного тифа в Новороссийске. Аркадий Аверченко (1881–1925) и Михаил Корнфельд (1884–1973) умерли в эмиграции.

4

В 1969-м в Одессе «патриотические литераторы» предложили переименовать Дерибасовскую улицу в Суворовскую. Местный писатель Аркадий Львов жаловался: он обратился к «Катаеву с просьбой поднять свой голос против новой волны мракобесной кампании по борьбе с космополитизмом», а тот «отказался наотрез». «Он вспомнил, что в четырнадцатом году, когда началась война с кайзером, Малую Арнаутскую переименовали в Суворовскую, а затем после Октябрьской революции, в угаре безоглядного отрицания своего прошлого, название упразднили. И вообще, — это были слова, сказанные, что называется, под занавес, — пусть лучше Суворов, чем кто-нибудь другой, считается основателем Одессы». «Признаюсь, я был потрясен. — Львов решил масштабировать незначительный разговор. — Мне и в голову не приходило, что столичный мастер, один из лучших прозаиков России, запросто, через душевные кульбиты свои в заповедных сферах отечественной истории, побратается с квасными патриотами из презренной провинции!»

5

Журналист Константин Васильев исследовал ее судьбу в журнале «Одесса» в статье «Римлянка-изгнанница» (1997, № 2).

6

В. Катаев «Дон-Жуан» (1944).

Опубликован в журнале «Весь мир» в августе 1917 года.

То есть пулемета.

9

Румчерод — Центральный исполнительный комитет Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одессы.

10

Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский (1853–1920) — литературовед, лингвист, почетный член Петербургской и Российской академий наук, возможный праправнук Екатерины Великой и Григория Потемкина, закончил свои дни в голодной Одессе.

11

Даже в 1943 году на Президиуме Союза писателей, критикуя Николая Асеева, который «переоценил свое значение как поэта» и «вошел в конфликт с народом», Катаев приводил пример другого, по этой логике, переоценившего себя поэта: «Блок так сделал, он порвал со своим классом и выступил с “Двенадцатью”. Это был образец того, когда человек порывает со своим обществом».

12

Державная варта — государственная стража, служба правопорядка Украинской державы гетмана Павла Скоропадского.

13

Григорий Олиферович Збанацкий (1914–1994) — украинский писатель, во время Великой Отечественной войны командир партизанского соединения.

14

Александр Рафаилович Кугель (1864–1928) — театральный критик, создатель театра «Кривое зеркало».

15

Андрей Дмитриевич Иркутов (Каррик; 1894–1938) — писатель, автор фантастических новелл. Уроженец Шотландии. Был расстрелян по обвинению в шпионаже на подмосковном полигоне «Коммунарка».

16

Лев Вениаминович Никулин (Лев Владимирович Ольконицкий; 1891–1967) — писатель.

17

Русская освободительная армия — название вооруженных сил Комитета освобождения народов России (КОНР), воевавших против СССР в составе нацистского вермахта в 1943–1945 годах.

18

Бунин упомянул Николая Яковлевича Рощина (1896–1956), общавшегося с ним в эмиграции и явно подражавшего ему писателя, деникинского офицера, автора прозы о Гражданской войне, который в 1946 году получил советский паспорт, вернулся на родину и работал в «Журнале Московской патриархии».

Вновь выразив благодарность краеведу Сергею Лущику.

20

О ней — цинично-истеричной — в изданном в 1923 году в Берлине дневнике художницы Натальи Михайловны Давыдовой (1875–1933), узницы Одесской ЧК в 1920–1921 годах.

21

Его взяли по одному делу с литератором и военкором Семеном Григорьевичем Гехтом (1903–1963), проявившим интерес к газете «Молва», выходившей в Одессе при румынах.

22

Это не единственное катаевское откровение такого рода. Сравним со страданиями Пчелкина в «Юношеском романе», когда под Сморгонью полковник отчитал его за «разболтанный вид»: «Я почувствовал холод в желудке, расслабление кишечника, чуть было, как говорят солдаты, не наложил в шаровары и даже немного помочился».

23

Из личного архива Людмилы Коваленко.

24

Из личного архива Людмилы Коваленко.

25

Из личного архива Людмилы Коваленко.

26

Весной 1926 года журнал был закрыт, Исайя Григорьевич Лежнёв (1891–1955) арестован по обвинению в создании «антисоветской группировки в журнале “Новая Россия”» и выслан из страны. В 1933 году получил разрешение вернуться в СССР, 22 декабря был принят в партию по личной рекомендации Сталина. Работал журналистом «Правды» и литературным критиком.

27

Цитата из Маяковского.

28

Жозе Мария де Эредиа (1842–1905) — французский поэт кубинского происхождения.

29

Из личного архива Людмилы Коваленко.

30

Впрочем, в результате Катаев стал заботиться о тете Лиле уже в Мыльниковом переулке.

31

Лиля Брик писала: «Во всех них поочередно был влюблен Хлебников, в Надю — Пастернак, в Марию — Бурлюк, на Оксане женился Асеев». Асеев был уже верным «соратником» Маяковского (по определению Катаева), отдалившись от Пастернака, «соратником» которого был до того.

32

Письма из личного архива Людмилы Коваленко.

Разрушен в 1937 году.

34

Будущей жене литератора Сергея Александровича Бондарина.

35

Из рассказанного художником Владимиром Иосифовичем Роскиным (1896–1983).

36

Николай Иванович Харджиев (1903–1996) — искусствовед, коллекционер, литературовед, писатель. Третий — после Олеши и Нарбута — муж Серафимы Суок.

37

Кстати, тот же Липкин ссылался на Катаева, который сказал ему, что подарил Багрицкому сравнение жеребца с рафинадом в «Думе об Опанасе».

38

Илья Маркович Василевский (псевдоним Не-Буква; 1882–1938) — журналист, фельетонист, первый муж Любови Белозерской, расстрелян.

39

Из личного архива Людмилы Коваленко.

Их комментарий к книге «Алмазный мой венец» — неоценимое подспорье не только для биографов Катаева, но и для всех, кто изучает советскую литературу 1920-х годов.

41

Напостовцы — сотрудники критического журнала «На посту», выходившего в Москве под редакцией Б. Волина, Г. Лелевича, С. Родова в 1923–1925 годах.

42

«Россияне» — слово, не отпускавшее Есенина, такой альманах он собирался выпускать, он и Маяковскому сказал, что если будет печататься в «ЛЕФе», то свой отдел назовет «Россиянин».

43

По поводу несохранившегося журнала Катаев слукавил, так утверждает резкий его недоброжелатель публицист Юрий Юшкин, ссылаясь на рассказанное ему тбилисским литературоведом Гарегином Бебутовым, который якобы еще до выхода книги «Алмазный мой венец» прислал Катаеву копию «Современника» с теми самыми строчками; в романе Катаев заменил у Есенина «нам не нужно» на «мне не нужно», а в интервью говорил, что получил «бесценный» журнал уже после выхода книги. В любом случае «Современник» попал в РГАЛИ, где теперь находится.

44

Александр Константинович Воронский (1884–1937) — сын священника, недоучившийся семинарист, близкий к Троцкому и расстрелянный, очень благоволил Есенину, который даже посвятил ему «Анну Онегину». После смерти Есенина Воронский давал сильный отпор его противникам и свой очерк о нем заканчивал с большим надрывом, буквально как проповедь: «Конец каждого человека переживается по-особому. Смерть Есенина пробуждает великое чувство, которое источает мать, сестра, брат и о котором сказано: “Глас в Раме слышан бысть: Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо нет ей утешения”».

45

Иван Приблудный (Яков Петрович Овчаренко; 1905–1937) — русский поэт. Входил в окружение Сергея Есенина. Расстрелян.

Катаев быстро исправился — в комедии «Квадратура круга» образ Черноземного («физкультурника») был зримо и подчеркнуто разнесен с образом Есенина, чье имя для этого даже специально упоминалось, а при постановке во МХАТе Борис Ливанов вопреки режиссуре вышел в облике, совершенно противоположном всякой «есениноподобности».

ЗИФ — издательство «Земля и фабрика».

48

Даже главная и поздняя повесть Зощенко «Перед восходом солнца» называется так же, как одна из глав в книге Ницше «Так говорил Заратустра».

49

Вероятно, Катаев хохмил по поводу пьесы «Квадратура круга».

Из личного архива Людмилы Коваленко.

51

Из личного архива Людмилы Коваленко.

Красная нива. 1927. № 37. Сентябрь.

53

Новый мир. 1927. Август.

30 дней. 1928. № 7.

55

Впервые под названием «Жоржик и вещи», с подзаголовком «Из летописей нашего переулка», опубликован в журнале «Чудак» (1929. № 2. Январь).

30 дней. 1929. № 2.

57

Сметанич — настоящая фамилия Валентина Иосифовича Стенича (1897–1938), известного переводчика, расстрелянного.

58

Когда в 1931 году Никулин устроил драку с обхамившим его литератором Андреем Дальским и готовился к большим неприятностям, под письмом в защиту товарища подписался Катаев. «Олеша по обыкновению убоялся и снял подпись», — добавил Никулин на документе, хранившемся в его архиве.

59

«Прохоров мне показался просто сумасшедшим, маньяком», — признавался председатель Совета народных комиссаров Рыков.

60

Поэма Э. Бафицкого.

61

Долмат Александрович Лутохин (1885–1942) — родом из дворян, издатель и публицист, был выслан в 1922 году, но вернулся на родину в 1927-м, умер в блокадном Ленинграде.

62

Федор Федорович Раскольников (Ильин; 1892–1939) — сын священника, революционер, дипломат, литератор. В 1918 году — член Реввоенсовета Республики, в 1920— 1921-м — командующий Балтийским флотом, полпред в Афганистане, Эстонии, Дании, Болгарии. Был мужем легендарной комиссарши Ларисы Рейснер. В 1938 году из Парижа написал протестное письмо «Как меня сделали “врагом народа”» и опубликовал в эмтрантской газете «Последние новости». В 1939-м написал «Открытое письмо Сталину» («все кружатся в дьявольской кровавой карусели») и умер в Ницце при невыясненных обстоятельствах.

63

Осенью 1928 года Владимир Иванович Нарбут (1888–1938) попал в абсолютную опалу, лишившись всех постов, и быстрое течение эпохи понесло его в сторону Колымы и гибели.

Отрывок «Смерть мамы» опубликован в «Литературной России» (книга 1, издательство «Новые вехи», 1924 год), отрывок «Смерть отца» — в августовском номере журнала «30 дней» в 1927 году, отрывок «Дома» (глава из романа «Судьба героя») — в «Вечерней Москве» в том же 1927-м.

65

За год до этого Катаев уже саморазоблачился как белогвардеец в рассказе «Раб».

Горький, прочитав «Отца», обвинял Катаева в «недостатке такта».

67

Сергей Иванович Малашкин (1888–1988) литературно замолк с 1933 по 1956 год, дружил с отставным Молотовым, остался верен национал-патриотам: он один из одиннадцати подписантов письма против «Нового мира», опубликованного в 1969 году и ставшего ответом на «новомирскую» статью критика Андрея Дементьева, разоблачавшего «мужиковствующих».

Катаев смягчал издевку Маяковского, приводя будто бы сказанные им слова: «Не сердитесь, это я любя… Зато какая реклама!»

69

По воспоминаниям актера МХАТа Михаила Михайловича Яншина (1902–1976).

70

Игнатий Николаевич Потапенко (1856–1929) — прозаик и драматург, известный незамысловатостью и дидактичностью своих произведений, прототип Тригорина в чеховской «Чайке».

71

Маяковский сказал «Тимирзяев», переиначив фамилию физиолога Тимирязева, «Булгаков страшно хохотал», но в итоге назвал зоолога в «Роковых яйцах» Персиковым.

72

Как писал в воспоминаниях киносценарист Сергей Ермолинский.

73

Лев Моисеевич Клячко (1873–1934) — литератор, журналист. Учредитель, владелец, редактор издательства «Радуга», выпускавшего книги для детей.

«Карты занимали довольно много места в жизни Владимира Владимировича», — писала Полонская.

Из личного архива Людмилы Коваленко.

К примеру, Олеша пишет о Маяковском гораздо теплее — восторженно.

77

В скандальной книге «Воскресение Маяковского».

Кстати, тот же Роскин учился с Маяковским в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, и некоторое время оба ухаживали за Эльзой Триоле, и именно к Роскину, как мы помним, ушла Анна Катаева.

На этой встрече от Сталина потребовали присоединить к Украине населенные украинцами части Воронежской и Курской областей, а также Кубани, а он, утихомиривая прибывших, хвастался тем, как в духе пролетарского интернационализма «коренные русские рабочие» на Украине заставляют себя говорить на «мове».

80

Маяковский провозгласил: «Я очень рад, что здесь нет всех этих первачей и проплеванных эстетов, которым все равно, куда идти и кого приветствовать, лишь бы был юбилей. Нет писателей! И это хорошо!»

81

«Уже написан Вертер», — получается, так сказал Катаев.

Авербах остерегал от «переоценки Маяковского», отдавал должное «мужеству», с которым «выкорчевывал он корни капитализма в собственной психике», декларировал: «Мы не оставляем пролетарскому писателю права на мелкобуржуазную ахиллесову пяту» и грозил «недобитой и недострелянной сволочи».

83

Программный текст Леопольда Авербаха «На злобу дня» см.: На литературном посту. 1930. № 9. Май.

84

«Он глаз с меня не спускал», — вспоминал Катаев о своем литературном преследователе.

85

Литературная газета. 1933.29 декабря.

Из личного архива Людмилы Коваленко.

87

Сам же Юрий Борисович Елагин (1910–1987) жил в Кисловодске в 1942 году, когда туда пришли немцы, перебрался под Мюнхен, а после в Америку.

Между прочим, Маршак действительно был воспитанником Горького, тот еще в 1904 году поселил его, совсем юного, на несколько лет на своей ялтинской даче.

89

Кирпотин вспоминал: «Ты всё серишь и серишь, — сказал Сталин. — А мы тебя всё подтираем и подтираем». Бухарин в ответ жалостливым голосом, как-то странно виляя станом (был он полноват): «Вы бы хоть газетой подтирали, а то всё наждачной бумагой».

Здесь интересна мысль Шкловского (высказанная в развитие концепции «хозяйственных центров» ученого Дмитрия Менделеева) о передвижении России на юг и все большем проникновении в ткань Украины.

91

Сергей Сергеевич Динамов (1901–1939) был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации и расстрелян.

Помощником начальника Беломорстроя и начальником работ стал Нафталий Френкель, в советское время приговоренный к смертной казни за бандитизм, но в итоге сделавший блестящую карьеру в ОГПУ.

Есть, однако, мнение, что Сталин переиначил выражение Маяковского «душ человечьих искусный слесарь».

Смеляков был приговорен к трем годам лагеря, на финской войне попал в плен, а на родине — в проверочный лагерь; в 1951 году вновь арестован и отправлен в заполярную Инту.

95

Катаев не раз давал персонажам имя Бузя — так он назвал жениха Тамары Коваленко, нарисовав на бумажке толстого нэпмана в цилиндре и с сигарой.

Тем более авторы полемизировали с бодрым рапортом газеты «Известия»: «В колхозе огромный подъем. За зиму отпраздновали сто свадеб. Лучшие женихи достались пятисотницам». Ильф отреагировал на это в «Записных книжках»: «Только некультурностью населения можно объяснить то, что в редакции еще не выбиты все стекла… Пропаганда пошлости».

Из личного архива Людмилы Коваленко.

Мандельштам в письмах называл себя «няней».

99

Павел Никитич Сакулин (1868–1930) — литературовед, специалист по истории русской литературы.

100

Артемий (Арташес) Багратович Халатов (1894–1938) — советский государственный деятель, расстрелян.

Кстати, тот же Пастернак хотя и подписал письмо, занял по отношению к Мандельштаму странную позицию: «Тут на днях собиралась конфликтная комиссия. Его на ней не было, и я, защитник, первым признал его виновным, весело и по-товарищески».

Гладков называл прозу Мандельштама «испытательной лабораторией, где находились и оттачивались стилевые приемы» прозы Катаева.

103

Катаев придумал или ошибся. *Мрія* — по-украински «мечта».

104

Иосиф Леонидович Прут (1900–1996) — сценарист, драматург.

105

Юревич, начинавший «заведующим избой-читальней», арестован в 1939 году, в 1940-м расстрелян. В 1939 году Фриновский арестован по обвинению в «троцкистско-фашистском заговоре в НКВД». Расстрелян в 1940 году. Были арестованы и расстреляны его жена и сын-школьник семнадцати лет.

106

Дмитрий Аркадьевич Шмидт (Давид Аронович Гутман, 1896–1937) — комдив Красной армии. В 1920-е годы поддерживал «троцкистскую оппозицию» и (по воспоминаниям бежавшего на Запад дипломата Александра Бармина) при встрече лично грозил Сталину «отрубить уши» шашкой. Арестован в 1936-м, расстрелян.

107

Уже под конец жизни в беседе с литератором Аркадием Львовым Катаев называл «Тихий Дон» «гениальной вещью», а по поводу инсинуаций об авторе эпопеи отвечал: «Эти слухи шли еще в тридцатых годах, и я не знаю, правда это или неправда, но что четвертую книгу наверняка написал Шолохов, никто не сомневается, а этого тоже достаточно. И Нобелевскую премию он заслужил больше, чем те, которые получили до него и после него: Пастернак и Солженицын».

108

В апреле 1931 года в анкете парижской «Новой газеты» Куприн назвал «Солнечный удар» Бунина, «Растратчиков» Катаева, «Защиту Лужина» Набокова и «Зависть» Олеши «лучшими произведениями последнего десятилетия».

109

На причины ареста Кольцова проливает свет донос, написанный секретарем Коминтерна Андре Марти на имя Сталина: «Кольцов вместе со своим неизменным спутником Мальро вошел в контакт с местной троцкистской организацией ПОУМ. Если учесть давние симпатии Кольцова к Троцкому, эти контакты не носят случайный характер».

110

В 1938 году Сталин так рецензировал книгу Веры Васильевны Смирновой (1898–1977) «Рассказы о детстве Сталина»: «Автора ввели в заблуждение охотники до сказок, брехуны, подхалимы… Книжица имеет тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личности вождей… Это опасно, вредно… Советую сжечь книжку».

111

Здесь перефразирование строк пушкинского «Бориса Годунова»: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, / Зять палача и сам в душе палач».

112

В 1949 году Иоганн Львович Альтман (1900–1955) был исключен из Союза писателей и партии как «космополит», в 1953-м — арестован.

113

Так в дневнике записал со слов Асеева Ставский.

114

Гнат Петрович Юра (1888–1966) — советский украинский театральный режиссер.

115

Петр Владимирович Вильямс (1902–1974) — театральный художник.

116

В том же году роман «Мастер и Маргарита», о котором полнилась слухами литературная среда, вышел в журнале «Москва».

117

Владимир Петрович Баталов (Аталов; 1902–1964) — режиссер и актер.

118

Борис Васильевич Барнет (1902–1965) — актер и режиссер, внук потомственного печатника, приехавшего в Россию из Великобритании. Позднее для режиссера Барнета Катаев написал повесть-сценарий «Поэт».

В марте 1944 года он уехал в Германию, а оттуда сумел перебраться в США, где стал преподавать в Колумбийском университете и вспоминать в текстах о литературной молодости.

120

Так с 1942 по 1944 год называлась «Литературная газета».

121

Хамид Алимджан (Хамид Алимджанович Азимов; 1909–1944) — ответственный секретарь Союза писателей Узбекистана, погиб в 1944 году в автокатастрофе.

Правда, не в пример катаевской, пушкинская книга изначально успеха не имела и большая часть экземпляров осталась нераспроданной.

Правда, не в пример катаевской, пушкинская книга изначально успеха не имела и большая часть экземпляров осталась нераспроданной.

124

Именно в 1949 году Михалков приобрел дачу на Николиной Горе.

125

«Накануне парада раздавался звонок в дверь, — вспоминает Евгения Катаева, — и на пороге квартиры появлялся фельдъегерь. Он вручал моему папе приглашение на Красную площадь, на трибуну справа, если стоять лицом к Мавзолею. Это было круто!»

126

Константин Федотович Пискунов (1905–1981) — директор издательства «Детская литература».

Фадеев, очевидно, побагровел, услышав просьбу.

Спустя годы Катаев называл «Кирджали» «одной из самых зрелых и изящных прозаических вещей» Пушкина.

129

Александр Михайлович Еголин (1896–1959) — советский литературовед и партийный деятель, пониженный в 1955-м как соучастник сексуальных утех министра Александрова. *Иван Михайлович Майский* (Ляховецкий; 1884–1975) — советский дипломат, историк и публицист.

130

Николай Матвеевич Грибачев (1910–1992) — советский поэт и государственный деятель. *Степан Петрович Щипачев* (1899–1980) — поэт и один из руководителей Союза писателей.

131

Николай Федорович Бельчиков (1890–1979) — советский литературовед, в 1949–1955 годах — директор Института русской литературы.

132

Ко́ма — детское имя сына Всеволода Иванова Вячеслава, известного филолога и лингвиста.

133

Петр Львович Тур (Рыжей; 1908–1978) — автор пьес и сценариев (совместно с женой Ариадной).

Между тем в 1949 году, будучи членом редколлегии «Нового мира», Катаев проталкивал публикацию первой части «Открытой книги»: «Написано ярко, пластично, остро и вместе с тем лирично — “по-каверински”. Доставляет громадное удовольствие в чтении».

135

Очевидно, подразумевается хмельной дебош в ЦДЛ.

136

В Китайском проезде располагалась «советская цензура» — Главное управление по охране военных государственных тайн в печати при Совмине СССР.

137

В будущем — организатору вооруженной леворадикальной группировки в Италии, в 1972 году, по официальной версии, подорвавшемуся на подготовленной для теракта взрывчатке.

Что касается игр ЦРУ, можно вспомнить и процесс Синявского — Даниэля 1965–1966 годов, под псевдонимами публиковавших прозу на Западе. Евгений Евтушенко вспоминает, что американский сенатор Роберт Кеннеди, брат убитого президента, затем тоже убитый, сообщил ему («запершись в ванне и включив воду»): Синявского и Даниэля выдало ЦРУ, «чтобы отвлечь общественное мнение от политики США продолжавших непопулярную войну во Вьетнаме, и перебросить внимание общественности на СССР, где преследуют диссидентов».

139

Из личного архива Людмилы Коваленко.

Кстати, в 1955 году в Америке писатель Борис Полевой, впоследствии главред «Юности», получил «антисоветскую» листовку, извещавшую о том, что Валентин Катаев «совсем недавно был уничтожен» на родине.

Кстати, в 1955 году в Америке писатель Борис Полевой, впоследствии главред «Юности», получил «антисоветскую» листовку, извещавшую о том, что Валентин Катаев «совсем недавно был уничтожен» на родине.

142

Осенью 1961 года Аксенов и несколько авторов «Юности» выступали в Тульском педагогическом институте, где их атаковали специально обученные комсомольские активисты, обвинявшие в «низкопоклонстве перед Западом». В «Юности», по Аксенову, было «чепэ»: «Нас могут теперь прикрыть, говорили сотрудники редакции».

143

Из личного архива Тины Катаевой.

144

«*Fanconi*» — знаменитое одесское кафе, которое посещали многие писатели.

145

Семен Соломонович Юшкевич (1868–1927) — писатель, чья проза была насыщена одесской лексикой и интонацией. Эмигрировал в 1920 году.

146

«Эта штука повыше, чем “Фауст”… Почему Сталин так сказал? Потому что смерть ниже любви», — вещал Валентин Петрович 9 марта 1940 года на совещании в Комитете по делам искусств.

147

Молодой хирург Шаронов бросает жребий, на ком бы жениться, но в результате лотереи по-настоящему влюбляется в выпавшую ему девушку Сашу.

148

Ажан (от *agent* — сотрудник) — так французы именовали полицейских.

149

Интересно, почему «ханжа»? Не потому ли, что, по свидетельству Леопольда Железнова, когда-то в «Юности» Катаев отверг подборку «интимных» стихов Евтушенко.

150

Николай Павлович Смирнов (1898–1978) — писатель.

151

«Хребты Саянские» — эпопея одного из руководителей СП СССР Сергея Венедиктовича Сартакова (1908–2005).

152

Эмиль Владимирович Кардин (1921–2008) — литературный критик. Подписывался как В. Кардин.

Кстати, после ввода советских войск в Чехословакию и, возможно, из-за «разоблачений» его персоны в советской прессе А. Верт, надеявшийся на «социализм с человеческим лицом», покончил с собой.

154

По свидетельству Самуила Алешина, режиссер и редактор приехали к Катаеву в Переделкино. «Что? — сказал Катаев. — Вы хотите, чтобы я пробивал вам этот фильм? Я уже пробил свой рассказ, а картину пробивайте сами. Все равно ничего не выйдет. (Возражения он не слушал, перебивал и слушал только себя.)». Картина «Отче наш» вышла на экраны в 1990 году. Режиссер — Борис Ермолаев. В главной роли — Маргарита Терехова.

155

У Пушкина — «ежемесячным». Эпиграмма на Михаила Каченовского, издателя «Вестника Европы».

По словам Павла Катаева, отец отвечал на каждое письмо, несмотря на их обилие.

Всесоюзное агентство по авторским правам.

Дедков, видимо, не подозревал, что таким же терзаемым существом был и сам Катаев и «аквамариновая слезинка, блеснувшая в луче электрического фонарика», могла ползти и по его щеке. В «Вертере» много потустороннего, но не постороннего…

159

О прототипах повести и о невыдуманности сюжетаых коллизий я уже писал.

160

Как уже указывалось — это псевдоним диссидента, правозащитника Михаила Михайловича Молоствова (1934–2003), о котором чуть подробнее: с 1958 по 1965 год сидел в лагерях, осенью 1993-го, будучи членом фракции «Радикальные демократы» в Верховном Совете, поддержал разгон парламента, затем член гайдаровской фракции «Выбор России» в Госдуме, в 1995-м вместе с заложниками сопровождал Шамиля Басаева от Буденновска до Чечни.

161

ОСВАГ (Осведомительное агентство) — информационно-пропагандистский орган Добровольческой армии, а в дальнейшем — Вооруженных сил Юга России во время Гражданской войны.

162

У Катаева: «Его взяли с поличным на границе, с письмом, которое он вез от изгнанного Троцкого к Радеку».

163

Егор Александрович Исаев (1926–2013) — поэт.

Хаим Нахман Бялик (1873–1934) — поэт.

165

Владимир Евгеньевич Жаботинский (1880–1940) — писатель, публицист, переводчик, один из лидеров сионистского движения.

«Записки о гражданской войне» впервые опубликованы в журнале «Жизнь» (1924, № 1).

167

Владимир Филиппович Коралли (1906–1995) — эстрадный певец, куплетист, конферансье.

Московское общество драматических писателей и композиторов.

169

Лишенцы — лица, ограниченные в правах в СССР до 1936 года.

170

Петр Евгеньевич Катаев (1930–1986) — кинооператор.